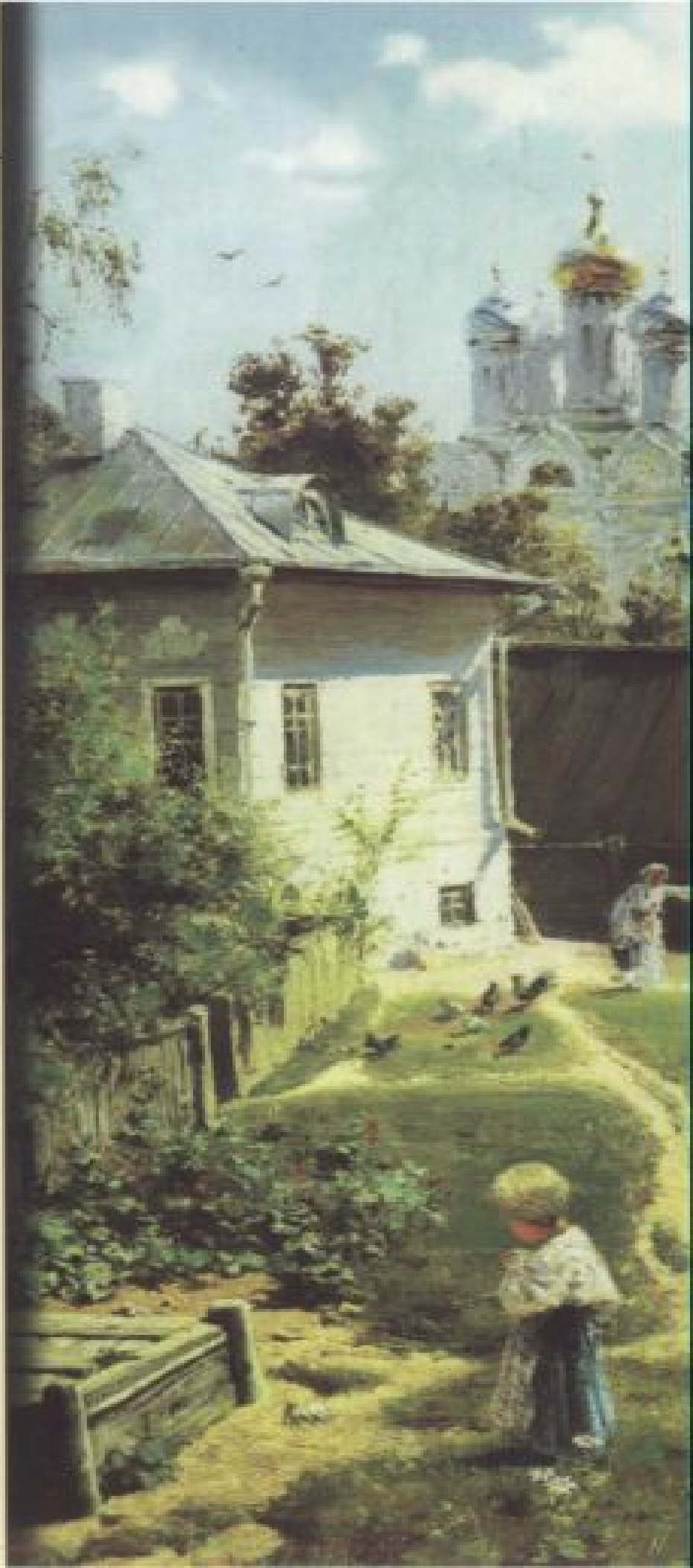


ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Вера Бокова

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКВЫ В XIX ВЕКЕ



Annotation

На основе дотошного изучения и обобщения обширных архивных документов, воспоминаний и дневников московских старожилов, трудов историков, записок и сочинений писателей, журналистов и путешественников, как отечественных, так и зарубежных, автору удалось воссоздать многомерную и захватывающую панораму Москвы, сложившуюся после великого пожара 1812 года. Вторая столица предстает как город святой и древний, красивый и уродливый, но постоянно обновляющийся, город «нелепия и великолепия», с такой же, как он сам, контрастной и причудливой повседневной жизнью московских обитателей и обывателей всех сословий — дворян, купечества, мешан, мастеровых и фабричных, студентов и священников, нищих, юродивых и святых. Из книги также можно узнать о городском хозяйстве и властях — от будочника до генерал-губернатора, о семейных торжествах царствующего дома, религиозных традициях, праздниках и увеселительных садах, театральных и ярмарочных действиях, студенческих пирушках и волнениях, спорте.

- [Вера Бокова](#)
 - [Глава первая. ВТОРАЯ СТОЛИЦА](#)
 - [Глава вторая. ДВОРЯНСТВО](#)
 - [Глава третья. ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО](#)
 - [Глава четвертая. ВЛАСТИ: ОТ БУДОЧНИКА ДО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА](#)
 - [Глава пятая. КУПЕЧЕСТВО](#)
 - [Глава шестая. СЪЕСТНЫЕ И ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ](#)
 - [Глава седьмая. ТОРГОВЛЯ](#)

- [Глава восьмая. РЫНКИ, ЯРМАРКИ, БАЗАРЫ](#)
- [Глава девятая. ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИХ ОКРАИН. МЕЩАНЕ, МАСТЕРОВЫЕ И ФАБРИЧНЫЕ](#)
- [Глава десятая. «НЕХОРОШИЕ» МЕСТА И ИХ ОБИТАТЕЛИ. МОСКОВСКОЕ «ДНО»](#)
- [Глава одиннадцатая. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ. ДУХОВЕНСТВО](#)
- [Глава двенадцатая. ПРАЗДНИКИ. ЦАРСКИЕ ДНИ. СЕМЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ](#)
- [Глава тринадцатая. СТУДЕНЧЕСТВО](#)
- [Глава четырнадцатая. ГУЛЯНЬЯ И ПРОГУЛКИ. УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ САДЫ](#)
- [Глава пятнадцатая. ЗРЕЛИЩА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)

- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)

- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)

- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)

- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)

- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)

- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)

- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)

- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)

- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)

- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)

- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)

- [452](#)
 - [453](#)
 - [454](#)
 - [455](#)
 - [456](#)
 - [457](#)
 - [458](#)
 - [459](#)
 - [460](#)
 - [461](#)
 - [462](#)
 - [463](#)
 - [464](#)
 - [465](#)
 - [466](#)
 - [467](#)
 - [468](#)
 - [469](#)
 - [470](#)
 - [471](#)
-

Вера Бокова
Повседневная жизнь Москвы в
XIX веке

Глава первая. ВТОРАЯ СТОЛИЦА

Москва — город древний. По документам — почти девятьсот; по данным археологов — за тысячу, а отдельные поселения на территории города тянут и на две, три, четыре тысячи лет.

И все же банальную истину о древности Москвы можно повторять сколь угодно часто, но наглядно подтвердить нечем. В Москве нет ничего древнее самой Москвы и даже ничего столь же древнего, как сам город.

Кремль за свою историю несколько раз до основания перестраивался и тому, что стоит сейчас, — «всего» пятьсот, а некоторым постройкам в нем — едва полста. Самые старые из московских церквей примерно того же возраста. При всем уважении к храмам в минувшие столетия, их не только регулярно перестраивали до неузнаваемости, но и частенько сносили — то по ветхости, то из соображений благоустройства, то повинувшись изменчивой моде. И только престол утраченного храма устраивали в какую-нибудь другую церковь по соседству.

Лет тридцать назад автору этих строк довелось вести экскурсию по Покровскому собору (храму Василия Блаженного) для заезжего туриста-англичанина. Храм, к слову, тогда настоятельно взывал о реставрации и выглядел не лучшим образом.

По мере того как продвигалось знакомство с этим древним московским чудом (шестнадцатый век все-таки), лицо гостя становилось все более задумчивым и даже озабоченным. На выходе, благодаря и прощаясь, интурист обронил: «Приеду домой — займусь ремонтом. У меня дом тоже шестнадцатого века».

Вот что совершенно невозможно в Москве! Самому старому здесь от силы триста лет, но в таких домах не живут, а только служат. И вообще жить в доме, которому под сто годов, большинство москвичей считают для себя едва ли не оскорблением.

Непрерывное изменение и обновление — в самой природе Москвы. Она и в древности то и дело горела и возрождалась, и в новое время непрерывно перестраивалась. Может быть, потому что она женского рода, она и легкомысленна, и непостоянна. Ее поминутно тянет прихорашиваться и наряжаться — все равно кем: красавицей, кулемой или шутихой, главное, чтобы наряд радовал глаз новизной и пестротой.

Та Москва, исчезновение которой мы наблюдаем сейчас, появилась лишь на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, и для ее возведения уничтожали предшествующий город, сложившийся после великого пожара 1812 года. И тогдашние москвичи смотрели на исчезновение своей Москвы с такой же печалью и ностальгией, с какими москвичи, изгнанные из города Наполеоном, взирали на висящее в небе зарево, и с какими их предки качали головами, глядя на послепетровские новизны...

Из всех архитектурных памятников в Москве девятнадцатого века признавались только Кремль, храм Василия Блаженного и Сухарева башня; почти все остальные исторические сооружения были в большей или меньшей степени перестроены и искажены — иногда до неузнаваемости — и тонули в массе другой застройки. Особенно неказисты были городские окраины, через которые впервые и попадали путешественники в Москву. Михаил Павлович Чехов (брат писателя) вспоминал, как шокировали его, приехавшего в 1870-х годах из Таганрога, по дороге с Курского вокзала (похожего на «сарайчик») на Грачевку «отвратительные мостовые, низенькие, обшарпанные

постройки, кривые, нелепые улицы, масса некрасивых церквей и такие рваные извозчики, каких засмеяли бы в Таганроге»^[1]. При этом он почти наверное проезжал Красные ворота, стоявший близ них храм Трех Святителей, Шереметевский странноприимный дом, ту же Сухареву башню и некоторые другие замечательные сооружения, которые просто не сумел заметить.

Москва всегда была контрастна, как контрастен сам русский характер. В ней перемешивалось древнее и новое, широкое и узкое, красивое и уродливое, трактиры и часовни, «нелепие и великолепие», как выражался писатель Дон Аминадо, в ней уют предпочитали красоте, а красотой почитали причудливость и яркие краски.

Нужно было родиться москвичом, чтобы любить этот пестрый, порой нелепый, ни на что не похожий, странно контрастный город, чтобы вполне замечать и ценить его специфическую красоту и оригинальность. Впрочем, бывало, и частенько бывало, что в Москву насмерть влюблялись и пришлые (вспомним хотя бы Владимира Алексеевича Гиляровского), и легко и навсегда ею усыновлялись.

Москва была неистребимо провинциальна и по-домашнему уютна, и по-домашнему же грязновата и «поношена». В Москве чтили традиции гостеприимства и взаимопомощи. Даже в низшем мещанстве, едва перебивающемся с хлеба на квас, ставили ребром последнюю копейку, чтобы угостить гостей, и на стол выставлялась лучшая посуда и лучшая еда. Даже здесь находились угол или место на печке для безродного сироты или «ничьей бабушки», которые обретали право на призрение просто потому, что у них никого нет. Родство в Москве считалось и почиталось очень дальнее, до седьмого колена, и как только степень родства определялась, все становились дядюшками и

племянниками и обретали право на родственное участие, поддержку и воскресные семейные обеды. Поэтому и приветствовали москвичи друг друга троекратным целованием — по-родственному, к удивлению и раздражению питерцев и провинциалов. Не менее родства уважались соседство и землячество.

Москвичи ревниво относились к славе Питера и потому наружно его презирали. Стоило чему-нибудь иметь успех в Северной столице, как это тотчас с треском проваливалось в Москве. (Впрочем, бывало и наоборот.)

В Москве были своя собственная литература, журналистика, свое мировоззрение, своя философия — славянофильство, сугубый патриотизм и «русское направление» мысли, специально московская снедь — калачи и сайки, свой говор — певучий, мягкий, «акающий», своя манера одеваться. «Население старой Москвы не имело представления о моде. Костюмы и обычаи регулировались традициями, житейским комфортом или личным выбором»^[2]. Если в центре города и преобладал костюм европеизированный, лишь немного усовершенствованный по собственному и общемосковскому вкусу, то на окраинах и в пригородах еще и в 1890-х годах преобладали сарафаны и поддевки, шушуны и допотопные кацавейки, примятые картузы и разноцветные платочки с пышными розанами.

Общемосковские знаменитости были такой же городской достопримечательностью, как трактир Тестова, Иверская или Царь-пушка. Не знать их было предосудительно, а называли их не как простых смертных — по фамилии, а исключительно по имени и отчеству.

«Живо помню, как седовласый Тургенев с молодым М. М. Ковалевским и еще с кем-то из университетских

профессоров не столько шел, сколько шествовал Пречистенским бульваром к Арбатской площади, и — по пути его со скамей дружно вставала и шляпы снимала сидевшая публика», — вспоминал А. В. Амфитеатров. И он же рассказывал, как герой войны за Болгарию, «белый генерал» «Скобелев стоял в старинной московской гостинице Дюсо и буквально шага не мог сделать с подъезда ее без того, чтобы не быть в ту же минуту окруженным восторженной толпой влюбленно глазевших зевак В Охотном ряду торговцы перед ним на колена становились»^[3]. Скобелев и умер в Москве 25 июня 1882 года в номере гостиницы «Англетер» у известной московской кокотки Шарлотты Альтенроз, и был отпет в храме Трех Святителей у Красных ворот при небывалом стечении народа. (Позднее многие московские прелестницы присваивали себе сомнительную честь считаться «могилой Скобелева».)

Точно такими же общемосковскими кумирами становились любимые актеры, певцы, кулачные бойцы, адвокаты, профессора и публицисты. В Москве был настоящий культ доморощенных великих людей.

Если в Петербурге всё было дисциплина и субординация, то в Москве — «покой и воля» и почти семейственные отношения. В Москве все всех знали, и мнение «княгини Марьи Алексеевны» было весомым фактором соблюдения общественной благопристойности. Самых заблудших вызывал к себе и отечески увещевал генерал-губернатор, а провинившимся мужикам московский обер-полицмейстер без затей и собственноручно отвешивал тумачи. В Москве не выносили официальности, но в то же время уважали власть и авторитеты на всех уровнях — от генерал-губернаторской до власти родителей, господина над челядью и хозяина над мастеровыми.

Правда, градоначальников в Москве ценили и запоминали в основном таких, которые умели усвоить себе общий домашний, отеческий тон и стиль отношений. Они могли быть «отцами» строгими и взыскательными, могли быть добродушны и снисходительны; город принимал и по-своему любил и тех и других, а вот чопорных и державших дистанцию — не принимал.

Патриархальный характер Москвы многое объяснял в ее внутренней истории. Обыватель обожал Москву и, имея средства, многое для нее делал. Именно в Москве возможно было открытие консерватории на частные средства, именно Москве с открытым сердцем дарили музеи и библиотеки, строили для нее благотворительные учреждения, университеты и бесплатные дома.

Истинные москвичи были добродушны, безалаберны, многословны, недоверчивы, любопытны, любили лениться, много ели и не лазили за словом в карман. У всякого московского жителя было в запасе множество присловий, шуток, поговорок, уместных цитат и анекдотов, и с их помощью он с честью и без потерь выходил победителем из любого словесного поединка. Когда отливали новый колокол, весь город с увлечением морочил друг другу голову (по поверью, удачная ложь в это время придавала колокольной меди необходимую голосистость), и простачи толпами бежали смотреть, как «провалилась» Спасская башня или, к примеру, «уплыл» Большой Каменный мост. В городе не было ни одного урочища либо улицы, кои не имели бы фамильярно-ласкательных прозвищ, иногда вытеснявших исконное название — Мошок (Моховая), Землянка (Земляной вал), Воробьевка, Щипок, Полянки, Горки, Рвы, Пески, Роушки, Глинища... и бог весть что еще.

Просыпалась Москва рано. С рассветом начинали сновать по улицам фабричные, мастеровые, разносчики, мясники и булочники с корзинами и лотками на головах. Катили на рынки подводы с молоком, сеном, дровами, курами, битком набитыми в клетушки, раскачивались на колдобинах, стукались о тротуарные столбы — спешили. «Тут везли и продукты для населения: муку, мясо (зимой множество мороженных свиных туш), пиво, водку, дрова, и для строительства — кирпич, лес, известь, железо; а также фабричное сырье и товары: хлопок, шерсть, мануфактуру; последнюю с фабрик — в Китайгородские амбары... Эти обозы направлялись для „благообразия“ и порядка не по главным улицам (они береглись для легкой езды), а по обходным переулкам»^[4].

Затем появлялись школяры со связками книжек, канцеляристы с бумагами, увязанными в платки. Прислуга, а иногда и сами заботливые хозяйки с кошелками устремлялись по лавкам и базарам за провизией. Оживлялась торговая Москва. В разных направлениях летели извозчики...

После одиннадцати выплывали на улицы светские дамы, отправлявшиеся на прогулку, в Ряды или с визитами. Следом за дамами появлялись те баловни судьбы, которые могли себя позволить жить, ничего не делая. «Позевывая, направляются они на бульвар для „моциона“ перед завтраком; или же в наполеоновской позе останавливаются группами в Солодовниковском пассаже в последней, самой широкой линии, самоуверенно осматривают проходящих, в особенности дам, и нередко заводят интрижку»^[5].

Часа в два-три Москва обедала, потом отдыхала и движение на улицах замедлялось. Оживление наступало около семи часов вечера — вереницы экипажей устремлялись в театры, клубы, на вечера и

балы. К полуночи это новое движение прекращалось и часов до двух-трех ночи наступала тишина. Кратковременное оживление наступало, когда праздная публика начинала разъезжаться по домам, а потом вновь наступала кратковременная тишина, которую часов в пять утра прерывали следовавшие по городским улицам ассенизационные обозы. Они и знаменовали собой наступающее новое утро.

Когда Москва вступала в девятнадцатый век, «вокруг Кремля... шел вал со рвом, в котором стояла дохлая, тинистая вода с разной падалью»^[6], — вспоминал современник. Под кремлевскими стенами паслись обывательские козы, а на Каланчевку и в Миусы забегали зимней порою волки.

Еще стояли на своих местах все городские укрепления — не только Китайгородские, которым суждено будет простоять нерушимо весь девятнадцатый век и лишь обогатиться под конец дополнительными воротами в Третьяковском проезде, — но и валы Земляного города, и башни Белого. В заболоченных рвах росла осока, шмыгали головастики и орали по ночам забредшие с перепою и завязшие в грязи гуляки. На заросших травой склонах древних валов москвичи устраивали пикники, а в крепостных башнях по ночам прятались и таились темные личности. Границей Москвы с конца восемнадцатого века был Камер-Коллежский вал, и его валы тоже вносили в городской пейзаж собственные краски. Большая их часть заросла травой и кустарником, по самому гребню вилась тропинка, а местами валы «были полуразрушены пешеходами и местными обывателями, которые брали из них песок для своих надобностей»^[7].

Еще свободно текли московские речки и ручьи — Чечора, Черногрязка, Синичка, Напрудная, Чарторый,

Ольховец и бурная нравом Неглинная. На протяжении столетия многим из них предстояло навсегда спрятаться под землю, а тогда, в допожарные годы, в них купались, ловили рыбу и раков. Неглинная была частично распрямлена и обложена камнем; через нее были перекинuty мосты — Воскресенский, выводящий на Красную площадь, и Кузнецкий, давший название одноименной улице. Кузнецкий мост был каменный, с арками, и подниматься на него нужно было по лестнице ступеней в пятнадцать. На этих ступенях «сизживали нищие и торговки с моченым горохом, разварными яблоками и сосульками из сухарного теста с медом, сбитнем и медовым квасом, предметами лакомства прохожих»^[8].

Город тонул в зелени, и многочисленные дворцы, общественные здания, монастыри и церкви «перемежались сельской местностью и деревнями»^[9], как казалось заезжим иностранцам.

Действительно, за исключением центра, дома были в большинстве своем деревянные, часто с завалинками, совсем как на селе, мостовые — бревенчатые или из фашинника; лишь несколько главных улиц было кое-как замощено камнем. Улицы вились прихотливо, то сужаясь, то произвольно расширяясь, и часто превращались в тупики. Посреди мостовых красовались колодцы с высокими журавлями, куда хаживали за водой молодки с коромыслами... И прозвище «большая деревня» само собой просилось на язык всякого, даже любящего Москву.

В послепожарное время городские валы постепенно срыли, рвы засыпали. Неглинная частями убралась под землю. Под кремлевскими стенами на ее месте был разбит Александровский сад, а выше по течению — Неглинная улица и Цветной бульвар.

Отстроенная после пожара Москва изменила свой облик, но не характер, который не в силах были изменить никакие пожары.

И в середине века, как писал современник, «живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русскою нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! и все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, — Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая! как она любит украшать дома свои гербами, балконы позолотою, а ворота львами! (...) Мне необыкновенно нравятся эти отдельные красивые деревянные дома на скатах гор, в тени душистых сиреней и лип, а на берегу Москвы-реки деревянные лачужки, одна к другой прилепленные, нищета которых прикрывается роскошью зелени густо разросшихся берез и рябин. К этим лачужкам ведут переулки, превращающиеся в тропинки, исчезающие под горой!»^[10].

Это в Лондоне аристократы жили в Гросвеноре, дельцы — в Сити, ученые — в Блумсбери, художники — в Челси. В Москве ничего подобного не было. В отличие от других городов, где издавна существовало деление на престижные и непрестижные районы, Москва достаточно долго оставалась городом с социально-смешанным населением. Возле каждого храма были жилища духовенства. На всякой улице можно было встретить лавки, в которых не только торговали, но и жили лавочники. Рядом с вельможными палатами не так уж редко стояли неказистые домики мещан. Даже в сугубо купеческих, казалось бы, районах — в Замоскворечье и Китай-городе вовсе не редкостью были ни барские особняки, ни домишки ремесленников. До сих пор в Лаврушинском переулке в двух шагах от

Третьяковской галереи можно видеть роскошные барские палаты Демидовых, а в торговом Китай-городе на Ильинке еще в середине девятнадцатого века стоял особняк дворян Воейковых, а на Никольской — один из дворцов графов Шереметевых.

Аристократ, поселившийся на Мясницкой в соседстве с «амбаром» лесоторговой фирмы, не считал свое местопребывание ни более ни менее престижным, чем какой-нибудь Сивцев Вражек Купец в равной степени свободно чувствовал себя и на Полянке, и в Дорогомилове. Жить далеко от места службы или от родни считалось в Москве почти нормой, а в жилище более всего ценились простор и дешевизна. Поэтому графиня Софья Андреевна Толстая, далеко не чуждая снобизма, не только не имела ничего против, но даже была очень довольна дешевой усадьбой в окруженных фабриками Хамовниках, а известный врач и издатель Павел Лукич Пикулин принимал всю литературную и интеллектуальную Москву в своем домике (он сохранился), выходящем на неавантажный, особенно в вечернюю пору, Петровский бульвар.

«Вы видите палаты вельможи подле мирной хижины ремесленника, которые не мешают друг другу, у каждого своя архитектура, свой масштаб жизни; ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти, но встречаете жизнь в каждом домике отдельно»^[11], — писал московский бытописатель П. Вистенгоф.

И в тридцатые, и в сороковые годы, и позднее современники наперебой описывали Москву, как смешение городской роскоши с сельской простотой, как город, в котором городская топография растворялась в рощах, огородах, оврагах, полях и горах.

Постоянной и неотъемлемой принадлежностью городского пространства были сады и пустыри. К

примеру, в Леонтьевском переулке, там, где теперь стоит Музей народного искусства (бывший Кустарный), долгое время был пустырь, принадлежавший некоему Волкову, с разбитым на нем огородом, с которого кормилась многочисленная прислуга хозяина и еще оставались овощи на продажу.

Без сада, хотя бы в два-три дерева и несколько кустов, не обходился ни один, даже самый бедный московский домик. «Дом без растительности, да еще каменный, представлялся холодным и бездушным зданием, да и строился не для житья самого владельца, а для сдачи квартир и торговых помещений, т. е. для дохода»^[12]. Но даже и доходные дома в Москве недолго оставались холодными: вокруг забора и по двору мигом вырастала трава, на куче сора появлялся бурьян, за сараями выглядывала густая крапива, невесть откуда прорастали какие-то кусты, — на крышу прилетали голуби, на чердаке поселялись кошки — и вот уже доходный дом «добрел» и превращался в нормальное московское жилье — неказистое, но приветливое и уютное.

Помимо садов стихийных, неправильных, растущих по собственному произволу, в городе было и множество маленьких частных парков. К примеру, «на Петровке за решетчатым железным забором и воротами, за газонами и фонтаном, возвышался красивый с мезонином одноэтажный дом, позади которого густел огромный сад с прудами, где гордо плавали лебеди. Оригинальные мостики, беседки совершенно напоминали богатую подмосковную усадьбу, а не владение в одной из самых торговых теперь улиц. Журавли с важностью выступали за забором для полного удовольствия постоянно глазевших на птиц любопытных прохожих. Это владение занимало не

менее пяти десятин, если не больше, а таких владений в Москве было не мало»^[13].

При этом — то ли прозвище «большая деревня» обязывало, то ли экология была уж очень хороша, — но вообще «растительность в Москве была богатейшая. Вековые липы и тополя своими огромными широкими ветвями опускались к улицам и переулкам, давая в летнее время тень и прохладу и защищая от дождей. Зимой гиганты, осыпанные инеем, казались величественными и грандиозными, особенно при лунном освещении»^[14].

Огромные размеры города приводили к тому что, по сути, весь он собирался из множества отдельных городков или слободок, составляемых крупными улицами и прилегающими к ним переулками. Был свой мирок на Арбате, был другой рядом на Смоленском рынке, третий — на Таганке, четвертый — на Басманных, и т. д. и т. д. И в каждом мирке имелись собственный центр и свое захолустье. И все всех знали, если не близко, то по имени и в лицо. Все ходили в одни и те же церкви, в них венчались, крестили детей и отпевали покойников. В «овощных» лавочках прислуга перемывала косточки господам. Утаить что-либо в Москве было очень трудно — так же, как в глубокой провинции. Все всеми интересовались, а присяжные вестовщики разносили быль и небыль по всему околотку. «Галкина еще ходила купчиха... — рассказывала московская мещанка Н. А Бычкова. — Та, бывало, все сплетни со всего Смоленского привезет. И о Замятиных, о Комаровых, о Стародумовых. Иванов то, да Медведев се. У того свадьба, энтот помер, у кого крестины, кто разорился, а кто спьяну дебош сотворил. Три короба наговорит, натреплет, настрекочет. Что было и чего не было.

Марье-то Дмитровне все слушать интересно, потому что на Смоленском рынке родилась, тут и выросла, всех до единого человека знает. Марья Дмитровна все запоминает, поохает, посмеется, а потом другим расскажет. И непременно прибавляла: „За что купила, за то и продаю“»^[15].

«Москва не город, а собрание городов: вся ее середина, то есть Кремль, Китай и Белый город, заслуживает вполне название столицы; потом весь обширный Земляной город как будто бы составлен из нескольких губернских городов, окружающих со всех сторон эту столицу царства русского, и, наконец, все то, что называли в старину Скородомом, походит на великое множество уездных городков, которые в свою очередь обхватывают весь Земляной город этой огромной цепью бывших слобод, посадов и сеч»^[16].

Из Кремля было видно не только Замоскворечье, но и Воробьевы горы. Под Кремлем шумел Китай-город, где «соединялась вся торговая сила», были сосредоточены огромные капиталы и была, так сказать, «самая сердцевина всероссийского торгового мира»^[17].

Уже к 1840-м годам из Китай-города исчезли почти все жилые усадьбы, были застроены пустыри, и Ильинка с Никольской с прилегающими переулками превратились в оживленнейшие улицы города, где сосредоточилась банковская и торговая деятельность, где стояли Биржа, Ряды, Старый Гостиный двор, было множество лавок, торговых и гостиничных подворий, богатые магазины с зеркальными стеклами и парадными подъездами. С утра до вечера здесь царило деловое оживление: что-то разгружали, паковали, во всех направлениях тянулись возы, телеги, целые обозы. Сновали разносчики и артельщики, толкались мелкие биржевые маклеры — «зайцы», раскатывали извозчицы пролетки, визжали и хлопали двери трактиров и контор.

Вереницы широких и узких вывесок всех цветов, золоченые и черные буквы, навесы, столбы и столбики, выкрашенные в зеленую и белую краску, уличные лотки, мальчишки, голуби, поклевывающие конский навоз, бабы в платочках и дамы в шляпках, зазывалы, приказчики — оживленно, шумно и весело, как на гулянье.

Нынешний Васильевский спуск был тогда густо застроен. От храма Василия Блаженного до самой реки стекала оживленная и тоже торговая Москворецкая улица. Здесь стояла церковь Николая Чудотворца Москворецкого, торговали пряностями, воском, свечами, всевозможной упаковкой, обувью и рыбой. Между Москворецкой и Кремлевской стеной лежала Васильевская площадь, а по другую сторону Москворецкой переулки уводили вглубь густо застроенного Зарядья, зажатою между Варваркой и Китайгородской стеной и заселенного московской и пришлой мастеровщиной.

С восточной стороны Китай-город размыкался Варварскими, Ильинскими и Владимирскими (на Никольской улице) воротами. Между ними в районе церкви Иоанна Богослова, что под Вязом, были еще Проломные ворота. Другой границей Города считались Никольские и Спасские ворота Кремля. Возле Иверских (Воскресенских) ворот находились городская дума, долговая тюрьма — Яма, Гражданские палаты, сиротский суд и прочие присутственные места.

Особыми мирами были Толкучка (Толкучий рынок), втиснувшаяся под китайгородскую стену между Никольской и Ильинкой, и Охотный ряд, мясные и овощные лавки которого считались частью Городской торговой зоны.

На месте Ильинского сквера с Плевенской часовней находилась базарная площадка — «Яблочный двор», с узкими проходами меж торговых балаганов и сплошным

деревянным забором. С юго-востока к Китай-городу примыкал Воспитательный дом, территория которого доходила до Солянки и нынешней Славянской площади. Его окружала каменная стена.

С юга под Городом текла река, а к ней лепились и торговые склады, и бани, и работавшие в летнее время купальни. На открытых плотках были устроены «портомойни», в которых, часто на ветру и с мокрыми ногами, московские прачки, кухарки и хозяйки победнее во всякую погоду мыли белье. «Мороз эдак градусов в двадцать с хвостиком — кругом лед, снег скрипучий, ветер пронизывает насквозь, прорубь то и дело подергивает тонкою пленкою льда, стоишь где-нибудь у моста в теплой шубе, надвинув понадежнее шапку, стоишь, переминаешься с ноги на ногу и любишься. На плоту на открытом воздухе идет работа; женщины иные в нагольных тулупах, иные в заячьих шубах, а иные и просто в ватных кацавейках и в серпьяных армяках, в сапогах, в калошах и в башмаках, смотря по состоянию и зажиточности хозяина... работают вальками, вода мерзнет на белье, валёк прилипает...»^[18]

Каменный мост долго был действительно каменным и довольно горбатым. В его средней части находился мощный булыжником проезд для экипажей, а по сторонам располагались широкие, метра в четыре каждый, проходы для пешеходов, обнесенные с двух сторон довольно высокими, по грудь, брустверами и похожие на коридоры. Уже к 1840-м годам мост сильно обветшал и боковые проходы обычно были перегорожены рогатками, так что пешеходы двигались по проезжей части, и это придавало мосту особое оживление. При Александре II Большой Каменный разобрали и построили в 1859 году новый. (Рассказывали, что разбиравший старый мост подрядчик Скворцов забрал добытые камни себе и

использовал для возведения на углу Моховой и Воздвиженки доходных домов.)

Дальше, за рекой, раскинулось Замоскворечье. «Тут ни помещичество, ни администрация, ни люди либеральных профессий не водятся. Купец, мастеровой, фабричный, крестьянин, пришедший на заработки, — вот население Замоскворечья. Всего больше оживлены, набережная и остров, образуемый Москвой-рекой и Обводным каналом. На этом острове мало обывательских домов: тут больше все трактиры, гостиницы... всякого рода склады, казенные дома. Здесь же и Болотная площадь, потерявшая значение прежнего хлебного рынка, с ее мрачными историческими воспоминаниями жестоких казней. Сюда переведены фруктовый и зеленой рынки»^[19].

«На Ордынке, Полянке и прочих им подобных перед вами раскинется любой губернский или, пожалуй, даже лучшая улица уездного города, длинный ряд домов с запертыми воротами, на улице стоя собак, где-нибудь на углу трактир. Жизнь по преимуществу купеческая, самостоятельная, отдельная; овощная лавка, лениво, сонливо едущий извозчик, песня без слов вдали...»^[20]

К северу на месте нынешней гостиницы «Метрополь» стоял квартал «Челышей» — трактир, полпивная, бани, сонмище мелких мастерских, все по фамилии домовладельца.

Во все стороны от Кремля и Китая веером расходились улицы — и аристократические Волхонка-Пречистенка и Арбат, — с тихими, почти сплошь деревянными, изредка оштукатуренными и утопающими в зелени домами-особняками, и торгово-конторская Мясницкая, и главная улица — Тверская, игравшая в Москве роль петербургского Невского проспекта.

Здесь стоял дом генерал-губернатора; «и непрерывный ряд магазинов и лавок, рассчитанных главным образом на потребности приезжающих, и целый ряд отелей и меблированных комнат, от самых невзрачных до первоклассных... Портные и модистки, кондитерские и пекарни, зубные врачи, конторы нотариусов пестрят своими вывесками сверху до низу улицы, поднимающейся на крутой изволок от Охотного ряда до Тверских ворот»^[21]. Здесь же недалеко лежал и Кузнецкий мост — место покупок, гуляний, свиданий, средоточие модных магазинов и парфюмерных лавок, и Большая Дмитровка, где собралось большинство московских клубов.

А чуть свернул с шумной улицы — тихие дворы, сады, пустыри, монастыри с высокими оградами: внутри дремотная зелень, птицы, тихое мерцание свечей в распахнутых дверях храмов, белены кельи, благовест... И снова «шумная, людная улица, по которой вы спокойно идете, приведет вас нежданно-негаданно в какой-нибудь переулок, в котором, делая несколько шагов, вы попадете в третий, в четвертый и потом, к вашему удивлению, осматриваясь, видите какую-нибудь странную местность, какой-то пустырь с огромными бесконечными заборами и с маленькими клетушками вместо домов, с оврагами и кучами сора, со стадами кур, гусей, уток, с роющеюся где-нибудь в углу свиньей, — почти близкое подобие уездного города и торгового села, с кузницей, с грязными полуодетыми ребятишками»^[22].

Пресня с ее узкими и кривыми переулками, круто идущими в гору, выглядела совершенной деревней; Живодерка с Грузинами были подобием крошечного городка мещанского пошиба. По вечерам в переулках с деревянными домишками и заборами было так глухо, что каждому проезжающему и пешеходу становилось

жутко. Между тем эта местность располагалась в двух шагах от Тверской-Ямской, где до поздних часов не прекращалась оживленная езда, в особенности весной и летом.

Такой же захолустный вид имели Хамовники. Они, писал М. Н. Загоскин, «во всех отношениях походят на самый дюжинный уездный городишко. Местами только вымощенные узенькие улицы, низенькие деревянные дома, пустыри, огороды, пять-шесть небольших каменных домов, столько же дворянских хором с обширными садами, сальный завод стеариновых свечей с вечной своей вонью, непроходимая грязь весной и осенью и одна только церковь, впрочем, довольно замечательная по своей древней архитектуре, вот все, что составляет эту прежде бывшую слободу»^[23].

На окраинах города, таких, как Елохово, Лефортово, Пресня, Сущево, бродили в пыли домашние птицы, мальчишки сражались у заборов в бабки, а состоятельные обыватели посиживали летними вечерами у ворот в одних халатах и туфлях на босу ногу или в том же наряде отправлялись с полотенцем через плечо куда-нибудь на речку купаться.

Собаки с удовольствием облаивали редко проезжавшие экипажи, а в летнее время поутру и вечером, дружно мыча, проходили местные коровы.

Как рассказывал мемуарист, «с Егорьева дня (23 апреля) каждое утро бодро звучал в Плетешках рожок пастуха, и наша буренка, как будто дело было не в Москве, а в каком-нибудь Утешкине, присоединялась к стаду Чернавок и Красавок и пастух гнал их по тихим переулкам на большие луговины в извилинах Яузы, возле бывшего Слободского дворца или за садом бывшего загородного дворца Разумовских на Гороховом поле. Скот пасся там с весны до осени. На полдень

коров пригоняли, точь-в-точь как в деревне, по домам и доили»^[24]. Были и овцы, которые тоже ходили в стадо.

Зато Заяузье могло потягаться даже с каким-нибудь губернским городом средней руки. Его средоточием была Таганка, с площадью, кругом обставленной лавками. От площади расходились широкие, с богатыми домами, со множеством больших и красивых церквей боковые улицы, в особенности Большая Алексеевская — «одна из самых красивых московских улиц, хотя и очень малоизвестная и почти без всякого движения, начиная с сумерек..»^[25].

В этом районе за высокими заборами помещались старообрядческие общины, куда доступ непосвященным был практически невозможен; и это придавало местности нечто таинственное. В домах изразцовые цветные лежанки, старинные образа и рукописные молитвы, пустые стены, соломенные плетенки между рам, чтобы с улицы не заглянули; чисто вымытые, струганные, мытые с белой глиной, по-старинному, полы; запах воска и сухих трав, — свой мир с оригинальной физиономией.

Кроме староверов, в этих местах было много мещан, ремесленников, торговцев, трактирщиков, подрядчиков, ямщиков и извозчиков, духовенства, мелких чиновников, в особенности женатых на купчихах. «Быт был самостоятельный, феодальный, с приживальщиками, быт по форме своей почти средневековый»^[26].

Еще дальше лежали городские заставы. Возле них — кордегардии («казармы»), где стояли часовые и находились «щупальщики», которые проверяли возы на предмет контрабанды, особенно винной, — в Москве то и дело вводился винный откуп и ввоз вина строго воспрещался. Прохожие бросали «солдатикам» медяки — рядом, на землю, так как отвлекаться от «часов» тем

не разрешалось и собрать подаяние они могли только по окончании дежурства.

Невдалеке от застав — тюрьмы и «этапы», фабрики, живодерни, монастыри, и снова пустыри, истоптанные в разных направлениях тропинками и кое-где перегороженные заборами, заросшие бурьяном кладбища, группки бредущих богомольцев и крестьян-отходников. За Ходынкой, Таганкой, Симоновым монастырем тянулись луга и массивы капустных и картофельных полей. «Огородный пояс» окружал Москву и доходил до района нынешних Текстильщиков (Чесменка) и Перервы. Лосиный остров был сплошь покрыт дремучим и заповедным лесом, огромный Измайловский парк переходил в обширный Терлецкий лес, а к югу от Павелецкого вокзала лежала на берегу Москвы-реки старинная Тюфелева роща.

По праздникам Москва гудела колокольным звоном и исходила запахом пирогов. Зимой — утопала в снежных сугробах. Тысячи дымов — синих и лиловых — тянулись в небо, и над городом стояла глубокая тишина, нарушаемая только лаем собак, свистом санных полозьев да поскрипыванием валенок и сапог.

Май в Москве был упоителен. Он одевал город в бело-розовое цветение плодовых садов, в белоснежную кипень черемухи и облака разноцветной сирени. В воздухе висел аромат меда и молодой листвы, на прудах голосили лягушки, а в садах, рощах и на кладбищах щелкали-заливались соловьи.

Потом наступало лето, которое радовало меньше. Высыхали московские лужи; в воздух поднимались тучи пыли. Пыль была желтая, пахучая, густая и вездесущая, и когда приходила жара, раздражала горожан до чрезвычайности. Летние улицы в жару вымирали: «мертвенность полная; ставни заперты, и по опустелым

улицам друг за другом гоняются песчаные вихри»^[27], да еще куры копаются в пыли посреди дороги.

Зато вечером, когда спадал жар и пыль прибывало туманом, город вновь оживал. Распахивались все окна, в них появлялись лица, звучали голоса, смех, гитарные переборы; в садах дымили самовары; на лавочках рассаживались кумушки, под липами прогуливались парочки, и жизнь снова была хороша.

Потом приходил сентябрь, и Москва погружалась в вороха опавших листьев, курилась горьковатым дымком осенних костров, пахла сырой землей и яблоками, — и так до октября. Проходили холодные дожди — и город утопал уже в грязи. Прохожие теряли в лужах галоши, брали извозчиков для переезда через улицу и страстно мечтали о зиме.

И она приходила, и вновь скрипел снег, и столбом стояли дымы, и «в сорокаградусные морозы горели на перекрестках костры, собирая вокруг бродяг, пьяниц, непотребных девок, извозчиков и городских. Все это хрипло ругалось отборнейшим российским матом, притоптывало валенками, хлопало рукавицами по бедрам и пускало облака пара»^[28], мечтая в глубине души о новой весне.

И весь этот хаотически застроенный, пестрый, асимметричный, плохо замощенный, пыльный и неопрятный город был прекрасен.

И стоило подняться на 409 ступенек до верхней площадки Ивановской колокольни, чтобы лишний раз взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, и вновь и вновь убедиться в том, что это так и что города, подобного Москве, не было и не будет. И москвичи, а также гости столицы не уставали подтверждать это, карабкаясь и на обходные галереи и вышки Кремлевской стены, и на Сухареву башню, и на монастырские колокольни, чтобы закончить великое

любование на Воробьевых горах. Там, возле самой нынешней смотровой площадки, был знаменитый ресторан Крынкина, с террасы которого открывались дальние дали, и можно было сидеть часами, обозревая окрестности, а потом следовало еще спуститься вниз по склону и там посидеть немного в более непритязательном трактирчике, откуда вид был поближе, но не менее замечательный.

Во второй половине века, после Великой реформы, в промежутке между 1861 и 1865 годами Москва неузнаваемо изменилась. Притом что дома и улицы в основном оставались прежними, город как-то встряхнулся и оживился, ускорился ритм жизни, исчезли захолустность и сонность. Вместо будочников появились полицейские, вместо масляного освещения — керосиновые фонари, казавшиеся великолепными. Уличная толпа стала больше и оживленнее, магазины элегантнее, толпа наряднее; почти исчезли архаичные вывески и старомодные кареты.

Уже в 1860-х годах Москву постиг мощный строительный бум.

Потом, после затишья 1870-х годов, — еще один.

И Первопрестольную начали перестраивать.

«Теперь нам с торжеством говорят нынешние заправилы городского хозяйства, что мы скоро Москву не узнаем, что она будет европейскою вполне; но тогда ей и конец»^[29], — предрекал в 1891 году старый и пристрастный москвич граф Сергей Дмитриевич Шереметев, — и ошибался.

В этой книге речь пойдет о повседневной жизни москвичей на протяжении большей части девятнадцатого века — в основном от Великого пожара 1812 года и до начала 1890-х годов, ибо допожарное житье заслуживает, безусловно, отдельной книги, а с

1890-х годов Москва начала обретать уже черты города двадцатого столетия.

Глава вторая. ДВОРЯНСТВО

«Столица отставников». — Образ жизни вельмож. — А Б. Куракин. — П. А. Демидов. — Ожившие статуи. — А И. Анненкова. — Вестовщики. — Н. Д. Офросимова. — Открытые дома. — Праздники в Кускове. — А Г. Орлов. — Роговые оркестры. — Бал у С. С. Апраксина. — Упадок дворянства. — Семья Бартеневых. — «Приказные». — Московский «Сен-Жермен». — «Свободен от постоя». — Барский дом. — Дворовые. — Шут Иван Савельич. — Салтычиха. — Забота о нравственности. — «Архивные юноши». — Благородное собрание. — «Ярмарка невест»

В последних десятилетиях XVIII и первой трети XIX века, в особенности до Отечественной войны 1812 года, очень заметную роль в повседневности Москвы играло дворянство. Его вкусы, привычки и образ жизни во многом влияли на быт и других сословий. Можно сказать, что дворянство задавало тогда тон в городе, и этот период, продлившийся примерно до 1840-х годов, можно назвать временем дворянской Москвы.

В отличие от Петербурга, который представлялся каким-то вечным чиновником, затянутым в мундир и застегнутым на все пуговицы, Москва уже с конца XVIII века и на протяжении всего XIX столетия воплощала в себе стихию частной жизни. После появления в 1762 году Манифеста о вольности дворянства в России возник феномен вельможного отставника и его столицей сделалась Москва. В Москву уходили «на

покой». В Москву возвращались после завершения карьеры. Как писал А. И. Герцен: «Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства как предвкушение могильной тишины»^[30]. О том же, только более дипломатично, говорил и один из московских генерал-губернаторов, известный писатель Ф. В. Ростопчин: «Все важнейшие вельможи, за старостью делавшиеся неспособными к работе, или разочарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, к которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни. Каждое семейство имело свой дом, а наиболее зажиточные — имения под Москвой. Часть дворянства проводила зиму в Москве, а лето в ее окрестностях. Туда приезжали, чтобы веселиться, чтобы жить со своими близкими, с родственниками и современниками»^[31].

Статус «столицы отставников» и преобладание людей среднего и старшего возраста обуславливали в целом оппозиционно-консервативный характер московского дворянского общества. В аристократических гостиных между вистом и обедом вельможная оппозиция витийствовала, недовольная практически всем, что происходило во властных структурах Петербурга, к которым она уже не имела отношения.

Притом что дворянство в целом считалось высшим и «благородным» сословием, ни облик его, ни положение, ни образ жизни не были едины для всех. Дворянство подразделялось на высшую аристократию, «мнимую» аристократию, претендующую на родовитость и высокое общественное положение, средний круг и мелкопоместных, и эти круги были достаточно

изолированы и мало смешивались между собой, всегда давая понять друг другу о разделяющей их границе. «Мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Доримедонтовы, а Римские-Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича»^[32], — хвасталась московская барыня Е. П. Янькова, урожденная Римская-Корсакова. Особую прослойку составляло мелкое чиновничество, получавшее дворянство по выслуге, но тоже составлявшее совсем отдельный круг, дружно презираемый всеми претендующими хоть на какую-нибудь родовитость.

Наивысшая аристократия, титулованная и богатая («вельможи», «магнаты»), играла наиболее значимую роль в жизни города в основном в последние десятилетия восемнадцатого и в начале девятнадцатого века — до 1812 года. Большое состояние позволяло этой части дворянства жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Множество имений и по несколько роскошных городских домов, нередко с прилегающими к ним парками, наполненными всевозможными «куриозами» и затеями в виде китайских пагод, греческих храмов, затейливых гротов, беседок, оранжерей и прочего, собрания произведений искусства и редкостей, огромные библиотеки, изысканный стол, всевозможные прихоти, даже чудачества, — они могли позволить себе почти все. При их домах были церкви, картинные галереи, хоры певчих, оркестры, домовые театры (в конце XVIII века в Москве было 22 крепостных театра, содержавшихся князем Б. Г. Шаховским, А. Н. Зиновьевым, В. П. Салтыковым, князем В. И. Щербатовым, князем П. М. Волконским и другими вельможами), «манежи с редкими лошадьми, соколиные и собачьи охотники с огромным числом собак, погреба, наполненные старыми

винами. На публичные гулянья вельможи выезжали не иначе, как в ажурных позолоченных каретах с фамильными гербами, на шестерке лошадей в шорах, цугом; головы лошадей были убраны разноцветными кистями с позолоченными бляхами. Кучера и фореиторы были в немецких кафтанах, в треугольных шляпах, с напудренными головами; кучера в одной руке держали вожжи, а в другой длинные бичи, которыми пощелкивали по воздуху над лошадьми. Позади кареты стоял и егерь в шляпе с большим зеленым пером, и арап в чалме или скороход с рослым гусаром в медвежьей шапке с золотыми кистями»^[33].

Французская художница Элизабет Виже-Лебрен, посетившая Москву в 1800 году, вспоминала о своем визите к князю Алексею Борисовичу Куракину на Старую Басманную. «Нас ожидали в обширном его дворце, украшенном снаружи с истинно королевской роскошью. Почти во всех залах, великолепно обставленных, висели портреты хозяина дома. Перед тем, как пригласить нас к столу, князь показал нам свою спальню, превосходившую своим изяществом все остальное. Кровать, поднятую на возвышение со ступеньками, устланную великолепным ковром, окружали богато задрапированные колонны. По четырем углам поставлены были две статуи и две вазы с цветами. Самая изысканная обстановка и великолепные диваны делали сию комнату достойной обителью Венеры. По пути в столовую залу проходили мы широкими коридорами, где с обеих сторон стояли рабы в парадных ливреях и с факелами в руках, что производило впечатление торжественной церемонии. Во время обеда невидимые музыканты, располагавшиеся где-то наверху, услаждали нас восхитительной роговой музыкой... Князь был

прекраснейший человек, неизменно любезный с равными и без какой-либо спеси к низшим»^[34].

К характеристике князя А. Б. Куракина можно прибавить, что его прозвище было «бриллиантовый князь», и вполне заслуженно, потому что пристрастие Куракина к бриллиантам было велико и общеизвестно: его костюм был украшен бриллиантовыми пуговицами, пряжками и аксельбантами; камни блестели на его пальцах, часовой цепочке, табакерке, трости и прочем, и в полном блеске он был запечатлен на своих многочисленных портретах, в частности и на том, что был написан В. Л. Боровиковским и хранится в Третьяковской галерее.

Каждое утро «бриллиантового князя» начиналось с того, что камердинер подавал ему стопку пухлых альбомов, в каждом из которых содержались образцы тканей и вышивок многочисленных княжеских костюмов, и Куракин выбирал наряды на предстоящий день. К каждому костюму полагались своя шляпа, обувь, трость, перстни и все остальное, вплоть до верхнего платья, в одном стиле, и нарушение комплекта (табакерка не от того костюма!) способно было надолго вывести князя из себя.

После смерти от оспы невесты, графини Шереметевой, Куракин навсегда остался холостяком и почти до смерти ходил в завидных женихах, что не мешало ему к концу жизни обзавестись почти восьмьюдесятью внебрачными детьми. Некоторые из его потомков числились крепостными, другим он обеспечил дворянство и даже титулы — бароны Вревские, бароны Сердобины и другие — и оставил наследство, из-за которого потом долго шла нескончаемая и скандальная тяжба.

Кстати, о прозвищах. В дворянской Москве обожали давать прозвища, что вполне соответствовало

патриархально-семейному характеру самого города. К примеру, князей Голицыных в Москве было столько, что, как сострил кто-то, «среди них можно было уже объявлять рекрутский набор» (в рекруты брали каждого двадцатого человека из лиц соответствующего возраста). В итоге почти у всякого Голицына было собственное прозвище — нужно же было их как-то отличать друг от друга. Был Голицын-Рябчик, Голицын-Фирс, Юрка, Рыжий, Кулик, Ложка, Иезуит-Голицын и т. д. Прозвище князя Н. И. Трубецкого было «Желтый карлик». И. М. Долгорукова звали Балкон, князя С. Г. Волконского (декабриста) — Бюхна, некоего Раевского, который «порхал» из дома в дом, — Зефир, и т. д.

Не меньшей своеобычностью, чем А. Б. Куракин, отличался живший недалеко от Куракина на Вознесенской (нынешней улице Радио) Прокопий Акинфиевич Демидов. На гулянья и за покупками на Кузнецкий мост он выезжал в экипаже, запряженном шестеркой цугом: впереди две низкорослые калмыцкие лошадки, на которых восседал гигант-форейтор, буквально волочивший ноги по земле; средние лошади были огромного роста — английские «першероны», а последние — крошки-пони. На запятках красовались лакеи — один старик, другой мальчишка лет десяти, в ливреях, сшитых наполовину из парчи, наполовину из дерюги, и обутые одной ногой в чулке и башмаке, а другой в лапте с онучами. Не особенно избалованные зрелищами москвичи валом валили за этим чудным выездом, а хозяин от такой публичности получал несказанное удовольствие.

Страстный садовод, Демидов во всех своих имениях выращивал теплолюбивые растения — фрукты и цветы — и достиг больших успехов (на портрете кисти Дмитрия Левицкого он так и изображен — с лейкой и цветочными луковичками). В его московском доме в

грунтовых сараях росли персики, в оранжереях зрели ананасы, а клумбы пестрели самыми яркими и редкими цветами. В сад Демидова мог прийти прогуляться всякий желающий из «чистой публики» — ворота не запирались. И вот повадились к Демидову воры. Они рвали цветы и обдирали незрелые плоды, вытаптывая при этом посадки и обдирая кору с деревьев. Огорченный Демидов велел провести расследование и выяснилось, что злодействовали некоторые великосветские дамы, приезжавшие гулять к нему в сад.

Что предпринял бы в подобной ситуации обычный человек — решайте сами, а Демидов придумал вот что. Он повелел снять с пьедесталов украшавшие сад итальянские статуи и поставил на их место дворовых мужиков — совершенно голых и вымазанных белой краской. Как только злоумышленницы углубились в аллею, «статуи» неожиданно ожили и повергли воровок в неопиcуемый конфуз.

Житье на покое при почти неограниченных средствах позволяло московскому барству всячески чудить. Кто-то отливал себе карету из чистого серебра, кто-то строил дом причудливой архитектуры (владельцев одного такого сооружения на Покровке даже прозвали по их дому «Трубецкими-комод»)... «Другой барин не покажется на гулянье иначе, как верхом, с огромной пенковой трубкою, а за ним целый поезд конюхов с заводными лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цветными попонами. Третий не хочет ничего делать как люди: зимою ездит на колесах, а летом на полозках... Воля, братец!.. Народ богатый, отставной, что пришло в голову, то и делает»^[35].

Многие современники оставили воспоминания, к примеру, о странностях и причудах Анны Ивановны Анненковой, урожденной Якобий, матери декабриста И.

А Анненкова. Дочь очень богатых родителей, поздно вышедшая замуж и рано овдовевшая, Анна Ивановна не была никому обязана отчетом и жила в свое удовольствие. За огромное богатство в Москве ее прозвали «Королевой Голконды». Ночь она превратила в день и ночью бодрствовала и принимала гостей, а днем спала, причем, отправляясь почивать, совершала тщательный туалет, не уступавший выходному. Спать она могла только на шелковых нагретых простынях, только при свете (в ее спальне горели особые лампы, спрятанные внутри белоснежных алебастровых ваз, сквозь стенки которых просачивалось лишь приглушенное таинственное мерцание) и под аккомпанемент разговора, для чего у ее постели весь день сидели дворовые женщины и вполголоса разговаривали. Стоило им смолкнуть, как барыня тотчас просыпалась и устраивала разнос. Среди прислуги Анненковой была одна чрезвычайно толстая женщина, вся обязанность которой заключалась в том, чтобы нагревать для хозяйки место в карете, а дома — ее любимое кресло. Когда Анненкова собиралась сшить себе платье, понравившуюся материю она скупала десятками метров, всю, что имелась в продаже, чтобы второго подобного наряда больше не было ни у кого в Москве. При всей своей расточительности, когда невеста ее осужденного на сибирскую ссылку сына, француженка Полина Гебль приехала просить денег, чтобы организовать Ивану побег, Анненкова сказала: «Мой сын — беглец? Этому не бывать!» — и денег не дала.

Вообще московское дворянство могло похвастаться множеством ярких типов и индивидуальностей, своеобразно украшавших собою течение скучных будней. Вот, к примеру, так называемые «вестовщики». Это почти всегда были холостяки, по преимуществу средних лет, даже пожилые. Вся видимая деятельность

их заключалась в том, что они изо дня в день перебивались из одного дома в другой, то к обеду, то в приемные часы, то на вечер, и всюду привозили последние новости и сплетни — как частные, так и государственные, политические. Их можно было увидеть на всех семейных праздниках, на всех свадьбах и похоронах, за всеми карточными столами. Пожилые барыни считали их своими конфидентами и время от времени посылали куда-нибудь с мелкими поручениями. Как и чем они жили, какова была их личная жизнь за пределами гостиных, оставалось для всех загадкой. В их числе еще и в середине столетия известны были князь А. М. Хилков, отставной кавалерист А. Н. Теплов, М. А. Рябинин, П. П. Свињин (вплоть до 1856 года находившийся под полицейским надзором за причастность к делу декабристов), и дворянская Москва не мыслила без этих людей своего существования.

Еще более колоритный тип представляли собой великосветские старушки — знаменитые на весь город старые барыни, которые сохраняли привычки и уклад прошлого века, были живой летописью дворянской Москвы, помнили все ближние и дальние родственные связи, все свчаи и обычаи ровесников и предков, и тем обеспечивали традицию и связь времен. Многие из них пользовались нешуточным авторитетом и влиянием, выступали в качестве блюстительниц общественных нравов и мнений. Иных не только уважали, но и побаивались, как, например, Н. Д. Офросимову, мимо яркой личности которой и Л. Н. Толстой не смог пройти и вывел ее в «Войне и мире» (старуха Ахросимова). Чудаковатая и вздорная, как все старухи, прямая и резкая на язык, Офросимова, что называется, резала правду-матку и делала это прямо в глаза, громко и безапелляционно. Был случай, когда она публично обличила в воровстве и взяточничестве кого-то из московских администраторов, и сделала это в театре в

присутствии самого императора, но большей частью общественный темперамент старой дамы изливался в бытовой сфере. К ней, например, приводили на поклон начинавшую выезжать в свет молодежь, особенно барышень — от одобрения старухи во многом зависела светская репутация будущих невест.

Офросимова терпеть не могла тогдашнюю моду и особенно часто возмущалась по адресу щеголей, позволявших себе, как бы сейчас сказали, остромодные вещи. Кто-то после ее выпадов по своему адресу конфузился и уезжал домой переодеваться, но иногда Офросимова получала и отпор. Однажды она сделала какое-то замечание известному франту Асташевскому и тот, против московского обыкновения, резко ее оборвал.

Слегка опешив, Офросимова воскликнула:

— Ахти, батюшки! Сердитый какой! Того и гляди съест!

— Успокойтесь, сударыня, — прехладнокровно отвечал Асташевский. — Я не ем свинины.

В 1860-1870-х годах роль блюстительницы общественной морали играла княжна Екатерина Андреевна Гагарина, тоже говорившая, мешая русский и французский языки, всем в лицо неприятную правду. На поклон к ней по праздникам и в именины ездила вся Москва. Она же была всеобщей благотворительницей, вечно хлопотала за сирот и неудачников.

При всех прихотях и фантазиях, классическое московское барство не замыкалось в собственной среде. Такие богачи, как С. С. Апраксин, А. П. Хрущов, С. П. Потемкин, графы А. Г. Орлов, К. Г. и А. К. Разумовские, П. Б. Шереметев, князя Н. Б. Юсупов, Ю. В. Долгоруков, Н. И. Трубецкой и другие были гордостью, щедрыми благотворителями и общими благодетелями Москвы. Они поддерживали и хранили ближнюю и дальнюю родню, сослуживцев и земляков, содержали десятки приживалов, опекали сирот, давали

приданое бедным невестам, хлопотали в судах, а еще угощали и развлекали «всю Москву». «Кто имел средства, не скупился и не сидел на своем сундуке, — вспоминала Е. П. Янькова, — а жил открыто, тешил других и сам чрез то тешился»^[36].

Вельможи просто обязаны были держать «открытый стол», за которым сходились «званные и незванные», и даже просто незнакомые, так что за ежедневным обедом могли собраться от двадцати до восьмидесяти человек, и «открытый дом», куда можно было запросто, без приглашения, лишь будучи знакомым с хозяином, приехать «на огонек». «Московский вельможа всегда большой хлебосол, совсем не горд в обществе, щедр, ласков и чрезвычайно внимателен ко всем посещающим его дом»^[37], — писал П. Вистенгоф. За магнатами тянулись аристократы помельче, за ними — среднее дворянство, и почти все до войны 1812 года жили «открытым домом», селили у себя призреваемых из числа дальней родни и беднейших соседей и презрительно отзывались о скаредных «петербургских», которые уже на рубеже XVIII-XIX веков вводили у себя фиксированные приемные дни («журфиксы») и принимали гостей только в эти дни и ни в какие другие.

Прийти обедать к московскому вельможе мог практически всякий дворянин, оказавшийся в столице и не имеющий здесь родни, хотя, конечно, в первую очередь чем-либо связанный с хозяином — его земляк, однополчанин (хотя бы и в другое время служивший в том же полку) или родственник, пусть и самый дальний. Родство в Москве очень чтили, и всегда только что познакомившиеся дворяне, еще прежде начала настоящего разговора, считали своим долгом «счесться родством». «Родство сохранялось не между одними кровными, но до четвертого, пятого колена во всей

силе, — рассказывал современник. — „Ведь ты мне не чужой, — говорили, — бабка твоя Акси́нья Федоровна была тетка моему деду, а ты крестник мне, приходите чаще к нам и сказывайте, в чем нужда вам?“ Дружный сын, однофамилец считались домашними, об них пеклись и, представляя другим, просили быть милостивыми к ним. Заболеет кто из тех или других, — хлопотали, посещали, ссужали деньгами. Каждый юноша знал, к какому отделению он принадлежал, кто родственник, покровитель его. (...) Правнучатый брат (т. е. четвероюродный) матери моей, собираясь из деревни в Москву, писал к ней без околичностей: „сестра, приготовь мне комнаты“, — и поднимались страшные суеты: приготавливали флигель, мыли полы, курили, ставили мебели, и свидание походило на торжество»^[38]. Как замечал В. Г. Белинский: «Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством»^[39].

Для визита к «открытому столу» не требовалось никакого приглашения и иных условий, кроме подтверждаемого дворянского происхождения, соответствующего ему костюма (иногда — мундира) и чинного поведения.

Можно было даже не быть представленным хозяину: достаточно было молча ему поклониться в начале и конце обеда. Про графа К. Г. Разумовского рассказывали, что одно время в его дом вот так ходил обедать какой-то отставной, бедно одетый офицер: скромно раскланивался и садился в конце стола, а потом незаметно уходил.

Однажды кто-то из адъютантов Разумовского решил над ним подшутить и стал допытываться, кто приглашал его сюда обедать. «Никто, — отвечал офицер. — Я думал, где же лучше, как не у своего фельдмаршала». — «У него, сударь, не трактир, —

сказал адъютант. — Это туда вы можете ходить без зову». (Это он врал: хотел покуражиться над провинциалом.)

С этого времени отставник больше не появлялся. Через несколько дней Разумовский стал спрашивать: «Где тот гренадерский офицер, который ходил сюда обедать и сидел вон там?» Выяснилось, что офицера того никто не знает, и где он квартирует, неизвестно. Граф отрядил адъютантов (и того шутника в их числе), чтобы исчезнувшего нашли, и через несколько дней его обнаружили где-то на окраине города, в съемном углу. Граф пригласил офицера к себе, расспросил, и узнав, что привела того в Москву затяжная тяжба и что, дожидаясь решения по ней, он совсем прожился, и дома у него осталась семья без всяких средств, поселил у себя, «похлопотал» в суде, вследствие чего положительное решение по делу последовало почти мгновенно, и потом еще денег дал на обратную дорогу и подарок послал жене, — и все это из одной дворянской солидарности и в соответствии с предписанной для вельмож его ранга традицией.

Колоритное описание обеда за «открытым столом» имеется в одном старинном журнале: «Обыкновенно эти непрошенные, очень часто незнакомые посетители собирались в одной из передних зал вельможи за час до его обеда, т. е. часа в два пополудни (тогда рано садились за стол).

Хозяин с своими приятелями выходил к этим самым гостям из внутренних покоев, нередко многих из них удостаивал своей беседы, и очень был доволен, если его дорогие посетители не чинились, и приемная его комната оглашалась веселым, оживленным говором.

В урочный час столовый дворецкий докладывал, что кушанье готово, и хозяин с толпою своих гостей отправлялся в столовую... Кушанья и напитки подавались как и хозяину, так и последнему из гостей

его — одинакие. Столы эти... были просты и сытны, как русское гостеприимство. Обыкновенно, после водки, которая в разных графинах, графинчиках и бутылках стояла на особенном столике с приличными закусками из балыка, семги, паюсной икры, жареной печенки, круто сваренных яиц, подавали горячее, преимущественно состоявшее из кислых, ленивых или зеленых щей, или из телячьей похлебки, или из рассольника с курицей, или из малороссийского борща...

За этим следовали два или три блюда холодных, как то: ветчина, гусь под капустой, буженина под луком... судак под галантином... разварная осетрина... После холодного непременно являлись два соуса; в этом отделе употребительнейшие блюда были — утка под рыжиками, телячья печенка под рубленным легким, телячья голова с черносливом и изюмом, баранина с чесноком, облитая красным сладковатым соусом; малороссийские вареники, пельмени, мозги под зеленым горошком... Четвертая перемена состояла из жареных индеек, уток, гусей, поросят, телятины, тетеревов, рябчиков, куропаток, осетрины с снятками или бараньего бока с гречневой кашей. Вместо салата подавались соленые огурцы, оливки, маслины, соленые лимоны и яблоки.

Обед заканчивался двумя пирожными — мокрым и сухим. К мокрым пирожным принадлежали: бланманже, компоты, разные холодные кисели со сливками... мороженое и кремы. Эти блюда назывались мокрыми пирожными, потому что они кушались ложками; сухие пирожные брали руками. Любимейшие кушанья этого сорта были: слоеные пироги... зефиры, подовые пирожки с вареньем, обварные оладьи и миндальное печенье... Все это орошалось винами и напитками, приличными обеду... Желаящие кушали кофе, но большинство предпочитало выпить стакан или два

пуншу, и потом все откланивались вельможному хлебосолу, зная, что для него и для них, по русскому обычаю, необходим послеобеденный отдых»^[40].

Московские вельможи периодически устраивали праздники, на которые мог прийти любой горожанин, вне зависимости от происхождения. И многие из «магнатов» делали это с удовольствием и размахом. В московское предание конца XVIII века вошли праздники, которые давал у себя в ближней подмосковной — Кусково — граф Петр Борисович Шереметев. Устраивались они регулярно летом (с мая по август) каждый четверг и воскресенье и вход был открыт всем — и знатным, и незнатным, и даже не дворянам, лишь бы одеты были не в лохмотья и вели себя благопристойно. Гости в Кусково валили валом и от души следовали приглашению хозяина «веселиться, как кому угодно, в доме и саду». «Дорога кусковская, — вспоминал Н. М. Карамзин, — представляла улицу многолюдного города, и карета обскакивала карету. В садах гремела музыка, в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого озера (так можно назвать обширный кусковский пруд). Спектакль для благородных, разные забавы для народа и потешные огни для всех составляли еженедельный праздник Москвы»^[41]. Одних театров в Кускове было три, и в них играли собственные шереметевские крепостные актеры — в их числе знаменитая Прасковья Жемчугова, на которой в конце концов женился сын Шереметева — Николай Петрович.

По большому пруду катались на шлюпках и гондолах. Играли графские оркестры: роговой и струнный. Пели графские певчие. На площадке за Эрмитажем желающих ждали карусели, качели, кегли и прочие «сельские игры и потехи». По вечерам в небе

зажигались красочные фейерверки. Гостям бесплатно разносили чай и фрукты из графских оранжерей и садов.

Москвичи приезжали в Кусково на несколько дней. Останавливались где-нибудь в деревне у крестьян, потом устраивали продолжительную экскурсию по имению и напоследок принимали участие в празднике.

Популярность кусковских празднеств была столь велика, что содержатель первого московского увеселительного сада — «Воксала», англичанин Майкл Медокс жаловался всем знакомым на графа Шереметева, который «отбивает у него публику». «Скорее уж это я могу жаловаться на него, — возразил Шереметев. — Это он лишает меня посетителей и мешает даром тешить людей, с которых сам дерет горяченькие денежки. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может статься, был бы у меня...»

Шереметевские праздники были далеко не единственными в Москве. В летнее время чудесные гулянья с музыкой и угощением устраивал у себя на Гороховом поле граф А. К. Разумовский. В июле здесь на берегу Яузы затевался настоящий показательный сенокос с нарядными крестьянами, которые сперва косили сено, а потом водили хороводы на скошенном лугу. Ворота, соединявшие парк Разумовского с соседним парком Демидова (того самого любителя садоводства), распахивались в такие дни настежь, и гости могли много часов подряд гулять по громадному парковому пространству, наслаждаясь всевозможными красотами и почти сельским привольем.

Некто Власов (женой его была родная сестра знаменитой «княгини Зенеиды» — З. А. Волконской) имел под Москвой имение, в котором по праздникам веселилось (за хозяйский счет) до 5 тысяч человек.

«Ничто из всех его оранжерей не продавалось, — вспоминал бывавший на этих гуляньях Н. Д. Иванчин-Писарев, — он любил смотреть на деревья, осыпанные плодами, а после отдавал плоды кому угодно: люди его играли в кегли померанцами, а ананасы всех известных сортов рассылались соседям и московским приятелям корзинами. Я упомянул о парках, — продолжал он, — это был лес на четыре версты. Власов призвал англичан, немцев, да более 500 русских, чтобы вырубить в нем все не живописное, а оставить клумбами и парками одно картинное; проложил английские дорожки лабиринтами; убрал мостиками, пустынками, и мы, ходя по этому пространству и устав, садились на линейки и объезжали, дивясь сюрпризам видов на каждом шагу». После гуляний для приглашенных устраивались парадные обеды, причем, как особо подчеркивал Иванчин-Писарев, «у него никого не смели обнести или дать худшего вина: князя Юсупов и Голицын не могли спросить себе, чего бы не налили Панкрату Агаповичу Гаронину»^[42].

Однако особой известностью в Москве первых лет XIX века пользовались гулянья и праздники у графа Алексея Григорьевича Орлова на Калужском шоссе (там, где сейчас Нескучный сад). С конца XVIII века Орлов принадлежал к числу самых ярких московских звезд. Было время, когда он очертя голову кидался в большую политику: сажал на трон великую Екатерину, доставлял к ней из Италии захваченную обманом самозванку княжну Тараканову, воевал турок. Несчастный император Петр III, как деликатно выражался один давний историк, скончался «буквально в его, Орлова, объятиях»... Потом настало другое время, и Орлов осел в Москве, восхищая горожан своей статью, добродушием и открытостью, неимоверной физической силой: он шутя разгибал подковы и сворачивал в

трубочку серебряные рубли. Это был человек азартный и любивший яркие ощущения, любил поражать Москву широтой натуры и щедростью: выезжая на публичные гулянья, бросал в народ целые пригоршни серебряной монеты.

Именно Орлов завел в Первопрестольной конные бега (прямо перед его домом был устроен ипподром) и непременно сам в них участвовал, демонстрируя кровных, собственного завода, «орловских» рысаков. Он выставлял великолепных птиц на гусиные и петушиные бои. На Масленной неделе он выходил, вместе с другими, на лед Москвы-реки и участвовал в кулачных битвах, сывая почти до старости одним из лучших бойцов. Иногда, чтобы еще раз испытать свою силу, он приглашал к себе домой кого-нибудь из прославленных силачей и бился с ним на кулачках.

Праздники А. Г. Орлова устраивались — для всякой прилично одетой публики, включая крестьян (не пускали только нищих) — в летнее время каждое воскресенье, и здесь были и музыка, и фейерверки, и конные ристания, и театральные спектакли на сцене открытого Зеленого театра, в котором кулисами служила садовая зелень. На открытых эстрадах пели собственные графские песельники и настоящий цыганский хор — Орлов первым из русских вельмож выписал его из Молдавии и стал зачинателем общероссийской моды на цыганщину. Выступал, наконец, и орловский роговой оркестр, оглашавший парк звуками неземной красоты.

Роговые оркестры из крепостных вообще были у многих московских аристократов. Состояли они из 30–60 усовершенствованных охотничьих рогов разной длины и диаметра. Самые большие могли превышать два метра; при игре их опирали на специальные подставки. Были и маленькие рога — сантиметров тридцать в длину. Каждый рог издавал только один звук. Сыграть

мелодию, пользуясь всего одним рогом, было невозможно — это было доступно лишь целому оркестру, в котором каждый музыкант вовремя вступал со своей единственной нотой. Репетиции рогового оркестра были невероятно трудны; музыкантов буквально муштровали, чтобы достичь согласованного и верного звучания, зато результат превосходил всякое описание. Когда в разгар праздника где-нибудь за деревьями или на глади пруда с лодок начинал звучать роговой оркестр, слушателям казалось, будто они слышат звуки сразу нескольких больших органов, состоящих из фанфар. Впечатление было волшебным. Особенно красиво звучала мелодия над водой, и владельцы роговой музыки, в их числе и Орлов, часто заставляли оркестр медленно проплывать по реке мимо места проведения праздника, сначала в одну, потом в другую сторону.

После 1812 года блеск развеселого барского житья в Москве постепенно стал тускнеть. «Войны... нарушили старинные привычки и ввели новые обычаи, — свидетельствовал граф Ф. В. Ростопчин. — Гостеприимство — одна из русских добродетелей — начало исчезать, под предлогом бережливости, а в сущности вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, и число их увеличивалось по мере увеличения трудности являться к обеду незваным, проживать у родственников или приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных слуг, которых удерживали из чванства или из привычки видеть их. Важных бояр, подобных Долгоруким, Голицыным, Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышевым и Шереметевым, больше уже не было. С ними исчез и тот вельможеский быт, который они сохраняли с начала царствования Екатерины»^[43]. Постепенно и «московские» стали вводить

«фиксированные дни», исчез «открытый стол», реже и скромнее сделались балы, незаметнее кареты...

Произошло это, конечно, не сразу: время от времени кто-нибудь из вельмож поднатуживался и пытался потряхнуть стариной. В 1818 году, когда в Москве был Двор, приехавший на первый юбилей победы над Наполеоном, в доме Апраксиных был дан бал на 800–900 человек, гостями которого стала не только императорская семья, но и многочисленные иностранные гости. Как рассказывал Д. И. Никифоров, «император Александр I при представлении ему С. С. Апраксина выразил желание быть у него на вечере. Польщенный вниманием государя Апраксин пригласил в этот вечер, кроме свиты государя, все московское дворянское общество в свой знаменитый дом на углу Арбатской площади и Пречистенского бульвара». Нарочные были немедленно посланы в подмосковную, оттуда доставили тропические растения в кадках из оранжерей и необходимый запас провизии, так что подготовка праздника даже стоила недорого. Ужин был подан в апраксинском манеже, превращенном в зимний сад, с пальмами, клумбами, фонтанами и усыпанным песком дорожками. «Оркестр, прислуга своя, и провизия к ужину не покупная, — писал Никифоров. — Великолепный бал стоил графу всего пять тысяч ассигнациями. Конечно, там не было ничего сверхъестественного, показного, ни мартовской земляники, ни январских вишен, ничего ненатурального и противного природе и климату, а было то, что соответствовало времени и стране»^[44]. В 1826 году запоминающийся праздник со спектаклем в собственном театре, балом и парадным ужином в честь коронации Николая I устроил князь Юсупов... Но все же это были уже внутридворянские праздники, и рядовой горожанин мог прикоснуться к торжеству, лишь

заглянув в освещенные окна или смотря сквозь решетки ограды на блестящий в парке фейерверк.

В числе последних московских хлебосолов считался Сергей Александрович Римский-Корсаков, который еще и в середине 1840-х годов давал в своем доме возле Страстного монастыря веселые балы и маскарады с большим числом приглашенных и с обильными обедами, но это были уже самые последние вспышки былого великолепия. Российское дворянство беднело и все туже затягивало пояса. «Теперь нет и тени прошлого, — вздыхала Е. П. Янькова, — кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидит у себя тихонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. Роскоши больше, все дороже, нужды увеличились, а средства-то маленькие и плохенькие, ну, и живи не так как хочется, а как можется. Подняли бы наших стариков, дали бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы — на что она стала похожа...»^[45]

Уже после войны стали появляться в московской аристократии и такие персонажи, как семья Бартеневых, полностью разоренная после кончины отца семейства, но умудрявшаяся оставаться в числе знати.

«С раннего утра семья поднималась на ноги, — рассказывала Е. А. Сабанеева, — детей умывали, одевали, сажали в карету, и Бартенева отправлялась к ранней обедне, затем к поздней, и все это по разным монастырям или приходским церквам. После обедни на паперти (чтобы заморить червячка) покупались у разносчиков и совались детям иной раз баранки, иной раз гречневики или пирожки. Затем все садились снова в карету, и Бартеневы ехали к кому-нибудь из знакомых, где пребывали целые дни — завтракали, обедали и ужинали, смотря, так сказать, по

вдохновению... где Бог на сердце положит. Дети Бартеневой были разных полов и возрастов; в тех домах, где были гувернантки, старшие из них пользовались уроками вместе с детьми хозяев дома, а младшие были такие укладистые ребятишки! — кочующая жизнь по Москве развила в них способность засыпать по всем углам гостиных, или же, прижавшись в чайной под столом, прикорнуть глубоким сном невинности, если маменька поздно засиживалась в гостях. Иной раз поздно ночью Бартенева распростится с хозяевами, направится в переднюю, кликнет своего старого лакея, велит подобрать сонных детишек, снесут их в карету, и семья возвращается досыпать остальные часы ночи в их большой, часто плохо протопленный дом»^[46]. Был случай, когда одна из девочек была забыта спящей в карете, и ночью, проснувшись в каретном сарае, принялась громко кричать, чем наделала переполоху на всю улицу.

Вскоре у одной из старших дочерей Бартеневой, Полины, обнаружился великолепный оперный голос и ее стали приглашать к участию во всех московских любительских концертах. Московский поэт И. П. Мятлев даже посвятил П. Бартеневой стихи:

Ах, Бартенева — мамзель,
Ты — не дудка, не свирель,
Не волынка, а такое
Что-то чудное, святое,
Что никак нельзя понять...
Ты поешь, как благодать,
Ты поешь, как упование,
Как сердечное рыданье...
Черт ли в песне соловья,
В песне Гризи! Как твой голос
Зазвучит, вдруг дыбом волос,

Сердце всё расшевелит,
Даже брюхо заболит.

На одном из концертов ее услышала императрица Александра Федоровна (жена Николая I) и взяла к себе фрейлиной.

Самую низшую прослойку московского дворянства составляли гражданские чиновники, служившие в учреждениях города. В массе своей они относились к племени «приказных», к низшим классам Табели о рангах, к тому презируемому всеми «крапивному семени», о котором так много и со вкусом писала русская классическая литература. По выслуге все они, даже разночинцы по рождению, рано или поздно выходили в дворяне — сперва в личные, потом в потомственные, и пополняли собой ряды «благородного сословия», но и до и после наступления этого счастливого момента своими в среде «настоящего» дворянства никогда не становились. Чиновников в Москве вообще не любили и всячески бранили, обзывая: «чернилами», «скоморохами», «пиявками», «пьяными мордами» и даже почему-то «земляницей» (привет Н. В. Гоголю!). Услугами приказных поневоле пользовались, их общество по необходимости терпели, но чиновничий мирок так и оставался изолированным и самодостаточным.

В этом сословии, как и вообще в Москве, на протяжении «дворянской эпохи», наблюдался замечательный прогресс. Мелкий чиновник допожарного времени, истинный «приказный», воплощал в себе традиции бюрократии восемнадцатого века. Он было скверно и дешево одет: наиболее распространены были сюртуки и шинели из фриза — грубой ворсистой шерстяной ткани, считавшейся воплощением бедности. От него несло перегаром,

борода его была плохо выбрита, невесть когда мытые и нечесанные волосы свисали грязными сосульками. Нечищенные сапоги просили каши и позволяли видеть торчащие наружу пальцы — никаких носков или обмоток приказный не носил. Руки его были перемазаны табаком и чернилами, чернильные пятна испещряли щеки — истинный приказный имел привычку закладывать перо за ухо. Манеры обличали отсутствие какого бы то ни было воспитания. Он сморкался в кулак, сопел и пыхтел, изъяснялся длинными и невразумительными периодами, — словом, был явно и недвусмысленно человеком дурного тона. (И это дворянин!)

В послепожарный период чиновничество довольно быстро и заметно цивилизовалось. Чиновник новой формации следил за чистотой и модой, щеголевато одевался, прыскался духами, носил запонки и кольца с фальшивыми бриллиантами, часы с цепочкой, помадил модно причесанную голову, курил дорогие папиросы, знал несколько французских фраз и кстати умел их ввернуть, волочился за дамами, был членом какого-нибудь клуба, а летом по воскресеньям совершал променады по Александровскому саду или посещал какой-нибудь загородный «Элизиум».

Делились чиновники на танцующих и не танцующих; на «употребляющих» и «не употребляющих».

Крайне редко встречались не употребляющие и не танцующие.

Поскольку большинство московских присутственных мест было сосредоточено в Кремле и возле него в Охотном ряду, то и значительная часть дня чиновника проходила тут же. Он начинал день около девяти утра с молитвы перед Иверской, в три часа, по завершении присутствия, отправлялся обедать в один из охотнорядских трактиров, потом здесь же до вечера курил трубку, играл с маркером на бильярде, пил

наливку и читал газеты и журналы, а по дороге домой рассматривал витрины и вывески. По воскресеньям он посещал танцкласс, а вечерами порой отправлялся в театр. Семейный сразу после службы спешил домой, где после обеда читал какую-нибудь книгу (все равно какую, вплоть до оперных либретто) и возился с принесенными со службы (в узелке из платка; портфелей с ручками в то время не было) недоделанными делами.

Жалованье у московских чиновников было смехотворным — в 10, 20, 25 рублей, а то и меньше. Вплоть до 1880-х годов столоначальник Московского сиротского суда получал 3 рубля 27 копеек в месяц. (Узнав об этом, московский городской голова Н. А. Алексеев буквально ахнул и увеличил чиновные оклады сразу в 40 раз.) Естественно, что все остальное, нужное для жизни, чиновники добирали взятками. Брали — «по чину», но если старинному стряпчему достаточно было сунуть в кулак пятерку, то к эмансипировавшемуся чиновнику меньше чем с четвертной (25 рублей) неловко было и подходить, а кроме того, их принято было кормить хорошим (и очень дорогим) обедом в гостинице Шевалье или Будье. В итоге «жрец Фемиды, служащий в каком-нибудь суде на трехстах рублях жалованья в год»^[47], нередко умудрялся не только обитать в хорошеньком особнячке, но и содержать пару лошадей, а в придачу еще и нестрогую красавицу.

У Иверских ворот и возле Казанского собора толпились безместные и отставные (зачастую по причине алкоголизма или темных дел) стряпчие, — часто оборванные и опухшие от пьянства, готовые за минимальную плату (в 10–25 копеек) написать какое угодно прошение и вести любую тяжбу, а также пронырливые ходатаи по делам, различные

комиссионеры и профессиональные свидетели — темная публика, наихудшая часть «крапивного семени». Эти «Аблакаты от Иверской» были одной из достопримечательностей Москвы во все протяжении девятнадцатого века.

Наиболее густо обитали чиновники под Новинским, в Грузинах, в переулках на Сретенке, на Таганке, на Девичьем поле, а порой и в Замоскворечье, где занимали наемные квартиры.

Не мешающееся с «приказными» «настоящее» дворянство селилось в других местах — на Маросейке, Покровке с близлежащими переулками, в Басманной и Немецкой слободах и на примыкающем к ним Гороховом поле, а также на территории между Остоженкой и Тверской и на расположенных рядом Зубовском и Новинском бульварах. Местность между Остоженкой и Арбатом даже называли «московским Сен-Жерменом», по аналогии с аристократическим пригородом Парижа. Кстати, «московский Сен-Жермен» тоже был почти пригородом — далекой окраиной. Не случайно И. С. Тургенев, начиная свою повесть «Муму», основанную на событиях, происходивших в доме его матери, пишет об Остоженке, как об одной из «отдаленнейших улиц Москвы».

Вплоть до конца XIX века за нынешним Садовым кольцом начинались городские предместья с редкими неказистыми домишками, пустырями, замызганными рощицами и почти деревенским привольем. Территория Девичьего поля была уже загородом, дачным местом (где, в частности, на даче князей Вяземских бывал А. С. Пушкин).

Жизнь в «дворянских» районах шла тихая и сонная. Фонари, как положено на окраинах, стояли редко. Мостовые кое-как были замощены булыжником. Летним утром, словно в деревне, раздавался пастушеский рожок, и сонная прислуга, распахнув ворота, выгоняла

на улицу коров, которые сбивались в стадо и весело мыча, брякая колокольцами и оставляя на дороге свежие «блины», устремлялись к ближайшему пастбищу, обычно на берег реки или на пустырь, на Девичье поле или к Донскому монастырю.

Ближе к полудню появлялась подвода с большой бочкой. Рядом с бочкой сидел мужик и время от времени расплескивал ковшиком воду на мостовую — «поливал» улицу.

В «дворянских» кварталах вплоть до 1840-х годов почти не было торговых заведений, за исключением булочных (еще именуемых по старинке «калашнями»), съестных и мелочных лавок.

Дома большей частью были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами, часто с мезонинами; в 7-9 окон по фасаду, оштукатуренные и выкрашенные в приглушенные цвета — белый, голубой, светло-розовый, фисташковый, кофейный; иногда с маленькими щитами для гербов на фронте. Желтый, который у нас чаще ассоциируется с «ампирной» Москвой, считался «казенным» и для «барских» домов использовался редко.

За домом непременно был сад с липами — для тени и аромата, бузиной, сиренью и акациями, иногда очень большой, причем чем дальше от центра отстояла усадьба, тем больших размеров был сад. Так, усадьба Олсуфьевых на Девичьем поле (и не она одна) могла и в середине века похвастаться целым парком, занимавшим несколько десятин земли, с вековыми деревьями и даже пастбищем для скота. Впрочем, большинство усадеб с большими парками уже к 1830-1840-м годам были проданы в казну: потомки магнатов оказывались не в состоянии содержать дедовские хоромы, которые, к тому же, часто оказывались сильно пострадавшими от пожара и разграбления 1812 года. Дом уже знакомого нам князя Куракина был в это время

занят Коммерческим училищем, дворцы Демидова и Разумовского — Елизаветинским женским институтом и приютом для сирот; в блестящих дворцах Пашкова на Моховой и Мусина-Пушкина на Разгуляе и даже в доме «Трубецких-комод» шумели мужские гимназии...

Просторный и не особенно чистый двор барского дома был обставлен службами: людскими, конюшнями, погребями, каретными сараями. Непременно особняком стояла кухня: помещение ее под одной крышей с господскими покоем считалось недопустимым. На конюшне стояло десятка два лошадей; в хлеву одна или несколько коров. На широких воротах красовалась на одном из пилонов надпись: «дом ротмистра и кавалера такого-то» или «генеральши такой-то», а на другом обязательно: «Свободен от постоя».

Происхождение последней надписи требует пояснения. Долгое время в Москве, как и в других городах, расквартированные в городе войска не имели специальных казарм и размещались по обывательским квартирам. Постоянную повинность должны были нести все — и мещане, и аристократия. Естественно, что дворянству она казалась особенно обременительной: приходилось терпеть под своей кровлей посторонних людей, далеко не всегда воспитанных (даже если на постое были офицеры), которые часто вели себя бесцеремонно и приставали к женской прислуге. Словом, в конце концов дворянство нашло выход: добились права построить на свои, собранные по подписке, средства городские казармы, с тем чтобы участники сбора освободились от постоянной обузы. Так появились Хамовнические казармы, построенные на средства обитателей «Сен-Жермена», Красные казармы в Лефортове, казармы на Петровке, Покровские и Спасские (на Садово-Спасской).

Изредка ворота с надписью «Свободен от постоя» распахивались и появлялся «выезд» — четыре, а то и

шесть лошадей, запряженных «цугом» (гуськом попарно) в шестистекольную карету, непременно с гербами (которые у титулованных были увенчаны геральдическими коронами) и с фореитором, сидевшим верхом на правой передней лошади, и двумя выездными лакеями на запятках: кто-то из обитателей отправлялся с визитом или в церковь. Ездить неподобающим образом в дворянской Москве долго было не принято; пешком же старинные дворяне ходили только на гулянье. Число лошадей в выезде в XVIII и первых годах XIX века напрямую было связано с чином: чем выше чин, тем престижнее упряжка. Еще в 1775 году был опубликован манифест, устанавливающий эту связь: особам 1-2-х классов полагалась шестерка с двумя фореиторами, 3-5-х — шестерка без фореиторов, 6-8-х — четверка, 9-14-х классов — пара. Коронованным особам полагалось в торжественных случаях восемь лошадей. М. А. Дмитриев вспоминал, как страстно хотел возвыситься в чине его дед: это дало бы ему возможность запрягать в выезд четверню, а «при его богатстве ездить парой ему было обидно» ^[48].

В 1820-х годах многоконные упряжки, как и гербы на дверцах, почти вышли из употребления. К 1827 году ездить цугом казалось уже ужасно старомодно, и даже в царский экипаж стали запрягать всего четыре лошади. Пожилые сановники и высокопоставленные немолодые дамы к этому времени стали ездить на паре обязательно породистых и красивых лошадей, запряженных летом в удобную карету, а зимой в широкие, просто-таки «двухспальные» сани с дорогой медвежьей полостью, на запятках которых все-таки красовался лакей в ливрее и шляпе с позументом. Верность традиции сохраняли к этому времени лишь некоторые старые барыни, по старинке не мыслившие себе достоинства без выезда, соответствующего их (а

точнее, их мужей или отцов) чину. Случалось, что когда такая старозаветная дама собиралась в приходской храм, расположенный через дом или два от ее усадьбы, передняя пара лошадей из ее упряжки уже вступала за церковную ограду, в то время как карета с хозяйкой еще не покидала собственного двора. На новации они смотрели косо и ворчали, подобно Е. П. Яньковой: «Что по нашему за срам и стыд считали — теперь нипочем... А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки. Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставить напоказ: а то куда же их прикажете девать, в сундуках, что ли, держать, или на чердаке с хламом? На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать — не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба: свой да мужнин, и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь Простопятова, да статочное ли это дело?.. А в каретах на чем ездят? Я уж не говорю, что не четверней: теперь и двух десятков по всей Москве не найдешь, кто бы четверней ездил, а то просто на ямских лошадях. В мое время за великий стыд почитали на ямских лошадях куда-нибудь ехать, опричь рядов или вечером на бал, когда своих пожалеешь, а теперь это все нипочем: без зазрения совести в простых наемных каретах таскаются по городу среди белого дня или, того еще хуже, на извозчиках рыскают. Год от года все хуже и хуже становится, и теперь глаза уж не глядели бы и не слушала бы про то, что делается!..»^[49]

Вообще взаимосвязь престижа и выезда сохранялась очень долго, и не только в дворянской среде. М. М. Богословский вспоминал о 1870-х годах: «Крупные доктора, получавшие хорошие гонорары, ездили летом в каретах, а зимою в парных санях непременно с высокой спинкою... Выше был гонорар — лучше был и выезд... но, с другой стороны, и высота

гонорара при первых или случайных визитах определялась по экипажу: приедет на одиночке — 3 рубля, приедет на паре — 5 рублей; в карете — 10 рублей»^[50].

Вплоть до Крестьянской реформы в большинстве дворянских семей хорошим тоном считалось иметь собственных лошадей, свой экипаж, своего кучера и конюха для каждого взрослого члена семьи. Извозчиком дозволялось изредка пользоваться только мужчинам (чаще молодым); дамы «из общества» на извозчике в то время почти никогда не ездили: это считалось ужасным «моветоном».

Обстановка дворянских домов менялась редко. Лишь для молодой семьи дом обставляли заново и, как правило, супруги продолжали жить в этой обстановке до самой своей смерти. Поэтому до самого конца дворянской Москвы в барских домах оставалось все, как встарь — мебель красного дерева в стиле ампир, потускневшие зеркала, стеклянные горки со старинным фарфором, старые, карельской березы, шкафчики и диваны александровского времени, акварели на стенах, фамильные портреты, библиотечные шкафы с тускло поблескивающими золотом старинными корешками — всё французские названия; в книжках вклеенные гравюры, переложенные мятой папиросной бумагой, засушенные цветы меж страниц, лиловые и голубые ленточки-закладки.

Дом делился на парадную и жилую половины. Парадные комнаты (зал и гостиные) в среднем дворянском доме были обставлены более или менее дорого и стильно: здесь сосредоточивались подобранная в гарнитуры мебель, изящные безделушки, художественная бронза, картины и проч. Использовались эти помещения преимущественно при появлении гостей; в остальные дни мебель тут была

прикрыта полотняными чехлами, люстры и картины — пыльной кисеей. Лишь изредка возле окон гостиной пристраивался с работой кто-нибудь из женского населения дома: дневное освещение в парадных комнатах было лучше.

Жилые комнаты, куда посторонних не пускали, находились на антресолях и в тыльной части дома, выходя окнами в затененный сад или во двор. Здесь комнатки были маленькие и тесные, кое-как обставленные. В них размещались все члены семьи, домочадцы и прислуга. Здесь же находились разного рода буфетные и сундучные, в которых хранились посуда и всякие вещи, а также девичья, в которой шили платье и головные уборы и гладили.

Другим обязательным делением дома были мужская и женская половины. На мужской находились кабинет, библиотека, курительная и т. п. На женской — спальня, будуар, диванная. Деление было четким, хотя непроходимой границы между половинами, конечно, не было. Хозяин и хозяйка принимали «своих» личных гостей только на собственной половине.

Освещались дворянские дома в основном сальными свечами. Форточек было мало и вместо проветривания комнаты чаще «освежались курением» — дымом подожженной «смолки». Она представляла собой конусообразный футляр из бересты, сантиметров 25–30 в длину, наполненный каким-то смолистым составом. Конус держали за острие, а сверху укладывали горящий уголек и потом носили по комнатам. Смолистый состав плавился и наполнял дом своим ароматом. Другим способом освежения было положить в медный таз мяту, залить ее уксусом и опустить в жидкость раскаленный кирпич. Имелись и горящие курильницы, на которые — лили духи (наподобие нынешних аромаламп). Уборка производилась везде, кроме спален, рано утром, пока господа спали, и была довольно поверхностной. Зато

перед праздниками устраивали генеральную уборку и тогда в доме по два-три дня все стояло вверх дном.

Ели в дворянских домах, как и везде в Москве, часто и помногу. Поутру, в полдевятого-девять, пили чай со сливками и белым хлебом (калачами, солеными бубликами); около полудня обильно завтракали чем-нибудь горячим и часто мясным, что считалось слишком простым для обеда, — битками, котлетами, оладьями, сырниками, яичницей, а часто всем сразу. Между двумя и пятью часами был обед, который даже в будни за семейным столом насчитывал пять-шесть блюд, не считая закуски. К обеду обычно бывали «полугости» — постоянно бывавшие в доме.

Далеко не все московские дворяне даже и во второй половине века были поклонниками европейской кухни. По-прежнему хватало и любителей отечественного продукта. Многие, особенно в будни, любили пироги, кулебяки, ботвинью, жареную баранину, поросенка с хреном и прочие русские лакомства, причем дело не обходилось и без чудачеств. Вся Москва знала старушку-барыню Марфу Яковлевну Кроткову — большую обожательницу каши. Эту кашу ей подавали каждый день — и за простым, и за званым обедом — по пять-шесть сортов, всякую: пшенную, манную, гречневую, овсяную, пшеничную, крутую и размазную, молочную, с изюмом, с грибами, с мозгами, со сметочками. Старушка и себе накладывала по изрядной порции каждого сорта и блаженствовала, и о гостях не забывала, бдительно следя, чтобы каждому досталось по полной тарелке. Гости ели и кряхтели. Отказаться было нельзя: к своей обожаемой каше Кроткова относилась очень ревниво и на каждого, кто ею пренебрегал, ужасно обижалась.

При раннем обеде часов в шесть подавался полдник — пироги, чай, простокваша, ягоды со сливками, а вечером, часов в девять, ужин, за которым в небогатых

домах доедали обеденные остатки, а в богатых специально готовили два-три блюда, иногда холодных. Если вечером в доме бывали гости, то чай подавался в 11 часов вечера в кабинете или гостиной.

Даже скромный званый обед за дворянским столом до середины XIX века (в отличие от будничного чаще на французский лад) состоял из двух супов (супа и бульона-консоме) с пирожками; «холодного» — галантина, майонеза, фрикассе, паштета и т. п.; «говядины» — то есть мясного блюда; рыбного блюда; «жаркого» — то есть блюда из птицы или дичи; овощного блюда — спаржи, артишоков, горошка и т. п. (сюда же включались грибы) и двух десертов. Отдельно на особый стол к водке выставлялось минимум два вида закусок (мясных или рыбных) и два «салата» — свежий и соленый (в числе последних считались соленые грибы). Что же касается больших званых обедов, то на них хозяева изощрялись в щедрости и выдумке, а повара в своем искусстве, и гостям предлагалось двадцать, тридцать, иногда и больше блюд несколькими переменами и обязательно какие-нибудь гастрономические редкости — спаржа, земляника, персики и виноград в разгар зимы, деликатесная рыба необыкновенных размеров, особого качества телятина или индейка, английские устрицы и прочее, на что специально обращалось внимание гостей. Такой обед мог тянуться часа четыре, и пока были живы старинные традиции, принято было все блюда каждой перемены одновременно выставлять на стол, а сопровождать обед «живой музыкой» собственного крепостного оркестра. Позднее блюдами стали обносить. На званых ужинах полагался суп и несколько горячих блюд.

Население большинства дворянских домов было многочисленно: помимо хозяев — то есть родителей с детьми разного возраста, в доме могли жить племянники и племянницы, незамужние родные или

двоюродные и троюродные сестры мужа или жены, кто-то из одиноких старших (овдовевшие тетки, иногда бабушки по отцу или матери), и при них компаньонки, а также малоимущие дальние родственницы, компаньонки хозяйки дома, воспитанники и воспитанницы, гувернеры и гувернантки детей, — все, кого называли домочадцами и приживалами. Преобладали женщины: мужчины, даже пожилые и одинокие, редко уходили жить к родне из собственного дома, а уж если это случалось, то их старались поселить где-нибудь во флигеле, где у них возникала иллюзия «отдельности» и самостоятельности.

Еще в барских домах имелось множество слуг. Вплоть до ликвидации крепостного права в 1861 году прислуга в барских домах (дворня) была по традиции весьма и весьма многочисленна: дворецкий, камердинер, буфетчик, а то и два, ламповщик, по меньшей мере один повар и поварята (готовившие для господ и хозяйских гостей), кондитер, швейцар, истопник, садовник, дворник, выездной лакей (а чаще несколько), буфетный мужик, кухонный мужик, ливрейные лакеи, дядька при хозяйских сыновьях, нянька при младенцах, бонна при девочках, экономка, кухарка (готовившая для дворни), поломойки, швеи, прачки, горничные разных категорий, а также дворовые мальчики и девочки на побегушках. Имелся также «стряпчий», который хлопотал в присутственных местах, подавал прошения, апелляции, знакомился с секретарями, и «купчина», бегавший в Ряды за покупками: шпильками, булавами, ленточками, за палочкой сургуча и пр.

Пока сохранялись традиции XVIII века, в аристократических семьях держали также скороходов, гайдуков, фореиторов, собственных парикмахеров, ключников, так что набиралось человек восемьдесят, а в деревнях так и все двести, поскольку к дворне

относились и те, кто вел все усадебное хозяйство. Естественно, позднее, уже к середине века держать такую уйму прислуги большинству дворян стало не по средствам и число дворовых сократилось — человек до двадцати.

Одевали и кормили дворню в основном «домашними средствами», на что шли привозимые из деревень припасы (лишь на форму — ливрею пускали более дорогое покупное сукно), а также выплачивали ей небольшое денежное жалованье на непредвиденные и карманные расходы. По праздникам — на Рождество, Пасху, а также в ее и хозяйские именины — прислугу полагалось одаривать какими-нибудь вещами и небольшими деньгами. Когда к Рождеству приходили из деревни обозы с провизией, барыня поочередно призывала всех домашних и наделяла еще и съестными подарками: индейкой, гусем, уткой, окороком. Личная прислуга получала в собственное пользование одежду «с барского плеча», почему-либо забракованную господами, и могла носить ее по праздникам или продавать в свою пользу.

Отдельные помещения из прислуги долгое время имели лишь немногие привилегированные и старые слуги (тот же дворецкий, какие-нибудь старая нянька или дядька, вынянчившие хозяев) и служившие боннами (нянями-воспитательницами), лакеями и горничными иностранцы. Холостые мужчины, кроме личного барского лакея-камердинера, чаще всего жили все вместе в людской, семейным строили на территории усадьбы несколько изб или людских флигелей, а незамужние женщины размещались по углам в жилых комнатах. У каждой где-нибудь под лестницей или в коридоре стоял сундучок и лежал свернутый рулоном войлок, который и составлял постель «девки». Ночью все эти постели расстилались у дверей и по коридорам.

Личная прислуга чаще всего спала в комнате своего господина, на полу у дверей.

Специальной формы для большей части прислуги не было, лишь ливрейным лакеям и дворецкому в торжественных случаях и на выход полагалась ливрея в виде кафтана покроя второй половины XVIII века, обшитого по всем швам галуном — белыми, желтыми или иногда золотыми или серебряными тесьмами с ткаными на них гербами хозяев. Пуговицы на такой ливрее также обычно были гербовые, металлические. На улице надевалась треугольная шляпа и сверх ливреи накидывался плащ с широкой пелериной, также обшитые галунами. При полном параде к ливрее полагались белые чулки, короткие штаны до колен, иногда напудренный парик с косичкой (также в стиле XVIII века) и обязательно белые перчатки. Во второй половине века комнатная ливрея чаще стала походить на цветной, обшитый галунами фрак, а уличная — на длинное двубортное пальто, также обшитое галунами. На голове стали носить шляпу-цилиндр с гербовым галуном и кокардой. Лакеи должны были чисто брить лица, в то время как от дворецкого требовались обычно пышные бакенбарды и представительная осанка. Вообще слуга, отличавшийся высоким ростом, осанистостью и дородством, имел преимущества и на одних этих внешних достоинствах мог составить себе небольшой капитал (к примеру, рослых барских лакеев часто нанимали «для почету» на купеческие свадьбы).

Горничные носили обычные ситцевые платья, сшитые более или менее по моде, и черный или белый передник с кармашками. Прочая прислуга одевалась также по-городскому в дешевую набойку или толстое сукно (часто произведенные в каком-нибудь из имений владельца).

Старые слуги в хороших домах никогда не брали на чай (это считалось обидой для хозяев), и москвичи это

знали и никогда чаевых не предлагали. Входящему в дом гостю полагалось обязательно пообщаться со швейцаром (из всех слуг-мужчин только его и дворецкого принято было называть по имени и отчеству): поговорить, пошутить или обсудить новости — в зависимости от ситуации. Прочую мужскую прислугу называли полным именем (Иван, Степан), горничных — уменьшительным (Маша, Глаша), кухарку — по отчеству (Михална), бонну, в зависимости от национальности, по фамилии с прибавлением почтительного фрейлейн, мадемуазель или мисс. Обращение отражало строгую иерархию, существовавшую среди прислуги. Дворецкий и дядька сыновей хозяина, казначей, парикмахер и стряпчий, а также мамы, няни и «барские барыни» относились к дворовой «аристократии».

Дворецкий и дядька получали самое высокое среди дворни жалованье — до 10 рублей в год и носили одежду из тонкого покупного сукна. Другие получали жалованье поменьше, но часто поощрялись подарками.

Мамы (кормилицы), воспитавшие хозяев, жили в доме на покое и пользовались привилегией сидеть в присутствии господ. Няни следили за хозяйством, выдавали сахар, чай, кофе. Барские барыни одевали госпожу, сопровождали в гости и в дороге в деревню сидели с ней в одной карете, а также смотрели за ее гардеробом, чистотой комнат, за горничными, то есть выполняли те обязанности, которые при Дворе ложились на камеристок и придворных дам.

Первостепенную прислугу — «дворовую аристократию» — прочая дворня звала по имени-отчеству и всегда вставала в ее присутствии. Привилегией этой категории дворовых был также отдельный от прочей дворни стол, за которым подавалось то же, что готовилось для господ.

Вообще мирок прислуги был довольно самобытен-, здесь бушевали собственные страсти, интриги и увлечения, имелись свои вкусы и развлечения, своя сословность. «Лакей магната, — свидетельствовал бытописатель, — едва достаивает наклоном головы лакея мелкого чиновника, а кучер секретаря с особенным уважением смотрит на кучера сенатора и часто гордится, если удостоится его почтенного знакомства»^[51].

Дворян вообще была много развитее своих крепостных собратьев — пахотных крестьян. Среди дворовых многие были грамотны и даже начитанны, а «дворовая аристократия» в хороших домах щеголяла прекрасными манерами и совершенно барским обликом. А. И. Шуберт вспоминала: «Камердинеры бывали люди важные, живавшие подолгу за границей, по тогдашнему много читавшие. Например, камердинер графа Гудовича, почтенный старец, женат был на француженке и свободно говорил по-французски. И были они не простые дворовые, а, так сказать, управляющие двором»^[52].

Когда хозяева бывали в отъезде, это сразу становилось понятно по поведению прислуги: в эти дни вся жизнь двора переносилась на улицу, и можно было видеть, как у крыльца праздный лакей с утра до вечера бренчит на гитаре или балалайке, а горничные, сбившись в стайку и пощелкивая орешки, точат лясы возле ворот с соседскими лакеями или приказчиками из ближайшей лавки. Иногда прислуга выходила постоять и за ворота, но это только если улица была тихая и малолюдная: на проезжей не позволял своеобразный лакейский этикет: дескать, иначе скажут: «Что, мол, за вывеска такая стоит?»

Людская и девичья играли не последнюю роль в воспитании маленького дворянина: здесь он знакомился

с простонародными песнями, плясками, играми, осваивал все богатство родного языка, от набора присловий и поговорок до виртуозной матерщины, изучал фольклор и мифологию в виде сказок, «страшилок», суеверных примет и прочего, а также зачастую постигал в теории все таинства человеческого естества и потом приобщался к ним.

В первые годы девятнадцатого века во многих господских домах оставалась еще старинная мода «на пленных турок, турчанок и калмычек Аристократы брали их к себе в дом на воспитание, по совершеннолетию девушек отдавали замуж, а мальчиков определяли на государственную службу»^[53]. Встречались и собственные домашние «арапы» и «арапки», выросшие в доме из бог весть какими путями попавших в Москву маленьких негритят.

Довольно долго — годов до 1830-х — в дворянской Москве продолжали встречаться и домашние шуты, еще один отголосок восемнадцатого века. Как отмечал современник, баре «любили забавников, тунеядцев. Карлики стояли у обеда за стулом госпожи и дерзко, сердито отвечали ей. Шуты в шелковых разноцветных париках, с локонами, в чужом кафтане, в камзоле по колено, передразнивали, ругали хозяев, родственников, приятелей их и уличали в худых поступках.... Дураки, в одежде из лоскутков, являли собой посрамление человечества: их дергали, толкали, мазали по губам и беспрестанно тревожили»^[54].

Особенной, почти легендарной известностью в Москве пользовался шут Иван Савельич Сальников — бывший крепостной князей Хованских, уже в начале века получивший вольную и живший, что называется, «на вольных хлебах», гостя то у одного, то у другого «поклонника». Ивана Савельича знала буквально «вся Москва», и в барские дома его продолжали приглашать

до середины 1820-х годов: он был очень остроумен и боек на язык и своими сентенциями мог уморить со смеху. А П. Беляев вспоминал, как вскоре после войны Иван Савельич гостил в имении князей Долгоруковых и всячески развлекал хозяев, в частности, играл с главой семейства в карты и по окончании игры князь клал ему под ермолку несколько беленьких бумажек по 25 рублей. Приглашали шута и к великому князю Михаилу Павловичу в бытность того в Москве: Михаил сам был остроумен и очень любил посмеяться.

«Он был маленького роста, плотный, совершенно лысый, — рассказывал об Иване Савельиче Беляев, — походка его была очень странная, как будто он подкрадывался к чему-нибудь, вся фигура его была вполне шутовская... Он знал много французских слов и в искаженном виде перемешивал их с русскими, всегда шутовски и остро; тершись в большом свете, он понимал французский разговор, был умен и остер в своих шутках. Он очень не любил, когда кто-нибудь относился с презрением к шутовству. Так что, когда он однажды услышал, что кто-то сказал: „Только в Москве еще водятся шуты, а уж в Петербурге их нет“, то он заметил, довольно дерзко, в защиту Москвы и шутов: „Почему в Петербурге нет шутов? Потому что, как только появится шут, его тотчас шлют в Москву сенатором“»^[55]. Круг аристократических знакомств у Ивана Савельича был так велик, что в 1812 году, перед занятием Москвы генерал-губернатор Ростопчин поручил ему развозить по городу патриотические афишки.

Ловкий шут любил подкупать горничных и выведывал у них секреты их барынь, потом приходил к этим барыням гадать на кофе и бобах и те очень удивлялись его прозорливости. После такого гадания Иван Савельич нередко приезжал к барыне с целой

россыпью грошовых колечек и цепочек и предлагал что-нибудь купить у него за высокую цену. Тех, кто отказывался, он потом при случае разоблачал где-нибудь за большим обедом — всё с шуточками да прибаутками.

Стоило посмотреть на него, когда он выезжал на гулянье: двуколочка его была запряжена маленькой и смирной лошадкой с вплетенным в гриву и хвост мочалом и с веником вместо перьев на голове. Сам Иван Савельич был в шелковом французском кафтане, в напудренном парике а-ля Людовик XIV. В одной руке он держал вожжи, в другой — веер и, томно обмахиваясь, раскланивался на все стороны. Его сопровождала толпа любопытных, а иногда приставучие уличные мальчишки подолгу бежали за его экипажем, задирая и осыпая насмешками, которые старик парировал с обычной своей колкостью.

Рассказывали, что однажды князь Н. Б. Юсупов Первого мая гулял в Сокольниках в компании с Савельичем, разряженным в блестящий глазетовый кафтан. Встретили какую-то мещанку. Юсупов стал ее подначивать: — «Ударь его в щеку; я дам тебе целковый». — «Ах, батюшка, — возразила баба, — как же я посмею». — «Да ведь это шут, Иван Савельич». — «Да вы меня обманываете: вишь, они весь в золоте». — Тут Савельич вмешался: — «И, сестрица, что ты его слушаешь, и впрямь, он все врет. Я — князь Юсупов, меня все знают. Ты вон лучше его ударь, а я тебе дам три целковых». — И глупая баба поверила и, как уверяли, едва не заехала владельцу «Архангельского» по шее.

По свидетельству А. Я. Булгакова, к 1824 году Савельич разбогател, заимел собственный дом и торговал чаем и бакалеей. Своего сына — по профессии портного, а также мужа дочери, который был башмачником, старый шут ввел во все знакомые ему

аристократические дома, и оба числились в своем ремесле одними из лучших, если не по качеству, то по знатности заказчиков.

Отношения между дворянами и дворовой прислугой на протяжении девятнадцатого века и вплоть до Крестьянской реформы 1861 года были в основном довольно мягкие, патриархальные, в системе «вы наши отцы — мы ваши дети». Даже порка в полиции, которой периодически подвергали проштрафившихся лакеев, поваров и кучеров, воспринималась последними философски, как вещь неизбежная и терпимая, потому, дескать, что «русский человек только задним умом и крепок». В глазах дворянства такие наказания через посредство полиции имели отпечаток законности, а собственноручные расправы с прислугой в девятнадцатом веке уже выглядели анахронизмом и осуждались общественным мнением.

Отголоском гораздо более суровых крепостнических времен оставалась в Москве начала девятнадцатого века знаменитая Салтычиха, Дарья Николаевна Салтыкова. В своем московском доме на пересечении Кузнецкого моста и Лубянки и в подмосковном имении она замучила до смерти несколько десятков дворовых. Дело вскрылось и приобрело очень широкий резонанс. Помещицу заключили в Сыскном приказе, который был на Житном дворе у Калужских ворот, и, как рассказывали, не подвергая ее самой допросам с пристрастием, пытали при ней других. «При виде заказных пыток она падала в обморок, но не признавалась. Видно, не приказано было ее пытать»^[56].

После длительного следствия в 1768 году Салтыкова была лишена дворянства и подвергнута заключению в Ивановском монастыре в особой зарешеченной келье («клетке»). Это помещение, девяти аршин в длину и четырех аршин в ширину (около 19

квадратных метров), было расположено возле трапезной монастырского собора и имело два зарешеченных окна, через которые внутрь «клетки» можно было заглянуть. «Наружность ее, — вспоминал современник, — отнюдь не свидетельствовала о зверских инстинктах: это была унылая, с выражением напускного равнодушия женщина, сохранявшая на своем лице следы прежней красоты, нередко отвечавшая на посылаемые ей поклоны и только тогда выходявшая из себя и предававшаяся припадкам бессильной злобы, когда уличные мальчишки собирались перед ее окном для того, чтобы дразнить ее и издеваться над ее немощным перед ними положением»^[57].

«Клетка» Салтычихи просуществовала в монастыре вплоть до 1850-х годов, когда ее обитательница давно уже была в могиле.

Детские комнаты в дворянском доме чаще всего располагались на антресолях, подальше от кабинета отца и спальни неизменно нервной матери. Младенцам лет до пяти полагалось одно общее помещение, потом девочкам выделялась одна комната, мальчикам — другая. Здесь они жили лет до 14-16, после чего получали собственную комнату (или делили помещение с братом или сестрой близкого возраста). Здесь же, поблизости от детской, обычно находилась и классная: дворянская Москва предпочитала учиться дома и уроки давали приходящие на дом учителя (хотя были и исключения, когда детей помещали в университетский Благородный пансион или даже в гимназию. С годами таких исключений становилось все больше).

В массе своей дворяне обращали преимущественное внимание на воспитание, а не обучение детей и давали сравнительно приличное образование только сыновьям. Дочери редко знали что-то большее, чем разговорный

французский язык, начатки музыки, рисования и некоторые разрозненные элементарные сведения из Закона Божьего, французской литературы, географии и европейской истории. Большинство московских дворянок вплоть до 1840–1850-х годов писали по-русски с ужасающими ошибками.

Как девочки, так и мальчики главным образом подвергались весьма интенсивной светской шлифовке. Их основательно учили танцам и «манерам», и главной заботой гувернеров и гувернанток было сохранение «нравственности» воспитанников, для чего питомцы подвергались самому строгому надзору. Обычной практикой было заклеивать или замазывать чернилами разные «предосудительные места» в выдаваемых подросткам книгах для чтения: к примеру в «Евгении Онегине». Особенно строгий надзор был за девицами. «Такое ограждение юных умов доходило до того, что когда девица отправлялась к своей подруге, то при ней неотлучно должна была находиться гувернантка, присутствовавшая при беседе юных подруг, дабы в ней не проскользнуло что-нибудь нескромное», — вспоминал князь В. М. Голицын^[58]. Вплоть до 1860-х годов девушка из хорошего дома не появлялась в одиночку ни на улице, ни в общественных местах, ни в гостях. Ее обязательно сопровождали гувернантка и лакей или родители, старшие родственники, взрослые близкие знакомые и т. д.

Впрочем, даже взрослая и уже замужняя молодая дама предпочитала не появляться на московских улицах в одиночестве, без сопровождения мужа, брата или, чаще, лакея. Привычка не выходить без сопровождения укоренялась настолько, что даже очень пожилые московские барыни никогда не покидали дома без такого эскорта. Причин этого обычая было две: во-первых, наличие «человека» в сочетании с модным

костюмом в глазах москвичей было указанием на высокое общественное положение человека. Вторую же пояснит сценка, описанная А. Я. Булгаковым в одном из его писем.

«Иду с Фастом пешком к Николаевой; вижу: вдали идет к нам навстречу женщина — одна-одинешенька, в вуали, без человека, разряжена. Фаст говорит: „Посмотри-ка, верно это девка?“ — „Нет, это должно быть иностранка“, — отвечал я. Только как поравнялись, вышло, что это княгиня Зинаида (Волконская), с коею я остановился и говорил. Фаст не одобрил этого. „Как можно, — говорил он, — ходить так одной! Ну как нападет собака?“ — Кому до чего, а Фасту все до собак, как будто собака не может укусить и гренадера: опаснее гораздо молодчики и хваты. Как схватит этакий в объятия да станет целовать и к себе прижимать, так не прогневайся, Зинаида: у нее на лбу не написано, кто она и что она»^[59]. Таким образом, идущая в полном одиночестве молодая и хорошо одетая женщина однозначно воспринималась окружающими как иностранка или — что встречалось гораздо чаще — как особа легкого поведения, и нужно было обладать независимостью и отвагой «царицы муз и красоты» княгини Зинаиды Александровны Волконской, чтобы позволять себе вот так рисковать репутацией. Кстати, московские бытописатели рассказывали, что когда настоящая «девка» хотела пофрантить и пустить окружающим пыль в глаза, она нанимала на несколько часов возле Казанского собора ливрейного лакея и отправлялась в его компании на гулянье в Александровский сад, «как благородная». Недовольный лакей тащился следом за нанимательницей и усиленно делал вид, что к этой «даме» он не имеет никакого отношения.

Предубеждение против дам, гуляющих в одиночестве, стало проходить лишь в пореформенное время, по мере того, как набирало силу движение за женскую эмансипацию.

Служить в Москве молодые дворяне оставались редко: карьеру здесь было сделать трудно. В Москве, конечно, были и официальные учреждения, и даже размещались некоторые департаменты Сената, но в глазах современников престиж московского сенатора был намного ниже, чем у сенатора петербургского. Считалось, что Москва — что-то вроде почетной ссылки для сенаторов, оказавшихся неспособными к делам (Иван Савельич был не так уж не прав). Гвардия квартировала в Петербурге и появлялась в Москве лишь в исключительных случаях. Министерства находились в Петербурге. Словом, главные дела делались в Северной столице, и молодежь, начиная карьеру, стремилась именно туда.

Из престижных мест, привлекательных для московской дворянской молодежи, в Первопрестольной имелись канцелярия генерал-губернатора и архив Коллегии иностранных дел, где по традиции числились на службе переводчиками недоросли («архивные юноши»), готовившиеся к дипломатической и иной почетной, но не военной карьере. Служебные обязанности эту молодежь не слишком обременяли. Пару раз в неделю они должны были являться часа на три в архив «в присутствие» (причем львиная доля этих часов уходила на дружескую болтовню), а в остальное время были свободны как ветер. Н. И. Тургенев записывал в дневнике: «Вчера был я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцов из шкапов в сундуки. Какой вздор!.. переводчики, которые не переводят, а переносят, следственно из переводчиков делаются переносчиками и перевозчиками» ^[60].

За эту «службу» исправно выплачивалось жалованье (очень небольшое), а главное — шли чины, так что к моменту начала реальной карьеры юноша имел обычно уже десятый класс по Табели о рангах.

Как иронически писал Ф. В. Булгарин, это «чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки... Из этих счастливцев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в почет русских антиквариетов... Это наши петиметры, фашьонабли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произнести: *oui* и *non* (то есть да и нет). Они-то дают тон московской молодежи на гульбище, в театре и гостиных. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно через край, кроме здравого смысла; низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук»^[61].

«Архивные юноши» действительно и составляли цвет московской аристократической молодежи, и зачастую отличались многообразными способностями. Из их рядов впоследствии выходили весьма известные лица, такие, как поэт Д. В. Веневитинов, философы-славянофилы И. В. Киреевский и А. И. Кошелев, историк и журналист С. П. Шевырев, библиограф и поэт-юморист С. А. Соболевский, участник декабристского движения, публицист и экономист Н. И. Тургенев и др.

И все же и архив, и губернаторская канцелярия были не резиновые, вместить всех желающих не могли, и в целом мужской молодежи, относящейся к высшему кругу, в Москве было сравнительно немного.

Жизнь взрослых в дворянском кругу была подчинена светским обязанностям и дни проходили в занятиях и выездах, необходимых для постоянного светского общения. «Утренние визиты, званые и

запросто обеды, вечера, балы, собрания, театры и маскарады — вот времяпровождение лучшего типа московских людей и приезжающих из деревень», — писал современник^[62].

Помимо ежедневных прогулок по Тверскому бульвару, на Патриарших прудах или по Кремлевскому (Александровскому) саду, дворянство обязательно участвовало в праздничных гуляньях под Новинским, а летом, если приходилось оставаться в городе, ездило по пятницам в Сокольническую рощу, по воскресеньям в Петровский парк, а также выезжало на семейные пикники в Царицыно, Кунцево, Кусково, Кузьминки, на Воробьевы горы и в Останкино.

Проведя лето где-нибудь в имении, московское барство съезжалось в Первопрестольную после Покрова, в октябре, и понемногу возвращалось к привычному городскому образу жизни. Немного позднее, по первому зимнему пути, в город устремлялись провинциальные помещики. К этому времени все осенние хозяйственные хлопоты были позади и наступал черед зимних: нужно было заложить или перезаложить имение, внести проценты в Опекунский совет, отдать в учение детей или крепостных людей, найти гувернеров, закупить вино, кофе и прочие припасы, посмотреть московские достопримечательности: Грановитую палату, Рады, Царь-колокол, Сухареву башню, магазины Кузнецкого моста, кондитерские, диорамы, косморамы, панорамы, ученых блох и опыты черной магии, «окипироваться» всей семьей (то есть обзавестись обновами) и, наконец, вывезти в свет взрослых дочерей, а может быть, чем черт не шутит, и пристроить их тут же за хорошего человека.

В ноябре в Москве начинали играть «на театрах», открывались вечера и собрания в светских гостиных,

словом, начинался оживленный и динамичный светский сезон, который длился потом вплоть до конца Масленицы. Непрерывной чередой следовали друг за другом всевозможные увеселения: парадные обеды, балы, концерты, «живые картины», спектакли «благородного», то есть любительского театра, катанья и маскарады на Святки и Масленицу.

Ближе к Рождеству в город съезжались получившие отпуск петербургские офицеры и чиновники и начинала всюю функционировать «ярмарка невест».

Одним из центров этой виртуальной (как бы сейчас сказали), но вполне действенной ярмарки было Благородное собрание — важный центр дворянской общественной жизни.

Благородное собрание являлось своего рода дворянским клубом, принимавшим в свои ряды всякого дворянина, имеющего на руках документы, подтверждавшие его сословную принадлежность. С 1784 года и вплоть до революции Собрание размещалось в бывшем доме князей Долгоруковых в Охотном ряду (нынешний Дом союзов). Вступающие в членство платили взносы («кавалеры — 50 рублей, дамы — 25 рублей ассигнациями, девицы — 10 рублей»), избирали 12 старшин, руководивших всеми организационными и хозяйственными делами. Можно было приобретать и разовые («визитерные») билеты, которые заказывались через посредство постоянных членов Собрания и стоили 5 рублей ассигнациями. За обеды, даваемые в Собрании, взималась отдельная плата (4 рубля медью с кавалеров и 2 рубля с дам).

В здании Собрания происходили губернские и уездные дворянские выборы, заседали выборные органы. Здесь городское дворянство принимало приезжавших в Москву высокопоставленных особ, как русских, так и иностранных, а во время коронаций обязательно устраивался хотя бы один многолюдный

прием «от городского дворянства» в честь нового императора.

Во время светского сезона здесь же почти ежедневно происходили всевозможные культурные мероприятия — концерты, банкеты и пр. Балы давались, начиная с октября, по вторникам, за исключением времени Великого поста, когда в эти же дни устраивались камерные концерты.

На Страстной неделе в Благородном собрании организовывали благотворительный базар: на расставленных повсюду столах выкладывалось всевозможное дамское рукоделие: вышитые сафьяновые портфели, кошельки и бумажники, бисерные футляры для стаканов и зубочисток, шитые гарусом комнатные туфли, подушки и сонетки (ленты для комнатного звонка). Сами мастерицы продавали свои изделия, стараясь выручить за безделицу как можно больше денег, которые шли потом в пользу какого-нибудь человеколюбивого учреждения.

Во второй половине века в межсезонье в здании Благородного собрания нередко проходили публичные чтения разных обществ и кружков и даже открывались выставки.

В здании Собрания функционировал также Дворянский клуб — поначалу действительно дворянский по составу, но ближе к концу столетия приобретший почти исключительно разночинный характер. К 1880-м годам его членами были в основном уже врачи и учителя, актеры, чиновники, даже преподаватели духовных учебных заведений.

Сезон в Собрании открывался балом либо в честь тезоименитства (именин) царствующего императора, если он приходился на конец осени, как это было, к примеру, при Николае I, — 20 ноября, либо на Рождество, по завершении Филипповского поста (25 декабря). Начинались балы в Благородном собрании в

11 часов вечера, так что гости до их начала еще успевали побывать в театре. Публика прибывала смешанная: титулованная знать, неродовитое и небогатое дворянство среднего круга и приезжие из провинции. Традиционно левая половина большого зала занималась высшим обществом — светскими львицами, денди, заезжими гвардейскими офицерами и адъютантами. Здесь говорили только по-французски, дамы были одеты на петербургский лад — в светлые, чаще всего белые, однотонные туалеты, что считалось очень изысканно, — а мужчины щеголяли безукоризненными черными фраками, белоснежными пластронами, превосходно сшитыми мундирами и чистейшими белыми лайковыми перчатками.

В правом углу, поближе к оркестру, толпились приезжие помещики с семьями, студенты, армейские офицеры, невысокого ранга чиновники, врачи и т. д. «Здесь поражает вас пестрота дамских и мужских нарядов, — писал в начале 1840-х годов московский бытописец, — здесь вы видите веселые, довольные собою лица и фраки темно-малинового цвета, украшенные металлическими пуговицами, цветные жилеты и панталоны, разнородные галстуки с отчаянными узлами, удивительные бакенбарды; желтые, голубые, пунцовые, полосатые, клетчатые платья, громадные чепцы и токи, свежие, здоровые, круглые румяные лица, плоские вздернутые кверху носики, маленькие ножки и толстые пухлые ноги, от которых лопаются атласные башмаки, большие, непропорциональные, даже непозволительные груди»^[63]. Изъяснялись здесь на смеси «французского с нижегородским», перчатки носили замшевые или даже и лайковые, но ношенные, чищенные, а порой и заштопанные, изысканностью манер похвастаться не

могли, но зато плясали от души и именно здесь царило настоящее веселье.

Прежде чем посетить эту часть Собрания, провинциалы нередко несколько раз ходили на балы как зрители (это широко практиковалось). Забравшись на галерею, откуда хорошо был виден зал, они внимательно наблюдали за происходившим, присматривались к тому, «что носят» (на галерею можно было не наряжаться, а приходить в будничном платье), а затем, приобретя соответствующие туалеты, решались уже и на участие в вечере.

Именно в Благородном собрании начиналась история огромного большинства всех московских помолвок и свадеб. Подобрать себе подходящую партию в Петербурге мог далеко не каждый служащий дворянин: мужское население в столице вплоть до 1860-х годов заметно преобладало над женским (в некоторые периоды это соотношение было как семьдесят к тридцати); в Москве же была обратная ситуация, к тому же и приезжие помещики привозили сюда дочерей «на выданье», так что выбор невест в Москве действительно оказывался огромный, на все вкусы.

Браки у дворянства заключались не столько по любви, сколько по породе, даже и в девятнадцатом столетии, а познакомиться молодые люди могли либо у родни и общих знакомых, где круг общения был невелик, либо на балах и вечерах.

На первый в сезоне общественный бал собиралось тысяч до трех-четырёх народу и здесь не столько присматривались друг к другу, сколько восстанавливали или завязывали нужные знакомства: ездить на балы в частные дома можно было только по приглашению, а слали их, естественно, только знакомым. На больших общественных балах по правилам этикета можно было один раз протанцевать с

девушкой, даже не будучи с ней знакомым, а потом представиться ее родным или спутникам при посредничестве кого-нибудь из старшин Благородного собрания или даже бального «дирижера» (своеобразного распорядителя танцев, дававшего оркестру сигнал начинать и переставать играть, громко объявлявшего танцевальные фигуры и первым их исполнявшего).

С этикетом вообще приходилось считаться: он играл в жизни дворянского общества весьма важную роль. Этикет устанавливал те возрастные рамки, в которых дозволялось танцевать на балах: с 16-18 лет (время светского дебюта и первого выезда в большой свет) и примерно до 28 лет у женщин и 35 лет для мужчин. Этикет же запрещал молодым девушкам приезжать на бал, как и в любое другое общественное место, самостоятельно; их непременно должен был «вывозить» кто-то из старших.

По правилам этикета нельзя было слишком часто (больше трех раз за вечер) танцевать с одним и тем же партнером, если только он не был официальным женихом или мужем дамы. Подобное предпочтение, по представлениям века, свидетельствовало о близких отношениях или о настойчивом ухаживании; замужнюю даму такая ситуация компрометировала, а по отношению к незамужней требовало скорого предложения руки и сердца. Если таковое не происходило, бальному кавалеру предстояло серьезное объяснение с родными девушки, справедливо считавшими, что он оскорбил честь их семейства. Закончиться такое объяснение могло либо свадьбой, либо поединком с неизвестным исходом. Вот так все было серьезно. Этикет почитали.

Конечно, присмотреть дворянскую невесту можно было и в других местах Москвы: для этого подходили и театр, и даже церковь. Наиболее предприимчивые

женихи использовали для поисков даже так называемые «детские балы». Их устраивали специально для подростков 13–16 лет, которые уже умели сносно танцевать, но в свет по малолетству еще не выезжали. Детские балы, или детские праздники, как их еще называли, организовывались либо в знатных семьях по случаю именин кого-то из детей, либо известными танцмейстерами в своих школах в общие праздничные дни — на Рождество, на Масленицу и т. п.

Кроме подростков, которых на детских балах было большинство, туда приезжали и взрослые, и у детей появлялась возможность попрактиковаться в танцах и бальном общении с «настоящими» партнерами. Если бал давал танцмейстер, он приглашал на детский праздник всех своих бывших учеников. Детские балы начинались и заканчивались раньше обычных съездов, и это давало возможность взрослым прямо оттуда поехать в театр, а затем на большой бал.

В числе московских танцмейстеров самым, вероятно, известным, почти легендой, был Петр Андреевич Иогель, который приехал из Франции и стал учить московских детей танцам в 1800 году, а перестал, когда ему уже было хорошо за восемьдесят — в начале 1850-х годов. (Он и умер в Москве и был похоронен на Немецком кладбище.) Это был признанный мастер своего дела, через руки которого прошло полгорода. Кроме частных уроков, для которых он снимал зал чаще всего в доме Кологривовых на Тверском бульваре (дом стоял там, где сейчас МХАТ им. Горького), он учил танцам воспитанников Университетского благородного пансиона, в числе которых были В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов. К концу жизни Иогеля на его детских балах правнучки встречались со своими прабабушками, так как и те и другие были ученицами мэтра. Естественно, что когда Лев Толстой писал

«Войну и мир», он не мог обойти фигуру Иогеля своим вниманием и дал ему в ученицы свою Наташу Ростову.

Холостяки, подумывающие жениться, были обычными и частыми гостями на детских балах: здесь в комфортной обстановке можно было уже увидеть будущих светских звезд — балльных дебютанток ближайших лет — и кого-нибудь заранее присмотреть. Так поступил, как известно, и Пушкин, заметивший Наташу Гончарову (как и он сам, учившуюся у Иогеля) еще до появления ее в большом московском свете.

Найдя подходящую невесту (или даже двух-трех невест) и завязав тем или иным путем знакомство с их семьями, потенциальный жених, если, конечно, он действительно хотел жениться, а не просто стремился к приятному времяпрепровождению, оказывался вовлечен в орбиту московской светской жизни и принимался посещать уже частные балы (их в сезон бывало в Москве по 40–50 ежедневно) и другие мероприятия, на которых можно было присмотреться к избранницам. Одновременно он старался собрать необходимые сведения о «движимом и недвижимом» и прочих жизненно важных вопросах, связанных с будущей женитьбой. Долго выбирать не приходилось, так как светский сезон был короток, и через небольшое время молодой человек начинал уже «ездить в дом» какой-нибудь одной девицы: не только встречаться с ней на прогулках, в театрах, на раутах и маскарадах и при всякой возможности приглашать ее танцевать, но и несколько раз в неделю наносить визиты. Подобное поведение заявляло о серьезности намерений и заботливые родители тут же начинали со своей стороны наводить о визитере необходимые справки: происхождение, родня, состояние, перспективы по службе и виды на наследство, даже наследственные болезни — все бралось в расчет.

Бывали случаи, когда кандидаты сразу признавались негодными: «Тот дюжинной фамилии, — этот не чиновен, — еще молод, — у того семейство не хорошо»^[64]. Как вспоминала Е. П. Янькова: «Батюшка мой был точно барин: он всякого дворянина принимал, как равного себе, хотя, конечно, не за всякого бы отдал своих дочерей»^[65]. Если какие-то обстоятельства кандидата делали его непривлекательным в глазах невестинной родни, ему почти сразу объявляли об этом достаточно прямо и он «ездить в дом» переставал. В противном же случае он понимал, что к нему благосклонны, и через какое-то время форсировал ухаживания, начиная делать своему «предмету» маленькие подарки в виде букетов, конфет, новейших романов, нот и т. п. и оказывая всевозможные другие знаки внимания. Примерно через месяц, если визиты его по-прежнему принимались хорошо и ему даже дозволялось беседовать с девушкой один на один, хотя и в общей комнате и у всех на виду, он мог списаться с родными и потребовать их согласия на брак, а по получении такого согласия являлся к родным девицы уже с официальным предложением. Если в дело бывали замешаны чувства, то прежде официального происходило неофициальное предложение, для которого молодые не без труда изыскивали место и время: девушку, имеющую ухажера с серьезными намерениями, родные принимались стеречь особенно бдительно.

Вся протокольная процедура обычно укладывалась во время сезона. Предложение делалось в последние дни Масленицы, затем на время поста приходился этап официального жениховства, когда шилось приданое, делались приготовления к свадьбе, а жениху и невесте разрешалось уединяться и сидеть вдвоем без посторонних глаз. Свадьбу играли на Красной горке или

немного позднее, и свежее испеченный муж возвращался к месту службы уже не один. Впрочем, свадьба чаще всего была поводом к скорому выходу в отставку.

Подобная схема действовала не всегда и не везде. По мере того как менялась окружающая жизнь, слабели и этикетные традиции, падала и роль «породы», да и разные иные обстоятельства вмешивались в жизненные расчеты. Не случайно, как язвительно замечали московские бытописцы, самые пышные балы давали родители невест-бесприданниц. «На этих вечерах обыкновенно потчуют гостей теплою водою с сахаром, имеющею признаки чая, — рассказывал П. Вистенгоф, — домашним лимонадом и оршадом; ужинать дают в шестом часу утра, на который остаются самые терпеливые из поручиков и студентов, а на деньги, вырученные во время этих вечеров за карты, шьют людям верхнее платье и сапоги»^[66]. При этом потенциальным женихам туманно намекали на крупное состояние и расписывали достоинства назначенной в приданое подмосковной с лесами и различными угодами.

Женихи тоже часто не оставались в долгу и как умели изображали богачей, думая про себя: «Ничего, вот женюсь и заживу барином».

После свадьбы обнаруживалось, что знаменитая подмосковная многократно заложена и перезаложена, в ней неурожай и надобно кормить голодающих крестьян, а из движимого за женой дают только тряпки; за мужем же вообще не обнаруживалось ни кола ни двора...

Во второй половине века брачная «ярмарка» в Москве вообще прекратила свое существование. Петербург к этому времени преодолел демографический кризис и самые выгодные и блестящие в светском отношении браки стали заключаться уже там. На долю московских невест тогда

остались лишь немногочисленные дальние родственники или друзья детства.

Светский сезон завершался в последний день Масленицы, как и начинался, в Благородном собрании. Давался дневной бал *Jolle journee*, то есть «безумный день», начинавшийся в два часа дня и длившийся с перерывом для обеда до двенадцати часов ночи. Это мероприятие подвергало самой суровой проверке красоту московских обольстительниц, так как далеко не всякое личико, казавшееся прелестным под слоем пудры и в свете сотен свечей, оказывалось столь же привлекательным при безжалостном свете солнца. Ровно в полночь все увеселения в Москве заканчивались. Наступало время Великого поста, постепенно разъезжались по своим деревням помещичьи семейства, возвращались в Петербург непросватанные «женихи», и снова дворянская Москва застывала в провинциальной одуре и тишине.

Глава третья. ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

*Городское неряшество. —
«Золотари». — Поля орошения. —
Поглощающие колодцы. — Отхожие
места. — Торговая антисанитария. —
Филиппов и Савостьянов. — Городские
топи. — Мощение улиц. Их уборка. —
Тумбы. — Освещение (масляное,
керосиновое и газовое). —
Электричество. — Электрические балы. —
Реки и речушки. — Экзотический
промысел. — Наводнения. — Водовод. —
Водовозы. — Пожары и пожарные. —
Землетрясения и ураганы*

Прозвище «большая деревня» Москва заслужила не только многочисленностью своих почти сельских видов, не только потому, что тут все друг друга знали и все со всеми состояли в родстве, но и потому, что москвичи отличались почти деревенской невзыскательностью в отношении жизненных удобств и городского благоустройства. «Нет никакой возможности ходить по московским улицам, которые узки, кривы и наполнены проезжающими, — писал Белинский. — Надо быть москвичом, чтобы уметь смело ходить по ним»^[67]. Москвичом надо было быть и для того, чтобы спокойно и как должное воспринимать и все прочие московские бытовые неурядицы, а их было множество. Прежде всего, Москва была городом довольно-таки грязным. Если уж и чинный и дисциплинированный Петербург в то столетие не мог похвалиться особой аккуратностью,

то что говорить о Первопрестольной с ее домашней принужденностью — она и вовсе была неряхой.

С древности московское население привыкло весь мусор и нечистоты, накапливавшиеся в доме, выбрасывать прямо во двор, а оттуда на улицы, и истребить этого обыкновения, присущего, впрочем, любому средневековому городу, было невозможно. Весной, когда замерзшие отбросы начинали оттаивать, город окутывался густым смогом и стоял столь «бальзамический дух», что порой щипало в глазах. Еще первые Романовы пытались, по мере возможности, бороться с нечистотой, и время от времени мусор с центральных улиц счищался, грузился на множество возов и вывозился на загородные «царевы огороды», где использовался вместо удобрения. Надо сказать, что урожай в результате радовал глаз: в Москве тогда (в XVII веке) вызревали даже дыни и виноград (в парниках, конечно), но проблему чистоты эта мера не решала. Уборке подвергались лишь немногие центральные магистрали, а боковые улицы и переулки продолжали тонуть в грязи.

После «великой чумы» 1771 года городские власти всерьез обратили внимание на санитарное состояние города. Домовладельцев заставили в обязательном порядке заводить выгребные ямы, для очистки которых завели ассенизационную команду, или, в просторечии, «золотарей». В обозы нечистот вербовали и вольных людей из городских низов и пришлого крестьянства, но главным образом привлекали в них уголовных преступников, которым за несколько лет службы в «золотарях» снимали большую часть срока. В XIX веке «золотарями» работали уже вольнонаемные, и работа эта считалась самой что ни на есть распоследней, к которой приводила крайняя нужда.

Работа «золотарей» начиналась после полуночи. «Тихая лунная теплая весенняя ночь, цветет по дворам

и в садах сирень, по улицам мелькают тени влюбленных парочек, и вдруг откуда-то повеет струя такого аромата, что только затыкай носы. Рабочие частных ассенизационных обозов, грязные, обыкновенно крайне плохо одетые, совсем оборванцы... — были предметом юмористики московских обывателей. Их называли „ночными рыцарями“, „золотарями“, очевидно по ассоциации контраста. А когда, бывало, обоз из нескольких... бочек мчится наподобие пожарных по улице — иной веселый обыватель орет во все горло этим обозникам: „Где пожар? Где пожар?“» ^[68]

Обоз планомерно объезжал ту или другую часть города, а перед рассветом, расплескивая при движении содержимое своих ничем не покрытых кадок и распространяя по улицам долго не проходящую вонь (почему в конце века «золотарей» стали именовать «Брокар» по известной парфюмерной фирме), вывозил вычищенное за ночь «золото» за городскую черту и... спускал его в водоемы; наиболее часто в нижнее течение Москвы-реки. Уже засветло опорожненный обоз возвращался в город. «Рано утром... мимо наших окон громыхал обоз с бочками — на козлах, укрепленных длинными эластичными жердями к ходу полка, тряслись „золоторотцы“, меланхолично понукая лошадей и со смаком закусывая на ходу свежим калачом или куском ситного. Прохожие тогда отворачивались, зажимали носы и бормотали: „Брокар едет“», — вспоминал Ю. А. Бахрушин ^[69].

Лишь после 1860-х годов за Камер-Коллежским валом стали организовываться первые примитивные «поля орошения». Размещались они в непосредственной близости от города, и жителям городских окраин вблизи от Проломной, Спасской, Серпуховской, Крестовской, Преображенской и Семеновской застав с ранней весны и до поздней осени буквально нечем было

дышать. Н. И. Кареев рассказывал: «Я помню, как, подъезжая к Москве на лошадях, затыкали носы от зловония, распространявшегося свалками нечистот, и даже когда уже были железные дороги, в вагонах к этому случаю закрывались окна. Историк Соловьев в этом отношении сравнивал Москву с Сатурном, вокруг которого тоже есть кольцо»^[70]. Частным лицам, чьи земельные владения оказывались заняты помойками, городские власти выплачивали за аренду неплохие деньги, и дело оказалось настолько выгодным, что кое-кто из владельцев пускал под отходы собственные дачные участки. «Использованные» и полностью засоренные участки из жадности нередко потом просто перекапывали и, слегка присыпав свежей землей, пускали под огороды, и горе было хозяйке, купившей овощи с такого огорода: неистребимое зловоние при варке делало их абсолютно непригодными в пищу.

Естественно, что за очищение выгребных ям владельцы домов должны были платить, а делать этого им не хотелось, поэтому таких трат старались всячески избегать. Нередко дождливыми ночами содержимое ретирад (то есть уборных) и помойных ям тайком вычерпывалось прямо на улицу, а если поблизости случалась река, то домовладелец устраивал потайную сточную трубу и сливал отбросы в воду. На подобных выходках ловили во второй половине XIX века не только частных лиц, но даже вполне почтенные учреждения: Катковский лицей, Голицынскую больницу и др. Усилиями жадных домовладельцев спрятанная под землю Неглинная превратилась в это время в клоаку.

Очень ценилось в городе наличие «поглощающих колодцев». Ю. А. Бахрушин вспоминал, что когда его дед приобретал участок, бывшая владелица особенно напирала на наличие такого «достоинства». «Поглощающие колодцы, — пояснял Бахрушин, — были

своеобразные скважины в земле, обладавшие способностью всасывать в почву все, что в них попадало. Благодаря этому владельцы участков с такими особенностями грунта были избавлены от трат по вывозу мусора со своего владения. Вся эта отвратительная грязь сваливалась в колодец и исчезала. А там дальше владельцу было наплевать, что впоследствии это попадало в подземные ключи, питавшие многочисленные тогда колодцы питьевой водой»^[71].

К этому следует прибавить, что вплоть до 1890-х годов в Москве почти не существовало общественных туалетов и «дань природе» горожане отдавали чаще всего на городских улицах. Конечно, отхожие места существовали в каждом частном доме. Устраивали их на лестнице и всякого входящего в дом сперва обдавало туалетным зловонием. Пользовались таким «удобством» лишь обитатели дома. В многоквартирных зданиях помимо уборных на этажах (устроенных по «пролетной» системе) имелись еще традиционные будки во дворах, которыми должны были пользоваться подвальные жильцы, работающие в лавках или мастерских, расположенных на нижнем этаже дома, а также и просто прохожие. Путеводитель 1881 года сообщал: «Каждый дворник обязан указать всякому это место, чего следует, однако, избегать, так как указываемые места большею частью неопрятны. Удобнее всего зайти в первую попавшуюся, только не 3-го разряда, гостиницу, дав предварительно швейцару или коридорному на чай 5 или 10 копеек. Ватерклозет *общий*, довольно чистый, на Ильинке против Биржи, сзади Новотроицкой гостиницы на узкой Певческой линии, в проходных сенях, где спуск в подвальный этаж»^[72]. Заметим, что этот «довольно чистый» общий,

то есть общественный, туалет был тогда один на весь торговый Китай-город, и найти его явно было непросто.

В некоторых местах Москвы, чаще всего на стройках, где имелись глухие заборы, с их внутренней стороны укрепляли наклонный желоб, выводивший попавшую в него мочу на улицу за ворота, где ее смывало потом дождем. Ставили и будки — чаще всего на рынках. Современник вспоминал, что такие «будки для мужчин» имели два отделения. На двери одного было написано «Дворянская», на другой «Общая». Рядом дежурил городовой, «чтобы отделять достойных от недостойных»^[73].

Ясно, что далеко не всякий москвич или приезжий был готов платить пятак дворнику или коридорному, бегать по китайгородским задворкам в поисках заветной двери в подвал или содрогаться от омерзения в зловонной и грязной общей будке. Гораздо проще было отыскать еще не загаженное местечко где-нибудь на свежем воздухе, во дворе или подворотне, или даже в чужом подъезде и...

В итоге, как вспоминал современник, «места стоянок извозчиков, дворы „постоялых“, харчевен, простонародных трактиров и тому подобных заведений и, наконец, все почти уличные углы, хотя бы и заколоченные снизу досками, разные закоулки (а их было много!) и крытые ворота домов... были очагами испорченного воздуха»^[74]. Китайгородская торгующая братия да и покупатели традиционно справляли естественные надобности с внутренней стороны средневековых крепостных стен. Прохожий люд не пренебрегал и храмовыми оградами, хотя церковные старосты пытались бороться со святотатством, выводя на заборах традиционное: «Здесь становиться строго воспрещено», но это помогало плохо, точнее, совсем не помогало.

Помимо нечистот москвичи частенько еще и в середине века выбрасывали на улицы падаль «дохлых кошек, собак и т. п.», где она, «никем не прибираемая, догнивала до полнейшего разложения»^[75]. При каждой мясной лавке существовали импровизированные мини-бойни для привозившегося живьем мелкого скота и птицы, и вонь от гниющих кровавых луж позади лавок смешивалась с тяжелым духом испорченного мяса (промышленные холодильники, как известно, появились только в XX веке, а качественные ледники имелись далеко не везде).

Весьма «ароматной» была местность вокруг Охотного ряда, где ценители со всей Москвы запасались мясными и рыбными деликатесами. «Слева, — вспоминал современник, — несся отвратительный запах гниющей рыбы, а справа от лавок, где продавались свечи, простое мыло и т. п., нестерпимая, доводившая до тошноты, вонь испортившимся салом и постным маслом»^[76].

При этом антисанитария торговых мест никого особенно не смущала, а вонь воспринималась, очевидно, как должное. До появления в 1860-х годах института санитарной полиции (и долгое время после) на чистоту в лавках и на рынках внимания совершенно не обращали ни торговцы, ни сами покупатели. Купленную крупу хорошей хозяйке полагалось тщательно перебрать (иначе в кашу попадет мышиный помет), муку — просеять, а о том, как печется хлеб или делаются колбасы, лучше всего было вообще не знать.

Говоря о старой Москве, довольно часто вспоминают сообщенный В. А. Гиляровским известный анекдот о первом владельце знаменитой булочной на Тверской, Иване Максимовиче Филиппове. Разломил, дескать, как-то утром московский генерал-губернатор князь Долгоруков филипповский ситник, а там — таракан.

Вызвал он в гневе Филиппова «на ковер», а тот исхитрился, схватил злосчастный кусок и — проглотил. И говорит, мол, не таракан это, а изюмина. И с той поры появился на свет популярнейший в Москве ситный: Филиппов, прибежав домой, с перепугу целое решето изюма в тесто всыпал. Тон рассказа Гиляровского был умиленно-ностальгический, по-московски благодушный. Действительно, что такое таракан в хлебе? Пустяк, о котором не стоит и говорить. В тогдашних булках порой и мыши запеченные попадались, что было гораздо менее приятно.

Постоянный конкурент Филиппова, булочник Савостьянов, имевший собственные пекарни и магазины на Арбате, Никитской и в других престижных местах, использовал для своей выпечки воду из дворового колодца. Однажды к Савостьянову пожаловала санитарная инспекция и убедилась, что колодец расположен в недопустимой близости к отхожему месту и вода в нем какая-то мутная. Взяли пробу для анализа. Через сутки вода дала густой темный осадок, состоявший, как сразу и выяснилось, из человеческих фекалий. Проводивший экспертизу доктор-немец был особенно обескуражен: он и сам, прельстившись носимым Савостьяновым званием «поставщика Двора Его Императорского Величества», был его постоянным покупателем.

При всем этом, по обычной для мастеровой Москвы традиции, пекари проживали там же, где и работали, то есть в пекарне. Тот же стол, на котором днем месили тесто, вечерами превращался в место ночлега. На нем рабочие раскладывали свои тюфяки, а онучи развешивали для просушки по квашням и кулям с мукой.

Надо представлять себе облик этих людей, чтобы в полной мере оценить ситуацию. Автор одних очень редких мемуаров, относящихся к 1860-м годам, мелкий

лавочник, вспоминал, как, задумав обзавестись семьей, он стал отчаянно франтить: «рубаху каждую неделю менял, манишку — через две недели, раза два в неделю и сапоги почишь. Одним словом, стал казаться женихом»^[77]. Естественно возникает вопрос: сколь же часто менялось белье и чистились сапоги в обычном, не жениховском состоянии?

Бани в Москве никогда не были редкостью, но посещение бани (равно как и стирка) стоило денег, и если нужно было сэкономить, на чистоте экономили в первую очередь. К тому же и древняя традиция банных суббот уже к концу XVIII века была русским простонародьем успешно изжита. В подмосковных деревнях бани сделались к этому времени редкостью и роскошью, и стало считаться нормальным (и это зафиксировано этнографами) мыться целиком один раз в месяц (в корыте или в недрах русской печи). Эту же привычку крестьяне привозили в город. Баню чаще посещали с медицинскими целями (при простуде или для протрезвления), чем для мытья. Соответственно, практически всякий простолюдин (и всякий пекарь) мог похвастаться не только собственным запахом, но нередко и коллекцией «домашних» насекомых — блох и вшей, которые чувствовали себя на хозяине вполне вольготно.

И что же? А ничего. И Филиппов, и Савостьянов выпекали действительно вкуснейший хлеб, и во всем невзыскательные москвичи потребляли его с удовольствием и старались поменьше задумываться о «технологических подробностях» производства.

К грязи рукотворной в Москве добавлялась и грязь природная. Почва в городе сырая и глинистая; борьба с вездесущей грязью ведется и по сей день, и не сказать, чтобы городские власти вкупе со всеми полчищами дворников одержали над ней победу. Даже сплошь

закованные в асфальт улицы при каждом ненастье покрываются слоем грязи и избавиться от нее решительно невозможно. В старину же московская грязь, особенно по окраинам, представляла серьезную проблему. Так, исключительно грязным местом были окрестности речки Черногрязки (само название красноречиво!). Здешние топи славились тем, что однажды, к конфузу московского градоначальства, тут намертво завязла карета с юными великими князьями, возвращавшимися в Кремль с Курского вокзала, где провожали свою августейшую маменьку, императрицу Марию Александровну.

Не намного лучше было с районом Миус. «Грязь на Миусской обширной площади существовала даже в 1856 году, — вспоминал Д. И. Никифоров. — В коронацию Александра II я ехал с теперешней Долгоруковской улицы в павильон Ходынского лагеря, пересекая Миусскую площадь, и экипаж мой застрял в трясине... так что созданные ночью рабочие вытаскивали его рычагами»^[78].

Между Гавриковым переулком и Переведеновкой лежала «обширная, редко пересыхавшая лужа, которая напоминала целое грязное озеро и способна была (что изредка и случалось) поглотить в своих недрах любую извозчичью лошадь с пролеткой»^[79]. Большая Преображенская была знаменита тем, что лошадь уходила в тамошнюю грязь по колено. В непроходимой трясине Дорогомилова, как уверял Андрей Белый, однажды в буквальном смысле утонул некто Казаринов, «два раза в год дирижировавший в Благородном собрании... сват-брат всей Москвы»^[80]. И число московских трясин этим не исчерпывалось.

Н. И. Пирогов вспоминал: «Раз в безлунный, темный осенний вечер я, не желая передать извозчику более пятак, загряз по щиколотку в каком-то глухом

закоулке и был атакован собаками; перепутавшись не на шутку, я кричал во все горло, отбивался бросанием грязи и наконец кое-как выбрался из нее, весь испачканный и с потерей галош»^[81].

Конечно, бороться с природной грязью можно было только мощением улиц, и меры в этом направлении в городе принимались издавна — века с XIV мостили бревнами, а начиная с Петровской эпохи — камнем. С начала XVIII века стали распространяться булыжные мостовые, вплоть до конца девятнадцатого столетия остававшиеся наиболее популярными в городе. Сооружали их из довольно крупных камней овальной и круглой формы. По такому покрытию было тяжело ходить пешком, а экипажи на булыжнике издавали сильный грохот. В связи с этим возникла традиция: когда в доме находился тяжело больной человек, умирающий или роженица, приобретали несколько возов соломы и застилали ею всю прилегающую к дому замощенную проезжую часть.

Помимо этого в Москве предпринимались попытки использовать и другие материалы для мощения: каменные торцы (как на Красной площади) — оказалось дорого, так что широкого распространения не получило; кирпич — в 1880-е годы такие мостовые даже вошли в моду, но оказались невыгодны, ибо были недолговечны (кирпич быстро крошился). Пробовали мостить и деревянными торцами, как в Петербурге. При такой отмостке в землю вертикально забивали равные по высоте обрезки бревен, предварительно ошкуренных и обтесанных в виде шестигранника (для более плотного прилегания). Такая напоминавшая соты мостовая в 1870-1880-х годах была уложена между Страстной площадью и генерал-губернаторским домом на Тверской. Она была ровной, гладкой, «мягкой» для хождения и на удивление тихой: колеса по ней

катились легко и бесшумно, но в московских условиях торцы быстро сгнивали и потому также не прижились.

С 1870-х годов на проезжую часть некоторых улиц стали класть асфальт. До этого в конце 1830-х попытались делать асфальтовые тротуары, но рецептура покрытия в то время была несовершенна и, как писал современник, «в летний жар асфальт размягчался и прилипал к подошвам гуляющих по тротуару, а в зимнее время трескался от стужи»^[82].

Прокладывали и чинили асфальтовые мостовые обычно в летнее время; асфальт варили прямо на месте работ в огромных чанах. Жар и вонь от асфальтовых чанов в жаркие летние дни были совершенно невыносимы, и это, между прочим, способствовало распространению моды на подмосковные дачи, куда стали рваться уехать даже не особенно состоятельные жители. Ночью в котлах на остывающей асфальтовой массе повадились спать бездомные и бродяги — традиция, сохранявшаяся и в XX веке, почти до 1930-х годов.

При всех экспериментах, производившихся с мостовыми, их было, во-первых, совершенно недостаточно: даже перед Первой мировой войной замощено в Москве было всего 67 улиц, а в конце XIX века таковых было около пятидесяти. Во-вторых, там, где мостовые были, они отличались по большей части прескверным качеством. Доходило до того, что заезжие иностранцы спрашивали: «Почему Москву мостят камнем острием вверх?» — они были уверены, что это делается специально для каких-то тайных целей.

Вплоть до середины XIX века мощение входило в обязанность домовладельцев, а те справлялись с этой повинностью как бог на душу положит. Где-то отмостка была получше, где-то похуже; встречались и хозяева, которые по ночам тихонько воровали булыжник из

мостовой соседа, чтобы залатать прорехи в собственном мощении. В результате большинство улиц, даже Тверская, изобиловало ямами. Полиция обязана была следить за мощением, но вовремя данная взятка часто способна была закрыть ей глаза на любую неисправность. Особенно плохи были мостовые перед церквями и казенными зданиями, и здесь даже полиция была бессильна. Если к плохому мощению добавить традиционную «горбатость» проезжей части (чтобы вода лучше стекала), то нетрудно себе представить, в какой ад превращалась езда по таким мостовым. Извозчики пролетки прыгали по камням и выбоинам и летали по ухабам, так что иногда у пассажиров возникало что-то вроде морской болезни. Велик и реален был и риск вылететь на ходу из экипажа.

Очистка мостовых от снега и льда также входила в обязанность домовладельцев или, скорее, их дворников, но и здесь далеко не все были исправны, и зимой ухабистость улиц даже возрастала. Там же, где хорошо убирали, могли возникнуть иные проблемы: «Если затем (после уборки) не было снегопада, то тяжелые полозья саней царапали по булыжнику, и тяжелые возы застревали, особенно при подъеме в гору»^[83]. Весной наступала распутица и длилась, в зависимости от погоды, иной раз до шести недель, и наиболее благоразумные из московских обывателей, если позволяли жизненные обстоятельства, старались в это время вообще не покидать домов.

Тротуары мостили несколько лучше мостовых. Если в начале XIX века проходы для пешеходов еще чаще представляли собой деревянные мостки, наподобие тех, что в наши дни устраивают вокругстроек, то уже в середине века появились тротуары из плит дикого камня (почему и именовались в московских низах «плитуvarами»). Их устраивали приподнятыми над

землей и отгораживали от проезжей части темно-серыми, усеченно-конической формы каменными (а иногда и деревянными) тумбами. Особенной надобности в тумбах не имелось: на высокие тротуары экипажи и так не могли заехать; так что использовали их в основном, расставляя поверху плоски во время иллюминации.

На окраинах, где мощение вообще было скорее воображаемым, вместо тумб вкапывали в землю простые деревянные столбики. Вот от них практической пользы было больше. «Столбики эти то и дело подгнивали и рассыпались гнилушками или похищались наибеднейшими из самих же обывателей для отопления их убогих жилищ, и в таком случае оставляли после себя яму, не слишком глубокую, но все же достаточную для того, чтоб в вечернем мраке или ночной тьме попасть в нее ногой и оказаться с переломом, вывихом или, по крайней мере, ушибом», — писал Д. А. Покровский^[84]. В 1890-х большинство тумб за ненадобностью стали уничтожать.

Еще и в конце столетия, когда мощением и благоустройством улиц ведала городская управа, состояние их было далеко от идеала, тем более что для интенсивной в эти годы прокладки подземных коммуникаций улицы постоянно разрывались и делались непроходимыми.

В общем же на протяжении почти всего девятнадцатого столетия большинство переулков, даже в центре, было вовсе не мощено, летом зарастало травой и полевыми цветами, а в глубоких колеях там застаивалась вода. Поскольку же по большинству московских улиц езда вообще была слабая, то и там обочины мостовых и откосы тротуаров тоже зарастали травой, которой вполне хватало для выпаса обывательских кур и коз, а порой и коров. Пейзаж в

итоге получался совершенно сельский, что еще больше способствовало репутации Москвы, как «большой деревни», и такой же первобытный.

Совершенным захолустьем было еще и во второй половине века Лефортово, где царили почти деревенские нравы. Д. А. Покровский вспоминал, каким глухим местом были в 1860-х годах окрестности Покровской улицы (нынешней Бакунинской). Между Нижней и Средней улицами (нынешней Энгельса и Большой Почтовой) шли в то время два переулка, именуемые местными жителями Поповым и Дьяконовым — там действительно находились жилища этих двух духовных особ, несущих службу в Ирининской церкви. «Оба они (переулки)... располагались по склону довольно крутой горы. (...) Так как они не имели ни мостовых, ни тротуаров, ни фонарей и сверх того спускались по косогору, то и можно понять, какого роду пути сообщения они представляли собой даже летом, в сухую пору. Что же бывало в них весной, осенью и особенно зимой, при наличности снежных сугробов и обледенелых тропинок, для отважных путешественников, того ни изобразить, ни понять с надлежащею ясностью невозможно. Достаточно упомянуть, что когда на Нижней улице в первые годы генерал-губернаторства князя Долгорукова случился весной сильный пожар, и князь Владимир Андреевич счел нужным сам посетить место несчастья, то, несмотря на совершенно сухую погоду, его коляска, не привычная к переездам по таким отчаянным захолустьям, потерпела серьезное крушение. (...) Его сиятельство вынужден был сойти с экипажа и четверть версты, отделявшие его от пожара, пройти пешком».

Впечатление, произведенное на обывателей этим губернаторским визитом, было потрясающим. Полиция с ужасом ждала головомойки; домовладельцы опасались понуждений к замощению переулков. «Однако все эти

страхи оказались напрасными: князь посмеялся, пошутил с частным приставом на счет дикости стороны, которую он заведует, дождался приезда нового экипажа и уехал с пожара другой дорогой, оставив и полицию, и обывателей на жертву недоумению и страху, которые так и не оправдались»^[85].

И все же это был стольный город, и атрибуты столицы хоть медленно, но неуклонно в Москве тоже укоренялись. Так, на протяжении XIX века в городе наблюдался заметный прогресс в освещении.

Начало освещению улиц было положено в Москве, как известно, в царствование Анны Иоанновны, когда по случаю ее коронации с 25 декабря 1730 года на улицах Кремля были устроены первые стеклянные фонари. Они были установлены на невысоких — чуть больше двух метров — четырехгранных полосатых деревянных столбах, на которые сверху, как набалдашник на трость, был надет собственно фонарь. Он имел четыре стенки, две из которых были стеклянными, а две жестяными, покрашенными в белый цвет (отражатели). Одна из стенок служила дверцей, запиравшейся на маленькую щеколду. Внутри размещались простенькие жестяные лампочки с нитяным фитилем, в которых горело конопляное масло и больше коптило, чем светило. Конструкция светильни была весьма несовершенной, и озарял такой фонарь в основном пространство вокруг себя. Освещались в это время только тротуары: для проезжей части служили каретные фонари, которых на каждом экипаже было обычно два, по обе стороны от кучера. Ни внешний вид, ни примитивная конструкция масляного фонаря почти не изменялись за все десятилетия их эксплуатации, разве что в XIX столетии их перестали делать полосатыми, а стали красить дешевой серой краской, и дожил масляный фонарь до второй половины века.

Для обслуживания уличных фонарей был набран штат фонарщиков. В их обязанности входило по сигналу, данному с полицейской каланчи (для чего в сумерки вывешивался красный фонарь), начать зажигать светильники на своем участке. В снаряжение фонащика входили деревянная лестница с гвоздями на концах, емкость с гарным маслом, жестяная воронка и заправка, ножницы, жестяная мерка для розлива в фонари масла, масляный насос («ливер»), всевозможные тряпки и ершики для протирания стекол и чистки светильни, нехитрый инструмент для подкручивания гаек и прочего мелкого ремонта, а также небольшой деревянный ручной фонарь. Подойдя к фонарю, нужно было приставить к нему лестницу, влезть, открыть дверцу, почистить все внутри, заправить, зажечь, закрыть, слезть и идти дальше. К середине века были установлены нормы освещенности: в Кремле, на Тверской, на Каланчевке расстояние между фонарями должно было составлять 10 сажен (1 сажень равна 2,133 метра), в других местах — 55, а кое-где (Новинский бульвар и окрестности Цветного бульвара) — 70 сажен. Впрочем, во многих местах — в том же Лефортове — фонарей вообще не было.

Участок фонащика имел в длину не менее шести верст, так что на его долю доставалось около 150 фонарей. К концу процесса зажигания подходило уже время гасить фонари, и фонащик отправлялся в обратный путь, вновь проделывая почти ту же процедуру.

Набирали в фонащики в основном отставных солдат, и они состояли в ведении городской пожарной службы. Им выплачивалось жалованье — 18 рублей в год плюс довольствие натурой, как нижним чинам в армии.

Фонарное (гарное) масло систематически уворовывалось: его ели и сами фонащики, и окрестные

жители, и даже «крупные чины» «маслили» им свою кашу, продавая на сторону, так что приходилось распускать слухи, будто бы в масло бросаютдохлых мышей. (Увы, это не помогало!) Расходы на освещение и без того были немалые, и городские власти усиленно сэкономили. Ввиду этого осветительный сезон длился лишь с 1 сентября по 1 мая, причем 12 ночей из 30 каждый месяц свет не зажигали. Эти ночи предполагались лунными, когда искусственный свет вроде бы был не нужен, и в полицейских участках висело расписание лунного цикла. Если, паче чаяния, небо в эти дни заволакивало тучами, то тьма на улицах стояла кромешная. Как писал А. Н. Островский в своем незавершенном прозаическом наброске «Сказание о том, как квартальный надзиратель пустился в пляс...»: «На улице было грязно и темно, хоть глаз выколи; по расчетам полиции, должен был светить месяц, потому и не зажигали фонарей, а почему месяца не оказалось, неизвестно»^[86]. В такие ночи горели только фонари вблизи полицейских будок, но изливаемый ими свет скорее подчеркивал окружающую темень. Наступавшей в такие ночи в Москве «египетской тьмой» охотно пользовались разные жулики и нападали на прохожих.

С течением времени в гарное масло стали добавлять скипидар, что усилило довольно неприятный запах от фонаря, но сократило кражи. С 1843 года кое-где заливали в фонари смесь спирта и скипидара, что считалось дешевле, чем «масляно-минеральная смесь» (чистый спирт тоже когда-то пробовали, еще в 1760-х годах, но тогда через полчаса после начала их работы в Москве не осталось ни одного пригодного к работе фонарщика).

К началу XIX века число московских фонарей достигло трех с половиной тысяч, а к 1860-м имелось 2292 масляно-минеральных фонаря и 4368 конопляно-

масляных. К концу века на городских улицах было более 20 тысяч различных фонарей. С 1850-х годов в России началась переработка нефти, и в 1864 году на улицах Первопрестольной появились первые керосиновые светильники. Через два года в городе исчезли последние масляные фонари. Для обслуживания новых светильников по-прежнему использовались фонарщики, только на сей раз им приходилось таскать за собой канистру с «фотогеном», как поначалу называлось новое горючее средство. «Фотоген перед домом генерал-губернатора горит как солнце, — свидетельствовал историк М. П. Погодин, — а чуть подальше к Охотному ряду все тускнеет и приравнивается к нашему доброму конопляному маслицу»^[87]. Впрочем, даже самый яркий керосиновый фонарь давал примерно 12 свечей, так что «солнцем» он мог считаться лишь по контрасту с действительно тусклым масляным освещением.

Снаряжение фонарщика сделалось заметно тяжелее и в целях сбережения сил многие из них оставляли свое имущество — «промасленный керосином ящик на колесах с убогими принадлежностями их ремесла — стеклами, щетками и пр.» — где-нибудь в тупичке между домами «и ни одному вору не приходило в голову поживиться этим добром»^[88].

В 1868 году на московских улицах появились также первые газовые фонари. Поначалу они были не ярче керосиновых и вызывали большие сомнения у горожан: упорно ходили слухи о какой-то особой ядовитости светильного газа. Газовый фонарь по-прежнему приходилось ежевечерне зажигать и выключать, но для этого уже не требовалось залезать на его верхушку: весь механизм был спрятан в цокольной части, откуда пламя поднималось к светильне (так же, как это делается в наше время при зажигании олимпийского

огня). К концу века, когда благодаря новоизобретенной газокалильной сетке яркость газового светильника возросла почти втрое, такие фонари были установлены на Тверской, вдоль наиболее оживленной части Бульварного кольца и на центральных набережных. Вдоль бульваров были устроены резервуары, куда дважды в неделю по резиновому шлангу («кишке») перекачивали сжиженный газ из особых фургонов. Таким же образом перекачивали газ и в резервуары жилых домов с газовым освещением: «В цоколе с наружной стороны здания находился клапан, к нему привозили на паре лошадей длинный железный цилиндр с газом, привертывали к клапану резиновый рукав и пускали газ. Он проходил по трубам в большие резервуары, помещавшиеся внутри зданий. При таком примитивном способе перекачки много газа улетучивалось наружу и на большом пространстве сильно пахло газом. Публика, зажимая носы, обходила на почтительном расстоянии эти пахучие операции» ^[89].

В 1856 году москвичи имели возможность впервые познакомиться с электрическим светом. В дни коронации Александра II на башнях Кремля и на Лефортовском дворце были установлены десять прожекторов — «электрических солнц», которые произвели тогда на публику огромное впечатление.

В 1883 году на Кремлевской набережной, Каменном мосту и Петровских линиях, а также рядом с храмом Христа Спасителя (это было во время коронации Александра III) появились первые электрические фонари, вокруг которых долго потом толпились любопытные. Природа электрического света простой публике была неясна, и под фонарями разгорались жаркие споры: «разбери таперича, что тут горит: огарок не огарок, кислота не кислота, и масла не видать». Обычно сходились на том, что «оно», то, что горит,

«лектричество», — а «тут и тюлений жир, надо полагать, и скипидар, а больше дух от него», а может, и просто «самоварный угар», — накачивается в светильню «по проволокам»^[90]. Появление электрического света, между прочим, дало возможность работать в вечернее время: раньше, при открытом огне, с наступлением сумерек всякие уличные работы останавливались.

Около того же времени электрическое освещение стало приходить и в частные дома, и довольно долго потом оставалось сенсацией. В моду вошли «электрические балы», на которые гости приглашались специально с целью полюбоваться новинкой. Эти мероприятия создавали у участников множество сильных ощущений. Дамы долго и с содроганием вспоминали, как скверно они тогда выглядели: состав керосинового (или газового) и электрического света был слишком различен, и макияж, наложенный при керосинке, при новом освещении просто ужасал. Одна хозяйка дома оказывалась свежа, как персик, и, конечно, оставалась очень довольна своим вечером.

У мужчин на «электрическом балу» тоже находилась забава. «Когда в 1888 году известный миллионер Дервиз завел у себя дома электричество, — вспоминал В. А. Нелидов, — то развлечением для его гостей было: „пойдем свет зажигать“. Входили в темную залу, хозяин дома поворачивал кнопку. Все восхищались и удивлялись»^[91]. Стали освещать электричеством и театры, причем поначалу случалась паника, потому что горел новый свет прихотливо и иногда неожиданно выключался. В эти моменты публика в ужасе вскакивала с мест и бежала к дверям, но тут свет вновь вспыхивал и суматоха прекращалась.

Недостатка в воде московское народонаселение, казалось бы, не имело. Помимо трех больших рек — Москвы, Яузы и Неглинки (последняя к началу XIX века

частично уже была спрятана в подземный коллектор, а к концу века оставалась на поверхности лишь в самых верховьях, в виде нескольких позднее засыпанных прудов), в городе имелось несколько десятков ручьев и речушек и множество прудов. Но даже берега Москвы-реки, не говоря уже о прочих речках и ручьях, набережных почти не имели. Со стороны Замоскворечья выхода к воде практически не было: весь берег сплошь был застроен амбарами и складами. В других местах теснились на воде бесчисленные барки с сеном и хлебом. Возле Крымского моста располагались плоты, и мальчишки летом бегали туда купаться с некоторым риском для жизни, так как течение в этом месте было довольно сильное. «Едва-едва, бывало, выберешься из воды — ноги так и уплывают под плот», — вспоминал Н. П. Розанов^[92]. Зато ближе к окраинам берега вольно спускались к воде и поэтично зарастали травой и плакучими ивами. На реках строили бани, заводы и мастерские, над ними возводили мостики, вносящие большое своеобразие в окраинные московские пейзажи.

Возле Зачатьевского переулкa существовал перевоз на другой берег Москвы-реки. Здесь же за 30–50 копеек можно было взять лодку напрокат, чем охотно и пользовались москвичи, особенно в праздничные дни, и отправлялись вплавь на Воробьевы горы. После половодья и до тех пор, пока у устья Канавы (Водоотводного канала) не устанавливали съемную летнюю Бабьегородскую плотину, река сильно мелела, ее дно кое-где даже совсем обнажалось и лишь посередине ленивым ручьем струилась вода. Эти частые мели даже породили своеобразный сезонный промысел, которым занимались в основном прибрежные жители из тех, кто не имел постоянных занятий.

Люди несведущие и плохо знавшие нрав реки, нередко попадали впросак брали лодку, а через какое-

то время — р-раз! — и садились на мель. Лодка с празднично разодетой компанией, с визжащими барышнями, гитарой и самоваром принималась тихо крутиться на одном месте; гребцы тщетно пытались столкнуть ее веслами, но это обычно не помогало. Лезть в воду — означало безнадежно испортить единственный праздничный костюм. Разоблачатся при барышнях было неловко, да и холодновато — все же стояло еще не вполне лето. Вертевшиеся люди начинали отчаянно озираться по сторонам, а потом и звать на помощь. И вот тут от берега отделялась фигура, либо закутанная, как капуста, в обрывки клеенок, либо просто полуголая и притом ярко-багрового цвета (попробуй-ка, пополощись в холодной воде!) и медленно брела по реке в сторону застрявших. Подойдя вплотную, спаситель обдавал пострадавших густым духом лука и перегара («а без этого в нашем промысле нельзя!») и сипло возвещал: «Полтинник!» Запрос был безбожный; седоки принимались торговаться и обычно сговаривались на 15–20 копееках. После этого умелец наваливался на лодку, подавал ее назад, цеплял большим крюком, висевшим у него на плече на веревке, и, закинув веревку на плечо, выводил страдальцев на чистую воду, гуляющие отплывали, но довольно скоро история повторялась, и новый благодетель, привычно поторговавшись, вновь тем же способом зарабатывал свой пятиалтынный.

Однако мелководной Москва-река, как и другие городские реки, была не всегда. В пору таяния снегов она доставляла москвичам немало беспокойства как раз своей полноводностью. Наводнения бывали в Москве если и не так часто, как в Северной столице, то все же достаточно регулярно. Почти всякую Пасху уровень реки повышался и на Вербу традицией москвичей было стоять на одном из больших мостов, смотреть на проходящий лед и строить прогнозы относительно

возможности очередного наводнения. Как правило, обходилось: вода в худшем случае покрывала лишь прибрежные низменности. Но иногда уровень воды оказывался достаточно высок и она заливала Замоскворечье, Дорогомилово и другие территории города, принося немалый материальный, а иной раз и человеческий ущерб. «В нынешнем году, — писал в 1856 году московский купец П. В. Медведев, — разлив Москвы-реки был до того силен, что редкие <старожилы> помнят, даже, говорят, превышал <уровень> 1807 года. Обе набережные залиты были выше решеток, у Каменного моста они даже были поломаны, Замоскворечье все было в воде, нижние этажи, подвалы, погреба и все прочее стояло в воде, во многих домах было выше аршина воды; много поломано, повредило побережью. А какая была картина наводнения — страшно поразительная. Во многих церквях прекратилось богослужение, потому что полны были воды; многие жили на крышах, чердаках, было даже так — с печей не слезили двое суток, а многие печи почти до основания поразмыло. Это было с 17-го числа (апреля) по 19-е вечер 1856 года»^[93]. Вода в тот раз поднялась до церкви Ивана Воина на Якиманке.

С конца XVIII века в Москве, как и в Петербурге, существовала традиция отмечать уровень наиболее сильных наводнений. Для этой цели была выбрана одна из башен Новодевичьего монастыря, и там остались отметки после наводнений 1807, 1828 и 1856 годов — более чем на двухметровой высоте. Делались отметки и на церкви Троицы в Лужниках. Они находились на высоте в сажень от земли (2,14 метра).

И все же при таком сравнительном изобилии воды в Москве качество ее было очень низким. Глинистая московская почва оставляла в воде мутную взвесь, а промышленные стоки и вываливаемый на берега и в

воду мусор являлись постоянными источниками заразы, особенно в весеннее и осеннее время, когда дожди смывали в реки еще и уличную грязь. Колодцы приходилось рыть очень глубокие, чтобы добраться до песчаного слоя, но и это не гарантировало, что добытая влага окажется съедобной и не будет иметь неприятного запаха. Были, конечно, бедолаги, которым приходилось отстаивать и пить речную воду, но чаще и ее, и колодезную использовали лишь для хозяйственных нужд. Едва ли не единственный источник действительно чистой и пригодной для питья воды находился в Москве на Трех Горах, за Пресней, но пользоваться им могла только богатая публика. Владелец тамошнего колодца брал за свою воду абонементную годовую плату в 10 рублей на ассигнации. В общем, Москва постоянно нуждалась в питьевой воде. После все той же великой чумы 1771 года, распространение которой не в последнюю очередь приписывали грязной воде, городские власти стали принимать меры по улучшению качества водоснабжения.

Первый водовод начали строить в 1779 году по проекту инженер-генерала Баура. В систему входили знаменитый Ростокинский акведук, до сих пор являющийся одним из шедевров московской промышленной архитектуры, и несколько водозаборных бассейнов, один из которых находился на Трубе, в самом начале подъема в гору на Рождественский бульвар. Строили долго: первая вода пришла в Москву только в 1804 году.

Это была вода из знаменитых мытищинских Громовых ключей — чистая и такая вкусная, что одним из главных средств к существованию в Мытищах было потчевание (за деньги) всех проходящих и проезжающих вкуснейшим чаем. Здесь во всяком дворе стояли столики и скамейки и хозяйки наперебой

зазывали к себе истомленных путников. Побывать в Мытищах и не напиться чаю — это было то же самое, что уехать из Москвы без знаменитого калача или из Тулы — без печатного пряника.

Единственным недостатком нового водоснабжения было то, что водопроводной воды на всех не хватало, и большинство горожан по-прежнему продолжали забирать воду из рек и прудов. В итоге Москва пережила две эпидемии холеры: в 1830-м, а потом в 1848 году. Память о них жила в городе очень долго.

Современник вспоминал о холере 1848 года: «Паника сделалась общей... Выходя из двора, невозможно было обойтись, чтобы не встретить нескольких покойников; по пути и там и сям видны были в домах следы смерти; ежедневно получались сведения о смерти кого-либо из родственников, соседей, знакомых или вообще известных лиц; во всех церквях были совершаемы молебствия, для которых в некоторых случаях жители нескольких приходов соединялись вместе, после чего с иконами были обходимы все дворы... Только на помощь Божию была надежда при существовавшем отчаянном положении, и вот, как помню, массы молящихся стали стекаться в церковь Николая Чудотворца в Хамовниках на поклонение прославленной тогда чудотворениями иконе Божией Матери „Споручницы грешным“. Только в августе болезнь начала стихать и осенью прекратилась совершенно»^[94]. Ясно было, что и с водоснабжением, и с санитарией все еще далеко не благополучно.

В конце 1840-х годов московская водопроводная система была усовершенствована инженером бароном А. И. Дельвигом (племянником известного поэта). Теперь в систему водоснабжения входили Мытищинская и Алексеевская водокачки, а также водокачки в Преображенском, Андреевском и на Ходынском поле.

Два водоема было устроено в Сухаревой башне. На Лубянской, Варварской и Театральной площадях, на Трубе (в другом, не том, что раньше, месте), в конце Пречистенки и в других местах появились водозаборные фонтаны (москвичи попроще называли их в женском роде: «бассейня») — всего их в городе стало 35. Отсюда основная масса москвичей и получала живительную влагу. Довольно скоро фонтаны действительно превратились из настоящих фонтанов в бассейны с кранами. К кранам были приставлены специальные надсмотрщики, основной обязанностью которых было открывать и закрывать вентиль и не допускать пустого расходования воды. Возле бассейнов почти постоянно толпилась очередь из водовозов и водоносов, которые и занимались снабжением москвичей. Набирая воду длинными черпаками, они по очереди заливали ее в свои бочки, вмещавшие в среднем 50–80 ведер. Затем бочки на колесах или на полозьях разъезжались по окрестным улицам и заезжали во дворы, где воду из них ведрами разносили по квартирам. Чтобы получать каждый день от водовоза одно ведро воды, москвичи платили в конце века 20 копеек в месяц, а если квартира была на верхнем этаже — то 25. Водовозы работали как на лошадях, так и «вручную». Прибыв во двор, водовоз брал заготовленные ведра, вынимал из расположенного в задке бочки крана втулку и наливал требуемую порцию, после чего ловко затыкал кран и относил ведра на кухню. Распространенной и злой забавой московских уличных мальчишек было, пока водовоз отсутствует, незаметно вытащить втулку и дать воде бесполезно вылиться на землю.

Кроме водовозов, существовали еще водоносы, чьи бочонки были много меньше и разносились по домам на закорках. Услугами водоносов чаще пользовались владельцы небольших домов на одну семью. Самая

бедная публика набирала себе воду бесплатно непосредственно из фонтанов, для чего следовало приходить поздним вечером и выстоять довольно длинную очередь.

В барских усадьбах, пока существовало крепостное право, водоснабжением ведали дворники. Они и отправлялись поутру к «бассейням» и привозили две-три бочки воды, которой хватало как для барского потребления, так и для челяди.

В частные дома воду вплоть до конца века проводили крайне редко: мытищинские источники были сравнительно маломощны и в целом питьевой воды Москве не доставало. К началу 1890-х годов водопровод был примерно в 140 домах.

Важными потребителями воды были московские пожарные. Во всяком пожарном обозе существовало по нескольку повозок с бочками, поскольку на тушение полагалось на всякий случай приезжать с собственной водой (неизвестно было, окажется ли поблизости от места пожара подходящий водоем).

Пожары были постоянным московским бедствием, что и естественно, поскольку значительная часть городских построек была полностью или частично деревянной. Тушили их долгое время своими силами, для чего в каждом дворе имелись багры, топоры и ведра, а воду таскали из близлежащего колодца. В 1804 году в Москве была создана профессиональная пожарная команда, состоявшая из пожарных частей, охватывающих всю территорию города. Позднее, уже после Отечественной войны, когда обер-полицмейстером был Д. И. Шульгин (он занимал этот пост в 1825–1830 годах), эту службу существенно усовершенствовали: во-первых, решительно пресекли мародерство пожарных, в котором те долго были повинны (из-за чего состоятельные домовладельцы иногда просто не подпускали к своему дому

огнеборцев, предпочитая лишиться дома, но сохранить вынесенное из него имущество). Во-вторых, при Шульгине стали возводиться каланчи.

Пожарные обозы размещались на особых дворах, обычно рядом с полицейской частью. Здание у полиции и пожарных было общее, и каланчи стали их отличительной особенностью и указателем. Представляли они собой многометровые башни, обычно самые высокие сооружения в своем районе, с которых хорошо просматривалась вся территория. Наверху у каланчи были смотровая площадка и высокий шпиль с рогулькой на конце. На площадке круглосуточно дежурили двое караульных, непрерывно расхаживавших в разные стороны и наблюдавших за окрестностями. Когда случался пожар, на каланче выкидывали сигнал — черные кожаные или брезентовые шары и прямоугольные черные мешки с намалеванными на них желтыми крестами, в различных сочетаниях. Этот пожарный сигнал поддерживали каланчи других частей. Один шар обозначал, что горит в Городской части, два шара — в Тверской, три шара — в Пречистенской, четыре — в Арбатской. Яузская часть обозначалась двумя шарами и крестом под ними и т. д. Если выкидывали еще и красный флаг, это означало большой пожар, требовавший сбора всех пожарных частей города. От этого способа пожарного оповещения произошли московские выражения: «забрать под шары», «провести ночь под шарами» (то есть в полицейском участке). В ночное время вместо шаров вывешивали белые фонари, а вместо крестов — красные.

На тревогу выбегал дежурный вестовой, вскакивал на лошадь и летел узнавать, где именно горит, в то время как пожарные запрягались, надевали каски, выкатывали бочки с водой. Вернувшийся вестовой уточнял место пожара. Через 2,5 минуты после этого

пожарный обоз обязан был выехать на тушение, а еще через 9 минут — прибыть в самую отдаленную точку своей части.

Выезд пожарных команд всегда был ярким зрелищем и собирал большую толпу зевак. Лошади в пожарных командах были подобраны по росту и масти, — в Тверской все как одна желто-пегие (пятнистые), в Рогожской — вороно-пегие, в Хамовнической — соловые (желто-песочные) с черными хвостами, в Сретенской — соловые с белыми хвостами и гривами, в Пятницкой — вороны в белых чулках, в Городской — чисто белые, в Якиманской — серые в яблоках, в Таганской — чалые (темные с сединой), в Арбатской — гнедые, в Сущевской — светло-золотистые, в Мясницкой — рыжие, а в Лефортовской — караковые (черно-коричневые). Не было москвича, который не знал бы этих признаков и не умел по конской масти определить районную принадлежность пожарной команды. Впрочем, было среди пожарных и пешее подразделение, обслуживавшее торговые ряды Китай-города.

Багры везли на повозках, запряженных четверкой, насос — на тройке, бочки с водой — на парах лошадей, пожарные рассаживались на краях повозок — все как один крепко сбитые, в блестящих медных касках, на которых красовалась надпись «Всегда готов» и обязательно с закрученными усами, молодец к молодцу. Защитной одеждой у огнеборцев были суконная куртка и штаны, ближе к концу века — одежда из брезента, дополненная металлической каской и грубыми сапогами с подбитыми гвоздями подошвами. Впереди с факелами мчались верховые и изо всей мочи дудели в трубы, а замыкал поезд брандмайор в коляске, запряженной тройкой. Грохот, звон, звуки трубы, цокот конских копыт, вылетающие из-под них искры — тут было на что посмотреть.

Пожар был не только несчастьем, но и грандиозным зрелищем, наполненным сильными ощущениями. В скудной на развлечения Москве любили смотреть на то, как тушат пожары, на драматические и комичные сценки, которые при этом разыгрывались; восхищались героизмом и ловкостью пожарных, которые, используя самые примитивные приспособления и поминутно рискуя жизнью, совершали настоящие чудеса на мокрых и скользких лестницах и карнизах, на крутых скатах крыш, летом в невыносимой жаре и духоте.

Наиболее сильные пожары надолго застревали в городской памяти — и это не только знаменитейший пожар 1812 года, соединенный с недолгой, но важной в московской истории французской оккупацией. Своими масштабами это бедствие в немалой степени было обязано тому, что московский генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин распорядился эвакуировать из города пожарные части со всем снаряжением, так что французам тушить огонь было попросту нечем. Этот пожар был и символом, и важной вехой, навсегда разделившей историю города на «допожарную» и «послепожарную». Последствия его наблюдались потом почти два десятилетия. Еще и в конце 1820-х годов на Пречистенке «красовались» обгорелые руины дома Всеволожских, на Воздвиженке был пустырь на месте дома князей Долгоруковых (потом на этом месте возник «мавританский замок» Арсения Морозова), в Армянском переулке, вблизи Остоженки, в Лефортове и во многих других местах тоже очень долго оставались пустыри с руинами и без руин. В 1826 году по случаю коронации Николая I генерал-губернатор князь Д. В. Голицын вел переписку с Комиссией о строениях о приведении сгоревших домов в благообразный вид, но и в середине 1830-х годов в Москве еще нередко можно было наткнуться на заросшие остатки пожарища.

Очень сильными пожарами запомнился 1834 год. С середины мая тогда установилась жара и засуха, и скоро начались пожары, которые продолжались непрерывно все лето, особенно на окраинах — в Лефортове, у Крестовской заставы, в селе Всехсвятском и др. Иногда загоралось одновременно в четырех-пяти местах, так что в городе совершенно справедливо подозревали поджоги.

Обер-полицмейстером в то время был Л. М. Цынский. Он «выходил из себя, отыскивая зажигателей. Несколько лиц, заподозренных совершенно неосновательно, заплатили жизнью под побоями расsvирепевшей черни. Паника тяготела над жителями: многие держали большую часть своего имущества уложенной, как в дорогу, в чемоданах, сундуках, узлах, чтоб иметь возможность выносить его при начале пожара. По ночам составлялись из жителей караулы, независимо от ночных сторожей и полицейских. Настала осень, пошли дожди, а пожары не прекращались. Стали говорить о приезде в Москву императора Николая, и жители ободрились, надеясь, что присутствие государя разом прекратит бедствие, заставив полицию усилить бдительность. Вначале надежды не оправдались: в самый день приезда государя было 4 пожара в разных концах города. Однако после этого пожары стали становиться реже и вскоре совсем прекратились. Говорили, что переловлено было до 60 поджигателей, которые были преданы суду и потерпели заслуженную кару»^[95].

Памятен остался горожанам и пожар Большого театра 11 марта 1853 года, «смотреть» который сбежалась громадная толпа. Пламя бушевало несколько дней, и потом было множество рассказов о происшествии, в частности, о подвиге кровельщика Василия Гаврилова, который с опасностью для жизни

вскарабкался по желобу до крыши горевшего театра, чтобы бросить веревку погибавшему рабочему, и тем спас его от верной смерти. И хотя спасенный храбрецом был всего один, москвичи с увлечением передавали друг другу подробности о множестве им спасенных.

Надолго запомнился и пожар 2 июля 1862 года в Рогожской. «Деревянные дворы и дома пылали адским огнем. Небо было красное. В воздухе летали пылающие клоки сена, рогож. Отчаянный крик народа, ржание лошадей, мычание коров... Гонимые паникой и животные и птицы лезли в огонь. Над страшным пламенем взлетела стая голубей и погибла в огне. На близлежащих улицах все было связано в узлы и сложено на возах, люди не спали и готовы были каждую минуту выехать куда глаза глядят.

За валом стоял дегтярный двор, на котором всегда были тысячи пудов дегтя в бочках, — перекинуло и туда, и он запылал. Черный, густой дым повалил от него, а по земле тек горящий деготь. Народ просто обезумел.

Вся Москва съехалась на это невиданное зрелище. За водой ехать было далеко — на Язу, а к ней надо спускаться и подниматься по очень крутой и высокой горе. Колодцы все иссякли, большинство из них было в огне... Пожарные и лошади их обессилели; наконец бросили тушить, предоставляя все воле Божией»^[96]. Пожар продлился трое суток и лишь затем стал стихать.

Помимо наводнений и пожаров Москву не обходили и иные бедствия, но все же на протяжении XIX столетия их было не очень много. 14 октября 1802 года произошло небольшое землетрясение: всего два толчка. Оно хорошо ощущалось на Трубе, Рождественке и за Яузой, где в домах качались люстры и иногда колебалась мебель. Следствием стали трещины, появившиеся кое-где в стенах, а в одном месте просела

земля на аршин в окрестности. После этого несколько дней висел густой туман, что, как считали, тоже было связано с землетрясением. Это событие стало одним из самых ярких впечатлений детской жизни А. С. Пушкина и было описано Н. М. Карамзиным.

27 июня 1828 года над Москвой пронеслась буря, оставившая по себе долгое воспоминание у очевидцев. Было снесено множество крыш, труб, ставень, церковных крестов и даже глав, повалены заборы, вырваны с корнем деревья, разбиты стекла в окнах. Орлы на Кремлевских башнях были сорваны или погнуты, а Александровский сад представлял собой подобие озера, из которого там и сям торчали деревья. На колокольне Ивана Великого убило звонаря и было еще трое погибших. И все же это бедствие было потом перекрыто ураганом 1904 года, в одночасье истребившим целую Анненгофскую рощу и изрядно покалечившим парк в Кузьминках и лес в Люблине.

Глава четвертая. ВЛАСТИ: ОТ БУДОЧНИКА ДО ГЕНЕРАЛ- ГУБЕРНАТОРА

*Административное деление. —
Московские адреса. — Н. И. Огарев. —
И. О. Шишковский. — Порка как
панацея. — Будочники. — «Сермяжная
броня». — Ночные обходы. —
Патриархальность Москвы. — Пугливые
жулики. — Г. Я. Яковлев. — Городовые. —
А. А. Власовский. — «Грех стяжания». —
Ф. В. Ростопчин. — Князь Д. В. Голицын. —
Граф А. А. Закревский. — Случай на
парадном обеде. — Князь
В. А. Долгоруков. — «Литературная
кадриль». — Великий князь Сергей
Александрович. — Городская дума. —
Выборы. — Н. А. Алексеев. Его убийство*

В административном отношении Москва девятнадцатого века делилась на части, а внутри каждой части — на кварталы. Всего было 17 частей — Городская, Тверская, Пречистенская, Арбатская, Яузская, Хамовническая, Таганская, Басманная, Мясницкая, Сущевская, Лефортовская, Дорогомиловская, Сретенская, Пресненская, Якиманская, Пятницкая и Рогожская. В каждой части насчитывалось от 2 до 5 кварталов. Во главе квартала находился полицейский чин — квартальный надзиратель (по-московски: «фартальный»), а во главе части — частный пристав (иронически именовавшийся москвичами «честным» приставом). Возглавлял

московскую полицию обер-полицмейстер (или обер-полицеймейстер, — говорили и так, и так), которому подчинялись сыскная часть, адресный стол, полицейские врачи, пожарное ведомство и пр., а также три полицеймейстера. Под присмотром каждого из последних было по историческому району — «отделению»: один ведал Китай-городом и Белым городом, второй — Земляным городом, а третий — территорией между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом. Кремль был в ведении особого коменданта.

В соответствии с «административно-территориальным делением» и нумерация домов в Москве на протяжении значительного времени производилась внутри каждого квартала и отличалась замысловатостью, так что рядом с участком № 134 мог находиться какой-нибудь участок № 207 или № 18, и вникнуть в эту систему, не имея под рукой подробной карты местности, было совершенно невозможно. Поэтому в обиходе москвичи пользовались другой адресной системой, использующей название приходской церкви и фамилию владельца дома. На почтовых отправлениях это могло выглядеть так «В Москву, в приходе церкви Николы на Курьих ножках, дом надворного советника Сысойкина, а вас попрошу передать господину студенту Иванову». При розыске нужного дома непосредственно в городе требовалось еще и название улицы — Солянка, дом Полушкина, или Большая Молчановка, Борисоглебский переулок, дом князя Урусова. Лишь в 1880-х годах была введена современная система нумерации домов, к которой москвичи привыкали еще довольно долго.

«Обыкновенно квартальный представлял собой сытого, добродушного человека (не „орла“ или „ястреба“, как теперь) с брюшком, с табакеркой, весьма

склонного ко всякого рода хозяйственным интересам. Политикой тогда полиция не интересовалась»^[97].

Большинство полицейских чинов — и квартальных надзирателей, и частных приставов, и даже полицмейстеров — служили в Москве очень подолгу — по пятнадцать, двадцать, тридцать лет, даже дольше, так что под конец совсем вращались в свое место, по большей части обрастали жирком, приобретали философский взгляд на вещи, неспешное отношение к делу. И обыватели к ним привыкали, можно сказать, устанавливалась московская домашность и патриархальность отношений. Наиболее колоритные полицейские чины были знакомы всей Москве или, по крайней мере, значительной ее части, их деятельность обрастала преданиями и анекдотами.

К числу таких легендарных личностей принадлежал полицмейстер Николай Ильич Огарев, который занимал свою должность более тридцати лет, с 1860-х годов. В его ведении было 1-е отделение, центр города. Огромного роста, внушительный, с пудовыми кулаками, с громовым голосом, с энергичным, выразительным лицом, которое украшали длинейшие, свисающие на грудь, усы, Огарев был фигурой, внушавшей почтение. Для поддержания такового в простом народе он прибегал к самым радикальным мерам. «Этот Огарев не любил к мировому таскать, — рассказывал Е. З. Баранову старик-извозчик, — наколотит по зубам — вот и суд весь. А и матерщинник же был! Уж он переплетает, переплетает... А ты, знай, помалкивай... Ну, ничего, обойдется... А сказал слово — съездит по зубам, собьет с ног, да как двинет носком в бок — месяца два трудно дышать будет»^[98]. В результате, стоило Огареву появиться где-нибудь, как потенциальные злоумышленники бросались наутек:

— Бежим, ребята! Осман-паша пришел!..

Толпа затихала, моментально водворялись спокойствие и порядок.

Особенно хорош был Огарев во время каких-нибудь торжественных церемоний. На встречах царя он «обыкновенно скакал впереди царского экипажа, стоя в пролетке задом к кучеру, а лицом обратившись к ехавшему за ним государю, и этим одним уже производил в толпе, встречавшей царя, какое-то особое возбуждение, разрешавшееся только в оглушительных криках „ура“»^[99].

В октябре 1861 года в Москве произошли студенческие волнения. Актриса А. И. Шуберт рассказывала: «Толпа студентов отправилась к дому генерал-губернатора. Что там произошло, — не знаю, но простой народ стал бить студентов, так как распространился слух, что бунтуют дворянские дети, потому что государь у них крестьян отнял. Студенты бежали, спасались по магазинам; в простые лавки не рисковали войти. Многих забрали в часть против дома генерал-губернатора. Милейший Николай Ильич Огарев, московский полицеймейстер, рассказывал потом у Медведевой, что вечером он зашел в часть проводить студентов. Они его окружили, заговорили, загалдели, что-то доказывали. „Я слушал, слушал, ничего не разобрал. Дал им накричаться и спросил:

— А что, господа, вы, чай, голодны? С утра сидите здесь, не евши?

— Конечно, голодны! — закричали.

— Вот это дело! Давно бы сказали.

Вышел и распорядился, чтобы им принесли обед“.

Хороший он был человек! Обед принесли, вероятно, от <генерал-губернатора> Долгорукова: Николай Ильич сам был бедный и нелюбостыжательный»^[100].

При этом ни образованием, ни особым умом Огарев не отличался и в обществе был героем бесконечных

комических рассказов. М. М. Богословский вспоминал: «Мой дядюшка Андрей Михайлович Богословский, ... субинспектор в университете... необыкновенно комично изображал фантастическое, конечно, совещание, которое будто бы созвал у себя раз генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков по вопросу о том, как быть и что делать, если опять французы придут на Москву, и когда будто бы он обратился к Огареву: „Огарев, а ты как думаешь?“ — то Огарев выступил с советом стрелять по наступающим французам из Царь-пушки; но когда ему заметили, что ведь у Царь-пушки всего только четыре ядра, то он ответил: „А я буду посылать пожарных таскать их назад“»^[101].

Остались в московских преданиях и более мрачные фигуры, такие, как частный пристав Лефортовской части Иван Осипович Шишковский, кратко именуемый обывателями «Шишковым». Этот был персонажем для московской полиции довольно редким, зловещим, таким пугалом, внушавшим страх, ибо главное, что осталось в памяти о Шишковском — это его нездоровое пристрастие к розге.

Порка вообще составляла вплоть до реформ 1860-х годов одну из непеременимых полицейских обязанностей. Дворяне присылали в полицейскую часть для физического наказания провинившихся дворовых; фабриканты — проштрафившихся рабочих; родители из мещан и крестьян — непочтительных и непослушных сыновей — подростков и даже вполне взрослых мужчин. Женщины от таких наказаний тоже не избавлялись. Это так и называлось: «отправить в часть». Квартальному посылали письмо с вложением денежных знаков, прося его «распорядиться» относительно провинившегося. Без дальних околичностей того призывали в часть и там секли. «Простота нравов, — как выражался Н. П. Вишняков, — доведена была до идиллии: нередко

квартильному посылали прямо самого провинившегося с письмом, так что представитель власти мог даже не затруднять себя посылкой хожалого»^[102].

Порка была также основным наказанием за мелкое хулиганство, «распитие» в публичных местах, уличные драки и т. п. Московский обыватель вообще предпочитал порку суду и аресту, как наказание значительно более быстрое и притом привычное. Впрочем, и суд за маловажные преступления вполне мог приговорить все к той же порке.

Руководя окраинной частью, где было множество фабричных заведений с их беспокойным рабочим населением и несколько популярных мест массовых гуляний, Шишковский был весьма крут на расправу. Когда местных бузотеров из простонародья, «забранных за что-либо в кутузку на ночлег, утром выстраивали на заднем дворе Лефортовского частного дома возле конюшен пожарной команды и затем одного за другим поочередно подводили к двум дюжим мушкетерам... приглашали освободиться от излишних покровов, которые могли бы помешать восприятию чувствительной порции березовой каши, ассигнованной в изобилии щедрым приставом, сам он, весьма падкий на зрелища этого рода, шагал в такт ударов, умиленно прислушиваясь к свисту розог, изредка поправлял носком сапога положение наказуемого и приговаривал не без иронического оттенка в голосе: „Что, собака, будешь вперед безобразничать?“»^[103].

Порку лефортовский пристав считал панацеей от всех социальных зол, и при всей патриархальной покорности обывателя и обыденности «березовой каши» от Шишковского народ стоном стонал и неоднократно жаловался «в вышестоящие инстанции». Рабочие его ненавидели и отчаянно боялись. В конце концов, в конце 1850-х годов, после того как

Шишковский едва не забил до смерти какого-то парнишку, которого чадолюбивый отец сам привел в часть «легонько посечь для вразумления», его со скандалом сняли с должности и даже лишили пенсии.

Легенды о «Шишкове» долго продолжали жить в народе и, что любопытно, с годами окрасились в какие-то даже ностальгические тона. «Эх, покойника бы Шишкова на вас напустить! — говорит обыкновенно старик-мастеровой или фабричный своим молодым товарищам, творящим или сотворившим что-либо предосудительное. — Он бы вас научил уму-разуму»^[104].

Низшими полицейскими чинами на протяжении большей части XIX века были будочники, или, по-московски, «будошники», или «бутари» («будари»). Помещались они в будках, стоявших на перекрестках, площадях, возле присутственных мест, и являвшихся не только местом дежурства, но и жилищем. В Москве были будки двух видов: одни деревянные, темно-серые, вроде небольших домиков с двускатной крышей, другие каменные, круглые, похожие на укороченные башни, покрашенные зеленовато-желтой краской. Такие будки в просторечии именовались «чижовками», поскольку напоминали расцветку птички чижики. Внутри будки имелось одно помещение, иногда с деревянной перегородкой.

Ютился «бутарь» здесь часто со всей семьей (а нередко в одной будке жили и по два-три будочника), и понять, как они все там размещаются, было невозможно: едва не половину тесного крошечного, чуть больше современной малогабаритной кухни, пространства занимала большая русская печь. Если позволяло местоположение будки (к примеру, на бульваре), вокруг нее появлялся невысокий заборчик, за которым возникал огород, тут же бродили куры, а на веревке сушилось белье. Из-за скудости жалованья

«бутари» часто потихоньку приторговывали всяким мелочным товаром, а случалось — и спиртным. Случалось, стоя «на часах», будочник натирал нюхательный табак, который тоже шел на продажу. Табак был одним из наиболее распространенных и доходных приработков в этой среде. Табак пользовался спросом, так как отличался большой крепостью (недоброжелатели, правда, уверяли, что это потому, мол, что производители сдобривали его толченым стеклом).

Зимой одеты будочники были в длинные серые, подпоясанные ремнем, шинели с красными воротниками (как шутили в Москве — в «сермяжную броню»), на голове носили низкие серые кивера с белым козырьком и с двуглавым орлом над ним. Летом были одеты в порыжевшие от времени мундиры и фуражки с изломанными козырьками. Для парадной формы полагались металлические каски с шишаком, увенчанным шаром. Вооружены были тесаком и тупой алебардой на длинном, окрашенном суриком, древке. Назначение этого оружия оставалось для москвичей загадкой — пользовались им домовитые будочницы для разных хозяйственных надобностей: поколоть уголь, нарубить капусту. Будочники держали алебарду либо прислоненной к стене, либо использовали как подпорку во время утомительного дежурства, большая часть которого, впрочем, проводилась в беседах со знакомыми и посещении ближайшей харчевни. Рассказывали, что один из будочников, чуть ли не столетний старец, которому вверено было охранение местности возле Большого Каменного моста, так и помер, «почил навеки», опираясь на свою алебарду.

Вербовали будочников в полицию из неспособных к строевой службе солдат, так что даже внешне они особого почтения обывателю не внушали. Мальчишки и гуляки дразнили «бутарей» «оловянной пуговицей», на

что те только плевались. Зато если будочника называли будочником — он почему-то очень обижался, и когда москвичи желали к стражу порядка подольститься, они почтительно именовали его «часовым» или «службой».

Помимо неказистой внешности, московский бутарь был нечесан, немыт, нетрезв, груб в обращении и невежествен. Обращаться к нему за справками, к примеру, как найти какой-нибудь переулочек или дом, было бессмысленно. «Он сначала мерил спрашивающего глазами с головы до пят, и если был в духе, то разъяснял более или менее благодушно:

— Ступай прямо. Дойдешь до Ивана Парамоныча, вороти на Семена Потапыча. Тут за Феклистовыми вторые ворота.

Если же его заставляли не в духе, то, оглядев вас все-таки с головы до ног, он отворачивался молча или советовал идти своей дорогой, не беспокоя начальства»^[105]. При этом, хотя в будке полагалось иметь экземпляр регулярно издаваемых справочников с московскими адресами, получить его у стража «чижовки» было невозможно, так как он относился к книжице очень бережно и трепать ее и даже просто брать в руки не позволял.

Если неподалеку от будки случались какие-либо происшествия вроде буйства, драки или карманной кражи, то при поимке нарушителя его доставляли в первую очередь в будку. На этот случай «служба» имел за обшлагом мел и веревку. Связавши злодея (руки за локти), он рисовал у него на спине мелом круг с крестом, а затем вел «в квартал», то есть в полицейский участок. В полиции доставленных регистрировали, а потом бутарь отводил их «на съезжий двор» — то есть в современный «обезьянник». На следующее утро всем задержанным назначалось наказание — либо порка, либо уборка улиц или работы в

самом «квартале» или «частном доме» (мытьё полов, мелкий ремонт, набивка погреба льдом и т. п.).

Ночью будочнику полагалось стоять на часах возле будки и бодрствовать, а в случае, если в обозримом пространстве появлялся какой-нибудь человек, грозно вопрошать: «Кто идет?» На этот вопрос проходящий должен был ответить: «Обыватель», а военный человек — «Солдат». Если правильного ответа не следовало, будочнику полагалось подозрительного субъекта задержать, но сунутый тем пятиалтынный обычно снимал все подозрения, и проявление бдительности на этом заканчивалось.

Будочники никаких обходов по улицам не совершали, — это вменялось в обязанность другим полицейским чинам — «хожалым», а также приписанным к московской полиции специальным казачьим частям. Хожалые не были привязаны к будке и их посылали разносить повестки, конвоировать арестантов и задержанных, а также дежурить на народных гуляньях и массовых мероприятиях наряду с казаками.

Что творилось в глубине участков, будочники не имели понятия. Впрочем, если где-нибудь раздавался крик «караул!», им полагалось спешить на помощь, но выполняли они эту обязанность далеко не всегда, поэтому в случае нападения грабителей москвичи были предоставлены сами себе и великодушию близживущих обывателей.

В обязанность будочников входило также попечение о пьяных. Как только в окрестностях ближайшего кабака обнаруживалась лежащая ничком на тротуаре фигура, страж порядка должен был подозвать извозчика, с его помощью взвалить в экипаж тело и везти в участок для протрезвления. Извозчики страшно не любили этой повинности и при первой же возможности норовили исчезнуть.

По правде говоря, будочники исполняли свои обязанности крайне плохо: большую часть ночи они спокойно спали, а в остальное время были на удивление индифферентны к внешним событиям. Уверяли, что даже если мимо будки проходил какой-нибудь явно подозрительный молодец с фомкой или иным орудием своего ночного промысла, будочник лишь провожал того сонными глазами и, зевнув и понюхав табачку, сообщал потом будочнице:

— Слышь, прошел один какой-то. Лом у него... Как бы где поблизости не вышло какого качества... А?

На что будочница, тоже зевая, отвечала:

— А сторожа на что?

Ко всему прочему, будочник, как и любой полицейский чин, очень строго соблюдал территориальные границы, и даже если прямо перед его глазами, но на территории другого «квартала» происходили какие-нибудь беспорядки или безобразия, он никогда не вмешивался.

«Свое назначение будочник видел в том, чтобы существовать именно в известном месте и своею амуницией напоминать обывателю о существовании правительства. До остального ему не было дела» ^[106].

Не сказать, чтобы полицейское руководство такое положение дел устраивало. Уже знакомый нам Н. И. Огарев пытался одно время взбодрить это стоячее болото и для того приказал квартальным надзирателям совершать по своему участку ночные обходы и пуще всего приглядывать за тем, чтобы будочники не спали и бдительно следили за порядком. На сей случай в каждой будке была заведена шнуровая книга, в которой квартальным еженощно полагалось расписываться.

Первое время квартальные, кряхтя, действительно совершали обходы, и у тех из будочников, которых заставляли на посту спящими, безжалостно отбирали

алебарды. Утром провинившийся бутарь должен был идти за утраченным в «квартал» и там получал заслуженную порцию ареста.

Естественно, что через какое-то — очень недолгое — время обходы стали делаться все реже и реже, а потом и вовсе сошли на нет. Отметки в книгах тем не менее появлялись регулярно: сами будочники каждое утро носили книгу «в квартал» на подпись начальству. Прознав об этом, Огарев издал новый строгий приказ о ночных обходах, а чтобы избежать злоупотреблений, повелел шнуровые книги накрепко припечатать к столам. И что же? История повторилась в точности, только на сей раз на подпись к начальству будочникам пришлось носить уже... весь стол с припечатанной к нему книгой.

Такой патриархальный характер полицейской службы до некоторой степени объяснялся и оправдывался сравнительно малой преступностью в Москве. Город был в общем-то тихий. Убийства или налеты были событием чрезвычайным, хотя без краж, уличных грабежей по темным малолюдным местам, а также драк дело, конечно, не обходилось, и здесь активность и сознательность обывателей были зачастую значимее полицейского вмешательства. Карманного воришку ловили обычно всем рынком — и, поймав, крепко лупили, прежде чем сдать будочнику. Находили управу и ночные «промышленники». Московское предание сохранило память о некоем Азаревиче, человеке огромной физической силы, который ради собственного удовольствия и острых ощущений постоянно ходил по ночной Москве и, нарываясь на приключения, арестовывал грабителей. В одиночку он способен был одолеть четверых злодеев, сам связывал их и неизменно приводил в ближайшую полицейскую будку.

Впрочем, жулики в Москве были, видимо, вообще довольно пугливые и неприятностей старались избегать. Довольно долго «криминогенным» местом в Москве был Сенной рынок, располагавшийся под стенами Страстного монастыря, там, где позднее был разбит Страстной бульвар. Дважды в неделю сюда съезжались возы и подводы с сеном и соломой, а в остальное время (в двух шагах от Тверской!) лежала неопрятная и совершенно пустынная площадь. Крики «караул!» по ночам раздавались здесь довольно часто, и окрестные жители, жалея пострадавших, обязательно вмешивались: открывали форточку и как можно громче кричали: «Идем! Уже идем!» Как ни странно, в большинстве случаев эта простая мера давала результат: грабители бросали жертву и исчезали.

Тем не менее были, конечно, в Москве и ретивые полицейские, и талантливые «сыскари», умевшие ловко и быстро распутать запутанное уголовное дело. Совершенно легендарной личностью запомнился москвичам следственный пристав Гаврила Яковлевич Яковлев, подвизавшийся на своем посту в самом начале девятнадцатого века. Он едва ли не первый среди московских полицейских практиковал «внедрение в преступную среду» и «работу под прикрытием». К примеру, когда требовалось добиться признания от матерого преступника, заключенного в остроге, Яковлева заковывали в кандалы и подсаживали в острог, в ту же камеру, и там, выдавая себя за вора или грабителя, он ловко «разговаривал» самых отпетых злодеев. Точно так же, вступив в разбойничью шайку, каких довольно много тогда орудовало в окрестностях Москвы, он брал ее с поличным.

Однажды у торговца рыбой пропало 500 рублей. Подозрение пало на торговавшего рядом мучника. Подозреваемый слезно отрицал обвинение. Яковлев приехал к нему домой с обыском, но денег нашел

немного: несколько ассигнаций и 50 серебряных рублей. Тогда сыщик приказал подать горячей воды, вылил ее в лохань и опустил серебро в кипяток. На поверхность воды всплыла тонкая, но явственно заметная пленка рыбьего жира — наглядное доказательство того, что деньги побывали в руках у рыбака.

Яковлеву приписывали, между прочим, поимку шайки преступников, терроризировавших одно время на Девичьем поле как ночных прохожих, так и живших по соседству горожан. (Об этой шайке упомянуто в «Женитьбе Бальзамина» А. Н. Островского, хотя реальные преступники были схвачены задолго до времени, в которое происходит действие пьесы.)

«Для скорости и для страху» предводитель шайки (как потом выяснилось — беглый солдат) выходил к жертве на ходулях, обряженный в длинный белый балахон-саван. Лицо бледное, длинные волосы распущены, а на руках — железные когти!.. Страсть Господня! Естественно, обмякший прохожий даже не думал сопротивляться, когда из кустов выскакивали сообщники «Смерти». С помощью ходулей шайка грабила даже двухэтажные дома.

Яковлев устроил засаду на Девичьем, а двух казаков, одетых в цивильное, отправил вперед по тропинке в качестве наживки. Они усердно изображали пьяных и вскоре подверглись нападению разбойников. По данному ими сигналу Яковлев со своими людьми бросился на злодеев — и все было кончено.

Экстремальные методы Яковлева далеко не всегда встречали одобрение у его коллег: «Виноватые... сознались, — писал современник. — Но как сознались?.. Яковлев, истомивший их голодом и другими средствами, возил их в продолжение нескольких дней беспрестанно, под предлогом следствия, из Москвы в Грешу и обратно, не давая им ни отдыха, ни сна. Это

было в самые летние жары; он ехал на передней телеге вместе с одним из подозреваемых. Видя, что он от жара, от голода и от истощения, сидя в тряской телеге, стал клониться ко сну, Яковлев вдруг схватил его за горло и заревел: „Признавайся! Задние уже признались!“ — Видя, что тот не признается, он закричал: „Вешать! Мне дано право вас повесить!“ — и тут же, по его знаку, полицейские солдаты стащили его, подвели к дереву и накинули петлю. Он в испуге упал на колени. Яковлев от него бросился к другим и вскрикнул: „Признавайтесь! Видите, что тот уж на коленях и прощения просит“. — Те и признались, а когда признались, и переднему нечего было делать! Признался и он. Вот какие употреблялись средства! Это варварство почиталось искусством, и Яковлев между своими славился мастерством следователя»^[107].

После реформы 1881 года на городских улицах вместо будочников появились «городовые», — словечко, которое поначалу вызывало в Москве много шуточек. Действительно, если в лесу — леший, в воде — водяной, а в доме — домовый, то в городе кому быть? — городовому. Потом у них и прозвище появилось — почему-то «фараоны». Облик новых стражей порядка был не в пример авантажнее прежних, «...орлиный взгляд, грудь колесом, молодцеватая поза (точь-в-точь фигура с какого-нибудь монумента), шинель без пятнышка, лощеная амуниция — таковы его наружные признаки, — иронизировал В. Г. Короленко. — Бдительность и строгость — таковы отличительные свойства его души. Он неослабно и неустанно заботится об обывателе. С одной стороны, сознавая себя стражем общественной безопасности, он блюдет, чтобы обыватель не подвергался обиде; с другой — он уже знает или, во всяком случае, подозревает в самом обывателе возможность если не прямо преступных

намерений, то преступного настроения...»^[108] Но шутки шутками, а полицейский нижний чин новейшей формации действительно поражал воображение москвичей своим контрастом с привычным «бутаре». Городовой был рослый малый с молодцеватой выправкой (специально подбирали), в ладной черной форме с красным кантом, грамотный, предупредительный, хорошо знавший город и охотно дававший справки, и при этом он носил на дежурстве непромокаемый плащ и белые перчатки. Перчатки окончательно добились москвичей: это, несомненно, был самый наглядный признак прогресса.

С 1880-х годов стали строить казармы для городских, и будки окончательно ушли в прошлое.

Преобразование московской полиции во многом было связано с пребыванием на посту обер-полицмейстера Александра Александровича Власовского, который хотя и недолго украшал собой Первопрестольную, но оставил крепкую память и прочные традиции. Власовский был невысокого роста, невзрачный лицом, сухощавый, с длинными, почти седыми усами. Имел чин полковника; был ретивым и придирчивым служакой. Едва заняв свой пост, он уволил большинство частных приставов и квартальных надзирателей и набрал новых людей, а потом стал напирать на дисциплину личного состава: городовые отлипли от стен и заборов, прекратили праздные разговоры, встали на перекрестках улиц и должны были в людных местах руководить уличным движением. Рассказывали, что по ночам новый обер-полицмейстер, подобно Гаруну аль-Рашиду из «Тысячи и одной ночи», ходил по улицам переодетым и носил мимо городских мешки с якобы краденными вещами. Те, кто его не останавливал или позволял себя подкупить, безжалостно увольнялись.

Полицейские офицеры также должны были подтянуться, а в качестве дисциплинарного взыскания Власовский ставил их на длительные уличные дежурства, с которых нельзя было уйти по 5–6 часов.

Извозчикам было запрещено «выражаться», без надобности «толпиться» и ходить в неряшливом виде. За всякое нарушение следовал солидный денежный штраф или отсидка в участке, а «Ведомости московской городской полиции» ежедневно печатали лаконичные приказы Власовского: «Легковой извозчик номер такой-то слез с козел — штрафу 10 рублей», «оказал слушание полиции — штрафу 25 рублей», «слез с козел и толпился на тротуаре», «халат рваный — штрафу 5 рублей», «произнес неуместное замечание — штрафу 15 рублей»^[109]. Извозчики сперва взвыли, потом смирились и притихли, — и наступила благодать: никакой ругани, ни хватания за руки потенциальных клиентов, ни дерзостей по адресу проходящих, — ничего из того, чем прежде выделялось это сословие. Ко всему прочему, распоряжением Власовского было еще введено и правостороннее уличное движение.

Вскоре пришла очередь и домовладельцев. Обер-полицмейстер заставил заново оштукатурить и окрасить дома, поставить вокруг участков новые солидные заборы, переделать под асфальт добрую половину тротуаров, в месячный срок очистить на дворах выгребные, помойные и поглощающие ямы. За промедление или пренебрежение приказом назначался штраф от 100 до 500 рублей или арест на один — три месяца. Владельцы доходных домов в центре города хоть и кряхтя, но справлялись с новыми требованиями, зато хозяева мелких домиков по окраинам приходили в отчаяние: по причине всех этих новаций цены взлетели заоблачно и за одну только ассенизационную бочку приходилось платить 12 рублей вместо прежних трех.

Сам Власовский был вездесущ — днем и ночью он летал по Москве в небольшой открытой пролетке, зимой в санях и безжалостно отлавливал и казнил нарушителей порядка и дисциплины. Бок о бок с ним сидел чиновник его канцелярии и записывал провинившихся в особую книжку, которую в Москве ласково называли «паскудкой». Непонятно было, когда Власовский спит: в его приказах отмечались нарушения полицейской службы, замеченные в два, в три, в четыре часа ночи. Обыватели уверяли, что его видят в одно и то же время в противоположных концах города и что вообще он — Антихрист. Полицейские, сторожа и извозчики ненавидели его и вздрагивали при одном упоминании его имени.

Естественно, что московские полицейские чины почти все были более или менее повинны в «грехе стяжания». Как вспоминал современник, «взятки были привычны, можно сказать, безобидны, и населением признавались как дополнение полицейским к их почему-то ничтожному казенному жалованью»^[110]. Действительно, жалованье полицейского в должности околоточного надзирателя составляло всего 50 рублей в месяц, и при этом от него еще требовалось «прилично выглядеть» — носить мундир без заплат и потертых локтей, что одно это уже составляло солидный расход.

«Так, постовые городовые на Рождество и Пасху обходили квартиры состоятельных людей (с кухонь, а не с парадных входов) с поздравлениями и получали, часто через прислугу, чаевые. Повыше — околоточные надзиратели — к домовладельцам сами не ходили. Им передавались на праздники, вероятно, по 3–5 руб. через дворников, чтобы они зря не придирались, не штрафовали дворника, если он задремлет ночью на уличном дежурстве, или домовладельца, если он быстро не сvezет снег с улицы после метели или долго

не чистит помойку во дворе. Частному приставу (теперь это начальник отделения милиции) платили 20–30 руб. и, наверное, больше за какое-то послабление: чтобы не требовал немедленного исправления еще хорошего тротуара или ненужной покраски дома. У фабрикантов, к которым легко было придраться, у владельцев ресторанов, трактиров и чайных, к которым всегда можно было придраться за какое-либо нарушение закона или беспорядок, вся полиция была, наверное, на постоянном жалованье»^[111].

Скромным, уютным, чисто московским взяточником был уже упоминавшийся выше полицеймейстер Н. И. Огарев. Каждый день он завтракал и обедал в каком-либо из московских ресторанов или хороших трактиров, скромно садился в общем зале, заказывал недорогой обед и всегда расплачивался — десятирублевой бумажкой. Ему приносили сдачу — восемь трехрублевок и рубль. Рубль он оставлял на чай половому, а остальное забирал и уезжал. «Все это знали, — вспоминал В. А. Нелидов, — но даже после его смерти хозяева дела всегда поминали его добром, чисто по-московски заявляя: „Надо и ему было жить, а сколько он к нам гостей водил, сколько заработать дал“»^[112].

«Квартальный наш, — рассказывал В. И. Селиванов, — был добрый, простой старичок, из вечных титулярных советников, довольствовавшийся малым и державший себя чрезвычайно просто, так что даже чай ходил пить в трактир, разумеется, безденежно, чтоб не тратиться дома на покупку чая и сахара»^[113]. Пикантность описанию этой московской идиллии придает то, что автор приведенных строк был в то время председателем московской уголовной палаты, то есть, попросту говоря, судьей.

Взятки были вещью привычной и, можно сказать, узаконенной, однако слишком обременительны они, как

ни странно, не были, — во всяком случае, на взгляд самих москвичей. Господствовал принцип умеренности, и полицейские придерживались его неукоснительно, беря не больше некой негласно установленной нормы. Никакого вымогательства не было, а если и появлялось, то его быстро пресекало непосредственное начальство вымогателя.

Обыватель делал в праздник «подарок» будочнику, а позднее постовому городовому, состоятельный обыватель — еще и околоточному надзирателю; домовладелец — частному приставу и его помощнику, рестораторы и трактирщики — еще и обер-полицмейстеру, и всеми считалось это в порядке вещей.

Впрочем, точно такие же, как полицейским, «подарки» делались и приходскому священнику, и дворнику, и домашней прислуге. Естественно, существовали и внеплановые взятки по разным особым поводам, когда требовалось «закрыть глаза» или «отмазать».

На таком общем фоне московских власть имущих обер-полицмейстер Власовский выделялся кристальной честностью: он и сам не «брал», и другим старался помешать и весьма активно боролся со взятками в своем ведомстве. Думаете, москвичи его поддержали? Ничуть не бывало! Бескорыстие Власовского было воспринимается, как нечто немосковское и только что не осуждалось. Вообще его очень не любили в городе и держался он исключительно поддержкой генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Впрочем, и последний не слишком цеплялся за своего ставленника. В 1896 году, после Ходынской катастрофы, Власовский оказался «крайним». Обстоятельства трагедии (отчасти, впрочем, справедливо) были списаны на его нераспорядительность; он слетел со своего места и канул в безвестность. В 1898 году он умер.

Полиция, как и вся городская администрация, подчинялась генерал-губернатору (в некоторые периоды он еще именовался московским главнокомандующим), назначаемому из Петербурга лично императором. На протяжении XIX века в Москве сменилось 13 генерал-губернаторов. Иные пробыли на своем посту всего несколько месяцев, другие — два-три года, но были и долгожители, руководившие Первопрестольной по 10-20, даже 30 лет. Некоторые оставили по себе долгую память, другие пролетали, едва давая себя заметить. А. А. Беклешова запомнили по преследованию азартных карточных игр и еще потому, что при нем Неглинка в основной своей части была спрятана в трубу; А. А. Тормасов — восстановлением основной части Москвы после пожара 1812 года (он был и председателем Комиссии для строения Москвы). Впрочем, как говорил один из наиболее краткосрочных московских правителей, граф С. Г. Строганов: «Лучший генерал-губернатор тот, про которого не знают, есть он или нет, так как все идет как следует». Резиденцией царского наместника был генерал-губернаторский дом на Тверской (нынешнее здание мэрии). Его сразу было видно по стоящим рядом двум полосатым будкам с часовыми-жандармами в киверах и с лошадиными хвостами на касках.

В числе наиболее запомнившихся губернаторов был граф Федор Васильевич Ростопчин, занимавший должность в самый трагический для Москвы период — с мая 1812-го до 1814 года. Умный, острый на язык, Ростопчин был одним из главных витий московского Английского клуба, даровитым литератором, чья выдержанная в патриотических тонах книжка «Мысли вслух на Красном Крыльце» имела в предвоенные годы невероятный читательский успех: многие знали ее наизусть и часто цитировали. В военные месяцы главной его заботой было сохранение в городе

спокойствия, предотвращение паники и поддержание «народного духа», для чего он, между прочим, опубликовал несколько обращений к народу — «афишек», написанных бойким, стилизованным под народную речь слогом:

«Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас перед Богом заступники: Божия Мать и московские чудотворцы; перед светом — милосердный государь, наш Александр Павлович, а перед супостаты — христолюбивое воинство; а чтоб скорее дело решить: государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить, и умереть. Когда дело делать, я с вами; на войну идти, перед вами; а отдыхать, за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают» и т. д. ^[114]

Сам Ростопчин был свято убежден сначала в том, что войны с французами не будет, потом в том, что Москву будут оборонять до конца и неприятеля в нее не допустят. Результатом этой уверенности, постоянно внушаемой окружающим, стало то, что эвакуация из Москвы была проведена с большим опозданием, много ценностей, прежде всего церковных, остались невывезенными и были разграблены неприятелем, а жители, захотевшие покинуть город, смогли это сделать лишь в самый канун вступления французов и в спешке оставляли на произвол судьбы свое имущество. Ростопчин же стал фактическим виновником пожара Москвы, сперва эвакуировав из города пожарную

команду со всеми принадлежностями, а потом, по распоряжению М. И. Кутузова, организовав поджоги складов имущества, фуража и продовольствия, чтобы не достались врагу.

После изгнания неприятеля хотя Ростопчин и проявил незаурядную распорядительность и организаторские способности, заботясь о восстановлении города, но отношение к нему москвичей осталось неприязненным: его боялись «как преследователя болтливых языков»^[115] и не любили как виновника пожара.

Напротив, в числе общегородских любимцев был генерал-губернатор светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, возглавлявший Москву с 1820 по 1844 год. Просвещенный вельможа в буквальном смысле этого слова, человек хорошо воспитанный, неглупый, очень доброжелательный и доступный, Голицын был неизменным покровителем наук и художеств, поощрял всевозможные культурные увеселения и театр, но кроме того проявил себя и хорошим администратором. «Он первый обратил внимание на плохое освещение улиц, на пожарную команду, на недостаток воды»^[116] и принял меры по улучшению ситуации. Очень заботило Голицына состояние московских судебных учреждений, и он пытался поднять их престиж и уровень судопроизводства, приглашая на судейские места представителей хороших дворянских фамилий, в основном молодых, хорошо образованных и полных энтузиазма (одним из таких был лицейский друг Пушкина, известный И. И. Пущин). «Светлейшего», как его звали в городе, любили и за порядочность, и за то, что он воплощал в себе еще не забытый горожанами дух и стиль московского большого барства.

Д. В. Голицын и умер на своем посту, и был искренно оплакан москвичами. «Москва любила князя, — вспоминал современник, — желание проводить его к месту упокоения у всех жителей было так велико, что не только все улицы, по которым следовал кортеж, были наполнены толпою, но также крыши домов, прилегавших к дороге, чернели от покрывавшей их толпы»^[117].

Довольно долго, с 1848 по 1859 год, Москву возглавлял граф Арсений Андреевич Закревский, присланный Николаем I специально, чтобы «подтянуть» Москву в беспокойное время, когда по всей Европе прокатилась революционная волна.

Нужно ли было Москву «подтягивать» — это другой вопрос. Как раз в 1848 году известный московский актер М. С. Щепкин, проходя по Охотному ряду, был остановлен знакомым лавочником, читавшим газету.

— Ах, что делается-то, Михал Семеныч, — сказал лавочник. — Вся Европа бунтуется...

— И не говорите, — отозвался Щепкин.

— То ли дело у нас, в России, — тишь да гладь, да Божья благодать. А ведь прикажи нам государь Николай Павлович, и мы бы такую революцию устроили, что любо-дорого!..

Как бы то ни было, но Закревский задачу свою воспринял очень серьезно и правил в Москве поистине железной рукой. «Закревский был тип какого-то азиатского хана или китайского наместника, самодурству и властолюбию его не было меры»^[118], — вспоминал современник. Его и прозвали «пашой», как турецкого правителя, а еще звали «графом» — в городе был один просто «граф» — и никому не приходило в голову спрашивать, о ком речь. Он нагонял такой страх на москвичей, что «никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной

жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон вовсе не давал ему никакого права», вспоминал В. И. Селиванов^[119]. Отчасти покорность перед Закревским была вызвана слухами, что у «графа» на руках имеются подписанные государем чистые бланки, которые он в любой момент может заполнить любым карательным текстом (позднее выяснилось, что никаких бланков не было), так что москвичи предпочитали не искушать судьбу, тем более что время было смутное: и в Европе беспорядки, и в России смена царствований и предреформенный период.

Закревский был бесцеремонен и груб, всем на свете «тыкал» и не терпел ссылок на закон, говоря в подобных случаях: «Закон — это я». От него доставалось и студентам, и литераторам, и говорунам Английского клуба, и безобидным философам-славянофилам, и особенно почему-то купечеству, которое генерал-губернатор откровенно не любил и всячески преследовал и угнетал, и вообще чуть не всякому заметному горожанину. Когда вскоре после падения «паши» генерал-губернатором сделался генерал-адъютант П. А. Тучков, он, к изумлению своему, узнал, что давно уже состоит под полицейским надзором, заведенным Закревским, и вынужден был писать соответствующую бумагу, чтобы себя от надзора освободить.

В старой Москве вообще было принято не судиться, а обращаться с частными проблемами к городской администрации. К примеру, когда актер С. Ф. Мочалов бросил жену и сошелся с актрисой П. И. Петровой и стал жить с ней семейно, прижив двоих детей, его тесть, ресторатор И. А. Бажанов, нажаловался на него властям, и Мочалова принудительно вернули в семью. Это насилие в значительной степени ускорило его скорую и раннюю смерть. Как вспоминала актриса

А. И. Шуберт, Петрова «умела удерживать его от вина и оказывала благотворное влияние на его талант, после же возвращения к жене скоро Мочалов опять закутил, да так и не останавливался больше»^[120].

При Закревском такая практика стала особенно массовой и эффективной, поскольку граф весьма охотно и по всякому поводу принимал на себя роль решителя и судии. Был даже случай, когда он сделал бесцеремонный выговор некоему Ильину за то, что тот... не дает дочери денег «на булавки».

Обычно получив жалобу, Закревский посылал к обвиняемому или ответчику казака верхом, со словесным приказанием немедленно явиться к генерал-губернатору. По какому поводу и зачем явиться, никогда не объяснялось. Вызванного проводили в переднюю и оставляли там сидеть и терзаться неизвестностью. Сидел он так иногда по несколько часов, порой до самого вечера, а когда потом бывал вызван в кабинет, Закревский с порога накидывался на него с бранью и обвинениями, не давая ни вставить слова, ни оправдаться. Потом в лучшем случае виновный отпускался, в худшем же сажался под арест в Тверской Частный дом (он находился прямо напротив генерал-губернаторского) или отправлялся куда подальше — в Нижний Новгород, в Вологду или в какую-нибудь Колу, куда был однажды сослан сын купца Эйхеля, за то, что посыпал во время танцевального вечера пол в Немецком клубе чемерицей, от чего все присутствовавшие стали чихать.

Однажды случилось, что вызванный (по делу) к Закревскому купец Б. И. Шухов, не зная, что его ждет, перепугался буквально до смерти — по дороге в экипаже умер от удара.

К купечеству Закревский вообще относился, как к безотказной и бессловесной дойной корове, требуя

бесконечных принудительных пожертвований (для чего составлялись особые списки с указанием обязательной суммы) и устраиваемых по разным поводам обедов, а для предотвращения возможного недовольства и жалоб считал нужным держать торгово-промышленное сословие в «ежовых рукавицах». С этой целью, как жаловался купец Н. А. Найденов, «рабочему народу была дана возможность являться со всякими жалобами на хозяев прямо в генерал-губернаторскую канцелярию; вследствие этого в среде рабочих возникло возбуждение и они при всяких недоразумениях, ранее прекращавшихся домашним образом, стали обращаться к хозяевам с угрозами, что пойдут жаловаться „граху“ (как они называли Закревского); престиж хозяйской власти был поколеблен совершенно, а всевозможным доносам и жалобам не было и конца»^[121]. Вот так, «подтягивая» Москву, Закревский невольно послужил делу подъема пролетарского самосознания и зарождению «рабочего вопроса».

Взошедший на престол в 1855 году Александр II не сразу, но решил расстаться с Закревским. Одной из последних капель, переполнивших чашу, стал эпизод во время коронации Александра.

Московское купечество, по обычаю, готовило во время коронационных торжеств парадный обед в честь прибывшей из Петербурга гвардии. На обеде ожидался император со свитой и большое число высокопоставленных гостей. Местом проведения праздника был выбран Манеж.

Все было подготовлено в соответствии с торжественностью момента, и в назначенный день с утра купцы-распорядители (а в их числе были носители самых известных и уважаемых купеческих фамилий) собрались в Манеже, ожидая гостей. Вскоре явился граф Закревский. Оглядел пиршественные столы,

убранство, потом перевел мрачный взгляд на распорядителей:

— А вам что здесь нужно?!

Ему сказали, что это устроители обеда.

— Все вон отсюда! Чтобы духу вашего здесь не было! — закричал граф. — Ты останься! — он ткнул в городского голову А И. Колосова.

Голова остался — единственный из купцов. Остальные, глотая обиду, дошли до ближайшего трактира и там, как были, в парадных мундирах, многие с пожалованными царями медалями, крепко напились с горя.

Приехавший на праздник государь был очень удивлен, не видя никого из творцов праздника, но Закревский успокоил его, заверив, что московское купечество, по свойственной ему скромности, застеснялось и потому не посмело являться перед царские очи.

Потом у истории было продолжение. Коронационные торжества продолжались, и через несколько дней на парадном балу один из иностранных дипломатов оступился, упал и повредил ногу. К нему вызвали костоправа Императорских театров, которым по совместительству являлся купец и фабрикант Федор Иванович Черепяхин, бывший в числе изгнанных Закревским распорядителей. Черепяхин воспользовался случаем и нажаловался на градоначальника. Александр II был не на шутку разгневан и через несколько дней пригласил представителей московского купечества на парадный обед, демонстративно не позвав на него Закревского.

Еще через несколько месяцев генерал-губернатор был отставлен. Благовидным поводом для этого стал семейный скандал: дочь Закревского с его официального, генерал-губернаторского разрешения, не будучи разведена, вышла замуж вторично. Дело

открылось и московский «паша» был с треском уволен. Произошло это 23 апреля 1859 года, в День святого Георгия, когда, как острили москвичи, «всегда выгоняют скотину».

Самым популярным из московских градоначальников и, кстати, долее всех просидевшим на должности был князь Владимир Андреевич Долгоруков, который занимал свой пост более тридцати лет: с 1859 до 1891 года. Именно в его честь по решению Думы впервые одна из городских улиц была переименована в Долгоруковскую.

Очень уже немолодой (когда «вступил на московское княжение», ему было 49 лет, что по меркам XIX века было почти старостью), князь до конца дней сохранял великолепную выправку и молодцеватость. Он был маленький, коренастый, носил каштанового цвета парик, подкрашивал закрученные кверху усы и отличался характерным прищуром. Появлялся он всегда затянутым в мундир, в эполетах, с многочисленными орденами на груди. В городе его знали как человека учтивого, добродушного, уравновешенного и весьма деликатного; в Петербурге относились по-разному: Александр II благоволил, поскольку князь был родней императорской любовницы, а потом второй жены княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой (позднее княгини Юрьевской); Александр III по той же причине не переносил, ибо вообще терпеть не мог никого из Долгоруковых.

Князь Владимир Андреевич Москву очень любил, знал досконально, вникал во все мелочи и правил «по-отечески» — добродушно и без формальностей, «не по закону, а по совести». В городе его звали «Хозяином» и души в нем не чаяли.

У себя, в генерал-губернаторской резиденции, князь устраивал и рауты на Рождество, и большие приемы в последний день Масленицы, и многолюдные вечера по

самым различным поводам, удивляя гостей широтой московского гостеприимства. «Нигде и ни у кого... не стояло столько экипажей, как перед генерал-губернаторским домом. Объявлена ли Высочайшим указом помолвка кого-либо из великих княжон, приехал ли эмир Бухарский, заехал ли посол немецкий — хозяин Москвы уже зовет всех к себе на бал, обед или раут, сам с дежурным адъютантом принимает гостей на пороге парадных комнат и своею приветливостью и ласкою обвораживает всех. А там, в залах, залитых светом от многих сотен канделябр, люстр и ламп, уже шумит нарядная толпа, стоят открытые буфеты, льется шампанское, несутся звуки музыки, и долго своих господ ждут внизу, в обширной передней, ливрейные лакеи, а на улице — кучера с экипажами, выстроившимися в два ряда по Тверской улице вниз до Охотного ряда и вверх за Страстную площадь»^[122].

Долгоруков также непременно посещал все университетские акты и благотворительные концерты, все вообще сколько-нибудь заметные городские события и был их неотъемлемой принадлежностью, причем, что любопытно, его присутствие, в силу присущего ему добродушия, никогда не вызывало никакого стеснения и натянутости.

Однажды (зимой 1869 года) участники московского Артистического кружка устроили на Масленицу костюмированный бал, во время которого решили посмеяться над цензурой в особой «литературной кадрили», «все участники которой должны были быть загримированы и одеты с намеками на то или другое направление наличных московских и петербургских газет»^[123]. Сперва участники кадрили танцевали чинно и прилично, а потом вдруг кое-кто принялся выделять фигуры канкана. Тотчас из особой «наблюдательной ложи» раздался звонок, музыка смолкла и виновные

поплелись к барьеру этой ложи, где им было сделано «первое предупреждение». Музыка зазвучала вновь и все повторилось, как в первый раз. После «третьего предупреждения» виновных танцоров взяли под руки и под звуки марша вывели из состава кадрили и из танцевального зала. Это символизировало закрытие газеты после третьего цензурного запрещения. Все это происходило на глазах у генерал-губернатора князя Долгорукова — и смеялся он едва ли не громче всей остальной публики.

Долгоруков был страстный театрал и обязательно бывал на всех московских бенефисах (даже сердился, если его не приглашали). На Масленицу, на Вербу и на Пасху он обязательно выезжал на гулянья в открытом экипаже и показывался публике, учтиво раскланиваясь направо и налево в ответ на многочисленные приветствия. Впрочем, чаще его можно было увидеть в неформальной обстановке: он каждое утро пешком, безо всякой охраны, прогуливался по Тверской.

В Москве князя очень уважали, и многие конфликты улаживались исключительно его тактом и авторитетом. Под конец жизни он разорился, так как жил не по средствам и полностью израсходовал на балы, вечера и приемы не только все казенные суммы, отпускавшиеся ему на представительство, но и собственное многомиллионное состояние.

В 1891 году, вскоре после тридцатилетнего юбилея своего московского губернаторства, небывало пышно отпразднованного в городе, он был отставлен императором, уехал за границу и через несколько месяцев умер — как всякий, кто внезапно оказался оторван от привычной ему жизни. После смерти его вещи были распроданы с аукциона и долго еще потом попадались в лавках на Сухаревке и Толкучке.

На место Долгорукова был прислан из Петербурга великий князь Сергей Александрович, — и не пришелся

ко двору. Москва так и не смогла ему простить отставки «Хозяина», к тому же великий князь был чужак, петербуржец, держался (будучи от природы человеком застенчивым и закрытым) сухо и неприветливо, «постоличному», в городе бывал нечасто, предпочитая свою резиденцию в Нескучном, а летом подмосковное Ильинское, без охраны не появлялся (на что имел основания — в 1905 году его взорвал эсер Каляев). Его считали гордым, мелочным, обидчивым, за глаза обвиняли в Ходынской трагедии, — словом, не любили...

Важную роль в московской жизни играло городское самоуправление, появившееся еще во времена Екатерины Великой. Ее органом была Дума, именовавшаяся до 1862 года Общей и Шестигласной. Общая была законодательным органом, а Шестигласная, называвшаяся так потому, что включала в себя шесть человек, — исполнительным. Во главе исполнительной думы стоял городской голова, чаще всего состоятельный купец (хотя бывали на этом месте и дворяне, в том числе титулованные — князь А. А. Щербатов, князь В. А. Черкасский, князь В. М. Голицын, известный общественный деятель Б. Н. Чичерин и др.).

Занималась Дума вопросами формирования городского бюджета, строительства, городского благоустройства и благобразия, транспорта, просвещения, благотворительности и т. п. Размещалась Дума первоначально в трех небольших комнатках в здании присутственных мест (на его месте позднее было выстроено специальное здание городской думы, более известное теперь как Музей Ленина). Вообще в этом здании, как и располагавшемся по другую сторону китайгородской стены губернском правлении, сосредоточивались почти все московские власти: здесь находились гражданская и уголовная палаты (то есть суды) и долговая тюрьма, известная как «Яма».

В 1862 году городская дума была реорганизована в Общую (законодательную) и Распорядительную, а еще через десять лет она стала называться просто городской думой, при которой состояла городская управа (исполнительный орган). В этот период размещались они в одном из домов графов Шереметевых на Воздвиженке.

Заседали в думе выборные представители городских сословий, называвшиеся «гласными». Выборы гласных производились раз в четыре года. Право голоса имели москвичи-домовладельцы. Всего было чуть больше двадцати тысяч избирателей, в том числе немало женщин. Распоряжался выборами городской голова. Избиратели входили в зал для голосования по билетам, удостоверявшим их полномочия. Каждого сопровождал служащий городской управы с мешком шаров. Вдоль стен стояли ряды баллотировочных ящиков (для каждого кандидата свой). В каждом ящике было два отделения — правое избирательное и левое неизбирательное. Над ящиком (для тайности голосования) было устроено что-то вроде рукава из черной мягкой ткани. Нужно было всунуть в него руку с поданным шаром и скрыто опустить в ту или иную дырку. Об уровне «сознательности» голосующих свидетельствует такой случай. Однажды на выборы явился купец, имевший право на два шара: свой и по доверенности от жены. Обойдя ящики, он с самым довольным видом заявил, что поступил по справедливости и никого не обидел: в каждом ящике один шар клал налево, другой направо.

По истечении времени голосования производился подсчет и объявлялся результат. Несмотря на отсутствие политических партий, на выборах шла оживленная борьба между кандидатами и вообще бушевали нешуточные страсти, хотя большинству горожан ни до выборов, ни до самой Думы не было,

правду сказать, никакого дела. Большинство москвичей даже вряд ли могли бы вот так с ходу сказать, кто у них городской голова, не говоря уже о гласных — видимо, дела в городе шли хорошо и все было как следует (вспомним графа С. Г. Строганова). В итоге большая часть московских городских голов девятнадцатого века, всех этих Куманиных, Мазуриных, Колесовых, Гучковых, как бы ни радели они о преуспевании города и какими бы достойными людьми сами ни были, была прочно, хотя и незаслуженно, забыта Москвой. Не стал исключением и Сергей Михайлович Третьяков, брат и душеприказчик знаменитого создателя Третьяковской галереи, занимавший свой пост полтора срока. Вошел в московское предание лишь один городской голова — энергичный и даровитый Николай Александрович Алексеев.

Представитель известного и состоятельного купеческого рода (из которого вышел, между прочим, и знаменитый режиссер Константин Сергеевич Алексеев, по сцене Станиславский), владелец золотоканительной фабрики, Николай Александрович в 1880 году был избран гласным городской думы, а через пять лет стал головой и занимал этот пост два срока.

«Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавшим бодрыми, мажорными нотами, Алексеев был весь — быстрота, решимость и энергия»^[124] и фактически единолично вел все городские дела, заменяя собой всю городскую управу. Именно при нем сдвинулись с места многие дела, годами лежавшие в канцелярии Думы, и были разрешены долгожданные и насущные городские вопросы: вокруг Александровского сада возникла ажурная решетка на месте дощатого забора, было начато асфальтирование тротуаров, значительно

расширена Мытищинская водопроводная система, начато строительство канализации — мера, которая положила начало радикальному превращению Москвы из «большой деревни» в благоустроенный столичный город. По настоянию Алексеева было принято постановление Думы, запрещающее возводить новые деревянные дома в пределах Бульварного кольца, — что, по мысли автора, должно было вскоре естественным образом облагородить облик городского центра. Рассказывали, что, когда в центре случался пожар, Алексеев, узнав, что гибнет очередная деревянная постройка, даже потирал довольно ладони и говорил: «Ну вот, еще одним уродом меньше!»

Огромное значение для города имело предпринятое по инициативе Алексеева строительство новых бойен. Старые, частные, которых по городу было разбросано пятнадцать, «славились» чудовищными антисанитарией и запахом, распространяемым далеко по окрестностям. Затеянное Алексеевым строительство преследовало сразу три цели: скорейшее разрешение острого санитарного вопроса, централизацию мясной торговли и монополизацию забоя скота в руках городского самоуправления.

Новые бойни, за Покровской заставой (в районе Калитниковского кладбища), выстроенные в 1886–1888 годах, занимали территорию в 20 десятин, обладали большой пропускной способностью, так что могли обеспечивать мясом весь город, и радовали глаз сравнительной аккуратностью и небывалой в Москве чистотой. «Это целый городок солидных каменных зданий, над которыми возвышается громадная башня для хранения воды, — писал А. Бахтиаров. — Бойни как построены из кирпича, так и остались кирпичного цвета, ничего не окрашенные снаружи. Всего насчитывается до 40 каменных построек: бычачьи бойни, свинячьи бойни, „микроскопия“ для

исследования свиных туш, казармы для бойцов, дома администрации, далее идут: салотопенный завод и при нем „кишечное отделение“, альбуминный завод (альбумин — белок, применяемый в медицине и кондитерской и текстильной промышленности. — В. Б.), кожевенные амбары и, наконец, „чумная бойня“, назначенная для убоя быков, зараженных чумой или сибирской язвой»^[125]. На бойнях имелись свой водопровод, канализация, холодильники, асфальтовые полы; работы были частично механизированы с помощью блоков, лебедок и т. п. Для работников имелись бесплатная баня и прачечная. Рядом с бойнями располагались «поля орошения», на которые выводили нечистоты и где выращивали кормовые травы и овощи. Все это выглядело в глазах москвичей каким-то чудом, предприятием будущего и, конечно, поражало современников. К 1893 году, то есть через пять лет после возведения, бойни окупались и стали давать доход. Вскоре поблизости от них были открыты Скотопромышленная и Мясная биржи.

Служил Алексеев бесплатно, свое жалованье городского головы отдавал в пользу города и сам жертвовал значительные личные средства на представительство, неизбежное при его должности, и на городские нужды. На деньги Алексеева были построены две водонапорные башни возле Крестовских ворот (их так и называли — Алексеевскими), несколько школ, начато строительство психиатрической лечебницы на Канатчиковой даче. Хорошо известен эпизод, когда, надеясь получить недостающие для этого строительства 300 тысяч, Алексеев принародно поклонился в ноги богатому купцу Ермакову, — для Москвы он готов был поступиться даже собственным самолюбием.

При Н. А. Алексееве на месте здания присутственных мест на Воскресенской площади было выстроено новое великолепное здание городской думы (по проекту Д. Н. Чичагова). Именно в этом здании Алексеев и погиб.

9 марта 1893 года городской голова принимал просителей. В приемной подошел к мужчине средних лет, небольшого роста, в поношенном пальто. Спросил: «Вам что угодно?» — «А вот что», — ответил тот и, выхватив из кармана шестизарядный револьвер, начал стрелять. На третьем выстреле его схватил думский сторож. Оказалось, что убийца — маньяк, душевнобольной, и Алексеев попался ему под руку в общем-то случайно. В кармане у преступника была найдена записка: «Прости, жребий пал на тебя!»

Алексеева с двумя пулями в животе (третья попала в стену) уложили на диван, приехали врачи во главе с Н. Ф. Склифосовским, стали оказывать первую помощь; дали знать жене. Доктора запретили переносить раненого, и его разместили на привезенной из дома кровати прямо в здании Думы. По коридорам толпился народ; в храме Троицы в Полях непрерывно служили молебны. Около 5 часов вечера Алексеев исповедался и простился с детьми. Склифосовский сделал ему операцию, но спасти так и не смог. В ночь с 10 на 11 марта Алексеев умер.

Хоронила Алексеева вся Москва — более двухсот тысяч человек. Одних венков от различных ведомств и учреждений было несколько сотен. Похоронная процессия, которой распоряжался друг и сотрудник городского головы, обер-полицмейстер Власовский, растянулась на несколько километров. Из нового здания Думы гроб с телом погибшего пронесли через весь город и предали земле в Новоспасском монастыре.

Глава пятая. КУПЕЧЕСТВО

Купеческое сословие. — Старинный уклад. — Изменение костюма. — Бородатые и безбородые. — Семейный деспотизм. — Племянник Солодовникова. — Традиции. — Расселение. — Жилище. — Прислуга. — Выезд. — Хозяйство. — Распорядок дня. — Свахи. — Приданое. — Смотрины. — Образование. — Мальчики, молодцы, приказчики. — Купеческий клуб. — Первые балы. — Праздничные дни. — Визит императора. — Эволюция купечества

Купечество — сословие, занимавшееся торговлей и предпринимательством. Вступить в купеческое звание мог всякий свободный человек, объявивший о наличии у него денежного капитала, записавшийся в одну из трех купеческих гильдий и заплативший денежный взнос. В начале века капитал, необходимый для вступления в первую гильдию, был установлен в 50, для второй — в 20, для третьей — в 8 тысяч рублей. Объявление величины капитала зависело от самого потенциального купца. Причисленные к гильдии получали личные права и преимущества, присвоенные купечеству. Купцы первой и второй гильдий были освобождены от телесных наказаний, могли получать чины и награды (медали), почетные звания коммерции и мануфактур советников. Все это в купеческой среде очень ценилось и повышало деловой авторитет. Купцы первой гильдии могли даже носить в торжественных случаях шпагу и мундир, присвоенный той губернии, где они

числились, — почти как «благородные». Из-за торговой несостоятельности, лишения прав по суду или из-за невозобновления гильдейского свидетельства купеческих прав можно было лишиться.

В первой половине века численность сословия была еще невелика, а купеческие фирмы в большинстве своем недолговечны. Традиционно случалось так, что основатель купеческого рода, выбившийся в люди из крепостных крестьян (или, реже, мещан), с большим трудом выкупался на волю и наживал к концу жизни значительный капитал, а уже его сыновья или внуки либо прокучивали наследство, либо, получив образование, порывали с купечеством, уходя в науку, искусство, государственную службу. Наибольшей долговечностью отличались старообрядческие купеческие роды, и все самые крупные и известные московские фамилии принадлежали к их числу: Мамонтовы, Морозовы, Гучковы, Рябушинские, Носовы, Третьяковы и пр. (Некоторые из староверов, разбогатеи, переходили в официальную церковь.) Как и дворяне, все первостатейные купцы были «родня друг другу»: Второвы роднились с Коншиними и Коноваловыми, Третьяковы — с Носовыми и Мазуриными, Морозовы — с Алексеевыми и т. д.

До Великой реформы 1861 года московское купечество представляло собой достаточно замкнутое сословие, с самобытным и весьма живописным укладом жизни, собственной психологией, вкусами, языком и обычаями.

В допожарное время купцы жили в полукрестьянской, хотя и богатой обстановке и носили народный костюм. Во всей неприкосновенности оставались вековые обычаи и старинный, еще допетровский идеал женской красоты, по которому ценилась особа очень полная, дородная, ярко-румяная и чернобровая. По праздникам купеческие красавицы

ярко красились: белились, румянились и чернили брови. Почти у всех них были безнадежно испорченные сласями и употреблением вредных свинцовых белил зубы. Как писал современник, купцы «считали за грех подстричь бороду, выйти без кушака, и один из десяти умел грамоте. В крестовой, то есть гостиной комнате <стоял> длинный стол, размалеванный грубыми цветами, несколько скамеек, складных стульев, лампада, теплившаяся у образов, и железные решетки в окнах составляли убранство. Сидели одни, как в карантине, имели ворота всегда на замке, цепную собаку в конуре; пару жирных лошадей, жен такой же толщины, что служило вывескою достатка. (...) Купчихи носили кокошники, фаты, шешуны, ферязи, телогреи штофные, матрасовые, жемчужные ожерелья и алмазные серьги в ушах»^[126].

Этот старинный, чуть не допетровский уклад начал немного колебаться лишь в 1820-х годах, когда в купеческий быт стали проникать кое-какие элементы европейской цивилизованности. В первую очередь это касалось костюма, который начал принаравливаться к современным потребностям и даже иногда к капризам моды. Сперва на смену старинному, низко подпоясанному кафтану пришли долгополые синие сюртуки и сшитые по фигуре поддевки и сибирки, затем на смену круглой шапке с околышем — шляпа-цилиндр и картуз, потом поверх цветной рубахи стали часто надевать жилетку, а там кое-кто из купечества начал подстригать и даже — страшно сказать! — сбрасывать бороду. Женщины окончательно переоделись в модный костюм в 1830-1840-х годах, когда носили очень пышные юбки. Они выгодно подчеркивали полноту фигуры (а в купечестве в те времена почти не было худощавых женщин) и были оценены купчихами по достоинству. С модным платьем носили большую

цветастую шаль, а замужние женщины по старинке надевали на голову повойник («головку») с завязанными надо лбом кончиками. Естественно, что приобщение к модному платью далось не сразу и почти все представители торгового сословия в нем выглядели довольно карикатурно, принужденно и неуклюже, и к тому же демонстрировали (особенно женщины) прискорбное отсутствие вкуса, точнее, пристрастие к любимой в народе яркости и пестроте. «Понаряднее значит у нас поразноцветнее, — писал от лица жителя Замоскворечья А. Н. Островский. — Нелишним считаю сказать, что некоторые дамы имеют к некоторым цветам особую привязанность, одна любит три цвета, другая четыре; и что бы они ни надели, все любимые цвета непременно присутствуют на их костюме»^[127].

«Девять десятых этого многочисленного сословия, — резюмировал в 1844 году В. Г. Белинский, — носят православную, от предков завещанную бороду, длиннополый сюртук синего сукна и ботфорты с кисточкою, скрывающие в себе оконечность плисовых или суконных брюк, одна десятая позволяет себе брить бороду и по одежде, по образу жизни, вообще по внешности, походит на разночинцев и даже дворян средней руки»^[128]. Правда, и модничающие купцы и тогда, и долго после не позволяли себе в костюме никаких крайностей: одевались широко и длинно, немарко, одним словом, скромно и степенно (не случайно же почтительное обращение к купцу было «Ваше степенство»). Портному он говорил: «Гляди, ты не окургузь меня, и ни в каком разе, чтобы сюртук выше колен не был»^[129].

С 1820-х годов в Москве утвердилось негласное, но достаточно определенное деление купцов на «бородатых» (или «серых») и «безбородых».

Поначалу различия между этими категориями носили преимущественно внешний характер. «Бородатые» в основном торговали на внутреннем рынке, чаще в розницу, обороты по большей части имели небольшие, образованности не доверяли и нововведений не любили.

«Безбородые» торговали оптом, нередко с заграницей (не обязательно с Европой, могли и с Китаем), рисковали, пробовали новые виды товаров; собрав достаточный капитал, часто оставляли торговлю и открывали фабрику; стремились дать детям некоторое образование и обучить их языкам, для чего брали им гувернеров; в быту тяготели к «роскоши» и «манерам» на дворянский лад, потому охотно приобретали в собственность дворянские особняки со всей барской обстановкой, обзаводились дворцовыми, каретами и прочим.

В остальном разница была небольшая. И у тех, и у других вся власть принадлежала старшему в семье — главе фирмы — деду, отцу или старшему брату. «Выйти из отцовской воли» было делом небывалым. Старшему полностью и безропотно подчинялись младшие братья и незамужние сестры, жена, дети, внуки, племянники, а также домочадцы — приказчики и прислуга.

«Нельзя себе представить, до какого страшного деспотизма доходит власть отца в купеческом быту, — писал И. С. Аксаков, — и не только отца, но вообще старшего в семье. Им большею частью и не приходит в голову, чтоб у младших могли быть свои хотения и взгляды, а младшим не приходит в голову и мысль о возможности сопротивления»^[130].

В «безбородой» среде «сам» был меньше склонен к рукоприкладству и самодурству, в «серой» — больше, и какой-нибудь описанный мемуаристом купец второй гильдии Исаев, который во хмелю буянил и,

вывалившись в одном белье за ворота своего дома, кричал на всю улицу: «Вот я, второй гильдии купец Семен Маркыч Исаев! Кто смеет мне перечить?! Я вас!»^[131] — был, в общем, довольно типичен.

«Самодержавие» в домашней жизни было зачастую причиной недолговечности самих купеческих династий. Купец и в тридцать, и в сорок лет, а нередко и позднее оставался в полной воле «тятеньки», не имел собственного целкового в кармане, не смел жить по своей воле и изнывал от множества окружающих его и недоступных соблазнов. Жизнь проходила мимо, как в тюрьме.

Потом «сам» отдавал Богу душу и на его наследника обрушивались разом и воля, и капитал. Как тут не закружиться голове, как не ринуться в омут запретных ранее удовольствий и не пуститься во все тяжкие! Тут же образовывались «друзья» и прихлебатели, появлялись «дамы из „Амстердама“», начинались пьянки, гулянки и все составляющие купеческого разгула — разлитые моря спиртного, всякие «лампопо», купание шансонеток в шампанском, прикуривание от сторублевой купюры... «Ничего, мол, нашего капитала на все хватит!»

Хорошо, как через некоторое время угар проходил, купец спохватывался, собирал остатки состояния и брался за дело. Чаще же, и гораздо чаще, вместе с похмельем исчезало и состояние.

«Вон... шатался по Москве Солодовникова племянник, — рассказывал Е. З. Баранов, — обтрепанный, ошарпанный, одним словом, хитрованец.

— Угости, говорит, брат, рюмочкой. Я Солодовникова племянник.

— А мне-то, говоришь, какая радость, что ты Солодовникова племянник?

— Да я, говорит, за шесть месяцев по трактирам, по кабакам восемьдесят тыщ наследства пробуксирил! — А сам в опорках и весь дрожит с похмелюги.

Ну, что с ним станешь делать? Возьмешь и поднесешь:

— На, на, мол, пей, ежели ты такой артист»^[132].

Помимо подчинения авторитету, и «бородатые», и «безбородые» свято следовали устоявшимся традициям, согласно которым хороший купец должен был по праздникам скликать нищих к своим воротам и рассылать калачи в остроги и общественные больницы, иметь медаль на шее и быть церковным старостой в своем приходе, а если повезет, то и в каком-нибудь соборе — здесь они традиционно избирались из купеческого или, реже, мещанского сословия. Среди старост Успенского собора был Михаил Абрамович Морозов; Благовещенского — водочник Петр Арсеньевич Смирнов, Архангельского — булочник Дмитрий Иванович Филиппов, у храма Христа Спасителя 27 лет был старостой глава чаеоторговой фирмы Петр Петрович Боткин и т. д. Полагалось заботиться о всех малоимущих и слабых из своего рода. Вдовам и сиротам выплачивали содержание, невест-бесприданниц выдавали замуж, одиноким старикам находили приют в собственном доме. Под старость для спасения души следовало позаботиться о возведении храма или какой-нибудь богадельни. Каждый купец должен был свято помнить: слово, данное по делу или кому-нибудь из домашних, — должно неукоснительно соблюдаться.

Следовало держать в доме постоянно накрытый стол, усердно потчевать всех гостей, иметь в собственном доме на первом этаже деловую контору, фабриканту жить рядом с фабрикой, держать в доме, амбаре и лавках жирных, разъевшихся котов, спать после обеда, ходить по воскресеньям в церковь, и т. д. и

т. д., — кодекс неписаных, но устоявшихся правил купеческого благочиния был очень велик и неприкосновенен.

Обе категории купцов долго разделяли протеческие вкусы и до второй половины века выбирали себе жен и подруг, как сейчас деликатно выражаются, «элегантных размеров». «Жены их не щадят белил и румян, чтобы приправить личико, — свидетельствовал бытописец еще в 1840-х годах. — Они большею частью бывают дамы полновесные, с лицами круглыми, бело-синими, у них руки толстые, ноги жирные, губы пухлые, зубы черные»^[133]. В парадных случаях женщины навешивали на себя массу драгоценностей, особенно любимых в этой среде жемчугов, что служило не только украшением, но и доказательством богатства семьи, своего рода движимым капиталом.

Наконец, той и другой категории долго была присуща красочная манера говорить, мешая безграмотные простонародные и «галантерейные», почерпнутые из лубочных книжек, обороты и словечки типа: оттелева, отселева, а хтер, копли мент, эвояся, эвтот, намнясь и т. д., а «безбородые» также порой еще и нещадно «французили» в разговоре, к примеру, рассказывая о происшедшей накануне попойке, могли сказать, что вчера было «бюве боку».

Купцы имели свои сословные предпочтения. К мещанам и крестьянам относились спокойно, как к ровне. Мастеровых недолюбливали, как пьяниц и дебоширов. Перед чиновниками лебезили, но за глаза бранили и относились с гадливостью и презрением — слишком часто «приказные» злоупотребляли своей властью в отношении купечества.

Дворян избегали и относились к ним недоверчиво, с завистью и недоброжелательством. Считали, что если

купец принимает дворянина, значит, с корыстной целью: добивается подряда, медали или хочет дочь выдать за «благородного». Если дворянин собирался жениться на купеческой дочери, это тоже воспринимали как корыстный шаг — хочет обобрать до нитки, а потом бросить. Очень богатые купеческие семьи могли, правда, «купить» и порядочного дворянина, но это было редкостью. «Дворянке никак не полагалось выходить за купца иначе, как не имея юбки за душой. А какое же благополучие могло ожидать при таких условиях? Известное дело: оберет мужа, одарит свою семью, заведет любовника из „своих“, да и уйдет от мужа. Да еще смеяться станет: экого дурака обошла!»^[134]

Также как в дворянской среде брак с купчихой, предпринятый для того, чтобы «позолотить герб», считался делом предосудительным, точно так же в купечестве брак с дворянином, тем паче титулованным, воспринимался едва ли не как семейный позор. Ю. А. Бахрушин вспоминал, как одна из его теток, страстно и взаимно влюбившись в князя Енгальчева, полтора месяца выдерживала семейную бурю, прежде чем разрешение на брак было получено. «Нужен был весь исключительный такт и обаяние моего нового дяди, — вспоминал Бахрушин, — чтобы со временем сгладить этот неравный брак»^[135].

Несмотря ни на какую цивилизацию и образование, истинный купец считал долгом и честью сохранять верность своему сословию. По русским законам владельцы фирм, просуществовавших сто лет, автоматически получали дворянство, но хорошим тоном считалось от этого дворянства отказываться, что обычно и делали. Не уважали в купеческой среде скоробогачей, быстро и не вполне честно нажившихся на военных поставках, железнодорожном или нефтяном

буме или спекуляциях. Даже огромное состояние не вводило их в круг купеческой знати и посещать они могли только таких же, как они сами, новых богатых.

Селилось купечество в разных местах Москвы. Купеческими по характеру были Таганка, Алексеевская слобода и Преображенское, где обитали старообрядцы; много купцов жили в фабричных районах — на Пресне, на Стромынке, в Лефортово. Но, конечно, самым купеческим местом Москвы было Замоскворечье, предпочитавшееся торговым сословием из-за близости к Китай-городу с его Рядами.

Замоскворечье само было целым городом: с крепкими домами, похожими на каменные сундуки, с глухими заборами и прочными воротами, запираемыми в сумерки на надежные замки. На воротах крест или образ — от злого духа; за воротами во дворе — беснующиеся по ночам громадные цепные собаки — от злого человека. Когда кто-нибудь приходил, цепные псы лаяли и бросались к воротам. Под воротами имелась тяжелая доска — «подворотня» с небольшим отверстием, в которое проходила морда, и собака вполне могла цапнуть посетителя за ноги. После звонка из сторожки или из кухни выходил дворник или молодец, ленивым шагом подходил к калитке и осведомлялся: «Кто здесь?», а встревоженные звонком домочадцы прилипали к окнам. Ночью к воротам никто не подходил. Если хозяйские сыновья или молодцы собирались ночью тайком кутить, они сговаривались с дворником, чтобы тот не закладывал ворота «подворотней», и проползали под воротами — туда, а под утро и обратно.

Обычно на улицах Замоскворечья было тихо — ни экипажей, ни пешеходов, ни городских. За оградами зеленели сады — с огородами, фруктовыми деревьями, беседками, нередко с небольшими прудами. Дач купечество не любило и ездить на них стало довольно

поздно, так как вообще не слишком любило передвижение, и в летнее время сад был основным местом пребывания всей семьи: здесь «сидели», пили бесконечные чаи, обедали, дремали после обеда. В жаркие ночи здесь нередко и ночевали — в легких закрытых беседках или просто на травке, расстелив перины и прикрыв лица от комаров кисеей.

Во многих случаях купеческий двор служил одновременно и складом, где под большим навесом хранились товары для лавок. Работа во дворе не прекращалась целый день: то и дело скрипели ворота и пропускали вереницы нагруженных телег; их разгружали, привезенное сортировали и раскладывали под навесом.

На другие, пустые телеги накладывали товар и отвозили на продажу или рассылали в ящиках иногородним заказчикам, выписывающим оптовые партии. Весной, когда начинало пригревать солнце, во дворе расстилались большие рогожи и на них просушивали тот товар (обычно продукты: изюм, чернослив, бобы и пр.), который в этом нуждался.

Во дворе купеческого дома располагались также службы: каретный сарай, коровник, конюшни, прачечная, сеновал, кладовые, ледник, баня, которой, впрочем, пользовались редко, предпочитая ездить в какую-нибудь из городских (супруги непременно ходили в баню вместе), а в задней части участка находился сад.

Дома купечество изначально предпочитало основательные и солидные. Строило их из толстых сосновых бревен, на высоком каменном фундаменте, безо всяких колонн, балконов и прочих архитектурных излишеств. В нижнем этаже размещались контора и молодцовская, во втором — жилые комнаты, обычно тесно заставленные, с тяжелой некрасивой мебелью, главным достоинством которой была прочность, со множеством сундучков и укладок по углам. Четко

определенного назначения у большинства помещений обычно не было. «Простых» гостей могли принимать и угощать в спальне, где на постели неизменно высилась гора подушек под кружевной накидкой, угол занимал большой киот с негасимыми лампадками, и висела рядом с киотом на гвозде связка ключей от амбаров и кладовых, а могли и в столовой, и там же за обеденным столом хозяин вечерами проверял счета. Чистота, особенно в том, чего не видно, тоже чаще всего не являлась достоинством купеческого жилища: под кружевными покрывалами на кровати скрывались засаленные одеяла и подушки в грязных наволочках, а за обоями кишмя кишели клопы, которых дважды в год — перед Рождеством и Пасхой выводили кипятком. Дома не проветривались, форточки не открывались, разве только надымит печь или самовар; воздух, как в дворянских жилищах, освежался курением «смолки». Купцы вообще очень любили тепло и даже жару, поэтому крепко топили печи, даже летом, и круглый год пользовались перинами и ватными одеялами.

В парадные комнаты — зал с зеркалами в простенках и развешанными по стенам картинками с изображением Серафима Саровского, митрополита Филарета и святого Сергия с медведем и гостиную с грузным диваном под красное дерево, краснолапчатыми обоями и потолочной росписью в виде пузастых амуров, рогов изобилия и «пукетов» — заходили редко: только прислуга время от времени смахивала там метелкой пыль и поливала цветы. Выглядели эти помещения нежилыми. Шторы на окнах были опущены, чтобы не выгорала обивка; люстры и мебель, симметрично расставленную по стенам, прикрывали плотные чехлы. Ковры застилались белыми холщовыми дорожками, по которым полагалось ходить, не заступая на ворс. Предметы обстановки были громоздки, аляповаты и разностильны. Рядом с хорошей

дорогой бронзой можно было увидеть какую-нибудь дешевую цинковую лампу или медный подсвечник, стол красного дерева могла покрывать домодельная вязаная салфетка с бахромой, в горке рядом со старинным серебром и золотыми пасхальными яйцами на пестрых ленточках красовались дешевые гипсовые статуэтки, купленные на Толкучем рынке. Для всякого купеческого дома были характерны иконы в нарядных окладах, висевшие в красном углу в каждой комнате или стоявшие в массивных киотах. Нередко они были с негасимыми лампадами, поддерживать которые входило в постоянную обязанность кого-либо из взрослых членов семьи. Чем беднее и «серее» был купец, тем сильнее аляповатость и безвкусица присутствовали в его доме.

Отсутствие вкуса сказывалось и в бытовых мелочах. Даже парадный стол в купеческом семействе редко мог похвастать единством и изяществом сервировки. Обычно рядом с дорогой посудой от хороших фирм — Попова и Гарднера — можно было видеть разнокалиберные дешевые чашки, фаянсовые кружки и стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Сахарницы с отбитыми ручками, ножи и вилки попеременно серебряные и железные, сваленные в груды посреди стола, молоко к чаю, поданное прямо в глиняном горшке, — и две-три салфетки на всех, которыми мужчины вытирали усы. Остальным вместо салфеток служили собственные носовые платки.

В середине века многие из купцов становились собственниками городских усадеб разорившегося дворянства. В этом случае их приближали к купеческому вкусу: в контору и молодцовские обращали людские и флигеля, наглухо запирали ворота и возле них сажали цепного пса, вырубали часть сада, чтобы за его счет расширить огород с капустой и огурцами, закрывали парадный вход и всей семьей ходили с

черного крыльца. Вносились коррективы и во внутреннее оформление таких барских палат: каминны закладывали, превращая в печи, слишком фривольные росписи потолков и стен замазывали — либо полностью, либо частично, снабдив полуобнаженные олимпийские божества какими-нибудь штанами и рубахами («А то глядеть зазорно»).

Лишь наиболее просвещенные из «безбородых» купцов в бытовом укладе и обстановке дома старались ориентироваться на общепринятые европейские нормы и их комнаты и распорядок жизни почти не отличались от вообще принятых в образованной среде: здесь присутствовали единство стиля и элементарный художественный вкус — часто заведенный не столько хозяевами, сколько профессиональными мебельщиками и драпировщиками, которые в те времена исполняли и обязанности дизайнеров интерьера. Хозяева старались созданный интерьер никак не нарушать, поэтому мебель, бронза, картины и безделушки никогда не покидали привычных, раз и навсегда отведенных им мест.

В комнатах у купцов прислуживали женщины и мальчики из собственной лавки или лабаза, а разбогачен, купец мог нанять для представительности целый штат прислуги (чаще всего из оброчных крепостных): горничных, повара, а также обязательно лакея, в обязанности которого входило накрывать и подавать за столом, докладывать о посетителях и сопровождать хозяйку с дочерьми на прогулках, — как у «благородных». Ближе к концу века штат прислуги в купеческих домах мало чем отличался от хорошо поставленного дворянского дома: лакеи и горничные, повара, кухарки, няньки, экономки, буфетные мужики, дворники, кучера и конюхи, а в образованных семьях — и гувернеры с гувернантками.

Ездить в торжественных случаях купцы любили порусски, на тройках или, в более позднее время, четверкой цугом; в будни обходились одной или двумя лошадьми. Разъезжать на извозчике, особенно женщинам и пожилым людям, за исключением каких-то экстраординарных случаев, считалось так же зазорно, как и в дворянском кругу. Лошадей приобретали дорогих и породистых, но не «субтильных», — чаще всего орловских рысаков, которых нещадно раскармливали. «Сытой» лошадью купец гордился не меньше, чем дородной женой. В богатых домах могло быть до десятка рысаков, а экипажи менялись ежегодно. Роскошный выезд был таким же знаком престижа, как женины драгоценности. Конские гривы в соответствии с представлениями о купеческом шике должны были быть волнистыми, поэтому их с вечера смачивали квасом и заплетали в мелкие косички, а утром расплетали. Гордостью купеческого выезда был обычно необъятных размеров щегольски одетый кучер, восседавший на козлах совершенно неподвижно и лишь едва заметно, без видимых усилий пошевеливавший вожжами. У Петра Алексеева, богатейшего купца с Таганки, был кучер весом в 10 пудов и с огромной бородой — его знала вся купеческая Москва и отчаянно завидовала Алексееву. Для большей толщины и представительности под кучерской кафтан поддевался ватник, сам кафтан, традиционно синий, зимой подбивался лисьим мехом, опоясывался ремнем, поверх него — ярким шелковым кушаком с бахромой. На голову надевали синюю с меховой (к примеру, бобровой) опушкой шапку, на руки белые замшевые перчатки. Кучеров в хорошем доме полагалось не менее двух — один возил хозяина, другой — хозяйку. Каждому платилось жалованье — 200–300 рублей в год серебром.

Почти все потребные припасы в купеческом хозяйстве были собственного производства. Сами

солили рыбу и мясо на зиму, мочили яблоки и сливы, варили мед, пиво, готовили квасы. Н. А. Бычкова вспоминала о своей хозяйке-купчихе: «Под праздник велит мне Марья Дмитривна по бедным да по богадельням пирогов от их милости разнести; пуды кухарка ставила на всех. А летом тоже пудами для всех варенья наваривали. Кому с фунт баночку, кому с два или три, а то и больше, смотря по чину, по званию. Одним на сахаре, другим на патоке — попроще. Маменьке моей десятифунтовая банка полагалась. Паточного»^[136].

Осенью солили огурцы, грибы, рубили капусту. Для рубки капусты был сделан солидный ящик, стоял на погребице. Осенью его вытаскивали на двор и вся прислуга становилась вокруг него и мельчила капусту сечками. Несколько раз перемешивали, чтобы по углам не оставалась крупная. Когда решали, что достаточно мелко, вытаскивали большим совком, солили и в кадку. Пока готовилась засолка, весь дом грыз кочерыжки.

Стирку устраивали раз в месяц. В этот день готовили самое простое, а вся женская прислуга занималась стиркой. Стирали во дворе в больших деревянных лоханях на ножках. В прачечной на плиту ставили большой жестяной ящик, который специально заказывали жестянщику, и в нем кипятили белье. Потом белье полоскали в особом большом чане или везли полоскать на реку. Сушили во дворе или на чердаке.

Дни у купцов текли довольно однообразно. Рано утром после чаепития мужчины уезжали на собственном выезде в лавки, амбары, на фабрики. Домой возвращались к обеду, перед трапезой или после нередко спали часок-другой (летом — в беседке), потом снова уезжали до позднего вечера. Если до дома было далеко и время не позволяло, обедали в трактире или покупали провизию у разносчика. Оставшиеся дома

обедали в два часа. Несколько раз на протяжении дня пили чай. Чай пили и вернувшись домой, а спустя некоторое время — часов в восемь — плотно ужинали. Ели вообще много, часто и жирно. В промежутке между чаем и ужином хозяин с хозяйкой, как иронически замечал А. Н. Островский, «молча сидели по углам и вздыхали о своих прегрешениях — другого занятия у них не было»^[137]. После ужина ворота запирались, ключи приносились на ночь дворником «самому», и все семейство укладывалось спать. К 10 часам вечера во всем Замоскворечье в домах гасился свет. Нарушался этот распорядок лишь поездками мужчин по делам и на ярмарки (особенно Нижегородскую) и семейными богомольями.

Браки в купеческой среде обычно решались заглазно и очень рано, так что жених с невестой почти не виделись до свадьбы и мало интересовались друг другом. Е. А. Андреева-Бальмонт вспоминала, как ее отец «смеялся, что в восемнадцать лет, когда он женился, он больше интересовался разговорами с умным дедушкой, чем со своей невестой, девочкой, игравшей еще в куклы»^[138]. В выборе жениха или невесты родители руководствовались солидностью семьи и ее доходами. Брак заключался, по сути, не между людьми, а между состояниями, поэтому сперва с помощью свахи, обязательного персонажа в деле устройства купцами личной жизни, выявлялись потенциальные кандидатуры и согласовывался вопрос о приданом — «прилагательном», как его называли в купеческой среде.

Купеческие свахи еще и в 1870-х носили яркие платья, большие пестрые турецкие шали, шелковые цветные косынки, завязанные надо лбом с кончиками-рожками, и являлись в замоскворецком мирке весьма важными, порой даже незаменимыми персонажами.

Настоящая «сваха занимается чем угодно. Она и торговка, и комиссионер, и опытный ходатай по делам, и всеобщий ежедневный журнал без названия»^[139], сообщал бытописец. Женихов и невест у каждой свахи было на примете множество, и всякого она усердно нахваливала, так что заинтересованные лица старались стороною и сами навести справки о женихе. Потом нередко были в претензии и, вызвав сваху, пеняли ей: «Жениха-то твоего нам совсем раскорили». — «Ах, золотая моя, — оправдывалась сваха, — да ведь я не свят дух; нешто влезешь в них; да я таки ничего, признаться, за тем и пришла больше, кое-что слышала о нем, так, стороной, — не рука, как есть не рука, статья не подходящая. погоди, родная, у меня есть человек на примете — вот жених, так жених, только бы сладить, дело-то важное будет»^[140]. Свахи вообще говорили певуче и елейно, употребляя выражения, вроде: «мраморная ты моя», «золотая», «бриллиантовая».

«Бывали... и умные свахи, — вспоминал Н. П. Вишняков, — которые добросовестно делали благое дело: знакомили между собой подходящие семьи, которые без этого никогда бы не сошлись, ибо не знали бы, где найти друг друга, особенно в то время, когда все жили особняком, почти при полном отсутствии общности. Такие свахи немало устроили и счастливых союзов»^[141].

Купеческая бесприданница даже при хорошеньком личике имела шансы выйти только за старика, поэтому реестр даваемого за девушкой движимого и недвижимого имущества фигурировал в брачных переговорах буквально с первых же минут. Думается, не лишним будет поместить здесь одну такую роспись, относящуюся к 1840–1850-м годам и характерную для купечества средней руки:

«Роспись приданова.

В начале Божие милосердие:

Образ Всемиловитого Спаса, риза серебряная, вызолоченная.

Образ Тихвинской Божией Матери, оклад серебряный и вызолочен, риза жемчужная.

Образ скорбящей Божией Матери, оклад серебряный, вызолочен, с жемчугами.

Образ Казанской Божией Матери, риза серебряная, венец вызолочен.

Образ Святителя Николы Чудотворца в ризе.

Цепочка жемчужная, пучками, крест золотой.

Цепочка янтарная с крестом серебряным, вызолоченным.

Две цепочки серебряные, вызолоченные, с крестами серебряными, вызолоченными.

Серьги бриллиантовые.

Серьги золотые с алмазами и бурмицкими зернами.

Серьги золотые с алмазами и по одной жемчужине.

Серьги золотые с жемчугом.

Перстень бриллиантовый золотой.

Перстень алмазный золотой.

Полдюжины колец червонного золота.

Дюжина платков французской тафты разных цветов, новые.

Дюжина косынок французской тафты разных цветов, новые.

Восемь платков матеревых, разных цветов, новые.

Два платка газовые, новые.

Шесть платков бумажных, французских, новые.

Дюжина платков бумажных больших, немецких, новые.

Два платка петинетовой кисеи, шитые, новые.

Шесть платков кисейных, новые.

Две косынки декосовые (батистовые. — В. Б.), шитые, новые.

Дюжина платков кисейных ручных, в том числе с кружевами, новые.

Шесть платков кашемировых разного цвету, новые.

Шаль васильковая кушаком, новая.

Платок коричневый, новый.

Платок мериносовый белый, с каймами, новый.

Три платка драдедамовых разных цветов, новые.

Платок малиновый, пуховой, с каймами, новый.

Платье.

Платье бархатное палевое с атласной отделкой, новое.

Платье атласное голубое с блондами и отделкой атласом, новое.

Платье матеревое по атласу, алое, с блондами и атласом, новое.

Платье турецкого атласу, дикое (то есть серое. — *В. Б.*) с отделкой новой.

Платье газовое белое на белом атласном чехле, новое.

Платье бархатное малиновое, с атласом, новое.

Платье александриновое (хлопчатобумажное. — *В. Б.*) с атласной отделкой, новое.

2 платья матеревые с отделкой, новые.

Шлафор (то есть халат. — *В. Б.*) матеревый по атласу с отделкой, новый. Еще шлафор матеревый с отделкой, новый.

Платье астинской кисеи с двумя кружевными прошивками и в два ряда кружева, на палевом атласном чехле, новое.

Платье прозрачной клетчатой кисеи с кружевами и буфами, на розовом флоранской тафты чехле, новое.

Платье прозрачной кисеи с кружевами и снурками, новое.

Платье декосовое, шитое, новое.

Платье декосовое с тремя прошивками и буфами, на голубом флоранской тафты чехле, новое.

Платье декосовое с двумя прошивками и шитой оборкой, новое.

Платье кисейное, полосками, с двумя шитыми оборками, на розовом коленкором чехле, новое.

Платье декосовое, с двумя кружевными прошивками и шнурками, новое.

Платье кисейное, клетчатое, с буф-муслином, на белом коленкором чехле, новое.

Платье кисейное с уборкой (то есть отделкой. — *В. Б.*), новое.

Три платья кисейные с наподольниками, новые.

Платье декосовое с двумя оборками и кружевами, новое.

Два шлафора шитые, декосовые, новые.

Полторы дюжины платьев немецкого ситцу, в том числе французские, разного цвету и с разными уборками, новые.

Холодное верхнее платье.

Салоп венеицкого атласу, новый.

Салоп венеицкого атласу с бархатными полами, новый.

Капот матеревый на вате, стеганный на флоранской тафте, с атласной отделкой, новый.

Капот репсовый, васильковый, стеганный на вате, с отделкой, новый.

Теплое платье.

Салоп венеицкого атласу, коричневый, на чернобуром лисьем меху, с чернобуром лисьим воротником, новый.

Салоп венеицкого атласу, черный, на лисьем меху, с чернобуром лисьим воротником, новый.

Шуба бархатная длинная, зеленая, с двумя воротниками якутских соболей, на лисьем меху, новая.

Шуба длинная кашемировая, на лисьем меху с соболями.

Венгерка коротенькая бархатная, малиновая, на лисьем меху, опушь соболя.

Венгерка коротенькая веницейского атласу, васильковая, опушь соболя, на лисьем меху, новая.

Венгерка парчовая на лисьем меху, с соболями.

Венгерка канелевая (сорт плотного шелка. — *В. Б.*) зеленая, с лисьими лапами и с соболями.

Белье.

Две дюжины сорочек, рукава кисейные, станы коленкорové, с оборками и вышиты, в том числе с кружевами, новые.

Две дюжины сорочек, станы ткацкого холста, рукава коленкорové, новые.

Четыре скатерти столовые, с каймами, новые.

Три дюжины салфеток камчатных (камчатного полотна. — *В. Б.*), с каймами, новые.

Полдюжины полотенец декосовых и коленкорových, с кружевами, в том числе одно шитое, новые.

Полторы дюжины полотенец ткацкого холста, с кружевами, новые.

Постель с прибором.

Перина пуховая, на нее наволока голубая китайчатая, другая ситцевая; шесть подушек пуховых, на них наволоки китайчатые розовые, новые.

Еще наволоки на подушки кисейные, с оборками и кружевами, на тафтяных розовых чехлах, новые.

Еще наволоки на подушки коленкорové, с оборками, новые.

Еще наволоки на подушки немецкого ситцу, новые.

Занавесь штофная малиновая, с белым атласным подзором, с бахромой и кистями, новая.

Еще занавесь коленкорová, белая, с бахромой и кистями в кольцо, новая.

Покрывало кисейное шитое с оборкой и кружевами, на розовом тафтяном чехле, новое.

Одеяло немецкого ситцу, стеганое, новое.

Полдюжины простынь коленкоровых, в том числе кисейные с кружевами, новые.

Полдюжины простынь ткацкого холста, новые.

Дюжина чулок бумажных, новых.

Полдюжины чулок кастровых (суконных. — *В. Б.*), новых.

Дюжина черевик (то есть башмаков. — *В. Б.*) разного цвету.

Комод красного дерева, новый.

Гардероб для платья, новый.

Две укладки алого сафьяну, окованы белым железом, новые»^[142].

По традиции в состав приданого включалась полная обстановка спальни: если основную часть квартиры молодых отделяла и обставляла сторона жениха, то спальня целиком предоставлялась заботам стороны невесты. Кроме того, в состав приданого входили несколько комплектов мужского белья, вплоть до носков и «необходимого», и мужские халаты. В конце росписи помещали: «деньгами наличными... — столько-то тысяч рублей, деньги отдадутся в девишник. Подарки на другой день свадьбы, как будет угодно с вашей стороны. Споров и прекословий никаких не будет. Даем все с нашим удовольствием, при благословении Божиим»^[143].

Роспись рассматривалась, обсуждалась, родители, при посредстве свахи, торговались друг с другом, предполагая дополнительные выгоды. Наконец дело слаживалось и оставалось только показать молодых друг другу. Тут следует прибавить, что в купеческой среде, как и у простолюдинов, строго соблюдалось правило: дочери выходили замуж обязательно по старшинству, младшая после старшей, и нарушать это правило считалось прямо неприлично.

Широко были распространены публичные смотрины. Притом что уже с 1830-х годов московское купечество устраивало балы, «демонстрация» потенциальных, как и уже сосватанных невест и женихов традиционно происходила не здесь (как у дворянства), а в церкви (в этом качестве особенно знаменито было «Малое Вознесение» на Большой Никитской) или на гулянье, прежде всего в Вербную субботу. Этот день в купеческой среде долго носил негласное название «смотри» и готовиться к нему начинали заблаговременно и со страшным волнением.

«Накануне Вербной субботы по всему Замоскворечью идет страшная кутерьма, приготовлениям и примериваниям нет конца; женский пол почти не спит в эту ночь, все наполнено завтрашним днем, все ожидают его с замиранием сердца. Не спится в эту ночь и купеческим сынкам. Стоящим на очереди наступает время скоротать свою волюшку, — писал в 1862 году в своих „Очерках Москвы“ Н. Скавронский. — Не один отец призовет с вечера к себе детище и поведет с ним такую речь: „Оденься завтра в хорошую шубу да ступай пораньше из лавки-то, чтобы не опоздать на гулянье: будет Дарья Ивановна кататься с дочками — посмотри... да чтоб понравилась! Будет тебе шалопайть-то!“»^[144] На этом, собственно, брак и решался, что молодые купчики прекрасно знали, и вечером, прямо с гулянья, отправлялись с приятелями в кабак и творили тризну по своей холостой жизни: «Что ж поделать, из тятенькиной воли не выйдешь». Попойка, дорого стоившая бы им в обычное время, на сей раз была узаконена, и протрезвившегося на другой день сына тятенька спрашивал только: «Ну, был вчера?» — «Был». — «Видел?» — «Видел, тятенька». — «И что?» — «Да, порешимся».

После этого в дело снова вступала сваха, и на Красной горке молодых венчали.

Традиция предварительных смотрин не исчезла в купеческой среде до самого конца столетия, даже во вполне просвещенной части сословия, хотя, конечно, время внесло в обычай свои коррективы.

Е. А. Андреева-Бальмонт вспоминала о таких смотринах, относящихся уже к 1880-м годам. «Маша (сестра) страшно возмущалась таким сватовством. Она говорила, что уважающий себя человек не будет искать себе жену через сваху, что это делают только „сиволапые мужики“. Она отказывалась ехать в театр, где должны были быть смотрины. А меня это только забавляло: мы сидим в Большом театре в ложе бенуара. Я в бинокль ищу претендентов и нахожу их в первых рядах партера, двух молодых людей во фраках, рассматривающих нашу ложу в бинокль. В антракте они, стоя спиной к рампе, продолжают смотреть на нас...

На другой день мы узнаем от тетушки, что мы понравились. Через несколько дней молодой человек делает нам визит. Его привозит к нам один из наших дядей. Они сидят в гостиной... Я иду в гостиную и держу себя скромно и с достоинством, как подобает девице из хорошего дома. Меня душит смех. Молодой человек, красивый (это я уже рассмотрела в театре), модно одетый, с глупым лицом, сидит на кончике стула, держа в руках шляпу, не сводит глаз с дяди и отвечает робко на вопросы моей матери: „Как здоровье вашей матушки?“ „Как ваш батюшка?..“» ^[145].

При всей специфичности заключения браков редко в какой купеческой семье жена потом не верховодила мужем, наружно оказывая ему, впрочем, все подобающие знаки уважения. Ко второй половине века купцы-самодуры, тиранившие жену и детей, почти

извелись, и атмосфера в купеческих семьях в основном была благодушной и мирной. «Ни в одной из этих семей, — вспоминала Андреева-Бальмонт, — я не помню грубой сцены, тем более пьянства, брани или издевательств над подчиненными»^[146].

В состоятельной среде «женская половина жила в свое удовольствие. Пили, ели без конца, выезжали на своих лошадях в церковь, в гости, в лавки за покупками шляп, уборов, башмаков, но отнюдь не провизии. Это поручалось поварам или кухаркам. Когда готовились к большим праздникам, сам хозяин дома ездил в Охотный ряд присмотреть окорок ветчины, гуся, поросенка. Хозяйки этим не занимались. Они наряжались, принимали у себя гостей, большей частью родственников, играли в карты, сплетничали»^[147], когда не было гостей, валялись одетые на постелях, непрерывно что-нибудь жевали — семечки, орешки, пряники, пили чай с наливками.

В среде «серого» купечества хозяйственных забот у женщин было побольше. Здесь купчихи шили, штопали, мыли цветы, нередко сами ходили на рынок и в лавки, часто распекали прислугу, что тоже считали важным хозяйственным делом.

Вечером к такой купчихе приходили гости-соседки с рукоделием, «посидеть». Им подавалось традиционное угощение — орехи, изюм, винные ягоды, по праздникам по рюмочке «сладенького», причем дамы усиленно отказывались и отмахивались, прежде чем выпить. Приходили также монахини, богаделки. Частыми гостями были всевозможные подлинные и мнимые юродивые, странники («странные»), богомольцы, кликуши, монахи, собирающие на монастырь и пр., которых возле купечества всегда кормились целые толпы.

Детьми занимались няньки; их нещадно кутали, обильно кормили, пороли за провинности, но в общем предоставляли самим себе. Летом купеческие отпрыски находили себе развлечения во дворе или в саду; зимой их из дома не выпускали. Никаких прогулок не полагалось, — боялись простудить, и воздухом удавалось подышать только во время поездок в церковь по воскресеньям. Сидя целыми днями взаперти, дети болтались по дому, торчали в молодцовской, лазили на чердак, резались друг с другом в карты и со скуки изобретали разные проказы, за которые потом жестоко расплачивались.

В ранний период образование в купеческой среде носило религиозный характер. Главными наставниками были дьячки и пономари. Около года дети учили азбуку, затем приступали к часослову; завершением образования являлся псалтырь. Когда обучающиеся доходили до псалтыря, этим гордились точно так же, как позднее родители гордились поступлением ребенка в университет. Помимо грамоты учили чистописанию (у купца должен был быть красивый, «конторский» почерк), арифметике с выкладкой на счетах и умением учитывать векселя и, если фирма имела дело с заграницей, немножко немецкому или другому какому языку. Важнее же всего считались добрая нравственность, благочестие да послушание воле старших.

Даже «безбородые» купцы, смутно сознававшие пользу образования, поначалу не очень себе представляли, чему еще следует учить. Н. П. Вишняков, принадлежавший как раз к такой семье, вспоминал, как для его братьев пригласили в наставники протоиерея Архангельского собора о. Алексея Лебедева, и передавал рассказ брата об этом обучении: «Когда мы прошли предначертанный нам курс, Алексей Николаевич, очевидно, был в некотором недоумении,

что с нами делать дальше, так как времени оставалось еще много, но затем придумал исход. Однажды он возвестил нам, что, миновав благополучно камни преткновения земной премудрости, нам следует одолеть камень премудрости небесной, а именно учение „о тайне Святой Троицы“. И мы засели за какие-то крайне запутанные рассуждения о Высшем Существо, об Ипостасях, о сверхчувственном мире, о пресуществлении и еще не знаю о чем. Но тайная Святыя Троицы, как никак, была пройдена, а учиться надо было продолжать. Тогда Алексей Николаевич нашел, что следует начать повторение всего пройденного. Повторили. А время все есть. Опять нам предложено было углубиться в тайну Святыя Троицы. И ее мы повторили с прежним успехом»^[148]. Естественно, что подобные уроки редко приносили детям что-либо, кроме неизбывной скуки, и ученики бурно радовались, когда ученость заканчивалась. Лет в 13–15 всякие уроки у купеческих отпрысков прекращались и они начинали «заниматься делом» — помогали в лавке или амбаре и сопровождали отца на ярмарки.

Учить детей всерьез и систематически решались очень немногие представители купечества.

«За Москвой-рекой не живут своим умом, — писал А. Н. Островский, — там на все есть правило и обычай, и каждый человек соображает свои действия с действиями других. К уму Замоскворечье очень мало имеет доверия, а чтит предания и уповает на обряды и формы. На науку там тоже смотрят с своей точки зрения, там науку понимают, как специальное изучение чего-нибудь с практической целью. Научиться медицине — наука; научиться сапоги шить — тоже наука, а разница между ними только та, что одно занятие благородное, а другое нет. Науку как науку, без видимой цели, они не понимают»^[149].

Еще и в 1850-х годах московское купечество, как писал Н. Вишняков, «не доверяло просвещению и не признавало для себя его необходимости. До середины 1850-х годов между нашей многочисленной родней и знакомыми не было ни одного лица с университетским образованием. Старики держались того взгляда, что наука только отбивает от дела, и, со своей точки зрения, были безусловно правы. Условия, среди которых жило купечество, были до такой степени первобытны, что у человека, получившего мало-мальски сносное образование, должно было являться непреодолимое желание уйти из этой среды. Конечно, этому бывали не раз и примеры. Старое поколение запоминало это и сердилось, не будучи в состоянии оценить причины отвращения. В самом деле, с точки зрения, например, моего отца, что требовалось для его сыновей? Требовалось, чтобы они вышли хорошими купцами, поддержкой ему на старость и продолжателями его дела, которое кормило семью и давало хороший барыш... Если сыновей образовывать дальше, то сделаешь из них только „ученых“, которые будут брезговать отцовским делом и оно, значит, рано или поздно обречено будет на гибель, а сами молодые люди под конец пойдут по миру. Наука плохо кормит, а в чиновники им идти не к лицу: зазорно состоятельному купеческому сыну от своего-то прибыльного дела записываться в чернильные крысы. Таким образом, наука была страшилищем, враждебным как семейным, так и торговым интересам»^[150].

Прошло несколько десятилетий, прежде чем на образование стали обращать больше внимания. Мальчиков стали отдавать учиться в коммерческое училище или городские школы (популярно у просвещенных купцов было немецкое Петропавловское училище); девочкам, как правило, давали лишь уроки

элементарной грамотности и «манер». Некоторые недолго учились в пансионах. Полноценное образование женщинам в этой среде давали редко: считалось, что с приданым возьмут и неученую. Как правило, купеческая дочка «знала первые правила арифметики, умела кое-как с грехом пополам справляться с буквой „ять“, и нельзя сказать, чтобы с достаточной ясностью могла себе представить разницу между Китаем и Турцией»^[151].

Лишь после реформы детям стали давать образование не только в коммерческой академии, но и в университете, а купеческие дочери заговорили по-английски и заиграли Шопена.

Служащие в купеческом деле составляли его неотъемлемую часть и были постоянным источником пополнения купеческого сословия.

Делились такие служащие на три категории: мальчики, молодцы и приказчики, представлявшие собой три ступени в купеческой карьере.

«Жить в мальчиках» начинали, как правило, подростки лет 13–15 (хотя встречались в этой категории и вполне взрослые люди). В учение их отдавали родители, заключавшие с хозяином-купцом «условие»-договор, обычно лет на пять. В начале XIX века еще была широко распространена практика, когда мальчиками в чью-нибудь лавку или в амбар поступали на общих основаниях сыновья купцов и так приучались к делу; позднее большинство мальчиков выходили из мещанской и крестьянской среды.

Такой мальчик становился почти полной собственностью хозяина и особенно первое время им помыкали все домашние — и хозяева, и прислуга, и молодцы, и приказчики, и даже старшие мальчики. На плечи ученика ложилась вся тяжелая работа: принести или привезти воды из «бассейни», нарубить дров,

топить печи, чистить платье и сапоги всем домашним, помогать кухарке, ходить с ней или с хозяйкой за провизией, нянчить хозяйских детей, бегать с поручениями, колоть сахар, прибирать в лавке, при необходимости служить грузчиком и т. д. и т. п. Он был у всех на побегушках, но при этом работал и в лавке, а по вечерам еще должен был доставлять по адресам покупки.

Мальчики «обязаны были стоять у дверей, не смея присесть, и должны были зазывать покупателей. Доставалось им главным образом зимой: они зябли на морозе, и щеки их были всегда отморожены... Кроме того, каждый считал необходимым к мальчику „руку приложить“, начиная с хозяина и кончая простым рабочим парнем и „трещали зубы“ мальчиков... Это называлось „ученьем добру“... Что мальчики терпели, и сказать трудно!»^[152] — вспоминал П. И. Богатырев. В таких условиях мальчики постепенно учились повиноваться и проникались купеческой этикой, а потом, на следующей стадии ученичества, научались и повелевать.

Жалованье мальчикам не полагалось. От хозяина шли харчи — обычно чай и хлеб с колбасой и остатки от обеда (пустые щи и гречневая каша), кое-какая одежонка и иногда небольшие «праздничные» — копеек 10–15 по воскресеньям «на пряники». Жили мальчики в хозяйском доме; специального помещения им не полагалось — спали по углам на войлоке. Регулярных выходных и отпусков не давали: лишь в большие праздники хозяин мог позволить сходить на гулянье под балаганы.

Расторопный и способный мальчишка, присматриваясь к делу и приобретая профессиональные навыки, иногда и до истечения оговоренного срока производился в следующую категорию — в молодцы, то

есть в младшие приказчики. Молодец за выполняемую работу получал небольшое жалованье (сперва 12 рублей с полтиной, а потом так и все двадцать), его не изысканно, но сытно кормили, он имел по воскресеньям выходные дни, на Пасху и Рождество на неделю ездил в отпуск к родным. В то же время жить он продолжал в хозяйском доме, где делил со своими товарищами общую комнату — «молодцовскую», в воскресенье обязан был являться домой не позднее одиннадцати часов и не имел права жениться.

«Хозяин не только поучал („молодцов“), но иногда и „учил“, держал подчиненных в страхе и благочестии, „гонял“ их к церковным службам и считал себя благодетелем»^[153].

Часто именно на стадии «молодца» торговый человек начинал сколачивать собственный капитал. Тут в дело шли и экономия, и обсчет, и обвес покупателей, и даже знакомство, в отсутствие «самого», с хозяйской кассой.

Ко всем подобным уловкам и покупатели, и хозяин относились довольно терпимо. Существовали, можно сказать, некие неофициальные, но всеми признаваемые «нормы» обмера и обвеса и пределы мелких краж, и до тех пор, пока начинающий капиталист этим нормам следовал, окружающие помалкивали. Покупатель-москвич почти всегда учитывал этот маленький налог в пользу приказчика, отправляясь за покупками, и вместо того чтобы взять, к примеру, 17 аршин ткани, брал 20, зная, что в куске все равно будет недостача: если взять 17 аршин — получишь 15 с половиной. Лишь превышение «нормы» вызывало возмущение, и в этом случае и покупатель поднимал шум (и старший в лавке становился на его сторону), и хозяин вправе был обвинить служащего в воровстве и принять к нему суровые меры, вплоть до изгнания из дела.

Добытые таким образом деньги «молодец» потихоньку пускал в коммерческий оборот и к моменту обретения статуса полноценного приказчика частенько мог уже похвастаться маленьким состоянием в сотню-другую рублей.

Приказчик, в отличие от молодца, подчиняясь хозяину в делах, обретал известную самостоятельность: он получал довольно хорошее жалованье, жил на собственной квартире своим хозяйством, мог обзаводиться семьей (особенно выгодным вариантом была женитьба на хозяйской дочери) и даже мог перейти на другое место. Собственные обороты его росли; полученное за женой приданое округляло капитал, и через несколько лет, достаточно разбогатев, он нередко сам записывался в купеческую гильдию и открывал собственное дело.

Конечно, везло не всем, и в купеческом мире всегда было достаточно взрослых и даже пожилых приказчиков, которые не стремились или не умели выйти в купцы и всю жизнь оставались у кого-нибудь в услужении. Приказчики-ветераны высоко ценились в торговом мире. Хозяева безусловно им доверяли, советовались и относились подчеркнуто уважительно: здоровались за руку и называли по имени-отчеству.

Уже в 1786 году был открыт Купеческий клуб, помещавшийся сначала на Ильинке, а с 1839 года — на Большой Дмитровке. (Позднее, уже в начале XX века клуб переехал на Малую Дмитровку, в специально для него сооруженное здание — нынешний театр Ленком.) Устроен он был по подобию дворянских клубов, имел старшин, постоянное членство, взносы, хороший ресторан и пр., со временем посещался, помимо собственно купечества, также средним кругом дворянства. Главным занятием членов была карточная игра, но устраивались в клубе и регулярные светские мероприятия — балы, маскарады, концерты и пр.

Именно здесь с 1836 года начались купеческие балы. Это был настоящий прорыв в досуге торгового сословия: еще за каких-нибудь 10-15 лет до этого танцы в большинстве московских купеческих семейств почитались «сатанинской потехой» и запрещались молодежи чуть ли не под страхом смертной казни. И вот уже купеческие отпрыски осваивали кадрили и польки и довольно уверенно их отплясывали. Первоначально обстановка на балах была столь экзотична, что редкий из бытописцев не поточил тогда коготки, расписывая здешние чудеса. Если отцы купеческих семейств на таких балах преимущественно сразу отправлялись в буфет или усаживались за карты, то наполнявшие бальную залу дамы радовали взор обилием драгоценностей и исключительной пестротой нарядов. «Вы увидели бы здесь и пунцовые токи с лиловыми перьями, и голубые платья с желтыми воланами, и даже желтые шали на оранжевых платьях, из-под которых выглядывали пунцовые башмачки, или, говоря по совести, башмаки, отделанные зелеными лентами»^[154], — расписывал М. Н. Загоскин. Здесь долго не употребляли вееров, обмахиваясь вместо них платочками.

«Купеческие дочери на бале и в маскараде обыкновенно очень молчаливы, — писал П. Вистенгоф, — замужние — почти неприступны для разговора, позволяя однакож приглашать себя в молчании двигаться под музыку. (...) Пожилые купчихи на бале добровольно лишают себя языка и движения, довольствуясь одним приятным наблюдением взорами за своими „деточками“, подбегающими к ним после каждой кадрили. Маменьки обыкновенно балуют их конфетами, привозимыми с собою в больших носовых платках; я даже видел, как одна кормила свою дочку пастилою, привезенною в платке из дома»^[155].

По мере того как «обтиралось» и цивилизовалось московское купечество, обретали необходимую «бонтонность» и вечера в Купеческом клубе. Ко второй половине века это было одно из наиболее посещаемых в Москве мест, а здешние маскарады считались самыми веселыми. Тайком под маской сюда приезжали и дамы из общества, желавшие поинтриговать, и дамы полусвета, надеявшиеся бесплатно поужинать за счет благодушного кавалера.

Вплоть до 1870-х годов немалая часть купечества продолжала сохранять самобытность. По праздникам и воскресеньям пекли пироги: один хозяевам, другой прислуге, и вся семья ходила к всенощным и обедням в приходской храм, где у каждого купеческого семейства было свое определенное место. Избавить от этой обязанности могла только болезнь или сверхважное дело. Вечером, взяв самовар, вино и закуски, отправлялись в рощу на гулянье. На гулянье прохаживались, покупали детям апельсины, вяземские пряники и грецкие орехи, потом усаживались в холодке и ели привезенные припасы, потом снова прохаживались и снова ели. Отец семейства непременно встречал знакомых и пил с ними, так что домой все возвращались ублаженные.

Осенью и зимой по праздникам иногда брали ложу в театре и, набрав мешок гостинцев, ездили всей семьей смотреть какую-нибудь трагедию или драму поэффектнее. В дни именин — своих и жениных — московский купец устраивал парадный обед, «закуску» или даже и бал, причем была музыка с литаврами. «Во все время бала гости сохраняют какую-то чинную важность; молодые танцуют, пожилые играют в мушку, пикет и бостон, пожилые дамы и не танцующие сидят около десерта, расставленного на столах в гостиных, и уничтожают его с прилежанием, большею частью молча или при разговорах отрывистых, утвердительных и

отрицательных знаках своих голов, сияющих в это время жемчугами и бриллиантами»^[156], — повествовал бытописец.

За ужином много пили, играли русские песни, а когда провозглашали чье-нибудь здоровье, непременно играли туш. Если праздновали свадьбу, обязательно били посуду и кто-нибудь пускался вприсядку. В конце концов какая-то часть гостей «по немощи» оказывалась не в состоянии возвращаться домой и ее оставляли ночевать, раскладывая перины и подушки на полу за неимением свободного места.

Следует добавить, что многие из описанных здесь и присущих этому сословию самобытных черт оказались быстропреходящи. На протяжении XIX столетия торговое сословие на удивление быстро цивилизовалось.

Почти вплоть до Крестьянской реформы 1861 года купечество в целом было принижено и забито. Еще в 1856 году московский генерал-губернатор Закревский не пустил купцов на ими же самими устроенный парадный обед в честь коронации Александра II (об этом рассказывалось в четвертой главе).

Несколько позднее именно Александр II обозначил возвышение купеческого звания. Во время пребывания Двора в Москве осенью 1862 года на высочайший выход в Большом Кремлевском дворце были, по традиции, собраны высшие представители всех московских сословий. В Георгиевском зале стояли военные, в Андреевском — гражданские чиновники и представители губернского дворянства, во Владимирском — купечество. Когда император вступил в этот зал, городской голова Михаил Леонтьевич Королев, степенно поклонившись, подал ему хлеб-соль на серебряном блюде, специально к этому случаю заказанном в известной ювелирной фирме Сазикова.

Государь благосклонно принял подношение и, обратясь к голове, спросил:

— Как твоя фамилия?

Королев понял слово «фамилия» в принятом у купцов смысле — «семья» и отвечал:

— Благодарение Господу, благополучны, Ваше Величество, только хозяйка малость занедужила.

— Ну, кланяйся ей, — с улыбкой сказал государь, — да скажи, что я со своей хозяйкой приеду ее навестить.

И ведь приехал! Смущенная купчиха подавала в гостиной чай императрице, а Александр II милостиво и долго говорил и с хозяином, и с собравшимися по такому неслыханному поводу первейшими московскими купцами.

Это был едва ли не первый в истории Москвы девятнадцатого века случай, когда царь приехал в гости к купцу. Предыдущий подобный визит случился аж в 1800 году: тогда император Павел, привлеченный опрятным каменным домиком на пути в Измайлово, захотел в нем отдохнуть и таким образом неожиданно осчастливил купца Щербакова. Потрясенный Щербаков тогда велел навсегда законсервировать ту комнату, лучшую в доме, в которой почивал император. С тех пор в нее входили только с экскурсионными целями, ни одна вещь не меняла своих мест, а на «том самом» диване красовалась вделанная в спинку миниатюра с портретом Павла, которую высокий гость повелел прислать Щербакову в благодарность за гостеприимство. О том случае несколько поколений московских купцов вспоминали с умилением.

Теперь же посещение Александром II М. Л. Королева восприняли как официальное признание высокого общественного значения купечества. И действительно, послереформенные годы знаменовали собой начало стремительного разрастания российского капитализма, в котором энергичным и предприимчивым

промышленникам и негоциантам принадлежало ведущее место.

Понадобилось всего несколько десятилетий, чтобы униженные «самоварники и аршинники» превратились в мощную силу, державшую в своих руках практически всю экономику страны, ее оборонные отрасли, транспорт и внешнюю торговлю. Именно купцы стали основными владельцами бывших дворянских гнезд, именно они притягивали и впитывали в себя все наиболее активное и предприимчивое, что имелось в других сословиях империи — и в дворянстве, и в крестьянстве. Они активно скупали недвижимость в России и за рубежом и строили многоквартирные доходные дома, до неузнаваемости изменившие облик Москвы. Они фактически заправляли всеми городскими делами. Они финансировали журналы и газеты, спонсировали художников и целые театры, формировали сокровищницы искусства, давали средства на научные изыскания и развитие спорта. Они сформировали в своей среде собственную купеческую аристократию, элитарность которой базировалась на самом прочном из всех оснований — на огромных деньгах. И все это произошло в кратчайший в историческом масштабе период времени — за какие-нибудь сорок-пятьдесят лет.

К 1890-м годам оформилось новое купечество — «культурные, получившие воспитание под руководством иностранных гувернеров, заканчивавшие образование за границей, отлично говорившие на иностранных языках и мало чем отличавшиеся по внешней обстановке жизни от крупного барства, разве только тем, что барство в такой обстановке исстари выросло, а высокое купечество ее наново вокруг себя заводило» ^[157].

Значительная прослойка «серого» купечества, конечно, продолжала существовать и занималась средней и мелкой торговлей, но и здесь к рубежу XIX–XX веков почти не оставалось каких-то специфических купеческих черт: и обликом и образом жизни эта категория купечества все больше вливалась в средний слой московских обывателей, где почти не прочитывались сословные различия.

Глава шестая. СЪЕСТНЫЕ И ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Трактиры. — Половые. —
«Шестерка». — «Можайка». — Трактирные
музыканты. — «Машина». — «Отелло». —
Московская снедь. — Троицкий
трактир. — Лопашевский. — Трактир
Егорова. — «Бубновская дыра», —
«Московский» и «Большой
Московский». — Рестораны. — Шевалье. —
«Эрмитаж». — «Славянский базар». —
Кутежи. — «Разгуляй». — «Волчья
долина». — «Амстердам». —
«Полуярославка». — «Яр». —
«Эльдорадо». — Кухмистерские и
харчевни. — Кондитерские. —
Распивочные. — Пивные. — Чаепитие. —
Рогожские чайные плантации. —
Литературная кофейня

Если в отношении чистоты и комфорта Москва всегда уступала Северной столице, да и многим большим губернским городам, то в том, что касалось еды, Первопрестольная всегда была на высоте и могла дать сто очков вперед любому европейскому городу вообще. Москвичи в хорошей еде разбирались, ели много, и такому спросу соответствовало обильное предложение. Съестные и питейные заведения для всех слоев общества являлись, к тому же, не просто местом, где можно хорошо поесть и задушевно выпить, но и центром общения и отдыха, и деловой переговорной, и клубом по интересам, и средоточием всевозможных — не только гастрономических — усад.

Основными съестными заведениями Москвы были трактиры — к концу столетия их имелось в городе до тысячи. Возникшие, как явствует из названия (от «тракт» — большая дорога), для нужд путешествующих вдоль больших дорог в середине XVIII века трактиры стали перемещаться и на городские улицы. По сути, они не сильно отличались от привычных нам ресторанов — тоже имели довольно обширное меню, карту вин и т. д., но трактирная кухня была почти исключительно русская и непременно подавался чай (особенно после 1840-х годов, когда Москва превратилась в чайную столицу России). Правда, в первые десятилетия века трактир считался заведением «неблагородным» — для купцов и простонародья. В те времена дворяне трактирных заведений не посещали, считая это ниже своего достоинства, и предубеждение это изжилось не сразу.

Прислуживали в трактирах не официанты во фраках (как потом было принято в московских ресторанах), а «половые», одетые «на русский лад». В самом начале века этот русский характер их костюма был еще очевиднее, чем впоследствии: половые носили бороды и ходили в разноцветных кафтанах. Позднее (годам к 1830-м) непременной униформой половых стали белые штаны на выпуск и рубахи с косым воротом, подпоясанные красными поясками с кисточками, и при бритом лице прическа «в скобку» («под горшок»). За пояс был непременно заткнут большой растрепанный бумажник, на одной руке половой тащил тяжеленный поднос на отлете, в другой — пару чайников — и ни одна чашка не шелохнется! Высший трактирный шик! «А уж угождать мастера, ножкой шаркать, в пояс кланяться, никакое сердце не выдержит, последний подлец медяшки не пожалеет»^[158]. Хороший половой обязательно знал постоянных посетителей не только в лицо, но и по имени-отчеству, и был не только

предупредителен, но и всегда опрятно одет, держался степенно, с достоинством и с большим искусством умел гасить и предотвращать зарождавшиеся скандалы. Метрдотелей в трактирах не полагалось; споры разрешал конторский приказчик.

Подзывали половых постукиванием или возгласами «Эй, мальчуга!» или «Челаэк!» и обращались к ним на «ты».

Половые начинали свою службу в трактире с мальчиков на кухне, которые присматривали за кубом, кипящим воду, чистили ножи и вилки и бегали на посылках, постепенно присматриваясь к трактирному ремеслу. За выслугу лет и расторопность их переводили в зал, уже в половые — на оклад в 6 рублей в месяц (отсюда, как говорили московские старожилы, возникло жаргонное слово «шестерка»). В некоторых заведениях, правда, жалованье половым вовсе отсутствовало и всё, что они имели, добывалось за счет чаевых и обсчета — преимущественно пьяных — посетителей. В хороших заведениях чаевые были не меньше полтинника, а к праздникам половые получали еще и денежные подарки от постоянных клиентов. Лет через пять особенно ловкий половой мог быть повышен до буфетчика, а позднее и до приказчика. В крепостную эпоху нередко случалось, что хорошего и долго прослужившего полового трактирный хозяин выкупал на волю.

Как во всяком ремесле, в трактирном деле существовали собственные землячества, в основном и пополнявшие из своих рядов число трактирной прислуги. Много половых были по рождению москвичами, еще больше — казанскими татарами: их очень ценили в трактирах за неукоснительную трезвость (как мусульмане, они подчинялись религиозному запрету пить вино). И все же лучшими половыми слыли ярославцы, у которых, как находили,

имелся врожденный талант к этому делу. Ярославцы считались очень энергичной, сметливой и в то же время умной, тактичной, «самую тонкою, приятною и оригинальною прислугой». «Если гость почетный, ярославец ведет его чуть-чуть не под руки на избранное место, „что прикажете, чего изволите, слушаю-с, сударь“ — не сходят у него с языка»^[159]. При этом «с хорошими господами» и в хорошем трактире не позволяли себе никакой фамильярности. «Он вам и скандальную новость сообщит, и дельный торговый слух, и статейку рекомендует в „Ведомостях“, — и все это кстати, сдержанно, как хороший дипломат и полезный собеседник»^[160].

Трактиры могли быть как роскошные, так и недорогие, рассчитанные на всякий вкус и кошелек. Существовали трактиры актерские, студенческие, для извозчиков и домашней прислуги, трактиры, в которых собирались книголюбы и букинисты, ювелиры и антиквары, охотники, лошадаики или любители птичьего пения, захудалые заведения для городской бедноты. У Никитских ворот одно время был трактир «Керехсберг», где бывали почти исключительно иностранцы-гувернеры. В Охотном ряду имелся лакейский трактир, в котором слуги, проводив своих господ в театр или Собрание и забрав с собой их шубы, приятно проводили в хорошей компании часы ожидания. Сюда же охотнорядские мясники и зеленщики приводили угощать обедом барских поваров и управителей, которые закупали у них провизию в надежде на продолжение сотрудничества.

Женщин на протяжении почти всего века в трактир пускали только в отдельные кабинеты. В первой половине века порядочные женщины вообще бывали в трактирах крайне редко и стали бывать чаще лишь после 1860-х годов, по мере развития женской

эмансипации. Уже годах в 1870-х утвердилось обыкновение после театра ездить ужинать с женами и друзьями в отдельные кабинеты — обычай, который долго удивлял чопорный Петербург. Бывали дамы и на парадных обедах и банкетах — юбилейных или именинных, если для этого снимали зал хорошего трактира. В остальных случаях в общий зал женщины (за исключением трактирной obsługi) не заходили. Даже с постоянно «сидевшими» в некоторых трактирах особами легкого поведения желающие могли увидаться только в кабинетах. Нарушалось это правило лишь в самых низкопробных местах, куда вообще пускали кого угодно — и босяков, и алкоголиков, и спивающихся проституток.

Трактиры бывали трех разрядов (первый — высший). В 1820-1830-х годах издававшиеся правительством «Положения о трактирных заведениях и местах для продажи напитков» предписывали именовать перворазрядные трактиры «ресторациями», но, несмотря на смену вывесок слово это в Москве не прижилось. Еще имелись внеразрядные простонародные заведения, пропахшие прокаленным маслом, водкой и луком, в которых, впрочем, все было, «как у больших»: имелись для развлечения бильярд и «волчок», вечерами какие-нибудь девицы в красных платьях пели романсы, вроде: «Он тиран-тиран, вор мальчишка, он не любит, вор, меня», а на буфетной стойке красовались калачи, сайки, баранки, дешевая колбаса, студень, вобла, капуста, огурцы, рубец — скатанный и обвязанный веревкой желудок, севрюжья голова, вареная печенка и прочие деликатесы. В наиболее дешевых из простонародных трактиров можно было наесться досыта на 5-6 копеек, заказав на 2 копейки щей, на копейку хлеба и на 2-3 копейки «мяса» самого низкого сорта — щековины или рубца.

Следует сказать, что даже в самых распоследних трактирах обязательны были две вещи: безупречной белизны костюмы половых, а также столы, покрытые скатертями. Скатерти эти в низовых заведениях могли быть и рваными, и неделями не переменявшимися, но наличествовали всегда. Есть за голым столом истинный москвич нипочем бы не стал.

Красотой интерьеров большинство московских заведений не блистало. Скорее, типична была картина, описанная современником: «Довольно грязная, отдававшая затхлым, лестница с плохим узким ковром и обтянутыми красным сукном перилами вела на второй этаж, где была раздевальня и в первой же комнате прилавок с водкой и довольно невзрачной закуской, а за прилавком возвышался громадный шкаф с посудой; следующая комната — зала была сплошь уставлена в несколько линий диванчиками и столиками, за которыми можно было устроиться вчетвером; в глубине залы стоял громоздкий орган-оркестрион и имелась дверь в коридор с отдельными кабинетами, т. е. просто большими комнатами со столом посредине и фортепьяно. Все это было отделано очень просто, без ковров, занавесей и т. п., но содержалось достаточно чисто: про тогдашние трактиры можно было сказать, что они „красны не углами, а пирогами“»^[161].

В заведениях, претендующих на роскошь, были плюшевые портьеры, «хрустальные» люстры с висюльками, зеркала, аляповатая лепнина, иногда и росписи или картины в броском, «трактирном» стиле. Встречались, конечно, особенно во второй половине века, и по-настоящему хорошо, даже художественно, оформленные места.

Во всяком трактире, помимо отдельных кабинетов, имелось как минимум два зала, иногда на разных этажах. Первый назывался «дворянским» или

«коммерческим» — он был почище или пороскошней и цены в нем были повыше. Второй зал звался простонародным, «русским», «черным» или почему-то «можайкой». В третьеразрядных заведениях встречались еще отделения для извозчиков, обычно расположенные ближе ко входу (простые смертные зайти в это отделение тоже могли), но в большинстве случаев извозчики просто имели собственные, специально для них предназначенные трактиры.

Отличием такого извозничьего трактира от обычного был двор с колодами, возле которых отдыхали и ели лошади. «В помещении для извозчиков был так называемый „каток“, т. е. будка-стойка, где какой-нибудь отставной солдат или выжига-мещанин торговал „от себя“ закусками самого низкого сорта: печенкой, легким, рубцом и т. п. Водкой в катке не торговали, ее продавали в настоящем буфете, расположенном обыкновенно на видном месте, против или около входной двери. Здесь, за стойкой, уставленной закусками и разной величины стаканчиками, стоял приказчик, который цедил водку, по желанию покупателя, в тот или иной по величине и по цене стаканчик. Цена стаканчикам, или, как их называли, „стакашкам“ („Эй, насыпь-ка мне вон тот стакашек!“) начиналась, кажется, с трех копеек и постепенно, согласуясь с величиной „стакашка“, все возвышалась и возвышалась» ^[162].

Вывески у большинства трактиров были синего цвета — тоже московская традиция, и в любом трактире, даже первоклассном, на входных дверях имелся блок с веревкой, к которой привязывался простой кирпич. Открывание двери сопровождалось пронзительным скрипом, а затем дверь сама с грохотом захлопывалась за посетителем.

Во всяком уважающем себя трактирном заведении выписывали для нужд клиентов одну или несколько газет — «Ведомости московской городской полиции», «Московский листок» и еще что-нибудь, а иногда и какие-нибудь журналы, которые мог взять почитать за обедом или чаем любой желающий. Для сведения любителей имелись в трактирах и театральные афишки, которые на протяжении значительной части девятнадцатого века печатали в малом, «карманном» формате. Во многих местах для желающих ставился бильярд.

Кроме того, трактирных посетителей услаждали еще и музыкой. В редком заведении не было собственного хора или певцов-одинок, гармонистов, балалаечников, выступавших по вечерам. Некоторые подолгу работали в одном и том же месте и имели свой круг постоянных слушателей и поклонников из числа завсегдатаев. В московское предание рубежа XIX–XX веков вошло имя певца, выступавшего в средней руки трактире на Большой Бронной, недалеко от Тверской, — «Саша-хризантемы». Романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» был его коронным номером, и в заведение приходили специально, чтобы его послушать, пустить слезу и поднести артисту рюмку горькой.

Трактир «Милан» на Смоленском рынке славился в середине века хором песельников И. Е. Молчанова, который давал целые концерты в большом зале. Один из трактиров на Немецком рынке был знаменит запевалой подобного же хора Осипом Кольцовым. «Обладая превосходным тенором... Кольцов словно нарочно был создан для русской песни в простом изложении ее. Его „закатистые“ высокие ноты как нельзя больше шли к русской песне, и он обаятельно действовал на свою публику. А веселые песни он так выполнял со своим хором, что мурашки бегали по телу, причем он уснащал пение народными приговорками или

сам тут же изобретал таковые. Кольцова не только любили, но прямо обожали. Он со всей страстностью отдавался песне, оттого-то она так и пелась у него, и лилась в русскую душу»^[163].

Еще одного трактирного певца, пользовавшегося общемосковской известностью, звали Александром Власычем Фомичевым. Он пел в заведении на Смоленском рынке, играл на гармонии и собирал множество слушателей. Е. З. Баранов записал о Фомичеве такой рассказ: «Вот это действительно был певец... Бывало, запоет „Белый день занялся над столицей“ или „Снежки белые пушисты“, так весь трактир затихнет. И голос звенит, за душу берет. И еще вот эта выходила у него хорошо: „Еду ль я ночью по улице темной“. Как запоет, так, я тебе скажу, редкий человек не плакал. Пел и деревенские песни, только с разбором. У него не было этого, чтобы под песню вприсядку пуститься, а пел он сурьезные песни, хорошие. А когда хозяину, трактирщику этому, Степану Никифоровичу, подходил срок запоя, сейчас поставит за кассу жену, а сам за столик с Александром Власычем сядет. А тот уж знал, чего ему требуется, запоет: „Полоса ль моя, полосонька, полоса ль моя непаханая“... Вот Степан Никифорович сидит, слушает, а слезы так и катятся по щекам. А сам весь седой. Ну, конечно, уже с хорошим зарядом, графинчик перед ним, закусочка... Поплачет, заплачет, и стукнет рюмочку. Ну, тут, знаешь, фасон такой был: вот, мол, я и хозяин, при деньгах хороших, всех вас купить могу, и старый такой человек, а вот плачу от песни. Ну, разговор в народе идет про это самое, а ему и лестно. И три дня так проканителится, сходит в баню и опять за буфет. Понятно, фасон один, а чтобы от души, так этого не было»^[164].

Подношения поклонников и застолья с запойным хозяином не прошли даром: Фомичев быстро превратился в алкоголика, потом у него развилась скоротечная чахотка, и в 1904 году он умер.

В дневные часы музыкальную программу в трактирах выполняли механические органы — «оркестрионы», именуемые просто «машинами». В первой половине века на них «играл» особый человек, непрерывно, как шарманщик, вертевший ручку. Позднее машины сделались полностью механическими. Подобные были в большинстве московских заведений. После того как их заводили, трактирные «машины» играли различные популярные мелодии: романсы, народные песни, отрывки из «Жизни за царя», «Ветерок» из «Аскольдовой могилы» и пр. Заглянув сквозь стеклышко, можно было видеть, как органчик работает: внутри медленно вертелся большой медный диск с дырочками, шпеньки цеплялись за дырочки и заставляли органчик звучать. На каждую мелодию имелся свой отдельный диск. В Великий пост музыка в трактирах была запрещена, и для тех, кто все-таки хотел послушать «машину», в такие дни имелось только одно дозволенное произведение — «Боже, царя храни».

Работали трактиры с раннего утра, часов с шести, и в основном до двенадцати ночи (в рано пустеющем Китай-городе закрывали гораздо раньше). Ровно в полночь появлялся человек, которого на московском жаргоне называли почему-то «отелло». Он выставлял последних посетителей, гасил свечи или лампы и навешивал на двери замок. Из этого правила были исключения: допоздна, то есть почти до утра, работали заведения, рассчитанные на театралов, загородные «кутежные» и некоторые ориентированные на бедноту (к примеру, так называемая «Тишина» на Грачевке, куда поздно вечером приходили не столько пить, сколько спать, и сидели до утра).

В большинстве средних и дорогих трактиров, как и сейчас, предлагались завтраки в нескольких вариантах (они назывались «порционными»), обеды — порционные и иногда по карте (то есть по меню). В дорогом трактире обед из трех блюд стоил в конце века 1 рубль 25 копеек, из пяти блюд — 2 рубля 50 копеек, в недорогих заведениях — от 35 до 50 копеек. Обед можно было взять на дом, и этой услугой москвичи пользовались очень широко. Ужинали, как правило, по карте. Порции в московских трактирах вообще были очень большие, так что одну порцию супа или щей подавали в супнице и хватало ее на троих, а то и на четверых едоков. Три обеды до отвала наедались пятеро. Одиночный посетитель заказывал полпорции, но и ее было много. В Москве вообще очень много ели, и едва ли описанный В. А. Гиляровским «завтрак» журналиста Власа Дорошевича, который «изволивал скушать» у Тестова под водочку шесть свиных «окорочков» с хреном и сметаной, был чем-то исключительным.

Москва хвалилась своей собственной уникальной снедью, какой нигде больше нельзя было попробовать. «Таких поросят, отбивных телячьих котлет, суточных щей с кашей, рассольника, ухи, селянки, осетрины, расстегаев, подовых пирогов, пожарских котлет, блинов и гурьевской каши нельзя было нигде получить, кроме Москвы. Любители-гастрономы вписывали в Петербург московских поросят и замороженные расстегаи»^[165], а московские калачи уходили и к императорскому двору, и в провинцию. Транспортировали их тоже в замороженном виде, а на месте давали оттаять, согревали в горячих полотенцах и подавали к столу — теплыми и свежими, точно только что из печи.

В Москве всегда найдешь забаву
По вкусу русской старины:
Там калачи пекут на славу,
Едятся лучшие блины.

Славились московские почки в мадере, скобянка, подававшаяся (как и селянка) порционно на сковороде. В последние десятилетия века гордилась Москва и салатом Оливье, который в то время проходил по разряду холодных закусок. Секрет его ингредиентов (особенно фирменного соуса) держался тогда в глубокой тайне. Вообще в каждом приличном трактире были свои фирменные блюда, за которыми знатоки сюда и приходили. Так специальностью трактира Воронина (позднее Егорова) были блины (на Масленицу здесь были аншлаги), Новотроицкого — молочные поросята и рыбные блюда, Большого Патрикеевского, известного также как Тестовский, — расстегаи с налимьими печенками и т. д.

Качество трактирной кухни во многом определялось постоянной клиентурой. К примеру, на Рязанский (нынешний Казанский) вокзал прибывали из южных губерний составы с хлебом (здесь же неподалеку в конце века была построена Хлебная биржа). Естественно, место это изобиловало торгующими хлебом купцами-оптовиками. Во многочисленных расположенных в окрестностях вокзала трактирах, как писал Д. А. Покровский, «трудно найти что-нибудь удобоснедаемое, но чай и водка имеются самых высоких качеств, ибо их степенства <хлебные оптовики>, избалованные и домашним, и городским трактирным харчем, не отваживаются есть Бог знает в каких трактиришках, без чаю же и водки дольше часу обходиться не в состоянии (...). Незнающего человека... если уже и случится ему взобраться по лестнице наверх

и даже усесться на жесткий кожаный стул, <обстановка> расположит взяться обратно за шапку, чтобы предаться бегству: до того она неказиста и непривлекательна со своими грязными и дырявыми скатертями и салфетками, со своими засаленными обоями и некрашеными, заплеванными полами, с своей инквизиционной мебелью и закопченными потолками. Но стоит ему отведать чашку чаю с настоящими сливками или закусить водку настоящей же тамбовской ветчиной, он, пожалуй, помирится и с жестким стулом, и с некрашеным полом, и с прорехой на салфетке» ^[166].

Многие из московских трактиров существовали десятилетиями; некоторые из них вошли в городское предание.

Лучшие заведения были сосредоточены в Китай-городе и в Охотном ряду, где благодаря большой концентрации купечества уже в XVIII веке имелась устойчивая потребность в трактирных услугах. Оттуда, из восемнадцатого века, шла слава, к примеру, «Троицкого» трактира, еще в довоенное время (то есть до 1812 года) считавшегося эталоном русского трактирного хлебосольства. Во всяком случае, когда княгиня Екатерина Романовна Дашкова решила показать своим ирландским гостям сестрам Вильмот истинно русское заведение, они отправились именно в «Троицкий». «Как-то раз я посетовала княгине на то, что, бывая лишь в высшем свете, мы совершенно не видим многих национальных черт, хотелось бы познакомиться с жизнью купцов, кабатчиков, лавочников и прочих, — рассказывала Кэтрин Вильмот. — Княгиня очень живо отнеслась к моей просьбе и предложила нашей компании отобедать в самом знаменитом русском трактире. Все было совершенно в русском стиле, блюда — их было, думаю, не меньше сотни — только русской кухни. (...)»

Прислуживали нам сорок бородатых слуг, одетых в разноцветные кафтаны с засученными рукавами. Юноша играл на органе; он ежегодно платит хозяину трактира несколько сот рублей, и это лишь небольшая часть его заработка. После кофе и десерта для нашего развлечения привели цыган»^[167]. Это, конечно, был не рядовой обед, а подобие банкета, но некоторые характерные черты «Троицкого», безусловно, ухвачены верно.

В довоенной Москве прозвищем «Троицкого» было «большой самовар» — именно самовар (большой) был выставлен в трактирном окне в качестве рекламы. В послевоенное время трактир быстро восстановился и существовал потом еще долго, до конца 1860-х, а то и до 1870-х годов. Он и тогда числился одним из лучших, хотя хвалился только кухней — действительно исключительной, но никак не комфортом. Завсегдатаи помнили его грязноватым и всегда жарко натопленным. Из кухни вечно тянуло чадом, воздух был спертый, пахло псиной от наваленных всюду шуб (гардероба — или, как говорили тогда, раздевальни в заведении никогда не было). При этом цены «Троицкого», что называется, зашкаливали: обед здесь стоил не менее трех рублей, отдельные блюда — от полтинника до рубля, стакан кваса тянул на пять копеек серебром — все по средствам только китайгородским тузам, которые «Троицкий» очень любили и особенно часто приходили сюда для деловых переговоров, совершая порой за «парой чая» и шампанским («настоящим», по купеческой терминологии) многомиллионные сделки. Отличительной особенностью «Троицкого» было наличие, помимо «дворянского» (куда собственно дворянство почти не ходило), еще нескольких залов — немецкого, армянского и др. Простонародного же зала в «Троицком» вовсе не было.

В начале 1820-х годов по соседству с «Троицким» там же, на Ильинке, в доме Троицкого подворья открылся его филиал — Новотроицкий трактир, вскоре также завоевавший общемосковскую славу как лучший (наряду с новым тогда и недолго просуществовавшим заведением Шевалдышева на Никольской улице «за Иконным рядом»), «Охотники до хорошей икры, рыбы, ветчины и жирных поросят могут достойнейшим образом усладить здесь свой вкус, ибо в целой Москве нигде нельзя найти лучше сих вещей, как в означенных трактирах»^[168], — расписывал в 1826 году А. Кузнецов, автор «Альманаха для приезжающих в Москву и для самих жителей сей столицы».

Сохранялась слава Новотроицкого и во второй половине века, когда его владельцем сделался известный в то время ресторатор Лопашов. Особенно хороша здесь была постная кухня и блины, и в Великий пост и на Масленицу сюда обязательно наведывалась московская аристократия (хотя настоящие гастрономы отдавали пальму первенства блинам Воронинского (Егорова) трактира). Кормили в Новотроицком вообще отлично и порции были, как и положено, огромные.

К числу стариннейших в Москве относился и трактир на Варварке, принадлежавший до конца 1820-х годов Брызгалову, а впоследствии тоже Лопашову. Этот трактир, как он выглядел в 1870-х годах, описан у П. Д. Боборыкина в романе «Китай-город». Заведение имело два этажа. На первом была обширная «русская палата», вся, вплоть до последнего ножа и вилки, оформленная под русскую старину. На втором этаже влево от входа шла анфилада комнат, где бывал «мелкий торговый люд». В полуэтаже над трактиром «на вышке» было устроено несколько особых кабинетов-светелок — «сосновых» и «березовых». Все они были невелики по размерам и сплошь обшиты

деревом и обставлены резной мебелью в русском (так называемом «ропетовском» — по имени архитектора И. П. Ропета) стиле. Везде были развешаны клетки с соловьями. В общем зале стоял аквариум-садок со стерлядью; имелась угловая комната с камином, где собирались «воротилы старого Гостиного двора» и «пахло сотнями тысяч». Поскольку у Лопашова бывало много раскольников, здесь имелось отдельное помещение, где нельзя было курить.

Среди многих гастрономических изысков, которые предлагали гостям, особой статьей был великолепный чай, причем подавали его у Лопашева всегда по-старинному — в тонких фарфоровых чашках, в то время как в большинстве московских трактиров уже в 1830-х годах появилась мода на чай из стаканов на блюдечках.

Близкий к лопашовскому характер имел «Русский» трактир в Охотном ряду. Известен он был тоже с восемнадцатого века и просуществовал около ста лет — до 1880-х годов. В начале XIX столетия владельцем этого заведения был Воронин, от которого преемникам достались многие кулинарные рецепты, и прежде всего особых, наивкуснейших «воронинских блинов», ради которых в Москву специально приезжали на Масленицу из других городов.

Впоследствии трактир перешел к известному богачу Егорову, бывшему крестьянину Рыбинского уезда, деревни Потыпкиной. Сделавшись счастливым обладателем солидных капиталов, Егоров не забыл о своих односельчанах и в его трактире почти все — от приказчика до последнего полового — были из той же деревни.

Егоров был истовый старовер и потому в постные дни у него нельзя было получить ничего скоромного, ни за какие деньги. По субботам здесь непременно раздавали милостыню — всем без разбора, всякому, кто придет, и с утра у входа набивалась целая толпа нищих,

собиравших на храм монахов, старух-богаделок и прочей публики. Не терпя табачного дыма, хозяин отвел посетителям-курильщикам самую маленькую комнатку в дальнем углу верхнего этажа.

Внутри трактир Егорова выглядел так «окрашенные в серый цвет стены, деревянные лавки и столы, потемневшие от времени, бросающиеся в глаза пестрые цветные скатерти ярославского изделия; простота сервировки; деревянная расписная чашка с ложкою троцкого образца, наполненная клюквенным морсом, отпускаемым здесь бесплатно; по углам тяжелые киоты с образами в ценных серебряных ризах, с неугасимыми лампадами, а вверху — клетки с разными птицами... Все это вместе сообщало окружающей обстановке что-то мрачное, таинственное, производящее на свежего человека гнетущее впечатление. Такое впечатление еще более усиливалось при виде почтенных старцев какого-либо <старообрядческого> толка, мирно восседающих возле столов за парочкою-другою чайку с *угрызеньицем* или медком, ведущих шепотом, боязливо, едва внятно душеспасительные беседы с воздыханием на тему о суете сует и всяческой суете. А над всей этой картиной царила глубокая тишина, изредка прерываемая то хриплым боем часов, то отчаянной трелью птиц, заключенных в неволе... По части кухни вы здесь могли получить все, начиная от самого дешевого, в виде жаренного картофеля на постном масле и кончая изысканнейшею ухю из живой стерляди и налима»^[169]. Еще трактир славился чаем — его здесь предлагали десятки сортов. При всем том даже в 1860-х годах, когда Егоровский трактир считался обязательным туристическим объектом Москвы, он не относился к перворазрядным заведениям.

Среди китайгородских трактиров долго славилось заведение Бубнова в Ветошном переулке (в доме

Казанского подворья), расположенное, по сути, на задворках Торговых рядов. Уже в 1820-х годах путеводители рекомендовали его приезжающим в числе наилучших, но в московское предание ему суждено было войти все же не поварским искусством, а одной хитрой особенностью — беззаконным «сокровенным» подвальчиком, носившим негласное прозвище «бубновской дыры». Дело в том, что в бубновское заведение купцы чаще ходили не обедать и вершить дела, а банально пьянствовать. Причем это были не забулдыги какие-нибудь, а носители самых звучных в купеческом мире фамилий, состоятельные и во всех смыслах осанистые, стало быть, не заинтересованные в огласке.

Когда завелась эта специализация «Бубнова» — история умалчивает, но уже к середине века слава «бубновской дыры» полностью перекрыла известность самого трактира. От входа к Бубнову шло две лестницы — одна, для обычного посетителя, вела вверх, а другая, в 20 ступеней, для посвященных, — вниз, в подвал. Постороннему человеку в это святилище попасть было практически невозможно: охрана, блюдущая уединение «их степенств», была у Бубнова организована великолепно. Попадали в «дыру» строго по рекомендации кого-нибудь из завсегдатаев.

Там, внизу, была пара десятков маленьких и грязноватых, похожих на каюты, номеров, где подавалось только спиртное со скудной дежурной закуской. Ничего, что бы отвлекало от «процесса» — ни обедов, ни музыки, ни барышень. «Я знал нескольких бубновских „прихожан“, которые долгие годы выпивали там ежедневно по 50–60 рюмок вина и водки», — вспоминал И. А. Слонов^[170]. Особенно бубновские завсегдатаи гордились предоставляемой хозяином

скидкой — для ее получения нужно было потратить на водочные бдения не один год.

В середине века большую известность приобрел «Московский» трактир. Он находился в Охотном ряду, на углу Моховой улицы с Моисеевской площадью. Первым его содержателем в 1830-х годах был купец Печкин, и в то время заведение не имело специального названия. На вывеске значилось просто: «трактир», но прозвище у него было «Железный», потому что в первом этаже дома, в котором он размещался, находились лавки, торговавшие железом. Уже тогда, по причине близости к присутственным местам и университету, завсегдатаями «Железного» были студенты, чиновники и «адвокаты от Иверской», а также актеры расположенных поблизости Императорских театров, и в дальнейшем это превратилось в традицию.

«Печкина» воспевал его завсегдатай, известный актер и водевилист Д. Т. Ленский:

Ей-богу, никуда я больше не гожуся:
Таким лентяем стал, что сам себя стыжуся.
С утра до вечера занятие одно:
У Печкина сижу и пью себе вино.
Привычка вредная, без всякого сомненья,
Достойная вполне хулы и осужденья,
Но вы, мой добрый друг, по сердцу мне родня,
Так строго осуждать не станете меня... и т. д. ^[171]

В конце 1840-х годов владельцем заведения стал его бывший управляющий, печкинский приказчик Гурин, и при нем трактир получил новое название, неузнаваемо расцвел и разросся. Посетивший в середине столетия «Московский» Теофиль Готье писал: «В первой комнате находилось нечто вроде бара,

переполненного бутылками кюммеля (сладкой анисовой водки. — В. Б.), водки, коньяка и ликеров, икрой, селедками, анчоусами, копченой говядиной, оленьими и лосиными языками, сырами, маринадами, деликатесами, предназначенными разжечь аппетит перед обедом. У стены стоял инструмент вроде шарманки с системой труб и барабанов... Ручку ее крутил мужик, проигрывая какую-то мелодию из новой оперы. Многочисленные залы, где под потолками плавал дым от сигар и трубок, шли анфиладой, один за другим»^[172]. Угощали француза типичными московскими блюдами: щами, икрой, молочным поросенком и стерлядью с солеными огурцами и хреном.

«Машиной» «Московский» особенно славился. Она стояла в главном двусветном зале (всего в «Московском» было с десятков залов, не считая отдельных кабинетов) и, как уверял хозяин, стоила 40 тысяч рублей. Клиенту вместе с меню вручался список музыкальных «пиес», которые он мог выбрать для исполнения. Иногда здесь выступали и музыканты-исполнители.

Вскоре Гурин открыл второй трактир, неподалеку от первого, выходящий на Воскресенскую площадь, и назвал его «Большим Московским». Первое заведение было тогда переименовано в «Новомосковский трактир».

В 1870-х годах «Большой Московский» приобрел миллионер А. А. Карзинкин; здание было сломано и отстроено заново, и здесь открылась «Большая московская гостиница» с «Большим Московским трактиром», по-прежнему посещаемым китайгородским купечеством, чиновниками и студентами. Сохранялся, как традиция, и оркестрион, продолжавший греметь на радость клиентам популярнейшую песню «Снеги

белые» или духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».

Близость к нескольким театрам — Большому, Малому, Шеллапутинскому — сделала заведение Карзинкина популярным среди театральной публики, тем более что владелец завел здесь «ужины после театров», продолжавшиеся до трех часов ночи. Приезжали сюда и актеры, и музыканты, и писатели. Часто бывали Николай Рубинштейн и Чайковский в компании с музыкальным издателем П. Юргенсоном и музыкальным критиком Н. Кашкиным. Архитектор Илья Бондаренко, сам часто бывавший в «Большом Московском», поместил в своих воспоминаниях рассказ одного из трактирных старожилов: «П. И. Чайковский гостиницу нашу любил. Приедет, бывало, днем, так часа в три-четыре, — народу в это время нет, завтраки кончились, обеды не начинались, — сядет в уголок, велит подать бутылочку лафиту и сидит один, подопрет руку и все думает о чем-то... Добрый был человек, большой доброты»^[173].

Постоянным посетителем «Большого Московского» был и А. П. Чехов; он и останавливался здесь в гостинице, когда наезжал в Москву из Мелихова или Ялты.

Залы карзинкинского заведения были оформлены с некоторой художественностью: здесь был русский зал, выполненный по проекту известного архитектора И. П. Ропета — с резьбой в народном стиле и шитыми полотенцами вместо портьер, мраморный зал в стиле ампир и т. д.

Московские рестораны в численности сильно уступали трактирам и были более позднего происхождения. Появились они в Москве, видимо, незадолго до 1812 года (в Париже первые рестораны появились в 1770-х годах, а в Петербурге — в 1805 году)

и довольно долго существовали почти исключительно при гостиницах, содержавшихся иностранцами. По крайней мере, в 1828-м был всего один ресторан вне гостиниц — заведение Борегарда на Петровке в здании Петровского театра.

От трактира ресторан отличался в основном тем, что кухня здесь была по преимуществу французская (хотя иногда встречалась и русская), прислуживали не половые, а официанты во фраках (им, в отличие от половых, полагалось говорить «вы») или в какой-нибудь придуманной содержателем форме, порции были существенно меньше трактирных и музыка была только «живая» — чаще всего какой-нибудь хор (нередко женский) или ансамбль (тирольский, венгерский, цыганский). Во всем остальном — интерьерах, ценах, обслуживании — большого различия не было. По мере увеличения числа московских ресторанов они стали делиться на три категории. Как и в трактирах, в ресторанах блюда из меню в большинстве случаев среднему москвичу были малодоступны, но тоже широко применялась практика порционных завтраков и обедов, которые даже в первоклассных заведениях были относительно недороги. К примеру, в «Эрмитаже» на обед предлагали такие деликатесы:

Обед 2 р. 50 коп.

Крем Ортанс Рояль.

Консоме Марго. Пирожки.

Стерлядь брезе О шампань.

Филе миньон Массена.

Жаркое: Бекасы. Салат.

Цветная капуста, соус голландский.

Персики кардинал.

Обед 1 р. 50 коп.

Суп Ризото.

Консоме. Пирожки.

Судак Кольбер.

Жаркое: Телятина. Салат Латук.

Пунш Мексикен.

«Когда бывали свободные деньги, — вспоминал о ранней ресторанной жизни Москвы (1820-х) М. А. Дмитриев, — я обедал за пять рублей ассигнациями на Тверской у Ледюка. У него на эту цену был обед почти роскошный: отличный вкусом суп с прекрасными пирожками; рыба — иногда судак под соусом а ля тартар, иногда даже угри; соус — какое-нибудь филе из маленьких птичек; спаржа или другая зелень; жареное — рябчики, куропатки или чирок пирожное или желе из апельсинов или ананасов — и все это за пять рублей. Вино за особую цену; я иногда требовал стакан медаку Сен-Жюльен, что стоило рубль ассигнациями; половину выпивал чистого, а половину — с водою... В случае уменьшения финансов, обедал на Кузнецком мосту, у Кантю, за общим столом: это стоило два рубля ассигнациями. Тут была уже не французская, тонкая и избранная кухня, сытные щи или густой суп; ветчина и говядина и тому подобное. Но при большом недостатке денег я отправлялся к Оберу, где собирались по большей части иностранцы и обедали за одним столом с хозяином. У него стол был поделикатнее, чем у Кантю, но беднее, а стоил обед всего рубль ассигнациями»^[174].

Также пользовались в то время известностью и популярностью рестораны при гостиницах Будье, Дюссо и Шевалье.

Заведение Шевалье (позднее принадлежавшее Шеврие), находившееся при гостинице в Газетном (нынешнем Камергерском) переулке, состояло из небольшой залы и двух отдельных кабинетов. В общей зале, уставленной экзотическими растениями и превращенной в зимний сад, стоял один большой стол.

Блюда здесь сервировались на тончайшем фарфоре, приборы были серебряные; кухня, естественно, французская, порции, по московским меркам, микроскопические. Водку наливали в крошечные рюмочки, что тоже было не по-московски, и нельзя было получить ни черного хлеба, ни кваса, до которых большинство москвичей были большими охотниками. При всем том место это было очень дорогое и, как бы сейчас сказали, пафосное, почему и посещалось в основном, кроме постояльцев и приезжих иностранцев, московской «золотой молодежью». В 1860-х завсегдатаями здесь были граф Шереметев, Ланские, С. С. Перфильев, граф В. В. Гудович, Римский-Корсаков — владелец противоположного от ресторана здания (которое впоследствии было перестроено под театр, и, сменив нескольких «постояльцев», в конце концов оказалось занято Художественным театром).

Ко второй половине XIX века московский ресторан уже основательно обрусел, а ближе к концу столетия постепенно так сблизился по своему характеру с трактиром, что даже коренные москвичи часто путались в том, к какой категории отнести то или иное заведение.

Знаменитый «Эрмитаж» на Трубной площади, открывшийся в 1864 году при одноименной гостинице, с виду выглядел трактиром, то есть здесь служили половые, а не официанты, но назывался рестораном и потчевал французской кухней. Его совладельцем (в компании с московским купцом Я. А. Пеговым) и шеф-поваром был легендарный Л. Оливье, давший свое имя бессмертному салату и вообще поднявший кухню «Эрмитажа» на блистательную высоту. Позднее хозяином заведения недолго был Висконти, а вслед за ним Мариус.

«Эрмитаж» считался одним из лучших ресторанов не только в России, но и в Европе и был в Москве

невероятно популярен. Здесь собирались дворяне после выборов своего предводителя и сообща чествовали нового избранника. Неизменным ужином в «Эрмитаже» заканчивалось любое сколько-нибудь значимое научное заседание. Актеры отмечали тут удачные премьеры. Студенты регулярно праздновали Татьянин день. Здесь, в белой с золотом Колонной зале, куда попадали с Неглинной с особого подъезда и через коридор отдельных кабинетов, чествовали заезжих знаменитостей (в 1879 году — И. С. Тургенева) и отмечали общемосковские по значению юбилеи. Любопытно, что приглашенные на юбилей оплачивали праздничный обед из своего кармана: на верхней площадке лестницы перед входом в банкетный зал за столиком собирали деньги (рублей по семь) и вели соответствующие списки. Возле каждого прибора помещалось нарядно выполненное меню, украшенное вензелем или даже портретом юбиляра. Виновника торжества на банкет доставляли в неизменной четырехместной карете, встречали «бурными аплодисментами» и усаживали во главе громадного, покром (в виде буквы «п») расположенного стола. В начале обеда все молча ели; потом начинались задравные речи — непременно с «общественным» и «прогрессистским» уклоном. После каждой речи к юбиляру подходили поздравляющие, жали ему руку, целовали и чокались. После ужина следовала небольшая художественная часть с пением и декламацией, но и по ее окончании приглашенные долго не разъезжались: без конца разговаривали и пили чай или вино, заказывая их уже самостоятельно. Стоит прибавить, что в Москве всегда не только любили так, за пустопорожним разговором, засиживаться до рассвета, но и ничего никогда не начинали вовремя: вечно находился повод кого-нибудь ждать, и настоящий москвич никуда не приезжал к назначенному часу, а

опаздывал минимум на 15–20 минут, зная, что «без него не начнут».

На следующий день после состоявшегося в «Эрмитаже» торжества основные московские газеты непременно печатали отчет о нем, приводя изложение всех наиболее заметных речей.

Еще одним прославленным заведением, без которого рассказ о ресторанах Москвы будет неполным, был, конечно, «Славянский базар», располагавшийся с 1873 года на Никольской улице, также при одноименной гостинице. Его хозяином был А. А. Пороховщиков.

Ресторан был перестроен из трехэтажного торгового здания. Зал в нем был очень высокий, с окнами в несколько ярусов (между окнами второго этажа в простенках стояли бюсты русских писателей), и роскошный — украшенный чугунными колоннами, драпировками, фигурными дверями, лепниной, обоями под изразцы. В центре зала был бассейн с фонтаном. По стенам стояли темно-малиновые диваны со столиками побольше; в середине зала были столики поменьше. Конечно, на столиках глянцево-белоснежные, хрустящие накрахмаленные скатерти и салфетки. Прислуга носила голубые рубашки и казакины со сборками на талии. Отдельные кабинеты размещались на антресолях, а на самом верху была собственная читальня, в которую получали 20 газет.

Притом что «Славянский базар» был заведением дорогим, в нем бывали не только постояльцы гостиницы (среди которых каких только знаменитостей не было — и писатели, и певцы, и композиторы!), но и просто праздные туристы, и многие москвичи, особенно из числа постоянно работающих в Китай-городе и поблизости. Обеды здесь стоили от полутора рублей, но посетители знали одну уловку, позволявшую существенно экономить. По обычной для Москвы

традиции к водке здесь полагалась бесплатная закуска (но при обязательном условии, что водка берется: набирать одни закуски запрещалось). «В „Славянском базаре“ рюмка водки стоила 30 к. (в других ресторанах только 10 к.), — вспоминал Н. П. Розанов, — но зато можно было закусывать у буфета каждую рюмку с двух-трех тарелок, так что некоторые расчетливые люди, приходя в ресторан „Славянского базара“, ограничивались только тремя рюмками водки, вполне насыщаясь закусками и не чувствуя нужды в горячих блюдах»^[175].

Среди московских трактирных и ресторанных заведений всех уровней некоторые были особенно популярны у кутил и гуляк, как местных, московских, так и приезжавших в Первопрестольную «оттянуться» и пуститься во все тяжкие.

Современник рассказывал, что приволжские помещики, приехав с этими целями в Москву и «застав трактиры и рестораны уже закрытыми в виду позднего ночного времени, нередко ехали прямо к полицмейстеру, будили его, забирали с собой, и этот представитель власти, не меньше их любивший кутежи, приказывал открывать трактир или ресторан, особенно излюбленный компанией, распоряжался о доставлении цыган, и начинался кутеж, длившийся иногда с небольшими перерывами для необходимого отдыха несколько дней подряд»^[176].

Многодневные кутежи такого рода не были редкостью и в среде московского купечества, и среди «фартовых ребят» — то есть удачливых уголовников, да и, в общем, во всяком классе московского населения находились любители подобных развлечений, поэтому и заведений, предоставлявших им эту возможность, всегда было в достатке. Большая часть известных в истории девятнадцатого века московских разгульных

мест находилась на окраинах города или даже за городом, но встречались и расположенные в центральных его частях, в местах поукромнее.

Одним из наиболее ранних вошедших в московское предание зланных мест этого рода был прославившийся еще в восемнадцатом веке трактир, так и называвшийся «Разгуляй». Он дал свое имя и площади, на которой находился, на стыке Старой и Новой Басманных улиц у въезда в село Елохово. Здесь, вдалеке от Города и Замоскворечья, а значит, и от посторонних осуждающих глаз, еще в екатерининское время любили предаваться радостям жизни купцы и купчихи, рядские сидельцы и фабричные со всей Москвы.

Скромный домик «Разгуляя» заключал в себе «и кабаки, и харчевню, и притон, и постоялый двор, и ночлежный дом, и вертеп дешевого разврата»^[177], и редкая ночь здесь обходилась без далеко разносившихся звона бьющегося стекла, звуков брани и женского визга, возвещающих о разгоравшейся в «Разгуляе» очередной потасовке.

«Разгуляю» выпала своя роль в истории Великой чумы 1771 года. После того как на Суконном дворе, стоявшем вблизи от Большого Каменного моста, обнаружили заболевшие и прошел слух, что всех работавших там заберут в полицию, а оттуда больных отправят в больницы, а здоровых вышлют домой, рабочие разбежались во все стороны и рассеялись по городским окраинам. Значительная их часть осела именно в «Разгуляе». В здешней ночлежке больные соседствовали с заболевающими и здоровыми, и скоро тут стали умирать по десятку и более человек ежедневно. Началось повальное бегство ночлежников. Они распространялись по окрестностям и разносили с собой чуму. Скоро район Елохова, Басманной и

Немецкой слободы и Лефортова превратился в одно из самых зараженных мест Москвы. Обыватели в ужасе побросали свои дома и побежали из города куда глаза глядят; многие умирали в дороге. После того как эпидемия спала, многие из здешних домов оказались без владельцев, и городские власти стали передавать их территории новым хозяевам. А потом, месяцы спустя, кое-кто из здешних обывателей начал возвращаться и находить на месте своего дома чужое, незнакомое жилье и посторонних людей. Городские бытописцы говорили, что именно тогда поблизости от Елохова и появилась слобода «Переведеновка» (недалеко от нынешней Спартаковской площади), где в конце концов осели жертвы московской чумы.

Что же касается «Разгуляя», то он после чумы перешел в другие руки, был впоследствии надстроен вторым этажом и со временем превратился во вполне приличное заведение. На первом этаже новые владельцы устроили помещения для лавок, а на втором этаже так и продолжал существовать трактир. «За последнюю четверть века, — писал в 1890-х годах Д. А. Покровский, — им владел купец Куринский, заботившийся, независимо от своих выгод, и о сообщении своему заведению строго приличного, степенного характера и совершенно успевший в этом»^[178].

В 1830-х годах эстафету «Разгуляя» перехватило другое заведение, известное в московском предании под прозвищем «Волчья долина». Оно просуществовало до 1870-х годов. Собственно, «Волчьей долиной» назывался довольно большой участок берега Москвы-реки, от Большого Каменного моста и до нынешнего Соймоновского проезда. С 1839 года, когда возле Волхонки начали возведение храма Христа Спасителя и вокруг стройки вырос высокий деревянный забор, эта

местность, и без того довольно убогая, приобрела еще и зловещую репутацию. Здесь находились низкопробные «Каменновские» бани, принадлежавшие купцу Горячеву, а рядом в каких-то полуразрушенных лачугах теснились подозрительные кабаки и трактирчики. Вся эта местность с замусоренным, в то время еще без набережной, берегом и сомнительной публикой и носила название Волчьей долины, и в сумерки обыватель предпочитал сюда не соваться. «Говорили, что там происходили и грабежи, и убийства, причем трупы выбрасывались прямо под мост, в реку; поэтому переход по Каменному мосту в темные ночи для одинокого путника считался небезопасным»^[179]. (Впрочем, московские мосты вообще считались опасными местами.)

Вот здесь-то, возле самого Каменного моста, со стороны Кремля и уютился трактир «Волчья долина». Размещался он в небольшом, старинном, своеобразной архитектуры доме еще XVIII века и днем представлял из себя малопосещаемое, тихое и сонное заведение. В злчное место трактир превращался по вечерам, когда наезжали кутящие компании — и тогда только держись! Развеселившиеся купцы и плясали трепака, и били зеркала и посуду, и швырялись пустыми бутылками, и вымазывали горчицей половые, и обливали вином «мамзелек», всегда во множестве слетавшихся в «Волчью долину» «на огонек». Потом за все это щедро платилось целыми пачками ассигнаций. В заведении имелись бильярд и карточные столы, и вообще было шумно, дымно, весело — разгульно, одним словом.

С 1860-х знаменитое на всю Москву злчное место было на Немецкой улице, рядом с одноименным рынком. Называлось оно «Амстердам» и принадлежало Никите Герасимовичу Соколову. Этот трактир, как

свидетельствовал современник, «вмещал в себя всю, так сказать, практическую энциклопедию распутства, начиная с гомерического пьянства, продолжая самым гнусным, циническим, нагло откровенным развратом и кончая азартными картежными играми всех типов: играли и в трынку, и в три листика, и стуколку, и в банк, и для всякой игры и для каждого стола имелся вполне достаточный запас опытных шулеров, состоявших при трактире по особым поручениям, на полном хозяйском иждивении. По таким же поручениям и на том же иждивении состояло полчище разного достоинства девиц, начиная от приумывтых певичек и арфисток до обыкновенных уличных проституток, занимавших особое обширное помещение под вывеской мебелированных комнат в отдельном от трактира доме, но обязанных долгом службы все вечера и ночи проводить в залах „Амстердама“ на предмет уловления охотников до дешевой женской ласки — в свои сети, а бумажников их и кошельков — в сети антрепренера. Бесшабашное веселье, всенощная музыка и пение, не прекращающаяся картежная игра и никогда не запиравшиеся двери „Амстердама“ быстро создали ему такую популярность в среде московских гуляк и кутил, что любой из них считал за стыд подолгу не бывать в „Амстердаме“, не разделить времени с какой-нибудь из его прелестниц и не попробовать счастья в его беспардонной карточной игре»^[180]. О популярности заведения свидетельствует, в частности, то, что выражение «дама из „Амстердама“» одно время было в Москве нарицательным. Особенно ценимыми клиентами были в заведении приехавшие кутнуть купеческие сынки, по части обирания которых обитатели «Амстердама» были большими профессионалами. Нередко случалось так, что упившегося и до нитки промотавшегося (а фактически обобранного) клиента

отправляли с кем-нибудь из девиц «прокатиться по свежему воздуху». Добравшись до малолюдного места, его вываливали из саней или пролетки и оставляли лежать, полностью предоставив собственной участи.

Для простонародья на нижнем этаже «Амстердама» (или, как говорили в этой среде, «Стердамента») было свое отделение с тем же набором удовольствий, что и на «дворянской половине».

К 1890-м годам у «Амстердама» появился другой владелец, заведение отремонтировали, переименовали в ресторан — но былая популярность вместе с одиозной репутацией от него ушла.

Помимо «можайки» «Стердамента» у московского простонародья были и другие излюбленные значные места. Знамениты были: «Раек» на пересечении Немецкой и Вознесенской улиц, «Чепуха» за Крестовской заставой, «Золотой якорь» в Сокольниках, «Камушек» в Сыромятниках и др. Очень известный в Москве «вертепный трактиришка» имелся в 1860–1880-х годах неподалеку от Андроньевского монастыря рядом с Полуярославскими банями. Это был невзрачный четырехоконный каменный домишко с антресолями и деревянной террасой. Прозвище трактира было «Полуярославка», а еще — «Семицветный». (Семицветной называли Язу, текущую в те времена отходами красильного производства и другими промышленными стоками; заведение располагалось на самом ее берегу.)

Знарок трущобной Москвы С. Ф. Рыскин описывал «Полуярославку» так: «В большой, но невысокой антресольной комнате, освещавшейся настенниками с оплывшими от жары сальными четвериковыми свечами, за двумя десятками столов направо и налево от входа сидела и угощалась, кто чем, самая... разношерстая публика.

В густых облаках табачного дыма... виднелись и примазанные с прямыми проборами головы купеческих „молодцов“, и лоснившиеся и вспотевшие лысины степенных на вид пожилых подрядчиков, и целая радуга разноцветных ярких платков и косынок., постоянных посетительниц этого трущобного трактира.

Посередине комнаты, выстроившись двумя шеренгами, одна против другой, стояли песенники — безбородые и бородатые парни, смахивавшие на „придорожных добрых молодцов“, и пели „Вниз по матушке по Волге“, ударяя при этом, сообразно с темпом напева, ладонью о ладонь^[181]. Имелись здесь и кабинеты — небольшие каморки в одно окно, где помещались только покрытый салфеткой стол и диван с прорванной обивкой, сквозь которую торчали клочки мочала.

Особенностью заведения было множество посещавших его «тайных» проституток, которые не имели «желтого билета» и в обычное время работали где-нибудь горничными, модистками, белошвейками, прачками и чулочницами. Еще «Полуярославка» славилась своими музыкантами. Местные песельники не только пели, но и умели представлять народные интермедии — «Царь Максимилиан», «Стенька Разин» и скабрёзную «Фому да Ярему». В 1860-х годах в трактире играл на торбане (струнном щипковом инструменте, похожем одновременно и на гитару, и на украинскую бандуру) известный на всю округу музыкант Говорков — при этом и пел, и плясал, а позднее выступали в дуэте гармонист Кривецкий и гитарист Косецкий. Они знали и исполняли и народный репертуар, и романсы, и песни, и всякую похабщину, и частушки на злобу дня — о пожарах, банкротствах, международных событиях.

Из первоклассных заведений особой разгульной известностью пользовались те, что находились на

территории Петровского парка. Кутящие компании из состоятельных кругов — прежде всего купеческих — обычно начинали свой увеселительный маршрут с «Эрмитажа», трактира Тестова или «Московского», а потом уже, поздно вечером, обычно на лихачах, на тройках, ехали в Петровский парк и оставались в одном из тамошних ресторанов до самого утра. Специальностью петровских заведений было выступление цыганских хоров, но помимо цыган, певших не ежедневно, здесь постоянно выступали инструментальные ансамбли и женские хоры, причем последние славились своими легкими нравами, так что хористки были обычными участницами самых разнузданных купеческих кутежей.

Самый знаменитый из петровских заведений — «Яр», один из немногих старинных ресторанов, доживших до наших дней, начинался в традиционном качестве ресторана при гостинице. Сначала, в 1820-х годах, он находился на Кузнецком мосту (ближе к Петровке). Содержателем его был француз Тренкель Петрович Яр. Номер в гостинице Яра стоил от 5 до 15 рублей в сутки, а обед в ресторане — от трех до пяти рублей, то есть это было довольно дорогое заведение. В числе посетителей Яра был А. С. Пушкин, даже увековечивший его в стихотворении «Дорожные жалобы»:

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать...

Заглядывал к Яру, приезжая в Москву, и Василий Андреевич Жуковский. Обедывали тут и те, кого очень скоро потом стали называть «декабристами» — и в их

числе И. Д. Якушкин и М. И. Муравьев-Апостол. Но в целом заведение Яра поначалу ничем, по сравнению с другими ресторанами, не выделялось и особого коммерческого успеха не имело.

В 1836 году, когда только начинал функционировать Петровский парк, Яр открыл там филиал своего ресторанного заведения, и именно в филиале дела неожиданно пошли очень неплохо.

Еще через несколько лет гостиница на Кузнецком была продана, а семейство Яров целиком посвятило себя петровскому ресторану, в котором вскоре появился в качестве особой приманки — впервые в Парке — знаменитый цыганский хор Соколова, даже попавший в известную песню:

Соколовский хор у «Яра»
Был когда-то знаменит.
Соколовская гитара
До сих пор в ушах звучит.

Первоначально «Яр» представлял собой довольно неказистое деревянное здание с маленькой общей залой и совсем крошечными, похожими на стойла, отдельными кабинетами. При ресторане был садик, выходивший на шоссе, и в нем две небольшие беседки и простые качели. Наиболее активно посещался «Яр» летом, когда в парке было много гуляющих и дачников, а на зиму устанавливалось затишье и по целым дням в заведение никто не заглядывал. Под вечер же приезжала какая-нибудь кутящая компания, появлялись цыгане... — и дым столбом стоял до самого утра. «А вот в московском Яре бегает как на базаре. Кутит купец московский, нализамшись уж чертовски, а все выпить рад. Сам черт ему не брат, не препятствуй его ндраву, разнесет все на славу. А от него направо плывет, точно

пава, мамзель из иностранок, из тамбовских мещанок, поцелуй ему подносит да ласково так просит: распотешь свою мамзелю, разуважь на целую неделю, поднеси аглицкого элю. И купец потешает, мамзель угощает, а сам водку пьет, инда носом клюет, закусочку готовит да чертей по столам ловит! Дай бог всякому!» — изощрялись по этому поводу московские раешники (о том, кто такие раешники, вы узнаете из главы, посвященной московским гуляньям и прогулкам).

Еще оживленнее стало у «Яра» во второй половине века, когда помимо цыганского хора стали выступать венгерский, русский и малороссийский хоры, а также певички-шансонетки, на которых в 1870-х годах началась большая мода. К 1890-м годам было выстроено новое, в стиле «модерн», роскошное здание, за стеклами которого в феерическом вечернем свете виднелись круглые шапки подстриженных лавровых деревьев. К этому времени ресторан уже несколько раз сменил владельцев, но сохранил название «Яр», как хорошо раскрученный «бренд», и в конце оно уже воспринималось не как фамилия, а как название — от оврага, что ли. К этому времени изменилась в лучшую сторону и репутация ресторана.

На рубеже XIX и XX веков директором «Яра» был Судаков, и нравы заведения были в это время уже самые строгие. Известная певица Надежда Плевицкая, начинавшая в «Яре» свою эстрадную карьеру, вспоминала о Судакове: «Чинный и строгий купец, он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте: к „Яру“ московские купцы возят своих жен и „Боже сохрани, чтобы никакого неприличия не было“. Старый „Яр“ имел свои обычаи и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной, — рассказывала Плевицкая, — Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила

почтенного директора, что краснеть его не заставляю»^[182].

Другим популярным заведением в Парке был ресторан «Стрельна» на углу Стрельнинского переулка и Петербургского шоссе. Он привлекал главным образом своим на всю Москву знаменитым зимним садом с гротами и огромным бассейном, в котором плавали живые стерляди. Любую из этих рыб можно было заказать к ужину. Звездой «Стрельны» одно время была легендарная цыганская певица Варя Панина.

При ресторане «Мавритания», где тоже выступали цыгане, существовала еще и загородная гостиница, известная в основном тем, что в ней героиня романа Льва Толстого «Воскресенье» Катюша Маслова отравила своего клиента-купца. Располагалась «Мавритания» первоначально в ближайшем соседстве с Парком — на Новой Башиловке, а в начале двадцатого века переехала на Петербургское шоссе.

Если все перечисленные рестораны, даже в зените своей разгульной карьеры пользовались хотя и специфической, но все же сравнительно приличной репутацией, то ресторан «Эльдорадо» относился к числу таких, о которых в порядочном обществе не принято было упоминать. Тихий и скучный днем, как и все загородные заведения, поздно вечером «Эльдорадо» оживал и тогда весь сиял огнями иллюминации. К его крыльцу с наступлением темноты подлетали нарядные экипажи; слышны были звуки музыки, а порой доносились и пьяные крики. Поутру веселье кончалось. Сонные лакеи в помятых фраках мрачно собирали с земли разбитые бутылки, снимали сгоревшие бумажные фонарики, поправляли опрокинутые площадки на клумбах, устанавливали друг на друга столики, на них громоздили стулья; сторожа лениво шаркали метлами по опустевшим дорожкам.

Публика здесь бывала особенная, а о происходивших кутежах и дебошах рассказывали легенды. «Говорили о разбитой посуде на сотни и тысячи рублей, о мытье пола шампанским, о кидании неоткупоренных бутылок на улицу. Один такой эпизод, в котором участвовали носители известных в торговом мире фамилий, закончился у мирового судьи... Несмотря на выступление самого цвета московской адвокатуры, участникам пришлось некоторое время раздумывать о своих подвигах в безмолвии темничной камеры», — рассказывал современник ^[183].

Помимо трактиров и ресторанов еще с 1810-х годов в Москве стали появляться также так называемые «кухмистерские» и харчевни. Кухмистерских к концу века в Москве насчитывалось около сорока. Современники называли их еще столовыми. Здесь кормили порционно и по карте и имелись официанты. Кухмистерские широко практиковали абонементное обслуживание для постоянных клиентов. Обходилось это от шести с полтиной до восьми с полтиной в месяц. Разовый порционный обед мог стоить 30–40 копеек. В меню стояли довольно простые блюда — щи, борщ, перловый или вермишелевый суп, на второе — отбивные, жареное или тушеное мясо с картошкой, горошком или макаронами. На сладкое мог быть какой-нибудь пирог, подавали также чай и плохой кофе с молоком. Порции были по московским меркам небольшие: супу в порции всего полторы тарелки, мяса в супе один небольшой кусок и т. д.

Вместо швейцара при входе в кухмистерскую сидел мальчик, принимавший у посетителей пальто. На окнах стояли цветы и висели кисейные занавески. В углу тикали часы с маятником, стены украшали дешевенькие олеографии в рамках. Помещения были скромные, невысокие, душноватые; скатерти и салфетки не

отличались свежестью. Посуда была дешевая, фаянсовая, даже глиняная. На столах красовались графины с водой, солонка и баночка с горчицей. Каждому клиенту подавалась при заказе тарелка с хлебом — три ломтика черного, один белый.

Харчевню (иначе — «харчевенную лавочку») можно приравнять к современной столовой. Меню здесь было совсем небогатое — пара первых блюд: лапша и щи, пара вторых — каша и тушеная картошка с мясом или рыбой, чай, иногда пиво, кое-что из закуски; цены весьма «демократичные»: порция щей с мясом — пятак, без мяса — три копейки, порция гречневой или пшенной каши с маслом — три копейки. При скудости средств можно было спросить вчерашнюю кашу: ее к вечеру все равно выбрасывали и потому отдавали за три копейки без ограничений, сколько съешь. Таким образом, обед в харчевне обходился в несколько копеек — обычно от пятнадцати до тридцати. Рассчитаны такие заведения были на совсем небогатого и неприхотливого клиента из городских низов.

В конце 1830-х годов в Москве началось увлечение кондитерскими, продлившееся примерно до 1860-х годов. В более ранний период подобных заведений — преимущественно на Кузнецком мосту (из них известна, в частности, довоенная кондитерская Гуа на углу Кузнецкого моста, возле самой Неглинной) — были считанные единицы, но затем вдруг количество кондитерских увеличилось на порядок и посещение их вошло в моду. Сюда приходили после службы чиновники выпить кофе или рюмку ликеру (к ликерам тогда относили и коньяки), съесть порцию мороженого или пирожное («кондитерский пирожок») и почитать газеты, и такое времяпрепровождение считалось очень изысканным. Особенно славились в середине века своим шоколадом и пряниками два заведения Педотти, одно из которых находилось на Тверской близ Охотного

ряда в доме Кусовникова, а второе — на Кузнецком мосту. Содержателями кондитерских вообще были почти сплошь иностранцы. Появлялись кондитерские в Москве, конечно, и позднее, но в них уже почти не сидели — лишь покупали торты и пирожные.

Все перечисленные выше заведения, при всех оговорках, все-таки по преимуществу кормили клиентов, но в Москве всегда хватало и разного рода заведений, где посетителей главным образом — поили.

Питейные заведения, специализировавшиеся на различных сортах водки, встречались к середине XIX века почти на всех улицах. В них торговали откупщики, получавшие по конкурсу от государства право на продажу спиртного. Они покупали вино оптом и единовременно поставляли в казну определенные суммы денег, а потом продавали вино в розницу с надбавкой — это была прибыль. Над заведениями имелись вывески с надписью «Питейный дом. Продажа питий распивочно и на вынос». Соответственно, заведения именовались «распивочными». После реформы 1861 года распивочные стали называться винными лавками, но в обиходе всегда преобладало слово «кабак». Некоторые из кабачков имели названия — «Уединение», «Мечта», «Перепутье» или были известны среди постоянных клиентов под каким-нибудь прозвищем. (В Охотном ряду в начале века имелся кабачок, прозванный «Стеклянным», пристрастие к которому питала в основном полууголовная братия. Если в Москве случались значительные пропажи, то сыщики прямо направлялись туда и от завсегдатаев узнавали, где украденное.)

Находились распивочные, как правило, в переулках, в старых деревянных домах с закоптелыми, немытыми окнами. На видном месте в прокуренном и скудно обставленном помещении располагался прилавок, за ним стоял торговец, чаще всего ярославец, хотя

встречались и коренные москвичи. На прилавке имелся бочонок с водкой, рядом на тарелках — немудрящая закуска — кислая капуста, огурцы, черный хлеб, нарезанный кусками. Из бочки водка нацеживалась в «крючок» — цилиндрический медный сосуд-ковшик с загнутой крючком ручкой. Объем «крючка» соответствовал той или иной принятой мере — «шкалики» или «косушки» вмещали по 60 граммов водки, «штофы» были емкостью в литр с четвертью (были и «полштофы»), «четверти» — больше трех литров, «ведра» — в 12 с лишним литров. Последние брали на свадьбу, поминки и иные многолюдные события. Продавалась и водка в бутылках. «Полбутылка» «Петра Арсентьевича Смирнова у Чугунного моста» (№ 21, двойной очистки) стоила 20 копеек, половинка Шустовской — 12-15 копеек. Была водка еще дешевле — картофельная, та тянула на 8 копеек за «половинку». Имелись также «четвертинки» — в обиходе «мерзавчики».

Клиенты распивочных были только из городских низов и мелкого чиновничества.

Для чересчур разгулявшихся гостей существовали вышибалы — обычно из числа постоянных посетителей-пропойц, которым за услугу подносили лишний стаканчик. Вообще круг посетителей был постоянный, почему существовала система отпуска в долг. Правда, делалось это с разбором, и на видном месте в распивочной обычно красовался плакат: «Сегодня на деньги, а завтра в долг». Родственники пьяниц всегда знали, где разыскивать своих, и периодически являлись за ними в заведение и уводили домой, причем не обходилось, разумеется, и без скандалов и душераздирающих сцен. Отпускались напитки и с собой, как в таре заведения, так и в собственной, принесенной с собой.

Е. З. Баранов записал рассказ: «Тогда кабаки все по подвалам были. Ну, были и не в подвалах... Но только все больше по подвальчикам, в низочке. Ход с тротуара... Бывало, утром спустишься:

— А ну, хозяин, нацеди крючок.

А крючок — это такая посуда была, медная, казенная, мера — шкалик, и ручка такая была приделана к ней, на крючок смахивала. Ну и прозвали „крючок“. А требуешь крючок вот почему: ведь ежели скажешь: налей шкалик, — он и нальет в стаканчик, а в нем полного шкалика нет. Конечно, жульничество. Вот и требуешь крючок Нальет — ты и дернешь, и сейчас вареной печеночкой с соленым огурчиком закусишь... хруп-хруп... так-то славно. Капустка тут кисленькая, редечка, а то еще помидорчик с сольцей, с перчиком — объединение... Эх, было время, времечко золотое!.. Ну, выпьешь, посидишь, покуришь... А тут какого только народу нет. И наш брат мастеровщина, и торговцы, и чиновники, а всего больше босотни. Ну, посидишь, поговоришь, еще шкаличек дернешь. Да ведь так, бывало, надергаешься, что еле-еле душа в теле, не помнишь, как домой приползешь...»^[184]

Публику почище водкой поили в трактирах и ресторанах, где всегда невдалеке от входа была стойка буфетчика с соответствующим ассортиментом напитков и тоже с даровой, «казенной» закуской. Подходить к стойке в большинстве заведений было не принято: выбранную водку по требованию подавали на столик с куском ветчины и соленым огурцом.

Сухие вина в Москве девятнадцатого века (в отличие от Петербурга) не любили и не пили: предпочитали крепленые и сладкие (мADERу, малагу, сладкий херес). Приобретали их в специальных «ренсковых погребах», где можно было и посидеть за стаканом вина.

О коктейлях не имели никакого понятия. Когда — уже на заре следующего века — в городе открылось несколько «американских баров», в которых подавались такого рода напитки, это воспринималось как курьезная экзотика. Пить без нужды и на трезвую голову «ерша», как именовали в России любую смесь спиртных напитков, вообще считали извращением вкуса, и увлекались этим только сильно загулявшие купцы, причем только после того, как перепробуют уже весь имеющийся в заведении ассортимент напитков. Вот тогда-то, «смеха ради», заказывали «ерша» либо «медведя» — смесь водки и портера, либо «турку» — смесь ликера мараскин и коньяка с желтком сырого яйца, либо, наконец, «лампопо» — смесь пива с коньяком, сахаром и лимоном. «Лампопо» подавалось в жбане, куда на глазах у клиентов опускался горячий ржаной сухарь. Сухарь шипел и давал пар, и это, кажется, более всего и веселило купцов. В любом случае, для достижения наилучшего эффекта «ерша» пили залпом, а вовсе не тянули через соломинку.

К числу любимых в Москве напитков относилось пиво, причем в начале века оно также считалось питьем в основном «плебейским» и потреблялось преимущественно купечеством и городскими низами. Купечество предпочитало варить пиво домашним образом, а для публики попроще существовало (в основном в беднейших районах) некоторое количество «пивных», «портерных» и «полпивных», торговавших «полпивом» — домашней брагой. Качество московского пива в то время в основном было невысоким.

В 1860–1870-х годах открылось сразу несколько пивоваренных заводов (в Хамовниках, в Дорогомилове и других местностях) и это способствовало перелому в московском отношении к пиву. Сеть пивных стала расширяться, уровень их повысился и пиво стало все больше входить в моду в образованных слоях.

Вывеска у пивной обычно была красная с синим. Пиво в большинстве заведений подавали в бутылках и, пока клиент сидел за столом, бутылки не убирали, чтобы потом не возникало спора о количестве выпитого. В качестве закуски предлагались острые сыры, соленые сушки и сушеные бобы, а также, конечно, вареные раки. Были и заведения попроще, где пиво подавали в кружках. Над входом в пивную помещали цветной фонарь, а по сторонам входной двери было изображено по кружке с сильно пенящимся пивом и написано: «Кружка пять копеек».

Появились и пивные рестораны, к примеру «Альпийская роза» на Софийке (теперь Пушечной улице), находившаяся на месте нынешней гостиницы «Савой». Скромное помещение этого ресторана не отличалось изысканностью, даже полы были из простых крашеных досок, но на буфетной стойке красовался бочонок отличного пива, которое хозяин-немец выписывал из Риги и даже из Мюнхена. О появлении каждого нового бочонка здесь было принято извещать гостей гонгом. Естественно, что основными посетителями «Альпийской розы» были московские немцы. Любили это заведение также актеры Большого театра, а некоторые из них, как, например, баритон А. Барцал, даже имели здесь свой постоянный столик. Бывали здесь и студенты: цены в «Альпийской розе» считались демократичными.

Еще хорошим пивом славилась рестораны «Берлин» на Рождественке и заведение Билло на Большой Лубянке, на углу Варсонофьевского переулка.

Практически в любом съестном заведении Москвы (кроме распивочных) можно было заказать чай, который после 1830–1840-х годов, когда установились прямые торговые контакты с Китаем и цены на этот товар упали, сделав его общедоступным продуктом, превратился в стойкую общемосковскую привычку. До

этого в массе московского народонаселения пили в основном сбитень — очень горячий и сытный напиток из меда с пряностями. Сбитень продавался чуть ли не на каждом углу, и в специальных заведениях — сбитенных, и вразнос; к каждому купленному стаканчику предлагали и закуску — хотя бы куски калача, и многим москвичам начала столетия, особенно в зимнее время, порция сбитня была и обедом, и наилучшим способом согреться. Но с удешевлением чая сбитню пришлось потесниться.

Популярность чая в Москве вскоре стала таковой, что москвичей за глаза начали звать водохлебами, и было за что. Чай пили дома, в большинстве семей по нескольку раз в течение дня. Чай предлагали всем приходящим в гости и по делу (и отказываться не полагалось). Чаем торговали все трактиры. Чай «пили утром; пили днем; пили, чтобы согреться; пили, чтобы освежиться; пили, чтобы подкрепиться — по какой только причине не пили! Самовар следовал за самоваром, а то и сразу кипятили два самовара»^[185].

Средний московский «водохлеб» за одно чаепитие выпивал до 30–35 стаканов, а еще помимо основательных чаепитий были быстрые, на ходу, когда забежишь к соседям или куда по делу, но эти совсем формальные — по два-три стакана или чашки, не больше. В гостях считалось неприличным выпить меньше трех чашек. От четвертой гость мог отказаться, но не словами: в знак завершения чаепития он переворачивал чашку вверх дном на блюдечко и сверху клал на донышко оставшийся кусочек сахара (если пили из стаканов, то стакан укладывался на блюдечко боком). Это означало окончательное насыщение, и все хозяйские потчевания после этого прекращались. В среднем в московской семье в день выпивали до пятнадцати самоваров.

В Москве знали множество сортов чая, в основном китайского, в том числе и самого изысканного. Прейскурант «Магазина китайских чаев и иностранных вин Михайлы Кузьмина Карпышева, состоящего на Никольской улице, в доме Почетного гражданина Петра Глазунова» предлагал в 1835 году такие сорта: «ординарный полуторный в бумаге» по 6 руб. 50 коп. за фунт, «санинский средний» — по 7 руб., в эту же цену «зеленый жемчужный», «фамильный мы-юкон-дзи» по 7 руб. 50 коп. Из «средних цветочных» предлагались сорта: тян-ло-сы-лянзы — 8 руб. 50 коп., се-тай-мы-сулан — 9 руб., ю-чен-юань-нумы — 9 руб. 50 коп. Из «цветочных фамильных» — мы-юшан-дзи по 11 руб., ко-фа-чен-дзи — по 12 руб., те-лун-га-дзи — по 13 руб., мы-ю-кон-дзи по 14 руб. Еще дороже были «лянсины высокие ханские белые букетные» — от 18 до 25 рублей за фунт, а зеленый «златовидный» ку-ланг-фыньи обходился аж в 60 рублей за фунт^[186]. Были и сорта подешевле, но большинство москвичей, даже «из простых», предпочитали поднатужиться и купить хотя бы «четвертушку» хорошего чая, чем пить «незнамо что». Трудно было найти москвича, который бы не знал разницы не только между черным и зеленым или желтым чаем, но и не мог отличить «цветочный ароматический» от «императорского лянсина», или даже внутри каждого вида — какой-нибудь «ин-жень-серебряные иголки» от «лянсина-букета китайских роз».

Хотя в Москве существовало и производство фальсифицированного чая — в районе Рогожской слободы несколько дворов занимались сбором по трактирам спитой заварки, потом сушили ее на крышах, сдабривали травами, в основном иван-чаем, и снова продавали в заведения (это называлось «рогожские чайные плантации»), но спрос на их продукцию был

лишь в окраинных и придорожных местах, посетителями которых чаще бывали приезжие. Москвичу подсунуть подделку даже не пытались — себе дороже.

Женское население Москвы гоняло чаи преимущественно дома или в гостях; мужчины, помимо частых домашних чаепитий (раз пять в течение дня), еще столько же раз заходили для чаепития в трактиры.

Дома чай пили из самовара и долгое время только из чашек; в трактире самовара не полагалось. Воду здесь кипятили в большом металлическом баке с краном — «кубе», а клиенту подавалась «пара чаю» — два круглых, специально «трактирных» фаянсовых чайника — большой с крутым кипятком, маленький с очень крепкой заваркой. Примерно с тридцатых-сороковых годов в трактирах все чаще стали использовать стаканы с блюдечками. «Пара чая» везде стоила 5 копеек. Кипятку можно было брать сколько угодно; его немедленно приносили и доплаты за это не брали. К «паре» подавалось два больших куса сахара или две леденцовых конфетки «монпансье» и по желанию ломтик лимона. За дополнительный сахар или конфеты нужно было платить отдельно. В хороших заведениях предлагалось по многу сортов чая; иногда по несколько десятков.

Основных способов питья чая было два — «внакладку», когда сахар клался в чашку, и «вприкуску», когда во рту во время питья держали кусочек сахара, пока не растает. Истинные чаевники пили только «вприкуску», предпочитая колотый сахар. Его продавали в больших конусообразных, плотно спрессованных кусках («головах»), завернутых в специальную плотную синюю («сахарную») бумагу, и перед употреблением рубили на куски небольшим топориком. От куска в процессе чаепития откусывали зубами или щипчиками меньшие кусочки. Такой сахар

долго не таял, поэтому одного кусочка хватало на несколько чашек.

Пили «с полотенцем», поминутно вытирая пот: чай, по московской традиции, был очень горячий (как говорили в Москве, «чай должен быть крепким и горячим, как женский поцелуй», а любители питья «внакладку» прибавляли — «и сладким»), В простонародной среде из стакана или чашки наливали в блюдечко, держали его на весу всей растопыренной пятерней, дули, причмокивали, блаженно отдувались.

При всей популярности чая, специальных «чайных» в Москве было немного, вероятно, потому, что в них, в отличие от трактиров, спиртного не подавали (на право его продажи нужно было особое разрешение), а трактирный посетитель приступал к чаю в большинстве случаев только после водки и закуски или обеда. Иногда по особой договоренности с хозяином чайной и с известным риском водку все же удавалось получить, и в этом случае ее наливали в чайник, чтобы нельзя было понять, что пьют — «беленькую» или кипяток. Помимо собственно чая в чайных подавали пшеничный хлеб, яичницу и жареную колбасу с горчицей.

Среди известных в Москве в конце века чайных было посещаемое студентами заведение у Никитских ворот, а также несколько, стоявших возле деревянного моста в Богородском, перекинутого через Яузу, на границе между Лосиным островом и Сокольниками. В последних бывали главным образом гуляющие в Сокольниках.

Имелось и несколько ночных чайных, посетителями которых были извозчики-ночники, рабочие в ожидании смены, легкомысленные девицы низшего разбора. Музыки в таких местах не полагалось — посетители только беседовали между собой, и часто устраивалась небольшая ночлежка для относительно «чистой» публики, случайно и временно оставшейся без крова.

Ночевать здесь считалось приличнее, чем в ночлежном доме.

В конце столетия в Москве возникла сеть тесно связанных с чайными обычаями «водогреен». Они располагались в бойких местах, возле извозчичьих стоянок, постоянных дворов, в Китай-городе, где ими пользовались торгующие. «Водогрейни» торговали кипятком: чайник за копейку. Здесь же предлагали ситный и опять же жареную в сале колбасу с горчицей. Большая порция этого популярного блюда стоила пятачок.

Кофе в Москве (в отличие от Петербурга) любили не в пример меньше чая. В основном пили его в кондитерских и ресторанах. Специальных кофеен было немного и известностью из них пользовались считанные единицы. В предвоенной Москве модой у купеческой молодежи пользовалась греческая кофейня на Ильинке, где курили трубки и был ручной орган. В последних десятилетиях века знаменита была кофейня Филиппова на Тверской. Она считалась в Москве самой большой по площади и посещалась преимущественно любителями бегов. Здесь вечно «заседали барышники, коммивояжеры, беговые жучки и прочее мелкое, но приличное население»^[187], обсуждали заезды, спорили о родословных лошадей и пр.

Самой знаменитой, вошедшей в городское предание, была кофейня Бажанова, существовавшая в 1830–1840-х годах в конце Охотного ряда. Она находилась в одном доме с «Московским» («Железным») трактиром, в бельэтаже, и по причине близости к заведению Печкина некоторые московские старожилы запомнили ее именно как «кофейню Печкина», что, наверное, было обидно для содержателя — Ивана Артамоновича Бажанова. Бажанов, разорившийся в 1812 году купец, лишь после войны

занившийся ресторанным бизнесом, был известен в Москве еще и тем, что на его дочери был женат (очень несчастливо) популярнейший актер Павел Мочалов. Кроме кофе и чая у Бажанова можно было получить порционный завтрак и обед, который приносили из соседнего трактира (от Печкина). Еще здесь имелся бильярд и (как почти в любом съестном заведении Москвы) выписывали популярные газеты и журналы.

Вход в кофейню был с Воскресенской площади. По неширокой и крутой деревянной лестнице попадали в переднюю, где на проходе стояла пара столиков. Один из них постоянно был занят неким Калмыком — бывшим дворовым, отпущенником какой-то барыни, не имевшим ни кола ни двора, ни крыши над головой, получившим приют от содержателя кофейни и бывшим неизбежной принадлежностью заведения. «Сколько раз, — вспоминал А. И. Фет, — сидя в одной из соседних комнат, я слышал, как тот или другой посетитель, позвонив слугу, говорил: „дай Калмыку солянки“ или „дай Калмыку стакан чаю“»^[188]. Из передней через дверь прямо попадали в большой общий зал, а из него в бильярдную. Дверь вправо из передней вела в два небольших «кабинета», в которых постоянными посетителями были те, кто, собственно, и составил непреходящую известность кофейни — актеры, музыканты, писатели, университетские профессора, журналисты. Здесь сходились Михаил Щепкин, Мочалов, комический актер Василий Живокини, игравший «героев-любовников» Иван Самарин, поэт Аполлон Григорьев, журналист Михаил Катков, будущий революционер и потрясатель основ, а в то время начинающий философ Михаил Бакунин. Прославленный Герценом в «Былом и думах» Николай Кетчер вносил невероятную сумятицу одним своим появлением: он громко спорил, громко говорил, неистово

жестикулировал и гомерически хохотал, а потом садился за столик и заказывал порцию мороженого, а затем порцию ветчины — именно в такой последовательности.

Бывали в кофейной и сам Герцен, и историк Тимофей Грановский, и критик Виссарион Белинский, и многие другие. Иван Горбунов и Пров Садовский развлекали друзей своими забавными устными рассказами; актер Дмитрий Ленский, известный как автор водевилей, в частности классического «Льва Гурыча Синичкина», сыпал остротами и эпиграммами совершенно нецензурного свойства, но невероятно смешными. По углам робко жались начинающие литераторы, актеры и студенты и благоговейно внимали «великим». «Общество здесь делилось на две половины: одна половина постоянно говорила и сыпала остротами, а другая половина слушала и смеялась, — язвил А. Н. Островский. — Замечательно еще то, что в эту кофейную постоянно ходили одни и те же люди, остроты были постоянно одни и те же, и им постоянно смеялись»^[189].

«Беседы и суждения, всегда более или менее горячие, переходившие в нескончаемый спор, становились еще более оживленными или, пожалуй, шумными, при выходе новой книжки ежемесячного журнала, при каком-нибудь газетном фельетоне (субботнем в „Северной пчеле“) или по поводу новой пьесы, появления известных сценических субъектов, например, итальянских оперных певцов, представлений Рашели, приезда из Петербурга трагика Каратыгина и балерины Андреяновой», — вспоминал А. Д. Галахов^[190].

Какой кофе подавали у Бажанова — никто не запомнил, может быть, и неважный, но уникальная интеллектуальная атмосфера этого места осталась легендой своего времени.

В 1858 году в эту же кофейню А. Ф. Писемский привел героя своего романа «Тысяча душ». «Увы! Он там нашел все изменившимся: другая была мебель, другая прислуга, даже комнаты были иначе расположены и не только что актеров и литераторов не было, но вообще публика отсутствовала: в первой комнате он не нашел никого, а из другой виднелись какие-то двое мрачных господ, игравших на бильярде»^[191].

Глава седьмая. ТОРГОВЛЯ

Город. — Никольская. — Выменивание икон. — Амбары. — Ильинка. — Москворецкая улица. — Упрямый осетр. — Ряды. — Ножевая линия. — Глаголи. — Рядские недра. — Квасная лавка. — Жизнь Рядов. — Зазывание. — Обмер и обвес. — «Одиннадцатая заповедь». — «Дешевка». — Конец старых Рядов. — Кузнецкий Мост. — «Русский магазин». — Лавки. — Заборные книжки. — Премии. — Цены. — Распространение торговли. — Вывески. — Булочники. — В. П. Чичкин. — Разносчики. — Выкликание

Долгое время основная московская торговля была сосредоточена в стенах Китай-города, между Красной площадью и улицами Никольской, Ильинкой и Варваркой. Китай-город для москвичей был просто «Городом». На московском языке «пойти в Город», «поехать в Город» означало отправиться именно в эту часть Москвы, прежде всего за покупками, и выражение это немало смущало приезжих. Когда какой-нибудь неискушенный петербургский или провинциальный гость слышал из уст москвича, живущего где-нибудь на Тверской: «Я завтра еду в Город; не надо ли вам что-нибудь?», он с изумлением спрашивал: «А вы разве не в городе живете?»

Город не только сам концентрировал в себе оптовую и розничную торговлю всем на свете, но и распространял свое влияние на близлежащие территории — Охотный ряд с его огромным рынком, Лубянку с фруктовой ярмаркой и Балчуг.

Главные магистрали Города — Никольская и Ильинка на протяжении большей части столетия были застроены невзрачными и невысокими, двух-трехэтажными домами с лавками в нижнем этаже, и лишь в последние десятилетия века стали перестраиваться, обретая свой современный вид.

Специализация у улиц была разная.

На Никольской улице возле ограды Казанского собора и в соседних подворотнях предлагали свой товар продавцы лубочных картин. Имелось здесь также несколько лавок с игрушками, но в основном была сосредоточена торговля церковными вещами, парчовыми тканями и иконами (отчего даже расположенный здесь Спасский монастырь именовался Заиконоспасским). Кстати, иконы в России девятнадцатого века не покупали, а меняли — на деньги. Иного и не могло быть в отношении столь специфического и священного предмета. Полагалось говорить продавцу: «Я хочу выменять икону» и после обсуждения вопроса цены не давать деньги ему в руки, а класть рядом на прилавок. Никольские магазины принадлежали епархиальному ведомству и в видах получения наибольшей прибыли продавались здесь и сторонние товары, вплоть до скобяных и галантерейных.

Здесь же, на Никольской, ближе к Лубянской площади, на протяжении всего XIX столетия сосредоточивались русские книжные лавки — целый Никольский книжный рынок. Вне Никольской даже во второй половине века книги почти не продавались. Исключение составлял лишь магазин Базунова, располагавшийся на Страстном бульваре и торговавший в основном научными книгами по всем возможным отраслям знаний, да книжные развалы на решетках университета, где преобладали тоже научные издания, и Александровского сада — романы и народные книжки.

На Никольской же лавки специализировались. Анисимов торговал юридической литературой, Кольчугин — букинистической, Ферапонтов — церковной и богословской и т. д. Ближе к концу века здесь же располагалось торговое заведение знаменитого И. Д. Сытина.

В Богословском переулке рядом и напротив греческого Никольского монастыря находились лавки торговцев тульскими стальными изделиями и самоварами.

Своеобразие Никольской придавали стены и ворота монастырей, церковные маковки, часовни, нарядное светло-голубое здание Синодальной типографии с лепниной и часами, а также древние Владимирские ворота Китай-города. «С Лубянской площади вид вглубь Никольской один из самых оригинальных, дающих вам и чувство исторической старины, и впечатления новой городской бойкости»^[192], — писал П. Д. Боборыкин.

Переулки между Никольской и Ильинкой были облюбованы оптовиками, работавшими с обувью, ситцем, мехами, портновским прикладом, головными уборами и великим множеством других товаров. Здесь находились многочисленные торговые подворья — Казанское, Пантелеевское, Шуйское, Чижовское и др. — прямоугольные в плане постройки с обширными внутренними дворами, кругом обстроенными лавками и «амбарами» (тогдашний синоним слова «офис»). Во двор, где с утра до вечера сутились грузчики и упаковщики, вели с улиц и переулков просторные арки, сквозь которые то и дело въезжали и выезжали подводы с товаром.

«Амбары» могли состоять из оптового склада или выставки товаров и конторы. Если в амбаре не только заключались сделки, но и велась оптовая торговля, то длинное, похожее на сарай помещение такого «амбара»

было заставлено ящиками и коробками с товаром. Работа шла непрерывная. «Возчики подвозили к задней двери товары со двора, разгружали телеги и уезжали, — вспоминала купеческая дочь Екатерина Андреева-Бальмонт, — ящики вносили, ставили на пол, тут же их раскрывали, приказчики принимали по счету, сортировали и ставили по местам. Мальчики — их было два — стояли навтыжку, выслушивали приказания приказчиков принести или подать то-то и то-то»^[193]. Лестница вела на второй этаж, где имелись еще один склад (обычно для более дорогого ассортимента) и помещение конторы. Здесь за конторками на высоких табуретах сидели бухгалтер и конторщики и без устали строчили что-то в огромных книгах и то и дело щелкали костяшками счетов. На стенах в рамках под стеклом висели дипломы и похвальные листы, полученные фирмой за казенные поставки. За перегородкой размещался кабинет хозяина — с темным старинным образом и неугасимой лампадой, воз-жженной в день открытия. Здесь велись и все деловые переговоры. Где-нибудь в углу кипел тоже неугасимый огромный самовар красной меди и специально приставленный молодец следил за тем, чтобы все исправно снабжались чаем.

В богатейших фирмах-производителях — к примеру у Морозовых — в торговом отделении на полках лежали лишь образцы товара и дела вершились чаще не единоличным хозяином, а коллективным правлением.

На Ильинке располагалось несколько роскошных розничных лавок с мехами, с серебряными изделиями, с дорогими тканями — от тонкого сукна до китайского шелка и различных сортов парчи. Широко известен в Москве был здешний музыкальный магазин, сменивший за время своего существования несколько владельцев (в Москве было всего два музыкальных магазина;

второй на Кузнецком мосту). Основной специальностью Ильинки была «торговля деньгами»: уже в начале века здесь находилось множество меняльных лавок, а с 1870-х годов один за другим стали открываться банки и отделения европейских банкирских домов. Славилась Ильинка также Старым Гостиным двором, почти не изменившим своего наружного облика до настоящего времени, — разве что заделанные ныне арки в старину были открыты и вели во дворы. На ночь их перегораживали заслонами из досок и спускали с цепей огромных и злых овчарок И в Гостином дворе, и в построенных в 1865 году Теплых рядах также было множество «амбаров».

На Ильинке же, на углу с Рыбным переулком, находилась с 1830-х годов купеческая биржа. Сперва для нее было выстроено небольшое здание, не вмещавшее всех клиентов, и основная часть мелких сделок производилась не внутри, а снаружи, на прилегающей площади, где вечно толпились маклеры и биржевые игроки. В 1870-х годах было возведено новое здание Биржи (сохранилось до нашего времени), рассчитанное на тысячу с лишним человек.

Переулки между Ильинкой и Варваркой были отданы опять-таки оптовикам, торговавшим чаем, хлопком, оловом и медью, бакалеей, сахаром, чаем, кожей, — чем угодно. На Варварке оптовики предлагали бакалею, пряности и воск.

Пространство между Варваркой и Москвой-рекой, Зарядье, «Городом» уже не считалось. Здесь был свой мир и собственный образ жизни, хотя торговля отчасти выплескивалась и в Зарядье — не в те переулки, которые вились между крепостной китагородской стеной и Варваркой, а на Москорецкую улицу, ведущую от храма Василия Блаженного к Москворецкому мосту (там сейчас находится Васильевский спуск), где сосредоточивалась торговля воском и изделиями из

него (в основном свечами), шорными изделиями и семенами, а также медом. На правой стороне Москворецкой улицы, если идти от Василия Блаженного к реке, стояло очень старое здание Ямского приказа, знаменитое во второй половине века своими обитателями-кимряками. Это были сапожники-кустари, ютившиеся по несколько человек в одной комнате и составлявшие друг другу жесточайшую конкуренцию. «Когда в „Ямской приказ“ являлся покупатель, на него со всех сторон набрасывались продавцы и тянули покупателя каждый к себе, расхваливая свой товар»^[194]. Обувь здесь была самая дешевая в Москве и потому пользовалась неизменным спросом.

На набережной, с внешней стороны Китайгородской стены, находились хлебные лабазы, а возле Москворецкого моста, ближе к Кремлю, долгое время размещались живорыбные садки, где можно было купить стерлядей, осетров и другую рыбу.

Большим любителем хорошей рыбы был известный актер Михаил Семенович Щепкин, но в средствах он был ограничен и часто, придя к садкам и приглядев осетра, находил цену слишком высокой и вынужден бывал отказаться от покупки. Уходя, он давал состоящему при садке мальчишке полтинник, обещая дать второй, если тот прибежит с известием, что выбранный осетр сию минуту заснул (на снулую рыбу цена, естественно, тотчас снижалась). Однако мальчишка всё не прибегал, и Щепкин время от времени отправлялся навестить своего избранника. Осетр был бодр и весел и жизнерадостно пошевеливал хвостом. «У-у, подлец!» — бормотал ему Щепкин и не солоно хлебавши шел восвояси.

Вдоль Кремлевской стены от Спасских ворот к реке стояли многочисленные палатки с теплыми вязаными вещами — носками, платками, варежками, фуфайками,

которые здесь же и вязались бабами-торговками. За рекой на Балчуге располагались склады чугунных и железных изделий, которые привозились в Москву по воде. Здесь имели свои конторы и склады все металлозаводчики, велась оптовая торговля и работало много скобяных лавок, цены в которых были ниже общемосковских. На Балчуге также торговали шорным товаром — дуги, бубенцы, колокольцы, всевозможная сбруя и с набором, и без набора.

Наконец, в дальней части «города», с внутренней стороны китайгородской стены, между Никольской и Варваркой располагался очень колоритный Толкучий рынок, о котором речь пойдет впереди. Таким образом, как писала современница, Китай-город действительно был «настоящим городом промышленности, торговли, суетности и крику»^[195].

«Весь „город“ сводится к лавке, складу, амбару, то есть конторе, банкам с биржей и к трактиру, где за продолжительными закусками и распиванием чая обрабатывают дела и внутренние, и международные. Род утренней биржи устроился в огромном ресторане Славянского базара, куда собираются биржевые маклеры, иностранцы, контористы и приезжие, привлекаемые биржевой игрой, там идут сделки и переговоры от двенадцати до третьего часа»^[196].

Сердце Города было на Красной площади, где стояли Ряды, построенные еще при Иване Грозном в XVI веке и с тех пор многократно горевшие и перестраивавшиеся. Собственно, было несколько зданий Рядов — Верхние, выходившие фасадом на Красную площадь, Средние, занимавшие пространство между Ильинкой и Варваркой, Нижние — от Варварки и почти вплоть до реки, и Теплые — на Ильинке. К Рядам также относился и расположенный на Ильинке Старый Гостиный двор. В Нижних рядах шла по преимуществу

оптовая торговля кожей и главными фигурами там были Бахрушины, Нюнины и Жемочкины.

В Теплых рядах оптом и в розницу торговали богатые мануфактуристы, шелковые фабриканты, ювелиры и меховщики. Смешанный, оптово-розничный характер носила торговля и в Гостином дворе. В Верхних и Средних рядах был сосредоточен только розничный торг. Впрочем, когда в Москве говорили «Ряды», то имели в виду здание на Красной площади.

После пожара 1812 года были утверждены новые планы фасадов Рядов, а владельцам разрешили возобновить лавки за собственный счет. Фасад был роскошный, двухэтажный, в классическом стиле, с двумя боковыми выступами (по-московски «глаголями»), колонными портиками, аркадами и нарядным куполом в центральной части. Великолепия прибавилось, когда в 1818 году перед Рядами установили памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Возле памятника большую часть девятнадцатого столетия функционировала московская «пирожная биржа», то есть попросту торговали пирожками вразнос, а вдоль остальной части фасада, «в столбах» (то есть под колоннадой портика), располагались разносчики с ягодами, яблоками, апельсинами и всевозможными сладостями. Неподалеку, у Лобного места, долго была стоянка сбитенщиков.

Что же касается тыльной стороны и внутреннего пространства Рядов, то благодаря «индивидуальному строительству» здесь царил полный хаос. «Ряды вышли кривые, один выше, другой ниже. Лавки тоже были все разные: одна больше, другая меньше, одна светлей, другая темней...»^[197] В итоге больше всего помещения напоминали современный вьетнамский рынок или оптовку. Были участки крытые, с лавочками-комнатушками по обе стороны коридора, были вообще

без крыши: ряд плотно пристроенных друг к другу каменных лавок и открытый проход в центре. При взгляде сверху Ряды выглядели скопищем кое-как прилепленных друг к другу разновысоких и порядком обшарпанных сараюшек.

На каждой лавке поперек висели вывески. Иногда вместо лавок были пристроенные к стене шкафы. Дверцы лавок и шкафов служили витринами. Проходы были заставлены и завалены мешками, коробками, бочками и бочонками, какими-то пыльными бутылками, кипами мануфактуры, скамейками. Каменные плиты полов были выбиты за многие годы тысячами ног и изобиловали трещинами и ямами. Посредине прохода была устроена сточная канава, забранная досками. Она предназначалась для стока дождевой воды и использовалась продавцами и отчасти клиентами в качестве отхожего места для «малых нужд» (других уборных в здании не существовало), поэтому к запаху сырости и слежавшихся тканей в Рядах прибавлялось и вполне явственное зловоние.

Ввиду пожарной опасности Ряды не отапливались и не имели искусственного освещения. Свет падал через окна фасадов и стеклянные крыши. Крыши эти во многих местах были разбиты, потому в Рядах регулярно шел дождь и падал снег. «Это громадные погреба или пещеры, на открытом воздухе: сырость в них, особенно зимой и осенью, по словам даже невзыскательных торговцев наших, „убийственная“ ...Представьте себе только сырую, мокрую погоду или снег: везде течет, метет, завывает, везде сырость, лужи или сугробы снега, которые кучами располагаются в рядах, за исключением тех, которые несколько скрыты, — там вместо этого вода, спускаясь по трубам, выступает на сточных местах или вместе со снегом пробивает в худые рамы — отовсюду сырость, из воздуха, из стен,

сверху, снизу...»^[198] Холод стоял такой, что в чернильницах замерзали чернила и чтобы написать счет или подписать вексель, следовало нацепить на перо чернильного «снега» и дыханием его растопить. Первое, что делали даже летом пришедшие на работу торговцы, это натягивали на себя полушубки и теплые сапоги. «Для сугреву» в лавках целыми днями держали кипящие самовары и без конца пили чай и сбитень, а когда становилось невмоготу, приказчики затевали возню или принимались перебрасываться мячиком, наскоро слепленным из оберточной бумаги. Из-за слабого освещения почти невозможно было толком рассмотреть покупку. Во всяком случае, цвета в полутьме сливались и чтобы увидеть их, следовало вынести предмет на дневной свет. Торговали до наступления сумерек, поэтому зимой всякая жизнь в Рядах прекращалась уже в три часа дня.

Усугубляла удручающее впечатление от этого места еще и невероятно запутанная планировка. Все пространство Рядов было вдоль и поперек пересечено проходами-линиями. Линий было очень много — только продольных семь, притом разной длины, потому что с тыльной стороны здание имело неправильную форму. Каждая линия, собственно, и была «рядом», специализирующимся на том или ином виде товаров. Были ряды Шляпный, Шелковый, Узенький, Широкий, Серебряный, Медный, Скобяной, Иконный, Кружевной, Лапотный, Суровский, Суконный, Квасной и др. Названия были старинные и далеко не всегда соответствовали специализации девятнадцатого века. В Иконном ряду, кроме икон, продавали кружева, в Зеркальном — ткани и даже кожи и т. д.

Уже к 1840-м годам многие ряды заметно обветшали, а впоследствии пришли и в аварийное состояние, так что по решению городских властей часть

из них вывели из оборота, закрыв тамошние лавки и перегородив проходы рогатками. Естественно, эти тупики еще больше усугубили пространственную сумятицу. Свободно ориентироваться в Рядах могли только их постоянные обитатели, а покупатели — даже из коренных москвичей — часто плутали, особенно если нужно было купить что-нибудь нестандартное.

Наиболее популярна была Ножевая линия, располагавшаяся вдоль лицевого фасада Рядов параллельно Красной площади. Несмотря на зловещее название, здесь продавали «модный товар», — прежде всего всевозможную галантерею: отделки, кружево, перчатки, галстуки, а также обувь, шляпы, шали и платки и пр. Здесь было больше всего покупателей и особенно покупательниц. Вдоль галереи с одной стороны располагались лавки, а с другой — так называемые «овечки» — стеклянные шкафчики и ящики, поставленные на прилавке, в которых торговали всякой мелочью: пуговицами, лентами, нитками, иглами, тесьмой, венчальными свечами, чулками, веерами, носовыми платками и т. п. Покупательницами там были в основном московские и заезжие купчихи, а приказчики имели особый лоск: носили «не русские» долгополые сюртуки, картузы и сапоги бутылками, как в других линиях, а одевались «по-модному» — в брюки навыпуск и котелки, а по праздникам иногда носили даже цилиндры.

Хорошо посещались также рядские «Глаголи» (все, что имело отношение к Рядам, называлось «рядским»), В том из них, что выходил на Ильинку, продавали фрукты, сласти, гастрономические и бакалейные товары. В Никольском были писчебумажные лавки.

Чем глубже находились ряды, тем меньше они посещались и тем более экзотические и странные товары можно было там приобрести. В. Н. Харузина, увлекавшаяся в подростковом возрасте

коллекционированием монет и камней (это было в конце 1870-х годов), рассказывала о своих поисках в Рядах этих сокровищ: «Помню — это было где-то в задних рядах, тесных, сырых и темных, скудно освещавшихся через потолок, с водосточными канавами посередине неровно мощенного пола, покрытыми вдлинь досками, но, несмотря на это прикрытие, издававшими зловоние, — эти крошечные лавки, или скорее прилавки, и открытые углы, где старьевщики продавали всевозможный мелкий хлам и лом, на который, надо диву даваться, находились, очевидно, покупатели. Помню, камни в необработанных кусках лежали у них обыкновенно в дерюжных мешках на полу и какое удовольствие испытывала я, запуская в такой мешок руки и вытаскивая из него кусок малахита, или ляпис-лазури, или гнездо топаза и аметиста. Походы наши сюда в эти темные малоизвестные закоулки давали мне всегда много радости и оживлявшего интереса»^[199].

Единственным по-настоящему бойким местом в недрах Рядов была знаменитая на всю Москву квасная лавка. Находилась она в Сундучном ряду, в который короче всего было попасть через вход с Никольской улицы. Сперва нужно было пройти мимо сундучных лавок, оступаясь на покато́м полу, натываясь на ящики, доски и рогожи и полюбовавшись мимоходом на разнообразные сундуки, укладки и баулы — и обтянутые кожей, и расписанные розанами и цветными завитушками, и отделанные в технике «мороз по жести», и лишь потом достигнуть самой лавки — ее было видно издалека благодаря маячившим перед входом разносчикам. Здесь постоянно работали пирожники, ветчинники и рыбники, а разносчики фруктов время от времени заходили с улицы и тоже предлагали свой товар.

Сама лавка была просторная, почти квадратная, о двух растворах (дверях), сквозь которые проникал дневной свет, без окон, с голыми закопченными стенами — лишь напротив входа висела большая икона. Обстановку составляли деревянные окрашенные под орех лавки и столы, все липкие от многолетних квасных испарений. Вниз, в погреб, существовавший, вероятно, еще со времен Ивана Грозного, вела деревянная лестница, по которой резво бегали вверх-вниз служившие в лавке молодцы — все в синих и черных кафтанах-сибирках, бойкие и расторопные.

Специальностью лавки были великолепные квасы — и ржаной, очень пенистый и шипучий, называвшийся в старину «кислые щи», и фруктово-ягодные, готовившиеся по собственным секретным рецептам, — вишневый, малиновый, черносмородиновый, грушевый, яблочный.

Приняв заказ, молодец нырял в погреб и через минуту выносил оттуда запотевший кувшин с ледяным квасом — мутноватым, бьющим в нос. Другой приказчик за прилавком наливал его из кувшина в высокие кружки-стаканчики — внизу пузатенькие и с вывернутыми краями. Отпускали квас и в бутылках в 5 и 10 копеек.

«Вспоминаю, с каким наслаждением в жаркие летние дни пивал я в этой лавке холодный черносмородиновый или вишневый квас и заедал его горячими пирогами с вареньем, которые продавал по пятаку за пару ходивший тут же пирожник, державший их в ящике, покрытом тюфячком. В квасной лавке также торговали разносчики провесной белорыбицей, вареной белугой, ветчиной, жареным поросенком, мозгами, сосисками, почками и другими съестными припасами, смотря по тому, был ли постный или скоромный день»^[200], — рассказывал П. И. Щукин.

Помимо пирогов с вареньем предлагались и мясные, с ливером, творогом, с кашей, с капустой и яйцами, с яблоками и грибами. Стоили они, как и почти везде по Москве, 5 копеек пара. «Пирожник, когда его подзывали, подбегал с лотком, покрытым сверху сальной холстиною наподобие потника, и открывал ее перед вашими глазами, с ловкостью жонглера извлекая оттуда один пирожок за другим, смотря по требованию, и никогда не ошибаясь в начинке»^[201]. Многие пирожники и ветчинники работали возле этой лавки всю жизнь — по 30–40 лет. Ветчинники стояли у входа в белых фартуках, с засученными рукавами, и до того пропитывались со временем запахом своего товара, что при одном их виде начинали течь слюнки. «Бывало, пройдешь мимо его, — вспоминал И. А. Свиньин, — и скажешь ему:

— Ветчины на 15 копеек, да получше.

— Слушаю, батюшка, пожалуйста, — ответит он, показывая на один из свободных столов.

— Только, смотри, не жирной, а полюбовинестее (любвиной называлось чистое, хорошее мясо без жиру, жил и костей. — В. Б.), — добавишь ему.

— Слушаю, слушаю, батюшка! Вот от этого местечка... Как прикажете, с сайкою и уксусом?

— Сайку и уксус отдельно, — ответишь ему почти на ходу и спешишь занять место»^[202].

Заказать можно было и на 5, и на 10 копеек. Получив заказ, ветчинник наклонялся над доской, служившей ему столом, отрезал порцию закуски, если требовалось, присаливал, перекладывал на кусок толстой серой оберточной бумаги и подавал вместе с деревянной палочкой, заменявшей вилку, куском сайки и пузырьком «уксуса».

Клиентами квасной были и рядские приказчики, и покупатели (даже дамы), и прохожие, оказавшиеся в

Городе по делам или безделью, и городское купечество, и воспитанники расположенного поблизости духовного училища, и — особенно часто — студенты университета, прибегавшие в Сундучный ряд в перерывах между лекциями. «Студенты обыкновенно ограничивали свои требования чаще всего одними пирожками, как продуктом наиболее дешевым, в редких случаях поднимались до жареной колбасы, а в область остальных продуктов простирали свои вожделения только при особых счастливых обстоятельствах»^[203].

Вообще Ряды представляли собой собственный оригинальный мирок живший хлопотливой и самобытной жизнью. Здесь все было «рядское» — традиции, понятия, жаргон, обращение. Были собственные (в каждом ряду свои) рядские иконы, у которых осенью служили ежегодный молебен, соревнуясь с соседними рядами в набожности и количестве приглашенных святынь. Приходили Чудовские певчие, привозили реликвии из храмов, для них устраивали места, убранные коврами, зеленым и красным сукном. Лавки украшали можжевельником, проходы посыпали песком. После молебна певчие пели концерт и собирали массу публики. После этого купцы ехали отмечать начало сезона к Яру или в «Стрельну».

Имелись собственные пожарные. Притом что двери в Рядах были тонкие и ветхие, ночные покражи случались здесь редко. Зато пожары были частым явлением и специально для торговых зданий в Городской части имелась пешая пожарная команда. Бочки с водой везли на себе сами пожарные, по три человека на бочку, и то ли из-за тяжелой поклажи, то ли по нерасторопности, вечно прибывали с опозданием. Эта же команда пожарных отряжалась дежурить в Большом и Малом театрах.

Были собственные игры — в холод в Рядах перетягивали канат, играли «в ледки», то есть гоняли ногами большой кусок льда; в минуты «простоя» купцы, одетые в лисьи шубы, сидя возле своих лавок, играли друг с другом в шашки — и нередко доигрывали партию уже после окончания рабочего дня.

В Рядах постоянно толклось много юродивых и нищих — спившихся купцов, изгнанных со службы приказчиков и чиновников. Некоторых купцы заставляли петь и плясать возле своих лавок, как это показано на известной картине И. М. Прянишникова «Шутники». Приказчики и мальчики, коротая время ожидания покупателей, как умели, развлекались: прикалывали на спину нищим карикатуры и надписи; на бойких местах подбрасывали коробки с живыми мышами и монетки на ниточке.

То и дело приходили бродячие музыканты увеселять купцов музыкой; на Новый год появлялись целые группы военных музыкантов, которые сперва «урезали» какой-нибудь марш, потом поздравляли купцов с Новым годом и получали на водку.

Целыми днями по Рядам сновали поставщики («давальцы»), ломовики, конторщики, артельщики, мастеровые, сторожа. Всю эту публику обслуживали разносчики и «рядские повара». Большинство торгующих, как и вообще Городское купечество, на протяжении дня в трактиры не ходили и кормились на своем рабочем месте с лотков. Даже какое-нибудь «высокостепенство», у которого в лавке или амбаре товаров было на сотни тысяч и в десяти акционерных обществах он был заправилкой и председателем, — и тот обедал всухомятку, покупая у разносчика провизию и запивая ее множеством стаканов чая вприкуску.

Разносчики носили пироги и сайки, вареные яйца, баранки, рыбу, квас. «Рядские повара» тащили в одной руке завернутый в одеяло большой глиняный горшок со

щами, в другой корзину с мисками, деревянными ложками и черным хлебом. Миска щей с мясом стоила 10 копеек. Обьедки в мисках торговцы ставили на пол, их подьедали бегавшие по рядам бродячие собаки. Потом возвращался повар, обтирал миски полотенцем и шел торговать дальше.

Ходила баба с горячими блинчиками с сахаром в лукошке; много лет был торговец сухарями, писклявым голосом выкликавший: «Сахарные сухари!» В лотках, поставленных на голову, носили горячую ветчину, сосиски и телятину, выкрикивая при этом во весь голос: «Кипит телятина!» Некоторые из «носящих» даже на фоне собраний выделялись колоритностью. «Вдруг неожиданно пролетит мимо вас, как угорелый, верзило с большим лотком на голове и отрывисто прокричит что-то во все горло, — писал П. Вистенгоф. — Я, сколько ни бился, никак не мог разобрать, что эти люди кричат, а как товар покрыт сальною тряпкою, то отгадать не было никакой возможности... От купцов уже узнал я, что это ноги бараньи, или „свежа-баранина“, разносимая для их завтрака»^[204].

У каждого из рядских разносчиков были свой круг постоянных клиентов и собственное прозвище — Петух, Козел, Барин, под которым его и знали в Рядах.

В свою очередь, и торговцы «прекрасно знали своих покупателей, учитывали, что они видывали гастрономические виды, и потому имевшийся у них товар был всегда самого наивысшего качества. В продовольственный лоток для Города из сотни каких-нибудь жирных рыб выбиралась одна, наилучшая, после тщательной дегустации. Окорока и колбасы беспощадно браковались. Ягоды отсортировывались поштучно»^[205].

Собственные разносчики имелись и у рядских кошек, без которых не существовала ни одна лавка.

Кошки жили в Рядах постоянно и обслуживались особыми кошачьими «давальцами» по «абонементу», обходившемуся хозяину лавки в 60–75 копеек в месяц. Ранним утром каждый из кошачьих кормильцев обходил свой участок. Они «молча подходили к запертым лавкам, спускали с головы лоток, резали на нем мелкими порциями мясо, завертывали в бумажку и подсовывали под затвор запертой лавки»^[206].

Была в рядах и собственная собачья стая. Днем псов держали на цепи в подземелье, а на ночь сторожа выпускали их вольно побегать по линиям.

Что касается самой купли-продажи, то полувосточный характер торговли, присущий вообще Первопрестольной, являл себя здесь во всех особенностях и подробностях.

Здесь принято было безбожно завышать цены — раза в три-четыре, и чтобы сбить их, покупателю полагалось торговаться — громко, азартно, до хрипоты. Кроме того, здесь процветало так называемое зазывание (или «зазыв») и выкликание товара, что, учитывая царившую в Рядах темень, в общем-то было и естественно. (Другое дело, что зазывали и во всякой другой московской лавке — на городской ли улице или на базаре, где со светом было все в порядке.)

При входе в лавку стоял молодец или мальчик постарше — зазывала, — и как только появлялся потенциальный покупатель, выкрикивал ему прямо в ухо: «Пожалуйте, почтенный господин, что покупаете-с?» — и далее начиналось весьма громкое перечисление всего ассортимента лавки: «Бумазеи, коленкору, ситцу, миткалю вам не надо ли?»

При значительном ассортименте товаров могло возникнуть ощущение, что приказчик шпарит наизусть пространный прейскурант или рекламное объявление, подобное, например, такому: «В Охотном ряду, против

церкви Св. Георгия, что возле Университета, в лавке Комарова продаются: полученный вновь сочный швейцарский сыр по 2 р., особенный 230 к., полушвейцаский 120 к., одесский 60 к., русский 44 к., бульон 65 к. фун., варенье сахарное ягодное 120 к., фруктовое и американская малина, длинный крыжовник, морошка, барбарис 150 к., шпанская белая и черная вишня 180, сиропы разного сорта, желе, трюфель польский томленный в красном вине 4 р. бутылка, вполовину 2 р., в прованском масле 250 к., маринованные яблоки большая банка 3 р., соленье: вишня, крыжовник, смородина, огурчики, пикули, лимоны, отборные белые грибки, рыжички, грузди, нежинские огурчики в бочонках, каперсы, оливки в банках, в 1 р. и 2 р., на вес 125 к., петербургский зеленый сыр 70 к. ф., французский уксус, горчица, лимонный сок, чай, сахар, кофе, чернослив французский, кишмиш, мелкая и крупная коринка, американские орехи, прочая провизия по сходной цене»^[207].

Громче всех, до ора, кричали почему-то в шляпном ряду; менее других назойливы были торговцы Ножевой линии. Здесь сновало множество хорошеньких женщин, беспрестанно рывшихся в поисках разных мелочей в расположенных вдоль стены шкафчиках, и приказчики, заглядываясь на них, не рвали голосовые связки, а выкликали вполне человеческим голосом.

При всей раздражающей какофонии зазываний многие москвичи ор даже одобряли, считая весьма удобным. «Часто придешь в „город“ и во множестве покупок забудешь необходимую вещь, — рассуждал П. Вистенгоф, — но вдруг слышишь номенклатуру предметов: булавки, шпильки, иголки, помада, духи, вакса, сахар, чай, обстоятельные лакейские шинели, фундаментальные шляпы, солидные браслеты,

нарядные сапоги, сентиментальные колечки, помочи, перчатки, восхитительная кисея, презентабельные ленты, субтильные хомуты, интересные пике, немецкие платки бар-де-суа, бархат веницейской, разные авантажные галантерейные вещи, сыр голландский, мыло казанское, а в заключение: — пожалуйста-с, почтенный, у нас покупали. Смотришь, иногда в поименованных предметах попадется вещь, о которой совсем забыл, но которая необходима»^[208].

Зазывалы буквально прохода не давали публике и только что не насильно тащили в свои лавки: «К нам пожалуйста! У нас наилучший товар! В другом месте такого не найдете!»

Потенциальный покупатель определялся моментально, с первого же взгляда. «Покажется, например, господин с покосившимися каблуками или в не первой свежести обуви, как эти шавки бросятся на него и начинают кричать: „Господин! Пожалуйста, пожалуйста! У нас есть хорошая обувь: сапоги, штиблеты, дешевые, три рубля пара, пожалуйста!..“ Посетитель не знает, как быть и куда укрыться, а толпа крикунов преследует его по пятам»^[209].

Если покупатель приостанавливался, его хватали за рукав и довольно бесцеремонно втаскивали внутрь. А там уже в дело вступали опытные приказчики и тем или иным путем «впаривали» товар, иной раз вовсе ненужный. Считалось, хотя это и не всегда соответствовало действительности, что хороший приказчик клиента без покупки из лавки нипочем не выпустит.

«Окруженный говорливой, нападающей с предложениями оравой, ошеломленный криками, прохожий... или сдается и позволяет себя силой, за рукав втащить в первый ближайший „раствор“, или отступает, иногда опрометью кидаясь в сторону.

В магазине, все еще находясь под впечатлением шума, разговоров, криков, энергичных подталкиваний и вежливых поклонов, покупатель входил в примерочную комнату, где его засыпали всевозможными предметами одежды. Если требовались брюки, то их притаскивали дюжинами, если нужно было пальто, то добрый десяток их появлялся на специально стоявших для этой цели манекенах, если предполагалась к выбору „костюмная тройка“, то на прилавке вырастала их целая гора. Не успевшего не только оглядеться, но... просто прийти в себя посетителя начинали энергично рядить в различные костюмы. Заставляли при этом обязательно поднимать руки и приседать для уверенности в том, что „под мышками пиджачок не жмет“, „брючки в шагу не треснут“ и т. п. Уйти без покупки из такого заведения было почти невозможно, убеждали умело, доказывали всяческие выгоды сделки, играли на самолюбии убеждаемого и вместе с тем заламывали невероятные цены, снижая их медленно, измором. Добравшись наконец домой и разглядывая купленную вещь, покупатель чесал в затылке, приходя к определенному выводу, что выбрал все плохое и заплатил втридорога»^[210].

Особенно часто жертвами подобной торговой системы становились провинциалы, на которых нахрапистость московских приказчиков действовала парализующе, но нередко под торговым напором сдавались и искушенные, ко всему привычные москвичи. Актриса Софья Гиацинтова вспоминала, как ее бабушка, выезжая за покупками «в Город», непременно возвращалась со словами: «— Лилинька, посмотри, какую я себе гадость купила! Непременно поезжай и поменяй! — взывала она к маме»^[211].

Если же покупатель, несмотря на все усилия, оказывался крепким орешком и не реагировал на

зазывания или даже, увлеченный в лавку, отказывался что-либо покупать, он должен был быть готов к тому, что его бесцеремонно вытолкают вон и еще выкрикнут в спину, при общем хохоте приказчиков, что-нибудь обидное:

— Тоже, покупатель! Небось в кармане один только сирота-полтинник и есть!

Или:

— Да что с ним заниматься? Разве не видите, что он вшей ищет!

Скупых и слишком строптивых покупателей московские торговцы не любили, со временем запоминали в лицо и при случае потом старались как-нибудь проучить, к примеру, «краснили» или «зеленили». Какую бы материю ни захотел приобрести покупатель — синюю, серую, черную, — во всех лавках перед ним выкладывали только зеленое или красное, уверяя, что это и есть как раз то, что он ищет. Покупатель пытался возражать, но его самым вежливым образом, в характерной приказчицкой манере, уверяли, что он ошибается, а товар самый что ни на есть подходящий, и снова выкладывали на прилавок красное, красное, красное...

Главным достоинством старинного московского продавца считалось умение как можно более ловко обвести покупателя вокруг пальца: сбыть за дорогую цену дешевую вещь, обмерить, обвесить, заставить купить ненужное и т. п., что становится вполне понятным и естественным в обстановке «первоначального накопления капитала», о которой речь шла выше (в пятой главе).

«Петербургский купец ни за что вас не обмеряет и не продаст гнилого товара: он только возьмет полтора процента на рубль; москвич непременно сделает при продаже уступку копеек в десять ниже

фабричной цены, но зато всегда обмеряет и сбудет покупателю гнилье и брак»^[212].

«В торговле без обмана и нельзя... — говаривали московские торговцы. — Душа не стерпит! От одного — грош, от другого — два, так и идет сыздавна. Продавца у нас пять лет делу учат, чтобы все происхождение знал»^[213].

Не случайно именно в Москве возникли выражения «обмишулить» и «вставить очки». Творцами их были, несомненно, московские приказчики. Кстати, серьезные, сложившиеся купцы позволяли себе обман гораздо реже — берегли репутацию.

Способов обмера и обвеса московский торговец знал великое множество. К примеру, придерживая весы пальцами, лили (керосин, масло) выше и быстрее, чем требовалось, так что весы прыгали и нужный вес выпадал быстрее. Отмеряли «с походом» — заведомо больше просимого и на весах же отрезали «лишнее», потом отпускали весы, они подпрыгивали, показывая перевес, после чего продавец добавлял еще кусочек и ловко завертывал покупку. Итоговый вес всегда оказывался меньше, чем требовалось покупателю. Делали «радугу», ловко заменяя один сорт товара другим. Обвешивали «втемную» — закрывая тем или иным способом шкалу весов или ее часть, «на бумажку» — кладя толстую обертку, отнимающую у небольшой порции товара значительную часть веса, «на бросок» — когда товар бросали с силой и, не давая весам выровняться, снимали и отдавали покупателю, «на пушку» — отвлекая внимание покупателя и подбавляя небольшую гирьку, «на нахальство» — сразу ставя заведомо неверные гири, и т. д., и т. п. И все это проделывалось легко, красиво, буквально с цирковой ловкостью.

Самое интересное, что и покупатель знал, что его постараются обмануть, и даже примерно представлял себе, как, и со своей стороны старался этого никак не допустить. В Москве шутили, что всякий покупатель должен помнить «одиннадцатую заповедь» (в Священном Писании заповедей, как известно, десять) — «Не зевай!». В итоге банальная торговая операция превращалась в общегородскую игру.

«Отправляясь в город почти с таким же чувством, как охотник-стрелок в дупелиное болото, — в большинстве это были дамы, — покупатель знал, что его ожидает, и готовился к борьбе. (...) Продавец и покупатель, сойдясь, сцеплялись, один хвалил, а другой корил покупаемую вещь, оба кричали, божились и лгали друг другу, покупатель сразу понижая наполовину, а то и больше, запрошенную цену; если приказчик не очень податливо уступал, то покупатель делал вид, что уходит, и это повторялось по несколько раз»^[214].

Нередко бывало, что торговец выскакивал из лавки и догонял уже уходящего покупателя, продолжая по дороге сбавлять цену:

— Эй, господин, пожалуйста! Уступлю!..

— Какая ваша последняя цена?

— Верите ли, себе в убыток! Семьдесят!

— Ладно, ладно, все вы торгуете в убыток! Пятьдесят!

— Извольте, только для вас!

«Обломать» такого закаленного москвича было непросто. Даже когда вещь была куплена, такой клиент внимательно следил за тем, например, как отмеривалась материя, не кладутся ли в «дутик» (бумажный кулек) гнилые фрукты и т. п. «Вся эта азиатская процедура, эта борьба, пускания в ход хитростей, совершенно ненужные в торговле, считалась в „Городе“ обеими сторонами обязательной; это был

обоюдный спорт и удачная, дешево сделанная покупка служила потом в семье покупателя и перед знакомыми интереснейшей темой разговоров, ею хвастались, так же как приказчик тем, что поддел не знающего цен покупателя или подсунул ему никуда не годную вещь»^[215].

Ну и, собственно, в первом случае покупкой пользовались долго и с удовольствием, а во втором «зачастую случалось, что у штиблет отваливались подошвы, а у сапог голенища, но зато, как говорится, хоть на час, да вскачь»^[216].

Раз в году, после Пасхи, на Фоминой неделе, прямо с понедельника, в Рядах, прежде всего в Ножевой линии, начиная с 1808 года ежегодно устраивались распродажи или, говоря по-московски, «дешевки». Полностью это называлось «продажа по дешевым ценам». Слово «распродажа» тоже имелось в московском торговом лексиконе, но обозначало оно полную ликвидацию торгового заведения. Хотя реализовывали во время «дешевки» обычно то, что без нее пришлось бы просто выкинуть, само это волшебное слово — «дешевка» привлекало в Ряды огромное число разнородных покупателей. Модные красавицы, купчихи, чиновницы, приезжие помещицы, попадьи и горничные, в равной степени охваченные азартом, устраивали форменные свалки из-за кусков никуда не годного канифаса, траченных молью шалей, гнилых перчаток или обрывков лент, ссорились, сварились, толкались и чуть не дрались. В толпе шныряли карманники; великосветские проказники, пользуясь толчеей, вовсю резвились, к примеру, сшивая наскоро на живую нитку атласную шубу какой-нибудь спесивой барыни с заплатанным салопом кухарки или прикалывая кому-нибудь на спине булавкой клочок бумаги с дурацкой надписью. Хватало и жуликов всех мастей: кое-кто

являлся на распродажу, заранее подшив к изнанке пальто крючки и карманы. Поскольку очумевшие от шума купцы, молча орудуя аршинами и машинально отсчитывая сдачу, не в состоянии были за всем уследить, ловкачи, делая вид, что рассматривают товар, прикарманивали и разные мелочи, и даже целые отрезы.

Потом на Кузнецком Мосту можно было видеть хорошо одетых людей и даже дам, подметающих метлами улицу. Это и были пойманные на «дешевках» воришки.

Купленный на «дешевке» товар никогда не обменивался и обратно не принимался, а в некоторых лавках во второй половине века практиковались еще и «американские распродажи», во время которых покупателю предлагалось буквально «невесть что», наудачу. В этих случаях товар — обычно галантерею или книги — продавали в наглухо заклеенном пакете из плотной бумаги.

Постепенно «дешевки» вошли в обиход и других, не Городских лавок и магазинов. Их устраивали для привлечения клиентов также парикмахерские, фотографии, некоторые трактиры, то есть мероприятие это все больше стало напоминать современные рекламные акции. Впрочем, «серьезные», уважающие себя магазины «дешевков» не признавали в принципе и во многих из них на Фоминой неделе появлялись плакатики: «Торговля только по фиксированным ценам».

Уже в 1840-х годах Московская дума признала состояние Рядов аварийным, но разговоры о том, что хорошо бы обветшалые здания снести и построить новые, велись потом с обычной московской неспешностью многие годы, так что приступили к строительству только в 1880-х годах.

Все это время рядское купечество продолжало торговать на прежних местах и в глубине души надеялось, что «пронесет», как и раньше проносило.

В 1888 году вдоль Кремлевской стены были поставлены временные железные павильоны — «балаганы», в которые и стали переводить рядскую торговлю на все время строительства нового здания. Рядских купцов пригласили переезжать на новые места, но, естественно, никто из торгующих даже не почесался, — все надеялись на русское авось и продолжали торговать, как прежде. В итоге несколько недель, отведенных на переезд, прошли в бездействии.

Когда сроки вышли, власти решили пойти на крайние меры. В Ряды явилась полиция и стала заколачивать проходы и двери в Ножевую линию и в ряды Узенький и Широкий. Среди купечества началась паника. Отрядили парламентаров, отправились на переговоры с обер-полицмейстером и генерал-губернатором, но ни к чему положительному эти переговоры не привели. «Некоторые купцы считали себя разоренными и сошли с ума... Один из них, некто Солодовников, зарезался в Архангельском соборе...»^[217] — рассказывал современник.

На другой день купцы из заколоченных трех рядов начали спешно перебираться в железные балаганы. Таким же точно образом через три недели выселили следующие три ряда, а затем и остальные.

И Ряды были снесены. На их месте к 1894 году были построены новые, совершенно роскошные, не Ряды, а дворец торговли. Они «представляют выдающееся сооружение в ряду торговых помещений не только России, но и Западной Европы, — писал П. Д. Боборыкин. — Площадь, занимаемая этими рядами, не считая Восточного проезда между Никольской и Ильинкой, разделившего ряды на два

отдельных участка, равняется 5431 кв. саж. Здания главного участка, занимаемая площадь в 5164 кв. саж., находятся под непрерывной крышей и представляют собой продольные пассажи между Ильинкой и Никольской, и три поперечные пассажа между Красной площадью и Ветошным рядом. Всего в Верхних рядах, в подвальном и трех наружных этажах, расположено свыше 1000 магазинов, не считая помещений в антресолях второго этажа — палаток, составляющих еще в сущности целый этаж. Кроме торговых помещений, в рядах имеется несколько больших залов, могущих служить для различных целей, и одна огромная, в два света, вышиною в 6 саж, зала над главным входом, вмещающая более 1000 человек; две другие расположены по сторонам первой... Вся постройка рядов обошлась около 6 млн. рублей»^[218].

Вместо рядских икон над каждым входом поместили мозаичные иконы, подобранные по программе, предложенной известным московским историком И. Е. Забелиным. Над центральным входом с Красной площади — «Спас Нерукотворный», по обе стороны от него семейный образ династии Романовых «Знамение» и «Александр Невский» (небесный покровитель трех царей — Александров — из этой династии). Со стороны Никольской в центре «Николай Чудотворец», с Ильинки, естественно, — «Илья Пророк», а с Ветошного переулка всего один образ — молитвенника русской земли Сергия Радонежского. Любопытно, что все эти иконы благополучно дожили до наших дней: после революции их не сбили, а только замазали, и лет двадцать назад обнаружили и раскрыли во время ремонта.

Вслед за Верхними рядами таким же порядком обновили Средние и Нижние.

В новых Рядах все было хорошо: электрическое освещение, водопровод, канализация, обширные и

прекрасно оборудованные складские помещения, мраморные полы, чугунные решетки, даже фонтан. Вот только аренда лавки, которая в старых Рядах обходилась в 800–1000 рублей в год, в новом здании подскочила до 5–6 тысяч (а вместе с арендной платой поднялись и цены). В итоге далеко не все прежние торговцы смогли себе позволить вернуться в новостройку, да и покупатель, которого раньше в Рядах привлекала именно дешевизна, подался в другие места.

К концу века на территории Китай-города розничная торговля сохранилась только в новых Верхних рядах, которые теперь во всем походили на любой другой из множества существовавших к тому времени в Москве пассажей. Все остальные рядские здания плотно заняли оптовики. Никольская и Ильинка поскучнели, притихли, и только на Вербу, когда под Кремлевской стеной шумел весенний базар, в Город стало возвращаться ненадолго его былое оживление.

«Исчезновение рядов, этих темных и кривых закоулков с лавочками, с залежавшимся товаром, со старьевщиками, сбитенщиками, менялами — ничего не прибавило к живописной и самобытной стороне Москвы. Эти таинственные уголки, где вы находили тогда драгоценные остатки прежнего величия — серебро, старинное, ткани, монеты, оружие, иконы древнего письма и древнего благочестия, — все это имело свою особую прелесть, свою поэзию»^[219], — резюмировал граф С. Д. Шереметев.

Остается прибавить, что из иностранных купцов в Городе водились в небольшом количестве только выходцы с Востока — армяне, персы, турки, греки. Европейские фирмы уже с конца XVIII века группировались в Москве вокруг Кузнецкого Моста.

Кузнецкий Мост — это была Мекка, священное место московских и приезжавших в Москву провинциальных

модников и модниц. Здесь находилось множество модных магазинов и мастерских, где можно было сшить платье и фрак по последней моде, заказать тончайшее белье, отделанное кружевами, купить сногшибательную шляпку, английскую тросточку, фасонистые жилеты, щегольскую цепочку для часов. Естественно, что место это было модным и очень оживленным, тем более что помимо галантереи на Кузнецком имелось несколько книжных лавок с новейшими французскими романами, магазины тканей, шелковых и бумажных обоев, зеркал, фарфора, хрусталя, парфюмерии, винные погреба с лучшими французскими винами, ювелирные и часовые лавки, а также кондитерские.

Если до 1812 года вся европейская торговля вполне на Кузнецком Мосту помещалась, то в послевоенные годы здесь возникла уже целая торговая зона, включавшая Тверскую, Петровку, Софийку (Пушечную), Столешников и Газетный (Камергерский) переулки. Повсюду здесь были французские лавки, торговавшие предметами роскоши, модные мастерские, парикмахерские и кондитерские. Во многих домах имелось по два-три различных заведения.

Если русские торговые предприятия долгое время почти сплошь (были и исключения) именовались лавками, то иностранные уже в 1820-1830-х годах стали называть себя магазинами (московское простонародье говорило «магазея»), И хотя приезжие из Петербурга презрительно кривили губы и говорили: «Разве это магазины? Никакого вида», — заведения Кузнецкого Моста поражали горожан немосковской роскошью и одним своим видом давали понять, что они не чета каким-то там лавкам. Здесь, помимо заграничного и дорогого ассортимента, были мраморные лестницы, бронзовые светильники, бархатные драпировки на окнах и дверях. У покупателей принимали верхнюю

одежду, так что можно было продемонстрировать наряды, дамам предлагали кресла, а главное — приказчики здесь были щеголеваты и все как один изъяснялись на французском диалекте (невольно вспомнишь героя Гоголя, который восхищался тем, что в Италии последний мужик говорит исключительно «по-французски» и русского языка совсем не понимает). Еще одним отличием от русских заведений были фиксированные («назначенные») цены и то, что здесь не принято было торговаться. Покупать на Кузнецком поэтому было престижно, хотя клиентов здесь тоже частенько обманывали, продавая за «иностранное», да и втридорога, товары отечественного производства, такие же, как и в Рядах.

В середине и второй половине девятнадцатого века славу этого торгового района составляли ювелиры Бушерон и Фаберже, модная мастерская Минангуа, перчаточный мастер Буассонад, мужские портные Бургес и Сара, куаферы Нёвилль, Шарль и Леон Имбо, виноторговцы Леве, Депре, Бауер, художественные магазины Аванцо и Дациаро (последний просуществовал на Кузнецком Мосту более полувека), где в витринах постоянно выставлялись и картины маслом в эффектных рамах, и целая коллекция гравюр и литографий — от репродукций мировых шедевров, городских пейзажей и портретов знаменитостей до женских «головок» и игривого «венского» жанра, а в конце века — и россыпь «художественных открытых писем» (открыток), — все это интересно было рассматривать.

Были здесь и английские магазины — в основном «для джентльменов», с ассортиментом кожаных и металлических изделий, тростей, трубок, дорожных принадлежностей и настоящих шотландских пледов.

Торговали и немцы — всевозможной механикой, оптикой, красками и медицинскими инструментами.

Роль Кузнецкого Моста, как одной из самых фешенебельных улиц Москвы, куда престижно приехать и для покупок, и просто погулять, разглядывая витрины, не изменилась до конца столетия, хотя уже в 1840-х годах на него потихоньку стали проникать и русские заведения, специализирующиеся на предметах роскоши.

Сенсацией стало появление в начале 1840-х годов на Кузнецком Мосту первого русского «магазина» (не лавки!), торговавшего лучшим из того, что к тому времени могли предложить отечественные фабрики. Открыло его «общество» (наподобие акционерного) русских фабрикантов, а покровительствовал делу сам председатель московского отделения Мануфактурного совета барон Мейендорф. «Русскому магазину» придавалось почти государственное значение: сам государь Николай Павлович посетил в 1831 году первую в России мануфактурную выставку, которую даже и разместили в Кремле, беседовал с купцами и выражал большую заинтересованность в поощрении отечественного товаропроизводителя.

Московский магазин стал первой ласточкой — подобного не было тогда даже в Петербурге. Для него был нанят на самом Кузнецком Мосту изящный дом княгини Долгоруковой, отделенный от улицы щеголеватой решеткой; в сенях дежурил «заслуженный унтер-офицер с медалями», который принимал на хранение манто и шубы; наверх вела мраморная лестница, уставленная цветами, — все как у французов!

В первом небольшом зале продавались косметические товары братьев Шевелокиных, лукутинские лаковые подносы и табакерки, изделия из тульской стали. Дальше можно было купить множество сортов отличной писчей бумаги русского производства, а потом шли секции со всевозможными тканями — и хлопчатобумажными, и шерстяными, и шелковыми,

произведенными на Трехгорной мануфактуре Прохорова, на фабриках Сапожникова, Кондрашова, Локтева и др. Здесь имелись платки и шали, мебельные ткани, церковная парча и многое другое. Дальше по анфиладе продавались зеркала, ковры, серебро, фарфоровая и фаянсовая посуда фабрики Гарднера, хрусталь Мальцовского завода (Гусь-Хрустальный) — словом, было на что посмотреть. В сущности, это был даже не один магазин, а целый их набор. Новое торговое заведение тотчас было описано Михаилом Загоскиным. «Мне захотелось купить себе чайную фарфоровую чашку, которая, своей прекрасной формой и простым, но чрезвычайно милым узором, очень мне понравилась, — рассказывал он. — Я спросил о цене; мне отвечали, что одну чашку купить нельзя, а должно взять, по крайней мере, полдюжины. Полагая, что чашка не может стоить менее полутора рубля серебром, я решился не покупать, а спросить из одного любопытства, что стоит полдюжины — и представьте мое удивление, когда мне объявили, что я могу купить не одну, а шесть чашек, как вы думаете, за что? — С небольшим за два рубля серебром!..»^[220]

С течением времени на Кузнецком появились и другие русские заведения — цветочная торговля братьев Фоминых и многочисленные пассажи — князя Голицына, Солодовникова, Попова, Джамгарова и Александровский.

Вне Города, Кузнецкого Моста и рынков, о которых отдельная речь впереди, других торговых заведений в Москве долгое время было очень немного и почти все они были представлены разнообразными мелочными лавочками. Вывески у таких лавок могли быть разные — «овощная», «зеленная», «табачная», «колониальная» и собственно «мелочная лавка», но торговали везде самым широким кругом товаров повседневного спроса,

тем, что может внезапно в доме кончиться и за чем не набегаясь в Ряды.

Так, например, в «овощных лавках», кроме овощей (особенно квашеной капусты и соленых огурцов), яблок и сушеных и соленых грибов, продавали ткани, галантерею, мыло и спички, керосин и детские игрушки, игральные карты, вино и угли для самоваров. В «зеленных» — чай, кофе, перец, гвоздику, хлеб, баранки, крупу, муку, сахар, конфеты, печенье, селедку, воблу, колбасу, сыр, свиную грудинку, масло — постное, топленое, сливочное, синьку, крахмал, табак, дратву, бумагу.

Были специальные табачные лавочки, где кроме табака имелись мужское белье, галстуки, манишки, письменные принадлежности, а также, поскольку ассортимент здесь складывался полностью мужской, — то, без чего не мог обходиться окраинный кавалер, — гармошки и гитары, а также гитарные струны.

В наиболее отдаленных от центра лавках предлагали вообще все на свете — до сена, дегтя, хомутов, красок и даже кринолинов.

Размещались лавки как в нижних этажах жилых домов, так и в отдельных небольших, часто каменных постройках. Оформление и внутренняя планировка большинства лавок были одинаковы: неширокая входная дверь, рядом с ней более-менее широкое окно или два окна. Над дверью и между дверью и окнами размещались вывески: наверху горизонтальная, в простенках небольшие вертикальные, часто с перечислением продаваемого. Окна по совместительству служили и витринами, или, как долго говорили в Москве, выставками товаров. Кое-что из продаваемого могли выставить и за дверь: к примеру, в овощных лавочках, довольно часто при входе помещали открытые кадки с репой или морковью.

Внутреннее пространство делилось на три части: ближайшая ко входу была «торговым залом», заставленным по периметру ящиками, кулями и бочками. Позади прилавка («выручки») дощатая перегородка с дверцей отделяла небольшое складское помещение, а за ним в задней части лавки находилась маленькая жилая комнатка — «теплушка» или «палатка», в которой и обитал лавочник. Здесь стояла большая печь и помещалась кое-какая мебель: полка с посудой, стол с самоваром, стул, топчан и сундук. Изредка встречались и двухэтажные лавки: нижний этаж торговый, верхний — жилой. Нередко при лавке был погреб.

Лавка открывалась в восемь часов утра, обслуживала небольшой прилегающий район, имела постоянных покупателей и становилась своего рода клубом, куда стекались новости и сплетни, центром притяжения для местных хозяек и домашней прислуги. Приходившим за покупками кухаркам лавочники всячески угождали и делали по праздникам денежные подарки, лишь бы ходили именно к ним.

Хозяин или сиделец (продавец) знали покупателей не только в лицо, но и по имени, были в курсе их домашних обстоятельств. В лавку обращались приезжие, если нужно было найти кого-нибудь из жителей, и неизменно получали исчерпывающую справку.

В хорошую погоду, когда было немного покупателей, лавочник часто оставлял за прилавком кого-нибудь из домочадцев, а сам выходил на улицу, ставил стул у дверей и затевал беседу с проходящими знакомыми и иногда играл с ними в шашки.

Постоянным клиентам обязательно открывался кредит. Это называлось «забирать на книжку». Лавка выдавала особую, типографским способом напечатанную тетрадь. Вначале в ней помещалось что-

то вроде договора и была прикреплена гербовая марка в знак того, что документ этот официальный. Кухарка или хозяйка брали, что нужно, и это вписывали и к ним в «книжку», и в лавочную книгу. Раз в месяц накопившийся долг погашался. Во многих случаях «прикрепленному» к лавке полагались и различные льготы и скидки, а при мелкооптовой покупке лавочники широко практиковали «премии»: приобретший целый ящик мыла или мешок муки мог в придачу получить какую-нибудь безделушку — статуэтку, дешевую вазу, чашку с блюдцем, набор открыток и т. п.

В конце века система премий практиковалась и в дорогих магазинах. Так, в кондитерских Абрикосова, Сиу и других к большой, трехфунтовой коробке конфет (конфеты выбирались покупателем поштучно и укладывались в коробку у него на глазах) обязательно прилагались бесплатные ломтики засахаренного ананаса и плиточки шоколада в «художественной» обертке с портретами театральных знаменитостей.

Уже в 1830-х годах количество и ассортимент лавок, особенно в центре, начали увеличиваться. К мелочным и овощным добавились пекарни с хлебными лавками (в более раннее время большинство москвичей пекли хлеб дома и спрос на хлебную продукцию был невелик), булочные, в которых кроме хлеба предлагался еще и кондитерский товар, «закусочные», «кухмистерские» и «гастрономические лавки», торговавшие окороками и другими копченостями и готовой, как сейчас бы сказали, «кулинарией» — заливным из дичи, стерлядей и осетрины, цыплятами в желе, паштетами и «сырами» из гусиной печени, из рябчиков, из нельмы с молоками и пр., а также всевозможными соленьями, пикулями, уксусом, фруктовыми эссенциями.

В середине века большой известностью в Москве пользовался гастрономический магазин Белова; он

стоял неподалеку от знаменитой церкви Успения (на Покровке) и имел на вывеске свиную голову. «Беловские» ветчина, колбаса, дичь считались наилучшими в городе, и конкурент Белова француз Мора, торговавший у Арбатских ворот, сколько ни бился, не мог его превзойти. Беловское дело просуществовало около полувека, прекратившись под конец в привычный для нас гастроном со многими отделами — бакалейным, овощным, винным и т. п.

В те же 1830-е годы правительство стало предпринимать попытки законодательного регулирования цен на основные продукты питания. Раз или два в год печаталась «твердая такса на провизию для лавок» с обязательным пояснением: «Цены сии служат для одних только торговцев, а не для приезжающих в Москву с припасами»^[221].

К примеру, в 1835 году были объявлены такие цены:

- мука крупитчатая 1-го сорта 5 р. 10 к. пуд;
- мука пшеничная 1-го сорта 4 р. 10 к. пуд;
- мука ржаная 1-го сорта 2 р. 10 к. пуд;
- калачи и сайки 14 к. фунт;
- пеклеванный хлеб 11 к. фунт;
- ржаной хлеб 4, 5 к. фунт;
- свежая мерзлая говядина 1-го сорта 14 к. фунт;
- ветчина копченая 30 к. фунт;
- масло коровье 40 к. и 38 к. фунт;
- осетрина малосольная 1-го сорта 85 к. фунт;
- икра зернистая 1 р. 30 к. фунт;
- капуста квашеная ведрами белая 1 р. 50 к.,
полубелая 1 р., серая 75 к.;
- картофель 1 р. 45 к. четверик.

К этому стоит напомнить, что пуд составлял 16 килограммов, фунт — около 400 граммов, а четверик — это мера емкостью в 26,24 литра, и пояснить, что «белая» капуста — это та, которую мы и сейчас едим, а

«серая» получалась, когда квасили верхние, зеленые и грубые капустные листья.

Список «твердой таксы» был длинным и включал в себя рыбу — севрюгу, семгу, лососину, сельди, салакушку, миноги, кильки, анчоусы; мясо — солонину и свинину (последняя стоила 17 к. фунт), крупу, зерно, дрова, свечи (сальные 11 р. пуд и 27 к. фунт) и т. д.

В том же году цена апельсинов была 2 р. 50 к., 3 и 4 р., а лимонов — 1 р. 50 к., 2 р. и 2 р. 50 к; то и другое за десяток.

Вскоре в уважающих себя центральных лавках стало считаться почти неприличным торговаться — это занятие оставили на долю Рядов и рынков. На видном месте был вывешен прейскуронт, а покупатель с ограниченными финансами мог, не посягая на целый фунт, просто спросить масла или икры на пятиалтынный.

Неузнаваемо переменились и сами лавки. «В лавочке, где за пять лет пред сим проглядывали в окнах для приманки покупателей четвертки жуковского табаку, глиняные трубки и серные спички, вы увидите теперь пирамидами расставленные фарфоровые баночки с помадою, щегольские склянки с духами, богатые палочки, узорные помочи, фуляры, галстуки и пр.»^[222], — писал в 1842 году П. Вистенгоф. Во многих заведениях, особенно выходящих на большие улицы, был сделан ремонт, появились красивые вывески, сверкающие стекла, лепнина и позолота во внутренней отделке.

Отсюда был уже всего один шаг, чтобы начать называть лавку на заграничный лад «магазином», и шаг этот тоже был вскорости сделан. И вообще после 1840-х годов московская торговля стала явно переливаться через границы обычных торговых зон: сперва на центральные улицы, потом в переулочки, там и в

тупички, и в конце концов вся Москва оказалась насыщенной всевозможными магазинами, лавками, лавочками и лавчонками. Процесс этот шел не один год, но, в общем, довольно быстро.

«Торговля расплывается всюду, захватывая самые отдаленные уголки столицы, и дело может дойти до того, что чуть не в каждом доме будет свой магазин»^[223], — писал в 1897 году современник.

Все основные улицы и многие боковые были густо увешаны разнообразными вывесками: в центре строгими, по большей части черными с золотом и часто на французском языке; по окраинам разнокалиберными, пестрыми, часто рисованными, изображающими шляпы, подносы с чайным прибором, блюда с поросенком и сосисками, колбасы, сыры, сапоги, чемоданы, очки, часы...

Над кондитерскими висели вывески с изображением рога изобилия, из которого сыпались конфеты, и надписью: «Превосходное кондитерское сахарное производство».

На вывесках табачных лавок был представлен расхожий сюжет — по одну сторону сидел азиат в чалме, курящий трубку, а по другую негр или метис в соломенной шляпе и с сигарой. Парикмахерские украшали изображения причесанных по моде женских и мужских голов, банок с пиявками и даже сцен пускания крови. Пекарни и булочные — калачи, крендели и сайки; колониальные магазины — сахарные головы, свечи, плоды или ящики и тюки, и... уплывающий пароход.

Пестрым картинкам соответствовали и тексты, довольно часто безграмотные и просто нелепые:

«Кролики, белки, куры и другие певчие птицы».

«Парижский парикмахер Пьер Мусатов из Лондона. Стрижка, брижка и завивка».

«Кислы щи, квасы, зельцерская вода, бу — 7 коп., полбу — 4 коп. сереб.».

«Продажа хомутов, кнутов и прочих съестных припасов»^[224].

На протяжении всего XIX века принято было помимо буквенно-картинных вывесок демонстрировать еще и образцы продукции, которые выставляли на столиках к входным дверям, выкладывали на подоконник или подвешивали над входом. Над лавкой обручника колыхалась связка обручей, стекольщик выставлял раму с разноцветными стеклами, шорник — дугу или хомут. Аптекари помещали в окне банки с ядовито-красными или зелеными жидкостями. Часто поперек улицы помещалась растяжка с изображением кренделя, сапога, окорока, ключа, перчаток, седел, виноградной грозди и других предметов торговли.

Свою ноту в эту пеструю картину вносили и разнообразные объявления, белевшие в окнах, на столбах и воротах:

«Прошу господ извозчиков во дворе матом не ругаться».

Уже в 1870-х годах каждый, попадавший впервые в Москву, сразу видел, что это город по преимуществу торговый. На каждом шагу он встречал пассажи и магазины готового платья, парфюмерные, ювелирные и часовые лавки, заведения, торгующие книгами и игрушками, обувью и шляпами.

Полутемные цветочные лавки с букетами и венками из бумажных и восковых цветов примыкали к теплицам, в которых по запотевшим стеклянным стенам струилась ручейками вода, на зеленых ступенчатых полках громоздились горшки и вазоны с растениями, цвели апельсиновые деревца под стеклянными колпаками, теснились охапки срезанных роз и лилий, корзины с

ландышами и пармскими фиалками, утопающими в нежном мху.

В винных погребах на полках лежали образцы различных вин в бутылках, завернутых в разноцветную папиросную бумагу и с этикетками знаменитых французских, испанских и итальянских фирм. Была здесь и русская продукция — коньяки Асланова и Шустова, Шустовская же рябиновка — в высоких белых бутылках с длинным горлышком, водки фирмы «И. А Смирнова сыновья» с этикетками «Столовое вино № 40, 32,1, 20, 21», смирновские же «Зубровка», «Варварка», «Хинная» и «Английская горькая» в темно-зеленых бутылках с красной печатью; разноцветные наливки, настойки и ликеры — «Стотравная», «Кузьмич» (калмыцкий хвойник), «Адвокатин», «Бенедиктин», «Черный рижский бальзам» в причудливых сосудах, иногда глиняных. Покупатели редко уносили покупку с собой: чаще заказывали какое-то количество бутылок того или другого сорта и приказчик, старательно записав заказ, отправлял его им на дом.

Фруктовые лавки манили плетеными корзинами, где на белых бумажных кружевах были красиво разложены яблоки и груши разных сортов, апельсины, гранаты и персики, дыни и ананасы. Здесь же продавались различные орехи, вплоть до кокосовых, тунисские финики, малагский виноград — целые грозди на ярких шелковых ленточках. Мандарины для Москвы вплоть до начала XX века были экзотической редкостью, так же как и бананы.

В кондитерских Эйнема, Сиу, Абрикосова висел сладкий тягучий запах и громоздились в витринах целые вороха конфетных коробок, перевязанных лентами. Конфеты (за исключением шоколадных) — всевозможные помадки, подушечки, клюква в сахаре, глазированные (обливные) орехи и мармеладный

горошек, как правило, готовились тут же, в задних помещениях магазина.

В магазинах чайных фирм Боткина, Перлова и К. и С. Поповых висели китайские фонарики с красными кисточками, отражались в зеркалах нефритовые фигурки и расписной фарфор — весь в фениксах и пионах; высились пирамиды цыбиков в золотистой соломенной оплетке и полупрозрачной рисовой бумаге, испещренные загадочными иероглифами. Благоухание чайного листа здесь неуловимо дополнялось ароматом пряностей, цветов и старого шелка — запахом Востока.

Над входными дверями булочных Чуева, Филиппова, Савостьянова качались от ветра золоченые крендели и калачи; вывески двух последних, как поставщиков Двора Его Величества, украшались государственными орлами.

Московские хлебопеки были знамениты на всю Россию. Московский хлеб считался самым вкусным в России, что приписывали особенным свойствам мытищинской воды. Замороженные московские калачи вывозили в Петербург и другие крупные города; достаточно было разогреть их над паром, чтобы вернулось ощущение свежеевыпеченного хлеба. Даже в Петербурге над лучшими булочными часто вешали вывеску «Московская пекарня».

В последних десятилетиях века черный хлеб стоил 1 копейку за фунт, что было дешевле, чем в Северной столице и даже чем во многих местах в провинции. Французская булка отпускалась по пятаку, а вчерашняя — за три копейки (при оптовой покупке на 2 рубля 60 копеек отпускалось 100 штук булок).

Чуев славился своими сайками, которые выпекали на соломенной подстилке и часто так и продавали с приставшими к румяному дну соломинками, а также сдобными сухарями. Специальностью Савостьянова были в первую очередь плюшки и другая сдоба.

Главный магазин этой фирмы был на Арбатской площади, через дом от церкви Бориса и Глеба, — маленький, старинный, с частыми переплетами небольших окон и форточкой, через которую отпускали товар в неурочное время — рано утром и поздно вечером.

У Филиппова ценили белый хлеб, калачи и баранки, а также особенные филипповские пирожки со всевозможными начинками, которые можно было попробовать только в его магазинах.

В его главном магазине на Тверской всегда было многолюдно. Особенно большая толпа была в первом отделении, где продавались эти горячие пирожки. Их отпускали прямо с противня, в серой бумажке, которой потом вытирали жирные пальцы.

В среднем отделении продавались булки, калачи и пряники. Огромные пирамиды из сухарей и баранок возвышались над прилавками. В отделении конфет и пирожного народу было меньше всего. Покупать у Филиппова эти товары считалось не слишком престижно. Лучшими конфетами, как принято было думать, торговала французская кондитерская Альберт, а пирожными и сладкими пирогами — Бартельс на Кузнецком Мосту. У Бартельса же была и пирожковая закусочная: из никелированных жарочных шкафчиков, стоявших на прилавках, барышни-продавщицы выкладывали вилками на тарелки жареные горячие пирожки с мясом, рисом и капустой, и покупатели ели их за мраморными столиками.

Уже в 1870–1880-х годах в Москве предпринимались первые попытки по созданию сетевой торговли, при которой заведения одной и той же фирмы представляли один и тот же ассортимент и одинаково оформлялись. К пионерам этого направления относился и булочник Филиппов — его несколько разбросанных по всей Москве филиалов, как и главный магазин, были

выдержаны внутри в абрикосово-шоколадной гамме и отделаны деревянными панелями. Но все же в наибольшей степени создание сети удалось молочнику В. П. Чичкину.

Молочные Чичкина не только изнутри, но и снаружи создавали ощущение стерильной свежести благодаря облицовке из белых с зелеными каймами кафельных плиток (многие из чичкинских магазинов дожили до конца двадцатого века, сохранив не только наружную отделку, но и специализацию, а некоторые торгуют молоком и в наши дни). Делая ставку не только на широкий ассортимент, но и на свежесть, Чичкин прибегал, особенно первое время, и к активным рекламным акциям. В частности, как рассказывали, каждый вечер из дверей его магазинов выносили фляги с нераспроданным молоком и на глазах и прохожих торжественно выливали остатки прямо на мостовую, в знак того, что завтра будет новый завоз и покупателям вновь предложат все наисвежайшее.

Бутылка молока «от Чичкина» стоила 5 копеек.

Фирма быстро набрала обороты, и к 1890-м годам Чичкин торговал уже в чертовой дюжине магазинов по всему городу. Центральное его заведение было на Петровке, 17; а филиальные — на Пречистенке, на Арбате, Новинском бульваре, на Мясницкой в Кривоколенном переулке, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулках, у Покровских ворот, и еще три — на Тверской и два на Сретенке.

Во второй половине века помимо лавок и магазинов на углах улиц и на бульварах ставились еще и ларьки, торгующие фруктами и сладостями. Последние, естественно, были особенно приманчивы для ребятни. Здесь в ящиках громоздились всевозможные сладкие соблазны: пряники медовые, мятные, розовые и фигурные, маковники и обливные орехи, тянучки и леденцы «барбарис», «ярко-красные, длиной чуть не в

пол-аршина и толщиной по крайней мере с большой палец». Алиса Коонен вспоминала, как ларечница не продавала эти леденцы, а «давала детям пососать за копейку. Выпросив дома копейки, мы гурьбой бежали к ларьку. Тетя Поля ставила нас гуськом и, обслуживая других покупателей, зорко следила, чтобы каждый сосал столько, сколько положено на его долю. На стойке у нее стояла кружка с водой, и каждый, прежде чем передать леденец другому, должен был ополоснуть его в воде. Тетя Поля была очень чистоплотна»^[225].

При всем обилии торговых заведений, в Москве была большая популяция торговцев, которые не ждали, пока пожалует клиент, а сами шли к нему. Разносчики, как их называли, были обязательной принадлежностью всякого русского города, но в Москве они водились особенно обильно и притом были на редкость востребованы. Москвичи, надо признать, были порядком-таки ленивы, и мысль о том, что ради пусть даже необходимой покупки надобно пройти две улицы, да еще подняться по лестнке на четыре ступеньки, зачастую отбивала у них всякое желание покупать. «Ничего, как-нибудь обойдусь, — размышлял в такие минуты москвич. — Завтра куплю. Вот пойду завтра со службы, — и куплю».

И вот в такие-то минуты у него под окном раздавалось спасительное: «Сайки крупитчатые!» или же: «Иголки, нитки, пуговицы!» — и глядишь, проблема решалась, что называется, не сходя с дивана.

Разносчики стояли со своим товаром во всех оживленных местах, расхаживали по улицам и дворам, приходили с черного хода прямо в квартиры, — проникали, словом, во все углы и щели большого города, особенно на его окраинах, и предлагали ленивому обывателю, в общем, почти все то, что он мог купить в Рядах и лавках.

Продавали различные фрукты — «шпанские вишни», и «пельцыны-лимоны хороши!», сласти, свежие яйца и сезонные овощи, арбузы и дыни — как целые, так и разрезанные на ломти, соленые сливы и моченые яблоки, каленые орехи, мед, свежую и соленую рыбу, паровых цыплят, калачи и сайки, живых раков, моченый горох, икру, гречневика с маслом, сигары, детские игрушки, платки и ленты, сапоги и рубашки, различных сортов квас и лимонад ядовито-желтого и пронзительно малинового цвета, словом — почти все, что можно только придумать.

Торговля вразнос была делом физически очень тяжелым. Тяжеленный лоток с немалым запасом товара приходилось таскать целый день. Чаще всего разносчики носили его на голове — это был большой деревянный прямоугольный поднос с закраинками, покрытый сверху полотном или куском полосатого тика. Чтобы лоток не раздавил череп, на голову, на картуз, клалось толстое ватное кольцо, обшитое материей. Впрочем, фасоны лотков могли разниться: имелись такие, которые носили на шее и через плечо на широком ремне, другие, ставившиеся на голову, имели ножку-подставку, за которую при переноске разносчик их придерживал, облегчая давление на голову. Свой фасон лотков был у мороженщиков, у торговцев живой рыбой. Использовались разных размеров и фасонов ящики, корзины, кувшины и бадьи. Встречались и тележки или санки на колесах. У «коробейника» был «короб» — два ящика из легкого луба, надевавшиеся друг на друга как футляр, — внутри находился переложенный перегородками из толстого картона товар — катушки ниток, булавки, иголки, ножницы, мотки тесьмы, кружев, прошивок, ленты, пуговицы, платки, шарфы и т. д.

Мясник подъезжал на тележке прямо к заднему крыльцу и вызывал кухарку: «Что сегодня нужно,

мамаша?» Рубил мясо, вешал и ехал дальше. Молочница завозила свой товар во дворы тоже на тележке или салазках. «Медленно плетется на дровнях с угольями весь почерневший от соседства с ними мужик и, став посреди двора, громко кричит: „уголь!“» ^[226].

Разносчики в синих халатах обычно продавали дорогой товар, в серых халатах — средний, а бабы и мальчишки торговали дешевым.

В людных местах — возле рынков, бань, вокзалов, мостов, извозчицких бирж, близ большихстроек всегда толклось много разносчиков с едой и напитками, причем вкусы на разносимые припасы были подвержены влиянию своеобразной моды. В начале века до 1830–1840-х годов преобладающими лакомствами были сайки, пряники, баранки, маковники на меду, а также драчена — картофельно-яичная запеканка: на пятак давали два больших ломтя. Были еще кисельники, предлагавшие в скоромные дни овсяный кисель с молоком, а в постные — гороховый кисель: густой, плотный, тоже похожий на запеканку. Его резали ломтями и подавали, полив растительным маслом. Сбитенщик со своим медным, похожим на самовар, прибором, покрикивал по временам: «Кого угощать!» — и выдавал потребителю за пятак стакан дымящегося сбитня с большим куском калача или сайки.

Постепенно кое-какие из этих старинных дешевых кушаний повывелись: пряники ушли на праздничные лотки, драчена почти вовсе исчезла, зато появились, к примеру, гречневики («грешники») — небольшие горячие столбики в форме усеченной пирамидки из гречевого теста. Их разрезали вдоль, присаливали, сбрызгивали маслом. «Грешники» считались очень вкусной едой.

Саечник носил на своем лотке, кроме булок-саек, яйца, рубец и отварную печенку. У блинников были круглые деревянные лотки диаметром с тарелку. Внутри высокой стопкой были сложены блины. В левой руке блинник носил жестяную сахарницу и, отпуская товар, по желанию клиента, присыпал его мелким сахаром.

В круглых зеленых бадьях или кадочках, водруженных на голову (для чего надевалась шляпа извозничьего фасона с широкой тульей), разносили свой товар мороженщики. Кадка была покрыта полотенцем; под ним обнаруживалось несколько медных цилиндрических сосудов с крышками, обложенных мелко наколотым льдом. В каждом из цилиндров был свой сорт мороженого — чаще всего сливочного («кондитерского» и «простого») и крем-брюле, хотя ближе к концу столетия встречалось и «шоколадное» — тоже сливочное, подкрашенное жженым сахаром. Здесь же стопкой возвышались блюдечки и лежали костяные ложечки. Ловко орудуя большой ложкой с полушариями на обоих концах, торговец скатывал шарики мороженого и выкладывал на блюдечко. Есть полагалось тут же, не отходя далеко от бадьи. Исползованную посуду обтирали полотенцем и вновь пускали в дело. На рубеже XIX и XX веков в этот старинный промысел были внесены усовершенствования: появились вафельные рожки и круглые вафли с вытесненными на них именами: Саша, Маша, Петя и т. д., и теперь шарик мороженого вкладывался в вафли, конечно, покупатель был рад купить мороженое со своим именем на вафле.

Но первенство по популярности держали все же пирожники. Пирогами торговали, как уже отмечалось, в Городе «под столбами», вокруг памятника Минину и Пожарскому. Стоя с деревянными ящиками с ремнями через плечо, торговцы кричали: «Пирожки горячие, с

пылу горячие! Пожалуйте, господа!» Здесь предлагались и знаменитые на всю Россию подовые пирожки с подливкой — горячим мясным или грибным бульоном, и жареные, разносимые в железных, отделанных деревом ящиках. Начинки у пирогов были очень разнообразны — не только мясо, капуста или обычные «черные» грибы, но и грузди, и каша — гречневая и пшенная, и ливер, и жареный лук, и яблоки, белуга, семга и молоки, мак, горох, вязига, картошка-лук, клюквенное и иное варенье, рис-рыба, капуста-лук, изюм, творог и т. д. Расходились они тысячами. В восьмидесятых годах пирожников «от столбов» из колонн отодвинули ближе к памятнику Минину и Пожарскому, а потом в новых Рядах им было отведено под торговлю просторное помещение в нижнем этаже, но к тому времени знаменитые пироги с подливкой уже исчезли из городского обихода.

Среди разносчиков преобладали ярославцы и москвичи, но немало было пришлого, даже иноземного народа, торгующего иногда вещами странными и даже экзотическими.

В 1830–1850-х годах разносчики-итальянцы носили на лотках очень модные тогда алебастровые статуэтки — как натурального, белого цвета, так и ярко раскрашенные. Здесь были портреты Пушкина и Наполеона, царей — как ныне царствующего, так и покойных, а также всевозможные статуэтки кошек, зайчиков с розовыми ушами и попугаев с красными головами, желтыми зобами и зелеными крыльями, которых охотно раскупали купечество и простолюдины. Эти безделушки водружали в гостиных на подоконники или подзеркальные доски «для красоты».

В 1860-х вразнос по домам ходило много «венгерцев» (на самом деле словенцев) с мышеловками и изделиями из проволоки; «остзейских немков» с

метелочками из дерева и картонными, оклеенными раковинками, коробочками с ящичком и зеркальцем.

Приходили торговцы-финны с Выборгскими кренделями и розовыми баранками; иногда (ближе к концу столетия) появлялись экзотические китайцы с длинными черными косами, в шелковых, расшитых птицами и цветами или синих бумажных кофтах и мягких тапочках на белой войлочной подошве. Они предлагали бумажные и шелковые веера, фонарики, зонты и вышивки и отличные китайские ткани: цветные узорные шелка и чесучу, широко использовавшуюся тогда для шитья мужских летних костюмов. В их тюках, аккуратно завернутых в холстину, можно было отыскать и различные диковинки: нефритовые статуэтки божков, резанные из кости ажурные шары, внутри которых перекачивался десяток других шаров, вставленных друг в друга, лаковые коробочки с тонким рисунком и загадочные шарики из бузинного дерева. Их нужно было бросить в миску с водой и через несколько минут набухший и разросшийся шарик обретал форму и превращался в какую-нибудь фигурку: алую розу с зелеными листьями или в белого слона с красными глазками.

Своеобразной разновидностью разносчиков были тряпичники и старьевщики, только они ничего не продавали, а, наоборот, стремились купить. «Старые голенища продать! Нет ли бутылок, штофов, всякого старья, тряпья, старых сапогов и старого заячьего меха продать!» — завывали тряпичники. «Старые вещи берем!» — вопили татары-старьевщики. Сапожное и платяное старье сбывалось ими разным мастеровым и шло в переделку, остальное продавалось на заводы. Фунт стекла стоил полкопейки; фунт тряпья — 1-2 копейки, фунт железа — 3-4 копейки. Набегавший в итоге дневной доход старьевщика составлял копеек 50.

В самом конце века старьевщики часто были одновременно и мастерами. Входя во двор, они возглашали нараспев: «Ведро, корыто, кровати починяем... Калоши старые покупаем!»^[227]

С чем бы ни ходили по улицам разносчики, они еще и нараспев, а часто в рифму выкликали свой товар: «Блины горячи, с лучком, с перцем, с собачьим сердцем!» или: «Свечи сальны, светильни бумажны, ярко горят, продаться хотят!» До того момента, как фигура торговца показывалась на глаза, о его приближении можно было узнать по выкрикам. Громко выкликать продаваемый товар, как уже говорилось, вообще было в обычае тогдашней торговли, но уличные разносчики делали это особенно затейливо, громко и — музыкально. Для каждого товара существовала не только устойчивая «формула» текста, но и своя мелодия, звучание которой позволяло сразу определить предлагаемый товар. «Кар-тофель молодой, картофель!» — заливался один. «Югубни-ка садова, малина, конфеты шоколадные!» — надрывался другой. «Млака, млака, млака!..» — выкликал молочник. «Морожено хо-ро-ше! Сливочношоколадно морожжж!..»

Живописны и замысловаты были выкликания клюковников: «По ягоду, по клюкву! Володимерская клюква! Приходила клюква из далёка, просит меди пятака, а вы, детушки, поплачайте, у матушек грошиков попрашивайте. Ах, по ягоду по клюкву, крррупная володимерская клюква!!..» Этот товар особенно ценился в сильную жару: считалось, что клюква хорошо утоляет жажду. При появлении покупателя носившие ее торговцы быстро накладывали из лукошка ягоду в небольшую глиняную чашку, поливали сверху медом, вручали деревянную ложку и терпеливо ждали, пока клиент полакомится. Использованную чашку вытирали

висящим на поясе полотенцем и «Ах, по ягоду, по клюкву!..» устремлялись дальше.

В конце XIX века власти стали ограничивать торговлю вразнос, определив норму мест в различных частях города. Возле каждой тумбы разрешалось торговать не более чем двум разносчикам. К концу века в Москве было до шести тысяч уличных торговцев.

Глава восьмая. РЫНКИ, ЯРМАРКИ, БАЗАРЫ

Конная площадь. — «Вазовая» торговля. — Подмосковные огородники. — Любовь к кислой капусте. — Болото. — «Московская рулетка». — Охотный ряд. — Телячий торг. — «Битва под Дрезденом». — Охотничий рынок. — Толкучка. — «Графская кухня». — Сухаревка. — Случай с М. А Морозовым. — Смоленский рынок. — Грибной базар. — «Верба». — «Иван Постный»

Помимо Рядов и разбросанных по городу лавок Москва имела в XIX веке множество рынков, торговавших всем, что только могло понадобиться городскому человеку, — и провизией, и вещами, новыми и поддержанными, и домашними животными, и дровами, и многим другим. У Красных ворот и Страстного монастыря торговали сеном, в Миусах, близ Тверской заставы, на Каланче и в Покровском на берегу Москвы-реки — лесом, на Семеновской (нынешней Таганской) улице напротив Покровского монастыря — овсом.

На Конной площади велась торговля лошадьми. Сама площадь была в то время обширным, до квадратной версты, немощеным пространством, покрытым осенью и в дождь густой вязкой грязью. Посередине площади находились «прясла», в которых устанавливали выведенных на продажу лошадей. Торги проходили в среду и воскресенье, и на них, особенно по воскресеньям, собиралась уйма народу — и барышники (продавцы), и покупатели, и любители, и так, ротозеи. Главными действующими лицами в конной торговле

были цыгане, многие из которых и жили неподалеку, в Донской слободке, вблизи Донского монастыря. «Цыгане, эти маклеры при покупке и продаже лошадей, усиленно орали, стараясь криком убедить покупателя в добрых качествах лошади. Без них, действительно, пришлому человеку нельзя было ни купить, ни продать лошади»^[228], — вспоминал современник.

В ближайшем соседстве с Конной площадью имелись еще два специализированных рынка — Коровий и Дровяной.

Были в Москве рынки общегородского значения — Сухаревский, Смоленский; были продуктовые рынки почти в каждом районе: Немецкий, Зубовский, Таганский, Покровский, у Калужских ворот, у Тверских ворот, Зацепский, Полянский, Арбатский, у Земляного вала, у Серпуховских ворот, а во второй половине века появились еще Рогожский, Красносельский и Даниловский.

Все они имели стационарные лавки, торговавшие ежедневно, а по базарным дням — средам, пятницам и воскресеньям — здесь велась «возовая» торговля молоком, овощами и зеленью от огородников, грибами, битой птицей и прочим — дешевле, чем тут же в лавках. Основными покупателями рынков была публика небогатая, но товар имелся на всякий вкус и кошелек. Особенно выделялись своим ассортиментом Немецкий и Таганский рынки, где имелись всех сортов и видов дичь и мясо, любая рыба, всяческая гастрономия, фрукты — от яблока до кокосового ореха, десятки сортов чая. «Тут были богатые мясные, мучные и колониальные лавки, где можно было найти все, что могло бы удовлетворить самый тонкий гастрономический вкус»^[229].

В первую очередь продаваемые на рынках продукты приходили из-под самой Москвы, из тогдашнего ближнего Подмосковья. Молоко поступало из Ростокина,

Марьина, Медведкова, Алексеевского, Строгина, Павшина и Тушина. Рано утром в город из этих сел чередой устремлялись повозки-полки, уставленные бочками или баклагами и кувшинами с молоком и жестяными же кувшинами со сливками. Продавали молоко, конечно, и в мелочных и зеленных лавках, но горожане предпочитали рыночное, считая, что оно свежее, и подозревая, что лавочники его разбавляют. К тому же на рынке все молочные продукты можно было пробовать, а стало быть, существовал выбор.

Фруктами Москву снабжали преимущественно села Дьяково и Беляево, где были обширные, прежде всего яблоневые, сады. Из Царицына прибывала на рынки лучшая малина, из местности близ Воробьевых гор — первоклассная вишня.

Овощи шли из Коломенского, Новинкина, Нагатина, Царицына, Выхина и Кожухова, где на заливных лугах разбиты были бесчисленные огороды. Полоть огороды нанимались тверские бабы и девки, получавшие за день работы 30 копеек; убирать — туляки, которым платили по 70 рублей за сезон на хозяйских харчах. Выращивались огурцы, картошка и невероятное количество капусты, большая часть которой шла потом в засолку.

Молодая картошка немедленно поступала на продажу: выкопав поутру, ее тут же мыли, загружали в корзину, вместе с которой заходили в реку, а потом грузили на возы и отправляли в город, как раз поспевая к 7–8 часам, когда на рынок шли основные покупатели.

Свежих огурцов Москва потребляла сравнительно немного. В основном этот овощ горожане покупали на засолку или уже прямо соленым. Подмосковные огородники заготавливали впрок огромное количество соленых огурцов — каждый насаливал с десятков кадок по 10–12 тысяч штук в каждой.

Капустная страда начиналась осенью. Квасили капусту в «дошниках» — больших деревянных чанах, почти целиком врытых в землю либо в особом сарае, либо прямо на огороде. В каждый дошник входило по 1500 ведер капусты и 30 пудов соли, а каждый владелец огорода заготавливал в среднем по 5–10 дошников. Рубщики, или «рубильщики», капусты работали артелью и перерабатывали в день по 7–8 корыт, по рублю с корыта. Каждое корыто размером в 2 сажени длины (около 4 метров), полтора аршина ширины (около 1 метра) и 5 четвертей глубины (около 80 сантиметров), вмещавшее по 70 пудов капусты, обслуживало по 8 человек. Заполненный чан закрывали досками, затем рогожами и так оставляли на зиму. Спрос на кислую капусту в Москве был очень велик и постоянен: ею бойко торговали даже летом.

В целом огородный промысел был довольно выгоден: считалось, что каждое подмосковное хозяйство получало от него доходу от 500 до 3–5 тысяч рублей в год.

Самый крупный оптово-розничный овощной рынок находился в середине и второй половине девятнадцатого века на Болотной площади (или попросту Болоте). Это место долгое время было заливным лугом, на котором ничего не строили и лишь проводили в восемнадцатом веке народные праздники.

С устройством Обводного канала территория Болота была осушена, грунт получил устойчивость и это пространство стало использоваться как торговое место. При Николае I здесь были поставлены каменные лабазы, подвоз к которым был со стороны «канавы» водой. Зимой обширная площадь была вся заставлена обозами с зерном и мукой. Здесь производили торговлю, в частности, тульские и рязанские помещики, которые зачастую вывозили на Болотную площадь почти весь

свой урожай. Помимо зерна и муки торговали также пряниками и баранками.

Через несколько десятилетий оптовый хлебный торг переместился к китайгородской стене на берег Москвы-реки, где сплошной вереницей от Воспитательного дома до Москворецкого моста тянулись лабазы, а на Болоте развернулся обширный зеленый рынок, где продавали овощи, фрукты и ягоды как оптом, так и в розницу, как с возов, так и в открытых «лавках» (а точнее, из-под навесов, разделенных на места, сдававшиеся в аренду городской думой). По базарным дням — в среду, пятницу и воскресенье — сюда уже с ночи, часов с двух, съезжались «маклаки» — оптовые торговцы, владельцы зеленых лавок, разносчики. Немало покупателей было и из других мест, даже из Петербурга.

С семи-восьми утра шли розничные покупатели, и к этому времени на Болоте появлялись многочисленные мелкие торговцы. Зеленый лук продавался пучками по 10 луковиц на 2–3 копейки, или два «гнезда» на копейку; свекла, петрушка, репа, сельдерей и лук-порей тоже шли пучками, по 10 корешков в каждом. Как и везде в Москве, торговцы громко выкликали свой товар:

— Капусты, свеклы, моркови, репы не надо ли?

Ничего не кричали только продавцы квашеной капусты, справедливо считая, что она «сама себя хвалит». «Капустники» молча сидели возле своих возов, на каждом из которых громоздилось по два здоровых чана. Продавали они свой товар ведрами — по 20 копеек каждое. Покупатели капусту обязательно пробовали.

После двух часов дня, когда наплыв публики спадал, не расторговавшиеся продавцы на своих возах разъезжались по городу и торговали «на крик», как разносчики.

После того как были открыты новые Верхние ряды, временные металлические лавки с Красной площади перенесли на Болото.

Полувосточный характер московской торговли на рынках ощущался очень сильно. Везде торговались, но на рынках это делали особенно яростно и упорно и можно было снизить цены в 3–4 раза — запрос здесь был совершенно безбожный.

Вообще всякий московский рынок был сложным организмом, включавшим в свою орбиту множество так или иначе кормившихся на нем людей — производителей, лавочников, рыночных торговцев, барышников, перекупщиков, возчиков, уборщиков, трактирщиков, держателей разного рода гостиниц и постоянных дворов. Даже всю территорию, примыкавшую к рынкам, в Москве так и называли — «рынок». «Немецкий рынок» распространял свое влияние на существенную часть Немецкой слободы с улицами Немецкой, Ладожской и Ирининской; «Смоленский» — на изрядное количество арбатских и примыкавших к Москве-реке переулков и т. д., поэтому для московского уха выражение «живет на Смоленском, либо Полянском рынке» было привычным и удивления не вызывало.

Кормились на рынках и бесчисленные жулики: дергали за рукав нищие и попрошайки, шныряли карманники, фальшивое золото какие-то проходимцы продавали «задешево» под видом настоящего («потому что деньги срочно понадобились»), устраивались своеобразные азартные игры, в которые почти никогда нельзя было выиграть.

К числу последних относилась, к примеру, «московская рулетка». Современник описывал ее так: «Деревянная доска делится на 5–10 нумерованных квадратиков. На квадратики делаются ставки, затем пускается кубарь. Выигравший получает втрое против

своей ставки, а все остальное идет в пользу хозяина рулетки. Другие простонародные азартные игры основаны исключительно на ловкости рук. Берется связанный в кольцо шнур: предприниматель быстро и хитро складывает его петлей. Игра идет на заклад, иногда на несколько рублей: если играющий поставит палец так что попадет внутрь кольца — то он выигрывает, если кольцо сдергивается — он проиграл. Или быстро выбрасываются три карты: нужно угадать — которая из них фигура. Задача не трудная, но благодаря каким-то ловким маневрам игроков почти никогда не удается угадать верно.

Обыкновенно организаторы таких игр держатся целой компанией. Один ведет игру, другие вмешиваются в публику, подогревают ее удачными фиктивными ставками, крупными выигрышами и всеми мерами способствуют видам играющего. При приближении полиции рулетка моментально превращается в лоток с пирожками... Азарт сильно взвинчивает публику и нередко случаи проигрыша нескольких десятков рублей — очевидно, всей получки, — каким-нибудь рабочим или ремесленником» ^[230].

Постоянно действующим продовольственным рынком на протяжении XIX века было занято все пространство нынешней Манежной площади — Охотный ряд. Из всех московских рынков он был наиболее престижным: покупать здесь деликатесы не гнушались и первейшие московские гастрономы, что, впрочем, не мешало здешним лавкам славиться весьма сомнительной чистотой, тяжелыми запахами тухлятины и прогорклого масла, тучами мух и уймой жирных крыс. Лишь в начале осени, когда достигал апогея яблочный сезон, интенсивный запах антоновки несколько забивал обычную (и философски воспринимаемую москвичами)

вонь этого места. «Охотный ряд — до сих пор наполовину первобытный базар, — писал знаток Москвы П. Д. Боборыкин, — только снаружи лавки и лавчонки немножко прибраны, а во дворах, на задах лавок, в подвалах и погребах — грязь, зловоние, теснота! Но истый москвич без покупок в Охотном ряду обойтись не может»^[231].

Вся улица представляла собой бесконечные ряды двухэтажных лавок (второй этаж — жилье) — мясных, рыбных, зеленных, колбасных и пр. За аренду лавки здесь благодаря бойкости места платили в середине и второй половине столетия по 2-3 тысячи рублей в год. Торговали тут также «щепенным товаром» — всевозможными изделиями из дерева, букинистическими и лубочными книгами и лубочными картинками.

Возле открытых дверей лавок громоздились напоказ груды редьки, редиски, огурцов, капустных кочанов, в корзинах в сезон были выставлены клубника и земляника. В колбасном ряду внутри каждой лавки, точно сталактиты, на стенах, потолках и столбах, были развешаны тамбовские и воронежские, а также вестфальские и французские окорока и сотни колбас разных сортов — вареные, копченые, «московские», «польские», «углицкие» — то длинные и тонкие, то толстые и короткие. Уже тогда для придания свежести залежавшемуся товару лавочники смазывали колбасу растительным маслом. Здесь же изготавливали и продавали фаршированных каплунов и кабаньи головы, английские сосиски и сосиски с трюфелями, фаршированные свининой или говядиной языки, телячьи ножки и прочие деликатесы.

В рыбном ряду в особых бассейнах плавали живые осетры и стерляди, громоздились на прилавках глыбы масляно блестящей паюсной икры. В мясном ряду

можно было купить дичь и любое мясо, которое здесь же и содержалось, не только в тушах (говядина, свинина), но и в живом виде, поэтому окрестности оглашались кукареканьем и квохтаньем, пронзительным верещанием поросят и мычанием телят. Во дворах мясных лавок в особых сарайчиках находились телячьи бойни; здесь же резали кур. Перед Пасхой, когда привоз телят в Москву был особенно велик, вплоть до 1890-х годов не только Охотный ряд, но и вся Театральная площадь бывала занята телячьим торгом. До 10 тысяч животных ежедневно выставлялось здесь на продажу: со связанными ногами они рядами лежали на земле. Перед праздниками в каждой мясной лавке выставляли большие деревянные лохани на высоких ножках, где среди подтаявших кусков льда красовались снежно-белые поросята. Летом продавали кур во льду. Еще зимой курицу потрошили, связывали мочалкой с хвостиком, окунали в воду и вешали на морозе, и так несколько раз. Она оказывалась во льду, как в футляре, и с петелькой из мочала. Такие куры хранились в ледниках и погребах месяцами и благополучно дотягивали до самой июльской жары.

Помимо фасадной линии лавок в Охотном ряду был еще и торговый двор, где в основном размещался «яичный ряд» и можно было приобрести яйца любого из пяти узаконенных в Москве сортов — «головку», «кондитерские», «обыкновенные», «присушку» (с пятном внутри) или «хвостик».

В Москве у мясников из Охотного ряда была устойчивая репутация людей грубых и в высшей степени косных, воплощающих в себе худшие черты «серого» купечества. Современник вспоминал: «Охотнорядские мясники отличаются большой физической силой и свирепым нравом. Отмечу следующий случай: в восьмидесятых годах, во время бывших студенческих беспорядков, студенты

демонстративно, с красными флагами, большой толпой пошли по Моховой улице. На углу Охотного ряда и Тверской улицы их встретила полиция и, преградив путь, просила толпу разойтись. Студенты с криком опрокинули немногочисленных полицейских и с пением революционных песен продолжали путь. Тогда на выручку полиции по собственной инициативе явились охотнорядские мясники и страшно избили студентов»^[232].

Этот случай потом долго и взхлеб обсуждался в студенческой среде, где получил прозвище «Битва под Дрезденом», ибо побоище произошло вблизи гостиницы с таким названием. Как отмечал тогдашний московский студент, в дальнейшем известный историк А. А. Кизеветтер: «В середине 1880-х годов охотнорядцы еще неукоснительно пребывали в уверенности, что „господа“ бунтуют против начальства за то, что царь отменил крепостное право. И как только вспыхивали студенческие волнения, охотнорядцы рвались в бой и засучивали рукава». «Уже много позднее, как раз, когда представители крупного модернизированного купечества стали заводить у себя политические салоны и мечтать о конституции, необходимой для экономического прогресса, охотнорядцы начали сочувствовать студенческим демонстрациям, или, как их называли тогда, „студенческим историям“»^[233].

Почти до середины столетия в Охотном ряду торговали еще и рыболовными снастями, охотничьим снаряжением, а также всевозможными животными и птицами — собаками, кошками, канарейками, попугаями, причем о новых поступлениях давали объявления в газеты:

«На сих днях привезены из С. Петербурга попугаи серые, зеленые и один с желтою головою амазон,

выученные, и еще одна перушка ручная; в Охотном ряду, против церкви, в лавке Осипа Сергеева под № 8»^[234].

Особенно богатый ассортимент бывал представлен по воскресеньям, когда в Охотном ряду функционировал охотничий рынок Среди лотков и прилавков степенно расхаживали бывалые охотники, крепостные егеря, к ним липли любопытствующие и любители, и авторитеты со знанием дела объясняли, «какой ствол ружья заслуживал большой цены и какой ничего не стоил... Всему можно было научиться: и как вести собак, и какие собаки хороши и дороги и т. п.»^[235].

Примерно в 1850-х годах этот птичье-охотничий торг передвинули к Лубянской площади, в пространство между Яблочным торгом и Шиповским домом. И снова толпились охотники — и «барские», и сами господа, а поблизости в «низках» в трактирах собирались собачники и птицелюбы всех мастей.

В 1880-х годах торг еще раз перенесли — на сей раз на Трубу. Никакого оборудования для него не требовалось, и ни ларьков, ни палаток здесь не ставили. Привозили товар в клетках, а то и просто за пазухой и в карманах. Продавали и меняли голубей, щеглов, канареек, синиц, перепелок, даже соловьев. Торговали домашней птицей — курами и гусями, а также кроликами всевозможных пород. Здесь же можно было купить любого щенка — от породистого до «дворянина», котенка или взрослую кошку, обезьянку, морскую свинку, ежа или черепаху. Встречались и дикие звери — лисы, волчата, медвежата, барсуки, белки, сурки. Ведро привозили карасей, рыбьих мальков, даже лягушек, которых сажали в стеклянную банку для «предсказания погоды». В стороне размещались торговцы саженцами, рассадой и всяким садовым инвентарем. Помимо этого, на Трубу ехали за

кормом для птиц, за всевозможными поводками и ошейниками и, конечно, за охотничьими и рыболовными принадлежностями. Особенно оживленно «на Трубе» было на Благовещение, когда полагалось выпускать птичку из клетки.

Невдалеке от Охотного ряда, между Никольской и Варваркой, вдоль выходящей к Лубянке стены Китай-города, с ее внутренней стороны, на так называемой Новой площади возле церкви Иоанна Богослова, что под Вязом (в ней сейчас размещается Музей истории Москвы), с 1783 года и почти до 90-х годов XIX века находился колоритный постоянно действующий Толкучий рынок (Толкучка, или просто Толчок). Новая площадь по-московски часто называлась просто Площадью, и выражение «площадной» (площадная ругань) относилось именно к ней. Здесь долгое время сосредоточивалась почти вся московская торговля поддержанными вещами. В лавках и с рук продавали новое и ношеное «русское платье» — армяки, поддевки, казакины, тулупы, чуйки и прочее, всякую ношеную обувь и одежду, вплоть до нижнего белья, всевозможную «бывшую в употреблении» домашнюю утварь, посуду, мебель, металлические изделия и лом. Цены здесь были предельно низкие: так, мужскую рубашку можно было купить за 15 копеек.

«Торговки, „носящие“ всякого рода, татары, подгородные мужики и бабы, мелкие кустари, промышляющие шитьем и платьем, и обуви, толкуются с раннего утра до сумерек, торгуются, бьют по рукам, бранятся, останавливают и зазывают покупателя, и все вместе сливаются в одно живое тело, топчущееся на одном пространстве»^[236]. Работали многочисленные старьевщики и «холодные» (уличные) сапожники и портные.

Бедный человек, — а посещала Толкучий рынок только беднота различного разбора, от интеллигентного пропойцы до странника-богомольца, — мог в момент одеться с ног до головы, починить разорванную рубаху, подбить сапоги и еще наесться до отвала, ибо на Толкучем находилась и знаменитая на всю Москву «графская кухня» с обширной народной столовой под открытым небом.

Возле Проломных ворот («Пролома»; они располагались между Никольской и Ильинкой напротив церкви) рядами сидели бабы-торговки, продававшие горячую еду: щи, похлебку, гречневую кашу, тушеную картошку, разварную требуху, а также известную по множеству очерков и романов «московскую бульонку», состоявшую из всевозможных трактирных и ресторанных остатков и даже объедков, переваренных в единую массу и щедро сдобренных солью и лавровым листом. Еда привозилась в закутанных в тряпки глиняных корчагах или чугунах, поставленных на маленькие тележки. Для пущего сбережения тепла в зимнее время торговли еще усаживались сверху и прикрывали сосуд с хлёбовом собственными юбками. За копейку можно было получить миску щей, или миску каши, или миску кислого молока, и съесть их здесь же за деревянными столами. Полный обед обходился здесь в три — пять копеек.

Тут же, подле «графской кухни», толпились разносчики с разнообразным съестным: рыбой, субпродуктами (вареные сычуг и легкие), фруктами, сыром. Стояли хлебники с «ларями», на которых громоздились горы нарезанного черного хлеба, и саечники, имевшие на лотках, кроме саек, печеные яйца с солью, причем яйца были наполовину очищены от скорлупы «во избежание „сомнений“ покупателей». Здесь имелись собственные пирожники, торговавшие дешевле, чем в остальном Городе — две копейки

большой, с мужскую ладонь, пирог с мясом. Начинка в этих пирогах делалась из мясных остатков и обрезков, скупаемых производителями в бесчисленных московских трактирах и ресторациях по дешевке — рубль за пуд, так что килограмм мяса выходил ценой в шесть копеек. Вся еда, что продавалась на Толкучем рынке и предназначалась для бедноты, была, конечно, при своей дешевизне, отвратительного качества: фрукты подгнившие, рыба «с душком», сыр с прозеленью, но, впрочем, весьма разнообразна: здесь имелась даже «дичь» — жареные голуби, ценой в пятак. Сюда сбывали остатки и порчу многие лавки и трактиры Охотного ряда.

Естественно, что Толкучий рынок как и любой другой, был приманкой для разного рода жуликов, воров-карманников и бесчисленных нищих. Часто спускали простакам вещи из сшитых вместе кусочков разноцветного, ловко покрашенного сукна, начинавшего линять при первом же дожде, так называемую «клеенку» — скроенные, но не сшитые, а скленные клеем и проглаженные утюгом вещи, непарные сапоги, шапки из клоков гнилого меха и прочую некондицию.

Очень много продавали на Толкучке краденого, причем, как рассказывали, для склада такого товара у местных лавочников были понаделаны подземные кладовые с тщательно замаскированными входами, и что там хранилось, ведали только сами владельцы. При желании найти на Толкучем рынке можно было все.

Когда в Кремле неизвестные злоумышленники украли одну из французских пушек, стоящих вдоль Арсенала, обнаружила ее полиция тоже на Толкучке, и в Москве говорили тогда, что здешние торговцы не побрезговали бы принять и Царь-пушку, вздумай ее украсть какой-нибудь прощелыга.

В 1890-х Толкучку передвинули к Яузскому мосту на Комиссариатскую набережную, и она быстро пришла в упадок.

Впрочем, без вещевых развалов Москва не осталась. Помимо собственно Толкучки подобные же торжища функционировали по воскресеньям на Сухаревском и Смоленском рынках.

Сухаревский рынок, или просто Сухаревка, наиболее известный из всех московских торговых мест девятнадцатого века, находился возле Сухаревой башни, между Сретенкой и Странноприимным домом графа Шереметева (нынешним Институтом им. Склифосовского). В будни работал как обычный, хотя и очень большой продовольственный рынок, а по воскресеньям с 5 утра до 9 вечера торговал всем на свете — и разрастался при этом неимоверно, захватывая значительный кусок Садового кольца чуть ли не до Красных ворот.

Территория вокруг Сухаревой башни занята была в основном провизией. За ней, если идти вдоль Садовой в сторону Странноприимного дома (иначе — Шереметевской больницы), начинались вещевые ряды, прежде всего «красного товара». «На каких-то высоких рогульках висят перчатки, шарфы, сапоги, кушаки, галстуки, фуфайки, „веселого цвета“ косынки и вязаные детские костюмчики, — рассказывал современник. — Далее — палатки готового платья, шелковых юбок, платьев, сшитых „на всякую моду“, тут же платки, пледы, миткаль, коленкор, ситцы и материи, иногда с таким „узорчиком“, что, как говорят, простолюдины, „бык забодает“; тут же шапки, шляпы, сарафаны, кучерские поддевки, игольный товар, мыло, одеколон, духи, помада, пуговицы, гребенки. И все это брак, дешевка, товар с изъяном»^[237]. Здесь торговали как в

розницу, так и небольшим оптом — партию брюк можно было купить в цену от полутора до семи рублей.

По другую сторону Садовой, параллельно «красному» ряду, тянулась толкучка — «распродажа с плеча», как ее называли в Москве. «С плеча» здесь торговали честенько в буквальном смысле. Какой-нибудь малый с опухшим лицом вполне мог прямо при вас стащить с себя жилетку или пиджак и продать за смешные деньги, объясняя, что он «только что из острога» и ему «надоть опохмелиться». В основном же на толкучке торговали старьем, иногда настолько потерявшим форму, что уже непонятно было, кому и на что это может сгодиться, но, что удивительно, — и такой товар как-то находил своего покупателя. В этой части Сухаревки особенно много шныряло разносчиков с апельсинами и яблоками, огурцами, сбитнем, «грешниками», блинами, квасом и пр.

Возле Шереметевской больницы торговали мебелью и всякими хозяйственными принадлежностями — сундуками, кадками, ведрами, топорами, новой посудой, матрасами, самоварами, а в летний сезон также рассадой и всевозможными семенами.

Еще дальше тянулись палатки с ситцем и лотки железников и серебряных и золотых дел мастеров. За ними начинались ряды старьевщиков, антикваров и букинистов, своего рода Блошиный рынок. В этой части рынка продавались вещи в приличном состоянии и купить можно было в принципе все: какую угодно книгу, лампу, чернильницу, бронзу, посуду из фарфора и фаянса, китайского болванчика, бархатный пиджак, саблю, бинокль, оловянную ложку, туалетный стол из карельской березы, старинную французскую куклу, кресло-качалку и т. д., вплоть до самоварных кранов, винтов, пустых пузырьков, свечных огарков и вытертых щеток, — другое дело, что для поиска их следовало приложить немало усилий.

О сухаревских антиквариях в Москве рассказывали массу былей и небылиц. Простак приходил сюда в уверенности, что непременно обнаружат в куче хлама картину Рубенса или античный мрамор. «Как же! — был случай, когда вот так купили головку девушки за 6 рублей, а оказалось — Ван Дейк», — но подобная удача если и случалась, то была исключительно редкой.

Зато в достатке ходило поддельных «Рубенсов». Рассказывали, что когда богач и чудило М. А. Морозов, знаменитый впоследствии своим собранием современных, особенно русских художников, начал заниматься коллекционированием, он предпочел сперва европейских мастеров и то и дело приносил «из-под Сухаревочки» то «Рафаэля», то «Рембрандта». Никаких сомнений в подлинности у него не возникало, так как торговец обязательно показывал ему где-нибудь в углу или на обороте полотна подпись автора. Однажды Морозов решил стереть пыль с очередного шедевра — уж очень тот был грязен: слегка намочил тряпку, протер всю картину, и... ненароком стер «подпись мастера». Срочно вызванные эксперты посоветовали ему отправить собранную коллекцию на помойку: она ничего не стоила. Вот после этого, как говорили, Морозов и стал собирать только современников, часто покупая едва просохшие картины, буквально с мольберта, чтобы уж никаких сомнений в подлинности не возникало.

Гораздо реальнее всемирного шедевра на Сухаревке было приобрести картину какого-нибудь малоизвестного старого русского мастера, допетровскую церковную утварь, приличную гравюру, даже довольно редкую, интересный образец оружия или фарфора, действительно ценную книгу или рукопись, — добротные и не запредельно дорогие вещи, значение которых с годами должно было значительно возрасти. Поэтому на Сухаревке постоянно «паслись»

известные московские собиратели и любители древностей: П. И. Щукин, А. П. Бахрушин, И. Е. Забелин, С. В. Перлов и др., потихоньку формируя интереснейшие и действительно ценные коллекции. Особенное раздолье коллекционерам было в первые годы после реформы 1861 года, когда на рынок хлынули потоком ценнейшие предметы из усадеб разоряющегося дворянства, но эти вещи довольно быстро кончились, и искать шедевры на Сухаревке снова стало трудно: жемчужное зерно скрывалось в куче чудовищного хлама. В первую очередь в глаза лезли бесконечные «Вечера», «Речки», «Утра», «Рощи», состряпанные неизвестными живописцами и пленяющие глаз беспримерной яркостью красок («сковорода, где размазана яичница с луком и ветчиной», — острили знатоки), плохие копии Айвазовского и Клевера ценой в 15–20 рублей штука, аляповатые портреты государей и гипсовые статуэтки кошек, попугаев, Пушкиных и Наполеонов. Колоритны были и развалы букинистов, где мирно соседствовали учебники алгебры, «новейшие сонники», последний том «Графа Монте-Кристо», «История России» Иловайского, растрепанный Мольер, «Разбойник Чуркин», трактат о циррозе печени и журнал «Живописное обозрение» за неизвестный год (поскольку обложка от него была оторвана).

На Сухаревке тоже сбывали краденое, бессовестно жульничали, обвешивали, продавали подделки и фальсификаты, обсчитывали. Здесь постоянно работали целые бригады воров-карманников и мошенников, умело «впаривавшие» покупателям денежные «куклы», — словом, место это было по-московски пестрым, довольно опасным и в то же время бодрящим, доставлявшим посетителям гарантированную порцию адреналина. Ни одну купленную на Сухаревке вещь торговцы обратно не принимали.

Покупатель на Сухаревке (кроме отдела книг и антиквариата) был в основном «серый» и «черный», невзыскательный и бывалый, любивший поглазеть и потолкаться в давке, ввязаться в скоротечную ссору или потасовку, с кем-нибудь от души «полаяться»: «Эй, каналья, на ноги не наступай! Эй, городской!» — «Я не наступаю, да и вы, господин, не извольте выражаться... И городovým не испужаешь. Кому городской, а нам — братец родной...» «Здесь бранятся не столько по злобе, сколько по обиходу, — говорил современник, — по привычке, „за милую душу“, как говорится. Московскому простолюдину быть без ругани — что без хлеба или... без водки»^[238].

Смоленский рынок, располагавшийся вокруг Смоленской площади и в части прилегающих переулков, имел схожий с Сухаревкой характер, но был скромнее и меньше и притягивал к себе почти исключительно бедноту.

«Смоленский торг не имеет характера веселого сборища. Здесь серьезно и сосредоточенно торгуют <по воскресеньям> дешевым и старым одеянием, старой обувью, мебелью, съестными припасами и материями»^[239].

Неказистый вид имели здесь и покупатели, и продаваемые товары, да и сами продавцы и разного рода ремесленники, предлагавшие торговой публике свои услуги.

Здесь можно было встретить, например, «торговок, обвешанных мехами, различными лоскутками материй... На голове этих промышленниц, сверх повязки, обыкновенно надета какая-нибудь изношенная женская шляпка, а иногда и мужская; страсовые серьги необъятной величины, какой-нибудь значок, кольцо...»^[240]. Под стать им были и здешние мастеровые. «Взгляните, например, на эту фигуру в шапке, — писал

современник, — свалившейся немного на бок, в сером, местами изодранном армяке, подпоясанном кушаком, к которому не совсем живописно подвязан кожаный мешок с гвоздями: молоток и костыль, на одном конце которого находится железная лопатка, доказывают нам с первого взгляда, что это подметочник»^[241].

Помимо стационарных рынков в Москве устраивалось много традиционных ярмарок и базаров, длящихся от одного дня до нескольких недель. Самые важные из них приходились на Великий пост, который начинался Грибным, а завершался Вербным базаром.

Первый из них, Грибной, длился целую неделю; размещался он на берегу Москвы-реки между Яузским и Большим Каменным мостом, занимая пространство около двух верст. Это был самый тихий, деловитый и степенный базар Москвы — пост все-таки.

Базар открывался в первый же великопостный день — «в чистый понедельник», ранним утром. Съезд торговцев был громадный; торговали и из палаток, и прямо с возов. Наиболее ходовым товаром были грибы — сушеные, соленые, маринованные, белые, желтые и черные, грузди, боровики и опенки — чаны, кадки, бочонки и целые гирлянды грибов всех видов. Продавали также соленья — прежде всего квашеную капусту, которую в пост потребляли в немереных количествах, всякие овощи — лук, редьку, репу, лущеный горох, постное масло, орехи, семечки, мак, постный сахар, изюм и разноцветный засахарившийся мед (по-купечески — «канончик»), — словом, все необходимое для великопостного стола. Здесь же предлагались духовная литература и лубочные картинки благочестивого содержания, а также разные деревенские рукоделия — вязаные рукавицы, лапти, корзины, холсты и рушники.

На всем протяжении устанавливали деревянные розвальни, из них выпрягали лошадей и использовали оглобли для вывески.

«В санях на старых рваных рогожах лежат во множестве эти продукты, между саней длинными рядами стоят большие грязные деревянные кадки с солеными и отварными грибами, которые покупатели вылавливают для пробы прямо пальцами и, откусив гриб, кидают остаток прямо в кадку. Далее расположены палатки с черносливом, изюмом, пастилою, клюквой, ситцем, с глиняными горшками, деревянными ведрами, ушатами и другими хозяйственными предметами»^[242].

Покупатель на Грибном торге был в основном среднего и низшего разбора — то есть большинство московского населения. Приезжали сюда целыми семьями в «ковровых» санях, с детьми, прислугой и приживалками. За санями следовали розвальни, в которые и укладывали покупки. Накупили много — бочками, мешками, сразу на весь пост. Все подступы к торжищу были запружены санями и телегами; густо толпились пришедшие пешком. Народу вообще было очень много. Здесь можно было встретить и мещанок в платочках, и «полубарынь»-чиновниц в салопях и шالях, и чиновников с пряжками за выслугу, и «серых» купчих, одевших ради слякоти высокие мужские сапоги.

В первый день в толпе сновало немало подгулявших и не вполне еще протрезвевших мастеровых, которых всегда можно было распознать по пристрастию к огромным, до полуметра в диаметре, баранкам. Их покупали «для смеха» и носили, продев в отверстие голову. «Наденет и ходит, как дурень!» — сердились московские кумушки, но сердились они зря: наряду с размеренным колокольным звоном фигура

пошатывающегося мастерового в ожерелье из баранки была одним из знаков и символов наступающего поста.

С четверга до воскресенья на Вербной неделе, когда до Пасхи оставалось уже совсем немного времени, устраивался ежегодный базар на Красной площади, так и именовавшийся Вербой. По всей площади параллельно Кремлевской стене рядами расставлялись тесовые ларьки и холщовые палатки, в которых торговали самыми разнородными предметами: церковной утварью, искусственными цветами и антиквариатом, сладостями и золотом, деревянными резными изделиями — от кухонной утвари до мебели, глиняной посудой, книгами, тканями и платками, птичками и рыбками.

Верба была особенно любима детьми, и ходили сюда — главным образом мастеровые, фабричные, мещане, мелкое купечество — непременно семейно, празднично принарядившись и по-праздничному же щедро, так что никто из детей не оставался без покупки. Для удовольствия хватало 20–30 копеек — можно было купить и сладостей, и свистулечек, и даже живых рыбок в банке.

Из специально предпраздничных товаров продавалось огромное количество вербы — и обычной, лесной, связанной пучками, и «детской», украшенной бумажными цветами, ленточками, восковыми яблочками и ангелочками.

Затем предлагалось множество яиц — и натуральных, куриных, и всевозможных подарочных: и простых деревянных писанок, и сделанных из картона, фарфора, камня, шелка, бисера, хрусталя, разъемных, шоколадных, сахарных, синельных, сусальных, хотьковских — с херувимчиками, с сюрпризами, с картинками, — только выбирай. Разумеется, были и всевозможные краски для яиц.

Все остальное пространство немаленького базара занимали традиционные для Вербы товары, преимущественно не полезного, а «увеселительного» назначения. Здесь были бумажные цветы, богородская и троицкая игрушка — жестяные дудки и барабанчики, пистолетики и щелкуны, механические барабанящие зайчики и бекающие барашки, «летающие колбасы» с визгом, «американские яблочки» на резинках, обезьянки из синели (их прикалывали на булавке на пальто), тряпочные бабочки, водяные соловьи, «издыхающие свинки», издающие пронзительный визг (резиновые, с пищалкой), заводные мыши и лягушки (на механике илидвигающиеся с помощью резинки на катушке).

Целые ряды были завалены всякими безделушками и «чудесами техники» — алебастровыми фигурками, хлопушками, стеклянными шарами с домиками или «океаном» внутри (травки и плавающая рыбка), «камнями-стеклорезами», «вечными свечами», которые «горят несгораемо», и т. п.; горами всевозможных сластей — леденцами-монпансье, финиками, пряниками, шепталой, кишмишем, фисташками, халвой, рахат-лукумом, засахаренными орешками и царьградскими стручками. Гроздьями висели разноцветные воздушные шары; иногда отрывались и воспаряли в небо, заставляя всю площадь задирать головы.

С шипением разворачивались длиннейшие «тещины языки» — и сворачивались обратно с гнусавым воплем. Кувыркались в стеклянных пробирках «морские жители» — крошечные, ростом не более таракана синие и желтые чертики дутого стекла: пробирка наполнялась водой и закрывалась сверху тонкой резинкой; на резинку нажимали пальцем и юркий чертик то взвивался вверх, то стремительно шел на дно. Стоила

такая игрушка в конце столетия копеек 15–20 и продавалась почему-то только на Вербе.

Ярмарка длилась до Вербного воскресенья, и в субботу и воскресенье на ней происходили гулянья в экипажах: совершали круг по Красной площади и потом раскатывали вдоль по Тверской почти до Триумфальной арки.

Верба и Красная площадь оставались неразлучны многие годы, но все-таки когда строился Исторический музей и половина площади превратилась в огромный котлован, популярный базар пришлось перенести частью на Смоленский рынок, а частью — в здание Манежа. Чуть позднее то же самое произошло, когда возводили новое здание Верхних торговых рядов, а все пространство Красной площади занимали металлические ангары с временной рядской торговлей. Потом Ряды открылись — и Верба вернулась к Кремлевским стенам, чтобы не покидать их вплоть до революции.

Из сезонных ярмарок самой длительной была фруктовая, функционировавшая на Яблочном торгу близ Ильинских ворот все лето.

20 июля была подгородняя ярмарка и гулянье для крестьян Елохова, Красного села, Покровского-Рубцова на Воронцовом поле; 1 августа — медовая ярмарка под Симоновым монастырем; на Преображение — яблочная ярмарка под Новоспасским, а с 28 по 30 августа вплоть до реформы проходила знаменитая в городе и его окрестностях ярмарка возле Иванова монастыря. В эти дни сюда, как тогда выражались, «к Ивану Постному», съезжались подмосковные крестьянки с рукоделием (в основном льняными изделиями) и свозили, как бы сейчас выразились, «сельхозпродукты». Живописен был не только сам торг, но и ярмарочные вечера, когда «сотни торгашей, утомленные целенаправленной сутолокой с покупателями, тут же, у своих ларей и

лотков, на земле, зачастую сырой и даже мокрой, располагались и для ночного отдохновения, заложив под голову какое-нибудь тряпье или картуз, — живописал Д. А. Покровский. — Точно так же и приезжие мужики и бабы лежали распростертыми, кто на возу, а кто и под возом; там и сям мелькали фонари, зажженные более предупредительными из них. Нужно было подумать и о коротком отдыхе, и о том, чтобы проснуться не с пустым возом и карманами»^[243].

Всякая ярмарка становилась праздником для жителей ближайшего района. Рядом с торговой площадью возводили, как на гулянье, полотняные балаганы, выставляли свой товар игрушечники и продавцы сластей и воздушных шаров. «Мне очень нравилась вся атмосфера ярмарки, — вспоминала Алиса Коонен, — выкрики продавцов, зазывавших прохожих к своим ларькам, звуки гармон и шарманки... Тут же в толпе кувыркались на затрепанных ковриках бродячие акробаты, со скрипом вертелась выдавшая виды карусель»^[244]. У сотен ларьков и прилавков толпился пестрый народ, и все пространство свистело, пищало, щелкало и гудело многочисленными свистульками и дудками. Потом ярмарка проходила, и на опустевшей площади оставались лишь горы смятых бумажек, объедков и огрызков да пьяные, валявшиеся по обочинам в канавах.

Глава девятая. ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИХ ОКРАИН. МЕЩАНЕ, МАСТЕРОВЫЕ И ФАБРИЧНЫЕ

*Зарядье. — Московское гетто. —
Жилище. — Окраинный быт. — Артельные
миски. — «Головные» лавки. — Бесовское
наваждение. — Костюм. —
Рукоприкладство. — Обучение грамоте. —
«Мальчики». — «Спрыски на выходе». —
Мастерские. — «Засидки». —
Фабричные. — Штрафы. —
Патриархальность. — Ученики. —
П. И. Губонин. — Праздничные дни. —
Условия жизни. — Артели. — Заработки. —
Фабрика П. С. Милютина*

Низший слой московского населения, как и во всех других русских городах, состоял из мещан и крестьян. Мещанами называли постоянных жителей городов, которые были приписаны к сословному мещанскому обществу, выбирали в нем мещанскую управу, старост и десятских, платили в его составе подушную подать и подлежали рекрутской повинности, а занимались преимущественно ремеслами и мелкой торговлей.

Имелось в Москве и изрядное количество крестьян, которые приписаны были к своим деревням, платили подати вместе с односельчанами, но при этом более или менее постоянно жили в городе для заработка. Среди них были как лично свободные, так и, пока существовало крепостное право, помещичьи крестьяне. Последние чаще всего приходили в город для выработки денежного оброка. Занимались крестьяне

также ремеслами и торговлей, работали на фабриках и заводах, служили прислугой и т. п. У большинства крестьян семья оставалась жить в деревне, но связи с домашними они никогда не порывали: при всякой возможности слали домой деньги и сами ездили на побывку, чтобы повидаться с женами и детьми и помочь в хозяйстве.

И мещанство, и крестьянство были самостоятельными, официально существующими сословиями. Рабочие отдельным сословием в России не являлись и по социальному положению относились либо к крестьянам, либо, реже, к мещанам. В московском обиходе практически не употребляли слов «рабочие» или «ремесленники» (разве что в интеллигентном обиходе и в специальных сочинениях), а говорили «фабричные» и «мастеровые».

Мещанская, мастерская и фабричная Москва селилась — в собственных домиках или на съемных квартирах — в основном на окраинах города, прежде всего лежащих за Садовым кольцом — в Сущеве, Бутырках, Грузинах, на Домниковке, в Хамовниках, на Зацепе, в Лефортове, по собственно Мещанским улицам, издавна и традиционно заселенным этой сословной группой. Сильный мещанский и мастерской элемент был в районе Таганки, в окрестностях Петровского бульвара, вокруг Бронных улиц.

В центральной части города преимущественно мещанский характер носило Зарядье, которое старинные журналисты именовали «московский Уайт-Чепел», по аналогии с лондонским районом бедноты.

Купеческая Москва, можно сказать, заканчивалась на Варварке, а дальше вниз от Псковской горы к Москве-реке, а точнее, к идущей вдоль набережной стене Китай-города сбегали многочисленные неопрятные переулки — Псковский, Знаменский, Ершовский, Мокринский, Зарядский, Кривой, почти

сплошь заселенные мелким торговым и мастеровым людом: портными, сапожниками, картузниками, скорняками, пуговичниками, токарями и пр. Дома здесь были в основном двухэтажные, самой примитивной архитектуры, изначально многоквартирные и рассчитанные на небогатого жильца. В видах экономии домовладельцы не строили здесь подъездов и парадных лестниц, а ограничивались «галдарейками», идущими с дворовой стороны вдоль всего этажа. На «галдарейку» вели неширокие открытые лестницы и выходили двери всех квартир.

Здесь же, в Зарядье, в 1820-1870-х годах находилось московское гетто. По существующим в 1820-1840-х годах правилам евреи-торговцы, приезжавшие в Москву, могли останавливаться только в одном месте — в Глебовском подворье, находившемся в Зарядье в Большом Знаменском переулке. Впоследствии на этом подворье была устроена синагога, а позднее еще одна синагога появилась на набережной Москвы-реки в конце Москворецкой улицы, и вокруг расселилось много еврейских ремесленников и мелких торговцев.

Как правило, низовые московские домовладельцы жили очень скромно. Домики их чаще всего были деревянными, одноэтажными, иногда с мезонином, с более или менее обширным двором, с садиком, с вишнями и кустами сирени. На окнах кисейные занавески и горшки с геранью, настурциями и резедой, клетки с птицами. Комнаты немногочисленны — когда две, когда три, редко пять, так что случалось, что, когда в дом приходили гости, детей приходилось выставлять на улицу, а зимой загонять на печку в кухне, чтобы, в буквальном смысле слова, не путались под ногами.

В комнатах: крашеные полы, дешевая мебель (стулья с плетеными сиденьями), комоды, покрытые

самодельными вязаными салфетками, кровати с горками подушек, запах кухни. В переднем углу — иконы, иногда в серебряных ризах. Роскошью считались стенные часы с кукушкой, самовар, шкаф со стеклами (среди скромной посуды на почетном месте непременно раззолоченная чашка с надписью «В день Ангела»).

В конце века, когда журнал «Нива» стал выдавать своим подписчикам в виде «премии» «художественно исполненные» репродукции разных картин, этими картинками в простеньких рамочках стали украшать стены.

В середине века разбогатевшие мещане иногда приобретали по дешевке старинные дворянские особняки, и тогда в их обиходе подержанная барская роскошь самым оригинальным образом могла сочетаться с привычными вещами. Такой дом, приобретенный хозяином извозного заведения, описал в одном из своих очерков Глеб Успенский. Старик-хозяин жил с семьей в парадном этаже, а в цоколе держал работников — там обычно пахло махоркой, сырыми полушубками и сапогами. Наверху — «остатки обоев, золотых багетов и паркетных полов как-то по-свойски мешаются с деревенскими бабами, шатающимися в барских покоях с грязными ребятами; ковши с квасом — на каменных подоконниках, грязные шерстяные носки у камина, вовнутрь которого вдвинута клетушка с гусыней, изломанное вольтеровское кресло с порванной подушкой, деревянная лавка, чашка с капустой, громадное зеркало, расколотое в самом центре, и проч.»^[245].

Жить на окраинах было привольно, как на даче: летом все цвело и зеленело, пустыри и обочины улиц зарастали травой и полевыми цветами, в ветвях деревьев возились и щебетали птицы. Особенно хорошо было детям, которые целыми днями гоняли по

пустырям, плескались в прудах, ловили на мелководье в Москве-реке рыбу, собирали щавель, свербигу, кислицу, лазали по чужим садам и огородам, играли в бабки, пускали «змея». Зато осенью и весной все тонуло в непролазной грязи. Улицы почти никто не убирал. Фонарей было мало, поэтому вечера стояли темные. Извозчики на дальние окраины ездили неохотно.

Весь окраинный быт долго нес на себе отпечаток деревенского происхождения многих жителей. Еще и в 1860-х годах здесь по праздникам водили многолюдные хороводы. Молодежь собиралась в летнее время вместе, играла в горелки, а те, кто постарше, сойдясь в кружок, пели хором. Особую известность получили в середине века такие песенные посиделки в Лефортове, на лужайке неподалеку от Частного дома (полицейского участка). Сюда по воскресеньям приходили и фабричные, и мастеровые, и поденщики, и приказчики невысокого разбора и часами распевали под балалайку или гармонь народные песни. Постепенно этот импровизированный хор достиг изумительной слаженности и доставлял огромное удовольствие слушателям, но с течением времени «полицейская власть признала его явлением, не соответствующим духу времени и несогласным с требованиями уличной благопристойности»^[246].

Вставали на московских окраинах очень рано: в 6 часов утра все уже были на ногах. После чаю мужчины отправлялись работать, причем, выходя со двора, непременно крестились и кланялись на все четыре стороны, а женщины затапливали печи и принимались стряпать, и дым валил по всей улице, а зимой стоял столбом в морозном воздухе. Обедали тоже рано, часов в двенадцать, потом ложились соснуть часика на два, а пробуждаясь, продолжали трудовой день. Женщины, управившись с домашними делами, садились за шитье

или надомную работу: мотали нитки на шпули, перебирали шерсть для фабрики, вязали чулки и т. п. Работать постоянно на каком-либо предприятии замужней женщине (живущей при муже) не полагалось. Даже заводские работницы, выйдя замуж, обычно оставляли завод, иначе мужа ждало общественное осуждение, но выживать без второго заработка большинству семей было трудно, поэтому брали работу на дом, а летом ходили по часам на прополку или к какому-нибудь кондитеру, нанимающему баб на лето чистить ягоды для варенья.

Мужчины, работавшие вне дома, отсутствовали целый день и возвращались лишь к ужину. Ужинали часов в восемь; ложились зимой сейчас же после ужина, а летом около одиннадцати. Летними вечерами и стар и млад высыпали за ворота или сидели под окнами и щелкали подсолнухи. В малосостоятельных семьях родители спали на кровати, а для детей и прочих домочадцев обычно на полу расстилался войлок, на который все и укладывались вместе и укрывались общим одеялом.

Каждодневная еда в этой среде состояла из ржаного хлеба, чая, соленых огурцов, кислых щей, каши, солонины и ближе к середине века — картофеля. Гастрономической роскошью считались студень, молочная пшенная каша с маслом, кулебяки, которые бывали на столе только по праздникам.

Долгое время принято было есть всей семьей из одной большой деревянной миски, деревянными же ложками. Как вспоминал И. А. Слонов: «Нарезанное мелкими кусочками мясо во щах мы могли вылавливать после того, как отец скажет „таскай со всем“. Если же кто из детей зацепит кусочек мяса ранее этого, того отец ударял по лбу деревянной ложкой...»^[247] Такие же

большие, «артельные» миски имелись и в ремесленных мастерских, где тоже все ели из одной посуды.

Мастеровые и мещане, работавшие далеко от дома, домой обедать не ходили. К их услугам были многочисленные лоточники, которые толклись, как правило, в наиболее людных местах: на стоянках ломовиков, на углах переулков и на площадях, а также возле кабаков, особенно таких, в которых не полагалось своей закуски.

В Зарядье было много «головных» лавок, в которых готовили разное «голье» — то есть субпродукты: легкое, сердце, печенку, горло, рубец, щековину и т. п. — для оптовой продажи. Эту требуху покупали розничные торговцы и продавали с лотков — на копейку, на две. Мастеровые посостоятельнее брали в таких лавках обрезки ветчины — их отпускали не меньше чем на пятачок, а за 15 копеек можно было купить кость от окорока с изрядным количеством ветчины на нем. Такие обрезки на языке мастеровых назывались «собачьей радостью» (потом это название перешло на самый дешевый сорт полукопченой колбасы). В числе «головных» лавок славилась в Зарядье в 1870-х годах лавка Кастальского, описанная в мемуарах И. А. Белоусова. «При этой лавке имелась комната в виде столовой, где можно было получить на 10–15 копеек горячей ветчины, мозгов и сосисок, а в посты — белуги или осетрины с хреном на красном уксусе; к закускам подавалась сайка или калач. Ветчиной Кастальский славился, и многие москвичи заказывали у него окорока к Пасхе. Окорок к пасхальному столу у москвичей считался необходимостью, как к Рождеству поросенок»^[248]. Бывало, что, не желая тратиться, мастеровые импровизировали себе обед на рабочем месте, иногда прямо на улице: крошили в квас принесенные с собой

огурцы, лук, соленую рыбу и хлебали получившуюся тюрю из общей чашки.

По субботам жители окраин большими компаниями, с узлами в руках, ходили в баню, а оттуда возвращались с вениками. «Бывало, целый день в субботу идет народ, и все с вениками в руках, словно это праздник веников, как бывает праздник цветов»^[249].

Строго соблюдали все посты и на неделе не ели скоромного по средам и пятницам. По воскресеньям и на праздники обязательно пекли пироги, а потом наряжались и шли к обедне. На выходе из церкви раздавали милостыню нищим. Воскресными вечерами зимой собирались всей семьей вокруг свечи и отец читал вслух псалмы и акафисты, а все домочадцы хором пели, как в церкви. По большим праздникам ходили на гулянья (в Вербное воскресенье — на Красную площадь, Первого мая — в Сокольники). На Святках большими компаниями с молодежью, в ковровых санях, ездили гостевать, а на Масленице отправлялись кататься в Рогожскую, где было грандиозное простонародное гулянье и где присматривали невест и женихов.

В театры в низовой среде очень долго не ходили, считая всякий театр «бесовским наваждением». Хотя очень многим хотелось посмотреть, «что это за штука такая», но — нельзя было, подобное любопытство совсем не одобрялось общественным мнением, а о молодой девушке, хотевшей пойти в театр, могла даже пойти дурная слава. Поэтому изредка, на Святой, Рождестве или Масленице, позволяли себе только балаганы и цирк — «ведь это все-таки „не всамделишный“ театр, и настоящего бесовского тут самый пустяк»^[250].

В самом начале века (до 1830-х годов) в московской низовой среде носили преимущественно народный костюм: сарафаны, душегреи, подпоясанные кафтаны

без ворота, армяки и пр. Потом все более активно начали осваивать элементы модного европейского платья. В 1840-х годах В. Г. Белинский писал: «Мещанство создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и русский, и иностранный типы головной мужской одежды, выростковые сапоги, в которых прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополым жидовским сюртуком и кучерским кафтаном; красная александрийская или ситцевая рубаха с косым воротом, а на шее грязный пестрый платок. Прекрасная половина этого сословия представляет своим костюмом такое же дикое смешение русской одежды с европейскою: женщины ходят большею частию (кроме уж самых бедных) в платьях и шалях порядочных женщин (то есть женщин высших сословий. — В. Я), а волосы прячут под шапочку, сделанную из цветного шелкового платка; белила, румяна и сурьма составляют неотъемлемую часть их самих, точно также, как стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы» ^[251].

Еще и в 1860-х годах горожанки из крестьянок продолжали носить в праздничные дни сарафаны, кисейные рубахи с пышными рукавами, позолоченные перстни со светлыми «глазками» и накидывали на плечи пестрые шерстяные платки.

К последним десятилетиям века обычный мужской костюм состоял из заправленных в сапоги штанов, цветной (а в будни «немаркой» сероватой или желтоватой) рубахи навыпуск, поверх нее жилетка, а поверх жилетки поддевка (иначе «чуйка») — что-то вроде легкого пальто в талию, длиной ниже колен. В самом конце века вместо поддевки чаще уже стали

носить пиджак. На голове картуз с козырьком. В подобное платье одевались и фабричные, и мещане, и «серые» купцы, что породило обиходное общемосковское прозвище «чуйка», обозначавшее простолюдина вообще, в том числе и человека неопределенного положения (не то купец, не то мещанин).

Женщины в будни ходили в платочках и ситцевых юбках с кофточкой-баской, а для праздников и «на выход» нередко заводили себе модное платье (порой и не одно) и даже шляпку. Московская мещанка Н. А. Бычкова, умевшая хорошо шить, вспоминала: «Я, конечно, очень нарядами не занималась (где мне в моем положении модничать?), а все ж таки отставать не отставала. Нет-нет, и сошью себе по картинке (из модного журнала. — В. Б.). Молода была, 17 лет»^[252].

Мужчины для праздничных случаев обзаводились сюртуком или костюмом-тройкой, но чаще для них признаками праздника по старинке оставались гладко примазанные квасом или коровьим маслом волосы, яркая рубаха и натертые чистым смоленским дегтем громко скрипящие сапоги.

Семейные нравы в низовой среде подчинялись патриархальной традиции: муж был главным над всеми домочадцами, а все семейные недоразумения разрешались рукоприкладством. «Отец, бывало, пьяный придет, давай мать учить, — рассказывала Н. А. Бычкова. — Избить всю — это учить называлось. Потому он муж, ему власть, а по пословице старинной — курица не птица, баба не человек.

Вся она-то, моя бедная голубушка, в синяках да в кровоподтеках ходит. Куда там жаловаться, кому! Потому всяк муж своей жене господин, а на венчаньи Апостол читается: „Жена да убоится своего мужа“. Он,

мол, тебе сапогом в живот, а ты молчи, он, дескать, твой кормилец и повелитель.

Что вы, разве можно у соседей укрываться было! Стыд и срам сор из избы выносить. Да и всюду такое творилось, по всей матушке-России мужья жен „обучали“. И бедные, и богатые... Боялась я его до смерти. Бывало, чуть заслышу: сапожищами гремит, — в угол аль под кровать забьюсь, дрожу вся со страху — вот-вот побоище начнется» ^[253].

Впрочем, битьем русского человека вообще было не удивить: не только мужья «учили» жен, а отцы и матери детей: секли учеников во всех казенных учебных заведениях и даже в семинариях, дрались офицеры в полках и мастера на заводах, пороли провинившихся простолюдинов в полицейских участках, и вообще «всыпать ума через задние ворота» долго считалось универсальным общерусским средством на все случаи жизни. «Мать меня... считала отчаянной. За всякие шалости расправа была короткой, — вспоминала актриса А. И. Шуберт, росшая в семье бывших крепостных „аристократов“ (отец ее был дворецким в барском доме) — пощечина, за ухо, за волосы, подзатыльник. Проглотишь и пойдешь, как ни в чем не бывало, и за обиду не считалось: всех били, без битья обойтись было нельзя» ^[254].

Справедливости ради следует добавить, что москвички «из простых» и сами часто были не промах: обладали громкими голосами, не лазили за словом в карман, виртуозно бранились и порой превращали семейное «ученье» в семейную же потасовку, из которой главным пострадавшим выходил как раз «кормилец и повелитель».

Грамоте дети мещан и мастеровых, а в первой половине века — и купцов, как правило, обучались у своего приходского дьячка. Начиналась учеба 1 декабря

— в день пророка Наума, или 1 октября, на Покров. Перед началом учения дома у ученика устраивали молебен, молились о преуспевании в науках, «о даровании силы и крепости к познанию учения и к познанию блага и надежды». Обучение производилось по веками отработанной системе: сначала заучивались названия букв, потом «склады» — двойные и тройные. Их осваивали, водя указкой по азбуке и громко повторяя вслух за учителем. (Указки эти были столь широко распространены, что продавались не только в писчебумажных и книжных, но даже в «овощных» лавочках.)

Вот как описывал процесс первоначального учения А. Н. Островский: «Наконец день пророка Наума приблизился, азбука была куплена; Максимка выточил указку; все было готово, оставалось приступить к науке. Для первого урока дьячок был приглашен на дом. Тут составила трогательная картина: помолившись Богу, усадили Кузиньку за стол и дали в руку указку, причем Кузя так горько и жалостно плакал, что возбудил сострадание во всех окружающих; посадивши верхом на нос очки, которых каждое стекло было немного меньше каретного колеса, поместился подле Кузи дьячок, кругом стола обступили мать, бабушка и Максимка, из дверей выглядывали домочадцы. Так началось ученье Кузиньки. Продолжалось оно не так торжественно. Каждое утро Кузя, надев сумку, наполненную книгами и булками, ходил к дьячку в сопровождении Максимки. Так ходил он ровно два года; а через два года кончил курс ученья, преподаваемого дьячком, то есть выучил азбуку, что называется от доски до доски, потом прочел часослов, а наконец псалтырь; тем и дело кончилось»^[255].

После освоения церковнославянской грамоты учили гражданскую. Книжная премудрость давалась с трудом.

Как писал И. А. Белоусов: «Я вспоминаю одного ученика — сына булочника из Замоскворечья, — ему так трудно давалась азбука, и так он ее возненавидел, что, проходя по Москворецкому мосту, утопил книжку в Москве-реке»^[256]. «Сначала в этой азбуке, — вспоминал А. Н. Островский, — буквы разных форм и размеров, потом всевозможные склады, потом целые слова; далее необходимые для жизни правила, как то: будь благочестив, уповай на Бога, люби Его всем сердцем; далее четыре стихии, пять чувств и наконец: „Помни последняя твоя — смерть, суд и геену огненную“»^[257].

Конечно, знание грамоты в низовой среде имело прежде всего практическое значение: вести учетные книги, правильно составить квитанцию, разобрать, что написано в повестке и т. п. Встречались, однако, и книгочеи, осилившие кое-что из классики («Тараса Бульбу», «Капитанскую дочку»), читавшие песенники и даже газеты — «Московский листок», «Новости дня», «Русское слово», где печатались с продолжением приключенческие и исторические романы Н. Пастухова, Д. Дмитриева, С. Рыскина и других авторов вроде «Разбойника Чуркина», «Самосжигателей», «Чурбановских миллионов» и «Московских трущоб».

Грамотный москвич мог продолжить образование. Для городского сословия с 1835 года у Калужских ворот существовало Мещанское училище. Содержалось оно за счет капиталов московского купечества и было предназначено для подготовки конторских служащих в коммерции. В нем имелось три класса; в каждом учились по два года. Выпускники, особенно учившиеся чистописанию у Порфирия Ефимовича Градобоева, были в купеческих конторах нарасхват.

С 1870-х годов в Москве стали появляться довольно многочисленные воскресные школы, в которых учили грамоте фабричных рабочих, мелких приказчиков и

сидельцев, мастеров и других представителей низших слоев населения. Для детей открылись городские и церковно-приходские школы, в которые принимали отпрысков ремесленников и крестьян. Как Мещанское, так и городские училища открывали дорогу к высшему образованию.

Впрочем, вся эта образовательная система была рассчитана главным образом на мальчиков. Женщины в низовой Москве по преимуществу были неграмотны.

Большинство детей низового круга, однако, дальше освоения грамоты не шли, и лет в 12-13 поступали в ученичество, «в мальчики». К этому времени детей мастеровых привозили в Москву из деревень, где они росли, и между хозяином и отцом ученика заключалось — чаще всего устное — соглашение об условиях выучки. Профессиональная специализация во многом зависела от места рождения ученика. Так, ярославцы чаще всего шли в трактирные заведения и в мелкую торговлю; тверитяне и кимряки — в сапожное ремесло, можайцы и рязанцы — в портные и шапочники, владимирцы — в плотники и столяры, туляки — в банщики. Во всех этих ремеслах и промыслах существовали землячества, и «чужому» непросто было проникнуть в их среду.

Девочке из городских низов можно было поступить учиться к «мадаме» в швейную или шляпную мастерскую.

Обязанности «мальчиков», равно как и «девчонок», были многообразны. Они должны были (особенно первое время ученичества) прибирать в доме и мастерской, выносить помои, носить воду, топить печи, рубить дрова, сопровождать хозяйку или кухарку на базар, чтобы нести покупки, бегать по многу раз в день в мелочную лавочку и за водкой и пивом для мастеров (пивом непременно «фрицовской фабрикации», то есть немецкого производства), нянчить хозяйских детей, помогать разгружать и разбирать рабочие материалы,

возить вместе с кухаркой полоскать белье к реке, бегать с поручениями и т. д.

Если учеников было много, устанавливались дежурства — дневальства, если же «мальчик» был один, вся нагрузка ложилась на него, и выдержать ее, конечно, было очень трудно.

Параллельно «мальчиков» потихоньку приучали к делу: сначала следовало освоить профессиональную позу и навыки работы с инструментами. К примеру, сапожник работал, сидя на низенькой круглой табуретке, сделанной из половины бочонка. Спина у него при этом была согнута, колени высоко подняты, работу он держал на коленях. Портной работал, сидя «на катке» — невысоком, сантиметров на 75 приподнятом от пола настиле, на котором удобно было раскладывать раскроенную материю. «Каток» занимал большую часть рабочего помещения, и мастерские размещались по его краям, свернув ноги калачиком. К такой позе требовалась длительная привычка. Свои тонкости были и в других профессиях. На этой первой стадии ученикам поручалась несложная работа: выдернуть нитки наметки, подшить, стачать, сварить клей, навощить дратву и т. п.

Собственное имя на время учебы приходилось забыть и обходиться данным мастерами прозвищем — «Пузырь», «Рябой» и т. п. Хозяин должен был снабжать «мальчика» рабочими инструментами, кормить его и одевать. На практике «одевание» ограничивалось теми вещами, которые ученик привозил с собой из деревни: все время учебы «мальчики» ходили в отрепьях: чаще всего в рваном суконном или стеганом халате (отчего их и прозвище в Москве было «халатники») и опорках на босу ногу (а чаще вовсе босиком), а домашнее носили, как «выходное», под конец безнадежно из него вырастая. Кормежка шла из общего с мастерами котла, но нередко сводилась и к пустым щам, каше с черным

«фонарным» маслом и спитому чаю с хлебом. «Ничего, ученику много жрать не полагается, ученье в голову не пойдет, а в брюхо»^[258], — говаривали мастера и хозяева.

За каждый промах и просто так, «для профилактики», ученикам и ученицам доставались многочисленные тычки и затрешины, отчего они большую часть времени ходили с красными распухшими щеками, а нередко и зареванные. «Пока обучишься да в люди выйдешь, бита-перебита бываешь, — вспоминала Н. А. Бычкова. — Лютые хозяйки были, мало того, работой морили да голодом, спать совсем девчонкам не давали и за малейшую провинность как Помидоровых коз лупили. Иная, бывало, в ученицах сидит, а сама только в мыслях имеет, как в мастерицы выйдет — над своей же сестрой измываться. Прямо так и говорила: „На ваших, мол, шкурах свои, мол, побои возмещать буду“... Тут одна хозяйка, Воробьева — Воробьихой звали, ох и люта была. Не раз, говорят, до мирового доходило»^[259]. Мастера давали оплеухи за сломанную иголку или недогретый утюг, мастерицы выдирали волосы за неисправно доставленную в ближайшие казармы любовную записку.

Кроме того, бедные «мальчики» постоянно становились объектами дурацких розыгрышей и болезненных «шуток».

«Эй, Косопузый, — скажет мастер, — вот тебе две копейки, беги в овощную лавку, купи там „пороссячьего визгу“, — рассказывал И. А. Белоусов. — Недавно попавший в Москву мальчик, ничего не подозревая, бежал в лавку... Молодцы-лавочники знали, в чем дело, и больно дергали мальчика за прядь волос у затылка, мальчик начинал визжать, кричать от боли и, наконец, вырывался и ни с чем возвращался в мастерскую. Мастера были довольны удавшейся шуткой»^[260].

Естественно, что подобный образ жизни выдерживали не все, и весьма нередко, помучившись какое-то время, ученики пускались в бега. В деревню вернуться им уже не удавалось: родители неизменно возвращали их обратно хозяину, и в конце концов бывшие «мальчики» пополняли собой армию бродяг и люмпенов, оседали на Хитровке или отправлялись по этапу в «места не столь отдаленные».

Наиболее выносливые из детей постепенно свыкались с жизнью в учении и органично вливались в городскую обстановку. Они становились постоянными посетителями всевозможных гуляний, летом играли посреди улицы в бабки, в пряники (нужно было разбить о лоток разносчика или просто о камень пряник на заранее условленное число частей), пускали кораблики в канавы и запруженные лужи, гоняли кубари; зимой сражались в снежки. Бойкие и нахальные, как все городские мальчишки, они шутки ради приставали к прохожим, особенно к женщинам, дергая их за платки, а когда посылали с поручением, норовили устроиться на запятках какого-нибудь проезжающего экипажа. Если кучер или хозяин выезда замечали их, мальчишки быстро соскакивали с задка и, «делая разные гримасы, бранили господина стрекулистом»^[261].

Через какое-то время учить «мальчика» начинали уже всерьез. Постепенно задания усложнялись, а домашней работы становилось меньше, и года через три из просто «мальчика» образовывался подмастерье, прикрепленный к определенному мастеру и осваивавший те же навыки, что и его наставник.

Лет через пять-шесть обучение заканчивалось. Из деревни вызывались родные бывшего «мальчика»; хозяин за свой счет справлял — теперь уже не «Рябому», а «Ивану Ивановичу» — полный «жениховый» гардероб и выдавал «награду»: 15-20 рублей. После

этого торжественно служился благодарственный молебен, новоиспеченный мастер устраивал «спрыски на выходе» и его увозили в деревню — женить. Месяца через три он возвращался в Москву и после новых «спрысков» вновь оказывался в своей (или какой-нибудь иной) мастерской, теперь уже на положении мастера.

Типичная ремесленная мастерская занимала часть дома или квартиры хозяина — «цехового». Помещаться мастерская могла в первом этаже — как с улицы, так и со двора, или в полуподвале. О ее наличии прохожих извещала вывеска с указателем. Над сапожным заведением традиционно помещался позолоченный сапог, над портняжным — раскрытые ножницы и т. п. В средней мастерской могло работать от пяти до десяти мастеров — по преимуществу из числа временно живущих в Москве крестьян и примерно столько же мальчишек-учеников.

Работа в мастерских начиналась в 5–6 часов утра (иногда и раньше). Первым обычно вставал хозяин, выходил в мастерскую и расталкивал мастеров. Те просыпались, умывались, пили чай — дома, от хозяина, или в трактире (в этом случае хозяин выдавал им необходимую сумму денег) и почти всегда одновременно опохмелялись. Ученики в это время занимались уборкой — чаю им не полагалось.

Работали утром до 12 часов; потом следовал обед. Ученики собирали на стол, резали хлеб, клали ложки. Из кухни в больших деревянных мисках приносили еду. Ели из общей миски тем же порядком, что и в семейном быту, — сперва все по очереди, начиная со старших по положению, хлебали жижу, поочередно зачерпывая ложками, потом, по сигналу старшего мастера, который стучал ложкой по краю чашки или произносил команду «Таскай!» — начинали по старшинству вылавливать по кусочку мяса. Слишком жадному, выловившему сразу два кусочка, полагалось мокрой ложкой по лбу.

Попадало и мальчишкам, норовившим зачерпнуть из миски прежде своей очереди.

«Работать наши ребята были молодцы, — вспоминал П. И. Богатырев, отец которого держал специфическое заведение — живодерню. — ...Кормили мы их всегда прекрасно: говядина первого сорта — аж по горло, каша, по праздникам пироги, а во время больших работ за обедом и ужином выдавалось достаточно вина. Чай два раза в день, а в праздники — три»^[262].

После обеда работали еще до четырех часов. Потом снова был чай — на сей раз за собственный счет (возвращались после «чая» сильно навеселе). Потом снова работали и нередко в это время пели или принимались рассказывать друг другу разные сказки и страшные истории, например, такую: «Какая женщина — ведьма, можно легко узнать: возьми в четверг на Страстной неделе борону и поставь в переулке, а сам иди в церковь, к Двенадцати Евангелиям. Как служба окончится, иди с зажженной свечой и сядь под борону, и сколько их есть в деревне, все одна за другой пройдут мимо бороны.

У нас один парень делал в деревне эту самую штуку. И как засел под борону, видит — несутся они, окаянная сила, будто вихрем их гонит. Целых пять ведьм прошли, а на него не глядят. И увидел он промежду них свою тетку родную.

— Ежели бы, говорит, кто сказал мне: „твоя тетка ведьма“, — в жизни не поверил бы, а тут своими глазами увидел.

Только парень сплеховал. Ему надо бы помалкивать, а он разблаговестил по всей деревне. А раз по пьяному делу поругался с теткой и говорит:

— Ты, чертова кума, порчу на людей да на коров напускаешь. — И рассказал, как ее видел из-под бороны.

Она и говорит ему:

— Ну, племянничек, ты это попомни, а я не забуду.

И вскорости после этого захирел паренек.

— Чую, говорит, кто-то по ночам кровь сосет из меня, а проснуться не могу...»^[263] Ну, и так далее.

Часов в 10-11 после ужина ложились спать — в том же помещении, где работали. Постель у каждого должна была быть своя: какая-нибудь подстилка вроде войлока, замызганное одеяло без пододеяльника и подушка в ситцевой наволочке, которую, как правило, не стирали годами. Узел с постелью каждый работник хранил где-нибудь в углу — под портняжным катком, под верстаком и т. п. Укладывались на полу или на рабочем столе, в зависимости от внутренней иерархии старшинства. На ночь не раздевались — снимали только сапоги и верхнюю одежду.

В воскресенья и обычные праздники отдыхали: зажигали лампадки перед иконами, поутру ходили в церковь, потом отправлялись «к куме» или в любимый трактир или кабак и возвращались поздно вечером сильно пьяные и нередко битые. По большим праздникам ходили на гулянья (мальчишкам хозяин выдавал по 15 копеек «на пряники»), иногда заглядывали в балаганы, а потом снова в трактир, а порой сперва в трактир — и до самого гулянья так и не добирались.

После Пасхи рабочие дни сокращались — полагалось «шабашить» с сумерками, а в начале осени — сразу после наступления темноты. Высвободившиеся часы, как правило, тоже проводили в трактире. «Только <сам> рабочий человек может объяснить вам, почему он <...> так скотски напивается в минуты отдыха, — писал Г. И. Успенский. — ...Заливание через край известного напитка совершается большею частью вовсе не с горя... неразвитому, неученому рабочему некуда

деть своего отдыха. После трудов, по большей части слишком однообразных, утомленные нервы... неизбежно, настойчиво жаждут приятного»^[264].

За пьянство, склонность к скандалам и пьяным дракам мастеровых (равно как и фабричных) в Москве не любили и при всяком слухе о скандале говорили: «Чего же другого и ждать от мастеровщины?»

Четырежды в год — перед Пасхой, Рождеством, Масленицей и Петровым днем — производился расчет за работу: хозяин вычитал из жалованья мастеров дни прогулов и взятые авансом деньги («чайные» и «банные» пяточки и «опохмелка» съедали обычно большую часть заработка) и долго торговался из-за остававшихся сумм. Если мастер был хороший и хозяину не хотелось его лишаться, то ему выдавалось не только заработанное, но и довольно приличный аванс — рублей 15-20, ну а «середнячкам» после долгого упрашивания удавалось разжиться 6-7 рублями. Особенно важно это было в Петров день, поскольку в летнее время практически все мастера разъезжались по домам, чтобы помочь родным в летних сельских работах, и возвращались только в августе. Само собой, ехать в деревню без гостинцев было не принято.

Жены и дети у мастеров оставались в деревне. Изредка жены (особенно молодые) приезжали в город проводить своих, но чаще супружеские свидания происходили во время летних визитов мужей, а в остальное время связь с деревней поддерживалась редкими письмами и еще более редкими денежными переводами. Во многих мастерских, особенно если мастера были из недалёких мест, деревенские каникулы устраивались по нескольку раз в году. К примеру, большинство портных ездили домой к Рождеству — на три недели, а вернувшись, работали до Масленицы. Масленичные каникулы длились неделю,

после чего работали до конца мая и снова отправлялись в деревню, где оставались до Покрова. Каждый приезд отмечался «сглаживанием половинки», то есть выпивкой полубутылки (или двух) с закуской: жареной колбасой, рубцом или печенкой, а потом это «покрывали лачком», то есть пивом, к которому закуской был моченый горох.

Частое и вынужденное холостячество городских мастеров заставляло искать утех на стороне, и редкий из них не имел в городе постоянной «сударки» или «кумы» — какой-нибудь вдовы или даже мужней жены, живущей врозь с мужем и работающей в женской мастерской или прислугой.

В середине сентября — чаще всего 8 сентября (ст. ст.) — в праздник Рождества Богородицы (хотя могли быть и другие числа) — в мастерских происходили «засидки» — то есть праздник начала рабочего года. К этому дню доставали и поправляли убираемые на лето лампы — мыли их, заправляли, меняли треснувшие стекла. В день засидок одевались по-праздничному, мазали волосы маслом и днем ходили в церковь. Вечером зажигали лампу и ждали выхода хозяина. Из «хозяйской» выносили угощение: колбасу, хлеб, селедку, нарезанный ломтями арбуз, яблоки, непременно огромную четвертную бутылку водки. Выходил принаряженный хозяин, становился перед иконой, возле которой по этому случаю возжигали лампадку, и громко читал молитву. Все истово крестились. Потом хозяин мог обратиться к мастерам с речью, благодаря за работу и желая дальнейших успехов — себе на пользу и хозяину не в убыток, и раздавал небольшую денежную «награду» — обычно по 30–40 копеек мастеру и по пятак на ученика, затем наливал себе водки, выпивал ее и приглашал мастеров угощаться. Все, включая детей, тоже выпивали по

стакану. Посидев немного с работниками, хозяин уходил к себе: у него в этот день обычно бывали гости.

Мастера распивали четвертную и уходили добавлять в трактир. Ученики доедали угощение, прибирались и усаживались играть в карты.

Пьянство после «засидок» могло продолжаться до трех-четырех дней, и за это время мастера чаще всего основательно пропивались. Ученики только и успевали бегать к закладчикам, которые принимали любые предметы одежды и обуви и охотно выдавали вместо них небольшие денежные суммы с придачей «сменки». Принесут, к примеру, сапоги — закладчик выдаст рубль и другие сапоги, похуже. В конце загульных дней мастер вполне мог остаться в затрапезном халате чуть не на голое тело и в опорках на ногах.

В целом быт в мастерских был неказистый. И. Е. Забелин описывал житье одного сапожника, у которого снимал угол: «Он жил на Солянке, в доме Терского в переулке в гору на Покровку, в нижнем этаже со сводами. И сам он очень теснился, занимая с женой очень небольшое помещение за стеклянной перегородкой от большой рабочей комнаты, в которой жили человек 8 рабочих, в том числе 4 мальчика.... Здесь я узнал, что такое ремесленный быт. Узнал шпандырь, липку и прочие принадлежности работ, полную зависимость несчастного хозяина от мастеров, которые пьянствовали, заказы не исполняли, ругались как ни есть хуже. При этом грязь, духота от кожи и махорки. Иногда веселые песни и благодушное расположение нравов и поведения... Стол был очень простой — щи да каша, что ели и рабочие, и хозяева. Каша была несменяема, а хлеба разнообразились. По воскресеньям жареный картофель или пироги... Рабочие или пели, или ругались, наказывали учеников, или

галдели так ни о чем, или хозяин кричал с ними, иногда брань хозяина с хозяйкой»^[265].

Владельцам мастерских полагалось иметь «промысловое свидетельство», в котором указывались род занятий и число работников в мастерской. Свидетельство стоило денег, и чем больше имелось работников, тем большую сумму приходилось за него выкладывать. Естественно, что хозяева всячески старались преуменьшить численность своих мастеров. Время от времени ремесленная или городская управа присылала внезапные проверки промысловых свидетельств, и каждый раз это вызывало легкую панику в мастерских. Либо все до единого хозяева вдруг оказывались в отсутствии, либо рабочие принимались усердно прятаться по чуланам и чердакам. Все успокаивалось, только когда присланный чиновник наконец уходил.

Уже в 1840 году в Москве числилось 2989 ремесленных заведений, а еще 198 заводов и 884 фабрики (в основном очень небольших), на которых работало 70 209 человек. Фабрично-заводскими районами были по преимуществу Кожевники, Пресня, Сущево, Преображенское, Рогожская слобода, а также Немецкая слобода с окрестностями и Лефортово. Позднее и число предприятий, и количество работников возросло в разы. Крестьяне, приезжавшие в Москву для работы на фабрике или заводе («фабричные»), подчинялись целому ряду специально разработанных полицейских правил.

В «Счетной книжке, выдаваемой... фабрикантами и заводчиками своим рабочим для ведения вернейших расчетов на фабрике или заведении», изданной в конце 1830-х годов с разрешения московского обер-полицмейстера генерал-майора Л. М. Цынского,

помещался текст типового договора рабочего с нанимателем:

«Работник... такой-то договорился жить (вписывались условия проживания, к примеру: на хозяйском содержании), от сего... числа в год 184... по число... 184... года ценою по... (вписывался размер заработка, например: 14 рублей) в месяц, никуда не отходить, быть в послушании, прогулы, пьянство, самовольство, лености не делать, исполнять как значится в напечатанном при сем Общем правиле, все поступки вписывать в сей книжке в штраф или представлять начальству. Срок паспорта число... 184... года». Ниже помещались «Общие правила, объявленные от конторы»:

«На основании Указа 24 мая 1835 года Высочайше утвержденного положения об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму...

Определяющийся на фабрике обязан каждый жить на оной до истечения срока своего паспорта....

Все рабочие должны каждый явиться к работе в назначенное время в течение десяти минут.

Не явившийся на работе за пьянство поутру до обеда штрафуются двумя рублями, а за целый день пятью рублями.

В праздничные дни должен каждый быть дома в 10 часов летом, а зимою в 7 часов вечера.

В рабочие дни никто не может сойти со двора; ежели случится надобность в том, то обязан просить позволения у хозяина или приказчика.

Никто не может принимать к себе знакомых, ни земляков в корпус или кухню, не получив позволения от хозяина или приказчика; виновный штрафуются 2 рублями.

За неисправную работу штрафуются по усмотрению хозяина и мастеров.

В мастерских рабочими соблюдается тишина и спокойствие, а нарушители оно́го штрафуются каждый пятью рублями.

Рабочие нигде в заведении не могут курить табаку; ежели откроется виновный, то штрафуются двумя рублями в первый раз, а в другой раз штрафуются пятью рублями и ссылаются <с фабрики>.

Виновный в краже предается суду полиции.

За открытие кражи выдается каждому кто откроет или поймает вора 2 рубля в награду...

По очереди находится дневальный в каждой мастерской, который имеет обязанность наблюдать... за чистотой, нарушителя... тотчас объявляет, а за укрытие штрафуются двумя рублями.

Никто не смеет приносить в корпус и кухню ни в праздник, ни в будни никаких напитков; виновный штрафуются пятью рублями.

Воспрещается кулачный бой, борьба и всякого рода невежества и буйство, а равно игра в орлянку, в карты на деньги и прочие противозаконные игры не позволяются, а нарушители оно́го штрафуются по мере вины.

За грубость же, дерзкие поступки против хозяина или приказчика неминуемо подвергается представлению к полицейскому начальству для строгого наказания.

Ежели в случае проверки товара на фабрике или в заведении находится пропажа, то за оно́е по мере пропажи с каждого вычтено будет по расчету, и обязываются все друг за другом смотреть, чтобы оно́е не случилось, а кто вора поймает, тот получает в награду 5 рублей» ^[266].

Патриархальность, присущая ремесленным мастерским, первоначально была свойственна и фабричной жизни. Вплоть до 1850-х, даже 1860-х годов

хороший фабрикант считал своим долгом лично обучиться всем тонкостям производства, чтобы уметь делать все то же, что и его рабочие. Особенно в этом отношении выделялись владельцы ткацких фабрик, среди которых были и весьма искусные ткачи. В отношениях с рабочими у большинства фабрикантов возникали столь ценимые вообще в России почти семейные отношения. Фабрикант «стоит в близком отношении со своим рабочим, — писал Н. Скавронский, — ...он нередко делит с ним и радость, и горе: есть лишняя копейка — и выпьют вместе, нет — работник и подождет на хозяине. „Ничего, брат, ничего, с кем не бывает!“ Нередко и едят они вместе, работник и с хозяйкой речь ведет, хозяин и хозяйка иногда даже и крестят у работника»^[267]. При этом в фабричный быт переносились нравы и обычаи небольших мастерских: рабочий был неприхотлив в быту и жил на казарменном положении рядом со станком (нередко и спал на верстаке или наборном столе), ел в хозяйской «застольной» что дадут, не требовал ежемесячного расчета и работал ненормированный день, сколько требовалось. При этом хозяин был его постоянным заступником перед властями, помогал в случае какой-либо экстренности и делом, и деньгами, призывал, если требовалось, вдов и сирот своих работников, прощал мелкие прегрешения и на праздники, иногда довольно надолго, отпускал в деревню. Трудно себе представить, но на протяжении первой половины века большинство московских предприятий на лето просто закрывалось: после Петрова дня на них некому было работать.

Выплата зарплаты рабочим в то время производилась два-три раза в год, обычно перед большими праздниками. «Перед закрытием фабрики, в начале Страстной, производился полный расчет с рабочими, причем со всех, с кого полагалось,

удерживали штрафы за весь год, — вспоминал Ю. А. Бахрушин. — ...Вот рабочий получит жалованье, узнает свой штрафной вычет и начнет ныть или доказывать, что он не виноват, тогда ему говорилось:

— Мы ничего не знаем, ступай к Александру Алексеевичу, он уж там разберет!

Рабочий к папаше:

— Я к вашей милости!

— В чем дело?

— Да вот как же... — И начнет объяснять расчет штрафа. Говорит долго, нескладно. Папаша все слушает, потом начнет задавать вопросы, узнавать все подробности дела. В заключение отеческую нотацию прочитает и, судя по всему делу, либо совсем штраф простит, либо облегчит — вместо пяти рублей наложит рубль, а вычтенное сейчас же возместит из кармана — это уже деньги не фабричные, а папашины личные. Только одного рода штрафы никогда не прощались — это штрафы, наложенные за испорченный товар» ^[268].

Сыновья хозяина играли в детстве вместе с детьми рабочих, точно так же, как дворянские дети с дворовыми. На Святках хозяева вместе с рабочими рядились, как положено, и медведями, и козами, грузились в тройки и отправлялись куда-нибудь к знакомым «Христа славить». На Пасху рабочие неизменно являлись к фабриканту домой христосоваться, а те, что отправлялись на побывку в деревню, по возвращении задаривали хозяев домашними холстами, шитыми полотенцами, деревенскими яйцами, салом и маслом. Одиноким стариков из числа заслуженных рабочих пристраивали к кому-нибудь из хозяев на тихую и спокойную должность, почти не требующую дела: каким-нибудь дворником, единственная обязанность которого заключалась в том, чтобы по праздничным дням

надевать чистый фартук с медной бляхой и стоять у ворот. Широко практиковалось и создание небольших богаделен для таких стариков.

Даже на больших предприятиях «хозяева, — вспоминал Ю. А. Бахрушин, — смотрели на фабрику со всем ее живым и мертвым инвентарем как на свою неотъемлемую собственность... Поэтому почти весь состав прислуги хозяев комплектовался из числа фабричных рабочих, таким же путем назначались старосты и управляющие в постепенно приобретенные имения и усадьбы. При весенних переездах из города в деревню было принято безотказно пользоваться гужевым транспортом фабрики. Когда по дому случались какие-либо неполадки, то немедленно посылалось на фабрику за Сережей-кровельщиком, за Ваней-монтером или Сеней-штукатуром, которые мигом устраняли дефекты в домохозяйстве.... Мой отец, приняв на себя директорство над фабрикой, начал было решительно бороться с этим порядком, но встретил такой дружный отпор и со стороны эксплуататоров, и со стороны эксплуатируемых, что принужден был отказаться от всякой борьбы, капитулировать и следовать в этом отношении примеру остальных» ^[269].

Старый рабочий вспоминал о старике-фабриканте кожевнике П. А. Бахрушине: «Петр Алексеевич, Царство ему Небесное... каждый день, бывало, фабрику обходит — утречком и после пяти вечера. Очень любил отделение, где большие кожи выделывали. Веселый был и доброй души. Увидит рабочего с сигаркой, а тогда насчет куренья на фабрике строго было, уж больно много везде корья разбросано было, — не ровен час, упаси Господи, загорится, подойдет сзади тихонько, хлопнет по плечу и скажет шепотком: „Брось курить-то, а то невзначай молодой хозяин увидит и оштрафует“. Да подмигнет этак глазом... А то кто из

рабочих, из молодых особенно, бывало ежели в куренье попадется да в штрафной книге его пропишут, то сейчас к Петру Алексеевичу — так, мол, и так. Он сейчас вызовет приказчика и скажет: „Послушай, голубчик, сделай мне личное одолжение, зачеркни штраф-то его, а я уж тоже постараюсь тебе чем-нибудь отслужить“»^[270].

Естественно, не везде отношения между работодателями и работниками были столь идиллическими, но патриархальность была идеалом, которому большинство старалось соответствовать, а там, где такие отношения не складывались, и текучесть кадров была выше, и качество работы хуже; не говоря уже о том, что фабрикант в этом случае испытывал к себе неприязнь, а его фабрика была постоянным источником угрозы социального конфликта.

Брали на фабрики и учеников, для чего заключались такие, к примеру, «условия», как на фабрике А. Ф. Бахрушина (относятся к 1845 году):

«1) В ученики принимаются крепостные и другого звания люди не моложе 18 лет и остаются на заводе пять лет.

2) Поступив на завод, они должны быть снабжены узаконенными видами, иметь приличную одежду и внести хозяину единовременно пятьдесят рублей серебром.

3) Во все время пребывания их на заводе они снабжаются от хозяина одеждою, обувью и здоровою пищею, также пользуются банею.

4) Хозяин принимает на себя наблюдение за успехами в обучении и за доброю нравственностью учеников, которые обязаны прилагать всевозможное старание и безусловно ему повиноваться.

5) Ученики, которые по лености или неспособности, и особенно по дурной нравственности, не подают

надежду к успешному обучению, исключаются»^[271].

Рабочие традиционно очень ценили доверительный, «отеческий» тон своего работодателя и благодарно воспринимали малейшее проявление заботы с его стороны. Характерна в этом отношении ситуация, зафиксированная Е. З. Барановым.

Рабочий-мраморщик рассказывал ему об известном московском подрядчике — строителе Петре Ионыче Губонине: «Брался он за самые что ни на есть трудные и самые грязные работы. Что ни болота, то ему и подай, что ни камни, горы, трущобы — подавай ему, он ни от чего не откажется. И представит тебе работу, как в чертеже указано. А работал на совесть, прочно. Понимающий инженер глянет и, хоть не знает, что тут Губонин работал, а сейчас скажет:

— Губонина глаз смотрел, Губонина рука направляла.

Дело свое Губонин тонко понимал. И такого обычая держался. Собьет, бывало, артель человек в пятьсот, а то и больше...

— Вот что, говорит, ребятушки: работа будет тяжелая и грязная. Я, говорит, не хочу вас обманывать, а наперед объявляю: тяжеленько придется. Но только, говорит, надеюсь на вас, как на каменную гору — не дадите вы меня в обиду.

Тут рабочие и закричат:

— Не дадим, Петр Ионыч!

А он снимет картуз и поклонится им:

— Спасибо, говорит, ребятушки. Только, говорит, работа от нас не убежит, успеем наработаться, а давай-ка сперва попьем, погуляем...

И выкатит сорокаведерную бочку водки, а солонины — ешь до отвалу! И тут примутся ребята гулять — недели две пьют без просыпу, а как отгуляются, тут

только держись! По пояс в болоте стоят, в грязи копаются, а работают.

У другого подрядчика давно бы сбежали с такой работы, а у Губонина ничего, сойдет. А какой заболит от простуды, сейчас ему чайный стакан настойки на стручковом перце. Вот он дернет и ляжет, с головой укроется. Пот и прошибет его, болезнь потом и выйдет... Ну, и умирало немало народу — и настойка эта не помогала...

Ну и работают, бьются. А кончат — Петр Ионыч опять картуз снимет и поклонится:

— Спасибо, говорит, ребятушки, молодцами работали.

И опять такое же угощение. Ребята пьют, а к Губонину денежки плывут»^[272].

Во второй половине века рабочий день на московских фабриках длился от 10 до 13 с половиной часов. На бумагопрядильных и бумаготкацких производствах часто встречалась трехсменная система: каждая смена по 6 часов. При круглосуточной работе предприятия часто трудились неделю ночь, неделю — день. Воскресенье повсеместно было выходным днем; в субботу чаще всего работали до обеда. Помимо воскресных дней отдыхали по праздникам — на Рождество и Новый год, на Крещение, Сретение, Благовещение, на майского и декабрьского Николу, на Петра и Павла, в Ильин день, на Преображение, на Успение Богородицы, на Покров и т. д. Всего выходило 19 обязательных праздничных дней. Помимо этого, на разных фабриках праздновали и в другие дни — на именины хозяина, на Рождество Богородицы, на праздник Казанской иконы Богоматери и др. Пасху могли отмечать где два, где четыре дня, Масленицу — от 1 до 3 дней (помимо воскресенья). Так набегало еще от 10 до 20 дней, а кое-где и больше (на фабрике

Коншина, на мануфактуре Зимина таких дополнительных праздничных дней было по 22). Проводилось большинство выходных и праздников в среде фабричных довольно однообразно. «Воскресные и праздничные дни, — живописал Д. А. Покровский московские фабричные окраины, — ...отличаются редким оживлением: трактиры и кабаки по целым дням держатся как в осаде, на тротуарах нет прохода от „публики“, притом самой „серой“, полиция теряет голову, всюду слышится традиционная гармонья под аккомпанемент полупьяных песен, фабричная сволочь дает полную свободу своему непристойному жаргону, и горе добропорядочному обывателю, если он, особенно под вечерок, вздумает прогуляться с женой, сестрой, дочерью по оживленной улице, не заткнувши им крепко-накрепко уши ватой»^[273]. (Как и большинство современников, Покровский фабричных и мастеровых не любил.)

В послереформенное время уже почти не встречалось предприятий, где бы рабочих отпускали на рождественские или пасхальные каникулы, поэтому на фабрики шли в основном те крестьяне, которые жили поблизости от Москвы и могли быстро добираться домой. Кое-кто из фабричных стал в это время обосновываться в городе на постоянное жительство — строили или снимали домики или квартиры, выписывали семью.

Все же большинство рабочих продолжали жить несемейно и при фабриках. Ткачи, столяры и некоторые другие при этом продолжали по традиции ночевать прямо на рабочем месте: на станке или верстаке, но на большинстве предприятий заводились так называемые рабочие спальни, то есть фактически казармы, в которых помимо собственно спальных помещений, уставленных нарами, имелись общая столовая и кухня.

Жилищные условия на большинстве предприятий были очень плохими — в таких казармах было грязно, жарко и тесно. Спали на ничем не покрытых нарах, подстилая собственный полушубок, нередко по несколько человек на одном лежаке, кое-где даже без разделения полов — мужчины и женщины вперемежку. В своих «Очерках фабричной жизни» А. Голицынский описывал такую общую казарму — «кухню» на фабричном жаргоне (потому что в этом же помещении и готовили, и ели): «Все — бабы, девки, молодые парни, дети, старики и старухи — все помещались в одной кухне и спали вповалку, друг возле друга, кому где оставалось место»^[274]. Подобные места много способствовали тому, что нравы «фабричных» считались, и не без основания, исключительно «циничными» и распущенными.

При работе посменно одни и те же нары часто занимали люди, работавшие в разные смены, то есть у рабочего не было никакого своего угла.

Лишь в 1880-х годах стали кое-где появляться более благоустроенные казармы (на золотоканительной фабрике Алексеева, на красильно-набивной Кузьмичева и некоторых других), где спальня помещения были более просторными, с большими окнами, что обеспечивало свежий воздух, хорошо протапливаемые и относительно комфортабельные. Каждому рабочему здесь выдавалась постель — тюфяк, подушка и белье, а также спальная одежда, в которую полагалось переодеваться, придя из цеха, — рубаха и портки. В таких усовершенствованных казармах следили за порядком: трижды в день выметался пол, дважды в неделю пол мыли, еженедельно меняли постельное белье. Было отделение для семейных. Имелись собственная баня и благоустроенные уборные.

Если за проживание в казарме рабочие ничего не платили, то кормиться в послереформенное время им

уже чаще всего приходилось за свой счет. Лишь на самых маленьких предприятиях сохранялись традиционные ранее «хозяйские харчи». В большинстве же случаев на фабриках среди холостых рабочих (семейным, естественно, готовила жена) процветала артельная система. Несколько рабочих одной специальности (или земляков, или одинаково получающих) сообща выбирали старосту и нанимали кухарку. Староста получал с каждого артельщика взнос — обычно от трех с полтиной до четырех рублей в месяц и на эти деньги закупал провизию, следил за приготовлением еды и вел «ерэстр» (реестр) прихода и расхода. За труды ему полагалось небольшое вознаграждение — по 5-20 копеек с человека. Иногда вознаграждение таким старостам шло и от фабрики, через контору. Новый член артели, кроме того, делал взнос за посуду (1 рубль) и на «спрыски» всем артельщикам.

Поступая на фабрику, рабочий оговаривал срок, на который пришел. Заработок заметно варьировался в зависимости от вида производства и профессии. Так, кузнец мог заработать до 40-50 рублей в месяц, ткач — до 20 и даже 50 рублей (на шелкоткацком производстве). Средняя зарплата шлифовщика была 35-40 рублей, слесаря — 25, токаря — 20-25, печатника — 15-20, наборщика 20-35 рублей. Гвоздильщик зарабатывал от 70 до 190 рублей в месяц.

На предприятиях на неквалифицированных работах широко применялся детский труд (встречались, хотя и редко, дети до 10-летнего возраста, хотя большинство шло работать на фабрики лет в 12). Заняты были — на более легких и дешевых работах — и женщины, в основном незамужние. Заработок детей и женщин был на порядок ниже, чем мужской. Дети вырабатывали не больше 5 рублей в месяц, женщины — до 10 (ткачихи — до 20) рублей.

Теперь зарплата — на фабричном жаргоне «дачка» или «выдача» — выплачивалась в некоторых местах ежемесячно (раз в месяц), а в других — несколько раз, от двух до семи, в год. За хорошую работу или особые заслуги (равно как перед именинами хозяина или каким-либо торжеством в его семье) могла полагаться «награда» (премия), но чаще, и значительно чаще, рабочих штрафовали, так что к моменту «счетов» в активе у них оказывалась совсем смешная сумма. Штрафы по-прежнему полагались за брак и порчу фабричного имущества, за опоздание на работу (от 10 до 25 копеек в зависимости от частоты опозданий), за пьянство, за шум на фабричной территории и т. д. Крупный вычет полагался, если работник увольнялся раньше оговоренного срока.

В большинстве своем московские фабриканты по старинке не обращали внимания на бытовую сторону жизни своих рабочих, потому что так было «исстари заведено», и тем самым рубили сук, на котором сидели. Изменилось время, неизбежно уходила старинная патриархальность в отношениях рабочего и работодателя; требовалась какая-то новая система взаимоотношений. Но складывались эти новые взаимоотношения очень медленно, что и стало причиной обострения «рабочего вопроса» и социальных конфликтов. Лишь наиболее прозорливые из фабрикантов замечали, что при улучшении жилищных условий и проявлениях заботы о работающих заметно уменьшалась текучесть кадров и улучшался их качественный состав — опытные и женатые явно дорожили таким хорошим местом и держались за него. (Можно сказать, что само понятие «кадрового рабочего» возникло на тех предприятиях, где лучше были условия работы и проживания.) На таких предприятиях уже в 1870-х годах стали появляться пенсионные фонды, богадельни, воскресные школы,

библиотеки, кассы взаимопомощи и другие учреждения, призванные повысить уровень квалификации рабочих и в конечном счете принести выгоду хозяевам.

Большую известность имела в последних десятилетиях XIX века фабрика Павла Семеновича Малютина в подмосковном Раменском, резко выделявшаяся на общем фоне московских и подмосковных фабрик своей заботой о рабочих. «В этом райском уголке фабричного труда, — писал Д. А. Покровский, — рабочие пользуются и медицинской помощью, и бесплатно аптекой, и школой, и, кажется, читальней, и дешевыми продуктами из фабричной лавки по оптовым ценам, и сберегательною кассой, и даже — семейные и женатые из них — отдельными квартирами!» ^[275]

Глава десятая. «НЕХОРОШИЕ» МЕСТА И ИХ ОБИТАТЕЛИ. МОСКОВСКОЕ «ДНО»

«Золотая рота». — Московские тайны. — Грачевка. — Еще одна «Волчья долина». — «Крым». — «Труба». — «Билетные». — Великосветские сводни. — Толкучка. — Нищие: ерусалимцы, севастопольцы, горбачи и другие. — Дом на Варварке. — Шиповская крепость. — «Зиминовка». — Хитров рынок. — Работный дом. — Заработки хитрованцев. — Ночлежки. — А. К. Саврасов. — Благотворительные столовые. — Нищелюбцы. — Грабиловка. — Московские мосты. — «Понятия». — Криминальная специализация. — «Червонные валеты»

На протяжении всего XIX века в Москве всегда было достаточно мест, заселенных беднотой — как мелким мастеровым людом, так и разного рода голытьбой, выразительно именовавшейся «золотой ротой» (потому что голое тело то и дело «сверкало» у них сквозь лохмотья) — бродягами, пропойцами, безработными, проститутками, нищими, а также уголовниками. Эти трущобные районы находились в основном по окраинам города, хотя отдельные островки бедности встречались и в самом центре. Сюда стекались обитатели дна общества, и эти места имели свое специфическое лицо и пользовались в городе недоброй славой: появляться здесь было не безопасно.

Одним из наименее фешенебельных районов Москвы на протяжении всего века были Грузины. Когда с легкой руки Эжена Сю с его «Парижскими тайнами» и Александра Дюма, написавшего роман «Парижские могикане», где действие происходило в парижских трущобах, в европейской литературе началась мода на аналогичные сюжеты («модная „трущобщина“», как тогда выражались) и пошли гулять всевозможные «Лондонские», «Варшавские», «Лионские» и прочие «тайны», в Москве сюжеты подобных произведений (какие-нибудь «Московские тайны и трущобы») черпали именно в Грузинах, где неказистые домишки сплошь да рядом служили притонами беглых из Сибири «варнаков» и другой темной и криминальной публики. Здесь было много по-настоящему глухих мест, особенно на пустырях вблизи заросших оврагов, по которым протекали речки Бубна и Кабаниха. Видимо, не случайно две улицы вблизи Грузин долго носили названия Большой и Малой Живодерки. Как писал С. П. Подъячев, еще и в 1880-х годах «с Живодерки... грязной, вонючей, узкой, плохо освещенной, часто неслись по ночам отчаянные вопли: „Ка-а-раул! Гра-а-бют!“»^[276]. Однако присущая Москве пестрота сказывалась и здесь: в этом районе долго жил мирный лексикограф Владимир Даль (в Грузинах), а на Большой Живодерке в 1820-х годах — поэт князь Петр Вяземский.

Еще одним знаменитым на всю Москву трущобным районом была Грачевка (или Драчевка — по стоявшему здесь в древности храму Николы в Драчах). Этот район находился между Сретенкой и рекой Неглинной, которая в конце XVIII века была переведена из естественного русла в канал, обсаженный деревьями, а в 1810-х годах — взята в подземный коллектор. На месте реки устроили Цветной бульвар. Уже в XVIII веке

здесь, рядом с Трубной площадью, находился центр московской нищеты, и в глубине квартала в переулках текла жизнь городского дна. Как писал М. Воронов, «это исконная усыпальница всевозможных бедняков, без различия пола и возраста... Спившиеся с круга дворовые и иные люди, воры (жулики) всевозможных категорий и рангов, дотла промотавшиеся купеческие и чиновничьи дети, погибшие и погибающие женщины, шулера, нищие, старьевщики, тряпичники, шарманщики, собачники, уличные гаеры и пр., — подобная-то рвань ежедневно выползает на свет божий из грязных, сырых и вонючих домишек... На каждой сотне шагов вы непременно встретите полсотни кабаков, пивных лавок, ренсковых погребов и тому подобных учреждений» ^[277].

Участок Неглинной рядом с «Трубой» с конца XVIII века и почти до 1880-х годов назывался москвичами «Волчьей долиной». Вплоть до 1810-х годов здесь в зарослях вечерами прятались грабители и нападали на прохожих. Было у них здесь неподалеку и сборное место в популярной в определенных кругах «полпивной», тоже называвшейся «Волчья долина» и стоявшей на том месте, где позднее построили ресторан «Эрмитаж». Это заведение просуществовало до 1830-х годов, а после его ликвидации «Волчьей долиной» стали называть другой разгульный трактир, находившийся у Большого Каменного моста, о котором в свое время уже шла речь.

Подозрительные обитатели полпивной вскоре облюбовали другое заведение, которое с 1840-х годов стояло на противоположном конце площади. Трактир «Крым» («Крымка») был также известен под именем «Грачевки» («Драчевки») или «Крымского ада».

В «Крым» вело два входа: один, главный, с Драчевки (Трубной улицы), другой с Цветного бульвара. Трактир

располагался на двух этажах — наверху если не почище, то посветлее («дворянское» отделение), и публика попримягднее. Внизу (собственно и называвшемся среди постоянных посетителей «Адом») собирались откровенные золоторотцы — опухшие, вонючие, потерявшие человеческий облик. В обоих этажах: сводчатые, в подтеках, потолки, никогда не мытые окна, полы, усыпанные песком, запах кухонного чада, смешанного с перегаром и вонью махорки и немытого тела. Половые с битыми рожками, вышибала с большой дубиной, много женщин в разных стадиях алкоголизма. Сквозь дым едва пробивался свет нескольких газовых рожков; табачный дым ел глаза. Здесь «для веселья» пел хор солдат-песельников в сопровождении бубна, скрипки и кларнета.

Сво-во праздничка дождю-ся.
Во гроз-на му-жа вцеплюся!
Во гроз-на му-жа вцеплюся,
Насмерть раздеруся! —

старался-выводил солист, — и «О-о-о-ох! Насмерть раздеруся!» — браво подхватывал хор.

Веселье стояло такое, что дым коромыслом: какой-нибудь подпивший мастеровой в халате и сапожных обрезках на босу ногу, блестя глазами и чудом удерживая на затылке потасканную фуражку, наярывал трепака, и когда хор с молодецким присвистом, покрываемым трелями бубенчиков бубна, кончал песню, плясун тоже, с картинным притопом, застывал, эффектно разведя руки. От восторга «весь Крым бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь:

— А-а-атлична! Подать солдатам водки на пять целковых!...»^[278].

Обычным явлением в «Крымке» были пьяные драки, перераставшие в многолюдные побоища, к которым завсегдаи относились философски, говоря: «Кто в „Аду“ побывает, тот и адские мытарства узнает! Иначе нельзя! Порядок того требует». По аналогии с названием трактира буфетчика в нем называли «вельзевулом» или «сатаной», половых — «чертями» или «дьяволами», завсегдаи же его величались «грешниками»^[279].

Со стороны Цветного бульвара попасть в «Ад» можно было через коридор, именуемый «Адскими кузницами». Здесь по обе стороны коридора были понаделаны небольшие клетушки — «каюты», использовавшиеся и для свиданий, и для ночлега.

Поближе к ночи в «Аду» собирались и люди посерьезней: налетчики, медвежатники, профессиональные шулера и нередко прямо отсюда шли «на дело». Полиция знала о такой роли «Грачевки», но накрыть никого не пыталась: здесь имелись тайники и скрытые ходы, ведущие в старинный, еще екатерининского времени, уже не действующий к середине девятнадцатого века водовод, что позволяло быстро и в буквальном смысле «смываться» и успешно соблюдать конспирацию. Кстати, благодаря этой особенности трактира, здесь в 1860-х годах собирались революционеры-ишутинцы.

«Крым» просуществовал до 1880 года, потом был перепродан, отремонтирован, а вновь открывшись, и выглядел иначе, и носил другое название. В 1890-х годах верхняя его часть была занята частью рестораном, частью меблированными комнатами, а внизу были устроены лавки, портерные и закусочные.

«Фартовые» (общее название уголовников) попроще — карманники, форточники, «трубочисты» — предпочитали трактир «Воробьевка», тоже недалеко

от «Трубы»: он находился на Петровке, в сохранившемся донине доме, выходящем торцом на Петровский бульвар.

Как Грузины, так и «Труба» славились в Москве девятнадцатого века своими «веселыми домами» и гулящими девицами.

Вплоть до 1840-х годов публичные дома в России существовали нелегально и обычно маскировались под добропорядочный семейный дом, где «почтенная» вдова-хозяйка бывала окружена вереницей «племянниц» или «приживалок», или под швейную мастерскую с несколькими молоденькими и хорошенькими «мастерицами». Проститутки-одиночки нередко тоже числились в какой-нибудь мастерской (швейной, кондитерской и т. п.).

Тот «веселый домишко» с толстой сводней и парой «воспитанниц», который описан в поэме Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед», находился в Грузинах, во всяком случае, насколько можно судить по маршруту следования («Кузнецкий мост, и вал, Арбат, и Поварская...» — и еще немного, чтобы доехать до Грузин). Здесь же чуть позднее было подобное же заведение, описанное уже Лермонтовым в поэме «Сашка»:

... «На Пресню погоняй, извозчик!»...

Но вот уже пруды...

Белеет мост, по сторонам сады...

... и вот конец

Перилам. — «Всё направо!» — Заскрипели

Полозья по сугробам, как резец

По мрамору... Лачуги, цепью длинной

Мелькая мимо, кланяются чинно...

Вдали мелькнул знакомый огонек..

Проститутки-одиночки уже с конца XVIII века селились в окрестностях Драчевки и на Козихе и ходили ловить клиентов «на Трубу» — на Петровский и Рождественский бульвары. Каждый день, начиная с утра и особенно, конечно, вечером, здесь можно было встретить большой ассортимент «девок» на все вкусы и кошельки и при желании проследовать за ними на снимаемую ими квартиру. «Я отправился было домой, но в голове была блажь; я захотел послоняться по бульварам. На Трубном бульваре гуляли искатели приключений и ощущений, — записывал в своем дневнике в 1854 году купец П. В. Медведев. — Я был не прочь от интрижек, две черные тальмы привлекли мое внимание, в сумраке рисовались поэтически, как будто испанки, но когда я вгляделся хорошенько, то оказалось — две старые венеры; прочь от них и по бульвару, мимо „старой избы Кокорева“, по Самотечному пруду бульваром, напал на ночную дульцинею. На разыгравшееся воображение довольно было; прикрываясь темнотою ночи, об руку у Корсакова сада белый дом с приветливыми огоньками скрыл нас на сладострастном randevu, и бес, стоя за перегородкою, смеялся своим адским смехом»^[280]. По излюбленным местам расселения легкомысленных девиц их в начале века иронически называли в Москве «княжнами Трубецкими и Козицкими».

После того как в 1843 году были узаконены публичные дома, размещать их стали в традиционных местах — в районе Живодерки и в окрестностях Трубной площади. В разное время очагами московской проституции были также Яузская набережная и Дербеневка (клиентами здесь были мастеровые и фабричные), но потом веселые дома отсюда выселили на ту же Трубу. Борделей здесь была масса, целые переулки, — от дешевых, «двугривенничных», для

простонародья (сосредоточенных в основном в Нижнем Колосовом переулке (нынешнем Малом Сухаревском), до дорогих и «шикарных» «пятирублевых».

До 1880-х годов здесь существовали и притоны, и «нумера», и соответствующего пошиба трактиры с «кабинетами». Вечерами на Петровский, Рождественский и Цветной бульвары в изобилии высыпали пестро разряженные местные обитательницы — и живущие в борделе, и работающие от себя, то есть обычно на сутенера. Здесь же собирались потенциальные клиенты: от мужика-крестьянина и мастерового до приказчика, офицера, студента, именитого купца. Звучали смех и пьяные выкрики, из ярко освещенных окон в переулках вырывались то развеселое пиликанье скрипок и бречание фортепьяно, то звон бьющихся зеркал и звуки скандала...

В заведениях продажной любви нередко прятались у подружек-марух все те же беглые каторжники-«жиганы». «Пошаливали» и в самих притонах: при случае подгулявшего клиента здесь могли опоить, подсыпав наркотик («посадив на малину»), оглушить, до нитки ограбить и бросить где-нибудь на улице, а порой и в буквальном смысле слова «спрятать концы в воду»: через люки на Цветном бульваре нетрудно было спустить бесчувственное или мертвое тело в Неглинку. Об этом рассказывал В. А. Гиляровский, а он знал, о чем говорил!

Проститутки подчинялись особым правилам. Занявшись этим ремеслом, они обязаны были сдавать свой паспорт в полицию и взамен него получали удостоверение — «желтый билет». (Почему и сами девицы именовались в просторечии «билетными».) В этом документе среди прочего имелось место для отметок о состоянии здоровья, поэтому раз в месяц каждая из московских проституток отправлялась в

назначенный для этого Частный дом, где ее осматривал полицейский врач.

Известная революционерка Е. Брешко-Брешковская, сидевшая под арестом в Суцевской части, вспоминала, как плац перед домом «заполнялся дважды в неделю, когда у здания части в длинную очередь выстраивались проститутки, явившиеся на медицинское обследование. Среди них попадались и очень элегантные женщины, и не столь нарядные, а замыкали процессию толпы женщин в лохмотьях и даже просто полуголых. В конце очереди стоял городской с шашкой. К дверям один за другими подкатывали экипажи, из них выходили молодые изысканно одетые женщины и шли в просторный кабинет врача»^[281].

Проститутки высшего разбора, именуемые обычно «дамами полусвета», обслуживали наиболее состоятельную и высокопоставленную часть общества — аристократию и богатое купечество. Работали они «индивидуально», пользуясь посредничеством довольно многочисленных великосветских сводней.

В 1870-х годах в числе последних была известна, к примеру, некая «Мавра» — «здоровенная русская баба, обращавшаяся со своими посетителями запросто. Всего оригинальнее было то, — вспоминал современник, — что, занимаясь таким не душеспасительным делом, она в то же время была очень набожна и под праздник не пускала к себе посетителей»^[282]. Особенно знаменита среди сводниц была одна, по имени Прасковья Федоровна. Она была недурна собой, не без образования — окончила в свое время гимназию, состояла на содержании у какого-то купца и пользовалась в своей профессии наилучшей репутацией. У нее на вечерах гости могли встретиться с молодыми особами, искавшими мужского знакомства. «У нее существовала известная такса, — вспоминал

Н. Шатилов, — выше которой она не брала, и знакомила <она> своих посетителей только с женщинами, которых хорошо знала и за здоровье которых ручалась»^[283].

К концу века Драчевка во многом утратила свой разгульно-трущобный характер: уменьшилось и число нищих, и количество веселых заведений — центр московской проституции к этому времени все более заметно стал смещаться к Тверской в район Бронных и Палашевского переулков. На «Трубе» появились доходные дома, населенные более-менее приличной публикой, но и вплоть до начала XX столетия Цветной бульвар, особенно зимой, считался местом, где после полуночи небезопасно бывало возвращаться одному, да и в переулках Грачевки продолжали «пошаливать» и грабить одиноких прохожих.

На протяжении значительной части XIX столетия местом притяжения трущобной публики был уже описанный выше Толкучий рынок в «Городе». Здесь пьяница-«ярыга» мог «зашибить» несколько копеек и затем опохмелиться и поесть. Здесь в толпе постоянно «работали» карманники, попрошайки и жулики разного рода; сюда приносили сбывать краденое. Именно здесь, как говорили, нашли французскую пушку, украденную от кремлевского Арсенала зимой 1857 года (как видим, проблема похищения цветного металла и тогда была актуальна). Пушка была найдена в подвале одной из лавочек со следами ударов топором (воры сперва надеялись рассечь ее на части, чтобы потом переплавить куски). Дело это в свое время считалось одним из самых громких, как по сути похищения, так и по простоте и остроумию преступления. Воры подошли к Арсеналу среди бела дня, с салазками, на которые и свалили снятую с пьедестала пушку и сразу прикрыли ее рогожами. Часовой ничего не заметил. Проезжая

через Троицкие ворота, на вопрос другого часового: «Что везете?» — похитители сказали: «Свиную тушу», и стража этим удовольствовалась. Проверять ничего не стали, и жулики успешно вывезли добычу из Кремля.

На Толкучке было одно из постоянных «рабочих мест» нищих, причем вплоть до начала 1850-х годов их местожительством был ничем не примечательный дом по соседству, на Варварке, принадлежавший Знаменскому монастырю. Здесь обитала та артель нищих, которая постоянно работала в «Городе» и на Толкучке.

Нищенство относилось к числу древнейших московских занятий. Трудились в нем профессионально и организовано. Как во всякой профессии, имелась своя специализация, свои профессиональные тонкости, свои наставники и ученики. Наиболее распространены в Москве были такие нищенские специальности, как «богомолы» и «могильщики», «работавшие» на церковных папертях и на кладбищах, а также «ерусалимцы» — мнимые странники, богомольцы, калики перехожие, ходившие в черных, похожих на монашеские, платьях. Они сообщали разные подробности о своих мнимых паломничествах по святым местам, торговали пузырьками с освященным маслом и «водой реки Иордан», коробочками со «святой землицей иорданской», «иерусалимскими» и «афонскими» образками, гвоздями и щепками Креста Господня и прочими фальшивыми реликвиями, собирали деньги на новое паломничество или на обетную свечу или просто выкликали нараспев просьбы о пожертвовании «на погорелое» или «на построение храмов». В этой специальности подвизались настоящие и мнимые монахи и монашенки, спившиеся с круга причетники, юродивые и блаженные.

Еще одна околоцерковная нищенская специальность — «церковная старуха». Эти стояли у

церковных дверей и отворяли и затворяли их в надежде на гонорар. «Пользующаяся разрешением — „благословением“ причта, „церковная старуха“ считает себя лицом официальным, почти административным и властно огрызается на нищих-конкурентов, открывающих поблизости свои действия»^[284]. Все работавшие возле храмов хорошо владели соответствующей терминологией, при случае могли пропеть молитвы, псалмы и разного рода «духовные» песни, например, такую:

Вот теперь-то я печален,
Свою радость всю отверг,
И остался, безотраден,
Время провождать в скорбях.
Беспрестанно я вздыхаю,
И слезы льются из глаз,
Себя в перси ударяю,
И возношу к Творцу мой глас.
О, услышь мое стенанье,
Всеблагий Небесный царь,
И призри на мое страданье,
И укрепи бессильну тварь;
Будь в бедах моих отрада,
Непостижимый в Небесах,
Ты избавь меня от Ада,
Бог мой! Зри меня в слезах.
О, унылых Ободритель,
Неба и земли Творец,
Буди в скорбях Покровитель,
И Заступник, и Отец!..
На Тебя я уповаю,
О Господь Всесильный мой, —
Со надеждою взываю:
Защити в печали злой!..

Бодрствуй духом да крепишься,
Сердце, верой к Небеси,
Что понести тебе случится,
Все с терпением неси,
Будь уверен во надежде,
Кто понес Крест тяжкий прежде,
Тот и твой крест понесет,
Он управит и спасет!..

Много среди нищих было «калек». Специальные промысловики ездили по деревням и скупали у крестьян детей и родных-инвалидов и заставляли их потом просить милостыню, но существовали и подлинные профессионалы, которые умели так выворачивать конечности, что производили полное впечатление безруких или безногих, закатывали глаза, имитируя слепоту, и т. п. Часто встречались также «женщины с больными детьми», «севастопольцы» — реальные или мнимые ветераны и инвалиды войн, а также «горбачи» — побирающиеся на улицах и просящие: на лечение больной жены или детей, «на погребение», на покупку угнанной или павшей лошади, на билет для возвращения на родину, на поправку здоровья ввиду выписки из больницы и т. п.

Подвидами среди «горбачей» были «благородные, пострадавшие за правду» и «погибшие благородные» (деклассированные чиновники, купцы и студенты), которые нередко просили подаяние на французском диалекте: «Же ву при, мусье, доннэ муа кельке шоз» («Прошу вас, сударь, подайте мне что-нибудь»).

Все московские районы с их значными местами были поделены между нищенскими артелями, причем наиболее выгодные для нищенского промысла участки (кладбища и церковные дворы и паперти) местные сторожа и привратники продавали «с торгов», и

купившая их артель монополизировала местную благотворительность, не пуская никого из чужих (в других случаях кладбищенские сторожа брали плату с каждого нищего за вход на свою территорию). В каждой нищенской артели существовали своя иерархия, свой староста (обязательно грамотный и опытный в житейских передрягах, нередко отставной или беглый солдат), денежный «общак», из которого оказывали помощь временно нетрудоспособным сочленам, а также прикармливали местную полицию и «собственного» стряпчего, который вызволял артельных в случае их ареста.

Попрошайничество на улицах на протяжении большей части девятнадцатого века запрещалось законом и преследовалось (хотя и без особого рвения) полицией; за это забирали в участок, а потом отправляли в «Юсупов работный дом», но на церковных папертях, а также на базарах и рынках милостыню просить было можно. «Непрофессионалу» — «случайному нищему», обычному горемыке, оказавшемуся в безвыходной ситуации, члены артели, по негласному правилу, могли позволить один раз и недолго постоять на их территории. Его искусно оттесняли с более выгодного места куда-нибудь в сторону, и там он мог выклянчить немного денег на пропитание (по неписаным московским правилам, нищему редко подавали меньше пятака, а отказать в подаении считалось грехом). Через какое-то время ему намекали, что пора и честь знать, а если намек не бывал понят, прибегали и к физическому воздействию. В другой раз на то же место этого чужого уже не пускали, и бедняк, оказавшийся перед необходимостью жить нищенством, должен был искать встречи с артельным старостой, вносить вступительный взнос (или соглашаться выплачивать его в рассрочку) и проходить курс обучения, во время которого осваивал

технику своей новой профессии: учился правильным образом кланяться, так, чтобы просьба хватала за сердце, правильно одеваться и держаться, чтобы фигура выглядела самым жалким образом, и т. д.

В большинстве же случаев нищенство являлось семейной профессией — и профессией довольно доходной. Детей, родившихся в семье нищих, начинали обучать ремеслу буквально с пеленок и лет в семь-восемь уже выпускали одних на самостоятельный промысел. Как и другим членам артели, им назначалась определенная дневная сумма, которую следовало собрать, а чтобы лишить возможности присвоить что-нибудь из собранного, детей каждый вечер раздевали догола и тщательно обыскивали.

Способный и хорошо обученный «стрелок» (нищий) зарабатывал от одного до трех рублей в день, проживая при этом не более 60–70 копеек (по ценам второй половины XIX века, чтобы ходить сытым, хватало 15–20 копеек), и даже самый незадачливый и бесталанный не спускался ниже полтинника. В этой среде было немало собственных богачей и даже ростовщиков, работавших не только внутри своей артели, но и на стороне. Весьма не редки были случаи, когда на умерших нищих обнаруживались довольно крупные суммы денег — до нескольких — даже десятков — тысяч рублей. Вообще профессиональные нищие считались в воровской среде аристократией.

В нищенской артели, квартировавшей на Варварке, было немало бывших чиновников — как гражданских, так и военных, традиционно побиравшихся в Рядах и Гостином дворе (где буквально не давали проходу покупателям) и часто служивших добровольными шутами скучающим сидельцам, перед которыми пели, декламировали с пафосом разные стихи, готовы были ползать на четвереньках или кричать петухом. Среди этой категории попрошаек было много безнадёжных

алкоголиков (более-менее пьющей была практически вся нищенская братия). Не менее популярна среди «благородных» «горбачей» с Варварки была площадка около Иверской часовни. Здесь обрабатывали в первую очередь простодушных провинциалов, которых возле часовни всегда было много (приехав в Москву, в числе первых дел следовало пойти поклониться Иверской). Завидев подходящий объект, «горбач» подкатывал к нему «франтоватой военной побужкой и извиваясь змеем» и излагал горестную историю своей жизни: «Бедный офицер! Жертва злобной судьбы! Голодное семейство, больная жена, умирающие дети! М-с-вый г-с-дарь! Страждущее человечество взывает о помощи! Бог за все заплатит сторицей. Мерси боку!» ^[285]

И затем галопом тащил добытый гривенник в ближайший каба́к — очевидно, к больной жене и умирающим детям.

В конце 1840-х годов занимаемый нищими дом при Знаменском монастыре был обследован, и ученые мужи пришли к выводу, что именно здесь находилась в конце XVI — начале XVII века городская усадьба бояр Романовых — предков первого государя из этой династии. Дом был выкуплен казной и поставлен на реставрацию; вскоре в нем открылся музей, а бывших обитателей его выселили, и они нашли приют в известной трущобе — Шиповской крепости и других подобных домах по соседству.

В числе московских нищих была прослойка так называемых (на профессиональном жаргоне) «сочинителей» из людей дворянского происхождения, которые «работали» с использованием своих дворянских «навыков». Поделив между собой наиболее престижные улицы и дома, эти деятели регулярно «окучивали» свой участок: писали (часто по-французски) многочисленные письма, где красочно

изображали свое ужасное положение и плачевные житейские обстоятельства (происки влиятельных врагов, разорительные тяжбы, стихийные бедствия и т. п.), доведшие их да такого состояния. (Естественно, об истинных причинах — чаще всего алкоголизме и страсти к игре — не упоминалось.) Затем письма рассылались по адресам и через несколько дней автор отправлялся в обход по «своему» участку. Придя к подъезду, он звонил, бывал встречен швейцаром и, демонстрируя хорошие манеры, важно говорил: «Было прислано письмо от такого-то; жду ответа». Обитатели особняков редко горели желанием лично взглянуть на незваного корреспондента, но многие высылали ему с лакеем небольшую денежную купюру — обычно от рубля до трешки, и «благородный» нищий откланивался и исчезал до следующего «обхода».

Уже в первые послепожарные годы вблизи Толкучки, на Варварской (нынешней Славянской) площади сложился стихийный рынок труда: сюда приходили прибывшие в Москву на поиски работы крестьяне, здесь они собирались в артели; сюда же являлись наниматели, нуждавшиеся в рабочей силе. (Домашнюю прислугу нанимали также по соседству, в начале Никольской улицы, возле ограды Казанского собора.) Наем рабочих происходил обычно с раннего утра до полудня; оставшиеся без работы столовались тоже на Толкучем, а потом старались устроиться где-нибудь поближе на ночлег. Таким образом, вокруг рынка возникла инфраструктура трущобного толка — дешевые трактирные заведения, харчевни, а также подобия ночлежек при трактирах (как и в «Крыму-Грачевке» — в подвальном этаже). Имелись здесь и жилища для тех обитателей Толкучки, которые оседали в Москве на более-менее длительный срок.

Наиболее известным из них был дом Шипова, иначе Шиповская крепость, стоявший лицом к Лубянской

площади рядом с тем местом, где сейчас Политехнический музей. Кстати, московские трущобы всегда носили именно это название: «крепость», в отличие от Петербурга, где подобные дома назывались почему-то «лаврами».

Выстроенный генералом Николаем Петровичем Шиповым, дом на Лубянской площади после смерти строителя перешел в ведение Человеколюбивого общества и вплоть до середины 1890-х годов, когда был снесен, приносил громадный доход, хотя очень скоро превратился в самую настоящую трущобу. Внизу в нем имелись лавки старьевщиков, несколько трактиров, полпивных и харчевен; одно время — и помещение, сдававшееся под концерты, а верхние этажи были густо заняты квартирами.

Човеколюбивое общество квартиры эти сдавало, хотя и задешево, но за реальные деньги. Квартиросъемщики — все люди «приличные», имевшие в полном порядке «виды», то есть паспорта, и обязанные подпиской (чаще всего не исполнявшейся) доносить в полицию о подозрительных квартирантах, практически постоянно жили в Москве и, в свою очередь, сдавали «углы» и «койки» для постоянных жильцов и ночлежников, тоже за плату. Их квартиранты пускали в свои углы — тоже за плату — еще ночлежников. Таким образом, жильцы имели свои доходы, а дом был битком набит «золоторотцами», в большинстве случаев являвшимися сюда только ночевать. В случае полицейской облавы (большинство жильцов Шиповской крепости не имели никаких документов, а многие были не в ладах с законом) вся ночующая в доме публика шустро покидала его по системе черных ходов и подземных коридоров, ведущих в подземелья китайгородских укреплений, и в опустевших квартирах стражи порядка находили только законопослушных квартиросъемщиков.

Подобных «крепостей» в Москве было довольно много, причем не обязательно на окраинах города. Олсуфьевская крепость стояла на углу Тверской улицы и Брюсова переулка и снаружи выглядела вполне приличным домом, с несколькими хорошими магазинами и даже дорогими квартирами, окна которых выходили на главный фасад. Зато со двора это была типичная трущоба — грязная, запущенная и перенаселенная низовой публикой.

Целый ряд знаменитых трущоб был в районе Смоленского рынка, в Проточном переулке: Ржановская крепость («Аржановка»), «Волчатник» (Волкова крепость) и др. Проточный переулок вообще был нехорошим местом. Одним концом он выходил на Новинский бульвар, другим — на берег Москвы-реки, упираясь в широкую заводь. «Берег был высокий, изломанный оврагами; местами он висел над самой водой. Вокруг тянулись заборы лесных и дровяных складов... Тут же лежали кучи булыжника, поросшие лопухами и крапивой, и валялись принесенные полрой водой бревна и рогатые почерневшие корневища. Летом берег зарастал бурьяном», — рассказывал писатель А. Вьюков. Нечего удивляться, что в таком глухом месте ютилось много, так сказать, «антисоциального элемента» и «бесследно исчезали не только краденые вещи, но и сами ограбленные. Когда начали ломать один из флигелей, в подвалах флигеля нашли несколько человеческих скелетов»^[286]. Впрочем, следует отметить, что так тоже было не всегда. В первой половине 1860-х годов здесь, в Проточном, жил профессор университета И. Д. Беляев — и ничего. Студенты к нему ходили и другие профессора. Вполне еще приличное в то время было место, а потом «опустилось».

В 1882 году, когда в России проводилась перепись населения, многие представители интеллигенции добровольно шли переписчиками в трущобные районы. Вести перепись в Проточном переулке изъявил тогда желание Лев Толстой и попал в «Зиминовку» (Зиминскую крепость). Потом он подробно описал свои впечатления от этого места.

В нижнем этаже большого дома находился трактир, как отмечал Толстой, «очень темный, вонючий и грязный» (что не мешало, однако, иметь в нем на столах скатерти). Через ворота можно было попасть во двор, застроенный многочисленными деревянными флигелями на каменном основании. Первое, что ощущал здесь гость, было зловоние. Несмотря на то, что во дворе имелся нужник, жильцы в него не заходили (видимо, из-за непомерной грязи) и воспринимали в основном как обозначение места, в котором можно отправлять естественные надобности. Поэтому все пространство далеко вокруг ретирады было покрыто нечистотами.

Внутри дома тоже стояло зловоние, только другого рода: смесь запахов кипящего белья (в подвальном этаже находилась прачечная), дешевой еды и ядреной махорки. Полы темного подвального этажа были земляные, и вдоль по коридору располагались двери «номеров» — обширных квартир, сдаваемых хозяином дома съемщикам. Эти съемщики ставили во всех комнатах квартиры перегородки, устраивали нары и затем сдавали уже от себя помещения в поднаем жильцам и ночлежникам. Самая маленькая комнатка, как правило, служила жильем съемщику. Типичная комната в таком доме выглядела так: квадратное в плане пространство метров в 15 площадью имело в центре печку, а вокруг нее звездой шли перегородки, делящие комнату на четыре каморки. Две из них были проходными, две — изолированными. Окно имелось в

одном или двух помещениях (в последнем случае перегородка разрезала его надвое). Поскольку перегородки между камерами не доходили до потолка, небольшая доля дневного света проникала и в безоконные помещения. Оплата за изолированное помещение с окном была заметно выше, чем за проходную и темную клетушку. Такую клетку мог снять один жилец, супружеская пара, иногда с детьми, две-три девицы, «живущие от себя», а в некоторых закутках ставили двухэтажные нары и каждый вечер пускали ночлежников, со стандартной платой пятак за ночь. Бывали и комнаты, сплошь уставленные койками — «кочные квартиры», в которых жили постоянные жильцы без разбора пола и возраста (женские койки от мужских отличались обычно лишь наличием вокруг ситцевой занавески).

Наиболее дорогое жилье в таких домах было по фасаду, с окнами на улицу. Помещения, глядевшие во двор, ценились дешевле, еще дешевле было жить в дворовых флигелях, а самая низкая плата бралась за подвальные помещения, но в общем все жители «крепостей» принадлежали к числу бедноты — были среди них «богатые» бедняки, каждый день ходившие в кабак, а было и совсем отребье, вынужденно придерживавшееся системы «раздельного питания» (это когда поесть удастся раза три в неделю — к примеру, во вторник, пятницу и воскресенье).

Помимо люмпенов населял «крепости» мастеровой и торговый люд. Здесь могли быть мастерские — сапожные, столярные, щеточные, часто снимали помещение извозчики, мелкие торговцы, прачки, старьевщики, поденщики, но было немало и проституток, «сидящих в трактире», и людей без определенных занятий, пропойц и попрошаек. Грань между трудовым и бездельным людом всегда в Москве была очень зыбка и легко переходима.

Имущества у большинства жильцов не было никакого, кроме надетой на себя одежды. Очень немногие имели смену платья, какую-то посуду и т. п., для чего достаточно было небольшого сундучка. Питалась эта публика печенкой, рубцом, селедкой с хлебом, наиболее везучие по дешевке скупали или получали даром в трактирах и лавках какие-нибудь остатки или обрезки. Практически все пили (по графику «два дня хмельных, один похмельный») и в пьяном виде дрались и дебоширили. Мужики избивали баб, бабы лаялись с мужиками и между собой. Дети воспитывались улицей; широко распространены были детская проституция и ранний алкоголизм.

Неподалеку от «Зиминовки» был дом Падалки. «Страшнее, мерзее, отчаяннее этой полуподземной ямины, под обманным именем человеческого жилья, я уже никогда не видал ничего впоследствии... — вспоминал А. В. Амфитеатров, также ходивший туда проводить перепись, — подвалы Падалки кишели какими-то подобиями людей — дряхлых, страшных, больных, искалеченных, почти сплошь голых и нестерпимо вонючих»^[287].

Из числа других подобных крепостей известны были Сержкина крепость во 2-м Обыденском переулке и Рогожинская крепость в Нижнем Лесном переулке — обе близ аристократической Остоженки, Арбузовская крепость в Малом Сухаревском переулке на Грачевке, дом Ромейко на Страстном бульваре, Покровская крепость в районе Хапиловки, владение губернской секретарши Соколовой — «Соколиное гнездо» на Воронцовом поле, пользовавшееся дурной славой в середине века. Здесь не было дома, только какие-то постройки в глубине двора, в которых селились всевозможные жулики. Изредка на них устраивали облавы и тогда целые толпы бродяг, перескакивая

через заборы, разбегались во все стороны соседскими садами, причиняя тем большие неудобства местным жителям.

Везде картина была одна и та же: «Внизу, в большом подвальном помещении, ютились в тесноте и грязи самые что ни на есть отбросы, настоящая голь, пьяная, грязная, постоянно почти ссорившаяся, страшная, а наверху сдавались углы, каморки, койки. Здесь было немного почище, но в общем и там, и здесь царствовал один и тот же бог — нужда»^[288]. «Квадратная, большая, с низким (высокий человек стучался головой) потолком комната-сарай тонула в каком-то вонючем, кислом, щекочущем горло полумраке. Там и сям по углам, близко и далеко, мелькали огоньки от горевших свечных огарков, около которых сидели, стояли и двигались люди»^[289].

Со второй половины XIX века самым известным и наиболее характерным трущобным районом Москвы стала знаменитая Хитровка.

В начале 1860-х годов рынок труда на Варварской площади был ликвидирован и переведен в более отдаленные районы. При этом он разделился надвое: приезжавшие в Москву мужики-отходники, имевшие в руках востребованную в городе профессию — плотника, столяра, печника, каменщика и пр. (то есть мастеровые), — отправлялись на площадь Красных ворот и здесь, сбившись в артели, ждали (и довольно быстро дожидались) нанимателя.

Крестьяне же, не умевшие делать ничего полезного в городе и имевшие на продажу только пару рук и готовность выполнять любую работу (чернорабочие), отправлялись за Покровку, где на месте нынешнего Покровского бульвара был военный плац, а за ним — Хитров рынок.

Этот рынок возник еще в 1820-х годах рядом с владением генерала Хитрово (его собственный дом сохранился до наших дней во дворе углового дома по Большому Трехсвятительскому переулку) на его земле. В те времена это было окраинное место, довольно глухое — на соседнем Воронцовом поле в оврагах «пошаливали» — и не слишком населенное, но в то же время вполне приличное: соседями Хитрово были Н. Н. Демидов, граф Ф. А. Остерман, Д. Н. Лопухина. Зеленой рынок стал пользоваться некоторым успехом, особенно перед праздниками, когда здесь был большой привоз и вереницы возов с поросятами, телятами, битой птицей и дичью тянулись по всем окрестным переулкам и даже по Солянке.

С переводом сюда рабочего рынка Хитровка еще более оживилась, и дальше ситуация развивалась по тому же сценарию, что ранее с Толкучкой: наем разнорабочих (а на иное клиенты Хитровки не годились) шел довольно вяло, много народу оставалось невостребованным и ему нужно было где-то спать, есть и развлекаться. Затем сюда, как на всякое торговое место, потянулись проходимцы и бродяги всех мастей... — и появилась та Хитровка, о которой столь красочно писал В. А. Гиляровский, а до него С. Ф. Рыскин и другие бытописцы. В 1890-х годах, когда Толкучий рынок был ликвидирован, на Хитровку переселились и его обитатели. В конце века люмпенов на Хитровке стало так много (одновременно жило до 4–5 тысяч человек), что, как острили тогда, образовалась даже не одна «золотая рота», а целый «золотой полк». Близость к Хитровке чувствовалась уже на Солянке: здесь то и дело встречались люди в лохмотьях, замызганные, с опухшими от пьянства и нередко украшенными «фингалами» лицами.

«Большая четырехугольная, поперек продолговатая площадь вся обставлена домами, — описывал это место

П. Д. Боборыкин. — Справа смотрит на нее желтое здание Мясницкой части с каланчой и каменным забором. Кругом и поблизости в переулках, идут двух — и трехэтажные дома с трактирами, пекарнями, кабаками и пивными, с ночлежными квартирами. В солнечный день с раннего утра две трети рынка покрыты сплошной массой народа, пришедшего искать заработка. Мужчины скучиваются на самой середине и ближе к торгу, к навесам торговцев и возам; женщины занимают все правое крыло площади. Летом красный и розовый цвета сарафанов и фартуков так и мечутся вам в глаза. Сотни крестьянок приходят сюда предлагать себя во что угодно: в кухарки, поденщицы, горничные, прачки, работницы. Между ними шныряет городская женская прислуга, хорошая и плохая. В конце торга, если кто останется без места, тут же ложатся на мостовую, отдыхают или просто спят, едят что попало, а ночь проводят в ночлежных, если есть в кармане пятак»^[290].

Пропитаться можно было в окружавших рыночную площадь «закусочных лавках», на вывесках которых значилось «Вареная ветчина и рыба». Здесь продавались вареные и жареные, обильно наперченные и сдобренные луком колбаса, головизна, брюшина и печенка, картошка во всех видах, промозглые соленые огурцы и кислый квас, которым хорошо снималось похмелье. Имелось также несколько трактиров, наиболее знамениты из которых были «Сибирь», «Пересыльный» и «Каторга». «Из трактиров самый характерный — „Каторга“, — писал П. Д. Боборыкин. — В рыночные дни, с сумерек, просторные комнаты этого заведения наполняются публикой обоего пола. Идут чаепитие и выпивка, толкуют о своих заработках, и законных, и подспудных...»^[291] Несмотря на дурную репутацию и очень специфическую публику, среди

которой встречались беглые каторжники с неуспевшими еще вырасти на обритой половине головы волосами, это были вполне традиционные трактиры — с половыми в белом, с салфетками на столах и даже с музыкой в виде какого-нибудь доморощенного хора.

Район Хитрова рынка имел как временных, так и постоянных жителей. Здесь оседали «стрелки» (нищие) разной специализации, всевозможные «бывшие» — оказавшиеся на дне отставные офицеры, бывшие помещики, старые барыни, выгнанные со службы чиновники, уголовники, алкоголики. Оставалось здесь жить и довольно много пришедших на заработки крестьян. Оказавшись (как всякий отходник) здесь зимой в поисках заработка, пришлый мужичок довольно часто попадал в стандартную для этих мест ситуацию: долго не работая, проживал все деньги или же его обворовывали в ночлежном доме. При этом он часто лишался паспорта. Развеять горе он отправлялся в ближайший кабак, пил с горя и довольно быстро пропивался: на Хитровке, как и в других подобных местах, на это существовала хорошо поставленная система. Если на мужике была добротная одежда, то либо на нее находился покупатель, либо кабатчик принимал ее вместо денег. Тут же выискивался старьевщик, который оценивал тулуп или другую одежду и предлагал за нее, к примеру, 15 рублей, одновременно выдавая владельцу «сменку» — какое-нибудь старое пальто или пиджак на вате. Через какое-то время с помощью трактирных завсегдатаев (а русский человек не пьет в одиночку) деньги заканчивались, и мужик предлагал кабатчику вместо денег — пальто. Та же процедура (только денег уже меньше) и новая «сменка» — рваный суконный армяк. Вслед за верхней одеждой та же участь постигала сапоги, шапку, штаны, рубаху — и в результате на свет появлялся «хитрованец» — в дырявых штанах,

изодранном пиджаке прямо на голое тело, заколотом у горла булавкой, и галошах на босу ногу, а то и просто в одном халате, под которым светилось не особо прикрытое естество. Стыдливо запахиваясь, такой «золоторотец» объяснял: «Уж извините, православные, потому всей моей одёжи один этот халат остался, давеча сапоги и шапку пропил».

С этого времени надежды на нормальную жизнь исчезали, и горемыка уже не мог никуда деться с Хитровки: на пристойную работу его никто бы не взял, а на отъезд из Москвы не было денег. Он поневоле толокся вблизи рынка — более дальних вояжей его более чем легкий костюм не позволял, — пытался как-то «сшибить копейку», грелся по кабакам, смутно надеясь на дармовую выпивку, кормился в основном даровой закуской со стойки (где дадут, а где и выгонят), ночевал в ночлежках и мечтал о полицейской облаве, когда его, как беспаспортного, заберут и отправят по этапу домой вместе с другими беспаспортными или владельцами просроченных паспортов.

Со временем выяснялось, что и на Хитровке можно выжить: даже если не находилось пятака на ночлег, можно было пойти в бесплатную ночлежку Ляпиных, а обед найти в благотворительной бесплатной столовой. К тому же редкая булочная или мелочная лавка отказывала просящему в подаянии вчерашним хлебом. Многие московские монастыри по утрам бесплатно кормили всех желающих хлебом и квасом: для этого в ограде обители устраивалось специальное окошко. В самом крайнем случае можно было добровольно отправиться в рабочий дом, хотя этого варианта московские босяки не любили и побаивались.

Рабочий дом в Москве был основан в 1837 году, при активном участии известного писателя, автора повести «Тарантас» графа В. А. Соллогуба, служившего по тюремному ведомству. Бывая в Англии, Соллогуб

заинтересовался тамошними работными домами и счел такие учреждения полезными для России, как места «для занятия нищих работою и для предоставления заработка лицам, добровольно обращающимся в него за помощью».

Для размещения Работного дома был приобретен один из домов князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке (напротив известных всей Москве «палат Волкова-Юсупова») и в нем устроено мужское отделение на 300 мест, а еще женское и детское отделения и отделение «для неспособных к труду». По местонахождению заведение часто именовалось среди бедноты «Юсуповым работным домом».

В основном в Работный дом помещали по приговору суда: он приравнялся к исправительному заведению с мягким режимом (хотя прошедший через такое заведение Н. И. Свешников писал, что «это было нечто среднее между богадельнею и воспитательным учреждением»^[292]), но было немало случаев, когда сюда просились добровольно, особенно если удавалось во время трущобных странствий сохранить документы. Для этого следовало прийти в «Юсупов», где принимали таких бедолаг дважды в неделю, по вторникам и пятницам, пораньше, часам к семи утра, ибо прием начинался в девять и места быстро заканчивались. Доброволец сдавал паспорт и поступал на полное казенное содержание. Каждый из «постояльцев» (за исключением «благородных») обязан был участвовать в назначаемых работах — обычно на уборке улиц, на расчистке свалок, рытье котлованов и т. п. (женщины — на уборке помещений). За работу он получал определенную плату, часть которой шла на его же содержание, а часть поступала на личный счет и по окончании срока выдавалась на руки. Конечно, и работа

была тяжелая и неприятная, и грубости и хамства в обращении с заключенными хватало, но исстрадавшиеся босяки и этим были довольны и нередко даже с теплотой вспоминали о времени, проведенном в «Юсупове»: «...чистые, сухие и просторные спальни, с крашеными полами, с отдельными койками, на которых лежали такие мягкие и сухие постели... вполне достаточная и вкусная пища, еженедельное чистое белье и баня — все было хорошо в этом заведении»^[293].

К 1890-м годам количество нищих и бездомных, определяемых судом в Работный дом, до того возросло, что в Сокольниках было построено новое его отделение, на 1500 человек. С этого времени Юсупов дом стал считаться «старым», а в Сокольниках были устроены всевозможные мастерские — слесарная, кузнечная, сапожная, корзиночная, даже переплетная, и заработки насельников сразу заметно возросли.

Очень многие из московских люмпенов имели где-нибудь в деревне собственный дом, семью и родню, но из-за алкоголизма, а нередко и склонности к бродяжничеству связи с родиной и близкими постепенно рвались. В итоге человек оказывался навсегда вовлечен в орбиту Хитровки: куда бы ни заносила его судьба, он вновь и вновь возвращался в это гиблое место. Типичному среднему хитрованцу постоянно приходилось не только переносить холод, голод, грязь, грубость и побои, но и неоднократно сидеть в тюрьме и ходить по этапу на родину.

Оборванцы, появлявшиеся в приличных районах, почти всегда вызывали интерес у представителей власти. Таких городовые останавливали и, осведомившись, есть ли «вид» (паспорт), тащили на всякий случай в участок. Беспаспортные в итоге

оказывались в тюрьме и потом высылались по месту официального проживания.

Далеко не все хитрованцы были вынужденными или добровольными бездельниками: здесь имелась и мастеровая прослойка, и довольно много поденщиков, живущих случайными заработками. Помимо такой работы, как рытье котлованов, уборка мусора, разгрузка, а для женщин уборка, стирка и шитье, житель Хитровки мог подработать, к примеру, сгоном скота — этим занимались почти исключительно «золоторотцы» и некоторые со временем делали в своем деле большими специалистами.

От железнодорожной станции Перово до находящегося неподалеку скотопригонного двора была устроена «гонная дорога» и трижды в неделю — в среду, пятницу и воскресенье — по ней шел привезенный в Москву скот. Оборванные «золоторотцы» — одна нога в сапоге, другая в калоше — слонялись в эти дни около вокзала и предлагали свои услуги: «Не надо ли быков сгонять?» Получив заказ, посвистывая и покрикивая: «Ну, ну, пошел, пошел!.. Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!..» и пуская в дело длинные палки, гнали скот в нужном направлении, заботясь о том, чтобы гурт не сворачивал, не растягивался и животные не перепутывались с соседним гуртом. Последнее, то есть уметь сразу различать «своих» и «чужих» животных, — было под силу только опытному сгонщику.

Хитрованцы и жители других трущоб Москвы были главными поставщиками на рынок многих сезонных товаров — щавеля, земляники, первых грибов, дубовых листьев для засолки огурцов. Они же собирали для аптек березовые почки и разные травы, до появления спичек снабжали Москву кремнями и трuтом, перед Пасхой красили и разрисовывали яйца на продажу. Детей посылали собирать кости, стекло и тряпки для

старьевщиков, девчонок — полевые цветы. Взрослые варили сапожную ваксу, терли табак, мастерили игрушки, скворечники и «вербы» (украшенные бумажными цветами и ленточками ветки, продававшиеся на Вербном базаре), перематывали нитки для фабрик и т. п.

Кое-кто из хитрованцев, сохранивших облик человеческий и сколько-нибудь пристойный костюм, подрабатывал продажей газет. Редакции предпочитали не держать собственных продавцов, а доверяли распространение своих изданий каждому желающему. Экземпляр газеты отпускался за 2 копейки, а продавали его по 3 копейки — стало быть, с каждого номера продавцу шла пусть небольшая, но прибыль. Сначала за пачку номеров следовало внести наличные деньги; со временем, когда торговец-хитрованец завоевывал доверие, ему могли поверить и в долг. Точно таким же образом можно было продавать вразнос книжечки для народного чтения (к примеру, издательства «Посредник»), переводные картинки, спички и папиросы.

Еще один «культурный промысел» состоял в том, чтобы заранее с утра занять очередь в кассу Большого театра (предварительной продажи билетов тогда не было), а потом продать место за 1-2 рубля, а в особых случаях — при какой-нибудь модной знаменитости — даже за 10 рублей.

Случались и более экзотические виды заработка: иногда бродяг нанимали в качестве массовки в летние театры, а в 1890-х годах какая-то табачная фирма одно время рекламировала свою продукцию, выпуская на улицу... «индейцев». Навербовав их на Хитровке за двугривенный в час, фирмачи намазывали каждому из них физиономию красной краской, обряжали в условно-экзотический костюм, обшитый перьями, сажали верхом на кляч и отправляли в центр города. «Индейцы» везли

флаги с названием фирмы и выглядели очень красочно, чем привлекали всеобщее внимание, однако после нескольких уличных драк с их участием «рекламная акция» была прекращена.

И все-таки истинный, «убежденный» хитрованец чувствовал к любому труду непреодолимое отвращение и потому никогда не работал, существуя в буквальном смысле, как «птица небесная».

Из мест ночлега на Хитровке наиболее известны были ночлежный дом Ярошенко в Подколокольном переулке, в который ходили «знакомиться с материалом» перед постановкой горьковской пьесы «На дне» актеры Художественного театра, а также страшноватая, красочно описанная Гиляровским «Кулаковка», которая находилась на углу Подколокольного и Певческого переулков. (Любопытно, что дочерью владельца «Кулаковки» была та самая Л. И. Кашина, которая послужила С. А. Есенину прототипом Анны Снегиной в его известной поэме.) Эти и другие ночлежки были платными; провести в них ночь стоило пятак — стандартная цена по Москве. Была и бесплатная ночлежка братьев М. и Н. Ляпиных — большой четырехэтажный дом на углу Большого Трехсвятительского переулка. Из четырех этажей два нижних было предназначено для женщин, а два верхних — для мужчин. Рассчитан он был на семьсот мест, но порой принимал и свыше тысячи ночлежников.

Ночлежные дома открывались зимой в 5 часов вечера. Желающих переночевать всегда было больше, чем мест, особенно в бесплатном Ляпинском доме, так что очередь образовывалась задолго до открытия и растягивалась на большое расстояние. В ожидании мучились от холода в своих легких костюмах; у кого были деньги, обогревались сбитнем, который предлагали предприимчивые разносчики. «Люди жались друг к другу, корчились, топотали ногами,

ругались, проклиная тех, кто так долго не отворяет дверей...»^[294] — вспоминал С. П. Подъячев, которому самому доводилось быть клиентом Ляпинского дома.

Когда двери наконец распахивались, намерзшая толпа, толкаясь и напирая, вваливалась внутрь и люди бегом неслись вверх занимать места на нарах. Нары внутри просторных темноватых комнат, со стенами, выкрашенными немаркой масляной краской, стояли в два яруса. Жесткие лежаки ничем не были покрыты и имели металлические бортики, разграничивающие лежащие места. Подушкой служил металлический подголовник, намертво прикрепленный к доскам. В щелях между досками кишели клопы и блохи, так что ночевать было во всех отношениях беспокойно.

Пускали в «палаты» до упора: сперва на нары, потом на пол под нары, потом в проходы. Только когда все свободное пространство оказывалось занято, впуск прекращали. Помимо лежащего места в стоимость ночлега входила цена кипятка, который предлагали клиентам из большого водонагревательного куба. Иногда к кубу подвешивали на крепкой цепи металлическую или глиняную кружку, но ночлежники умудрялись «сблаговестить» (украсть) ее, невзирая ни на какие цепи, и потому воспользоваться кипятком в основном удавалось тем, кто располагал какой-нибудь собственной тарой. В «Ляпинке» по утрам каждому переночевавшему бесплатно выдавалась кружка сбитня.

Курить в ночлежках не запрещалось и воздух здесь всегда бывал насыщен не только обычными запахами бедности, но и табачным дымом, смешанным с вонью карболки, которой по приказанию санитарной инспекции каждое утро мыли пол.

В шесть часов утра ночлежников будили пронзительным звонком. После этого полагалось

вставать и идти восвояси. Минут через пятнадцать раздавался второй звонок и сторожа принимались кричать: «Эй, все вон отсюда! Живо!..» Когда ночлежный дом пустел, его подвергали «санобработке»: проветривали, мели и мыли полы.

В 1880-1890-х годах постоянным обитателем хитровских ночлежек был знаменитый художник А. К. Саврасов, страдавший в конце жизни тяжелым алкоголизмом. Талант он фактически пропил, но громкое имя оставалось, и зарабатывать ему приходилось базарной мазней. На Сухаревке у него были постоянные клиенты, которые периодически «отлавливали» Саврасова, сажали его под замок в обществе кистей и красок и не выпускали до тех пор, пока не выдаст на-гора несколько пейзажей — как правило, вариаций на его прежние популярные сюжеты, наиболее часто — «Грачи прилетели». За каждую картину художник получал «на бутылку» (где-то около полтинника), а на Сухаревке потом эти вещи продавались по три — пять рублей.

Вообще же, как отмечал писатель П. Д. Боборыкин, среди завсегдатаев ночлежек было немало и «чистой», или бывшей «чистой», публики. «Обездоленные и впавшие в нищету отбросы общества приходят каждую ночь согреться и получить место хоть на полу — отставные офицеры, бывшие помещики, старые барыни, выгнанные чиновники. Некоторые бывают весьма прилично одеты» ^[295].

Помимо Хитровки, ночлежные дома имелись и в других местах Москвы. Много их было за Рогожской заставой в Новой деревне (для платы за ночлег и поправки с перепою местные обитатели частенько лазили в выставленную на продажу фабрику Кокорева, отвинчивали там от машин какие-нибудь детали и продавали в местную лавочку).

В 1879 году был открыт ночлежный дом имени К. В. Морозова у Краснохолмского моста в Рогожской части. Он был бесплатный, рассчитанный на 1300 человек и имел дешевую столовую, в которой за 2 копейки можно было получить чай и за пятак — обед. На рубеже веков открылись ночлежные дома во владении Альшванг на Трифоновской улице (на 700 человек), Александрова в Покровском переулке, Ермаковский на Домниковке на 1500 человек. При последнем были чайная, баня и прачечная. Ночевать стоило 6 копеек, обед обходился в гривенник, а баня и прачечная в пятак.

К концу века в Москве было довольно много дешевых благотворительных столовых, содержавшихся на частные средства. К таким относились, к примеру, столовые Общества попечения о народной трезвости, где обед из двух блюд (с неограниченным количеством хлеба) стоил 7 копеек. За счет благотворителей содержались бесплатные столовые, в которых могли кормиться те, чьи дела были совсем плохи. Были такие и на Хитровке. Когда у москвича совершалась радость (к примеру, рождался сын или внук) или умирал кто-нибудь из близких и он хотел как-то отметить это радостное или печальное событие, он мог поехать в одну из таких столовых и внести посильную сумму, на которую и устраивался заздравный или поминальный обед. Расчет был 10 копеек на каждого обедающего; внесший 10 рублей мог, таким образом, накормить сотню голодных. На этот гривенник в столовой давались тарелка щей с мясом, фунт хлеба (около 400 граммов), тарелка гречневой каши с топленым маслом и блюдечко кутьи. Перед обедом объявлялось, что он дается «во здравие» или «за упокой раба Божьего такого-то». Кто-то из обедающих молился за благодетеля, кто-то не хотел, но никто никого не принуждал — их воля. Обедов

отпускалось столько, сколько внесено было пожертвований.

Подобные поминальные и заздравные обеды устраивались и разово частными лицами из среднекупеческой и мещанской среды, причем по окончании обеда его участникам из «нищей братии» выдавалась милостыня — по пятаку или гривеннику на человека.

В этой же среде были и постоянные благотворители, кормившие и одеявшие деньгами почти всякого нищего и бродягу, заходившего к ним во двор.

Так, к окнам дающих милостыню на Рогожской с раннего утра собиралось несколько десятков нищих и в ожидании хозяйки вопили на разные голоса:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас, грешных! Кормилица наша, Александра Абрамовна, подай, Христа ради!

Среди московских нищелюбцев особенно славилась в низовой Москве Александра Ивановна Коншина, владелица особняка на Пречистенке (нынешний Дом ученых), о которой рассказывали множество баснословных историй.

«Придет, бывало, какая-нибудь бабенка-пьянчужка, — записывал одну из таких историй Е. З. Баранов. — И-и... расплачется, расхнычется — косушку сорвать метит. Глянет на нее Коншиха раз, другой, нахмурится.

— Ты это, говорит, что же, раба Божия, неумывкой ко мне пришла?»

И посылала свою кухарку Анисью сперва отмыть как следует «рабу Божью». Потом отмытую бродяжку снова представляли «Коншихе».

«— Ну вот, говорит, мало-мало на человека стала похожа. Ты, говорит, раба Божия, водку пьешь?

А та и закланется.

— Дай, говорит, Бог, скрозь землю провалиться, ежели пью...

Ну, Коншиху, не обманешь, она видит сову по полету.

— Врешь, врешь! — говорит. — Тебя по бельмам видно, что трескаешь. Анисья, говорит, дай ей водки, накорми, да полтину в зубы — пусть идет на все четыре света белого»^[296].

В 1880-х годах вблизи Смоленского рынка жил человек, знавший наизусть всех московских филантропов обоего пола и охотно, за процент, сообщавший их адреса заинтересованным нищим. Каждое утро, часов в восемь, к нему приходили клиенты, и он лично отводил каждого к подходящему благодетелю, а потом ждал у ворот и отбирал половину вырученной суммы. Все «таксы» московских благотворителей он также знал наизусть.

Помимо Хитрова рынка трущобный характер во второй половине века носили многие окраинные районы Москвы. Много ночлежных и коечных домов было за Зацепой, по окраинам Замоскворечья, на Пресне и в Рогожской слободе, где особенно выделялась своим почти сплошь деклассированным населением улица Хива — ее название даже стало нарицательным и прозвище «хива» было синонимом босяка или оборванца.

Любопытно, что при всем очевидно нехорошем характере городских трущоб москвичей неизменно грела мысль, что европейские трущобы еще хуже. Как писал П. Д. Боборыкин, «общий вид этих домов менее мрачен, чем иные лондонские трущобы: входы и коридоры всегда освещены по требованию полиции, особенного смрада и грязи нет. Большинство ночующих, конечно, живут у себя в деревне, в избах, теснее и грязнее. Ночью, после полуночи, бывают внезапные

обходы полиции, и тогда набирают по несколько сот беспаспортных»^[297].

В летнее время обитатели московского «дна» норовили перебраться куда-нибудь «на травку» и ночевали бесплатно на заросших травой пустырях, в городских парках, на кладбищах, где «каждый кустик ночевать пустит».

Одно время в 1870-1880-х годах в качестве летнего обиталища ими был облюбован даже Александровский сад: с весны и до холодной осени они селились под Кремлевской стеной и держали себя в своем временном обиталище весьма непосредственно. «С утра и до поздней ночи, — писал Е. З. Баранов, — сад оглашался матерной руганью, пьяным завыванием „романсов“, а то и похабных песен, которые пелись нарочито громко, „чтобы все их слышали“, на площадках шла игра в „орлянку“, а на лужайках дулись в карты: „трынку“, „фильку“, „подкидного“ и даже в „банкстон“, т. е. бостон. Игры нередко сопровождались драками, переходящими в общее побоище»^[298]. Когда полиция занялась «дачниками», дело уже зашло довольно далеко, так что понадобилось больше недели и помощь конной полиции с нагайками, чтобы изгнать босяков из-под кремлевских стен.

Более обычным летним обиталищем «хивы» и хитрованцев были популярные дачные места — Кунцево, Черкизово, Перово и Сокольники. В Сокольниках обычное логовище босяков находилось на границе рощи и Пятницкого кладбища, где были нарыты многочисленные землянки и по ночам горели костры. Днем большинство «дачников» или отправлялось в город на заработки, или промышляло в окрестностях, весьма ощутимо докучая своей деятельностью «чистой» публике. Одно из урочищ в

Сокольниках (в районе 6-го просека) носило название Грабиловка.

«Горе той дачнице, которая вздумает отойти от своего жилища в глубь рощи хотя бы на четверть версты, — писал Д. А. Покровский, — если она одна, то рискует в девяти из десяти случаев встретиться с одним, а то и двумя-тремя такими кавалерами, костюмировка которых мгновенно напоминает вам индейцев Америки и дикарей Африки, а воинственная осанка располагает к добровольной передаче им всего находящегося при вас лишнего имущества. Горе и тому усталому путнику, который вздумает отдохнуть на зеленой травке под отрадным навесом вековых сосен и елей; он рискует проснуться без одежды» ^[299].

Вообще-то годов до 1890-х Москва в криминальном отношении была городом довольно спокойным, но все же кражи и ограбления были в ней постоянным и неистребимым явлением. «Шалили» далеко не везде, а некоторые виды грабежей процветали в определенных улицах и переулках. Так, например, шапки с пассажиров, едущих на извозчике, срывали почему-то почти всегда только в Уланском переулке.

К числу «нехороших» и опасных мест обычно относились всевозможные овраги, лощины, холмы, даже пещеры, которых на территории старой Москвы было предостаточно, и где легко было спрятаться разного рода жуликам. Конечно, «криминогенными» были уединенные дороги — к примеру, ведущая на Черемушки, проходящая через деревню Даниловку, возле которой пошаливали, и др. Окруженное лесом Богородское шоссе навевало воспоминания о легендарной Таньке Ростокинской, шайка которой будто бы орудовала в этих местах в старину. Во всяком случае, так рассказывалось в популярной в народе разбойничьей повести «Танька Ростокинская, или

Сокольничий бор». Еще и в середине века Танькой пугали всех проезжих, и, как сообщала А. О. Ишимова, «кучер наш говорил, что и теперь не совсем спокойно около этого места, и случается иногда одиноким прохожим и проезжим пропадать без вести»^[300].

Долгое время дурной славой пользовалась местность вокруг общемосковского долгостроя — храма Христа Спасителя — глухая и вечерами безлюдная.

«Нехорошими» в ночное время становились и все московские мосты, под которыми прятался всевозможный темный люд и поджидал неосторожных прохожих, особенно тех, кто возвращался домой откуда-нибудь из гостей под хмельком, а следовательно, не мог оказать серьезного сопротивления. Н. П. Розанов вспоминал, как были ограблены два засидевшихся у них в доме гостя: «Подходят оба приятеля к Покровскому мосту, ведущему чрез Яузу, и спокойно разговаривают, покуривая сигары. Вдруг из-под моста выбегают им навстречу двое каких-то людей и один из них быстро срывает с Певницкого золотые часы с цепочкой, а другой толкает Алексея Николаевича так, что тот сваливается с ног, и затем оба быстро скрываются в один из ближайших переулков»^[301].

Опасными в этом отношении были не только окраины города, но и самый центр. Грабители могли прятаться и под Троицким мостом, ведущим из Кремля на Моховую, причем не только в те времена, когда под ним текла река Неглинная, но и когда Неглинку уже убрали в подземную трубу, и под Большим Каменным. Под этим мостом нищие и воры не только «охотились», чему способствовала сама архитектура моста с боковыми галереями-коридорами, в которых легко было прятаться, но и постоянно жили в подмостном пространстве, заколоченном досками, особенно в

летнее время. Когда-то, во второй половине XVIII века здесь даже укрывался, как говорят, знаменитый московский разбойник Ванька Каин. Даже и после сооружения нового моста Большой Каменный оставался криминогенным местом. Н. Скавронский, автор вышедших в середине века «Очерков Москвы», привел сюда своего героя — приезжего петербуржца: «Мертво и тихо все кругом, фонарь как будто дразнит светом; мост Каменный, высокий, новый, напомнил Петербург, вдали крики — „караул“.

— Это что такое? — спрашивает он.

— Грабят где-нибудь, должно быть, — равнодушно говорит извозчик...

— Да как же, братец, грабят, где ж полиция?

— Гм, полиция!., да где ж ей за всем усмотреть!

— Да как же это? Поезжай, братец, поскорее!

— Ничего, барин, небось, далеко — уедем!»^[302]

Московские преступники строго следовали набору «понятий», в числе которых были правила не «работать» там, где живешь, и не трогать постоянных обитателей того места, где «работаешь»: ни купцов, ни домовладельцев, ни их гостей. В связи с этим в конце века окрестности Хитровки были едва ли не самым безопасным местом в Москве: самое страшное, что грозило жителям довольно престижной Солянки или разбросанных по переулкам богатых особняков, среди которых было и владение Саввы Морозова в Трехсвятительском переулке, это кража белья, развешанного для просушки на веревках, или похищение продуктов из кухни, куда злоумышленники проникали по черной лестнице, — да и то «работали» здесь не столько профессионалы, сколько отчаявшиеся бедняки и пропойцы, довольствующиеся копеечной добычей ради бутылки. Таких нередко ловили свои и

нещадно лупили во имя вышеупомянутого первого правила.

Относительно второго правила сохранилось несколько колоритных свидетельств. В. А. Нелидов вспоминал: «Покойный главный режиссер Малого театра Кондратьев рассказывал мне, что как-то в лунную ночь он поздно, после спектакля, в восьмидесятых годах переходил в центре города площадь Большого театра. К нему подскочили два хулигана с требованием денег, и в это время Кондратьев слышит голос третьего: „Отстань, дурачье, разве не видишь, что это господин Кондратьев?!“ И тут же: „Проходи, проходи, барин, мы своих не трогаем“. Кондратьев работал в Малом театре, жулики — в его районе, Кондратьев, стало быть, „свой“» ^[303].

Сходным образом, Н. П. Розанов рассказывал, что его дядья — священники из Успенского собора Кремля ходили служить утрению в соборе очень рано — часу в третьем ночи и несколько раз, проходя Троицким мостом, подвергались попыткам ограбления. «Но, впрочем, эти нападения, — добавлял Розанов, — совершались на них по недоразумению: когда кто-либо из новичков шайки грабителей хватал за рясу соборянина, то обыкновенно тут же слышался окрик: „Оставь, это свои!..“» ^[304]

Уголовники имели свой жаргон (уже в 1840-х годах в уголовном словаре были: *лафа* — пожива, *стрема* — неудача, *петух* — сторож, *бабки* — деньги, *шмель* — кошелек и т. д.) и свою специализацию. Различались карманники, городушники, «трубочисты», форточники, громилы, поездошники, забирахи, кушачники и аферисты — вору-«интеллектуалы», совершавшие сложные кражи, требовавшие продуманного и хитрого плана. Форточники и «трубочисты» «работали» по квартирам, куда забирались соответственно через

форточку или вырезая стекло в окне, либо через трубу. У них часто в подручных был ребенок, которого впускали вперед. Громилы нападали на прохожих в темных местах. Городушники или рядские забирахи — в основном женщины — совершали кражи в лавках, прежде всего в «Рядах» и Гостином дворе Китай-города. Специальностью «поездушников» были кражи с возов и с задков пролеток или саней, почему и «работал» этот род воров в основном возле застав и рынков, у придорожных кабаков и постоянных дворов, а впоследствии и на вокзалах, при разъезде пассажиров, по вечерам. Забирахи воровали все, что «плохо лежит» — от выставленного на продажу товара, когда отвлечется торговец, до белья, развешанного для просушки. Наконец, «кушачники» во время праздничных богослужений и других массовых сборищ, плотно прижавшись к намеченной жертве, вырезали большие куски дорогих меховых шуб и пелерин. Две последние категории воров считались самыми низшими и в их числе было много подростков. Чисто московским термином был «жулик»: в Петербурге для обозначения аналогичного понятия употреблялось слово «мазурик».

Воры промышляли небольшими группами по два-три человека. К примеру, карманники — «притычки» окружали жертву, создавая вокруг нее своего рода ширму и отвлекая ее внимание, а «мастер» в это время совершал собственно кражу. Иногда «притычки» устраивали какое-нибудь зрелище для толпы — громкую ссору, драку, выпускали в воздух целую связку воздушных шаров, рассыпали воз с товаром и т. п., и пока толпа зевала на происшествие, «мастер» ловко обчищал чужие карманы, забирая все, что попадется: кошельки, часы, табакерки, портсигары, даже носовые платки. Если вора ловили на месте преступления, его быстро окружали свои и, имитируя побои и

приговаривая, что сейчас отведут его в будку, быстро уводили от толпы.

Помимо воровства и грабежей распространены были и мошенничества, особенно бьющие на жалость. Какой-нибудь бедолага, по виду мелкий чиновник, вдруг принимался громко кричать: «Обокрали! Батюшки, держите, держите, обокрали, ограбили!..» Собравшейся толпе он, рыдая, объяснял, что нес, дескать, деньги в узелке (он называл какую-нибудь сравнительно небольшую сумму), и вот — украли, а деньги казенные... Толпа громко ахала и сочувствовала, потом кто-нибудь прилично одетый предлагал скинуться и помочь несчастному, и через полчаса фальшивый обокраденный вместе с фальшивым доброхотом уже пьянствовали в трактире.

Мелкие шайки были нестабильны по составу, «фартовые» сходились и расходились, заботясь прежде всего о самих себе. О сколько-нибудь организованной преступности в Москве XIX века говорить не приходится.

Правда, в начале 1870-х годов была предпринята попытка создать настоящую преступную ассоциацию — «Клуб червонных валетов», которая занималась бы подлогом, мошенничеством, шантажом и вымогательством, имела бы руководящий совет, планирующий операции, «общак» и т. д., но дальше идеи дело почти не пошло: потенциальные руководители были арестованы и в 1877 году разразился громкий судебный процесс, вошедший во все хрестоматии судебного красноречия (обвинителем по делу был видный юрист Н. В. Муравьев). К трущобной Москве «червонные валеты» отношения фактически не имели: все 48 обвиняемых принадлежали к обеспеченным слоям общества, а 28 из них были дворянами, в том числе даже титулованными.

Глава одиннадцатая. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ. ДУХОВЕНСТВО

Посты и говельщики. — Молебствия на удачную торговлю. — Приход. — Церковный староста. — Причт. — Поповские дома. — Выезды. — Обстановка. — Многодетность. — Замкнутость духовенства. — «Умственный вист». — Брачные союзы. — Отцы и дети. — Духовная и светская карьера. — Доходы духовенства. — Его общественное положение. — Лужнецкая ссылка. — Церковные хоры. — Мода на храмы. — «Святая вата». — И. Я. Корейша. — Крестные ходы. — Кремлевское богомолье. — Карманники. — Иверская. — Боголюбская. — Паломничества

В массе своей москвичи были довольно религиозны.

Значительная часть горожан постилась на неделе в среду и пятницу; держала Великий пост, чрезвычайно строгий в Страстную неделю (особенно в пятницу, когда оскормиться считалось чуть ли не смертным грехом), несколько раз в году ходила причащаться в церкви и один раз в году, в какую-нибудь из недель Великого поста (чаще всего на Страстной), говела. В больших семьях даже составляли что-то вроде графика говения, чтобы не все домочадцы одновременно оказывались оторваны от дел. «Кто говел, тот ходил к заутрене в 7 часов утра, к часам или обедне в 10 часов, и в 4 часа к вечерне или к мефимонам. Говельщикам запрещалось пить чай до обедни в среду и пятницу, и все обязаны были подчиняться этому правилу, за исключением

детей и младенцев»^[305], — вспоминала современница. В среду говельщик должен был исповедаться у священника, а в четверг утром за обедней торжественно причаститься. Впервые на исповедь и причастие москвичи шли уже в 7–8 лет (и с этого времени «младенец» считался «отроком»), Накануне больших праздников в домах устраивали богослужения; в дни именин членов семьи, перед и после отъезда служили на дому молебны. Естественным делом было осенять себя крестным знамением перед началом и по завершении всякого дела, при выходе из дома и при взгляде на всякую церковь.

Обязательно освящали всякое новое здание и предприятие. Перед началом осеннего сезона купечество присутствовало в Рядах на торжественном молебствии, чтобы испросить благословение Божие на удачную и прибыльную торговлю. В известный день приглашались архиерей и протодьякон с большим хором певчих; Ряды прибирали и украшали цветами и зеленью. Прибывали чудотворные иконы из Иверской часовни и из часовни Спасителя близ Москворецкого моста; служился торжественный молебен с водосвятием.

В каждом торговом ряду, лавке и магазине были и собственные иконы, перед которыми горели неугасимые лампы, а на одном из магазинов Каретного ряда висел огромный иконостас (иконы в нем принадлежали местным торговцам), тоже с неугасимыми лампами. Иконы помещали перед входом в учреждения и над воротами — городскими и частных домов.

Посещение церкви по праздникам, а нередко и в будни было и привычкой, и потребностью почти всякого москвича. Приходская церковь обеспечивала постоянную связь между обывателями. В церкви, вне зависимости от общественного положения, все друг

друга знали, все со всеми здоровались и по окончании службы завязывали разговоры о семейных, торговых делах и т. п. «Маменька в церковь ходила аккуратно, — вспоминала А. И. Шуберт. — Я замечала, вернется она из церкви и новостей принесет пропасть, кто был, что у кого случилось, какие слухи ходят по Москве. Церковь была в своем роде клубом, и чтоб не было однообразия, часто обсуждали, в какую нынче церковь отправиться»^[306]. «Посещение церкви имело не только смысл религиозный, но служило и к поддержанию общественного инстинкта, — замечал Н. П. Вишняков, — давая возможность видеться с соседями, перекинуться словечком со знакомыми, узнать местные новости, а дамам, кроме того, рассмотреть или показать новый покрой мантилии или модного цвета платье»^[307].

У наиболее уважаемых жителей прихода были в церкви свои постоянные места, иногда даже огороженные низкими ширмами, за которыми по праздникам постилали ковер и ставили стулья. Именитых прихожан причетники проводили прямо на их места, нередко расталкивая при этом толпу. Обстановка в «своей» церкви была вполне домашняя: женщины попроще даже снимали с себя верхнюю одежду и давали держать мужьям. Н. А. Бычкова вспоминала, как ее тетка, искусная рукодельница, в церковь приносила с собой работу: «...стоит себе, службу слушает, устами молится, а сама чулок вяжет»^[308].

Почитаемым членом общины был церковный староста, избираемый всеми прихожанами из числа наиболее достойных жителей околотка. В его обязанности входило следить за всем хозяйством храма, его доходами и расходами, ремонтом, украшением и пр. По уставу, староста не мог быть моложе 25 лет, должен был знать грамоту, быть известным своей ревностью к православию,

преданностью церкви, не бывать под судом и следствием и не состоять под опекой за расточительство. Особенно охотно становились старостами купцы, которые таким образом получали общепризнанное право на первенствующую роль среди обывателей своего прихода.

Важным, хотя и довольно обособленным звеном в эту своеобразную общину входил и церковный причт — то есть духовенство, служившее в храме. Причт состоял из священнослужителей (священник (иерей) и дьякон) и церковнослужителей (дьячок, псаломщик, пономарь, звонивший в колокола), а также просвирни, выпекавшей просфоры для церковного обихода. Все вместе члены причта назывались еще клиром.

Клирики не носили гражданской одежды. Им полагалось иметь длинные волосы и бороды, ходить дома в подрясниках — длинных, до пола, наглухо застегнутых и с длинными узкими рукавами. На улицу священник и дьякон надевали еще длинную и просторную рясу с широкими рукавами — обычно черного или лилового цвета. Дополняли наряд широкополая шляпа с низкой тульей и непременно толстая палка — посох.

Младшим членам причта рясы не полагалось, и они надевали поверх подрясника долгополые сюртуки, а длинные волосы заплетали в косицу.

Как правило, при храме был всего один священник — настоятель, но иногда, в крупных и многолюдных приходах, приходилось держать по несколько иереев. Так, в Богоявленском Елоховском приходе вместо одного священника было трое, «а четвертый, так называемый ранний батюшка, не занимая штатного места с приходскими доходами, получал от старосты ежемесячное вознаграждение: он служил ранние обеды и был особенно любим простонародьем» ^[309].

Как правило, на должность «раннего» священника брали кого-нибудь из бывших сельских батюшек — стариков, сдавших свое место зятю.

В дьяконе Москва ценила в первую очередь сильный и громкий голос, а во вторую — рост и осанистую наружность. Наиболее басовитые и «зверовидные» дьяконы пользовались популярностью у всего города, а купечество наперебой зазывало их в гости на различные семейные торжества, специально чтобы послушать, как отец дьякон, надсаживаясь, будет реветь «Многая лета» имениннику или новобрачным — да так, что посуда на столе задребезжит!

На должность просвирни брали обычно вдову кого-нибудь из членов клира, иногда даже из другого прихода.

Долгое время московское духовенство обитало преимущественно в собственных домах — чаще всего небольших и деревянных, — расположенных где-нибудь поблизости от своего «церковного монастыря» (так в Москве именовалась прицерковная территория, обнесенная оградой). У «городских», а также кремлевских храмов поповские и дьяконские жилища могли располагаться и подальше, но все же где-нибудь в соседних улицах, недалеко от подведомственного им прихода.

Когда священник или дьякон умирал или переводился на другое место, их дома освобождались и там поселялись новоназначенные члены причта. Они платили прежнему владельцу или его наследникам за дом ту сумму, которую присуждала специально назначенная оценочная комиссия.

Ближе к концу века дома церковников стали часто выкупаться храмами. В этом случае сам дом под наблюдением церковного старосты обычно сносили, а на освободившемся месте возводили многоэтажный дом, в котором находилось место и для церковных

квартир, и для лавок и жильцов, так что появлялись средства и на украшение и ремонт храма, и на благотворительность, и на пополнение личных доходов причта. Особенно часто так делали в Китай-городе, где жилых домов было очень мало, приходы поэтому были крошечные, и доходы от богослужения совсем мизерные.

Несмотря на интенсивное строительство церковных доходных домов, все же и в конце девятнадцатого века среди жилищ священнослужителей преобладали частные домики. При каждом из них был садик, а иногда и довольно большой сад с плодовыми деревьями, кустарниками, грядками огурцов и клубники и даже с беседкой, в которой можно было пить летом чай, а в особо жаркие ночи — и спать на холодке.

Имелись, конечно, и всевозможные хозяйственные постройки, без которых не существовало в Москве ни одного частного дома — сараи, погреба, иной раз и хлев, а изредка даже конюшня: среди батюшек встречались, хотя и нечасто, и такие, что могли себе позволить держать собственный выезд.

Обычная московская страсть к выездам «по чинам» не миновала и духовенства. Московский митрополит ездил цугом в шесть лошадей с фореитором, два викарных архиерея, полагавшихся Москве, имели в цуге по четыре лошади, тоже с фореитором; настоятели и игумены монастырей выезжали на четверке без фореитора, протоиереи на паре, а простым священникам полагалась одна лошадь, но часто за неимением ее батюшки путешествовали по своему приходу пешком.

По образу жизни и домашней обстановке московское духовенство приближалось к зажиточному мещанству или среднему купечеству. Изредка встречались и батюшки, живущие совершенно «на

барскую ногу», но лишь в очень богатых приходах, которых в Москве были единицы.

Обычно дом священника или дьякона был совсем невелик и часто еще уменьшался благодаря выделению каких-нибудь помещений, сдаваемых внаем: либо это была вся выходящая на улицу сторона, в которой размещались разнородные лавки, цирюльни и мастерские, либо мезонин, превращенный в квартиру.

Оставшиеся немногие комнаты густо заселялись поповским или дьяконским семейством. Обычно из передней двери вели в «залу», обставленную по стенам стульями и ломберными (карточными) столиками. Эту комнату использовали не только для приема гостей, но и как семейную столовую, а нередко здесь же на жестком волосяном диване, а то и на составленных вместе стульях, и ночевал кто-нибудь из домашних. Мебель в зале была недорогая и практичная, в первой половине века тяжелая, красного дерева, во второй — ореховая, венская. К предметам роскоши относились пианино, а иногда и рояль, на котором учились музицировать дочери, горка с семейной посудой и фарфоровыми фигурками, порой и нарядные бронзовые или накладного серебра (апплике) подсвечники или старинные напольные часы — обычно подарок какой-нибудь набожной и состоятельной прихожанки. На стенах две-три гравюры или даже картины маслом в золоченых рамках, а в красном углу непременно образа.

Следом за залой шла гостиная с диваном и преддиванным столом, часто поделенная надвое деревянной перегородкой. Таким образом, в дальней от окон половине комнаты образовывалось еще одно помещение для ночлега. Там обитали какие-нибудь родственницы батюшки или матушки или взрослые дочери.

За гостиной шла хозяйская спальня с двуспальной кроватью и комодом. Здесь же возле окна в уголке

ютился рабочий стол главы семьи, за которым он сочинял свои «проповедки». Из особо густонаселенных домов батюшки нередко уходили заниматься в свой храм, где в ризнице, а иногда даже в алтаре можно было наткнуться на письменный стол и полку с книгами и связками деловых бумаг, что, конечно, церковным начальством совсем не приветствовалось.

Следующая за спальней комната была детской, из нее дверь вела на кухню, а из кухни — черный ход — на улицу. Вот и вся «жилплощадь».

Если учесть, что семьи духовенства традиционно были многодетными, и пять — десять, даже двенадцать детей вовсе не были редкостью, а кроме того, батюшки по общемосковской традиции призывали и родственников — овдовевших матерей, незамужних сестер, племянников и прочих, то станет ясно, насколько тесно и непросто было жить. Нужно было обладать всеми христианскими добродетелями, чтобы кротко и без ропота сносить тяготы такого общежития.

Часто ни в одной из комнат поповского дома вся его семья не могла поместиться целиком. «За самоваром, с грудным ребенком на руках сидит матушка и разливает чай; из детской то и дело прибегают мальчики — семинаристы, сыновья; за чаем в соседней комнате слышится разговор дочерей — девиц с замужнею сестрой; рядом с отцом протоиереем сидит старший сын, священник, третий сын — студент академии, зять — тоже священник, и вся эта компания ведет или поучительную беседу, или вспоминает о покойном втором сыне, который составлял немалое утешение родителям, отлично учился, кончил курс в академии... и скончался от скоротечной чахотки»^[310].

Помимо душеполезных бесед любимым препровождением времени московских батюшек в

свободные часы были гостеванья и неразлучные с ними у большинства москвичей вообще — карты.

Вообще духовенство жило довольно закрыто и дружило и общалось преимущественно в собственной среде. У немногих священников и дьяконов «были среди прихожан некоторые „приятели“, к которым они заходили посидеть-побалагурить, а иногда сразиться в шашки или картишки, но приход в массе был для них чужд, хотя прихожане и не прочь были принять батюшку и даже отца дьякона для духовной беседы. Духовенство как-то „дичилось“ своих прихожан»^[311], — писал Н. П. Розанов, сам выходец из духовной среды.

Некоторое исключение делалось разве только для старосты, с которым поневоле сходились ближе, а так прихожане посещались в основном «по делу» — с праздничным обходом и по случаю семейных событий, на которых присутствие священника было необходимо, — помолвок, свадеб и поминок.

Собравшись своей, священнической компанией, батюшки вели специальные профессиональные разговоры о назначениях и перемещениях в московских приходах, о новинках богословской литературы и т. п. и играли в преферанс, а ближе к концу века — и в винт, которым некоторые отцы увлекались до чрезвычайности. Эту игру считали «умственной» и даже «священной» (то есть, правильнее, священнической).

Тот же Н. П. Розанов вспоминал: «Я принимал иногда участие в одной такой компании и знаю, насколько притягивала к себе людей эта „умственная“, как ее называли, игра. Один из моих партнеров, умный, прогрессивный священник NN как-то после довольно долгого промежутка в наших „карточных“ увеселениях вдруг объявил мне при встрече, что он винт бросил. — „Почему же?“ — спросил я удивленно, зная его приверженность к этой игре. — „Да что, — ответил мне

мой 'бывший' партнер, — ведь со мною дело дошло прямо до галлюцинаций. После продолжительных 'заседаний' за карточным столом у меня в глазах стали все время мелькать разные карточные фигуры. Приду, например, в церковь служить и начинаю пред обедней совершать молитвы пред 'местными' иконами, а в глазах — карты: смотрю на лик Богородицы, а вижу даму пик, обращаюсь к иконе Христа, а он представляется мне бубновым королем. Ну, и решил я уйти от карт и соблазна...»^[312]

Винт уже обязательно «требовал» выпивки и закуски, и «батюшки после каждого роббера, а иногда и после каждой „партии“, отправлялись к закусочному столу, чтобы „для восторга“ пропустить „по единой“. Матушки в это время занимались чаепитием и „судачили“ о своих родных и знакомых... Иногда винт и преферанс кончались у батюшек горячими спорами, которые — но это бывало редко — приводили к тому, что оскорбленные партнеры, с мрачными лицами, отыскивали свои рясы, надевали их и удалялись из дома, в котором им нанесена была обида. Более простые батюшки и дьяконы даже позволяли себе при этом изрыгать довольно терпкие выражения по адресу своих обидчиков, хотя до драки дело никогда не доходило, что бывало иногда в далекой провинции, где отцы после игры и выпивки, споря, иногда вцеплялись друг другу в длинные волосы»^[313].

Закрытость духовенства проявлялась и в его семейной жизни. Браки заключались почти исключительно в собственной среде, причем возникающие при этом перекрестные родственные связи оказывались чрезвычайно запутанными — в общем, все московские священники состояли в родстве. Женились одновременно с получением первого места — на дочери какого-нибудь умершего или очень

престарелого священника. По обычаю, если покойный не оставлял сыновей (или они уже были пристроены), новым настоятелем храма становился муж дочери. Естественно, что поиски супруга, инициатива в которых предоставлялась поповне, должны были происходить очень быстро, чтоб приход не оставался без настоятеля. В быстроте заключения брачного союза были заинтересованы и сами потенциальные женихи: духовный сан мог получить только женатый.

В дело вступали специальные «свахи по духовенству», которые и предлагали подходящим семинаристам и академикам-выпускникам жениться на такой-то барышне. Жених ехал смотреть невесту и, если она сама и прилагавшиеся к ней приход и приданое его устраивали, «ударял по рукам». Женились священники только однажды: если первая жена умирала, второго брака им не дозволялось.

Попадьи московские были в массе своей дамы очень энергичные и прекрасные хозяйки, искусные и в рукодельях, и в засолке огурцов, и в печении пирогов со всевозможными начинками, а главное — в сложном деле домашней экономии при очень небольших, как правило, средствах. Принцип «Жена да убоится своего мужа» в их отношении не действовал: обычно матушки руководили не только в доме, но и в приходе.

Дети традиционно находились в полном подчинении у родителей, хотя в послереформенное время это положение стало нарушаться. В духовенстве возникли разномыслие и конфликты отцов и детей. Прогрессивная и «продвинутая» молодежь увлекалась модным позитивизмом, естественными науками, декларировала свободомыслие и неверие и охотно провоцировала «отсталых» отцов на идеологические споры, быстро превращавшиеся в бурные и тягостные сцены со взаимными обидами.

Вплоть до середины века преобладало духовное образование мальчиков — сперва в Заиконоспасском, Донском или Андроньевском духовном училищах, потом в Московской духовной семинарии и иногда в академии, хотя уже тогда много «поповичей» выходило из старших классов семинарии, чтобы поступить в университет, большей частью на медицинский факультет. Во второй половине века такое предпочтение светской карьеры сделалось массовым, и из четвертого, пятого или шестого класса семинарии сыновья священников и дьяконов уходили и в университеты, и в Ярославский и Нежинский лицеи, в Ветеринарную и Петровскую академии. В те же, послереформенные десятилетия нередко уже были случаи, когда сыновья иереев учились в гимназиях.

Дочерей учили дома, а после 1870-х годов — в появившихся к тому времени женских гимназиях и Епархиальном училище, предназначенном преимущественно для девиц духовного звания.

Жалованья московское духовенство не получало, за исключением настоятелей кремлевских придворных храмов — Спаса на Бору, Рождества Богородицы, что В сенях, Спаса За золотой решеткой и др. Впрочем, жалованье здесь было столь мизерное, что охотников на эти места находили с большим трудом. Обычно доход духовенства зависел в первую очередь от размеров прихода и составлялся из платы за церковные обряды (венчание, отпевание, крещение и пр.) и тех пожертвований, которые прихожане опускали в ящики и на блюда сборщиков — в среднем по 10–20 копеек с человека за службу (наиболее богатые давали от полтинника до рубля). Вырученные таким образом деньги распределялись в определенной пропорции между членами клира (наибольшая часть — настоятелю) и частью оставлялись на нужды храма.

В такой же пропорции делились поступления от принадлежащей храму собственности — доходных домов, лавок, земли, которую сдавали в аренду огородникам, и клирики тех — далеко не многочисленных — храмов, у которых такая собственность имелась, считались между коллегами истинными счастливыми.

Еще одной статьей дохода духовенства была педагогическая деятельность. Большинство московских священников и дьяконов преподавали в учебных заведениях (иногда и не в одном) Закон Божий, а порой нанимались и индивидуальными репетиторами по этому предмету. Дьячки же традиционно обучали грамоте детей московского простонародья.

Наконец, узаконенным источником дохода духовенства были всевозможные праздничные службы, молитвы и молебствия, совершаемые на дому у прихожан. На каждый большой и приходской праздник клир поднимался и обходил дома «со крестом». Устойчивой таксы на такие службы не существовало, и нередко проведя целый день, сорвав голоса и совершенно измотавшись, клирики приносили праздничный «улов» — 2,50–3 рубля на четверых.

Кое-кто из состоятельных прихожан, правда, еще дарил по праздникам своим священникам и подарки — обычно продукты или иные товары, которыми сами торговали: голову сахару и фунт чаю, пару бутылок вина или материи «на ряску» и т. п.

Сам факт праздничного обхода квартир и домов, уравнивающий духовных лиц с будочниками, дворниками, швейцарами и другим «обслуживающим персоналом», был, конечно, довольно унизителен и отнюдь не повышал социальный престиж духовенства, бывший и вообще-то довольно невысоким. В Москве, особенно в первой половине века, были не редкостью и грубое и неуважительное отношение к духовенству, и

даже оскорбления, нанесенные священникам прихожанами. Так, в 1820-х годах много шума наделал случай, когда во время службы, подходя к кресту, некий гвардейский капитан Лаптев ударил по лицу священника за то, что тот сделал ему замечание: вы-де не молились, все время разговаривали с дамами, и прикладываться к кресту не достойны.

Позволяли себе покуражиться над приходским священством и обычно набожные «их степенства». Протоиерей церкви Рождества в Столешниках (была на углу с Петровкой; ныне не существует) М. В. Модестов как-то пришел со крестом в булочную Савостьянова и, «отпев краткое молебствие, получил от хозяина 5 рублей. Он уже начал запрягивать бумажку в карман, как вдруг Савостьянов, в присутствии покупателей, бывших в булочной, обратился к нему со словами: „А сдачи?“ Модестов покраснел и спросил, сколько ему надо сдачи. Савостьянов потребовал четыре рубля с полтиной, и Модестов должен был отсчитывать сдачу, оставив полтинник на весь причт»^[314].

Конечно, Савостьянов был за что-то сердит на батюшку, потому так и поступил, но сама возможность подобной выходки ясно свидетельствовала, что ни сан, ни крест не способны были в таких случаях защитить духовенство.

В итоге всех ухищрений собирались те суммы, на которые духовенство существовало со всеми своими чадами и домочадцами. Годовой доход дьякона мог составлять рублей 600 (50 в месяц), что для семейного человека было очень недостаточно; батюшки «вырабатывали» самое большее рублей до 100 в месяц.

Очень немногие московские храмы могли доставить своим клирикам более сносное существование. Лучшим в этом отношении местом считался в Москве Казанский собор на Красной площади, дававший настоятелю до 5

тысяч рублей в год дохода и предоставлявший ему хорошую квартиру в Чернышевском переулке. Затем следовал Покровский собор (храм Василия Блаженного), Успенский собор Кремля, а в конце века еще храм Христа Спасителя — то есть наиболее посещаемые московские храмы. Из более отдаленных очень доходными считались церкви Троицы в Листах (на Сретенке), Трифона в Напрудном (на Трифоновской улице), Пятницкая на Пятницкой улице, Василия Неокесарийского на Тверской и некоторые другие.

Естественно, что духовенство этих храмов могло позволить себе жить «по-генеральски» (к недостойной зависти своих менее счастливых собратий): и квартиры обставить пороскошнее, и выезд завести, и собственную дачу, а порой и не одну — лишние сдавали, — да и погурманствовать могли себе позволить. Н. П. Розанов вспоминал протоиерея В. И. Романовского, служившего в 1880-х годах в Пятницкой церкви, который не только сам потреблял хорошую заграничную «мaderку», но и, отправляясь в гости, брал пару бутылочек с собой и там, пренебрегая хозяйским, обычно дешевым, винным угощением, и сам откушивал, и соседей угощал своей «мaderкой».

К слову сказать, выпить, особенно в гостях, московские батюшки никогда не отказывались. Алкоголики или запойные пьяницы среди них почти не встречались, но хватить лишнего доводилось многим, и более трезвые собратья в таких случаях, поглядывая на пьяненького, приговаривали, вздыхая: «Отец-то, того... зело угобзился» (от старинного глагола «гобзить» — быть в изобилии. — *В. Б.*).

Впрочем, особенно увлекаться горячительным не позволяли ни ограниченные доходы, ни продуманная политика московских церковных властей. Особенно строго наблюдал за поведением духовенства знаменитый митрополит Филарет (Дроздов), чуть не пол

века, с 1821 по 1867 год занимавший свой пост и правивший московской епархией поистине самодержавно: милостиво, но строго.

До тонкостей зная материальные обстоятельства подведомственного ему духовенства, Филарет выделил в разных местах Первопрестольной несколько совсем убогих приходов в шесть-семь домов (церкви Троицы в Хохлах вблизи Покровского бульвара, Рождества в Симонове, Николы в Котельниках, Климента на Пятницкой, Покрова в Голиках (возле Малой Ордынки), настоятелям которых приходилось влачить нищенское существование, и стал использовать эти церкви для административно-епархиальных целей.

«Он надумался обратить их как бы в исправительные колонии для тех членов своего клира, которые своею жизнью и поведением или какими-либо служебными проступками навлекали на себя его начальническое неудовольствие. Чуть в чем-либо проштрафился священник или дьякон какого-либо богатого прихода, но уж не настолько, чтобы стоило принимать относительно его радикальные меры, митрополит тотчас прописывал ему паллиатив в форме перевода в какой-нибудь из таких вот приходов. Лекарство в большинстве случаев действовало отлично: сразу заметив, что за его единоличные грехи расплачивается вся семья, наказанный образумливался, начинал вести примерную жизнь и, помаявшись годик-другой на голодном положении, у того же митрополита перепрашивался на другое, более доходное место» ^[315].

Для самых неисправимых, особенно пьяниц, применялся перевод в Лужники в крохотную (ныне не существующую) церковь Тихвинской Божьей Матери. Лужники в то время вообще считались в Москве чуть не краем света и обстановка там была самая романтическая, что-то из конан-дойлевской «Собаки

Баскервилей»: голая болотистая местность, унылые ошипанные ветлы над рекой и небольшое поселение с крошечной фабричкой и храмом. П. И. Корженевский вспоминал: «Громадную Палестину эту пересекала до самого конца скучнейшая сельская немощеная дорога, где-то сбоку ее в сторону города виднелась старенькая, немного словно покосившаяся церквушка и несколько таких же домишек. И кругом ни души. Что-то странное и нежилое. Пробовали повернуть туда, но оказалось, это совсем не просто. Все это пространство было на уровне реки, и каждый не то что дождь, а даже ветер забрасывал сюда воды реки, и чтобы пройти, надо было выглядывать какую-нибудь кочку... Маленькое отступление, и из-под ноги показывалась вода»^[316]. В это «таинственное местожительство на болоте» и попадали пропащие батюшки. Среди них, как рассказывали, нашелся один, который и это гиблое место обратил в источник дохода и стал потихоньку венчать всех, у кого были не в порядке документы.

Многотрудная и полная забот жизнь московских пастырей несколько облегчалась в летнее время. Большинство прихожан в это время разъезжались из города; число треб сокращалось; школяров отпускали на каникулы и обязанности законоучителя можно было отложить до осени; наконец, матушка с детьми отправлялась жить на заблаговременно нанятую дачу — и батюшки, наконец, могли предаться отдохновению. Нанимали в прислуги старуху из приходской богадельни, и все свободное от службы время либо играли в шашки в лавке у какого-нибудь знакомого лавочника, либо просто-напросто отсыпались. «Обыкновенно они ложились „отдохнуть“, — рассказывал Н. П. Розанов, — придя из церкви от ранней обедни, и спали до полудня, а потом обедали и ложились спать „до чаю“; вечером пред ужином также

ложились „лежать“ и так крепко иногда засыпали, что прислуживавшая им старуха-богаделка должна была употреблять немало усилий к тому, чтобы разбудить батюшку. „Батюшка, — говорила она, — вставайте, пора уже спать ложиться как следует!“» ^[317]

В Москве издавна любили духовную музыку и церковное пение и широко были распространены певшие ее любительские хоры. Вплоть до 1870-х годов в них участвовали только мужчины; позднее стали появляться смешанные хоры с участием женщин. Некоторые из частных хоров — Смирнова, Нешумова — в середине века были так знамениты, что храмы заключали с ними годовые контракты. Были, конечно, и хоры из церковнослужителей. Особенной известностью пользовались из них Синодальный, певший по праздникам в Успенском соборе, и архиерейский хор Чудова монастыря. Синодальный хор насчитывал 90 человек; его охотно приглашали (полностью и частями по 10-12 человек) для отпеваний и других обрядов. В последних десятилетиях века синодальным певчим сделали обшитые позументами зеленые «русские кафтаны» с длинными, на красной подкладке, рукавами, свисавшими до земли, и когда они все вместе в линейках отправлялись куда-нибудь по городу на службу, зрелище было оригинальное.

Чудовским хором (в нем было 80 человек) в 1850-1860-х годах управлял регент Ф. А. Багрецов, и под его руководством этот коллектив достиг небывалого искусства. Поклонников у него было множество, и когда хор отправлялся петь в какой-либо из храмов: 2 мая к Николе в Пыжах на Ордынку, 14 сентября к Никите Мученику на Старую Басманную, а частями — по субботам в 6 часов вечера на Всенощную в Шереметевской больнице, у Троицы в Листах, в университетской церкви, на позднюю обедню в 10 часов

утра у Трифона Мученика или еще куда, поклонники толпой отправлялись следом.

Обычным явлением для Москвы была мода на те или иные храмы, которые в различные периоды по каким-то причинам вдруг начинали посещаться больше остальных. Так, в первой половине века наиболее популярны были церкви Голицынской больницы, Коммерческого училища, храм Василия Блаженного, Большое Вознесение на Никитской, «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке и церковь Никиты Мученика на Старой Басманной, а среди московской аристократии — также Воскресенский и Алексеевский монастыри, где среди инокинь было много дворянок и монахини иногда даже затягивались в корсеты. В 1860-х годах славилась университетская церковь Святой Татианы: здесь по праздникам пел чудовский хор и имелся блестящий проповедник — профессор богословия Сергиевский, который со своими проповедями имел огромный успех у публики. Интересно, что роскошный храм Христа Спасителя, освященный в 1883 году, долгое время был не очень популярен среди богомольцев. Туда ходили в основном «на экскурсии»: подивиться размерам и роскоши убранства, а молиться предпочитали в более уютных и намоленных, особенно старинных, храмах.

Вообще большинство москвичей прекрасно ориентировались в городских церквях, знали, где какие святыни находятся и какому святому или иконе когда следует молиться. 25 января полагалось поклониться иконе «Утоли моя печали» в храме Николы в Пупышах; 5 февраля — иконе Божией Матери «Взыскание погибших» в храме Рождества в Путинках. 15 ноября, в день святых Гурия, Самона и Авива, считающихся покровителями брачной жизни, девицам на выданье (в особенности перезрелым) полагалось заказывать молебны в храме Спаса на Бору в Кремле, и целые

вереницы девиц в этот день маршировали в церковь. На Каменном мосту стояла часовня Ивана Воина, и вся Москва знала, что в ней: «...если подать за здоровье того или иного лица, любовь этого лица обеспечена за подающим»^[318].

Вера в Москве часто мешалась с суеверием, благочестие с суетностью, и определить, где кончается одно и начинается другое, было порой весьма затруднительно. Каждый москвич знал, что в новой церкви первым покойником, которого станут отпевать, будет ее храмоздатель, а вот венчаться в новом храме, наоборот, очень хорошо; что «подать за упокой» на живого, но безвестно отсутствующего человека — вернейшее средство заставить его сообщить о себе, и т. п. В каждой из почитаемых в Москве часовен с чудотворными иконами рядом с образом имелся шелковый мешочек с освященной в часовне ватой, которая считалась панацеей во всех несчастьях, и молящиеся могли отщипывать ее понемногу. Особенно активными потребителями этой «святой ваты» были московские школяры, которые перед сессией обегали все чудотворные иконы, молились о ниспослании небесной помощи во время экзамена, причем мазали себе лбы освященным деревянным маслом, а в уши напихивали вату. Брали эту «святую вату» с собой и иногородние богомольцы.

Москва была переполнена разного рода странниками, монашествующими, юродивыми, прорицателями, которых охотно привечали в купеческих и мещанских, а порой и в дворянских домах. Особенной, легендарной известностью пользовался в середине века прорицатель Иван Яковлевич Корейша. Признанный медиками умалишенным, он содержался в больнице, куда к нему и ездили со всей Москвы бесчисленные поклонники и особенно поклонницы из

всех слоев общества. Несмотря на частую бессмысленность его изречений, Корейшу единодушно признавали великим провидцем, и во многих семьях, особенно купеческих, вообще никакого дела не начинали, не сходяв предварительно посоветоваться «в сумасшедший дом к Ивану Яковлевичу». Как вспоминал современник: «В святость его верили безусловно по крайней мере три четверти московского населения. Он считался настоящим оракулом: к нему обращались за советами, засылали с вопросами о разных житейских казусах. Иван Яковлевич строчил, что придет в голову, на клочке бумаги: „Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь, и одеястесь, и одеждостесь, и спасостесь. Анне Христовой“, и каракули его потом благоговейно разбирались и комментировались... Ивану Яковлевичу несли деньги и гостинцы всякого рода, фрукты, сласти. Считали за особое счастье, если он съест одну половину пряника или яблока, а другую предложит докончить гостю. Говорили, что сторожа Преображенской больницы, приставленные к его особе, наживали хорошие деньги за пропуск к нему преимущественно его поклонниц» ^[319].

В некоторых средней руки купеческих домах забота о «странных» людях доходила до того, что там даже устраивали особые помещения для монахинь-сборщиц и монахов-странников, где одновременно их жило по несколько десятков человек. Здесь были комнаты на двоих, моленные; от хозяев постояльцам шел утренний и вечерний чай с хлебом. Среди всей этой околоцерковной публики помимо истинных подвижников было, как водится, немало и откровенных проходимцев.

Москвичи любили слушать рассказы о чудесах и относились к ним с полным доверием. Жадно ловили слухи о чудесных исцелениях и мироточащих иконах и

дружно устремлялись в такие места, тем более что московские батюшки, обрадованные совершившимся от какой-нибудь из их храмовых икон чудом, охотно давали о нем, особенно в последние десятилетия века, информацию в газеты и популярный журнал «Душеполезное чтение». В частности, в конце 1870-х годов в журнале много писали о чудесах, совершившихся над некоторыми больными от иконы Казанской Божьей Матери (хранящейся в Казанском соборе). Можно прибавить еще, что в московском простонародье жила неистребимая страсть к дискуссиям по вопросам веры, которой предавались при всяком удобном и неудобном случае, и особенно часто в трактирах.

В Москве на протяжении года устраивалось множество крестных ходов: на Крещение такой ход шел из Успенского собора на Москву-реку; 21 мая, в благодарность за избавление Москвы от татар, из Успенского собора к церкви Владимирской Богородицы у Никольских ворот Кремля. Подобные же благодарственные крестные ходы по случаю избавления от татарских набегов устраивались 23 июня и 26 августа (из Успенского собора Кремля в Сретенский монастырь) и 19 августа (из Кремля в Донской монастырь). 8 июля и 22 октября были крестные ходы из Успенского собора Кремля в Казанский собор в благодарность за избавление Москвы от поляков в начале XVII века. 10 октября шли вокруг Кремля в память избавления Москвы от французов в 1812 году. 20 июля (в Ильин день) был ход из Успенского собора к церкви Илии Пророка на Воронцовом поле; 28 июля — из Успенского собора в Новодевичий монастырь; 1 августа — из Успенского собора на Москву-реку в память одержанных в X веке побед над болгарами.

С 8 августа до 14 августа устраивались ежедневные крестные ходы из кремлевских церквей и соборов по

территории Кремля: 8 августа — из Чудова монастыря, 9 августа — из церкви Двенадцати Апостолов, 10 августа — из церкви Николая Чудотворца при Иване Великом, 11 августа из Воскресенского девичьего монастыря, 12 августа из церкви Спаса на Бору, 13 августа из Архангельского собора, 14 августа из Благовещенского собора.

1 октября (на Покров) крестный ход шел из Кремля в Покровский собор (храм Василия Блаженного); в день Преполовления был ход из Успенского собора Кремля на Москву-реку. Как рассказывал современник, в первые десятилетия века «в дни крестных ходов на Москву реку, как то в день Крещения, в день Преполовления и 1 августа для схода на воду спускались к Тайницким воротам по устроенной на горе деревянной лестнице; но впоследствии гору ту сравняли, обложили дерном и спуск устроили отлогим, который с обеих сторон обнесли железными перилами»^[320].

Каждое подобное шествие привлекало огромное количество участников и зрителей и превращалось в памятное событие. Как рассказывала А. О. Ишимова, ставшая очевидицей крестного хода на 1 августа: «... между двух стен народа потянулись прежде кресты и образа, потом низшее духовенство, за ним священники, протоиереи и архиереи. Я не могла сосчитать всех, но одних священников было сто»^[321].

Когда крестные ходы проводились за пределами Кремля, они становились праздником для всего района, по которому проходило шествие. Так, в Ильин день ликовали вся Ильинка, Маросейка, Покровка и Воронцово поле с прилежащими переулками, а на Донскую Богородицу (19 августа) праздновало все Замоскворечье — Полянка, Большая Якиманка и так далее, вплоть до Калужской. По мостовой и тротуарам в эти дни по-праздничному разбрасывали ветки

можжевельника. Около 9 часов утра становился слышен перезвон колоколов, сопровождавший медленно двигавшееся от Кремля шествие. «Предшествуемое жандармами, усердное наше купечество выносит из Спасских ворот большие местные образа и чудотворные иконы... За ними видите вы полки духовенства, облаченные в золотые ризы, а в конце шествия знаменитого Архипастыря, осененного хоругвями, сопровождаемого стройными кликами огромного Синодального хора»^[322].

Н. П. Вишняков вспоминал: «Постепенно улица превращалась в колыхающееся море обнаженных человеческих голов, среди которых пестреют яркими пятнами женские платья и шляпки. Высоко в воздухе, мерно и тяжело колеблясь, надвигается целый лес хоругвей, сверкая золотом и серебром... Сопровождаемые пением, шествуют архиереи и многочисленное духовенство в светлых ризах. По всей дороге раздается ликующий колокольный звон; из церквей выступает навстречу местное духовенство со своими хоругвями для присоединения к ходу»^[323]. Нередко в такие дни состоятельные жители созывали гостей специально, чтобы «смотреть кресты», и потом устраивали для них праздничные обеды, а публика попроще видела в проходе шествия лишний повод отметить в кабаке или трактире.

Помимо регулярных крестных ходов случались и экстраординарные. Такой был устроен осенью 1831 года после эпидемии холеры. «Митрополиту Филарету хотелось обойти крестным ходом всю Москву, т. е. вокруг всей Москвы, но это было невозможно по ее пространству, ибо окружность Москвы составляет более сорока верст. Он, однако, придумал прекрасное и удобное средство: он назначил, чтобы в один день, после литургии, каждый священник обошел крестным

ходом границы своего прихода с своими прихожанами. Таким образом, в один час была обойдена вся Москва, и без этой толкотни и народной давки, которая всегда сопровождает у нас процессии и отнимает у них характер чисто религиозный; здесь, напротив, много способствовало умилению и то, что небольшая кучка людей, следующих за крестами, вся состояла из братьев одной паствы, из жителей одного прихода, более или менее знающих друг друга и обходящих свои собственные жилища. Это был единственный крестный ход и по исполнению, и по чувству участвующих, и по умирительному зрелищу двух соседних церквей, встречающихся каждая с своими прихожанами» ^[324].

Практически каждый москвич, не говоря уже о многочисленных приезжих, считал своим долгом хотя бы раз в жизни (а в действительности гораздо чаще) совершить богомолье в Кремль, чтобы поклониться всем тамошним святыням. При этом последовательно обходились соборы — Успенский, Благовещенский, Архангельский, Двенадцати Апостолов, храмы Чудовского и Вознесенского монастырей, а затем еще собор Василия Блаженного, Иверская и Пантелеймоновская часовни. Везде следовало приложиться к мощам почивающих там угодников и, конечно, отстоять молебен или хотя бы поставить свечи у чтимых икон.

Наиболее почитаемой московской святыней была Владимирская Богоматерь в иконостасе Успенского собора, но там же, в Успенском, хранились и другие дорогие христианскому сердцу реликвии — частица Креста Христова и гвоздь, которым были прибиты ко Кресту ноги Христа, а также частица Ризы Христовой. Купечество особенно любило ходить в Успенский собор еще и потому, что там всегда был лучший в Москве протодьякон — с самым густым и звучным басом. В

Архангельском соборе поклонялись гробам московских государей — собирателей — и особенно мощам святого царевича Дмитрия, да и вообще во всяком кремлевском храме было множество драгоценных реликвий и почитаемых образов.

При посещении Кремля старательно соблюдалась древняя московская традиция — обязательно обнажать головы при проходе через Спасские ворота. Эту традицию соблюдали даже императоры: въезжая во время коронации в Кремль, в Спасских воротах они непременно снимали шляпы или каски и осеняли себя крестным знаменем. Во все другие ворота почему-то принято было входить с покрытыми головами, а в Спасских, если и забудешься, то часовые напоминали в самой категоричной форме. По этому случаю даже рассказывали такой анекдот: обоз въезжает в Спасские ворота. На возах дальние мужики; московских обычаев не знают и головных уборов, конечно, не ломают. Стоящий на посту часовой в полной форме внушительно говорит: «Эй ты, чумазый, снимай шапку!» Обозник оторопел, поспешно стянул шапку и обернувшись назад, заголосил: «Эй, хлопцы! Вертай назад: в церкву въехали!..»

Огромное количество богомольцев делало Кремль, как это ни прискорбно, очень криминогенным местом. Карманников здесь работало много и все самой высокой квалификации. Колоритную сценку на эту тему описала А. О. Ишимова-. «Нас предостерегали давно, что в церквах здешних во время большого стечения народа надобно быть осторожнее, нежели у нас в Петербурге; надобно покрепче держать карманы и ридикюли, кошельки и портфели, и особенно стараться не делать никаких денежных распоряжений, стоя посреди толпы народа. Но мы не обращали много внимания на эти предостережения... Во время обедни Ольге Дмитриевне вздумалось достать кошелёк свой, чтобы положить

несколько серебряных монет на блюда сборщиков, проходивших мимо нас по церкви. Сделав это, она вспомнила о предостережениях и чтоб не положить при окружавших ее кошельек свой назад в карман, откуда легче было вытащить, она оставила его в руке, завернув в платок, и была совершенно спокойна. Не прошло одной минуты, как в руках ее был уже один платок, а кошелек исчез как будто бы волшебною силою! Напрасный труд был искать его или спрашивать о нем: все окружавшие нас искренно разделяли нашу досаду, и все подтвердили, что никогда не должно здесь в толпе вынимать из карманов кошелек, что однажды вынутый всегда уже исчезал у хозяина, если не в ту же минуту, как у нашей Ольги Дмитриевны, то через несколько часов, и если не в той же самой церкви, то в другой или в третьей» ^[325].

Не лучше обстояло дело и в прикремлевских часовнях, в особенности в Иверской, возле которой, помимо карманников, промышляли еще и собственные, крайне назойливые нищие. Не случайно в своем стихотворении, посвященном Иверской часовне, поэт Николай Щербина писал:

Здесь воздух напоен дыханием молитвы,
Сюда мошенники приходят для ловитвы,
Здесь умиление без носовых платков
И благочестие нередко без часов.

Пожива им была великая, потому что побывать в Городе и не посетить Иверской было вещью почти немислимой. Помолиться сюда заходили чиновники присутственных мест, студенты перед экзаменом, китагородские купцы, никогда не начинавшие ни одного дела без молитвы перед Богородицей, и,

конечно, бесчисленные паломники и приезжие. Мимо часовни проходили, тоже непременно снимая шапки.

Перед Иверской «всегда бывало много народу — и с поникшими головами стоят, и на коленях молятся. Обиды, лишения, безвыходная нищета — вся скорбь огромного города с его правдой и ложью, с его тщеславной суетой и беспомощным горем стекалась и стекается сюда ежедневно, от утренней жары до вечерней»^[326]. Почти непрерывно по просьбам богомольцев служили молебны, и пение из часовни смешивалось с криками разносчиков и грохотом и стуком экипажей, проезжающих через арку Воскресенских ворот.

В самой часовне стояли сотни свечей, принесенных ждущими исцеления благодаря Богородице от недугов и горестей. После Владимирской иконы Иверская, находившаяся в России с семнадцатого века, была самой, наверное, почитаемой москвичами. Икона была украшена золотой ризой с огромным количеством драгоценных камней, внесенных богомольцами.

По ночам Иверская покидала часовню и объезжала город. В очередь на ее визит записывались в конторе часовни заранее и ждать обычно приходилось несколько месяцев. «Спрос» на икону был столь велик, что был сделан список с нее, который наравне с оригиналом участвовал в разъездах. В час ночи тяжелый образ вынимали и ставили в золоченую карету, запряженную цугом четверкой лошадей. Вместе с ней усаживались священник и дьякон в алых с золотом облачениях, и в сопровождении всадников с горящими факелами в руках икона отправлялась в один из домов для молебна. Ожидали ее с нетерпением, готовились к встрече, как к большому празднику, а встречали с немалой торжественностью. Как вспоминала Е. А. Андреева-Бальмонт, «после молебна икону

поднимали четыре человека и несли с усилием по всем комнатам дома. За иконой шел батюшка и кропил святой водой все углы комнат. Перед тем, как икону совсем уносили от нас, ее приподнимали повыше и держали наклонно, оставляя под ней пространство, чтобы можно было пройти под ней. Мать проползала под ней на коленях, прислуга наша — точно так же... И при этом у всех без исключения были напряженные и взволнованные лица. Потом икону уносили вниз по лестнице, и мы все провожали ее. Карета, завернув в переулок, быстро скрывалась из наших глаз. Все смотрели ей вслед, крестясь и кланяясь в пояс» ^[327].

Считалось, что нахождение под наклоненной Иверской иконой («осенение благодатью») очищает человека от всех горестей и бед, сулит продолжительное благополучие и удачу и особенно помогает тяжело больным. Н. А. Бычкова вспоминала, как не только исцелилась, но и сделалась очень набожной ее юная знакомая: «Болела больно Анна Александровна. Не то горячка, не то воспаление в легких. При смерти была. Не чаяли встанет. Пластом лежала. Напротив ихнего дома к купцам Иверскую Царицу Небесную принесли. Надежда Дмитровна со слезами кинулась, просит икону к больной дочери. Священники перешли дорогу, внесли образ к Анне Александровне, молебен заздравный отслужили. И над ней, над болящей, Божью Матерь наклонили. Еле могла губами приложиться. С тех пор только лучше стало... Помогло. Стала Божий храм посещать... Рано вставала в церковь к средней обедне, часов в восемь молиться ходила. Очень стала усердная до Бога» ^[328].

Еще одним чтимым в Москве образом была икона Боголюбской Богоматери, установленная на Варварских воротах Китай-города. Празднование ей было 17 июля

по старому стилю, в память избавления Москвы в 1771 году от великой чумы.

Центром праздника была Варварская площадь. Огромный образ спускали со стены и устанавливали на особом помосте под балдахином, украшенным цветами. Трое суток возле иконы специально приезжавшие архиереи, настоятели монастырей и духовенство из соборов непрерывно служили молебны. Большинство москвичей считали своим долгом непременно приложиться в эти дни к образу (в остальное время он висел высоко на стене) и стечение народа на площади поэтому было неимоверное. Порядок поддерживал большой наряд пешей и конной полиции. Место, где стояла икона, обносили канатами и устраивали несколько проходов — один для мужчин, другой для женщин и третий для женщин с детьми. К каждому выстраивалась длиннейшая очередь. В толпу, разумеется, ввинчивались нищие и карманники, не желавшие упустить добычу. Расхаживали разносчики со съестным и торговцы «святостью» — крестиками, иконками, книжками с описанием иконы и прочим — и мелкие образки с изображением Боголюбской в эти дни расходились десятками тысяч штук (их покупали и для себя и для родных и знакомых). В конце третьего дня приезжал сам митрополит, служил торжественный молебен, и икону вновь поднимали на стену — до следующего года.

Всякий набожный москвич считал своим долгом время от времени совершить и дальние паломничества, выбраться в какой-нибудь из почитаемых подмосковных или иногородних монастырей или даже отправиться на богомолье в Киев или ко святым местам в Палестину. Большинство поездок на богомолье приходилось на летнее время. Существовала даже особая классификация паломников: «черный» народ (городские и пригородные крестьяне) ходил на богомолье от

Святой до Троицы (с апреля до середины июня, когда не было сельхозработ). «Красный» народ — торговый, городской люд — шел в Петров пост, перед Макарьевской ярмаркой. «Белый» — дворянство — отправлялся на богомолье в конце лета, в Успенский пост. К Троице ходили через Крестовскую заставу и летом здесь бывало очень многолюдно; в Киев на богомолье отправлялись через Серпуховскую заставу.

Вплоть до появления железных дорог большинство паломников, особенно из простонародья, старались дойти до святого места пешком. Н. А. Бычкова вспоминала: «Дала нам свое разрешение Марья Дмитривна на богомолье в Угрешский монастырь пойти... Собрались мы: я с Анной Александровной да Настасий Александрович с сыном экономки Прасковии Васильевны, Сережей. Филиппа Платоныча с нами отправили, чтобы вещи нес. Еды нам с собой надавали, словно не на два дня, а на два месяца. Колбас, котлет — это на богомолье-то! Смеху, веселья сколько было. Молодость, да что и говорить! Пешком шли, всю дорогу хохотали. В трактире богатом на полпути останавливались. Дорогонько с нас взяли, по 5 копеек с человека, чай мы там пили, закусывали. На другой день к вечеру домой возвратились» ^[329].

Все же публика почище предпочитала поездку в экипаже, причем в середине века богомолье по окрестным монастырям нередко совершали в многоместных «линейках». В этом открытом экипаже поездка по проселочным дорогам и «большакам» (большим дорогам, обсаженным еще во времена Екатерины Великой березами), мимо полей, лугов, рощ, деревень и сел превращалась в увлекательное путешествие. До монастыря добирались обычно в один день, поскольку самой дальней поездкой был Троице-Сергиев монастырь — семьдесят верст, а остальные все

лежали ближе. Выехав из Москвы на лошадях часа в три ночи, к вечеру следующего дня (к шести часам) добирались до Троицы.

По пути к Троице совершали все положенные действия: пили чай в Мытищах, кормили лошадей в Братовщине или Талицах. За Братовщиной посещали колодцы-«кресты»: считалось, что святой Сергей, проходя этими местами, указывал посохом, где рыть колодезь; там их и вырыли и рядом установили кресты. В сезон богомолья возле колодцев было традиционное место ночлега троицких паломников. Здесь же устраивались палатки с подвижными печами и пекли блины.

Следующая обязательная остановка была в Хотькове, где были погребены родители преподобного Сергия. Здесь непременно служили по ним панихиду. Все знали, что святой Сергей «особенно благоволит к тем из благочестивых молельщиков, которые прежде его гроба придут приложиться ко гробу родителей его» ^[330].

Даже когда появились железные дороги, путешествие «к Сергию» обставлялось с некоторой торжественностью, тем более что ехать туда первоначально было довольно долго. В 1860-х годах, когда железная дорога была только проложена, поезд отправлялся из Москвы ежедневно в 8 часов утра, а приходил на место лишь в 16.10, так что обратно можно было уехать только на другой или третий день, тоже утренним поездом (стоила поездка в один конец от 80 копеек в третьем классе до двух рублей в первом). В конце века до Сергиева Посада добирались за два с половиной — три часа, и богомольцы стали оборачиваться в один день.

В монастыре останавливались в гостинице. Заказывали обед (традиционно рыбный и с киселем)

или чай (нередко постную снедь, особенно отменную московскую белорыбицу, привозили с собой), за который приглашали знакомых монахов или послушников. Порции в гостинице были огромные, как в Москве: полторы порции хватало на четверых. Затем шли в лавру, прямо в Троицкий собор. Стояли обедню, прикладывались к мощам Святителя, потом обходили остальные храмы, также прикладывались к мощам, к иконам, осматривали ризницу. Выходили на крепостную стену посмотреть на окрестности. В трапезной покупали кусок знаменитого монастырского ржаного хлеба; в книжной лавочке — иконки и книги.

Вдоль монастырской стены на площади тянулись ряды лавочек с игрушками и деревянной и глиняной посудой. Здесь тоже непременно делали покупки. Потом на извозчике отправлялись в Вифанию: проезжали Скит, церковь Черниговской Божией матери. Возвратившись, вновь в гостинице пили чай и готовились к отъезду.

С собой увозили монастырские просфоры, аккуратно завернутые в салфетки и уложенные в корзину. Н. П. Вишняков рассказывал, как в их доме «с богомолья привозились целые короба с просвирами для рассылки родным, которые и с своей стороны нас не забывали. Мне лично памятно, как после поездки к Троице у нас разбирались массами просвиры, завертывались в чистую писчую бумагу, запечатывались сургучом и, по надписании имен, рассылались по домам» ^[331].

Глава двенадцатая. ПРАЗДНИКИ. ЦАРСКИЕ ДНИ. СЕМЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

Запах праздника. — Иллюминации. — Электрические эффекты. — Рождество. — Симоновские монахи. — Ряженные и костюмированные. — Елки. — Новый год. — Крещение. — Масленица. — Блинное обжорство. — Катания. — Прощеное воскресенье. — Чистый понедельник. — Великопостное гурманство. — Благовещенские птички. — «Пост ломается». — Страстная. — Четверговая соль и четверговая свеча. — Куличные волнения. — Великая суббота. — Пасхальная служба. — В Кремле. — Колокола. — Летние праздники. — Визитная каторга. — Именины. — «Машки-вруньи». — Свадьба. — Золотая карета. — «Кондитерские залы». — Гайдуки-великаны и свадебные генералы. — Утро новобрачных. — Похороны. — Факельщики. — Прощание с императором. — Падение колокола «Реут». — Коронации. — Торжественный въезд. — Народные праздники. — Буйство. — Протухшее угощение. — Ходынка

Не только в Москве, но и вообще в России XIX века в числе праздников различали собственно праздники и

«царские дни». Под «праздником» понималось всякое воскресенье и в основном церковные праздники — как приходские, так и Великие, двенадесятые. «Царскими» (или «Табельными») днями назывались государственные торжества — коронации, а потом годовщины коронации очередного монарха, его, императрицы и наследника тезоименитство (именины), годовщины особенных событий (отмены крепостного права) и знаменитых побед. Все эти дни (кроме воскресений) были рабочими, но в некоторых особо важных случаях позволялось работать по сокращенному графику — лишь до обеда. По всему городу звонили колокола, а в храмах шли торжественные службы. В табельные дни еще стреляли из пушек с Тайнинской башни Кремля, вывешивались (после 1860-х годов) государственные флаги, а в доме генерал-губернатора вечером происходили торжественные приемы.

Большинство московского населения считало своим долгом в любой праздник рано утром сходить в церковь. Вставали часа в четыре утра и шли к ранней обедне. Особенно этот обычай был распространен в средней и низшей городской среде, преимущественно среди «серых» купцов и мещан.

После обедни выходящие из церкви здоровались друг с другом, поздравляли друг друга с праздником и толковали о новостях. Затем шли домой и садились пить чай часов до девяти утра. После этого деловая часть населения шла на работу, а неделовая просыпалась и отправлялась к поздней обедне. С утра по городским улицам распространялся запах праздника — пекли пироги. Их непременно подавали к обеду и к чаю. После обеда следовал традиционный дневной отдых, часов до четырех. Потом пили чай и если было лето, отправлялись гулять в Нескучное или на Даниловское кладбище, а кто побогаче — в Петровский парк или Сокольники.

Зимой послеобеденное праздничное время посвящали чаще всего карточной игре, особенно преферансу, который был в Москве в большой моде начиная с середины века. Театры долгое время в праздничную программу большинства населения не входили — вообще страсть к зрелищам возникла в Москве ближе к концу столетия. Время от времени ходили в гости к кому-нибудь из родни.

С наступлением темноты в «табельные дни» (также как на Рождество, Пасху и Новый год) на улицах устраивалась иллюминация, а иногда фейерверк.

До появления электричества иллюминация составлялась из плошек (небольших керамических блюдецек) и шкаликов (разноцветных стеклянных бутылочек). В них горели конопляное масло, бараний или тюлений жир, а также скипидар, и они больше воняли и чадили, чем светили. Плошки расставлялись преимущественно по ровной, защищенной от ветра поверхности, а шкалики размещали в ветреных местах, их связывали в гирлянды и развешивали на оградах, решетках и фасадах домов. Такие гирлянды требовали ежедневного ухода и, если праздник был долгий (к примеру, по случаю рождения наследника или во время коронации, а также на Рождество и Пасху, когда праздничные огни жгли по несколько дней), каждое утро специальные рабочие, нередко верхолазы, очищали шкалики от нагара и заново заправляли их к вечеру. Чтобы зажечь иллюминацию, применяли специальный шнур — стопин, пропитанный воспламеняющимся веществом. Стопины подвели к фитилям, концы собирались в общий пучок и достаточно было поджечь его конец, чтобы огоньки быстро разбежались во все стороны и включили всю гирлянду. Подобным образом зажигались люстры на балах и в храмах на Пасху.

Помимо иллюминации город украшали транспарантами. На деревянный каркас, сколоченный из планок, натягивали холст с каким-нибудь изображением: вензелем, датой, лозунгом, портретом и т. п., а с изнанки в проволочных петлях закрепляли шкалики. Когда они горели, изображение светилось изнутри.

Иллюминацию общественных зданий в Москве обеспечивали учреждения и городская дума, а обывательские дома должны были украшать сами домовладельцы, за чем следили власти. На основной территории города праздничные огни выглядели довольно примитивно: на подоконниках и тротуарных тумбах расставляли плошки с салом, а в окнах и кое-где на фасадах висели несложные транспаранты.

В конце XIX века, когда в Москву пришло электричество, иллюминация стала яркой. Особенно нарядно выглядел в такие дни Кремль. Очевидец вспоминал, как во время коронации Александра III «по архитектурным линиям стен и дворца горела красная электрическая линия, крыша дворца была обведена такой же зеленой линией, и посередине этого один, весь сплошь залитый мягким жемчужно-матовым светом, <стоял> Иван Великий. На темном бесконечном бархате ночи это было и немного таинственно, и великолепно»^[332]. Не хуже выглядела иллюминация и из Кремля: «С террасы кремлевского дворца, на которую двери были отворены настежь, — вспоминал Б. Н. Чичерин, — открывался совершенно фантастический вид: кругом пылающие огнями Кремлевские башни, а внизу отражающая блески река и за нею бесконечная даль Замоскворечья с улицами, домами и колокольнями, освещенными миллионами плошек»^[333].

В коронацию Николая II возможности электричества использовали самым эффектным образом. «В 9 часов вечера, когда Государь с Императрицей вышли на балкон дворца, обращенный на Замоскворечье, Императрице был подан букет цветов на золотом блюде, в котором был скрыт электрический контакт, и, как только Императрица взяла в руку букет, тем самым замкнулся контакт, и был подан сигнал на центральную электрическую станцию. Первой запылала тысячами лампочек колокольня Ивана Великого, и за ней заблистала повсюду в Москве иллюминация», — вспоминала Матильда Кшесинская^[334].

Из годовых Великих (Двунадесятых) праздников к числу наиболее отмечаемых относились, безусловно, Рождество и следующие за ним Святки. В целом праздничные дни длились зимой с 25 декабря (ст. ст.; собственно Рождества) и до Крещения 6 января и включали в себя Новый год. Все эти дни были нерабочими; мастеровые и крестьяне-отходники в большинстве своем уезжали в деревню, закрывались фабрики, не работали государственные учреждения и учебные заведения. Многие иногородние студенты отправлялись по домам, а в Москву зато во множестве наезжали гости из других городов и губерний.

В общих чертах эти праздники проходили по общему праздничному сценарию. На Рождество и Крещение большинство горожан из всех слоев населения посещали церковные службы. Были обильные праздничные застолья с обязательным заливным поросенком, жареным гусем с яблоками и окороком холодной телятины. Во всяком уважающем себя доме на все Святки «ставились столы» и держались целыми днями накрытыми для визитеров. Работать по большим праздникам было грех, и даже

дамские рукоделия в эти дни были под запретом. (Также в праздники нельзя было ходить в баню.)

Визиты полагались обязательными на Рождество и Новый год, а на Рождество и Крещение (так же как и на другие большие и приходские церковные праздники) визиты непременно наносили и священнослужители. Придя, «священник надевал епитрахиль, выправлял из-под нее длинные волосы и, становясь перед образом, пел: „Рождество твое, Христе Боже наш...“ Мы прикладывались к кресту вслед за матерью и целовали руку священнику. Он поздравлял нас с праздником, мы отвечали все зараз: „И вас, батюшка“. В это время мать возможно незаметнее вкладывала ему в руку „зелененькую“ (три рубля), которую он ловко подхватывал и опускал в карман», — вспоминала Е. А. Андреева-Бальмонт^[335]. Прибывшему со священником дьячку в семье Андреевых полагалась рублевка.

На Рождество и Пасху кроме приходского духовенства приезжали и священники из других мест, знакомые или так или иначе связанные с хозяевами, а еще монахи из тех обителей, где были похоронены их родственники или куда семья ездила на богомолье. «Беспрестанно из залы доносились праздничные песнопения на разные голоса, — вспоминал Н. П. Вишняков. — Я думаю, что прием многочисленного духовенства входил в условия хорошего тона среди тогдашнего купечества. Мне особенно врезались в память монахи из Симонова <монастыря>. Они приезжали в двух экипажах, человек шесть, большей частью рослые и здоровые. Уже одно появление такого числа духовных особ в длинных черных мантиях и высоких черных клобуках, их важная, степенная осанка, сдержанное откашливание и тяжелые шаги по залу вызывали во мне чувство особого уважения, близкого к

робости. Мне очень нравилось их пение. У них был особенный напев вполголоса, каким-то сдержанным полупшепотом, не повышая и не понижая голосов. Тихая и однотонная, как бы задумчивая гармония в исполнении одних басов производила глубокое впечатление. В ней было что-то аскетическое, бесстрастное, почти отвлеченное, что стремится к небу, выше и выше, дальше от земли и ее буйных тревог...»^[336]

Оригинальной чертой собственно Святки были устраиваемые в эти дни гулянья с горками и санными катаниями на парах и тройках. Кроме того, на Святки приходилась самая оживленная часть светского сезона, и молодежь без конца плясала на балах, маскарадах и танцевальных вечерах.

Народные традиции святочного ряженья и колядования были в Москве распространены сравнительно мало, в основном в низовой городской среде — среди мещанства и купечества попроще. Здесь молодежь — нередко дети фабриканта вместе с фабричными рядились медведями, солдатами, бабами и козами, надевали вывернутые мехом наружу тулупы, мазали лица сажей и все вместе, погрузившись в санки, разъезжали по знакомым. Мальчишки из мещанских и мастеровых семей иногда сбивались в ватаги и ходили по знакомым «Христа славить». Войдя в дом, шли к образам и пели «Христос рождается», за что и получали от хозяев пироги и пряники.

В образованном обществе на Святки и Масленицу вместо ряженных появлялись замаскированные. Надевали черное домино, сверх него чужую шубу; маска полностью скрывала лицо, даже глаза были закрыты черным тюлем, и в наемной карете, сев в нее для конспирации где-нибудь на углу другой улицы, отправлялись к кому-нибудь в гости, даже к

незнакомым. «Впуск осуществлялся так одна из масок вызывала знакомого гостя, находящегося на вечере, тот отправлялся к хозяину дома, и последний по рекомендации гостя впускал маску, причем хозяин ни в коем случае не имел права открыть, по чьей рекомендации вошли маски». Вообще маски пользовались неприкосновенностью: обычай строго-настрого запрещал срывать с них личину, какие бы речи они ни вели. Маске разрешалось все.

«Что разрешалось под маской, покажут примеры, — рассказывал В. А. Нелидов. — Приехавшему великому князю громко говорилось о его кутежах и шашнях с заезжей шансонеткой-француженкой, молодящемуся старцу в парике и со вставными челюстями — о блеске его зубов и красоте прически. Скупому — о его щедрости. Легкомысленной даме — о ее добродетелях. Так, в шутливо-веселой форме высмеивались публично пороки и если московские обеды и вечера были своего рода митингами, где обсуждалась жизнь, то маски были своего рода общественным судом» ^[337].

Почти до конца XIX века рождественская елка большинству москвичей была незнакома. Обычай новогоднего дерева вообще издревле был распространен в основном в Германии, а в России был неизвестен. Правда, Петр Великий, которому во время заграничного вояжа очень понравилось это немецкое обыкновение, попытался ввести его в России. Новый 1700 год велено было отмечать, украшая дома еловыми и можжевельновыми ветвями, но обычай тогда так и не привился, — может быть потому, что по древнему русскому обычаю еловыми ветвями «украшали» как раз кабак это было что-то вроде вывески для сплошь неграмотного народа.

После Петра прошло много десятилетий, а новогодней елки в России все не было. В 1817 году

женился великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I. Его избранница, дочь прусского короля Шарлотта (в православном крещении Александра Федоровна) скучала по родине, и чтобы ее порадовать, молодой супруг устроил для нее на Рождество первую в России настоящую елку с блестящими украшениями, свечами и развешанными на ветвях сладостями и подарками. Произошло это как раз в Москве, в Чудовом дворце в Кремле, где первое время жили новобрачные. Потом, когда у царственной четы появились дети, стали устраивать елки уже для них.

Вслед за императорским семейством потянулась сперва петербургская аристократия, потом некоторые представители московской знати, затем кое-кто из купечества и интеллигенции, но все же в целом рождественские елки были распространены мало. Скажем, у купцов Вишняковых елку ставили уже в 1850-х годах, а у других богатых купцов — Андреевых этого обычая не было и в 1870-х годах. Лишь годам к 1880-м елка на Рождество превратилась в действительно массовое явление. Тогда-то и стали ставить елки не только везде в частных домах, но и в школах, учреждениях, на катках, а в игрушечных лавках вошла в обиход предпраздничная торговля елочными игрушками. Примерно тогда же атрибутом елки сделались мандарины.

Плод этот был долгое время редкий и дорогой, малоизвестный в Москве, вот и покупали его только в большие праздники, тем более что оранжевые мандаринные шарики, повешенные на елке, так нарядно смотрелись в гуще зеленых ветвей.

Приготовления к елке происходили скрытно от детей, что очень их интриговало, а показывали детям елку впервые в Рождественский сочельник. После возвращения со Всенощной под бравурную музыку двери залы распахивали, и дети вбегали в залу,

обходили елку кругом, рассматривали развешанные на ней украшения. Внизу под ветвями лежали подарки, завернутые в цветную бумагу и перевязанные лентами. На каждом было написано имя того, кому подарок предназначался.

На другой день, собственно в Рождество, устраивался детский праздник, причем всем приглашенным детям тоже принято было готовить подарки, которые раскладывали под елкой или развешивали на ветвях, и еще в их пользу поступали все сласти, висящие на дереве. В конце праздника, после вождения хороводов, подвижных игр и пения песен, кто-нибудь из взрослых или сами дети, кто повыше ростом, начинали снимать с елки мандарины, конфеты в ярких бумажках, позолоченные орехи, яркие китайские яблочки, а также хлопушки с сюрпризами, и все это раздавалось маленьким гостям.

В отличие от Рождества Новый год долго считался тихим домашним праздником. На него приглашали родственников, молодежь гадала, иногда плясала и играла, пожилые играли в карты. Ровно в 12 часов ночи заканчивался праздничный ужин, все дружно чокались и желали друг другу Нового года, нового счастья. Лишь в самом конце века, в 1890-х годах, появилось обыкновение заказывать новогодние столы в ресторанах и первоклассных трактирах. В это время фабриканты и заводчики облюбовали для новогодних вечеринок новый, только что построенный ресторан «Метрополь», в «Большом Московском» стали собираться биржевики, а в «Эрмитаже» живущие в Москве иностранцы. Отправляясь в ресторан, одевались нарядно, но ночь проводили преимущественно в долгом застолье с крепкими напитками.

На Крещение, когда, по Евангелию, Иоанн Креститель крестил Христа в водах реки Иордан, на льду Москвы-реки неподалеку от Москворецкого моста

строили «иордань»: крестообразно прорубали лед, рядом с прорубью возводили помост с белой полотняной сенью, со всех сторон для красоты расставляли зеленые елочки. Утром в день Крещения из кремлевских соборов к «иордани» совершался пышный и многолюдный крестный ход. Вокруг места торжества собирались войска московского гарнизона и великое множество зрителей. На морозном солнце сияли облачения духовенства, золотые хоругви, кресты, оклады икон. В день праздника обычно бывал сильный («крещенский») мороз, так что «парило» и от черной воды в проруби, и от собравшейся толпы, а на воротниках — собольих, бобровых, из простой овчины — оседало серебро инея.

После молебствия и освящения воды (в прорубь под пение, звон колоколов и пушечную пальбу погружали крест) публика принималась черпать освященную воду, пила ее и омывала лица, а некоторые, кто посмелее, отваживались окунуться. Вылезали красные, словно сваренные, но счастливые, обновленные. На них поспешно набрасывали шубы и в сторонке подавали по доброй порции водки. Здесь же, у «иордани», в продолжение праздника происходило окропление крещенской водой полковых знамен.

После постройки храма Христа Спасителя возле него была устроена постоянная каменная «иордань», и с той поры обряды крещенского водосвятия происходили в Москве на новом месте.

После Святков следующим по времени был праздник Масленицы. В эти дни, всю неделю, не работало большинство предприятий и контор, не учились школьники, хотя официальный праздник начинался лишь с пятницы. Устраивались праздничные гулянья с балаганами и катаниями, и Москва конечно же объедалась блинами.

Состоятельная публика обязательно посещала Троицкий трактир и трактир Егорова, где блины были

особенно замечательны, но вообще блины подавались в эти дни во всех трактирах и харчевнях, их, можно сказать, круглосуточно пекли во всех домах (особенно активно с четверга или пятницы), и кроме блинов со всевозможными добавками — соленой рыбой разных видов, икрой, сметаной и пр. город почти ничего в это время не ел. Обычный семейный обед на Масленой состоял из блинов, ухи, рыбы и чая с лимоном. При этом много пили горячительного, ибо «блин жаждал». Московское блинное обжорство приобретало на Масленицу какие-то фантастические масштабы: съесть за один присест по двадцать штук блинов считалось ни во что, так, «легкой закуской», а знатоки заглатывали блины целиком, не жуя. Собственно, в Москве полагали, что только так, не разжевывая, и надо их есть (кстати, резать блин ножом считалось грехом). В результате Масленица была самым горячим временем для московских врачей: дежурной болезнью в это время был заворот кишок, и кое-кто, особенно из чтущего традиции московского купечества, отдавал от обжорства Богу душу.

На Святках и Масленице строились деревянные горы для катания. Их возводили в первой половине века на Москве-реке напротив Воспитательного дома и на Пресненских прудах, а позднее — на прудах в Зоопарке. Горки строились высокие, с затейливыми башенками, украшенными флагами, а вдоль ската для красоты и вместо барьера ставились зеленые елочки и иногда даже статуи из снега и льда. Здесь же, возле горок, бойко торговали пирожники и сбитенщики.

На протяжении нескольких дней — с четверга до воскресенья — по улицам Москвы устраивались санные катания на тройках с бубенцами, с лошадьми, украшенными лентами и бумажными цветами, с ряжеными и музыкантами, особенно бойкие и ухарские на окраинах города — в Рогожской, Дорогомилове и

других. Компании в санях пели, шутили, хохотали, демонстрировали удалство, на ходу выпрыгивая в снег и запрыгивая обратно. В центре города до середины 1840-х годов устраивалось аристократическое катание от Кремля через Маросейку и Покровку, по Старой Басманной и до Разгуляя, а иногда и до Покровского (нынешнего Электрозаводского) моста.

В последний день Масленицы, на Прощеное воскресенье принято было, чтобы к родителям являлись на поклон замужние дочери с мужьями и всеми детьми, кроме грудных.

Вечером в этот день полагалось друг у друга попросить прощения, и в купеческо-мещанской Москве (а кое-где и среди дворянства) совершался своего рода ритуал. Все служащие и хозяева собирались вместе в столовой; приходили прислуга, рабочие, приказчики, конторщики и пр. «Сам» с хозяйкой усаживались в кресла, все остальные — сперва дети, потом женская прислуга, далее остальные — подходили к ним по очереди, кланялись в ноги и просили прощения, затем целовали «самого» в щеку, у хозяйки целовали руку. Когда все проходили, хозяин вставал, делал общий поклон и просил простить и его. Люди хором говорили: «Бог вас простит!» Потом такую же церемонию проделывали уже члены семьи.

Очень характерен для Москвы был контраст между праздничными днями Масленицы и Великим постом. В масленичное воскресенье ровно в полночь заканчивались все увеселения, затихали шум, гиканье лихачей, пьяное пение, и утром в понедельник город было не узнать: на улицах было малолюдно, с колоколен доносился мерный колокольный звон, все дружно принимались говеть и покаянная молитва «Господи и Владыко живота моего...» была на всех устах. Традиция предписывала посещать все без исключения церковные службы на первой, четвертой и

Страстной неделях, а также преосвященные обедни по средам и пятницам, хотя следовать этому обыкновению в полной мере могли, конечно, только не работающие.

Открывался пост Чистым понеделеньником, в который положено было хорошенько убратъся в кухне и даже выскоблить ножами деревянные столы, «чтобы снять всю нечисть от Масленицы». Все масленичные кушанья должны были исчезнуть, оставшиеся недоеденными блины отдавали нищим. Правда, позволялось «догрызать то, что на зубах осталось», и уверяли, что кое-кто из московских обжор ухитрялся улечься в Прощеное воскресенье спать, зажав в зубах телячью ногу.

Посту подлежали все, за исключением самых маленьких детей: им полагалось пропустить лишь три поста подряд после своего появления на свет — Великий, Петровский, Успенский или Рождественский, а после этого они уже ели постное, как все, и не пили молока.

С первого дня поста начинал работать грибной рынок, на котором для нужд постящихся продавались и приобретались пуды и пуды всевозможных грибов, капусты и солений.

Все увеселительные заведения в период Великого поста закрывались; театры не работали. Начиная со второй недели дозволены были камерные концерты и — выступления иностранных гастролеров. На них, как на иноверцев, русские традиции не распространялись, поэтому в Великий пост Москву наводняли разного рода большие и малые знаменитости — певцы, трагики, гипнотизеры, чревовещатели и иллюзионисты, отбравшие хлеб у отечественных актеров. Частичное разрешение спектаклей в театрах (за исключением первой, четвертой и Страстной недель поста) произошло уже в двадцатом веке, после ухода

К. П. Победоносцева с поста обер-прокурора Святейшего синода.

При всех произносимых в храмах проповедях о духовном значении поста Москва в великопостные дни была озабочена не только говением, но и... едой. Набожный москвич считал, что более всего важно в пост, чтобы не было на столе скоромного, в постном же себя не ограничивал. Поэтому хотя особо благочестивые горожане питались весь пост без масла, а часто и без горячего, на стол все же ставили обеды в 15 блюд.

Кухарки и хозяйки изощрялись в приготовлении постных кушаний, с ними соревновались бесчисленные трактиры, и Москва ела, ела и ела без конца — квашеную капусту и кислые щи с грибами, гороховую, картофельную и грибную похлебки, грибную ботвинью, соленые грузди и рыжики, картофельные котлеты с черносливом и грибную икру, и тертый горох, и клюквенный кисель, моченые яблоки и пшено с медом, и грибы белые, и грибы серые, и винегрет, и чай с кислым клюквенным морсом или миндальным молоком, с баранками, и с сайками, и с мармеладом, и с мятными пряниками, и с «постным» (фруктовым) сахаром (считалось, что обычный сахар очищается через фильтр из толченых костей, а значит, скоромится), ну и, разумеется, поглощали редьку во всех видах — «редьку териху, редьку ломтиху, редьку с маслом, редьку с квасом и редьку так», как шутили в Москве.

Обильная постная еда вызывала потом ностальгические воспоминания: «Самый тяжелый пост — в среду и пятницу на Страстной неделе. Он действительно тяжел: кислая капуста, похлебка из крупы, вареный картофель — все без масла, взвар из сушеных фруктов. Все остальные дни легче — с маслом, конечно, постным — подсолнечным. Какие вкусные пироги с гречневой кашей и луком, с рисом, сушеными грибами и луком, с морковью! Картофельные котлеты с

грибным соусом или мелким зеленым горошком, солянка на сковороде из кислой капусты с грибами, кисели на третье — горячие, сладкие, ягодные, или холодный гороховый кисель с подсолнечным маслом, который подается до супа. Кислая капуста, рубленая или кочанная; пышные пирожки с вареньем. Щи или борщ грибные, грибной бульон с ушками, а ушки — мелкие поджаренные и подсушенные пирожки (похожие на вареники) с начинкой из рубленых грибов с луком — кладутся в тарелку с супом и там наполовину размокают. По праздникам в пост — стол роскошный: прозрачная, янтарного цвета, душистая уха, к ней — пирожки, или жирная солянка из красной рыбы с огурцами, маслинами, лимоном, кулебяка с рыбой, вязигой, рисом. Рыба жареная или разварная. Постные кремы, муссы или сладкие открытые пироги — теплые, рыхлые, с разным вареньем и покрытые решеточкой из теста» ^[338].

Первым из праздников в пост было Благовещение (25 марта по старому стилю), когда полагалось печь и есть «жаворонков» — особые булочки-витушки с изюмными глазками (ими были в этот день завалены все булочные), а также обязательно отпускать на волю птичку. С последней целью москвичи устремлялись на Лубянскую площадь или на Трубу на птичий торг, приобретали там синичку или голубя в клетке и там же, на базаре, торжественно их из клетки вытряхивали.

Заморенные заточением птички, как уверяли, отлетали недалеко — до деревьев ближайшего бульвара, где их ловили мальчишки и снова засовывали в клетки, чтобы вновь продать.

В среду на четвертой неделе поста полагалось обязательно сказать кому-нибудь: «Вы слышали, какой треск сегодня был?» — «Нет, а что такое?» — спрашивали в ответ. «Так ведь пост ломается!» И

действительно, половина поста оказывалась позади. Вскоре наступала и его последняя, Страстная неделя. Ей предшествовал второй великопостный праздник — Вербное воскресенье (Верба), ознаменованное в Москве обязательным гуляньем и предпасхальным базаром на Красной площади.

На Страстной с понедельника по среду в домах производилась основательнейшая генеральная уборка: мыли окна, двери, стены, выколачивали от пыли мебель, драпировки и ковры, обметали потолки, натирали полы, отмывали до блеска посуду и т. д. Киоты с иконами бережно приводили в порядок все образа обтирали, а оклады ярко начищали; лампы мыли и заправляли свежим маслом. К вечеру среды в доме устанавливалось предпраздничное настроение: пахло свежестью, воском, лампадным маслом, мастикой для пола и цветами — на подоконники составляли горшочки с нежно благоухающими гиацинтами или розами, к которым в последующие два дня добавлялись букеты махровой сирени, тюльпанов и ландышей, и даже в домах попроще старались вырастить к Пасхе хоть молодую травку в цветочном горшке. В эти же дни главы московских семейств старались рассчитаться с мелкими долгами, сведя расчеты с лавочниками, пирожниками, сапожниками, портными, приказчиками и т. д.

Уже в четверг обычная для поста благоговейная тишина нарушалась шумом и оживлением — начинались основные предпраздничные закупки. На улицах возобновлялась суета. Тверскую и Кузнецкий мост, не говоря уже об Охотном ряде, Гостином Дворе и Рядах, заполняла предпраздничная толпа. В лавках Охотного ряда выставлялись куличи, пасхи, красные яйца, туда стекались хозяйки, повара, дворецкие и кухарки. Нужно было пережить Великий пост, чтобы так от души радоваться предстоящему пасхальному

изобилию. «Нигде этот праздник праздников столь не заметен, как в благочестивой Москве, — вспоминал современник. — Недаром же не только мы, русские, но и некоторые иностранцы издалика стекаются сюда к этому дню, чтобы только встретить его и насладиться духовно... По мере приближения к празднику уличная жизнь становится шумливее и разнообразнее, усваивая какой-то особый, приличествующий этому дню характер: магазины широко распахивают свои двери, не успевая принимать и выпускать посетителей; в окнах булочных и кондитерских появляются пасхальные атрибуты; Охотный ряд кишит разною живностью, предназначенною для объемистых утроб изнуривших свою плоть москвичей... Все это движется, волнуется, шумит...» ^[339]

В четверг полагалось красить пасхальные яйца. Их покупали — смотря по количеству домочадцев — сотню или сразу несколько сотен (по 1 руб. 30 коп. и 1 руб. 50 коп. за сотню) и окрашивали сандалом, луковой шелухой или разноцветными линючими лоскутками в красный или мраморный цвет. К крашеным яйцам должна была быть подана особая, так называемая четверговая соль. Готовили ее так обычную соль заворачивали в тряпочку и бросали в печку, в самый жар. Через некоторое время вынимали черный спекшийся сгусток, толкли в ступке и просеивали. Остатки четверговой соли хранили весь год: она считалась важным оберегом и лечебным средством.

Еще одним непревзойденным оберегом считалась четверговая свеча. После службы в Страстной четверг нужно было донести до дома из церкви горящую свечу. Считалось, что тот, кому это удастся (то есть свеча не потухнет по дороге), счастливо и благополучно проживет потом весь год. Но даже если свечу все-таки задувало ветром, ее можно было вновь зажечь у кого-

нибудь из родных или знакомых. Совсем без огонька явиться домой не полагалось, ведь от четверговой свечи зажигались все домашние лампадки перед иконами. Оставшийся огарок также тщательно берегли и зажигали потом, если кто-нибудь из домашних заболел или случилось еще что-то экстраординарное: родины, например, или пожар — в Москве, впрочем, как и везде в России, были уверены, что четверговая свеча способна спасти и дом от огня, и всех домашних от напастей.

В пятницу готовили пасхи: протирали через решето творог, мешали его с сахаром, яйцами, сметаной или сливками, толченым миндалем, коринкой (мелким изюмом без косточек, черного цвета), ванилью, сиропом и т. п., помещали в четырехгранную разъемную форму с вырезанными углубленными буквами «ХВ» и разными растительными узорами. Получались высокие, в виде четырехгранных пирамид, пасхи: творожные, шоколадные, малиновые, с цукатами, с изюмом. Делали и соленые пасхи — на любителя.

Управиться с пасхами полагалось до полудня. В 2 часа дня шли в церковь на вынос плащаницы. После службы ставили куличи — из лучшей муки, с большим количеством яиц и сахара. У каждой хозяйки был собственный, их семейный рецепт. Куличи долго вымешивали, иногда до 4–6 часов, привлекая к этой трудоемкой работе по очереди все домашнее народонаселение. Тесто получалось плотное, тяжелое, ярко-желтое от обилия шафрана, подходило долго, трудно, капризно, и все в доме ходили на цыпочках: от малейшего шума или тряски тесто могло опасть, и тогда прощай, праздничное лакомство! За ночь хозяйка несколько раз поднималась и ходила в кухню смотреть, все ли в порядке. Рано утром в субботу — еще затемно — куличи пекли и тогда же, в корке из ржаного теста, запекали в русской печи свиные окорока. Волнений при

этом была масса: пропечется ли кулич, не останется ли сырой ветчина... Готовые куличи осторожно раскладывали на пуховые перинки: до полного их остывания оставался риск, что опадут, и снова все осторожно ступали по дому и говорили вполголоса.

Потом верх кулича украшали бумажным розаном и сахарным барашком, добавляли пару красных яиц, все это заворачивали в салфетку, в другую салфетку увертывали пасху и несли святить. Долгое время освящение куличей сопровождалось в Москве старинным обычаем: во время освящения кто-либо из причетников шел с ножом вдоль куличного ряда и над каждым куличом или пасхой заносил свой нож. Владелец кулича тут же протягивал «откупное воздаяние» и причетник, приняв его, шел дальше. «Там же, где откупа не давалось, он отхватывал крупную часть кулича, отделял яиц»^[340]. Добытые таким образом снесь и деньги делились потом между всеми церковниками. Во второй половине века обычай постепенно вывелся.

К утру субботы дома и дворы блистали чистотой. К вечеру накрывали стол — клали лучшую скатерть и доставали лучшую посуду. В 9 вечера ставили на стол закуски, запеченный окорок, украшенный зеленью и завернутый в белую бумагу, обязательно масляного барашка на тарелке: рога из разрезанной пополам и загнутой восковой свечи, глаза из корицы, а во «рту» немного зелени, которая свисала вниз, изображая траву. Детей перед заутреней укладывали спать, чтобы разбудить незадолго до службы — часов в одиннадцать.

Ближе к вечеру в магазинах и лавках стихала суета, только в кондитерских и булочных продолжали еще какое-то время выдавать заказанные куличи и пасхи. К 10 часам в городе становилось совсем тихо.

«С наступлением сумерек Страстной субботы... наступает та знаменательная тишина, которая, собственно говоря, и составляет всю чарующую прелесть Священной ночи, — рассказывал бывший московский студент И. А. Свиньин. — Я любил эту ночь и дорожил каждым ее мгновением. Бывало, еще задолго до службы покинешь свой скромный приют и спешишь в университетскую церковь, движимый желанием занять там поудобнее местечко. Передо мной на темном фоне ночи разворачивалась величественная картина: длинная полоса огней от фонарей карет, гарцующие жандармы, шум и гром подъезжающих экипажей, раззолоченные мундиры, ленты, ордена... и к довершению всего, блистающий огнями подъезд входа, до тесноты переполненный публикою, которая в благоговейном молчании стояла у притвора храма в ожидании крестного хода»^[341].

На Пасху полагалось надевать все новое или, по меньшей мере, самое нарядное. Собираясь в церковь, брали с собой в узелочке или ридикюле крашеные яйца, чтобы христосоваться со знакомыми, и после одиннадцати отправлялись всей семьей в храм.

В напряженном ожидании и благоговейной тишине ровно в полночь из глубины темно-синего предвесеннего неба раздавался важный бархатный гул Успенского колокола с Ивана Великого, а следом за ним взрывались праздничным звоном все сорок сороков московских церквей... Одновременно вспыхивала уличная иллюминация и начинался фейерверк, так что прыгающие шутихи и рассыпающиеся ракеты видны были сквозь церковные окна молящимся. В храмах светло, празднично, нарядно. Если на Страстной неделе только читали, то всю пасхальную службу непрерывно пели — радостно, бодро, торжественно и весело. Священник с дьяконом ходили по церкви в лучших

светлых ризах, в руках у священника крест, украшенный живыми цветами. Кадит, кланяется и поздравляет: «Христос воскресе!», а вся толпа дружно отвечает: «Воистину воскресе!» Многие троекратно целовались — христосовались, и вообще в церкви стояла суэта, прихожане переходили с места на место, поздравляли знакомых, обменивались яйцами, так до половины обедни...

На пасхальной заутрене в самом Кремле хотя бы раз в жизни старался побывать всякий москвич.

Уже к 11 часам Кремль заполняли толпы народа. Бывало много иностранцев и иноверцев, специально приезжавших взглянуть на русскую Пасху и именно в Кремль. Как и повсюду в Москве, на Соборной площади стояла торжественная тишина. На темном фоне Замоскворечья там и сям вспыхивали огоньки возле храмов и в воздухе висело ожидание и предвкушение чего-то необычайного. Почти темный Успенский собор слегка мерцал золотом и немногими зажженными свечами. Середина собора была отгорожена решеткой с двух сторон. Посредине возвышалось место для митрополита и духовенства. По сторонам стояли все высшие власти Москвы в мундирах и дамы, нарядно одетые, а вокруг них за решеткой было полно народу — тех счастливичков, которым повезло попасть в собор.

Остававшиеся на улице тоже напряженно ждали. После одиннадцати начинали освещать шкаликами колокольню Ивана Великого, ограду и стены соборов. «По мере приближения к полуночи окутывающий вас мрак как будто ослабевал, — рассказывал И. А. Свиньин, — на колокольнях церковью показывались огни и сероватая даль уступала влиянию света и, постепенно испаряясь,ставляла на вид контуры отдельных предметов. Вы замечали, как в виду вашем линия огней постепенно росла и удлинялась, принимая самые причудливые очертания, то в виде звезды и

креста, то в виде сплошного огненного снопа. То же самое происходило на глазах ваших и на ближайшем участнике предстоящего торжества Иване Великом. Вокруг царила невозмутимая благоговейная тишина. Казалось, как будто эта многотысячная толпа, затаив дыхание, обратилась в слух.

Вот, наконец, на Спасской башне пробило 11 с половиной часов. Вы мысленно считаете минуты, секунды, терции, вперяете ваш взор в амбразуры возвышающейся перед вами колокольни, которые при свете окружающих их огней кажутся еще чернее. Вы все проникнуты желанием услышать поскорее первый торжественный удар, и вам кажется, как будто даже чья-то невидимая рука начинает шевелить язык колокола, но это чаще всего было результатом лишь одного воображения, доведенного продолжительным ожиданием до последней степени напряженности» ^[342].

Ровно в 12 часов ночи в полнейшей тишине раздавался цокот копыт и к собору подъезжала карета московского митрополита. В ту же секунду над Кремлем взлетали первые ракеты и раздавался густой и полноразличный удар колокола на Иване Великом, за который купцы-любители платили звонарям по 25–50 рублей. Тотчас Москву покрывали волна шквального колокольного звона и грохот пальбы орудий с Тайнинской башни. Одновременно вспыхивали все паникадила собора и раздавалось чудное пение Синодального хора.

Народ, собравшийся в Кремле, обнажал головы, зажигал свечи и начинал христосоваться. В это время из Успенского собора выходил крестный ход во главе с митрополитом...

После заутрени часть прихожан уходила из церкви, но большинство традиционно оставались до утра, до конца обедни, и уже на раннем весеннем рассвете

расходились по домам. Вообще в Москве чаще соблюдалось правило: опоздать к церковной службе еще можно, но уйти до окончания не положено.

На рассвете возвращались домой, где уже ждал накрытый стол с кипящим самоваром. Праздничное угощение и на Рождество, и на Пасху в основе своей было одинаковым: жареная индейка, запеченный окорок, телятина, но на Пасху еще, разумеется, горы красных яиц, куличи и творожные пасхи, украшенные сахарной глазурью и бумажными цветами. Перецеловавшись, садились за стол, а разговевшись, ложились спать.

Наутро весь город был наполнен колокольным звоном. В церковь в этот день ходили уже немногие. Праздничный стол был вновь накрыт, с добавлением спиртного и различных закусок. Весь день принимали визитеров, в первую очередь духовенство «со святом», которое служило в зале короткую службу, кропило всех святой водой и, наскоро закусив и получив праздничный подарок деньгами, шло дальше. В этот же день ездили с визитами родственники и знакомые — мужчины (дамы ездили с визитами в понедельник). Наиболее близкие приезжали вечером и часто оставались ужинать. Вернувшихся визитеров заставляли рассказывать, где какие куличи и пасхи.

Обязательным ритуалом было поздравление прислуги. В этот день вся домашняя челядь собиралась где-нибудь в буфетной. «Все были одеты по-праздничному, женщины расфуфырены и завиты барашками, — вспоминал Ю. А. Бахрушин, — мужчины в новых рубашках, в белоснежных фартуках, с расчесанными маслом волосами. Отец, мать и я шествовали в буфетную, где стояло большое блюдо с покрашенными яйцами, а рядом горой лежали праздничные подарки. Начинался обряд христосования. Отец, мать и я троекратно целовали каждого, одаривая

его яйцом и подарком»^[343]. Дарились отрезы на платье или рубашу, платки и шали, незамужним — галантерея и недорогие украшения — перстни, серьги. Подарки прислуге полагалось делать еще перед Рождеством и хозяйскими именинами, а также в день именин самой прислуги.

По пасхальному обычаю всю праздничную неделю любой желающий мог залезть на колокольню и звонить в колокола. Лазили все — и взрослые, и мальчишки, — и бесконечный перезвон: и неумелое «блямканье», и почти профессиональное благозвучие не умолкали в городе с утра до позднего вечера.

После Пасхи Москва постепенно начинала пустеть: обыватели перебирались на дачи и в загородные имения, и может быть, поэтому большинство праздников летнего цикла проходило в городе уже менее заметно. Троицу распознавали по появившимся возле храмов молодым березкам и ажиотажу в цветочных лавках: в этот день в доме обязательно полагалось поставить хотя бы один букет цветов; с цветами же ходили к обедне.

На Яблочный Спас город благоухал яблоками, которые начинали продавать во всех лавках и с бесчисленных уличных лотков. День Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа по старому стилю) отмечался оригинальным запретом: из уважения к святому нельзя было есть ничего круглого — ни фруктов, ни овощей, ни арбузов, которых как раз в это время было самое изобилие.

А там наступала осень, и, отгуляв Покров, москвичи начинали исподволь готовиться к новому Рождеству.

Неотъемлемой принадлежностью большинства больших праздников и семейных торжеств, как уже говорилось, были визиты. Вообще в девятнадцатом веке обязательная визитная повинность составляла важную

часть повседневной жизни москвичей. Визиты делались не только в праздничные дни, но и при приезде, при отъезде из города, и в промежутке между этими событиями — для поддержания дальних родственных и общественных связей (насколько упростило жизнь появление телефона!). Как писал М. Н. Загоскин, «*посещают* обыкновенно своих родных, друзей и приятелей, а *визиты делают* всем знакомым; в первом случае нам всегда приятно заставить хозяина дома, во втором — мы желаем совершенно противного. Мы посещаем людей, которых любим, для того, чтоб с ними повидаться; и делаем иногда визиты таким знакомым, с которыми не желали бы часто встречаться и на улице»^[344]. Обычный будничный визит делали наугад, не зная, застанут ли хозяев дома (часто молясь про себя, чтобы не застать), и если те были в отсутствии или не принимали, просто записывались в посетительскую книгу или оставляли в передней свою визитную карточку с загнутым уголком — в знак того, что привезли ее самолично. Если же личной встречи с хозяевами избежать не удавалось, визитер снимал верхнюю одежду и проходил в гостиную, где 15–20 минут (никак не больше) проводил в беседе о погоде и последних новостях, иногда успевая при этом выпить чашку чая.

В праздники принимали все, и потому Рождество, Пасха, Масленица, именины родных, близких знакомых и начальства и некоторые другие дни превращались в настоящую визитную каторгу. В общие праздники полагалось объехать *всех*, с кем поддерживались отношения, особенно старших по возрасту и положению, а в семейные праздники должны были приехать с поздравлениями *все*, с кем общались хозяева дома. В каждом доме имелись собственные визитные списки, в которых могло значиться от

нескольких десятков до сотни и даже полутора сотен фамилий и адресов. Особенно тяжкий труд предстоял визитерам из купеческого сословия и верхушки мещанства. Н. Вишняков вспоминал: «Обычай требовал, чтобы в первый же день праздника обязательно объехать всех наиболее уважаемых лиц; отсрочка какого-нибудь такого визита на второй или третий день могла влечь за собою политические осложнения. Если какой-нибудь Иван Иванович считал себя стоящим на одинаковой общественной ступени с Иваном Никифоровичем, то обижался, если узнавал, что Иван Никифорович получил визит на первый день, а он, Иван Иванович, удостоился такового лишь на второй. На этих пустяках удивительно изощрялась память и проницательность. Поэтому людям, более или менее зависимым или обладавшим обширным кругом знакомых в деловой сфере, предстояла очень тяжелая задача: проделать несколько десятков визитов от Крестовской заставы до Даниловской слободы в один день, памятуя при этом, что визиты должны приканчиваться к вечерне... Я помню, брат Иван при мне говорил, что у него больше 50 визитов на первый день с Пасхальных праздников» ^[345]. Многие посетители из купеческой среды, особенно из молодежи, начинали свой страдный путь пасхальных или рождественских визитов сразу после окончания ранней обедни и заявлялись к знакомым... часа в три ночи. Тот же Н. Вишняков вспоминал, что дело это было для их среды вполне обыкновенное, но родители, вернувшись из церкви, ложились спать и оставляли «на хозяйстве», то есть принимать визитеров, своих детей-подростков (лет по 13–15), которым прободрствовать значительную часть ночи было легче. «Звонок Бежим в залу. Входит гость. „Христос Воскресе!“ — „Воистину Воскресе! Извините папеньку и маменьку: они легли отдыхать“». —

„Ничего-с!“ Следуют слова два о визитах, о погоде, об обеде, о наших учебных занятиях — и гость исчезает»^[346].

Утром пробудившиеся родители отправляли намаявшихся детей спать, а сами заступали на вахту. Отец семейства надевал праздничный костюм (большинство визитеров разъезжали во фраках и белых галстуках, студенты и военные — в парадной форме) и сам отправлялся делать визиты, а мать усаживалась в гостиную принимать посетителей, которые шли уже непрерывным потоком. «Гость входил и здоровался:

— Честь имею поздравить с праздником!

— И вас поздравляю, — отвечала хозяйка...

Гость усаживался на кончик кресла.

— Как здоровье вашей супруги (имярек)? — спрашивает хозяйка.

— Покорно благодарю-с!

— А деток?

— Ничего, все слава Богу-с!

— Вы, наверное, в своем приходе праздник встречали?

— Да-с, у себя!

— Сегодня, кажется, приятная (или неприятная) погода для визитов.

— Совершенно верно-с, очень приятная (или неприятная).

Гость вскакивает и прощается.

— Куда вы так скоро?

— Извините, очень много визитов!

И гость исчезал. Все посещение длилось не более 2-3 минут. На его место тотчас являлись двое, трое, четверо других таких же»^[347].

В дворянской среде днями считались меньше и визитная повинность бывала более равномерно распределена по всему периоду праздника. Зато и

визиты были продолжительнее, и гораздо большее число визитеров задерживалось, чтобы выпить и закусить, поэтому все праздничные дни со столов не сходило угощение.

Часов в одиннадцать утра появлялся священник приходской церкви с причтом и служил молебен празднику. Затем до пяти часов приезжали подчиненные, родственники и знакомые, а позднее к вечеру близкие друзья, чтобы можно было немного задержаться и пообщаться не спеша.

Визитеров и здесь провожали в гостиную, где сидела хозяйка дома. Гости подходили к ее руке и говорили: «С праздником», «Позвольте вас поздравить» или «Честь имею поздравить вас...» Затем недолго говорили — в общем, тоже о здоровье, о погоде и том, кто в какой церкви был, и хозяйка приглашала в столовую, где на большом столе были сервированы всевозможные закуски: окорока ветчины и телятины, жареная индейка, рыба, сыр, икра, несколько сортов колбасы. В изобилии было и спиртное: водки, мадера, портвейн, рейнвейн, красные вина и пр. Выпив рюмку-другую и закусив, визитер минут через 15–20 откланивался и ехал дальше, и везде ел и особенно пил. Немудрено, что домой мужчины в этот день попадали поздно вечером, совершенно измученные и крепко навеселе.

Женские визитные списки были значительно короче, и свои объезды знакомых дамы традиционно начинали совершать со второго дня праздника.

Исключение, конечно, составляли семейные события — именины, помолвки, кончины и пр. Тут визит, особенно к родне и светским знакомым, часто наносили семейно, и наиболее близкие визитеры при этом получали приглашение на соответствующее мероприятие — венчание, крестины и пр.

Среди семейных праздников выделялись именины, которые отмечались чаще всего. Дни рождения в старину праздновали редко. Именины считались много важнее и отмечались всеми, а дату своего рождения большинство москвичей вообще не знали, да и в числе прожитых лет нередко путались. Праздник был чисто семейный; поздравляли именинника и приглашались в гости лишь близкие — родня и друзья. В богомольных семьях в этот день заказывали молебен в приходском храме или накануне приглашали на дом причт служить всенощную. «В углу гостиной, — вспоминал Н. П. Вишняков, — на большом ковре ставился стол, покрытый белой скатертью, и устанавливали иконы, теплившиеся лампы и зажженные восковые свечи. Гостиная понемногу наполнялась всеми домочадцами. Священники и дьякон облачались и начинали служение; дьячок, не переставая петь, ходил беспрестанно в переднюю за угольями для кадила; голубой дым ладана вился и, расстилаясь слоями, наполнял весь дом благоуханием»^[348]. Остальное время посвящалось приему визитеров с поздравлениями и праздничному застолью.

Близким людям дарили праздничные подарки — муж жене украшения или деньги на ее личные расходы. Жена мужу могла дарить какие-нибудь вещи своей работы — шитые туфли, подушки, бумажники, кисеты, даже обивку какой-нибудь мебели (в модных магазинах, в частности в пассаже Солодовникова, продавался большой ассортимент рисунков, материалов и образцов различных вышивок для этих целей). Дети дарили родителям и бабке с дедом красиво переписанные стихи, самолично нарисованные картинки, собственные поделки и пр., а родители детям — игрушки и книги, большим девочкам драгоценные безделушки. В эти же дни вручали подарки домашней прислуге — обычно

отрезы ткани на платье, рубашку или брюки (такой же подарок каждая горничная или лакей получали и в свои собственные именины).

Чужим людям (кроме самых уж близких друзей) вещевых подарков не делали, но на именины принято было преподносить «именинные пироги», которые присылали или вручали лично всем тем знакомым, дальним родственникам и друзьям, с которыми обменивались визитами по праздникам. Уже к середине века «пироги» были в основном «кондитерские», проще говоря, торты различных видов — бисквитные, шоколадные, миндальные, которые специально заказывали к этому дню, перевязывали коробку нарядной ленточкой и снабжали визитной карточкой. Встречалась и более традиционная выпечка: пироги с вареньем, большие, сделанные на заказ, сдобные крендели. Если именинницей была дама, полагалось также прислать букет или корзину цветов.

В дни наиболее популярных святых — Николая, Ивана, Анны и пр. кондитерские Филиппова, Сиу, Абрикосова и пр. были буквально завалены заказами, а 17 сентября, когда праздновали Вера, Надежда, Любовь и Софья (30 сентября по новому стилю), считался днем общемосковских именин. Тут в орбиту торжества оказывалось вовлечено буквально полгорода, поскольку мало у кого не оказывалось знакомой или родственницы с одним из этих имен. 17 сентября очень любили не только кондитеры, но и торговцы цветами, у которых беспримерно возрастала выручка. «В этот день Москва уже с утра была полна праздничного беспокойства... Мужское население несло покупать конфекты, торты, фрукты, цветы и пр., даже драгоценные подарки. Носились даже дамы — мамы для дочерей, дети для родительниц... И затем вечером... начинались пиры, кто где и как мог, вплоть до пьяных песен и топота

каблуков в подвалах, что называется, „до вторых петухов“» ^[349].

Уже с середины XIX века установилась традиция розыгрышей на 1 апреля — тоже общегородской именинный день. «Первого апреля Марии Египетской бывает, — вспоминала Н. А. Бычкова, — Машки-вруньи именинницы зовутся; в этот день глупый обычай есть: других обманывать». И, как водится, бывали и невинные обманы, дружеские розыгрыши, а встречались и достаточно злобные шутки. «Сидят это за столом, чай с пирогами пьют, — рассказывала Бычкова, — вдруг лакей, Филипп Платоныч, Марье Дмитривне телеграмму подает. Взяла у него из рук не то Надежда Дмитривна, не то Анна Александровна, прочла вслух и обомлели все. В телеграмме-то сказано: „Лидия внезапно скончалась“... Напугались все, кто слова вымолвить не в силах, а кто в слезы ударился. Батюшка, Алексей Дмитриевич, первый в себя пришел, схватил шапку, да бегом к молодым помчался. Только из ворот, а ему навстречу Николай Алексеевич с Лидией Александровной на извозчике едут. Что радости было, что слез! Это, значит, нашлись умные люди, поздравить именинницу с первым апреля решили, пошутили так, что чуть до настоящей смерти всех не довели» ^[350].

Ближе к концу столетия перед 1 апреля в магазинах стали продаваться всевозможные, преимущественно немецкие, «штуки» для розыгрышей: открытки со смешными изображениями и надписями, чесательный и чихательный порошок, наборы шоколадных конфет с невозможной начинкой — солью, перцем, горчицей, деревяшками и пр., целлулоидные черные тараканы, которых полагалось незаметно опустить в стакан или тарелку соседа, целлулоидные же искусственные кляксы, которые выкладывались на белоснежную скатерть рядом с опрокинутой чернильницей,

пукательные подушки, имитаторы бьющегося зеркала (связка металлических пластинок ронялась на пол, а специальным мыльным карандашиком на поверхности зеркала рисовались трещины), коварные кошельки, из которых при открывании вылетали монеты и рассыпались по всем углам, и многое еще другое в этом же роде.

Наиболее пышным (и затратным) семейным торжеством становилась в Москве свадьба, даже целый свадебный цикл домашних праздников.

Свадебному торжеству предшествовал сговор (помолвка), на который приглашались довольно многочисленные гости. Центральным моментом этого события было благословение молодых образом и хлебом, поэтому заранее заказывали у хорошего булочника — Филиппова, Савостьянова или Сорина, пекарня которого была на Арбате, специальный сдобный каравай — огромный, украшенный замысловатыми узорами из теста (во второй половине века стоило это примерно 50 копеек).

После сговора мать невесты занималась шитьем приданого дочери, причем в высших слоях общества приданое заказывали в хороших белошвейных и пошивочных мастерских, а в средних и низших слоях хотя бы часть приданого (обычно белье) делали дома и в «обшивки» (то есть портнихи) приглашали молоденьких бедных родственниц и знакомых, которые во время многодневного шитья вели бесконечные разговоры, пели песни и лакомились сладостями. За пару дней до венчания приданое укладывали в сундуки и переправляли в дом мужа. При упаковке во все углы сундука распихивали баранки и монеты, «чтобы дом был полной чашей».

Свадьбу играли месяца через полтора — два после сговора и очень старались, чтобы венчание не пришлось на май — « всю жизнь будешь маяться » или на сентябрь

— «вся жизнь будет сентябрем смотреть». Вообще наиболее интересными были свадьбы в среднем и низшем городских кругах. Образованные сословия соблюдали довольно мало старинных обычаев.

Накануне свадьбы, помимо устройства традиционных «мальчишника» и «девичника», невесту всей семьей возили в Кремль в соборы или в Новодевичий монастырь, иногда к какому-нибудь уважаемому церковному иерарху под благословение, а если девушка была сиротой — на могилы родителей. Кроме того, жених и невеста посещали хорошую баню и, к примеру, в Сандунах, особенно богатым невестам даже шайки подносили из чистого серебра. Накануне и в день свадьбы жениху и невесте полагалось поститься и «вкусать» только просфору и святую воду.

В день свадьбы приглашенные на торжество дамы со стороны невесты сначала присутствовали на ее одевании. По этому случаю на дом приглашали парикмахера, которому доверяли прикалывать на голову невесте флердоранж и фату. Венчались обычно днем, поэтому подвенечное платье шили закрытое, без выреза, но часто с длинным шлейфом, которое во время венчания подхватывал и носил один из шаферов. Вторым браком венчались без фаты и в светлом, но не белом туалете.

Вплоть до начала XX века невесту снабжали какими-нибудь оберегами: вешали на шею ладанку или мешочек с «четверговой» солью, клали в карман кусочек хлеба, уголек или маковую головку, втыкали в шов булавку — от злого глаза. Шафер обувал невесту, кладя в каждую туфельку под пятку по золотой монете, чтобы она «всю жизнь ступала по золоту».

Жених по традиции должен был дожидаться невесту в церкви, куда приезжал заранее со своими шаферами (шаферами по традиции могли быть только холостые мужчины). После одевания невесты все в

полном молчании дожидались кареты. Невеста сидела с матерью в своей спальне; женщины втихомолку плакали. Изредка шепотом переговаривались. Наконец являлся присланный женихом шафер и объявлял, что карета подана.

Перед выходом из дома невесту вновь благословляли образом, причем ей полагалось плакать и причитать.

Для свадьбы нанимали в одном из «экипажных заведений» несколько колясок под ближайшую родню и шаферов (приглашенные гости приезжали в своих экипажах) и обязательно золоченую карету, обитую изнутри белым атласом, с зеркальными стеклами, запряженную четверкой лошадей, с кучером в золотых галунах и двумя лакеями на запятках... В эту карету вместе с невестой усаживался только мальчик из числа родни, которому полагалось нести икону, — первым войти в церковь и положить ее на аналой, а по окончании венчания вынести ее перед молодыми. На обратном пути в этой же карете везли обоих новобрачных.

Перед свадебной каретой катили в открытой пролетке с пристяжной шаферы с бутоньерками из флердоранжа в петлицах.

Дальность расстояния от церкви, в которой назначено было венчание, значения не имела. Если церковь находилась рядом, невесту везли окольными путями, объезжая по меньшей мере весь квартал, а то и всю часть (иначе как было продемонстрировать свадебный наряд, да и известить любопытных о начинающемся венчании?), тем более что прокат золотой кареты стоил дороговько — 150, а то и все 200 рубликов за два часа. Когда свадебный поезд появлялся на улицах, проходящие непременно задерживали шаг и рассматривали невесту в окошки кареты. Некоторые снимали шапки и крестились, желая молодоженам

совета и любви. Крестилась в ответ и сама невеста — по пути в церковь ей полагалось все время осенять себя крестным знамением.

В церковь на богатых свадьбах пускали «по билетам» — приглашениям, а любопытствующие оставались ждать молодых на улице. Все время венчания старались запоминать хорошие и дурные приметы, предвещающие счастливое или печальное супружество. К однозначно плохим приметам относились: забыть что-нибудь и вернуться с полдороги, а также уронить венчальное кольцо.

После завершения обряда новобрачные выходили из храма рука об руку, неся образки своих святых. Ехали из церкви обязательно другой дорогой, чтобы невесту не сглазили.

Свадебный обед в высшем и наиболее богатом кругу, а также у бедноты устраивался в доме жениха, а в средних слоях — чаще всего в специальных залах, которые держали так называемые «кондитеры» — «подрядчики всяких свадебных и балных угощений», как объяснял этот термин М. Н. Загоскин^[351]. Таких «кондитерских» залов в Москве всегда имелось множество, на все вкусы и кошельки. В последних десятилетиях века лучшими помещениями «для свадеб и балов» считались залы И. М. Кузмина на Канаве (то есть Водоотводном канале) и Федосеева на 2-й Мещанской улице. Здесь имелись большие мраморно-раззолоченные залы и целая анфилада комнат для бесед, закуски и карточной игры. «Кондитеры» выезжали и по домам и привозили с собой поваров, посуду, лакеев во фраках, а нередко и «музыку».

В конце века — в 1880-1890-х годах — стала рождаться традиция снимать под свадьбу зал ресторана. В высшем кругу часто после обеда давали бал с танцами под оркестр и с ужином на рассвете,

причем невеста переодевалась из венчального платья в белое бальное. В купечестве ограничивались обедом, а бал давали позднее, через пару дней. Тротуар возле дома, где праздновали свадьбу, и подъезд освещались иллюминацией.

Н. А. Бычкова вспоминала, как на свадьбе сына ее знакомого священника А. Д. Цветкова, состоявшего настоятелем церкви Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке, «обед свадебный у купца Щипачева подавали. Старостой он был у батюшки Алексея Дмитрича, почитал его сильно и вот хотел молодых уважить. Помещение — дворец. Богач страсть какой. Ему такой обед ни во что не стоил.

Только пошла я после церкви на обед к Щипачевым, меня лакей не пропускает. А со мной купчиха Галкина, Александра Ивановна, та даже в свойстве с Цветковыми была. Я-то прилично одета, — как же, разве оденешься плохо на свадьбу, а та прямо-таки роскошно, вся в шелках-кружевах. „Мы, — говорим, — знакомые ихние“, а он, болван, лакей-то, все свое твердит: „Не велено никого пропускать“. Сам Щипачев на шум вышел. „Что ж, мол, раньше не шли?“ — к нам обращается. „Как, — говорим, — не шли, за всеми и мы пришли“.

— Не могу, так прямо и не могу.

Невеста к нам вышла.

— Я-де очень хорошо их знаю, они-де мои очень хорошие знакомые, а это (на Александру Ивановну показывает) даже дальней родственницей приходится...

Жених сам вышел, начал вместе с невестой Щипачева упрашивать, нет, уперся купчина — ни взад, ни вперед. Никак не уломаешь. Что ж делать? Назад мы с Александрой Ивановной поворотили» ^[352].

Взойдя в пиршественный зал, где ждали родители жениха и невесты, которые, по традиции, в церковь на венчание не ездили, новобрачные кланялись им и

подходили под благословение (невесте полагалось быть растроганной и со слезами на глазах, а потом по возможности дольше сохранять печальный вид). Затем молодые становились в дверях залы и к ним по очереди подходили все гости с поздравлениями. Если отмечали дома, то перед началом обеда присутствовавшая на купеческих и мещанских свадьбах сваха поочередно подходила к гостям и уводила по несколько человек в комнату к новобрачным, где можно было подробно осмотреть не только всю новую обстановку, но и приданое, разложенное на сундуках и столах.

В первые десятилетия века на купеческие свадьбы было модно приглашать специально нанимаемых гайдуков в богатых ливреях. Гайдук должен был быть очень высоким, ростом не менее трех аршин (то есть от двух метров), и основная его обязанность заключалась в том, чтобы поправлять восковые свечи в люстрах и стенных бра и кенкетах без помощи лесенки, на удивление гостям. Во время застолья этот гайдук выходил с серебряным подносом, уставленным серебряными вызолоченными бокалами с шампанским, которое гости пили под звуки труб и литавр. Особенно славился ростом и хорошей фигурой гайдук графа Дмитриева-Мамонова, который у купцов был буквально нарасхват и сколотил себе на свадьбах целое состояние.

С середины века и годов до 1880-х в среднекупеческом и мещанском кругу было также широко распространено обыкновение приглашать на свадьбы «генералов» — то есть военных, носителей более или менее махровых эполет, начиная с полковника. Этим ремеслом занимались вполне профессионально, и подрядить свадебного генерала можно было за одну-две четвертных (25–50 рублей), нередко через всё тех же «кондитеров». При этом особенно ценились представительная внешность,

зычный голос и число «медалей», то есть орденов. Реальный чин (и даже принадлежность к армии) особого значения не имел: потребители этой услуги ни в наградах, ни в знаках различия не разбирались и требовали лишь побольше внешнего блеска. Свадебный генерал первым, как самый почетный гость, произносил за обедом тост за новобрачных и громогласно заявлял, что шампанское «горько».

Потом произносились другие тосты — за родных, за шаферов, за «его превосходительство» и гостей, причем время от времени «тостующие» били бокалы «на счастье».

В конце вечера (если праздновали дома) молодых супругов разводили по разным комнатам для переодевания. Сперва появлялась облаченная в пеньюар новобрачная. «С нею прощались, как будто она идет на заклание, — вспоминал А. Ф. Кони. — Солидные дамы вытирали себе глаза, молодые переглядывались, а мать, поплавав на плече дочери, затем что-то внушительно и торопливо ей шептала на ухо»^[353]. (Сцена имела продолжение. Как писал далее А. Ф. Кони, «вслед за матерью подошла другая родственница с тем же таинственным шепотом, и, наконец, ведомая под руки, приблизилась старуха-бабушка и тоже стала шамкать в ухо новобрачной. Но терпение последней истощилось и, резко сказав: „Да знаю, знаю!“ — она двинулась вперед»^[354].)

Выпив бокал шампанского, новобрачная удалялась в опочивальню. Вслед за тем появлялся молодой супруг, в халате и комнатных туфлях, и под шуточки приятелей тоже выпивал бокал и следовал за женой. При входе в спальню сваха осыпала обоих овсом из заранее заготовленного мешка. Наутро свахе полагалось еще забрать рубашку новобрачной, завязать ее в узел и доставить к родителям молодой.

На следующее утро молодых дарили: от родственников и друзей приходили горничные, мальчики и артельщики, приносили хлеб-соль (огромные калачи и караваи с вызолоченными солонками, наполненными сахарной пудрой, чтобы молодым «послаще жилось»), серебряные братины, чарки и ковши, столовое серебро и живых белых гусей с шеями, перевязанными голубыми и красными ленточками.

Потом новобрачные наряжались и объезжали всех близких родственников и наиболее значительных гостей с визитами. Остальных вчерашних гостей купеческие «молодцы» посещали по списку, развозили им корзинки с остатками свадебного угощения и передавали на словах, «что молодые приказали кланяться и объявить, что они в добром здоровье»^[355].

Через несколько месяцев почти в том же составе гости собирались на крестины: после церковного обряда следовал пышный парадный обед, часто тоже «у кондитера». По традиции близкие родственники родильницы дарили новорожденному «на зубок» золотую монету или что-нибудь серебряное (ложку, чашку, кастрюльку для каши и т. п.). Акушерке, принимавшей ребенка, полагалось дать деньгами 1-2 рубля, а матери подарить материю на платье.

Противоположность свадьбы — похороны, тоже событие, хотя и печальное, но требовавшее и гостей, и расходов, и соблюдения обычаев. Подготовка к похоронам начиналась с прихода гробовых дел мастера. Проведав, что по соседству с ними кто-нибудь тяжело болен, гробовщики наносили в этот дом визит и, не заботясь о том, жив ли потенциальный клиент или уже умер, предлагали свои услуги. Нередко случалось, что в передней сталкивались сразу несколько гробовщиков и принимались спорить за клиента, что сопровождалось

изрядным шумом и даже бранью. Помимо всех похоронных принадлежностей: катафалка, гроба, факельщиков, венков, гробовщик поставлял за умеренную плату и «гостей» для проводов покойника, в случае, если бы похороны оказались слишком малолюдны.

Похоронный катафалк мог быть как черным, так и сплошь белым, с балдахин, с четверкой, шестеркой или даже восьмеркой цугом запряженных лошадей, накрытых попонами с кистями. Соответственно, в черном или белом были и сопровождающие покойника факельщики с зажженными факелами на длинных ручках (в начале века), а позднее керосиновыми фонарями, в цилиндрах и нелепых балахонах — «мантиях». Факел символизировал печаль и вплоть до начала XX века без факельщиков не обходились ни одни похороны. Считалось, что без них печальное шествие утрачивает всю торжественность.

Перед похоронами давали в газеты объявление о кончине члена семейства и месте и времени погребения и спешно шили траурные наряды, сплошь черные и обшитые «плерезами» — белыми коленкоровыми полосками в два-три вершка ширины, на черной креповой подкладке. Плерезами обшивали платья, отвороты сюртуков, полы одежды. Участвующие в похоронах мужчины обтягивали тулью шляпы черным крепом и надевали на руку выше локтя черные креповые повязки. Горюющие родственники приобретали специальную бумагу и конверты — то и другое с черной каймой — и пользовались ими для переписки все время, пока длился траур — от нескольких месяцев до года.

В день похорон дом и сад тщательно убирали, подметали дорожки, посыпали их песком, ворота и калитки распахивали настежь. Пускали всех, знакомых и незнакомых, без разбора (в Москве существовала

довольно многочисленная категория любителей чужих похорон, которые отслеживали по газетам потенциально богатые поминки и являлись поест на халяву). Входящие обнажали головы. Гроб старались донести до кладбища на руках; катафалк ехал следом. Перед катафалком несли венки. За гробом следовали факельщики и хор певчих и духовенство, причем если дело происходило зимой, то ризы натягивали поверх шуб. Особо торжественными считались похороны, в которых участвовал кто-нибудь из высших церковных чинов-архиереев. Родные (за исключением маленьких детей) пешком шли до кладбища; следом в экипажах — сперва кареты, потом пролетки, в конце линейки — двигались остальные участники похоронной процессии. Замыкали процессию «поминальники» — те бедняки, которые кормились в основном благодаря поминальным обедам, а потому участвовали во всех без разбору похоронах. Пешеходы снимали шапки и крестились, экипажи приостанавливались.

Поминали дома либо у «кондитеров» в наемных залах. Поминки происходили только днем. Долго сидели за столом, поедали большое количество блинов с яйцами и сметками, икрой, семгой и сметаной. Еще на поминальном обеде обязательно подавали рыбу и кисель — клюквенный или белый, из миндального молока (мяса не полагалось). По окончании обеда священники пели заупокойную молитву а все присутствующие провозглашали хором «вечную память» новопреставленному.

В тот же день в купеческих и мещанских семьях принято было наделять милостыней нищих, причем неизбежно собиралось и огромное число просто любителей дармовщины, не только не нищих, но даже и не бедных, иные из которых норовили подойти к раздаче по несколько раз. Еще отправляли в тюрьмы, богадельни или приюты корзины, а иногда и целые возы

калачей, саяк и баранок для раздачи призреваемым (подобную же милостыню посылали в такие места и вообще на праздники, особенно двенадцатые). На девятый, двадцатый и сороковой день справляли поминки и снова звали гостей и раздавали милостыню.

Изредка Москва могла принять участие и в наиболее торжественных из всех возможных похорон — в проводах усопшего императора. Собственно, обычно похороны монарха происходили, конечно, в Петербурге. За весь девятнадцатый век Москва лишь дважды могла проститься с усопшим: в первый раз зимой 1826 года, когда через город провезли тело умершего в Таганроге Александра I, и потом осенью 1894 года, когда ненадолго прибыло тело скончавшегося в Крыму Александра III.

О прощании с Александром I современник вспоминал: «Тело Государя Императора привезено было в Москву 3 февраля 1826 года. Процессия была великолепна. Войска, печальный марш, знамена, государственное знамя, короны всех царств и княжеств России, знамена всех губерний, корона и регалии императорские, значки ремесел, Сенат, Присутственные места, корпус дворян, корпус купцов, корпус ремесленников, радостная лошадь, печальная лошадь, радостный рыцарь, весь в золоте, печальный рыцарь в черных латах; все это было великолепно. Но так как мы, русские, никак не можем сохранить ни в чем чинного порядка и никак не понимаем, чего требует от нас собственное наше достоинство, и все надеемся, что авось не увидят, то и тут не обошлось без национальной нашей неурядицы. Например, некоторые чиновники, бывшие в церемонии, надеясь на свои широкие мантии, навешали на эфесы своих шпаг кренделей и баранок; а печальный рыцарь был пьян и шатался из стороны в сторону»^[356].

Прощание 1894 года прошло в большом порядке. Тело Царя-мироотворца прямо с вокзала, с Каланчевской площади торжественно перевезли в Кремль, а уже затем отправили в Петербург. Смотреть на шествие тогда собралось полгорода. Заранее снимали окна в домах, расположенных вдоль маршрута. Горели (был день) газовые фонари (на каждой полоске черного крепа символически прикрывала огонь). Траурная колесница была украшена шнурами и кистями, их держали какие-то придворные чины. Несли горящие факелы. За колесницей, немного отступя, шел пешком Николай II в серой офицерской шинели, за ним, еще немного поодаль — группа великих князей. С одной стороны улицы стояла шеренга войск, с другой стороны, сцепившись руками, — цепь охраны из наиболее благонадежных служащих и рабочих фабрик и предприятий (их назначали администрация и полиция). За цепью оцепления, сняв головные уборы, молча и почтительно толпились москвичи...

Подобные зрелища были в Москве наиредчайшими, и обычно очередное правление начиналось с более нейтральной по настроению общемосковской присяги. В зависимости от того, как она проходила, в городе строили прогнозы на новое царствование. Так, когда присягали Александру II, во время благовеста оборвался висевший на Ивановской колокольне колокол «Реут» и упал вниз, пробив несколько сводов, задавив несколько человек из числа живших в колокольне звонарей с их семьями и достигнув в среднем этаже церкви, где было много молящихся. Это несчастье было воспринято как недоброе предзнаменование, — и трагический конец Царя-освободителя известен. Впрочем, такие прогнозы строили и по ходу происходивших позднее коронационных торжеств.

Коронации вообще среди всех государственных праздников занимали особое место и притом имели

чисто московский характер: даже после перевода столицы в Петербург Москва сохраняла за собой положение церковной столицы России, Первопрестольной (что означало, что престол московских митрополитов — первый по значимости в России). В Москве была сосредоточена главная церковная святыня, наиболее чтимые соборы и монастыри. Итог — коронования новых государей могли производиться только в Москве. И хотя случались такие события нечасто, каждое из них становилось важнейшим и долго вспоминаемым событием.

Через некоторое время после присяги новому государю публиковался манифест о коронации и начиналась уже непосредственная подготовка к ней: разрабатывались проекты художественного оформления города, устройства иллюминаций, подбирались помещения для императорской свиты, дипломатов и многочисленных гостей, и выпускалась карта-схема с указанием этих резиденций, проводилась генеральная уборка и подкраска города. Из Петербурга привозили в Москву и помещали в Оружейную палату императорские регалии, а также парадные экипажи. После этого публиковалось высочайше утвержденное расписание программы предстоящего празднества.

Прибыв в Москву, императорская семья и ее свита сначала останавливались для короткого отдыха в подъездном дворце — Петровском замке на Петербургском шоссе. В назначенный день происходил торжественный въезд в город. Вдоль улиц, по которым следовал кортеж, выстраивались войска, собирались толпы народа. Стены домов, кремлевские стены и башни украшались ниспадающими разноцветными знаменами, императорскими портретами и вензелями, флагами, гербами, картушами, драпировками, аллегорическими изображениями, транспарантами и свежей зеленью. Гирлянды зелени и цветов

протягивались над улицами на манер теперешних «перетяжек». По боковым улицам разъезжали парадно одетые герольды, читали и разбрасывали красочно оформленные манифесты о коронации.

На перекрестках устраивали триумфальные арки. Вдоль улиц, по которым проходило шествие, кое-где возводили трибуны для зрителей. Попасть на трибуны можно было по билетам, полученным у городских властей. Безбилетная публика наблюдала за происходящим с поставленных друг на друга ящиков, скамеек, заборов, фонарных столбов, а также из окон домов (владельцы домов с хорошим обзором продавали такие места за деньги и даже устраивали в оконных нишах что-то вроде многоступенчатых трибун).

Император обычно ехал верхом в сопровождении живописного конвоя из лезгин и черкесов в национальных костюмах, следом за государем гарцевали его сыновья, великие князья и иностранные принцы, приглашенные на торжество. Царская лошадь была подкована серебряными подковами с серебряными гвоздями (по окончании праздника подковы передавались на хранение в Оружейную палату). Императрица и другие члены царской семьи следовали за ними в золоченых каретах, запряженных цугом (в карете императрицы восемь белых лошадей). За ними в каретах и верхом следовали раззолоченная свита, гвардейские кавалерийские части, представители населяющих Россию народов в национальных костюмах, депутаты дворянства и казачьих войск, придворный оркестр и Императорская охота — царские ловчие, стремянные и доезжачие, и длинная процессия растягивалась на километры, так что прохождение всех занимало часа два.

Процессия двигалась по Тверской-Ямской, затем по Тверской, с остановками у Триумфальных ворот, Страстного монастыря, дома генерал-губернатора, у

Воскресенских ворот. В этих местах были построены специальные павильоны для представителей московских учреждений. Потом шествие сворачивало на Красную площадь, сплошь уставленную трибунами, и через Спасские ворота попадало в Кремль. После службы в Успенском соборе Кремля кортеж разворачивался и через Никольские ворота выходил на Никольскую улицу, а оттуда по Мясницкой и через Красные ворота двигался в Немецкую слободу, где располагались царские дворцы.

После возведения к 1849 году Большого Кремлевского дворца в церемониал были внесены изменения, и шествие стало заканчиваться в Кремле.

После торжества коронавания в Успенском соборе Кремля, на которое пускали только по приглашениям, в Москве начинались многодневные празднества. Проводились приемы, парадные обеды в Кремлевском дворце, гала-спектакли в Большом театре, балы, маскарады. Дома, в которых устраивались мероприятия в честь коронации (Благородное собрание, Манеж), украшались и изнутри — сооружались беседки, палатки, зимние сады и т. п.

Нередко в программу праздников включались войсковые маневры и охоты. К коронациям часто приурочивались освящения больших храмов или открытие каких-либо общественных учреждений (к примеру, во время коронавания Александра III был открыт Императорский Исторический музей и освящен храм Христа Спасителя). Тогда же, во время коронации Александра III, в мае 1883 года, М. В. Лентовским было устроено на улицах города костюмированное шествие «Весна-Красна».

Все московские сословия, городская дума, земство, офицерские собрания, митрополит, некоторые частные лица устраивали парадные приемы и обеды в честь государя со свитой, дипломатического корпуса, а также

прибывших на коронацию из Петербурга гвардейских частей. Традиционны были праздники, даваемые дворянством в Благородном собрании, и обеды, устраиваемые купечеством в Манеже.

На состоявшемся 23 мая 1883 года на Сокольничьем поле обеде войскам, данном в честь коронации Александра III от московской городской думы и управы, было угощение: «холодная солонина, пирог с начинкой, лапша с говядиной, жаркое — свинина, сладкое — пряник Водка, пиво, мед, красное вино». Каждому гостю на обеде вручили на память о торжестве «от города Москвы» кружку, тарелку, чашку и ложку. Оркестр военной музыки под управлением В. В. Вурма играл народный гимн «Боже, Царя храни», коронационный марш и народные песни (для солдат), а оркестр под управлением С. И. Танеева (для офицеров) — «Увертюру» Рубинштейна и сочинения Глинки, Даргомыжского и Чайковского.

Вечерами, помимо пышной иллюминации, в разных частях Москвы устраивались фейерверки. Так, при коронации Александра II был фейерверк на площади перед Кадетским корпусом (в Лефортове). Сначала с балкона по натянутой проволоке была пущена ракета-«бабочка», зажегшая щиты с изображениями, причем «когда зажегся щит, на котором был изображен молящийся Сусанин, то музыка заиграла „Славься“; зрелище было трогательное»^[357]. Потом пускали бесчисленные разноцветные ракеты.

Для народа обязательно устраивались бесплатные гулянья на какой-нибудь большой площади. В коронацию Александра I они проходили в Сокольниках, Николая I — на Девичьем поле, а при Александре II, Александре III и Николае II — на Ходынском поле.

Всю огромную площадь, отведенную под народный праздник, уставляли накрытыми скатертями длинными

столами и скамейками. «На этих столах, — вспоминал М. Назимов, очевидец коронационного праздника Николая I, — установлено было бесчисленное количество разрезанных на куски окороков, говядины, телятины, баранов с золотыми рогами, пирогов, сыров и прочего, а посередине столов возвышались пирамидами разные печенья. В интервалах между столами находились фонтаны с бассейнами красного и белого вина. За столами в разных местах помещались открытые увеселительные балаганы, карусели, качели, столбы с сюрпризами, труппы волтижеров и прочее, с музыкою и песенниками. Все эти принадлежности обеда и гулянья украшались высокими разноцветными флагами и цветочными гирляндами» ^[358]. Иногда фрукты и разные лакомства развешивали и на растущих возле места гулянья деревьях. По краю площади были устроены крытые трибуны для «чистой публики», приглашенной полюбоваться на народный праздник, и императорская ложа в отдельном павильоне.

До начала торжества пришедшая на праздник празднично разодетая толпа — от ста до двухсот тысяч человек, как считали тогдашние газеты, оттесняемая полицией и жандармами, стояла за веревочным ограждением. Ждали приезда государя. Когда на краю поля появились император верхом, со свитой, и императорская семья в экипаже, громогласное «ура» возвестило о их прибытии. Царь со свитой дважды объехал все поле и занял место в отведенной для него ложе. Когда все гости расселись по местам, Николай поднялся и громко прокричал: «Дети мои, все это для вас!» В тот же момент возле царской ложи взвился белый сигнальный флаг с гербом, фонтаны забили вином, веревки ограждения упали, и толпа набросилась на выставленное угощение. «Не прошло и минуты, — писал очевидец, — как на столах все было разобрано, и

на них бегали уже посетители, обирая остатки. Фонтаны запружены народом. Ковшей, конечно, не достало, берут шапками, шляпами, пьют лежа, прислонившись к бассейну, некоторые столкнутые в них и купаются»^[359]. Те, кому не досталось еды (которую традиционно не ели, а уносили с собой), с криками «Тут все наше! Царь-батюшка сказал, что мы здесь хозяева!» принялись ломать сами столы и скамейки и обдирать скатерти. Пока часть толпы любовалась на вольтижеров и канатоходцев, другие стали «карабкаться на возведенные для благородной публики павильоны и амфитеатры со стульями и креслами, предоставленными городскими властями. Еще не вся публика успела покинуть эти хрупкие строения, как чернь стала овладевать банкетками и стульями и срывать драпировку и украшения»^[360]. Дамы в ложах завизжали; прискакал обер-полицмейстер Шульгин с эскадроном казаков, и те принялись работать нагайками, но большого эффекта это не произвело. Тогда в дело были пущены пожарные, дежурившие на краю поля, и под напором воды и преследуемые казаками дебоширы были разогнаны.

По поводу этого праздника писатель М. А. Дмитриев возмущался: «Русский народ жаден и не способен ни к спокойному наслаждению, ни к порядку; удовольствие для него всегда сопровождается буйством. По первому знаку толпа бросилась на столы с остервенением, а никакая сила не удержит воли, когда не удерживает ее закон моральный и приличие. (...) Благоразумнейшие из народа или, лучше сказать, те, которые не добрались до добычи, остались доканчивать пир, и за недостатком белого и красного вина утешать себя сивухой; эти благоразумнейшие, вероятно, домой не воротились, а остались и ночевать на Девичьем поле. Благотворная

ночь осенила их своим покровом, а на рассвете убрала их благотворная полиция»^[361].

Несмотря на инцидент и учитывая масштабы толпы, пострадавших в тот день было немного: 14 ушиблено и трое покалечено, а смертных случаев не было ни одного. В общем, это было почти идеально. Народные праздники такого рода (а традиция их была очень давней) почти никогда не обходились без человеческих жертв. Практически всегда были задавленные, захлебнувшиеся в винном бассейне, до смерти избитые в свалке, — и в этом ценители русской народности даже находили некое молодечество, показатель своеобразного богатырского духа «черни».

А. С. Пушкин, находившийся в 1826 году в Москве, заметил по поводу «скромных» результатов народного праздника: «Жаль, что было мало драки, мало движения». А император Николай, услышав о числе пострадавших, заметил: «Народ, кажется, повеселился, а я еще более веселюсь тем, что все обошлось без несчастья»^[362].

Через несколько лет сходную картину представлял собой и народный праздник на Ходынском поле в честь коронации Александра II. «8-го сентября <1856 г.>...— говорилось в „Описании Священного коронования Их Императорских Величеств“, — был на Ходынском поле народный праздник 672 стола, образовывавшие линию в 13 верст, покрыты были яствами и напитками. Между ними устроены были фонтаны с вином, качели, конные ристалища и разные увеселительные сооружения. Перед рядом воздвигнутых в русском стиле для почетнейших зрителей галерей возвышался императорский павильон, куда Государь изволил прибыть, объехав верхом народные толпы.... Несмотря на дождливую погоду, стечение народа простиралось до 300 тысяч человек»^[363]. Большого буйства и в тот

день не происходило, все обошлось, как обычно, — сказала, видимо, холодная погода и постоянно ливший дождь, зато много разговоров было о качестве народного угощения. К слову сказать, народный праздник на коронации Александра II был первым, на котором помимо традиционных для таких событий окороков и жареной баранины появилась копченая колбаса, что свидетельствовало о превращении ее к этому времени в подлинно народную русскую еду.

Яства для народного праздника вообще заготавливались заранее, привозились на место задолго до торжества и стояли не меньше суток под солнцем и дождем. Естественно, к началу праздника еда успевала изрядно протухнуть. Вероятно, так бывало каждую коронацию, но общество обратило на это внимание лишь в 1856 году. Современница, бывшая в то время маленькой девочкой, вспоминала, какие разговоры велись по этому поводу у нее дома: «Помнится мне, что все возмущались дикостью и невежеством народа, который не умел даже покушать в присутствии царя, а хватал и тащил домой. Многие ничего не захватили и были очень рассержены. Некоторые кричали, бранились, как рассказывали старшие. Меня и брата очень удивляло, как же народ будет есть тухлое, когда некоторые окорока покрылись червями, по рассказам очевидцев»^[364].

Вот в результате этого-то скандала в коронацию Александра III решено было обойтись без столов с угощением (раз народ все равно ничего не ест на месте), а раздавать гостинцы из киосков («буфетов») «сухим пайком» в сувенирных кулках. И 21 мая 1883 года на Ходынском поле народу впервые раздавали «царские подарки», в которые, помимо гостинцев, были включены глиняные кружки с царским вензелем. Благодаря распорядительности полиции в тот раз все

прошло идеально. Зато 18 мая 1896 года, во время коронационных торжеств Николая II, случилась трагедия. К этому времени и население Москвы было весьма велико, и будоражащие воображение слухи о грядущих увеселениях распространились заранее и весьма широко, так что в поход за царскими гостинцами собирались даже многие пригородные крестьяне. Позднее, когда ничего уже нельзя было исправить, многие говорили, что в новых обстоятельствах следовало задействовать под народный праздник не одну, а несколько площадок, тогда, дескать, катастрофы могло бы не быть, но что толку махать кулаками после драки. Все было устроено по традиционному сценарию.

На поле, издавна используемом под массовые мероприятия, — еще Екатерина Великая отмечала на Ходынке Кючук-Кайнарджийский мир с турками, а потом здесь регулярно проходили гулянья и неоднократно устраивались большие выставки и народные праздники, — «готовилось что-то сказочное! Горы сластей и гостинцев, бесконечные сараи с бочками пива и меда, фокусы и штуки, музыка и песни, — разлитое море веселья и смеха, а главное: все, чего ни захочешь, — бери и получай задаром...»^[365]. В обещанный «гостинец» входили сайка, вяземский пряник, кусок полукопченой колбасы, горсть орехов и конфет, а также красиво отпечатанная программа увеселений и «вечная» эмалированная кружка с гербом и вензелем. Эмалированная посуда тогда была совершенной новостью, и кружка казалась особенно вожделенным подарком. Все это было завернуто в хлопчатобумажный сувенирный платок с видом Кремля и соответствующей событию надписью. В 10 часов утра предполагались запуск народа и раздача угощений, в 11 должна была зазвучать музыка, а в 12 — приехать

государь и начаться представления в театре и на эстрадах.

Все эти рассказы соблазнили многие тысячи народа, а поскольку всякий русский человек знает, что на дармовщину и без него найдется много желающих и лучше занять место заранее, уже с полудня 17 мая на Тверской пришлось остановить всякое уличное движение из-за нескончаемого людского потока, двигавшегося пешком из города в сторону Ходынского поля. Шли семьями, радостно, с песнями и смехом. Многие уже были сильно навеселе.

Территория напротив Петровского дворца была застроена каруселями, помостами для песельников, фокусников и гимнастов. Высились гладко оструганные столбы с развешанными наверху призами — пиджаками и шитыми рубашками, балалайками, гармошками, сапогами, самоварами. Стояло нарядное здание театра в русском стиле, а рядом притулилась игрушечная колоколенка, колокола которой должны были звонить завтра во время представления оперы Глинки «Жизнь за царя». Тут же нашлись озорники, которые полезли на колокольню и принялись звонить в колокола, другие закрутили карусели, пользуясь тем, что нашли их незапертыми. По периметру всего участка, площадью чуть больше квадратной версты, тянулись ряды крепких дубовых будок с гостинцами — «буфетов для раздачи угощений». Всего их было около ста пятидесяти, каждый на несколько прилавков и в каждом по 2–3 тысячи кульков. Подрядившаяся раздавать кульки артель еще с вечера, чтобы успеть как следует подготовиться, разместилась по будкам.

Вдоль задней границы участка стояло два десятка тесовых сараев с бочками пива и меда. Основная часть будок располагалась вдоль границы праздничной территории, параллельно городу. Шагах в тридцати от будок проходил глубокий овраг, в котором в обычные

дни добывали глину и песок, а за ним начиналась территория, занятая когда-то выставками — сперва Промышленной 1882 года, потом Французской 1889 года, с рытвинами и ямами от снесенных павильонов. Ограду вокруг выставочного пространства снесли лишь зимой 1895/96 года и обширная пересеченная местность была полностью доступна.

Позднее, когда происходил «разбор полетов» и подсчитывали роковые ошибки, приведшие к трагедии, эта близость гулянья к месту выставок была признана одной из основных. К числу прочих просчетов отнесли и то, что площадку под народный праздник не разровняли как следует, так что вокруг буфетов оставались заметные неровности почвы, безобидные в обычное время, но опасные при напоре толпы. К этому прибавилось отсутствие вокруг места гулянья нормального забора: кое-где имелась изгородь из легких жердей, а в других местах лишь условное ограждение из канатов. Неудачна была также конфигурация линии буфетов: если в коронацию Александра III в 1883 году ларьки стояли плавной дугой, то в 1896 году их выстроили углом; форма самих ларьков в 1883 году была почти круглой, а в 1896-м — в виде пятиугольника с довольно заметно выступающими гранями.

Пришедшая накануне публика свободно расхаживала по территории гулянья, примериваясь к увеселениям и «выбирая себе то, к чему бы завтра следовало прицелиться и устремиться прежде всего и раньше других»^[366]. Потом все отправились в поле и к Всехсвятской роще, расположились на травке, развязали узелки с провизией, стали выпивать и закусывать. Бойко торговали снующие в толпе закусочники, квасники, пирожники и сбитенщики, бродячие музыканты приставали к большим компаниям,

предлагая их повеселить, и тут же на поляне импровизировались песни и пляски. Словом, атмосфера была вполне праздничная.

Народу было много, и ежеминутно подходил новый, подкатывали шарабаны и тарантасы, набитые приезжими из пригородов и уездных городов. Ночью жгли костры, пили, пели и захлеб обсуждали слухи о завтрашнем торжестве. «Говорили, что... привели ученых слонов и птиц, что устраивают бездонные фонтаны пива и вина; завтра они будут беспрестанно бить из-под земли для угощения всех желающих, только успевай подставлять кружку!»^[367] С рассветом, то есть часа в четыре, стали подтягиваться к месту гуляний, но там уже были полиция и конные разъезды (в очень небольшом количестве, так как главные силы намеревались подтянуть часам к семи утра, когда ожидался основной наплыв гуляющих). Гуляк вполне миролюбиво выставляли прочь. Правда, уходя с одного места, толпа тут же возникала на другом, и вскоре ее оставили в покое, тем более что приказа разгонять народ не было. (Из четырех полицейских чинов, назначенных следить за порядком на празднике, на месте всю ночь оставался один, а прочие намеревались приехать только утром, так что большая часть полиции оставалась без указаний.)

Люди из города меж тем продолжали подходить, и чем выше поднималось солнце, тем гуще становилась толпа в пространстве возле вожделенных будок уже к пяти утра собралось до полумиллиона человек Позднее, когда в городе обсуждали происшедшее и ругали городские власти — и особенно генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (к которому с этих пор прилипло недоброе прозвище «князя Ходынского»), одобрено было лишь одно распоряжение властей: то, что фабрики и заводы вблизи Ходынки еще

накануне в 12 часов дня заперли вместе с рабочими и было запрещено выпускать кого бы то ни было за ворота раньше 10 часов утра, с тем чтобы потом, в стройной колонне и под полицейским конвоем каждой фабрике особо отправиться на гулянье. Говорили, что если бы не это, в ходынской толпе оказалось бы еще на сто тысяч человек больше и последствия были бы еще ужаснее.

Занимался жаркий день, с низким давлением, с солнцем, погруженным в туман. Невыспавшаяся, злая с похмелья и уставшая от долгого стояния на ногах толпа раздраженно толкалась. Тем, кто стоял в глубине, выбраться было невозможно, — в плотной массе люди оказались притиснуты друг к другу и озабочены лишь тем, чтобы успеть за колыханием толпы, не упасть и не быть смятым. Стоило чуть раздаться соседям, как зажатое тело сползало на землю и человек неминуемо оказывался растоптанным. По плечам и головам стали передавать детей, которые ползком добирались таким образом до крыш будок и оказывались там в безопасности. Становилось все жарче; народ из города все прибывал и прибывал...

Около шести утра обложенные в будках и до смерти перепуганные артельщики решили начать раздачу гостинцев и открыли окошки. Как только по толпе разнеслось магическое «Дают! Дают!», далеко стоящие нажали и полезли вперед, — и случилось то, что должно было случиться. Желая поскорее схватить подарок, люди топтали друг друга ногами, в остервенелой жадности работали кулаками, продираясь к будкам, плющили друг друга о стены и острые углы, выдавливали с площади в овраг и на территорию выставки, где под напором бесчисленной толпы провалились засыпанные колодцы и отхожие места и в них стали падать люди (всего, по разным данным, от трех до двадцати семи человек). Артельщики,

раздававшие подарки, усугубили сумятицу, начав разбрасывать узелки далеко во все стороны, и в толпе дрались, вырывая добычу.

Получившие узелок разом ринулись к пивным сараям, но там еще было закрыто, и толпа вдребезги разбила и разнесла постройки и мигом опустошила бочки.

Пик свалки едва ли продлился дольше пятнадцати — двадцати минут. Когда пространство возле киосков освободилось, обнаружилась ужасная картина сотен убитых и изуродованных мужчин и женщин. Было начало седьмого утра. Через какое-то время явились полиция, пожарные, из города примчались репортеры и фотографы, которых принялись яростно гнать прочь, словом, пошла обычная в таких случаях кутерьма. Мертвых и еще живых на телегах под рогожами, наводя ужас на москвичей, повезли в больницы и полицейские участки...

Императору о происшедшем сказали не сразу.

Ровно в полдень, как полагалось по протоколу, Николай приехал на Ходынское поле, где свежая, недавно пришедшая из города толпа, хоть и не получила подарков, вполне невозмутимо веселилась вокруг эстрад и на каруселях. Император с полчаса оставался в царском павильоне и понаблюдал за народным праздником, и лишь потом ему доложили, что утром, во время раздачи гостинцев, была давка и есть пострадавшие. О масштабах и числе пострадавших не было сказано ни слова.

Император с женой, решив, что произошла обычная для народных праздников печальная неизбежность, немедленно отправились в Екатерининскую и Марьинскую больницы, где им показали несколько человек с ушибами. Царственная чета обласкала пострадавших и вернулась к протокольным мероприятиям. В результате вскоре последовало

шумное и злобное обвинение «царей» в бессердечии и бестактности. «Мне, как, вероятно, и другим москвичам, — писал Н. П. Розанов, — неприятно было встречать проезжавших по улицам царя с царицей, может быть, не повинных в катастрофе, но все же возбуждавших в отношении к себе чувства далеко не добрые»^[368].

Едва ли не через несколько дней Николаю стала известна истинная картина происшедшего (его указ, посвященный трагедии, датируется 29 мая). По официальным данным, пострадавших в тот день было 2690 человек, из них погибло 1389. Всем пострадавшим семьям император из личных средств выделил по тысяче рублей и распорядился за свои же деньги похоронить погибших. Было назначено расследование, в результате которого главным козлом отпущения стал исполняющий должность московского обер-полицмейстера Власовский.

Говорили, что многие помятые в ходынской толпе умерли уже позднее, по дороге домой или месяцы спустя от последствий полученных травм. Кое-как приведенные в порядок трупы выставили для опознания на Ваганьковском кладбище и во дворах полицейских частей, и туда приходили родственники и знакомые в поисках своих. Для облегчения опознания (лиц у многих растоптанных не было) на виду были выложены те вещи, которые нашли при покойных. Оставшихся неопознанными (из числа одиноких и пришлых крестьян) похоронили на Ваганьковском кладбище в общей могиле; позднее над ней был поставлен памятник по проекту архитектора И. Иванова-Шица. Через некоторое время в Сокольниках был организован на частные пожертвования приют для ходынских сирот.

Глава тринадцатая. СТУДЕНЧЕСТВО

Университетский город. — Садик ужасов. — Своекоштные и казеннокоштные. — «Номера». — Утреннее кровопролитие. — Полное довольствие. — Полезная привычка. — «14-й номер». — «Латинский квартал». — Съемщицы. — «Гирши». — Лавка Чистякова. — Петровская академия. — «Народная расправа». — «Ляпинка». — Лепешкинское общежитие. — Доходы и расходы. — Униформа. — Студенческий цвет. — Белоподкладочники. — «Науки юношей не питают». — Репетиторство. — Экзотические заработки. — Пирожная «Под гитарой». — «Езда на студентах». — «Шествие по бульварам». — Студенческое буйство. — «Синяя говядина». — Походы «на Трубу». — «Сашка». — Татьянин день

Студенческим городом Москва сделалась в 1755 году, когда в ней открылось первое высшее учебное заведение — Московский университет. 12 января по старому стилю, в День святой Татианы, императрицей Елизаветой был подписан указ о создании университета, а 26 апреля состоялось его торжественное открытие.

Первоначально новое учебное заведение размещалось в наскоро приспособленном доме Аптекарского приказа у Воскресенских ворот (на месте нынешнего Исторического музея) и понадобилось несколько десятилетий, прежде чем для московской альма-матер возвели собственное здание на Моховой.

Уже к двадцатым-тридцатым годам XIX века московское студенчество составляло самобытную и заметную часть городского народонаселения.

Вплоть до 1860-х годов университет оставался фактически единственным в городе высшим учебным заведением, а большинство студентов были москвичами. Это, видимо, и обусловило своеобразные взаимоотношения горожан с университетом.

«Ни в одном русском городе, не исключая Петербурга, — отмечал писатель П. Д. Боборыкин, — университет не играет такой роли... В зданиях Московского университета помещается несколько ученых обществ, посещаемых всегда довольно усердно. Диспуты и торжественные акты, происходящие в аудиториях и в большом зале старого и нового университетских зданий, всегда делаются в Москве некоторого рода событиями. На актах, диспутах, пробных и публичных лекциях вы находите гораздо более разнообразную и оживленную публику, чем в Петербурге или губернских университетских городах»^[369].

В начале века здание университета было четырехэтажным, с двумя боковыми корпусами-флигелями. На первом этаже в зале со сводами находилась обширная студенческая столовая. На втором этаже размещались квартиры профессоров. На третьем читали лекции, на четвертом располагалось общежитие, именовавшееся «казенными нумерами».

Со стороны Никитской улицы у университета был еще один длинный корпус, также в основном занятый профессорскими квартирами (позднее на его месте было сооружено новое здание с музеями, институтами, кабинетами, лабораториями и пр.), а за ним в глубине участка находился сад. Здесь было несколько аллей для прогулок, стояли скамейки; была даже беседка в виде

двухэтажной башенки с крышей на столбах. Эта беседка была одним из главных университетских аттракционов: в вечернее время случайно забредший в сад посторонний человек рисковал, наткнувшись на нее, получить инфаркт, так как между этими столбами с перекладины обыкновенно свисал и тихонько покачивался на ветру... человеческий скелет. Это не было галлюцинацией: в расположенном рядом здании университетского анатомического театра имелась мертвецкая, в которой хранились трупы для занятий по анатомии. Один из трупов выбирался для скелета, и служители сперва вываривали кости, а потом, начерно собрав и связав их веревочками, вывешивали в беседку для просушки. Впрочем, чужие редко ходили через университетский сад, а студенты были народ ко всему привычный.

После пожара 1812 года сгоревший университет был перестроен, а к 1830-м годам университетское хозяйство, как и численность студентов и преподавателей, разрослось настолько, что понадобилось новое здание, которое и было сооружено рядом с прежним, на пересечении Никитской и Моховой, на территории одной из усадеб Пашковых (на Моховой у Пашковых было две усадьбы, в том числе построенная знаменитым архитектором В. И. Баженовым).

Естественно, что молодежь, учившаяся в университете, должна была где-то и, главное, как-то жить. Москвичам в этом отношении было проще всего. Другое дело — иногородние, которых с каждым годом в университете становилось все больше. Долгое время (вплоть до университетской реформы 1860-х годов) студенты делились на своекоштных и казеннокоштных. Своекоштные, то есть находящиеся на своем коште — на собственном иждивении, сами платили за учебу и полностью себя содержали. За казеннокоштных (живущих за казенный счет) полностью или частично

вносила плату казна, то есть государство. Таких счастливчиков было обычно около 150 человек — 100 с медицинского факультета (на который поступали только разночинцы, всегда очень стесненные в средствах), остальные — с юридического, математического и словесного.

В начале века университет предоставлял казеннокоштным студентам, помимо бесплатного обучения, практически только крышу над головой и денежное пособие (жалованье) в размере 200 рублей в год, из которых студент обязан был платить за питание и отопление (на это уходило до половины суммы), а также приобретать все необходимое для жизни и учебы. Его помещали в общем дортуаре (то есть спальне) «казенных номеров», где казенными были только кровать и одеяло. Все остальное — постель, белье, обувь и даже столики и комоды студенты покупали сами, так же как учебники, бумагу, перья, свечи и прочее тому подобное. Известный врач Н. И. Пирогов вспоминал, как выглядел один из таких казенных номеров в начале 1820-х годов: «Большая комната, уставленная по стенам кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучки зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей»^[370]. При номере полагался служитель, обычно из отставных солдат. Помимо уборки в его обязанность входили мелкие услуги обитателям номера: он должен был ходить в город по их поручениям и подавать, когда спрашивали, самовар. В дни, когда кому-нибудь присылали деньги из дома, студенты гоняли служивого в ближайшую лавку за водкой и закуской, в этом случае кое-что перепадало и ему самому. За небольшую плату служители чистили студентам одежду и обувь, а их жены принимали в стирку белье — 2 копейки рубашка, 1 копейка полотенце и т. д.

После 1826 года жалованье было отменено и введено полное обеспечение казенных студентов, а их содержание увеличено до 350 рублей в год. В это же время студенческие помещения были основательно перепланированы.

Находились «казенные нумера» в старом здании университета на самом верхнем этаже. В правом крыле, если смотреть с Моховой, размещались дортуары, обставленные только кроватями и «табуретами» (так назывались тумбочки, на которых можно было и сидеть), а остальную часть этажа занимали своеобразные комнаты дневного пребывания, где на каждого казеннокоштного имелись конторки для занятий, а вдоль глухой стены стояли длинные, метра четыре в длину, жесткие диваны. Над ними висели зеркала, в которые студенты почти никогда не смотрелись. На этом же этаже были и прочие, относящиеся к общежитию помещения — умывальная, библиотека и карцер. Вдоль всего этажа шел длинный коридор, по обе стороны которого и находились комнаты. В каждом «нумере» помещалось человек по десять. В нижнем этаже правого крыла была столовая для казенных студентов (там и сейчас студенческая столовая).

В семь часов поутру студенты отправлялись в умывальную, которая находилась в углу здания, между передним фасадом и правым крылом. Здесь вдоль стен имелись одежные шкафчики, а в центре над двумя громадными лоханями были укреплены жестяные рукомойники, самой простой, «дачной» конструкции, с подвижным стержнем, каждый на десять «кранов». Здесь же присланные из цирюльни ученики оттачивали свое брадобрейное искусство на тех казеннокоштных, кто уже мог похвастаться усами и бородой. При этом неизменно проливалась кровь и порезанный бреемый

вопил и нередко залеплял неумелому цирюльнику оплеуху.

В восемь утра все спускались в столовую и пили чай с булками. В девять отправлялись на лекции и сидели там до двух часов. В половине третьего был обед: щи, лапша или рассольник и каша с мясной или овощной подливкой, а по праздникам пироги, жареная телятина и сладкое; в восемь часов ужин — снова булки с чаем или молоком, в одиннадцать — отбой. В пост студентов кормили овощами; на Масленицу пекли блины. В промежутке между обедом и отбоем были самостоятельные занятия и свободное время, причем для того, чтобы отлучиться надолго из университета, к примеру, посетить родных или знакомых, следовало получить увольнительную у инспектора с точным указанием места, куда намерен отправиться.

Казеннокоштные подчинялись строгой дисциплине и нарушение ее было чревато не только лишением казенной стипендии, но и карцером, или даже отдачей в солдаты, что широко практиковалось в эпоху Николая I. Впрочем, для последней кары следовало и провиниться очень уж серьезно.

«Живя в своих номерах, — вспоминал филолог Ф. И. Буслаев, — мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножиком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире»^[371]. В дальнейшем, кончив курс, казеннокоштный воспитанник обязан был

поступать на службу, так сказать, по распределению (хотя самого этого выражения еще не существовало) и служить шесть лет в назначенном месте, обычно очень отдаленном, отрабатывая затраченные на него казной средства.

Естественно, что обстановка в номерах была такой же, как и во всяком общежитии, — здесь было хоть и весело, но постоянно накурено и очень шумно: хохот, крики, брань, звуки шагов, хлопанье дверей, дудение на какой-нибудь флейте или брелчание на гитаре, пение, рассказы взахлеб, даже громогласное чтение стихов, — и посреди всего этого несколько мучеников, затыкая уши, пытались читать или заниматься. Тот же Буслаев замечал, что выработанная в студенческие годы привычка заниматься при шуме не оставила его до конца жизни, что иногда потом бывало и полезно. Когда шум очень уж доставал, а погода позволяла, студентозусы отправлялись заниматься в университетский сад.

Самый неудобный из «номеров», под номером 14 (он был проходной, находился у лестницы и имел странную треугольную форму), время от времени, с разрешения университетского инспектора, занимали беднейшие из своекоштных студентов, которым, по мизерности их доходов, почти невозможно было найти в городе наемную квартиру. За приют и обед они должны были платить по 12 рублей с человека, но и эти деньги изыскать им зачастую было невозможно. «Все жила голь перекатная! — вспоминал один из жильцов четырнадцатого номера Н. Н. Мурзакевич. — Ветхая летняя шинель моя служила и для прочих моих сожителей. Холод в номере бывал зимою такой, что на столах вода замерзала; а продрогши ночь или вечер, с трудом могли набрать втроем и вчетвером 10 копеек серебром <на чаепитие в трактире>» ^[372].

В 1860-х годах университетский устав изменился и система казеннокоштных воспитанников была отменена, а их «нумера» ликвидированы. Хотя в это же время получили большое распространение частные и государственные стипендии, но вносились они исключительно на учебу, никаких денег на руки студентам не выдавалось, и проблему жилья и самообеспечения им с тех пор довольно долгий период приходилось решать самостоятельно.

Со сходными проблемами сталкивались и в более раннее время те из своекоштных студентов, которые приезжали в Москву из провинции. В первой трети века, пока студентов в университете училось не очень много, нередко сами преподаватели держали для них что-то вроде «комнат с мебелью» и даже со столом и одновременно присматривали за своими жильцами в учебных занятиях. (В этом качестве особенно известен был «пансион» М. П. Погодина, у которого, между прочим, в начале своей университетской жизни квартировал поэт А. А. Фет.)

По мере того как число студентов возрастало, потребность в наемном жилье росла, а квартирный «бизнес» профессоров все менее одобрялся университетским начальством. Поскольку слишком удаляться от университета школярам не хотелось, а средств больших у них не было, искали квартиры подешевле и не слишком далеко от Моховой. Такие находились на Ленивке, кое-где по арбатским переулкам, но особенно часто в районе между Никитской и Тверской. Именно здесь постепенно и сложился собственный московский «Латинский квартал», занимавший обширную территорию вокруг Малой и Большой Бронных с Патриаршими прудами, Козихой и Палашевским переулком. Всю эту местность для краткости именовали «Козихой».

Здесь стояли по преимуществу небольшие и неказистые деревянные домики, в которых селилась тоже неказистая публика — мастеровые, мелкие торговцы, «девицы, живущие от себя». Здешние квартиры, а чаще комнаты «от жильцов», были обычно очень плохи: нередко проходные или расположенные в самых неудобных местах (рядом с уборной, с окнами на помойку), темные, сырые и холодные, обставленные мебельной рухлядью и удручающие разного рода бытовыми шумами — грохотом и скрежетом из мастерских, младенческими воплями, семейной перебранкой и т. п., но небогатому студенту редко приходилось привередничать. Комнаты снимали в складчину; жили по несколько человек — по двое, по четверо. Соответственно, обстановка состояла в койках, столе, полке с книгами и часто продранном диване с торчащими пружинами, на котором устраивался на ночлег кто-нибудь из пока бездомных товарищей. Под койки задвигались сундучки или корзины с личным имуществом студентов. Имущества было мало. Случалось, что на четверых квартирантов приходилось две пары сапог, так что ходить на лекции и по делам приходилось по очереди.

К 1860-м годам на Козихе было уже изрядное число больших и малых доходных домов, занятых исключительно студенческими квартирами. Держали такие квартиры «съемщицы», которые часто со временем так входили во вкус студенческой атмосферы и так сживались со своими постояльцами, что и сами становились как бы частью университетской жизни. «У съемщиц и студентов все было общее, так что благосостояние одного заметно отражалось на довольстве другого. То же явление замечалось и в крайности. Студенты в нужде нередко прибегали к своим домовым хозяйкам, а последние сплошь да рядом делили с ними и горе, и радость, и в первом случае

несли к какому-нибудь Чистякову в залог последний свой скарб, чтобы только выручить своего квартиранта из нужды. Они до такой степени проникались интересами своих жильцов, что как будто даже сами специализировались. Съемщицы иначе не считали своих жильцов, как за близких родных: „у нас, у медиков“, „у нас, у юристов“»^[373].

Полностью студенческими были дома Саморуги на углу Сивцева Вражка, снизу доверху занятый такими «съемщицами», дом Ивлева, позднее Гатцука, на Никитском бульваре рядом с маленькой церковью Святого Феодора Студита, где похоронены родители Суворова, а с 1880-х годов — вошедшие в студенческое предание «Гирши» на Большой Бронной (дома Гирша). Здесь в нескольких мрачноватых корпусах было 123 квартиры, также снимаемых хозяйками, которые пускали квартирантов-студентов. Злые языки утверждали, что изначально эти дома строились под казармы, но по окончании строительства специальная комиссия их забраковала, и в результате получились студенческие дома, но обитатели «Гиршей» на судьбу особо не жаловались, а позднее даже с ностальгией вспоминали о проведенных здесь «веселых деньках».

Со временем Козиха обзавелась множеством и специально студенческих пивных, трактиров и дешевых ресторанчиков, среди которых наибольшей известностью пользовались «Международный» ресторан на Страстной площади, пивная «Седан» (в конце века изменившая название на «Длинный Том») у Никитских ворот и расположенная напротив нее круглосуточная чайная. Многие из здешних лавок также ориентировались на студентов и широко открывали им кредит.

Знаменита среди студентов была мелочная лавочка некоего Чистякова, о котором уже упоминалось,

находившаяся у храма Святого Спиридония на углу Спиридоновского переулка. В своей лавке он продавал табак, папиросные гильзы, свечи, сахар, чай, кое-какую гастрономию — всё, востребованное студентами, а помимо этого потихоньку и нелегально занимался ростовщичеством, давая деньги под заклад. В заклад же он принимал абсолютно всё: литографированные лекции, домашний скарб, музыкальные и измерительные инструменты, как уверяли, даже кошек, которых приносили студенты. За студенческий мундир, когда их отменили (и появляться в них было запрещено), давал он по 75 копеек — немалые деньги для нищих школяров.

В теплое время по переулкам Козихи и близлежащему Тверскому бульвару вечерами слонялись обитатели «Латинского квартала» — бородатые, часто навеселе, в красных рубахах и форменных фуражках, сдвинутых на затылок, нередко с дубинами, заменявшими им пижонские тросточки. Пересмеивались с белошвейками, задирались с извозчиками и городовыми, у ворот на лавочках распевали песни под гитару.

Есть в столице Москве
Очень шумный квартал —
Он Козихой Большой прозывается —
От зари до зари, лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.

Помимо «Латинского квартала», где селились в основном юристы, естественники и словесники, привлекательным для малоимущих студентов-медиков был район Грачевки и близлежащей Рождественки. Из-за обилия двусмысленных заведений с красными фонарями это место не привлекало приличную публику,

зато квартиры здесь были дешевы. К тому же неподалеку находились Екатерининская больница и университетские клиники, в которых студенты проходили практику, так что выгода была сплошная и очевидная. В молодые годы пожить здесь довелось и студенту-медику Антону Чехову, сменившему на Грачевке несколько адресов.

В середине века к университету начали прибавляться в Москве другие высшие учебные заведения и армия студентов возросла многократно.

Теперь в Москве имелось и Высшее техническое училище, студенты которого оккупировали под жительство в основном Покровскую улицу (нынешнюю Бакунинскую) и Консерваторию, в которой учились не только молодые люди, но и барышни. Эти селились чаще на Большой Никитской и в прилегающих переулках. Возле Мясницкой (хотя и не только здесь) находили себе пристанище воспитанники Училища живописи, ваяния и зодчества.

Поначалу очень оригинальным вузом, впитавшим многие идеалистические воззрения 1860-х годов, была основанная в 1865 году Петровская земледельческая и лесная школа, вскоре получившая статус академии. Разместилась она в нескольких верстах от Москвы, в бывшем имении графов Разумовских — Петровско-Разумовском, где имелись огромный парк, множество прудов и остатки графской роскоши в виде оранжерей, павильонов, гротов и т. п.

Создатели академии исходили из того, что высшее образование стремятся получить сплошь люди идейные и сознательные, желающие принести максимальную пользу обществу, и потому ее устав предусматривал прием всех желающих, без экзаменов и аттестатов. Лекции были общедоступными; кроме постоянных слушателей могли ходить и посторонние, внося символическую плату в 16 копеек за лекцию.

Переходных экзаменов не было, только выпускной экзамен для лиц, желающих получить диплом. Сдавать выпускной можно было в любые сроки, хотя вообще курс предусматривался трехгодичный. На студентов в целом смотрели, «как на граждан, сознательно избирающих круг деятельности, и не нуждающихся в ежедневном надзоре»^[374].

Результаты подобного либерализма не замедлили сказаться. «В академию налетели отовсюду лентяи, не одолевшие в гимназии бездны премудрости, помещичьи сынки, выгнанные из низших классов, которым родители пожелали наиболее легким способом дать звание студентов. (...) В парке, по уединенным дачам в лесу, над прудами, в весенние и летние ночи от зари и до зари гремели песни, шли попойки, и Москва была полна рассказами о необыкновенных выходках петровских студентов, вроде, например, внезапного появления перед публикой, гуляющей по главной аллее парка, какого-нибудь гуляки, выходящего из пруда в костюме Аполлона Бельведерского. Отсутствие контроля и принуждения привело к тому, что некоторые студенты экзаменовались много раз, зная лишь часть курса, в надежде на то, что, наконец, попадется счастливый билет... Идеалисты профессора, участвовавшие в создании устава, не находили теперь аргументов в его защиту»^[375].

Помимо лентяев и бездельников всех мастей в академии оказалось и немало опасных радикалов. Не прошло и четырех лет после основания заведения, как здесь произошло потрясшее всю Россию преступление. Зимой 1869 года на льду одного из прудов местными крестьянами было найдено тело здешнего студента И. Иванова, убитого, как вскоре выяснилось в результате расследования, несколькими членами революционной организации «Народная расправа» во

главе с Сергеем Нечаевым. Большинство входивших в «Народную расправу» были студентами-петровцами. Этот случай привел к полному пересмотру устава академии, и он был приближен к уставам других вузов, но, надобно сказать, революционность из петровских студентов и потом никуда не делась и они оставались самыми активными участниками подполья, а потом и революционных событий 1905 и 1917 годов. Этому способствовали и состав студентов — преимущественно провинциалов и разночинцев, и местоположение академии — на отшибе, вдали от города, так что студенты по большей части варились в собственном соку, и обилие глухих и уединенных мест в прилегающем парке, позволявших без помех проводить сходки и вести революционную пропаганду.

Жили студенты-петровцы тут же, рядом с академией, снимая в окрестностях маленькие дачи или находя жилье в так называемых Выселках — небольшой слободке за прудом и плотиной.

Пока местные жители — огородники и фабричные — не привыкли к присутствию студентов, между ними существовала постоянная вражда, нередко разрешавшаяся многолюдными драками. С течением времени вражда поутихла, но «героические предания» о былых побоищах вошли в студенческие анналы и неизменно сообщались всякому первокурснику академии.

В Москву петровцы выбирались не часто: дорога до города была длинной и небезопасной — через еловый и сосновый лес, по шоссе, мимо дач, через пустыри, на которых «пошаливали», а о том, чтобы не идти пешком, а доехать на извозчике, большинство петровцев и мечтать не смели. Но и они ходили и в театр, и просто так, погулять, поэтому являлись полноценной частью московского студенчества. Впрочем, в Москве петровцев недолюбливали, как пришлецов, а с

университетскими у них вообще был постоянный и непреодолимый антагонизм.

В конце столетия парк Петровской академии, в то время полностью открытый для публики, стал превращаться в популярное место прогулок «Оно поспорит с Нескучным своей красотой, просторами, чудесными липовыми аллеями, обширным прудом, почти озером, — писал П. Д. Боборыкин. — Публика, собирающаяся по вечерам, всего больше в воскресенье, какой бы ни был ее наплыв, все-таки не лишает этого прекрасного парка тишины для ищущих уединения. Прогулка пешком из Петровского парка в Академический, все время лесом, сама по себе предмет удовольствия для городского жителя. В будни в тихое после обеда время или в лунные ночи парк Петровского-Разумовского — чудесное место. И вся жизнь кругом: студенты Академии, катанье на лодках, часто пение хором, молодой смех, живые разговоры в тени развесистых лип»...^[376]

Уже в 1870-х годах некоторые из сочувствующих малоимущим студентам московских благотворителей снова стали открывать для них общежития.

Так, в середине 1870-х годов на Большой Дмитровке братьями-купцами Н. И. и М. И. Ляпиными было открыто бесплатное благотворительное общежитие для студентов университета и Училища живописи, ваяния и зодчества (в конце века сюда стали принимать и учащихся остальных московских вузов). После кончины основателей «Ляпинка», как ее называли, содержалась на оставленный ими капитал. Сюда принимали всех желающих, но среди студенчества как-то сразу стало считаться, что «Ляпинка» — самый последний выход, когда уже ничего другого не остается, и попасть сюда — значит, окончательно опуститься на дно, откуда очень трудно потом выбраться.

В двух корпусах «Ляпинки» находилось 34 «номера», рассчитанных примерно на 120 человек. Три этажа, соединенные железной лестницей, были прорезаны узкими длинными коридорами. Левая сторона коридора была капитальной, с редко поставленными окнами, а справа были отгорожены собственно общежитские помещения. Каждые три номера были разделены капитальными стенами, а между собой и от коридора они разгораживались легкими деревянными перегородками, не доходящими до потолка и с решеткой наверху. Соответственно, слышимость к «номерам» была превосходная. В конце коридора имелся закуток с двумя кранами и уборной за перегородкой.

«Номер» был рассчитан в среднем на четыре человека. Никаких роскошеств не предусматривалось: жидкие тюфяки, грубое толстое белье на койках, табуретки вместо стульев, жестяная лампочка под потолком, стены, выкрашенные темно-коричневой краской. Убираться, как предполагалось, должны были сами студенты, но никто из них этого не делал, поэтому полы вечно были завалены мусором, а койки и столы разным хламом. Раз в месяц немногочисленная прислуга переменяла постельное белье и мыла полы в коридорах.

Во флигеле во дворе находилась столовая — деревянные столы без скатертей, лавки, окошко раздачи, буфет. Бесплатно выдавался только кипяток. За две копейки можно было получить крошечный фунтик из грязной газеты с чайной заваркой и три куса сахара. Обед из двух блюд стоил 15 копеек. На них полагалась миска очень горячих щей с мясом и одна сосиска с гречневой кашей, воняющей скверным салом.

Кроме вконец отчаявшихся, почти потерявших надежду на заработок студентов-бедняков, оказавшихся временно исключенными из университета

за невнесение платы за учение, в «Ляпинке» оседали вечные студенты (которые из-за нехватки денег постоянно откладывали сдачу экзаменов и могли продолжать числиться в университете до тридцатисорокалетнего возраста), алкоголики (среди студентов их встречалось не так уж мало), а также окончившие курс, но так и не приискавшие места работы. Из последних иногда образовывались «вечные ляпинцы», которые навсегда оставались жить в общежитии, кормясь случайными заработками и постепенно спиваясь.

В других подобных учреждениях дела обстояли повеселее. В 1880 году неподалеку от Арбатских ворот в Филипповском переулке почетный гражданин Лепешкин открыл студенческое общежитие на 40 человек, со столовой, библиотекой и спальнями на одного-двоих. Студенты (сюда принимали университетских) находились здесь на полном бесплатном содержании. Почин понравился в Москве и вызвал подражания, так что скоро при университете имелось уже несколько вполне комфортабельных общежитий, содержавшихся как за счет благотворителей, так и казны. Здесь были чистые, теплые и хорошо обставленные комнаты, собственные аптеки, столовые, в которых суп и чай можно было брать без ограничений, а по воскресеньям пекли сладкие булочки, иногда даже спортивные уголки с какой-нибудь трапезией и шведской стенкой, а в самом конце века, представьте себе, иногда и телефоны; и звукоизоляция была хорошая, и возвращаться можно было сколь угодно поздно, — словом, это был студенческий рай... — только мест на всех в благотворительных общежитиях не хватало, а в казенном полагалось платить: 300 рублей за девять месяцев, и вперед требовали плату за полгода.

Конечно, материальный уровень учившихся в Москве студентов был различен. Кто-то принадлежал к богатым семьям и мог себе позволить ежедневно обедать в ресторанах и даже разъезжать в собственных экипажах на кровных рысаках. Кому-то везло получить стипендию, что в сочетании с присылаемыми из дома деньгами давало возможность ни в чем особо не нуждаться. Большинство же студентов, едва начав учиться, принимались на опыте осваивать искусство самой жесткой экономии.

В среднем иногородний студент получал из дома рублей 25 в месяц, не считая тех средств, которые шли непосредственно на оплату учебы: на это уходило около ста рублей в год. Из получаемых денег нужно было платить за жилье (рублей 10-15), за обед в кухмистерской или в столовой Общества для пособия нуждающимся студентам (семь с полтиной в месяц), покупать мыло, табак, бумагу, чернила, керосин для настольной лампы, чай, сахар и хлеб на завтрак и ужин, платить за баню, за стирку белья, за починку сапог, отсылать письма домой, платить за врача и лекарства, если ненароком заболеешь... А ведь были еще учебники, на которые уходило от 10 до 50 рублей в год, и, самое главное, форма, которая то вводилась в употребление, то отменялась, и тем напрямую влияла на благосостояние различных поколений студентов.

Мундиры в университете носили сперва в самом начале века, перед Отечественной войной: к ним полагались шпага и треугольная шляпа. После войны форма была отменена, но в царствование Николая I ее ввели вновь. Полный комплект «обмундирования» составляли два синих мундира с оранжево-красными воротниками (парадный и будничный — вицмундир), парадная треугольная шляпа, будничная фуражка с синим околышем, шинель на вате, две пары панталон — зимние и летние, сапоги и шпага. По самым скромным

прикидкам, без шинели, такой набор обходился в 101 рубль 25 копеек. Немудрено, что оканчивавшие курс студенты делали все возможное, чтобы избежать таких несуразных трат или хотя бы уменьшить их. Живший в те годы очень стесненно Николай Пирогов, будущий знаменитый врач, а тогда университетский студент, вспоминал: «Когда введены были мундиры, то мне сшили сестры из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и я, чтобы не обнаружить несоблюдение формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник»^[377].

В 1861 году мундир отменили и студенты с радостью переоделись в гражданское, оставив из прежнего только фуражки. С ними за долгое время успели сродниться, и цвет их синего околыша стал считаться «студенческим». Тогда пели:

Синий цвет — цвет небес,
Цвет студентов-повес.

«Бесформенный» период продолжался потом до середины 1880-х годов, и в это время студенты даже выработали собственную манеру одеваться. Она включала либо сдвинутую на самую макушку фуражку, либо надвинутую на глаза широкополую «разбойничью» шляпу, и обязательно плед на плечах, восполнявший недостаток тепла от носимого большинством даже зимой легкого пальто. К этому полагались непременно длинные волосы, длинные настолько, «что любой дьякон мог им позавидовать»^[378].

Потом вновь ввели форму — и для многих это была катастрофа! Шитье ее составляло прямо-таки фантастическую для бедного студента сумму: парадный

двубортный сюртук с брюками, даже из самого дешевого материала, — аж 45 рублей, зеленоватая тужурка с орлеными пуговицами — 12, к ней будничные брюки — 6, светло-зеленая фуражка с синим околышем — 2 рубля, галстук — рубль, зимняя шинель — 40, штиблеты — 5 рублей, а на плохую погоду еще галоши за два (все это по ценам конца века), и это не считая рубах, подштанников, носков и прочего, что входит в одежду и без чего не обойдешься, тоже влетавшего в копеечку. А еще летний комплект с серой тужуркой!.. Ужас! Конечно, богатым студентам это было легко: они заказывали себе сюртуки из самого лучшего, «офицерского» сукна, подбивали их белым муаром (за что и заслужили прозвище «белоподкладочников»), отделявали шинели вместо положенного темного каракуля — бобром, тоже на офицерский лад, и вообще всячески франтили, но бедному-то, бедному-то что?!..

И покупали нищие студенты себе тужурки и фуражки (остальным приходилось пренебрегать) либо с рук у выпускников, либо в лавках на Толкучке, где сразу несколько старьевщиков специализировались именно на студенческом барахлишке, и носили заношенное и бесформенное, в заплатках, зато предельно дешевое.

Вообще денег катастрофически не хватало.

Как только ни экономили студенты: хлеб брали вчерашний, на копейку дешевле, чай пили самый плохой и только вприкуску (внакладку выходило дорого). Питались вообще скудно и считая каждый грош. Не случайно бытописец московского студенчества конца века П. Иванов замечал, что у студента «самое любимое — то, чего „больше дают“ на меньшую сумму»^[379]. Покупали страшно вонючий сыр (20 копеек фунт), колбасу (от 20 до 25 копеек), а когда оказывалось совсем плохо — черный хлеб (его фунт стоил копейку) и соленые огурцы. Фунта (409,5 грамма)

колбасы или сыру хватало на четыре дня, а символом роскошной жизни у московского студенчества второй половины столетия были сосиски, которых фунт съедался почти в один присест, а стоил 28 копеек, что было ужасно не экономично. Бывали и дни полной бескормицы, когда ползущий на лекции школяр вспоминал ломоносовское «Науки юношей питают, отраду старцам подают» и, горестно вздыхая: «Нет, науки юношей не питают...»^[380], болезненно морщился возле каждой пекарни, из которой раздражающе тянуло свежесвеженным хлебом.

В баню ходили раз в два месяца, нательное белье меняли раз в две недели, а то и раз в месяц, чтобы сэкономить на прачке, к парикмахеру вовсе не ходили, обходясь, когда чрезмерно зарастали, домашней стрижкой и отращивая бороду, домой писали раз в месяц (почтовые расходы!). Учебники и литографированные лекции покупали на Толкучке или у сторожа в университетской «шинельной», которому их сдавали на комиссию отучившиеся студенты. В театр норовили попасть «зайцем»: даже 30 копеек за билет на галерку для большинства было непосильным расходом. При этом были студенты, чей доход составлял гораздо меньше 25 рублей, и им приходилось влачить в буквальном смысле слова полуголодное существование.

Вопрос о заработке поэтому очень остро стоял в студенческой среде, и как только здесь не изворачивались. Основным и освященным традицией видом заработка, конечно, были уроки, дававшие по большей части от 15 до 25 рублей в месяц. За эти деньги приходилось по два-три раза в неделю ходить заниматься по одному и тому же адресу. Если удавалось добыть двух-трех учеников, то приходилось мотаться уже ежедневно и по всему городу. Большей

частью ходили по урокам пешком, экономя не только на извозчике, но и на конке. Выгода от такой работы оказывалась в итоге очень условной. «Уроки в редких случаях вознаграждали труд, — вспоминал бывший студент И. А. Свиньин, — т. к путешествие на Зацепу, в Зубово и на Бутырки были сопряжены с потерей времени и расходами, а главное — рванием сапог, которые для студента составляли самую изнурительную статью карманного расхода»^[381].

Везунчики, попадавшие в состоятельный дом, на заработок в 50–70 рублей, что считалось совершенно роскошно, могли себе позволить ограничиться всего одним уроком, но таких выгодных мест по Москве было немного, да и вообще уроков на всех не хватало, так что любой заработок такого рода считался удачей. Довольно часто дававших уроки студентов приглашали репетиторствовать и летом, что тоже было выгодным предложением, потому что нужно было ехать с семьей нанимателя куда-нибудь в имение или на дачу, где у студента оставалось довольно времени и на отдых, и на немудреные сельские развлечения вроде купания, рыбалки, скоротечных романов с хорошенькими дачницами и пр.

Помимо уроков заработать можно было так писать статьи в журналы и газеты или сочинять рекламные объявления, поступить к кому-нибудь секретарем или библиотекарем, заниматься переводами с иностранных языков, писать библиографические карточки для библиотек (100 штук — 20 копеек), переписывать бумаги, если хороший почерк (2 копейки со страницы). Можно было позировать художникам (рубль за два часа), петь в церковном хоре, играть на музыкальном инструменте (если умеешь) в каком-нибудь оркестре, вплоть до похоронного или увеселительного в кафешантане, служить тапером на танцевальных

вечерах, продавать энциклопедии, наняться подсчитывать избирательные шары в каком-нибудь акционерном обществе... В летнее время, когда многие студенты старались подзаработать на оплату учебы, можно было устроиться контролером на дачный поезд или кассиром на ипподром (принимать деньги на тотализаторе), заняться земской статистикой или отправиться в рекламный тур на велосипеде какой-нибудь известной марки. В конце века при университете существовало специальное Бюро для приискания занятий студентам, куда стекались соответствующие заявки, и тут встречались иногда занятия тоже довольно красочные: в 1890-х годах один человек для организации подвижных игр с жалованьем в 275 рублей за сезон регулярно требовался в Ессентуки — совершенно царское предложение: помимо райской жизни на курорте, заработанных денег хватало потом и на внесение ежегодной платы, и на прожиток месяца на три.

Проще всего в отношении заработка было студентам-медикам: те уже на первом курсе могли устроиться по специальности ухаживать за больными или делать массаж, а со временем находили себе место в какой-нибудь клинике, где часто оставались и в послеуниверситетские годы. При всем разнообразии видов заработка хватало его не на всех, а при получении работы большое значение имело местожительство студентов: «ляпинцев» на работу в приличные места не брали; настороженно относились и к тем, кто жительствовавал «на Козихе», так что, давая в газету объявление с предложением своих услуг или ведя переговоры с потенциальным работодателем, студенты всячески изворачивались и называли более престижные адреса знакомых.

Следует заметить, однако, что как бы ни бедовали и ни холодали студенты в годы учебы, каких бы долгов в

это время ни наделали (квартирной хозяйке, трактирщику, университетскому швейцару, часто дававшему студентам в долг, и т. д.), почти сразу по выходе из университета и получения места жизнь их круто менялась. На человека с университетским дипломом во второй половине века существовал устойчивый спрос и жалование ему платили хорошее. Уже через год-другой бывшего студента было не узнать: он успевал и приодеться, и отъестся, и отдать все долги, и часто родители, когда-то с трудом его тянувшие, поступали на его полное и вполне щедрое содержание.

Все же, когда у московского студента заводилась денежка, и он не прочь был пошиковать. В первую очередь появившиеся деньги тратились, конечно, на еду. Растущему (все еще) организму требовалось хорошо питаться, и студентам были известны разные злачные места, где можно было недорого и вкусно (по студенческим, конечно, меркам) поесть. При маленькой денежке приходилось довольствоваться купленной у Чуева или Филиппова сайкой и куском чайной колбасы. Два ломтя колбасы засунуть в свежую сайку и все это с чаем — вкуснотища, никаких трактиров не надо!

При денежке побольше ходили есть пирожки. Для этого было два излюбленных места — квасная лавка в Сундучном ряду (о ней уже был отдельный рассказ) или же пирожковая «под гитарой», недалеко от университета, где готовили жареные пирожки и для того же Сундучного ряда, и для всего Города. «Я не знаю ничего омерзительнее этой пирожной, — вспоминал И. А. Свиньин, — где за длинными столами, покрытыми толстым слоем всевозможных запахов грязи, стояли кучами студенты, уничтожая с наслаждением горячие пироги с разными начинками. Сколько литературных, политических и ученых знаменитостей разных времен видели перед собою

закоптелые стены этой пирожной за все время своего существования!..»^[382]

При еще большей денежке шли уже в настоящий трактир, где была не только еда, но и развлечения в виде газет, журналов, бильярда и музыкальных «машин». Посещали или «свои», козихинские заведения, или те, что находились неподалеку от университета, к примеру, «Русский» трактир или «Железный», или трактир гостиницы «Москва» Барсова, или трактир «Саратов» Дубровина и ели там борщ, в который (видимо, «московский») клали в то время ветчину, сосиски и сметану, так что получался целый обед. По-московски большая порция обходилась в 40 копеек.

По утолении телесного голода можно было подумать и о духовных потребностях.

Именно студенты были главными кавалерами на московских вечеринках и балах и самыми искренними и благодарными театральными зрителями. Ходили в театры и «зайцами», и по билетам (были энтузиасты, готовые голодать по несколько дней, лишь бы скопить денег на посещение «галерки»), оглушительно хлопали, кричали «браво» и «фора», устраивали овации своим любимцам, встречали их после спектакля на артистическом входе и нередко, выпрягши лошадей, сами влекли карету популярной знаменитости через весь город к ее квартире (в артистической среде это ядовито называли «ездить на студентах»).

В теплую сентябрьскую или майскую погоду студенты были иногда не прочь немного пошалить, устроив, к примеру, «шествие по бульварам», заимствованное у школяров Германии и Франции. Для пущего эффекта вооружались дудками, охотничьими манками и рогами и отправлялись «путешествовать». «Хотя было уже за полночь, но гуляющих на улицах, а в

особенности на бульварах, было еще много. Мы начали свое шествие, — вспоминал участник, — с Никитского бульвара, в глубоком молчании шествуя один за другим то длинной вереницей, то зигзагами, перепрыгивая через скамейки (в то время на бульварах не было еще железных скамеек со спинками), то вдруг описывая большой круг, захватывая в его середину группы гуляющих, которые при этом маневре в недоумении останавливались, не зная, что им делать, сердиться или смеяться. Цертелев, шедший впереди, время от времени издавал своим рогом ревущие звуки, на которые отвечали птичьи и заячьи голоса, под аккомпанемент смеха гуляющей публики.

На бульварах мы встретили еще несколько знакомых студентов, которые тотчас же примкнули к нам, так что чем дальше мы шли, тем число наше увеличивалось. На Никитской площади нам попались по дороге пустые извозчики; мы стали один за другим перепрыгивать через их пролетки, вскакивая на подножку и быстро соскакивая с другой стороны. Изумленные извозчики останавливали лошадь и с открытыми ртами смотрели, что это такое, и скоро ли настанет конец этой напасти. Городовых тогда было немного, и те два-три фараона, которых мы видели одиноко стоящими на своих постах, не сочли нужным привязываться к нам, тем более что нас было много. Самый большой эффект произвело наше шествие и птичьи голоса на Тверском бульваре, где больше всего было гуляющих» ^[383].

Впрочем, далеко не всегда развлечения московского студенчества были так забавны и безобидны. Долгое время его нравы были, мягко говоря, грубоваты. По замечанию Н. П. Вишнякова, «аристократам, представителям богатого дворянства, занимавшего все верхи, наука была совершенно не нужна. Они

игнорировали жалкие русские университеты и, буде хотели серьезно учиться, учились дома, либо ехали за границу... Высшие учебные заведения привлекали к себе исключительно мелкое дворянство и разночинцев, и притом в огромном большинстве случаев не обширными и светлыми горизонтами, которые открывает наука, а перспективой диплома, дававшего известные права на государственной службе»^[384]. Значительную часть студентов составляли «поповичи», напитанные буйным духом всевозможных «бурс». Аполлон Григорьев, учившийся в университете в начале 1840-х, вспоминал, что для его отца, «по старой памяти, понятие о студенте сливалось с понятием о поповиче»^[385].

Оказавшись «на воле», на положении «взрослых», в среде ровесников, молодежь, как выразились бы сейчас, «отрывалась» по полной программе, и в то время студенческие «забавы» частенько становились серьезной головной болью для городских властей. Студенты отличались редкостной заносчивостью и драчливостью. Подгуляв, они принимались «смеха ради» приставать ко всем встречным женщинам подряд и задирать всякого, кто пытался их урезонить, и вообще любого встречного, будь то офицер, купец или мастеровой. В итоге редкое московское гулянье обходилось без масштабной потасовки, растаскивать которую приходилось многострадальным хожалым при помощи казаков.

Не уступали в то время настоящим студентам и воспитанники Университетского Благородного пансиона. В теплое время года после 10 часов вечера (после молитвы «На сон грядущий») в Александровском саду то и дело устраивались драки между ними и бурсаками из Заиконоспасского монастыря (где размещалось духовное училище). «Дворяне»

«наступали толпою на воспитанников духовного училища с бранными выкриками по адресу врагов: „Кутья прокислая!“, „Аллилуйя с маслом!“ — вспоминал участник, — а наши бурсаки кричали им: „Красная говядина, красная говядина!“, имея при этом в виду красные воротники гимназических курток»^[386]. Постепенно эти драки, превратившиеся в своего рода обычай, так что поддерживать его считали долгом все новые и новые поколения «дворян» и «бурсаков», все же ушли в прошлое, но кое-что и осталось в московском обиходе: прозвище «синяя говядина», которым продолжали бранить московских гимназистов уличные мальчишки и ученики реальных училищ (в городских гимназиях воротники мундиров были синие).

Постоянным развлечением студентов 1800-1820-х годов были походы «на Трубу», где при наличии денег они посещали здешние злачные места как обычные, хотя и весьма шумные клиенты. Когда же денег не было, то излюбленным удовольствием студенческой компании было отловить одинокую шлюху и, как выражались современники, «разбить» ее. Подобные выходки считались молодечеством, и в них особенно отличались все те же вчерашние бурсаки — студенты-медики, к которым часто присоединялись и «хирурги» — студенты Медико-хирургической академии. В первой половине 1820-х годов предводителем подобных походов (как и зачинщиком драк на гуляньях) часто бывал будущий известный поэт Александр Полежаев, вообще отличавшийся в университетские годы буйным нравом и несомненными организаторскими способностями.

В определенных студенческих кругах он был очень популярен, а написанная им «вольная» поэма «Сашка» во многих списках ходила по рукам и читалась

студентами гораздо охотнее, чем даже порнографические сочинения И. С. Баркова:

Деру «завесу черной ночи»
С прошедших, милых сердцу дней
И вижу: в Марьиной мы роще
Блистаем славою своей!
Ермолка, взоры и походка —
Все дышит жизнью и поет;
Табак, ерофа, пиво, водка
Разит, и пышет, и несет...
Идем, волнуясь величаво, —
И все дорогу нам дают,
А девки влево и направо
От нас со трепетом бегут.
Идем... и горе тебе, дерзкий,
Взглянувший искоса на нас!
«Молчать, — кричим, насупясь зверски, —
Иль выьем потроха тотчас!»
Толпа ль блядей иль дев стыдливых
Попалась в давке тесной нам,
Целуем, лапаем смазливых
И харкаем в глаза каргам.
Кричим, поем, танцуем, свищем —
Пусть дураки на нас глядят!
Нам все равно: хвалы не ищем,
Пусть что угодно говорят!^[387]

Едва ли не Полежаев стал главным действующим лицом эпизода, описанного в одном из писем к брату-петербуржцу А. Я. Булгаковым. «Вчера много наделал беспокойства и насмешил нас, гуляющих на бульваре, мальчик лет 19 и пьяный, очень собой хороший, — писал он в июле 1825 года. — Пристал к даме одной, которую вел какой-то превысокий кавалер, начал учтивостями, а

потом предложил ей 15 рублей. Она отказалась, а он прибавил: „Да ведь 15 рублей бумажками, ассигнациями!“... Кавалер было вступился. „Молчи ты, немчура; тебе не дам я и 15 копеек Ты даром что высок, но и в лакеи не годишься“. Тот перепугался и ну прибавлять шагу, а мальчик сел на скамейку. Его все обступили, начали говорить, и я тут же. Подошли нищие. Шот, бывший со мною, заметил, что нищие эти очень всем надоедают, что должно бы их выгонять. „Зачем? — возразил пьянюшка. — Гонять бы надобно полицейских; вот эта сволочь так портит удовольствие нашего брата, а нищему скажешь: пошел прочь, он и отойдет“. Начал я добираться, кто он таков, будто лицо мне знакомо. „Знаете ли вы поэму ‘Сашеньку’?“ (Может быть, прозвучало и „Сашку“, да Булгаков недослышал. — В. Б.) — „Не знаю“. — „Ну а я ее сочинитель. Знаете ли вы ‘Генриаду’?“ — „Как не знать!“ — „Ну! Так я ее переводчик“. — „Служите вы?“ — „Нет, а буду служить“. — „Так вы еще учитесь?“ — „Учусь“. — „Да, надобно век учиться, а напиваться никогда! Вы, верно, университетские?“ — „Точно так!“ — „Зачем же не носите вы мундир или сюртук с фуражкой форменною, как велено?“ — „Оттого, что не хочу иметь вывески дурака, невежды, шалолая“. — „А разве лучше напиваться и наводить шум на бульваре?“ — „Признаюсь, нехорошо; как быть, затащили меня в ресторацию; впрочем, я пьяный умнее князя Оболенского <куратора университета> когда он трезв“. ...Жаль молодого человека: такое счастливое лицо; видно, и не глуп. Плох очень надзор в этом Университете. На днях у нашего дома университетский студент во всей форме прибил до крови извозчика, везшего его с девкою. Он выдавал себя за гвардейского офицера, извозчик был из мужиков, дурак и дал себя бить, а тому уйти, не заплатя денег» ^[388].

Ко второй половине века студенчество уже значительно поуспокоилось, так что без серьезных происшествий стал обходиться даже грандиозный разгул традиционного Татьянинного дня (12 января по старому стилю) — дня основания университета, который как раз к 1860–1870-м годам превратился в общемосковский и даже общероссийский студенческий праздник.

Празднование начиналось прямо с утра — сразу после молебна и университетского акта. После торжественной части студенты отправлялись в близлежащие трактиры и пивные, и к полудню на Моховой, Тверской, Большой и Малой Бронной уже бродили многочисленные и шумные группы студентов, которые все были (или по крайней мере казались) навеселе, громко кричали песни, в которых рифмовалось в основном «Татьяна — пьяно» (Кто в день святой Татьяны / Ходит не пьяный, / Тот человек дурной!..), и, останавливаясь всей толпой посередине улицы, выкрикивали здравицы и вопили «ура». То и дело с гиком, визгом, гоготом и пенем проезжали маленькие извозчичьи саночки, битком набитые студентами, которые сидели и висели буквально друг у друга на головах.

Тем временем в основных московских ресторанах — «Эрмитаже», «Яре», «Стрельне», Новотроицком трактире и даже в ресторане Благородного собрания — спешно готовились к вечернему наплыву публики (кроме студентов и бывших студентов в этот день никого не обслуживали): убирали со столов скатерти и фарфоровую посуду, снимали зеркала и вообще все, что можно было снять и убрать, засыпали полы опилками. К вечеру столы сдвигали вместе в один длинный ряд и на пустой их поверхности расставляли глиняные тарелки и дешевые, простого стекла, стаканы и рюмки. Запас их специально пополнялся к каждому Татьянину дню.

Часам к шести собирались первые группы празднующих — в основном университетских преподавателей и бывших выпускников, к которым на протяжении вечера подтягивались все новые и новые группы нынешних и бывших студентов. Пока вечер набирал обороты, на закусочных столах красовались осетрина, балык и французские вина, и публика сравнительно чинно, хотя и по обыкновению восторженно, говорила речи, провозглашала тосты за университет, за прогресс, за просвещение и светлую, чуткую молодежь и требовала от оркестра бесконечного исполнения «Гаудеамуса». Потом осетрина как-то незаметно уступала место селедке и соленым огурцам, а вместо вина появлялись водка и пиво. Ораторы начинали лазить ногами на столы и уже не говорить, а выкрикивать речи, которые за шумом невозможно было разобрать. Студенты, видя над столом физиономию знакомого профессора, тотчас приходили в экстаз и орали «браво» либо «долой». Когда кончалась речь, толпа бросалась к профессору и принималась швырять его к потолку. Наиболее популярны в конце 1880-х — в 1890-х годах были профессора А. И. Чупров и М. М. Ковалевский, а из не университетских — блестящие ораторы (бывшие студенты) Ф. Н. Плевако и терапевт А. А. Остроумов. Иногда их силой заставляли выступать. С Остроумовым «добрую четверть часа возились, честью и насилием убеждая его открыть вещие уста. Он ругался, упирался, чуть не дрался, цеплялся за мебель, но его все-таки волокли, по летописному выражению, „аки злодея пыхающе“ — и ставили на стол.

Максим Ковалевский, громадный, толстый, боялся щекотки и, пока его доносили до стола, визжал, хохотал и брыкался. А взгромоздившись на стол, принимался острить... Хохот кругом стоял гомерический, и вместе с публикою хохотал сам оратор» ^[389]. Иногда швыряние к

потолку заканчивалось разорванным фраком и синяками.

Среди качаний и криков «ура» присутствующие время от времени порывались составить и немедленно отослать какую-нибудь телеграмму — к примеру Льву Толстому или папе римскому. Происходило массовое братание бывших и нынешних студентов, и какой-нибудь лысый и порядком-таки пузатый присяжный поверенный прочувствованно рыдал об ушедшей юности на плече у румяного первокурсника, с которым только что выпил на брудершафт.

Во время празднования Татьянина дня московская интеллигенция «не просто пила, как пьет всякий другой человек, вздумавший выпить по той или иной причине, а то и без всякой причины, — замечал современник. — Нет, интеллигенция пила — идейно. Пила „во имя“. С лозунгами, с речами, с двумя правдами Михайловского, с гимнами науке, труду, народу, общественности, светлomu будущему, и т. д., и т. д.»^[390].

Ближе к полуночи остающиеся на ногах гуляки грузились на ечкинские тройки и катили в Петровский парк У Яра и в «Стрельне» снова пили, снова нестройно пели, перебирая весь положенный в таких случаях репертуар: «Гаудеамус», «Быстры, как волны, дни нашей жизни», «От зари до зари там горят фонари и студенты по улицам шляются», «Наша жизнь коротка», «Укажи мне такую обитель», «Дубинушку», «Есть на Волге утес» и «Вниз по матушке, по Волге», причем редко забирались дальше второго куплета (слов никто не знал); лазили на пальмы, купались в аквариуме и пили воду из фонтана. Под утро, часам к четырем, обеденные залы прославленных ресторанов напоминали поле битвы. Бывшие и нынешние студенты располагались живописными сонными группами, уткнувшись носом в покрывающие пол грязные опилки.

Утомленная обслуга, как дрова, принималась сносить и укладывать кутил в извозчиьи санки. Кого-то официанты знали, как постоянных клиентов, о ком-то наводили справки у остающихся на ногах собутыльников; извозчики получали подробные инструкции и пускались в объезд по городу. Звонили у подъезда; выскакивал швейцар или еще кто-нибудь из прислуги, и поклонника святой Татьяны заносили в дом.

Полиции 12 января обыкновенно давался приказ: «в ночь по Татьяне хмельных студентов и прочую чистую публику не задерживать; а уж если необходимо задержать, то брать не иначе как предварительно поздравив с праздником». Впрочем, серьезных скандалов и буйства на Татьяну почти не бывало, а из легких безобразий в традицию вошло только обязательное предутреннее «восхождение» на Триумфальные ворота, куда забирались, чтобы выпить «расстанную» в компании с водруженным на их вершине медным возничим. Обдирая ладони о железные перекладыны обледеневшей лестницы и не на шутку рискуя жизнью, подгулявшие студенты непременно выполняли ритуал, а потом оставляли у ног безмолвного возницы пустые бутылки.

По Москве говорили: «Во всей Москве только два кучера непьющих: один на Большом театре, другой на Трухмальных воротах. Да и то Трухмального, как ни крепко держится старик, а на Татьяну студенты непременно накачают»^[391].

Финишировал Татьянин день на рассвете, когда на всем пространстве Петербургского шоссе и Тверской можно было в одиночку и группами видеть бредущие и шатающиеся фигуры студентов. Они брели на Козиху и на Грачевку, чтобы, проспавшись к вечеру, опять погрузиться в прозаичные студенческие будни.

Глава четырнадцатая. ГУЛЯНЯ И ПРОГУЛКИ. УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ САДЫ

«Колокол». — Балаганы. — «Несгораемый человек» Рожер. — Раёк — «Круг». — Великопостное и Вербное гулянья. — Под Новинским. — Сокольники. — Первое мая. — Самоварницы. — Плачевные последствия гулянья. — Воксал. — Воздухоплаватель Гарнерен. — Кладбищенские гулянья. — Семик. — Дворцовый сад. — Всехсвятское. — Парк. — Цыгане. — «Испиранец». — Сад Асташевского. — «Венеция». — «Эльдорадо». — Корсаков сад. — М. В. Лентовский. — «Фантастический театр». — Зоосад. — Бульвары. — Пресненские пруды. — Кремлевский (Александровский) сад. — Политехническая выставка. — Нескучное. — Заведение искусственных минеральных вод

Постоянной принадлежностью жизни старой Москвы были всевозможные гулянья — праздничные, сезонные, ежедневные, воскресные, вечерние, общегородские и местные, — всякие. Большинство из них приурочивалось к какому-либо празднику: Святкам, Масленице, Вербному воскресенью, общегородским и приходским престольным дням. Местами их проведения были площади и парки, как в самом городе, так и в

ближайших пригородах. Делились гулянья на простонародные, «чистые» и смешанные.

Отправляясь на простонародное гулянье, заходили по дороге к знакомым попить чайку и водочки, потом качались на качелях, пели песни, глазели по сторонам. Подвыпившая публика толкалась, грызла орешки и семечки; разогретые «брыкаловкой» компании мастеровых куражились и задирали народ. Холостые обоего пола сводили «приятные знакомства». Домой возвращались поздно и навеселе...

Обязательной составляющей простонародного праздника было возведение на отведенной под него площади палаток-шатров с угощениями и напитками — так называемых «колоколов». Под их сенью могли устраиваться небольшие харчевни или размещались огромные деревянные чаны («деревянные штофы») с вином, медом, пивом, сбитнем и квасом (хорошего сорта — «сыровцом» и более жидким — «полосканцем»). От этих шатров пошло московское выражение «пойдем под колокол», то есть «пойдем выпьем».

Балаганы с различными зрелищами, подобно «колоколам», были одной из основных приманок народного гулянья. В них «почтеннейшей публике» предлагались всевозможные зрелища на разный вкус и кошелек. Здесь демонстрировали восковые фигуры и экзотических животных, «петрушку», выставки цветов и художественные диорамы и панорамы (наподобие Бородинской панорамы Ф. Рубо), но наиболее распространены были балаганные театры, объединявшие в своей программе всевозможные концертные и цирковые номера. Тут можно было и услышать народные песни, и подивиться мастерству шпагоглотателя, и насладиться концертом кошек, играющих польку-мазурку. Демонстрировали тут и разные подлинные и фальшивые чудеса и редкости — какого-нибудь «теленка о двух головах», «мумию царя-

фараона», «негра-геркулеса, обладающего нечеловеческой силой зубов» или «недавно пойманную в Атлантическом океане рыбаками сирену». «Тут вы видите и непромокаемых, и несгораемых; там один принимает яды, а в другого стреляют из десяти ружей и он невредим; в одном балагане штукарь показывает дьявольское наваждение на веревке, а в другом дают театральное представление собаки и зайцы», — писал П. Вистенгоф^[392]. Одно время на московских гуляньях популярностью пользовался балаган с надписью: «Здесь показывается женщина-невидимка».

Подробно описала подобный «театр-аттракцион» известная актриса Алиса Коонен. «У входа обычно стоял сам хозяин — огромный рыжий мужчина — и зазывал посетителей, громко выкрикивая: „Почтеннейшая публика! Сегодня вы увидите в театре всемирно знаменитых артистов, а также чудеса техники и иллюзии“. Сперва любимица публики Катерина Ивановна пела чувствительные романсы:

У церкви кареты стояли,
Там пышная свадьба была...

Принимала ее публика восторженно, бабы жалостливо качали головами и утирали слезы, особенно когда певица низким, прочувствованным голосом выводила:

Вся в белом атлаце лежала
Невеста в р-роскошном гробу...

Потом демонстрировался „аттракцион-иллюзия“ „Женщина-рыба, или Русалка“. Хозяин пояснял, указывая палкой: „Сверху у нее все, как полагается,

зато снизу заместо ног рыбий хвост. Марья Ивановна, помахайте хвостиком“. И толстая Марья Ивановна, с распущенными волосами, сидевшая в каком-то зеркальном ящике, к общему восторгу действительно приветственно помахивала рыбьим хвостом».

Гвоздем программы была также татуированная женщина, плечи и бока которой покрывали изображения императоров Николая и Вильгельма, Наполеона и Фридриха Великого, а могучую спину украшал «Петр Великий на коню»^[393].

Были и балаганные театры, в которых ставились коротенькие — минут на двадцать — пьески назидательного или душещипательного характера, а также масштабные «пантомимы» — обычно на военные сюжеты: «Покорение Карса», эпизоды Крымской войны и т. п. с непременно военными эволюциями и пальбой из ружей и деревянных пушек.

В 1809 году на Масленице на гулянье под Новинским огромный успех имел «несгораемый человек» Рожер, который уверял, что воспитывался у индийских факиров и перенял от них секреты своего удивительного искусства. Он выходил к публике с физиономией, разрисованной разными красками, «как у диких», и демонстрировал действительно удивительные вещи: ходил по раскаленному железу, брал его в руки, лил в рот расплавленное олово и т. п. Изумление и восторг публики были неописуемы и в Москве не шутя поговаривали, что «Рожер, он — черт!». В результате этой молвы «несгораемый» едва не лишился жизни. В финале гастролей был объявлен коронный трюк; одетый в костюм фурии Рожер должен был войти в огромную пылающую печь, а рядом с ней в этот момент предполагался ослепительный и пышный фейерверк.

Все началось так, как было обещано: Рожер вышел в красочном костюме и, размахивая тряпочными «крыльями», вступил в печь. С земли забил огонь фейерверка, и в то же мгновение фокусник вывалился из печи окровавленный и с громкими стонами. Оказалось, что один из рабочих, готовивших зрелище, решил проверить, действительно ли Рожер черт и потому-то и неуязвим, и заложил в приготовленную ракету горсть гвоздей. Актер был серьезно ранен и, как говорили, после этого навсегда оставил балаганную карьеру. А несколько лет спустя там же, под Новинским, выступал в балагане другой «несгораемый», русский, и хотя показывал такие же точно трюки, но уже ни о каких факирах не упоминал.

В 1870-х годах в окрестностях Москвы давала на гуляньях представления странствующая труппа «настоящих индейцев-краснокожих с боевым номером: ограбление почты, которую спасают ковбои»^[394]. В этом подобию будущего киновестерна демонстрировались, конечно, кожаные куртки и штаны с бахромой, сомбреро и «смит-вессоны», но главной приманкой для публики было виртуозное владение арканом-лассо.

Балаганы обвешивались яркими вывесками и привлекательными рекламами, а в промежутке между представлениями вся выступающая труппа обязательно и в любую погоду выходила на балкончик в концертных костюмах и показывала себя потенциальным зрителям, и «балаганный дед»-зазывала (это было особое ярмарочное актерское амплуа) в русской рубахе и с привязанной мочальной бородой в это время соблазнительно расписывал даваемое представление, разыгрывал смешные интермедии, всячески острил и пикировался с публикой. Стоил билет в балаган 10-20 копеек.

Обычным для простонародных гуляний зрелищем также был так называемый раёк, или, иначе, «панорама». «Стоит маленькая будочка на складном стуле, — описывал его П. Вистенгоф, — к верхушке ее прикреплена березовая палочка, на палочке вместо флага развевается замасленный красный носовой платок; в будочке есть два стеклышка; позади ее стоит отставной солдат и показывает разные оптические виды мальчикам и деревенскому мужику, которые с любопытством толпятся около его райка и, защищая рукою один глаз от солнца, прищуря другой, смотрят серьезно в маленькие стеклышки»^[395].

Раёк не всегда стоял на стуле: иногда его возили на небольшой тележке; содержателями этого аттракциона, «раёшниками», не всегда были отставные солдаты, но сам смысл зрелища на протяжении десятилетий не менялся: в будочке демонстрировали туманные картины, что-то наподобие диафильмов. На промасленную полотняную ленту красками наносились различные рисунки или наклеивались напечатанные на тонкой бумаге гравюры: виды городов и портреты знаменитостей, бытовые и военные сцены, изображения диких животных и птиц. Самые первые картины были из Библии — Адам и Ева, Всемирный потоп, Страшный суд и пр. — оттого, видимо, и возникло название «раёк». Лента перематывалась с одного валика на другой, сзади изображение подсвечивалось, заплатившие по копейке зрители, прильнув к окулярам, рассматривали картинки, а раёшник давал пояснения и делал это непременно с прибаутками и в стихах: «Вот смотри и гляди, город Аршав: русские поляков убирают, себе город покоряют. Вот, смотри и гляди, город Ариван; вот князь Иван Федорович выезжает и войска созывает; посмотри, вон турки валяются как чурки, русские стоят невредимо! Вот, смотри и гляди, город

Петербург и Петропавловская крепость; из крепости пушки палят, а в казематах преступники сидят, и сидят, и пищат, а корабли к Питеру летят! А вот город Москва бьет с носка; король прусский в нее въезжает, а русской народ ему шапки снимает... Ах, хороша штука, да последняя!»^[396]

Надо сказать, что на увеселения на гуляньях существовала своя мода. Какие-то, вроде райка и балаганов, благополучно просуществовали все столетие; другие, вроде кукольного театра с Петрушкой, то появлялись, то надолго пропадали. Так, если в первой половине века «петрушка» был на гуляньях обычным делом, то во второй половине он постепенно сошел почти на нет, изредка являясь лишь на окраинах. Избалованный москвич стал воротить нос от этого «деревенского» развлечения, и вернулся «петрушка» на городские гулянья лишь в Первую мировую, когда в Москву хлынул народ из деревни.

В целом картина простонародного гулянья была всегда примерно одинакова. Между колоколами и балаганами стояли качели и карусели-колыхалки, шныряли мелкие разносчики со всевозможными лакомствами и сладостями: мятными пряниками, красными и желтыми леденцами на палочке в виде человечков и петушков, семечками и маковниками, с игрушечной и сувенирной мелочью, а с 1860-х годов — и с новинкой — воздушными шарами; вертели ручки своих инструментов шарманщики, устраивались народные игры (в основном в первой половине века) — городки, тычки, орлянка. Грохотала разнокалиберная музыка (из каждого балагана — своя), звонили колокола, которыми созывали публику, голосили зазывалы и разносчики, палили бутафорские ружья. «Кругом по разным направлениям с шумом бегает толпа босых ребятишек, сопровождая криком и смехом какого-нибудь арлекина.

Там вдали, окруженный толпой зевак, выкрикивает остроумные прибаутки раёшник; кругом со всех сторон несутся звуки заунывной шарманки, среди которых резко выделяются сиплые надтреснутые голоса уличных перикол; тут гармоника, в другом месте балалайка, разухабистая песня, плач, крик, визг... Толпа нищих обоего пола и всех возрастов снуёт мимо вас, прося подаяния, и с мольбою в голосе навязывает то букеты полевых цветов, то коробки спичек, то какую-нибудь безделушку, довольствуясь за все это на хороший конец мелкой медной монетой, а то и куском недоеденной булки или сахара. Словом, вокруг вас все хоть и форсированно, но живет, поет и ликует, и это общее настроение невольно как-то сообщается и вам» ^[397].

Образованной, «чистой» публике участвовать во всех этих забавах считалось неприлично (за исключением детей, которых няньки иногда водили в балаганы), но дозволялось поглядеть на народное веселье, поэтому вокруг площади устраивались дорожки, по которым шло «катанье» — гарцевали всадники и тянулись вереницы карет и колясок с аристократией и богатым купечеством, а рядом были мостки для желающих гулять пешком.

«Чистые» же гулянья обходились без балаганов и «колоколов»: их составляли опять-таки «катанья» и пешие прогулки под музыку, во время которых щеголяли лошадьми и экипажами и демонстрировали наряды. Центром такого гулянья поэтому был так называемый круг — круглая или любой иной формы обширная площадка, окруженная дорожкой, от которой в стороны расходились аллеи. На кругу всегда были беседка для оркестра, площадка для танцев под открытым небом и скамьи по сторонам.

В местах для «чистых» гуляний имелись помещения или открытые сцены для концертов и спектаклей, кофейни и рестораны. Вечером устраивали иллюминацию и фейерверк.

В зимнее время гулянья были немногочисленны. В первой половине века одно время пользовалось популярностью ежевоскресное «чистое» гулянье во время Великого поста вдоль набережной Москвы-реки у Воспитательного дома. Здесь устраивались катания: «... высокие кареты, ландо и берлины, запряженные цугом, женевские сани с барсовыми полостями, гайдуки-лакеи, кровные одномастные лошади — все это двигалось парадно, церемониально, и по набережной, и по Неглинной, и по Покровской улице на Разгуляй»^[398]. Здесь же вдоль решетки набережной или прямо на льду, лавируя между экипажами, пешком и верхом толклись молодые люди, «все с усами, в венгерках, в желтых фуражках и с лорнетами»^[399]. Особым назначением этого гулянья были своего рода смотрины, «парад невест» из среднего дворянства и купечества., поэтому «два-три десятка колясок катались взад и вперед, и в них восседали маменьки и тетушки... с тою дочкой или племянницей, которой, по их мнению, пора было наложить на себя цепи Гименея»^[400]. Это гулянье просуществовало до 1850-х годов, а потом постепенно вывелось.

Первым уже «летним» общемосковским гуляньем, когда «хорошему обществу» полагалось «выгуливать» весенние наряды и новые экипажи, было гулянье вокруг Кремля в Вербную субботу, совмещенное с ярмаркой. Это был почти единственный по-настоящему праздничный день за весь Великий пост (не считая Благовещения). Вереницы экипажей чуть не в шесть рядов тянулись по Тверской через Красную площадь, вокруг Кремля от Москворецкого моста по набережной

до Каменного моста и оттуда на Моховую и Пречистенку; между ними гарцевали всадники. На этом гулянье появлялась новая мода на лошадей, сбрую и ливрею лакеев, а также традиционно дебютировали дворянские недоросли: в первый раз появлялись на публике «новые лица юношей, одетых уже щеголями, тогда как прежним летом они считались еще детьми»^[401]. Гулянье предвещало собой наступление предпраздничной недели и длилось до сумерек, собирая огромное количество зевак.

Со второй половины XVIII века на Масленице и на Святой неделе (после Пасхи) устраивались гулянья под Новинским, в районе нынешнего Новинского бульвара. В Москве это гулянье называли «под качелями». Вплоть до 1862 года здесь не было никакого бульвара, а была широкая, обставленная домами, площадь, образовавшаяся после ликвидации Новинского вала Белого города. Здесь ставились балаганы, качели и карусели, на которых с упоением вертелись не только дети, но и взрослые, и даже старики. Уже начиная с пасхального понедельника бывало ежедневное гулянье, привлекавшее большое число празднично разодетого простонародья.

Начиная со среды Святой недели происходило и каретное гулянье вокруг всего Новинского, а нередко и по Поварской. По утрам возили в каретах маленьких детей из дворянских семей, а с двух до четырех часов дня съезжалось «лучшее общество», которое либо ездило по кругу, либо прохаживалось по специально устроенной вокруг площади дорожке, огражденной перилами, откуда хорошо видны были и экипажи, и балаганы. После четырех наступал черед купцов — в щегольских экипажах и с кучерами чудовищных размеров. Вплоть до 1860-х годов купеческие кучера здесь появлялись в старинных бархатных, с острыми

углами шапках — голубых, пунцовых, зеленых, позднее вышедших из употребления. Каталось купечество с непередаваемо важными, даже мрачными от избытка серьезности лицами, и продолжалось катанье до заката солнца. Мужская молодежь проводила иногда на Новинском гулянье целые дни, сидела на перилах, лорнировала и обсуждала хорошеньких, иногда, живописно закинув через плечо полу плаща, подходили к экипажам знакомых и даже немного провожала их, держась за дверцу и расточая дамам комплименты.

После ликвидации гулянья под Новинским Масленицу и Святую стали праздновать на Девичьем поле (это называлось «под Девичьим»), На этой же территории имелись собственные местные гулянья, устраивавшиеся традиционно 13 мая и 28 июля (в день святых Прохора и Никанора).

Уже в XVIII веке вошли в обычай гулянья в Сокольниках на Первое мая (День святого Пафнутия Боровского). Зачинателями их стали жившие в Москве еще во времена Петра Великого немцы, которые приезжали в Сокольническую рощу, чтобы отметить свой традиционный день майского дерева (на Руси подобного праздника не было). Веселые пикники иноземцев понравились москвичам и уже с середины XVIII столетия вошли в городской обычай, а место, где происходили первые гулянья, долго еще (по меньшей мере, до Отечественной войны 1812 года) именовалось «Немецкими станами». Вплоть до середины XIX века Сокольническое гулянье было одним из самых популярных в Москве и носило смешанный характер — тут бывали и знать, и простой народ.

Сама территория Сокольников (собственно Сокольническая роща, Ширяева и сосновая Оленья, почти сразу переходящие в громадный лесной массив Лосино-Погонного острова) очень долго, годов до 1840-х, сохраняла характер совершенно девственного леса.

Хотя тут понемногу и велось дачное строительство (уже в 1800-х годах была, в частности, дача гр. Ф. В. Ростопчина), но оставалось и много глухих и заросших участков, и, как вспоминал И. Е. Забелин, «Ширяево поле в то время было еще настоящим полем, обширной луговиной посреди леса. Только в середине его был разведен большой огород», Ширяева же роща «в иных случаях наводила на нас ужасы. В ее темных глухих углах встречались удавленники»^[402]. Эта тишина и уединенность Сокольников, между прочим, стала причиной того, что именно сюда традиционно ездили «стреляться» московские дуэлянты (обычай, зафиксированный и Л. Н. Толстым в «Войне и мире»).

Как раз в районе Ширяева поля (где проходят сейчас Ширяевские улицы) находился первоначальный центр гулянья XIX века. На прилегающей к Сокольнической роще площади на Первое мая появлялись обычные атрибуты организованного народного гулянья — качели, карусели, балаганы, ларьки торговцев. Здесь же, неподалеку от Егерского пруда, почти на границе Сокольнической и Оленьей рощ, ставилась большая нарядная палатка — целый шатер — московского генерал-губернатора (первым ввел это обыкновение князь Д. В. Голицын). При Голицыне первомайский праздник сделался в Москве общегородским и официально признанным. В этот день стали закрываться учебные заведения, фабрики и заводы, мастерские и даже многие лавки, и все «шли на май». «Не быть на маю» считалось обидной неудачей или уделом совсем уж немощных и несмышленных. «Это был настоящий всенародный праздник Москвы. На нем сходились и бок о бок веселились, кто как умел, господа и прислуга, приказчики и купцы, солдаты и офицеры, фабриканты и рабочие», — писал современник^[403].

Главнокомандующий открывал гулянье: ближе к полудню из Москвы на поле прибывал его пышный кортеж, состоящий из множества изящных колясок и щеголеватых всадников. Генерал-губернатор и его гости проходили в палатку, где звучали хоры и музыка и подавались всевозможные закуски. Потом почетные гости вновь рассаживались по экипажам и объезжали площадь гулянья, вслед за чем начиналось «катание», длившееся до самого вечера. С 1820-х годов участвовать в нем могли только хорошие экипажи — коляски и ландо (за этим строго следила полиция), и в них восседала родовая и денежная аристократия. Собиралось до трех тысяч экипажей — и толкотня, надо признать, бывала изрядная: буквально яблоку негде упасть, тем более что и поглазеть на «тузов» приходили толпы зрителей. После иллюминации и фейерверка «чистая публика» разъезжалась, а простонародье оставалось «догуливать».

Помимо организованного гулянья шло и неорганизованное, в самой роще, где в этот день обязательно полагалось пить чай. Вследствие этого в первые десятилетия века сокольническое гулянье напоминало, как остроили современники, «какую-то самоварную и посудную ярмарку». С раннего утра в направлении Сокольников со всех концов Москвы — из Хамовников, Кожевников, Сыромятников, Сущева и с Таганки стремились пешком или на извозчиках люди с самоварами и чайной посудой. Начиная от Садовой толпа стремящихся на гулянье буквально шла стеной. Самовары тащили в охапке и на плечах, везли на ручных тележках, люди с самоварами в обнимку восседали на дрожках и в пролетках. Добравшись до рощи, устраивались на травке, тут же принимались ставить самовар, выпив его, ставили второй — и так далее, пока не надоест. В чаепитии для большинства и заключался смысл гулянья: «...пришли, уселись, до

отвала напились чаем и ушли домой, как будто стоило делать пешком или на лошади, все равно, нередко десяток верст и даже больше, притом с тяжелым грузом, для того, чтобы напиться чаю, того же самого, который каждый истинный москвич и дома, и повсюду хлещет с утра до ночи без милосердия. Поистине обычай — деспот меж людей», — писал Д. А. Покровский^[404].

Уже в 1820-х годах в Сокольниках получил развитие местный самоварный промысел. Окрестные жительницы — «самоварницы», обычно вдовы из числа вольноотпущенных дворовых, солдаток и мещанок — предлагали всем желающим уже кипящие самовары, а к ним и заварку, и сахар — все, что сопровождает чаепитие. Свои столики со всеми принадлежностями — самоваром, скамеечкой, узелком с чашками, ведром с водой и кульком с углями или, чаще, сосновыми шишками, а иногда и целые импровизированные чайные со столиками, «самоварницы» устанавливали на пригожих полянках, неподалеку от прогулочных дорожек. У них можно было получить и полное чаепитие — с заваркой и сахаром, и только самовар с кипятком и тогда пить собственный чай.

С этого времени с собственным самоваром в Сокольники стали ходить реже, но все же ходили: у «самоварниц» вечно была очередь, а сами бабы довольно невежливо выпроваживали засидевшихся клиентов и отбирали у них принадлежности чаепития. Хотя в разгар праздника «самоварницы» ломили за свой товар невероятную цену: до рубля за один самовар, даже и без заварки, настроенная на отдых толпа на удивление легко расставалась со своими кровными.

Помимо «самоварниц» на аллеях Сокольнической рощи появлялись разносчики со всевозможной снедью — вареными яйцами, огурцами, ветчиной, соленой

рыбой, калеными орехами, хотя большинство москвичей предпочитали еду приносить с собой — так получалось дешевле и сытнее. Дальше по кустам стали ставиться торговые палатки и шалаши со «всевозможными предметами существующего в Сокольниках спроса, от колбасы и пряников до детских игрушек и тросточек включительно»^[405].

Вплоть до 1890-х годов большинство москвичей оставались верны себе и «гуляли» на Первое мая только за самоваром, не отвлекаясь ни на какие соблазны в виде «паясов», музыки и пр.

Кроме чая, в Сокольниках потребляли, конечно, и кое-что покрепче, и когда парадная часть праздника заканчивалась, у «теплых» компаний веселье было в самом разгаре. Ночью, как говорили, в роще царил настоящий разгул, нередко сопровождаемый мордобоями, и у полиции было много работы. Под утро упившиеся гуляки засыпали в кустах и нередко просыпались потом до нитки обобранными: «ночные промышленники» («раздевай-разувайчи») тоже не зевали. А задержанных дебоширов на другое утро торжественно конвоировали в Лефортовскую часть, к которой были причислены Сокольники.

Для их сопровождения отряжался целый отряд солдат и пикет казаков — и едва хватало: ночью редко забирали меньше полутора — двух сотен человек «Окрестные жители, мимо которых лежал путь следования этой хмельной команды, выбегали на улицу посмотреть на злополучных забулдыг и поскорбеть об ожидающей их участи, так как в те времена в „частных домах“ с такими гражданами практиковалась старинная педагогическая мера, заключающаяся в повальном их порке по усмотрению частного пристава... На дворе „частного дома“ в этот день с полудня до позднего

вечера раздавались последние, уже плачевные отголоски вчерашнего гулянья»^[406].

После Первого мая гулять в Сокольники москвичи приходили уже целое лето, но это были скорее прогулки и пикники, чем настоящие гулянья — без «катаний», без «колоколов», без генерал-губернатора и почти без музыки, а во второй половине столетия львиную долю прогуливающихся составляли уже сокольнические дачники.

Для «чистой» публики в Сокольниках имелось несколько ресторанов, дававших о себе в газетах пространную рекламу такого, например, рода:

«Вновь открыт кафе-ресторан под фирмою „Восточный Байкал“. Содержатель оного честь имеет довести до сведения почтеннейшей публики, что он открыл ресторан, комфортно отделанный, роскошно меблированный и пышно драпированный, с приличным освещением, а внутренность дома убрана разнообразными душистыми цветущими и плодовитыми деревьями. Сей ресторан отделан по примеру Парижских загородных гостиниц. В оном же ресторане получить можно живые стерляди, омские мokusуны, крупные раки, приготовляемые в новом вкусе, молодые цыплята и цветные птички подорожники, к жарким и винам подается С.-Петербургская морошка. Также получать можно букетные блины, приготовляемые на фруктовом соку, а не на дрожжах, с букетами и буквами на каждом блине, выходящими отчетливо и оригинально. Оные блины, по свойству входящих в них фруктовых дрожжей, не отягощают желудка и не теряют своего вкуса при употреблении их с зернистой икрой и свежей сметаной. Также имеются вновь вышедшие пармезанные блины, приготовляемые из заграничного сыра пармезана, от которого они заимствуют вкус и самый букет, их также употреблять

можно с зернистой икрой и свежей сметаной. Оные блины отпускаются без задержки, и для пикников отдаются четыре комнаты, эффектно убранные душистыми и цветущими деревьями, с прибавлением к оным на сих днях цветущей камелии. Обстановка комнат деревьями в роде итальянских летних галерей, и для пикников же приготовляются вышеупомянутые блины и отпускаются без замедления на 80 персон, по случаю вновь устроенных трех искусственных печей.

Проезд удобный, по шоссе, не доезжая Сокольнической заставы, на левой руке, в кафе-ресторане, существующем и в летнее время, на даче, имеющем двухцветный флаг, рядом с аптекой. Подъезд освещен»^[407].

Кроме того, уже с 1820-х годов в Сокольниках начали появляться разного рода увеселительные заведения, работавшие весь летний сезон. Первым возник «воксал», открытый неким Куртеноером.

Слово это, «воксал», требует некоторых пояснений. В середине XVIII века в местечке *Vauxhall* под Лондоном был устроен публичный сад. Кроме аллей для прогулок и прочих парковых принадлежностей здесь имелся просторный концертный павильон, в котором выступали музыканты и давались театральные представления. Новинка имела успех и быстро вошла в такую моду, что свои «Воксхоллы» стали открывать во многих городах Европы. Не стала исключением и Россия. У нас такое заведение стало называться «воксал» или «вокзал», и скоро само это слово стало нарицательным для летнего увеселительного здания, а со временем было перенесено и на соответствующие железнодорожные постройки, поскольку один из первых в России железнодорожных вокзалов в Павловске был одновременно и пользовавшимся огромной популярностью концертным залом (точнее, в

вокзальной постройке были размещены и железнодорожные службы).

Первый московский «Воксал» был открыт антрепренером М. Г. Медоксом в 1790-х годах на Таганке в районе церкви Мартина Исповедника. Там были «всякого рода увеселения, — вспоминала Е. П. Янькова, — ... гулянье, театр на открытом амфитеатре в саду, фейерверки и т. п. Многие туда езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие Гулякины и Транжирины»^[408]. В Воксале Медокса давали оперы и комедии, а после представлений устраивались балы и ужины. Среди прочих приманок, используемых Медоксом, были даже полеты на воздушном шаре, которые демонстрировали в 1804 году в Москве известный французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен и его супруга.

Гарнерены приглашали всех желающих испытать вместе с ними ощущение полета по воздуху, и желающие нашлись. В их числе была даже одна дама хорошего общества — Александра Степановна Турчанинова, которая хоть и осталась очень довольна полетом (говорила, что так «весело было лететь, что и сказать невозможно»), но гораздо больше была обеспокоена тем, чтобы ее никто не узнал из знакомых, ибо эксцентричность такого рода в светской даме вовсе не приветствовалась^[409].

Несмотря на такие ударные аттракционы, сад Медокса прогорел и закрылся еще до Отечественной войны 1812 года, но вызвал в Москве многочисленные подражания. Одним из них и был «воксал» Куртенера в Сокольниках. Рядом с самим, довольно неказистой постройки, павильоном была посыпанная песком ровная площадка для танцев, а вокруг полукругом стояли

деревянные скамейки для зрителей. Со временем, когда в районе Сокольников стало увеличиваться число дач, дачники и постоянные посетители «воксала» часто заводили персональную скамью, а чтобы на нее не покушались другие, выжигали на сиденье свое имя: «А. Я. Булгаков», «В. А. Лукьянов», «С. А. Протопопов» и т. д. Эти именные скамейки почему-то особенно часто становились добычей воров, которые утаскивали их на дрова, и в конце концов владельцы скамеек решили сообща нанять охрану.

Основная обязанность стража сводилась к тому, чтобы в урочный час приходиться к «вокзалу» и укладываться на одну из скамеек, на которой он потом благополучно и храпел всю ночь. Это зрелище, видимо, служило дополнительным соблазном для воров, потому что скамьи стали красть еще чаще, а напоследок учинилась и такая история. Караульщик, как обычно, спал, когда незаметно подкрались несколько злоумышленников, подняли его вместе со скамейкой и потащили к Сокольнической заставе. Здесь стояла полицейская будка, в которой обретались аж три будочника. Они тоже сладко спали. Злодеи крепко привязали храпящего сторожа к лавке и поставили ее прямо у входа в будку, заблокировав, таким образом, дверь.

Уже утром это безобразие заметил проезжавший мимо казачий пикет, но казакам пришлось потратить еще немало времени, прежде чем они смогли разбудить и всех трех будочников, и привязанного к скамье кверху брюхом незадачливого сторожа.

Постепенно сокольническое гулянье приобретало все более простонародный характер, особенно с 1860-х годов, когда распоряжением городских властей в Сокольники были перенесены гулянья из Марьиной рощи. Это совсем не нравилось «чистой» публике. Тогда уездное лесничество, заведовавшее рощей, принялось

благоустраивать другую ее часть, в которой из единого центра расходились во все стороны дорожки-просеки. В самом месте их пересечения была устроена кольцевая аллея — «Круг», а в центре «Круга» поставили массивную беседку для оркестра. С этого времени стали говорить «Крут» и «Старое гулянье». Вся образованная публика, еще продолжавшая к тому времени посещать на протяжении лета Сокольники (с 1830-х годов все более престижным стало ездить в другое место — в Петровский парк), перебралась на новую территорию, а район Ширяева поля какое-то время оставался за разночинцами, средними и мелкими купцами, мещанами и мастерами, а потом и они перебрались на новое место — в район Первого, Второго и Третьего просек.

Теперь катания в Сокольниках происходили по маршруту: застава, круг, Майский просек, и полиция следила, чтобы в это кольцо не вторгались извозчики (кроме парных колясок) и чтобы запряжки друг друга не обгоняли. При большом количестве катающихся кольцо удлиняли, захватывая и другие просеки.

Прасковья Сергеевна Уварова, урожденная княжна Щербатова, вспоминала, как в детстве их обязательно вывозили на первомайское сокольническое гулянье. В Антипиевском переулке близ Волхонки, рассказывала она, «находился огромный квадрат, занятый постройками, обнесенный высокой оградой и называемый „Колымажным двором“, которым распоряжался дед наш, князь Борис Антонович Святополк-Четвертинский. Там хранились золоченые кареты (колымаги), употребляемые при парадных царских выездах, и экипажи, в которых выезжала царская семья во время посещений Москвы, и необходимые для того лошади каретные и верховые с целым штатом служителей, необходимым для ухода как за лошадьми, так и за всем инвентарем Двора. При конюшне существовал и манеж для выезда лошадей...

Первого мая устраивался дедушкой целый праздник для нас: подавалась четырехместная огромная коляска на высоких круглых рессорах, заложенная великолепной царской четверней, с царским кучером и придворным лакеем на козлах. Дедушка забирал детей, усаживал меня, как старшую внучку, на почетное место, и мы отправлялись на гулянье в Сокольники... По шоссе тянулись в два ряда экипажи; мы же со своей четверней, которую все признавали за придворную, получали право на середину шоссе, обращая на себя внимание и зависть всех»^[410].

В 1879 году Сокольники перестали быть государевой заповедной рощей и перешли в собственность города. Городские власти окончательно превратили рощу в парк. Болота сделали прудами, устроили горки, мостики, беседки и т. д. Расставили керосиновые фонари, проложили шоссейные дороги, подвели конку, построили новый вокзал, в котором давали концерты многие известные музыканты. Реорганизация совпала с дачным бумом, и Сокольники, а также соседнее с ними село Богородское оказались густо застроены всевозможными дачами, из которых наиболее богатые находились в районе престижного Шестого просека. Тогда же на Майском просеке была построена, специально для дачников, деревянная церковь Святого Тихона Задонского.

Следующее по времени общегородское гулянье устраивалось в Семик на территории Марьиной рощи. Называлось оно в Москве — «на Тюльпе» (что, собственно, и означало: гулянье на Семик) и начиналось в XVII веке как одно из московских кладбищенских гуляний.

Явление это — праздничные гулянья на кладбищах — в старину было в России весьма распространенным и сочетало в себе проявление набожности и уважения к

умершим — с прогулкой и обоими значениями слова «гулянье» — и как массового развлечения, и как застолья («пей-гуляй»), соединяя таким образом приятное с душеполезным.

Происходили такие гулянья и на протяжении XIX века в поминальные, так называемые «родительские» дни, а также по воскресеньям на всех городских кладбищах. «От самой заставы и вплоть до кладбищенских ворот вы встречали толпы людей, обремененных саквояжами, узелками и стремящихся не на веселье, а из потребности хоть на мгновение пожить счастливым прошлым, поскорбеть и посетовать о „суете мира сего“... До вашего слуха то и дело долетали трогательные напевы „Гостыи погоста певуны залетной“, прерываемые то сдержанным плачем, то дающими себе полную волю рыданиями. Между рядами могил, как привидения, непрерывно мелькали служители алтаря в черных ризах, оставляя за собой клубы кадильного дыма, и в воздухе на далекое пространство неся запах ладана». Отдав долг покойнику, благочестивые москвичи рассаживались на травке рядом с могилкой и справляли тризну. Сперва поминали покойника и вели «беседы в минорном тоне на тему о добродетелях усопшего и скорбной, сиротливой жизни оставшихся в живых»^[411]:

— Эх, мать моя, не стало моего касатика!.. А уж и человек-то был, — цены не было...

— Ничего не поделаешь, голубушка! Все там будем.

— Да оно вестимо, все там будем, да вот жить-то как? При нем, голубчике, жилось в довольствии, а теперь вот нужда, помощи ниоткуда... О-о-ох, грехи наши тяжкие!..

Э-эх, родная моя, вот как не скажешь, дуры мы все! Пока жив-то был, все было мало. Бывало, начнешь

пилить-то его, пилить... да вот и допилила, извела родимого...

Потом, как и на всяких поминках, возникали более жизнелюбивые настроения, и разворачивалось уже самое настоящее гулянье, только что без балаганов, длившееся до самой ночи. Постепенно на московских кладбищах выросла своя индустрия чайниц, и теперь, воздав должное дорогому покойнику, москвичи отправлялись подкрепить свои силы легкой закуской с чайком (и кое-чем покрепче) в особые палатки, расположенные в изобилии у ворот кладбища.

Семик — четверг на седьмой неделе после Пасхи — был одним из поминальных дней, и начиная с конца XVII века москвичи гуляли в Марьиной роще «на могилках» на территории старого Немецкого кладбища (где были и русские захоронения) и в виду соседнего Лазаревского кладбища. Садись на могильные плиты или рядом на травку, пили водку, пиво и чай, закусывали яичницей. Потом Немецкое кладбище было ликвидировано, а праздник на Семик остался — тоже без балаганов, но с чаепитием и выпивкой, а вечером до темноты с хороводами и плясом под гудок и балалайку, а позднее под гармонику.

Здесь было в достатке «колоколов» с горячительным и прохладительным, так что возвращались с гулянья с «насандаленными носами» и распевая песни:

В роще Марьиной гулянья,
Что ни праздник, то Семик...

или

Накануне Семика
Убил повар мясника;

Он за то его убил,
Что он душу погубил:
На столе блоху убил...

Посещали Марьину рощу только простолюдины — ремесленники, мещане, фабричные, солдаты, прислуга. В 1810-1830-х годах сюда довольно часто таскались развеселые студенческие компании и задирались с мастеровыми, что обычно приводило к потасовкам.

После Семика гулянья в Марьиной роще оставались регулярными до самой осени. В воскресные дни они обставлялись по полной программе — с балаганами и разлитым морем вина, а в будни к услугам «почтеннейшей публики» были сама роща и ресторанная «галерея», в которой, как объявлял в газетах содержатель, «во всякое время получить можно чай, кофе, разное вино и кушанья, в лучшем виде по умеренной цене». Были здесь и трактиры с музыкой, в некоторых из которых пели цыгане. Очень популярны в 1820-1830-х годах были игравшие в одном из местных трактиров торбанист Губкин и плясун Парамон, про которого говорили: «Парамон и лежа умеет плясать, ногами вензеля писать». Про них была даже сложена песня:

Играл Губкин на гитаре,
Парамон пошел плясать.

После 1860-х годов территория Марьиной рощи стала понемногу застраиваться, и гулянья здесь сошли на нет: праздновать Семик велено было ходить в Сокольники, а по воскресеньям местная публика стала ездить «отдыхать» на Воробьевы горы.

На Троицу большое гулянье устраивалось в Дворцовом (Екатерининском или Лефортовском) саду. Здесь росли причудливые деревья (к примеру, сосна о двух стволах, изогнутых в виде дивана), посаженные, как говорили, самим Петром Великим, в прудах водилась рыба, в саду имелась даже оранжерея; стояла многоколонная беседка Миловида с эоловой арфой, звучавшей под порывами ветра, играла военная музыка. Попасть в сад можно было от Лефортовского дворца, откуда на противоположный берег Яузы вел мост, позднее сломанный и замененный лодочным перевозом по 2 копейки с человека. Уже к середине века это гулянье сделалось простонародным, а сад одичал и пришел в запустение. Как оstriли тогдашние раёшники: «В этом парке днем не гуляют даже и куфарки. А ночью и зимой и летом жуликов столько обретаётся, что всякий прохожий на них натывается и остается не только без часов, но и без носовых платков. Приходит домой гол как сокол».

В 1870-х сад и вовсе закрыли для публики, превратив в придаток размещенного в Екатерининском дворце кадетского корпуса, и приходившие в Лефортово по старой памяти москвичи отмечали Троицу, усевшись на пустыре перед запертыми садовыми воротами.

В День Всех Святых простонародье гуляло на Ходынском поле возле села Всехсвятское. Идти туда из города, то есть от Триумфальных ворот, было четыре версты, и уже на подступах ко Всехсвятскому на обочине дороге можно было видеть множество спящих пьяных, что несколько напоминало поле боя, — гулянье начиналось с утра, часов с девяти.

«По обеим сторонам узенькой и пыльной дорожки, направляющейся к мостику через ручей, — рассказывал в 1863 году о Всехсвятском гулянье Г. И. Успенский, — расположены распивочные с самыми разнообразными и

заманчивыми вывесками. Нарисован, например, мужик с бокалом, похожим на Сатурновы часы и почти равнявшимся росту своего обладателя, а внизу подписано: „Господа! Эко пиво!“ или просто надписи „Раздолье“, „Доброго здоровья“, „До свидания“»^[412].

Пройдя сквозь все эти соблазны и заметно облегчив кошелек, гуляка попадал на площадку самого гулянья, где на юру торчало несколько палаток с пряниками и толпящимися возле ребятишками, с писком вертелась облезлая карусель и манил взоры парусиновый «колокол» с красными флагами по углам. Публика во Всехсвятском бывала самая простая — пригородные крестьяне, мастеровщина, бабы-сарафанницы, солдаты. Кроме карусели, из «увеселений» им предлагались дрессированные собачки и медведь («А ну-ка, Миша, покажь господам-боярам, как бабы угощают мужиков»), Две-три шарманки в разных концах площадки тянули каждая свое, и кое-кто из публики пускался под их музыку в пляс. Бабы повизгивали, мужики притоптывали, а потом разгорячившиеся парочки отправлялись напрямик в близлежащий лес. К вечеру была неизбежная драка и пьяный сон по кустам, беречь который приходили вездесущие «раздевай-разувайчи» и оставляли гуляку если не без порток, то уж точно без сапог и шапки.

Помимо общегородских в наиболее чтимые престольные праздники происходили местные, так сказать, районного масштаба простонародные гулянья: в Иванов день 24 июня — на Трех горах, в Петров день 29 июня — у Красных ворот, в Преображенском и на Сенной площади возле Высокопетровского монастыря; 1 августа — под Симоновым монастырем, на Илью Пророка — на Воронцовом поле, 6 августа — у храма Спаса на Новом, 15 августа — под Андроньевым и т. д.

С 1880-х годов единственным местом народных гуляний для всех праздников сделалось, по распоряжению городской думы, Девичье поле.

Наиболее престижные «чистые», даже аристократические, гулянья происходили летом в Петровском парке (или просто «в Парке», как говорила вся Москва). Популярным местом гуляний этот парк сделался в 1830-х годах (официально открылся в 1834-м). К этому времени было произведено основательное благоустройство его территории. Долгое время после постройки Петровского замка в его окрестностях лежали в основном пустыри и огороды, и лишь небольшой район (территория нынешней Башиловки и Верхней и Нижней Масловки) был занят барскими дачами. К уже имевшимся центральной просеке у дворца (Дворцовой аллее), «большому кругу» и цветникам были добавлены еще три аллеи — Нарышкинская, Липовая и Петровская, посажены деревья, проложены пешеходные дорожки. В парке появились открытый театр и «воксал», в котором давались концерты и балы и имелись помещения для карточных игр и хороший ресторан с французской кухней. Во второй половине столетия в здании «воксала» функционировало летнее отделение Немецкого клуба, активно посещавшееся дачниками. Платя 10 рублей ассигнациями (дамы меньше), сюда можно было ходить весь сезон, каждый день пользоваться здешней читальней с богатым выбором журналов и газет, играть на рояле (их было несколько и все превосходные), пить чай, ужинать. Иногда здесь устраивались и летние балы.

В 1840 году М. Н. Загоскин писал: «Давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика; направо — единообразное и бесконечное Ходынское поле, налево — продолжение того же поля, песчаная земля,

глиняные копи, кой-где гряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники... А ныне... Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником; какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны; как мил и живописен этот небольшой пруд с своими покатыми берегами и прелестными мостиками! А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка; эти дачи, которые охватили такой разнообразной и красивой цепью строений большую часть парка; эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца; этот игрушка летний театр с своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями — лет десять тому назад обо всем этом и речи не было»^[413].

Все гулявшие в Петровском парке жаловались на нестерпимую пыль, но популярности гулянья это несколько не мешало: Парк был в моде и посещала его самая элегантная публика. Публика неэлегантная это гулянье, напротив, не жаловалась: здесь не было ни одного трактира, а те рестораны, что со временем завелись, поражали дороговизной и крошечными, совершенно не московскими порциями. Гулянье без еды, и особенно без выпивки, для московского простолюдина было не гулянье, и «серая публика» здесь почти не бывала. Таким образом, московский бомонд мог чувствовать себя свободно в своей среде. Разъезжали по кругу и аллеям нарядные экипажи с прекрасно одетыми и переговаривающимися по-французски седоками, расхаживала пешком по дорожкам, огороженным покрашенными деревянными

заборчиками, нарядная публика попроще. Затем «на кругу» недалеко от Петровского дворца садились на садовые скамейки и глядели друг на друга или — те, что попроще: «бойкие барыньки» и армейские офицеры — пили хорошо сервированный чай, кофе и прохладительные напитки (в начале 1860-х годов в моду вошли содовая и газированные воды). Элита же считала ниже своего достоинства принимать участие в таком «плебейском» занятии, как публичное чаепитие. «Парк... гуляет изящно... — писал Н. Скавронский, — он плавно, с изящными фразами грациозно движется пестрой вереницей, стараясь как-нибудь обойти, отделиться от того, что не составляет его общество»^[414].

Помимо обычных прогулок по вокресеньям в Петровском парке несколько раз за лето — в Петров день и в летние царские дни (день рождения Николая I 25 июня, день тезоименитства государынь Марии Федоровны и Марии Александровны — 22 июля) — устраивались большие праздники с гуляньями, музыкой, иллюминациями, фейерверками и непременно мероприятиями в театре — танцевальными вечерами, лотереями и пр. Ворота близлежащих дач в эти дни распахивались настежь и все знакомые съезжались к дачникам посмотреть на гуляющих. Для них в саду ставились скамьи и хозяева угощали их чаем и лимонадом, а другие, прогуливающиеся знакомые раскланивались и тоже заходили в сад.

В 1882 году неподалеку от парка на Ходынском поле была открыта Всероссийская художественно-промышленная выставка. К ней из города была проведена первая в Москве линия электрического трамвая.

На протяжении XIX века популярнейшей дачной местностью сделались ближайшие к Парку села —

Петровское-Разумовское, Петровское-Зыково и Всехсвятское, а сам парк постепенно обрел репутацию «злачного места», поскольку там открылись многочисленные загородные рестораны и возникло несколько знаменитых на весь город увеселительных садов.

Такие публичные «вечерние» сады стали появляться в Москве уже с конца XVIII века (уже упомянутый «Воксал» М. Медокса), но пик их популярности приходится на середину и вторую половину XIX века. На массовом уровне они продолжали традицию аристократических садовых праздников. Постепенно сложился тип русского городского увеселительного сада, в котором обязательно имелись несколько аллей для гулянья, скамейки, водоем — пруд или река, открытая эстрада, на которой в праздничные дни играл духовой оркестр, театральное здание и ресторан с летней верандой. В таких садах гастролировали знаменитости, выступали канатоходцы и борцы, организовывались тематические праздники и карнавалы, устраивались иллюминации и фейерверки, а в зимнее время строились горки и заливались катки.

В Москве во всех этих «Парижских Тиволи», «Элизиумах» и «Венских Пратерах» демонстрировались «разные удивительные метаморфозы, великолепные катастрофы, олимпийские цирки, гишпанские пантомимы, геркулесовы упражнения, китайские пляски, индейские игры, путешествие Фауста и его помощника Плутона в ад, прогулки Бахуса на бочке и разные неслыханные живописные табло, освещенные бенгальскими огнями»^[415]. Естественно, что публика, привлеченная этими чудесами, валила валом. Большинство садов посещали преимущественно купцы и приказные, здесь заводили знакомства особы

нестрогого поведения, портнихи и цветочницы. Но были и другие сады, куда ходили семейно.

Уже в 1820-х годах на перепутье между Москвой и Петровским парком какой-то предприимчивый француз открыл ресторацию «Русский гастроном» с садиком, в котором имелись карусели, разные игры — кегли, столбы с колечками и прочее, а также устраивались балы, ужины и «небольшие воксалы» на свежем воздухе. Позднее в Парке в разное время известностью пользовались: в 1860-х годах сад Сакса, в котором на открытой эстраде играл оркестр, пели цыгане и показывали с помощью «волшебного фонаря» «туманные картины», в 1880-х — сад «Фантазия» антрепренера и актера Н. А. Разметнова с рестораном, буфетом и обязательными для такого рода заведений гротом и беседками, в 1890-х — сад Н. Я. Маркова с летним театром и «Ясная поляна» С. А. Суровежина.

Особой приманкой большинства ресторанов и садов Петровского парка были выступления цыган.

Знакомством с цыганским искусством москвичи были обязаны графу А. Г. Орлову-Чесменскому. Он впервые услышал цыган во время Русско-турецкой войны, был ими совершенно очарован и при первой же возможности приобрел в Молдавии, где цыгане имели статус крепостных, для себя хороший хор. Хористы перешли в собственность Орлова и были им приписаны к подмосковному селу Пушкино. В Москве они быстро выучили русский язык, получили русские имена (старшим у них был Иван Трофимович Соколов) и освоили популярный народный песенный репертуар. Выступая сперва на праздниках у Орлова, на званых обедах и маскарадах, цыганские исполнители скоро вошли в моду. Вслед за Орловым кинулись выписывать «чавал» и другие вельможи, потом потянулись вольные хоры, и так, с легкой руки графа Орлова, в Москве, а потом и везде в России началось повальное увлечение

цыганским искусством — «цыганёрство», как называл это явление Лев Толстой.

Незадолго до смерти графа Орлова в 1807 году хор Соколова получил вольную. В том же году старик Иван Соколов уступил руководство хором своему племяннику, тоже Соколову, Илье, и «цыганское общество», как они себя называли, поселилось на окраине Москвы, в Грузинах, где вскоре сложилось компактное цыганское поселение. Соколовский хор и позднее считался самым лучшим, но к нему прибавились и другие, выступавшие по частным приглашениям на балах и дружеских обедах, а постоянно — в загородных трактирах и ресторанах. В Москве наиболее известны цыганским пением, помимо Петровского парка (особенно ресторанов «Яр», «Стрельна» и «Мавритания») и Марьиной рощи, были трактиры в Перовской роще, причем те хоры, что выступали в Парке, свысока смотрели на своих соплеменников, увеселяющих публику в Марьиной и Перове, и избегали с ними общения. Следует прибавить, что даже осев и прославившись, цыганские хористы не оставляли других традиционных занятий. Женщины не без успеха занимались гаданием, а мужчины «во вне рабочее время» на Конном рынке посредничали при торговле лошадьми.

Чтобы послушать цыган, можно было приехать к ним и прямо на дом — каждый хор жил в отдельном доме. Гостей здесь ждали в любой час дня и ночи, и даже поднятым с постели хористам требовалось лишь несколько минут, чтобы собраться и быть готовыми спеть по заказу. Женщины-цыганки носили ситцевые и шерстяные платья, того же фасона, что и мещанки, но накидывали на плечи яркие шали (а старухи носили на голове красные повойники), мужчины же щеголяли в коротких красных казакинах и темно-синих брюках на выпуск с золотыми лампасами.

Лучшие солистки («примадонны») обносили гостей шампанским, и за каждый выпитый стакан полагалось платить, равно как и за каждую песню и за каждый танец. Все добытые таким образом деньги шли в общий котел, и на них хор содержал непоющую родню и вышедших в тираж стариков.

В Первопрестольной посещение цыган было одним из основных в туристических программах — в одном ряду с Иваном Великим, Царь-колоколом и трактирами Егорова или Тестова. Кстати, Наполеон, обосновавшись в покоренной Москве, тоже захотел было приобщиться к знаменитому русскому увеселению и специально посылал за хором Соколова, но безуспешно: артисты находились тогда в эвакуации в Ярославле.

Страстное пение и огневые танцы заставляли дрожать тайные сердечные струны, душа распрямлялась и рвалась на волю. Слушатели испытывали экстаз — рыдали в голос или пускались в пляс и солидные господа с одышкой, и какой-нибудь простой писарь из конторы, все неуклюже, да зато искренне выделявали коленца и поводили плечами, стараясь соответствовать какой-нибудь таборной красавице. И чем больше бывало выпито, тем живее завивали горе веревочкой, зайдясь в неистовой пляске.

Естественно, что распаленный господин нередко после концерта норовил подстеречь пленившую его смуглую красотку и пылко прижимал ее в укромном углу, срывая поцелуй, и не один. До более серьезных вольностей, однако, дело никогда не доходило. В критический момент либо сама прелестница выскальзывала из рук настойчивого кавалера, либо появлялась крепкая старуха с недобрым взглядом, а то и пара дюжих молодцов. Старейшины бдительно следили за нравственностью своих хористок. Таборный закон был неумолим: девушка, «потерявшая себя», не только сама

превращалась в отверженную, но и пятнала ближайшую родню.

То, что таборные певицы неуступчивы, было общеизвестно. Самые необузданные кутилы и женолюбцы всегда знали, что цыганки — это для души, а для плоти следует либо снимать трактирную «мамзельку», либо ехать с собственной подружкой. Для табора видимая и общеизвестная труднодоступность певиц была капиталом, приносившим весьма и весьма серьезные дивиденды. Чем больше распалялся поклонник, тем на большие жертвы он шел, — и денежки летели под ноги прелестницам без счета. Если страсть и настойчивость обожателя подкреплялись его высокой платежеспособностью, ему могли предложить выкупить певицу. Стоило это удовольствие от 10 до 50 тысяч рублей (армейский офицер в те же годы получал 1200 рублей жалованья в год). В глазах соплеменников подобный союз тогда обретал черты временного брака, который, впрочем, имел все шансы превратиться в постоянный (на таборной певице был женат, между прочим, знаменитый московский оригинал граф Федор Толстой-Американец). Даже если в дальнейшем связь прерывалась, бывшую примадонну обязательно хорошо обеспечивали — чаще всего подыскивали мужа, давали приличное приданое, покупали дом и записывали в купеческое сословие. В хор такая цыганка больше никогда не возвращалась.

Конечно, в жизни цыганских хоров случалось всякое, но в целом репутация у них была вполне достойная, и благодаря этой репутации считалось вполне приличным приглашать «чавал» в Благородное собрание и в семейные дома — к Аксаковым, Елагиным, Павловым, князьям Вяземским. Более того, еще во времена Пушкина, когда очень четко себе представляли, что годится «для дам», а что нет, женщины-аристократки, разумеется, не всякие, а

претендующие на артистизм, иногда ездили в Грузины к цыганам, и это считалось немного эксцентричным, но вполне в рамках приличия. Гостями соколовского хора были, к примеру, княгиня Зинаида Волконская и поэтесса графиня Евдокия Ростопчина. Привозили в соколовский хор и знаменитую в свое время итальянскую певицу Анжелику Каталани, которая так пленилась пением таборной примадонны «Стешки» (Степаниды Солдатовой), что тут же сняла с себя и подарила ей драгоценную шаль, которую сама когда-то получила от римского папы в знак восхищения.

Вот за этим-то цыганским пением московские кутилы и прожигатели жизни чаще всего и ездили в Петровский парк.

Большинство московских увеселительных садов были очень недолговечны, и содержатели их часто и быстро разорялись. Тот же Сакс оказался в конце концов в долговой тюрьме, где вскоре умер. Сад Н. А. Разметнова кое-как продержался около десяти лет, а потом прогорел, причем содержатель понес убытки почти в полмиллиона. Но на место разорившихся садов тут же приходили новые.

Устраивались сады преимущественно в районах гуляний — в тех же Сокольниках, где до наших дней сохранилось театральное здание одного из здешних увеселительных садов — «Тиволи», популярного в 1880–1890-е годы (вход в него стоил 30 копеек). Чуть раньше в дальней части парка имелся увеселительный сад Брауна, в котором в 1865 году принимали с музыкой и фейерверком американскую делегацию. Главной приманкой здесь был рассказчик комических народных сцен Орест Федорович Горбунов (брат и подражатель знаменитого И. Ф. Горбунова, родоначальника этого жанра).

Позднее недалеко от Круга, в «простонародной» части гулянья был устроен очень специфический сад

«Эсперанца», более известный среди завсегдатаев, как «Испиранец». Вход здесь не превышал пятиалтынного, а для нижних чинов составлял и вовсе 8 копеек, но значительная часть посетителей попадала внутрь за гораздо более символическую плату и самым оригинальным способом. Дело в том, что среди сокольнических фабричных составилось несколько «бригад», предлагавших всем желающим свои услуги по доставке в сад всего за 3 копейки. Решившегося «клиента» ребята брали за руки и за ноги и... перебрасывали через ограду. Ничего, трава в этом месте росла густая и мягкая, и потребитель в целом оставался доволен услугой, а особенно получившейся экономией. Выгаданные деньги можно было с пользой и удовольствием потратить в буфете, где всегда толпились жаждущие, а потом посмотреть и представление, которое было целиком приноровлено к вкусу клиентуры: «1. Канатоходец Егорка Шелапут будет ходить по канату с горячим самоваром на голове без баланса; 2. Плясун русских плясок Федя Удалой; 3. Григорий Колчан — бас из Павловского Посаду; 4. Шпагоглотатель и фокусник Ариготти, ест горящую паклю и запивает смолой; 5. Ондрюшка и Митродора споют деревенские песни с пляской, Чакрыгин на тальянке будет подыгрывать; 6. „Апельсины, лимоны хороши“ споет Лазарев, дискант от Мартынова; 7. На балалайке сыграет Феоктистов; 8. Хор из 18 человек „Русское раздолье“ будет петь и плясать». Как и прочие сады, просуществовал «Испиранец» недолго: его содержатель, некто Колгунов, погиб, разнимая очередную пьяную драку.

Увеселительные сады бывали не только в пригородах, но и в самом городе. В 1830–1840-х годах был широко известен частный сад Асташевского, находившийся совсем рядом с Тверским бульваром и работавший каждый день. По описанию современника,

«...против самой середины Тверского бульвара, на правой руке, ежели идти от Тверских ворот, есть два белые дома: балконы с золотыми перилами; на воротах почернелые львы; за двором сад; в саду музыка, и песни, и народ». Место было замечательно изрядной запущенностью и чрезвычайным множеством всевозможных диких и чудес, размещенных на очень маленькой территории, густо, плотно, чуть ли не друг у друга на голове. Здесь были и редкие деревья и кустарники, и цветники, затоптанные полянки, и тинистый и пахучий пруд с лебедями, утками и яликами, и зверинец с попугаями, орлами, американскими воронами и обезьянами («все смотрят из любопытства увидеть какую-нибудь жар-птицу, и ничего не видят, кроме того, что никто не прибирается»), медведь на цепи, палатка с камерой-обскурой, рядом пещера, в которой сидел маг и предсказывал судьбу. Еще был механический мужик, который рубил дрова, две будки у ворот с солдатами из папье-маше. «В деревянной палатке, раскрашенной под холстину, на пыльных креслах сидят цыганки и поют „раздражительными“ голосами „ты не поверишь“... Готическая башня, вышиной в полторы сажени, смотрит с высоты своего величия на все проказы света и как будто смеется, зевая своим разбитым окном... Есть темная аллея, на конце которой находится панорама. Никто не может сказать, вышедши оттуда, что он видел, говорят только, что хорошо. В гроте лежит мертвый пустынный... В темном углу стоит китайский мандарин или Далай-Лама, не знаю порядочно. На нем платье шито стеклярусом; в комнате два зеркала; от этого кажется, что три Далай-Ламы... Есть и качели, но в этом саду гораздо приятнее качаться на стуле, потому что в лодке провалилось дно... Здесь позволено курить всякие сигары; точно так же, как являться во всяком костюме... Что не могла дать природа, исполнило

искусство: на трех досках нарисован вид каскада, с разрушительными своими последствиями: т. е. вырванными деревьями, с брызгами и чуть ли не с радугой»^[416].

В это причудливое место ходили многие, но в основном мелкие чиновники, купечество, армейские офицеры. Богатых купчих и их мужей владелец сада приглашал к себе в дом, угощал чаем, оршадом и фруктами — будучи и сам человеком небедным, все надеялся найти себе через их посредство невесту с полумиллионным состоянием.

В середине века обращал на себя внимание сад «Венеция» при одноименной гостинице на углу Мясницкой и Милютинского переулка. Летом здесь чуть не каждый день играл на горке в беседке военный оркестр и давались представления в деревянном театре. В палатках, расставленных по саду, были накрыты столы для публики, а для желающих существовали различные увеселения, к примеру «высокая, гладкая мачта, намазанная салом, на вершину которой, к горизонтально прикрепленному обручу, привешивались рубахи, сапоги, платки и другие вещи. Желающие карабкались вверх по мачте, но редко кому удавалось снять что-нибудь из этих призовых вещей; большею частью съезжали с мачты с пустыми руками, не добравшись до ее вершины»^[417]. На Калужской улице был одно время известен сад купцов братьев Жемочкиных, где давались представления по воскресеньям и в праздники; на Щипке был быстро закрывшийся сад Мартыновой и др.

В 1858 году, когда по России путешествовал знаменитый французский писатель Александр Дюма (отец), в его честь был устроен праздник в увеселительном саду «Эльдорадо», находившемся недалеко от Бутырской заставы, между улицами

Тихвинской и Бахметевской (нынешней Образцова; теперь на этой территории располагается Московский институт инженеров железнодорожного транспорта). Праздник назывался «Ночь графа Монте-Кристо». Программа обещала «оркестр музыки» под управлением Джона Виллиама фон Ранкена, тирольских певцов из Инсбрука, цыганский хор и «два хора военной музыки», а также «спуск воздушных шаров и карикатур, некоторые из которых осветятся бенгальскими огнями», иллюминацию, электрическое освещение пруда и — «в заключение блистательный фейерверк из 12 перемен и освещение сада бенгальскими огнями». Основным «гвоздем» вечера, вход на который стоил 1 рубль серебром («дети платят половину»), был сам великий француз. Он любезно откликнулся на приглашение антрепренера и, как язвила тогдашняя газета, был «показываем за деньги»: «целые три часа публика любовалась зрелищем, как сидит Александр Дюма, как ест и пьет Александр Дюма, как смотрит фейерверк и, наконец, как уезжает Александр Дюма»^[418].

Одним из самых известных и наиболее долговечных был в Москве «Корсаков сад», возникший на территории усадьбы бывшего екатерининского фаворита Ивана Николаевича Римского-Корсакова (остатки принадлежавшего ему городского дома до сих пор украшают Тверской бульвар). Сад находился недалеко от Самотеки, между Селезневкой и Божедомкой (нынешней Делегатской улицей), где сейчас Самотечные переулки, занимал территорию в восемь гектаров и имел два проточных пруда (верхний был площадью в один гектар) и всевозможные затеи — павильон «храм Екатерины» с мраморной статуей великой императрицы, храм с бюстом Александра I, аллею со статуями других русских монархов, оранжереи и пр. На протяжении большей части девятнадцатого

века сад снимали различные антрепренеры; ему давались разные названия, но в московском обиходе он всё был «Корсаковым».

С 1824 года сад назывался «Эрмитажем» и содержателем его был француз Борегар. В то время здесь устраивались гулянья с музыкой и фейерверком, на который продавались билеты (на «первые места» — по 2 рубля, на «вторые» — по «105 копеек медью»). Сам Самотечный пруд, на котором были устроены фонтаны и дорожки, пытались тогда превратить в место прогулок для местных жителей, но это как-то не привилось.

В начале 1840-х сад перешел в руки нового антрепренера, тоже француза, Мореля, и стал называться «Элизиум». Летом по воскресеньям он открывался в 3 часа дня, представление начиналось в половине пятого. Вход стоил 30 копеек серебром, дети проходили бесплатно.

Сад в это время славился великолепными концертами: в нем выступали лучшие в то время струнные оркестры — под управлением Сакса (того самого, который потом прогорел на садовом бизнесе), другой, знаменитый в Европе — под управлением Гунгля. Показывали вольтижировку, акробатику, фокусы и комические пантомимы — какой-нибудь «Арлекин в самоваре с превращениями-метаморфозами». Выступал цыганский хор Петра Соколова. Одно время показывалась знаменитая Юлия Пастрана — испанская танцовщица, так густо заросшая волосами, что в начале своей карьеры рекламировалась, как «женщина-обезьяна». Она плясала на сцене качучу, но привлекала публику главным образом необычной внешностью. В «Корсаковом саду» она делала Морелю большие сборы и приглашалась им на гастроли лет десять подряд.

«Потом появился здесь одноногий танцор Динато, он выделял какие-то замысловатые для одноногого

прыжки. Но больше всего наделал шума „герой
Ниагары“ — Блонден, канатоходец. Он, говорили, по
канату перешел знаменитый водопад Ниагару. Здесь он
ходил через пруд на туго натянутом канате на высоте
120 футов (около 40 м). Блонден носил на себе
человека, брал стол и стул, устанавливал их на канате и
завтракал там, ходил с завязанными глазами, надевал
на ноги корзинки и с ними бесстрашно ходил по
канату»^[419]. Помимо всех этих чудес важной приманкой
сада был великолепный ресторан, в котором шеф-
поваром трудился француз Л. Оливье (создатель
знаменитого салата).

При Мореле «сад был особенно посещаем избранной
публикой...: здесь даже в зимнее время в устроенном
зале воксала давались концерты, на ледяных горах
забавлялась аристократическая публика»^[420].

После Мореля в «Корсаковой саду» было несколько
неудачных антреприз, а в 1880 году он попал в руки
талантливого актера и антрепренера Михаила
Валентиновича Лентовского, был вновь переименован в
«Эрмитаж» (на сей раз название прижилось и
закрепилось) — и это было лучшее его время.

При Лентовском сад был реорганизован и
благоустроен. На большом пруду устроили эстраду для
музыкантов, связанную с берегом изящным мостиком.
Множество аллей, пестрых цветников, таинственных
беседок, поэтических скамеек на берегах прудов,
водяных фейерверков круглые сутки привлекали в сад
Лентовского разного рода публику — семьи с детьми,
простонародье, аристократию, деловых людей,
кутящую молодежь, студентов, кокоток. Вечерами все
пространство сада было залито огнями иллюминации и
превращалось в настоящее сказочное царство. В саду,
как положено, играли оркестры, пели хоры,
гастролировали коллективы венгерских цыган,

американских негров. На Скоморошьем кругу работали дрессировщики, на открытой эстраде — фокусники и чревовещатели. Здесь можно было видеть воздухоплавательницу Леону Дар, которая поднималась вместе с шаром, держась зубами за трапецию, подвешенную под шаром, «и „человека-рыбу“, который, лежа в большом стеклянном ящике, наполненном водой, курил папиросу»^[421]. Устраивались также соревнования по бегу на призы, причем состязались не только мужчины, но и женщины, что в то время было внове.

Особенно потрясало воображение любимое детище Лентовского — «Фантастический театр». В числе его посетителей были будущий великий режиссер К. С. Станиславский и писатель А. П. Чехов, оставивший такое его описание. «Вообразите себе лес, — писал Чехов. — В лесу поляна, на поляне... возвышается более всех уцелевшая стена стариннейшего, средневекового замка. Стена давно уже облупилась, она поросла мхом, лебедой и крапивой.... От той стены к зрителю и в стороны идут более и совсем уже развалившиеся стены замка. Из-за развалин сиротливо и угрюмо выглядывают деревья... Они высушены временем, голы. На площадке, которая окружена развалинами и была прежде „полами“ замка, заседает публика. Пересечения стен и разрушившихся простенков изображают собою ложи. Вокруг замка рвы, в которых теряются ваши глаза. Во рвах разноцветные огни с тенями и полутенями...» Ставились в «Фантастическом театре» масштабные и соответствующие обстановке оперетки и феерии (и оперетки-феерии) со всякими спецэффектами, а также мелодрамы-«триллеры», от которых, по выражению Чехова, «мурашки и мелкая дрожь вволю бегали» по спинам зрителей «от их затылков до пят»^[422]. На сцене рокотали водопады, злодеи падали в пропасти, с луны

прилетало ядро с пассажирами. «Идет трюковая вещь „Казрак“, — вспоминал В. А. Нелидов, — где человек то на крыше, то под полом, то здесь, то там. „Маг“ (Лентовский) для этой цели выписывает из-за границы знаменитейшего акробата и так его окружает, что получается подлинное впечатление чего-то сверхъестественного»^[423].

Между прочим, сад Лентовского находился в ближайшем соседстве (через улицу и два забора) от Московской семинарии и служил для будущих священнослужителей постоянным источником соблазна. В семинарском саду был курган (он и сейчас сохранился), и после вечерней молитвы семинаристы, вылезши через окно, забирались на него и полночи наблюдали за садовыми увеселениями и слушали музыку. Еще больше было видно, если перелезть через свой забор и смотреть в щелочку эрмитажного.

В аренде у Лентовского сад находился восемь лет. Затем владельцы решили пустить эту территорию под застройку, и она разошлась по рукам мелкими участками. От «Корсакова сада» остались одни воспоминания. Однако «Эрмитаж» очень скоро вновь появился в Москве, уже в другом месте, на Каретном ряду (где находится и доныне), и в других руках — Я. В. Щукина. В 1890-х годах здесь ставила смешные фарсы антреприза Сабурова; играли частные оперные труппы Мамонтова, Цертелева и Южина, выступала французская оперетка. Зимой спектакли здесь не пользовались спросом: в зале сидело по 20–30 зрителей, зато летом бывали аншлаги и в зеркальном театре пели Шаляпин и итальянские знаменитости, а с 1898 года начал давать представления новообразованный Художественный театр и не только обеспечил зимние аншлаги, но и навсегда принес новому «Эрмитажу» хвалу и славу.

Разновидностью увеселительного сада был Московский зоосад, открытый в 1864 году. Вместо садовых павильонов здесь располагались клетки и вольеры для животных, а в остальном все было то же самое: кофейни и рестораны для публики, летние эстрады, на которых выступали музыканты и циркачи, всевозможные шествия и тематические праздники. Зимой работал чрезвычайно популярный каток, на который съезжалась самая изысканная публика (он описан в «Анне Карениной» Толстого).

Особой специализацией Зоосада были различные этнографические представления: здесь демонстрировали «настоящую индейскую деревню», «караваны дагомейцев», «упряжки самоедов» и другие тому подобные не только занимательные, но и развивающие кругозор зрелища. Бывали, впрочем, и зрелища из традиционного садового репертуара. Н. А. Бычкова вспоминала, как в 1870-х в Зоологическом саду выступала «американка знаменитая, по канату ходить умела. Пол-Москвы сошлись эту самую Альфонсину Рост смотреть. Человек еще на воздушном шаре летал — тоже редкость. Тыщи народа все улицы да переулки у Пресни запрудили. На заборах, на крышах сидели, словно царь в Москву приехал. Я тоже в толпе была, видала, как американка по канату над прудом шла, большое расстояние... 30 копеек за вход в Зоологический сад стоило, откуда ж мне их взять?»^[424].

На протяжении девятнадцатого века в Москве возникло еще довольно много мест, предназначенных прежде всего для прогулок — пешего променада, хотя и здесь проводились увеселительные мероприятия.

Эти, как их называли в начале XIX века, «гульбища» своим появлением были обязаны родившейся в конце предшествовавшего столетия всеевропейской моде на хождение пешком (моцион для здоровья). Именно в это

время врачи заговорили о пользе физического движения, что в сочетании со своеобразной модой на все английское (а англичане первые ввели в обиход продолжительные пешие прогулки) породило и среди русской аристократии увлечение таким моционом. Встал вопрос о месте, где это можно делать, и оказалось, что Москва для подвижного образа жизни приспособлена плохо — никаких «гульбищ» в ней не было, а гулять просто по улицам из-за плохих мостовых и тротуаров было невозможно. В начале 1790-х годов городские власти попытались создать «гульбище» на берегу Москвы-реки в районе Кремля, но там было сыро и ветрено, и особого успеха эта затея не имела. Тогда, по примеру других европейских городов, устроили бульвар на месте первого скрытого участка внутренней городской (Белого города) стены. Так появился Тверской бульвар. Сюда, несмотря на крайнюю юность бульвара, тонкие молодые деревца и отсутствие тени («наш бульвар скуп на тень и до крайности щедр на пыль», — писал в 1803 году Н. М. Карамзин^[425]), публика неожиданно пошла: место удачно было расположено в самом средоточии дворянской Москвы. Сюда же устремились разносчики с мелким товаром, и уже к началу XIX века, еще до Великого пожара, утвердилось слава Тверского бульвара, как места, в котором в определенные часы бывает «вся Москва».

Вплоть до 1820-х годов бульвар все еще не мог похвастаться обилием зелени, но зато здесь было устроено множество затей в благородном вкусе: статуи, мостики, водометы и клумбы с цветами, открылась популярная кофейня. — «хорошенький домик, в котором было прелестное освещение, раздавалась тихая музыка и на крыльце толпились группы мужчин»^[426]. По вечерам играла музыка и была иллюминация. Живший на углу бульвара и Бронной князь Михаил Васильевич Голицын

устраивал и музыку, и освещение за собственный счет — видимо, ему нравилось любоваться на «настоящее гулянье». На обоих концах бульвара были поставлены столбы с круглыми шлифованными металлическими щитами-рефлекторами, которые отражали и усиливали свет, а на возвышении играл собственный княжеский роговой оркестр.

Постепенно, по мере того как сносились другие участки крепостной стены, а также прятались под землю участки реки Неглинной, к Тверскому прибавились другие бульвары. Но с самого начала западная часть Бульварного кольца оказалась востребованнее восточной, так и продолжалось потом, и продолжается доньше.

Наиболее популярны весь XIX век были Тверской и Никитский бульвары как пролегающие по аристократической части Москвы. С течением времени «барские затеи» здесь исчезли, но эти бульвары продолжали содержаться довольно хорошо: дорожки были выровнены и подметены, стояло много скамеек, окрашенных в зеленый цвет. С утра и до обеда сюда водили на прогулки своих питомцев няньки и гувернантки. После полудня к ним присоединялись светские дамы и кавалеры, театральные знаменитости, университетские профессора и прочая «чистая» публика. Все они совершали здесь «моцион», встречались со знакомыми, обменивались новостями, назначали друг другу свидания. Место это долго продолжало оставаться модным и регулярно воспевалось литераторами — и в прозе, и в стихах.

К примеру, в 1810-х годах по рукам гулял такой опус некоего титулярного юнкера князя Волконского, живописующий и само гулянье, и его завсегдатаев — историка А. Ф. Малиновского, возглавлявшего архив Коллегии иностранных дел, директора Императорских театров В. И. Майкова и других:

Жаль расстаться мне с бульваром,
Туда нехотя идешь,
Там глядишь на милых даром
И успехи даром пьешь:
Везде группою прекрасны
Представляются глазам,
О! сколь стрелы их опасны
И сколь пагубны сердцам...

.....
Вот попович Малиновский
Выступает также тут;
За ним тоненький Витковский,
В коем жиру тридцать пуд...
Вот и Майков, муз губитель,
Декламируя, идет;
Как театра управитель,
Он актеров всех ведет...

Вечером на Тверской бульвар выходили на прогулку работницы располагавшихся в центре многочисленных белошвейных, шляпных и модных мастерских и магазинов (а в конце века — и проститутки с Козиhi), а также студенты, обитавшие в «Латинском квартале» Бронных улиц.

Пречистенский бульвар долгое время был довольно запущенным и мало посещаемым, и лишь после того, как сюда (именно из-за уединенности) несколько раз приехал прогуляться с женой посетивший Москву для коронации Александр II, бульвар вошел в моду и был приведен в порядок. В конце века он считался уже более приличным местом, чем приобретавший все более «эротическую» славу Тверской.

Чистопрудный бульвар посещался преимущественно няньками и гувернантками с детьми и высшим купечеством; Рождественский, Сретенский и

Петровский, так же как Цветной и Неглинный, бульвары оживлялись лишь в вечернее время, когда на свой промысел выходили сюда обитательницы «Трубы», а на Страстном бульваре стояли городские весы и вся его левая сторона вплоть до Екатерининской больницы была уставлена возами с соломой и сеном. Лишь когда на этом бульваре поселился знаменитый журналист М. Н. Катков, репутация места стала улучшаться.

К середине века почти все бульвары пришли в запустение. При входе на каждый из них по-прежнему висело на столбе объявление: «По траве не ходить, собак не водить, цветов не рвать», и исполнять это было нетрудно, так как травы и цветов не было, а собаки ходили сами и даже жили стаями на бульварах, в боковых кустах вечерами прятались жулики, а на скамейках ночевали бездомные. Лишь в 1880-х городские власти смогли, наконец, благоустроить бульвары, но устоявшиеся их репутации оставались неизменными до самого конца века.

Еще одним — следующим после Тверского бульвара — модным местом для прогулок было «гульбище» на Пресненских прудах, устроенное Кремлевской экспедицией, владевшей этими местами (ее тогда возглавлял П. С. Валуев), и открытое в 1806 году. Известный мемуарист Ф. Ф. Вигель описывал его так: «Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотинами, чрез кори прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошою железною решеткой»^[427]. Два раза в неделю здесь бывала музыка. Место продолжало оставаться в моде до самой войны, а потом постепенно пришло в упадок И хотя владельцы пытались вернуть «чистую» публику,

устроив возле нижнего пруда театр, в котором давали русскую оперу, открыв кофейню и устраивая зимой катальные горы, после 1820-х годов и до самого конца этого гулянья в 1850-х, посетителями его были главным образом купцы и мастеравые. «Москвичи, как и все мы, русские, в этом случае похожи на ребят: всегда обрадуются новой игрушке, потом скоро она им надоест, и беспрестанно подавай им новое», — замечал Вигель^[428].

После Пресненских прудов в моду вошел Кремлевский сад, а по воскресеньям — Нескучный.

Кремлевский сад был устроен под стенами Кремля над заключенной в трубу Неглинной в 1819–1822 годах и первоначально именовался то Воскресенским (по близлежащим Воскресенским воротам Китай-города), то Александровским или Александрийским (в честь Александра I), то — чаще всего — Кремлевским. Примерно в это же время над засыпанным Кремлевским ровом вдоль Красной площади был создан и бульвар для прогулок, но лет через тридцать в этом месте стал проседать и проваливаться грунт, и бульвар исчез, а сад сохранился. Точнее, это было даже три соединенных между собой сада — Верхний, Средний и Нижний. Как и полагалось в приличном месте, по воскресеньям и праздничным дням здесь играла военная музыка и имелась кондитерская, где певица пела тирольские песни и подавали шоколад, а также «галерея, в которой, — как писалось в рекламе, — очень хороший обеденный и ужинный стол с прекрасными винами, равномерно и все кондитерские принадлежности»^[429]. 30 августа в саду праздновалось тезоименитство императора Александра I, а позднее — Александра II и было многолюдное гулянье с иллюминацией. В честь коронации Александра III за

садом окончательно закрепилось его наиболее известное название — Александровский.

Несмотря на все приманки, гулянье в Кремлевском саду считалось престижным лишь в самом начале, первые годы после открытия. Постепенно «хорошая публика» его покинула, и главными посетителями сада сделались купцы. Компанию им составляли приезжие провинциалы, армейские офицеры, студенты, мелкие чиновники и бесчисленные «княжны Трубецкие и Козицкие». Здешний грот пользовался дурной славой: довольно часто в нем находили трупы застрелившихся от несчастной любви, что, впрочем, в дневное время не мешало ему быть популярным местом детских игр. «Какое наслаждение было в обществе моих сверстников бегать и прятаться среди искусственно нагроможденных каменных глыб, на полуразрушенной лестнице под сводом, по откосам горы под кремлевскими стенами, по кустарникам! — вспоминал купеческий сын Н. П. Вишняков. — С гиканьем наша веселая орда штурмовала этот грот, одерживала победы или несла поражения под командой избранных нами генералов.... Над гротом на площадке стояли скамейки, служившие нам штабной квартирой: тут собирались военные советы, вырабатывались планы атаки и защиты»^[430].

В 1872 году на территории Кремля, в Манеже, на набережной Москвы-реки и особенно в Кремлевских садах была развернута грандиозная Политехническая выставка. Всего было построено 88 разнообразных павильонов, для размещения которых сад пришлось основательно проредить. Многие старые деревья и кустарники были в это время вырублены, в частности, был оголен склон холма в Среднем саду, так и оставшийся потом ничем не засаженным. Выставка пользовалась большим успехом, особенно среди

школьников, для которых вход на экспозиции был бесплатный, по ученическому билету, и в вакационное время школяры толклись там целыми днями: сбегают только домой пообедать и чаю выпить — и опять на выставку. Здесь имелось множество занимательных экспонатов с подробными этикетками, а еще можно было бесплатно взять проспекты или образчики товаров текстильного производства, а кое-где устраивались и дегустации. «В каких-то восточных палатках, — вспоминал Н. П. Розанов, — помещались на столах огромные круги кавказского сыра, который давался по кусочку и осматривавшей выставку публике, и мы, конечно, неоднократно подходили за этим угощением к раздававшим его каким-то грузинам, которые при этом иногда были столь любезны, что подносили нам „опробовать“ и кавказское красное вино» ^[431].

После того как павильоны разобрали, сад на долгое время пришел в упадок на аллеях и дорожках оставались свалки, исчезли цветы, которых раньше было довольно много, и всякое посещение публикой сада прекратилось, так что даже и снаружи его территорию огородили безобразным дощатым забором. В этот период сад облюбовали московские золоторотцы, что, разумеется, усугубило общее ощущение разрухи. Лишь во второй половине 1880-х годов, в бытность городским головой Н. А. Алексеева, забор сломали, бродяг выгнали, сад опять привели в порядок и обнесли чугунной решеткой.

Что же касается Нескучного и соседнего с ним «Орлова сада», то, как рассказывал М. Н. Загоскин, в начале века он был «сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостиннодворцев, которые по воскресным дням приезжали в Нескучное пропивать на шампанском или

полушампанском барыши всей недели, гулять, буяннить, придираяться к немцам, ссориться с полуформенными удалцами и любезничать с „дамами“... На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах, замоскворецкие франты в венгерках, не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, по аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры»^[432].

Потом Нескучное купил князь Шаховской. Сад был вычищен и приведен в порядок. Был выстроен Воздушный театр, в котором давали водевили, дивертисменты и даже комедии, трагедии и балеты. «Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцевали последнее действие „Венгерской хижины“ почти по колено в воде», — рассказывал М. Н. Загоскин^[433]. Сам сад был на редкость романтичным местом — сильно пересеченная местность придавала ему своеобразие и очарование: здесь имелись змеящиеся по склонам выгибные аллеи, глубокие сырые овраги, воздушные мостики, беседки на обрывистых кручах и даже что-то вроде острова, «который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами»^[434].

По воскресеньям здесь была неизменная музыка, песельники и фейерверки, но выделялся сад на общем фоне еще и тем, что рядом с ним существовало заведение искусственных минеральных вод, также принадлежавшее Шаховскому. Оно стояло на самом берегу Москвы-реки и включало несколько живописных домиков для ванн и питья воды, колодец и галерею для прогулок в ненастную погоду. Полный курс водолечения с прогулками по галерее стоил 15 рублей, ванны от 5 до 10 рублей ассигнациями. Воды были как искусственные,

так и натуральные, привозные. По деловой ли незадачливости владельца или по тогдашней отдаленности места от Москвы, но особым успехом заведение не пользовалось. Аристократия ленилась в него ездить, а публика попроще ни в какое водолечение не верила и денег на него тратить не собиралась. Вскоре к тому же у заведения Шаховского появился конкурент. В 1828 году на Остоженке открыл собственное «Заведение искусственных минеральных вод» популярный в Москве доктор Лодер.

Эта новая лечебница находилась гораздо ближе к центру города, почти в сердце «дворянской» Москвы — в Хилковом переулке, и практически сразу вошла в невероятную моду. Здесь были обширный дом с двумя пристроенными галереями, большой сад с музыкой и дорожками для прогулок, — все как полагается. Здесь были «искусственные газовые и тинистые ванны... купальня с палаткою для удобного и безопасного купания в реке, сверх того... травяные и обыкновенные ванны»^[435]. Открывалось заведение в 5 часов утра, потому что воды надо пить пораньше, и почти сразу начинался съезд — событие для дворянской Москвы почти невероятное, ибо обычно ее представители редко вылезали из постели ранее полудня. А. Я. Булгаков писал брату: «Давно обещал я Лодеру, да и самому хотелось посмотреть „Заведение искусственных вод“. Встал сегодня в 6 часов и отправился, позавтракав, туда. Там нашел я Лодера, который все мне показал. Все устроено прекрасно, по-моему, лучше, нежели в Карлсбаде... Я нашел множество дам и кавалеров, более 130 человек»^[436].

Не выдержав конкуренции, заведение на Воробьевых горах прекратило свое существование, а вместе с ним вскоре приказал долго жить и увеселительный сад. Популярность Нескучного добил

Петровский парк — ездить туда было и ближе, и приятнее, чем в расположенное на отшибе Нескучное, отделенное, к тому же, от города малоаппетитными сорными пустырями.

Возрождение места произошло лишь в 1840-х годах, после того как эту территорию приобрело Дворцовое ведомство. Бывшая орловская усадьба была перестроена под царскую резиденцию — Александринский дворец, а сад стал считаться царским, и для входа в него теперь следовало получить пропуск от дворцовой конторы. У входа стояли два караульных и гауптвахта с дежурным офицером, который эти пропуска проверял. Впрочем, после смерти Николая I излишние строгости и пропускная система были отменены, и в Нескучный вновь устремились все желающие.

С этого времени Воробьевы горы превратились уже почти исключительно в прогулочное место, куда охотно ездили на пикники. Добирались до Воробьевых гор на лодках от Устьинского или Крымского моста за 50–75 копеек. «Лодка без малейшего шума плывет по зеркальной поверхности реки. Все полно какого-то очарования, и вы невольно поддаетесь волшебному обаянию живописной местности и как будто переноситесь в иной поэтический мир, — вспоминал И. А. Свиньин, часто посещавший сад в студенческие годы. — Здесь вы найдете такие девственные места, где искусство еще не коснулось природы, и где постоянно царит такая поразительная тишина, что вы слышите даже биение сердца и треск кузнечиков, где над головами вашими безбоязненно порхают лесные птицы и где подчас вы не встретите живого существа»^[437]. Здесь было зелено, уединенно и открывался живописнейший вид на Москву. Кстати, огромный овраг на территории Нескучного — целое

ущелье, поросшее высоченными соснами, — также именовался у москвичей «Волчьей долиной», — решительно, этот топоним был в городе чрезмерно популярен.

«В то время (1870-е годы) тенистый, раскидистый, то угрюмый, то ясный Нескучный сад в Москве, на берегу реки, в районе самого города поражал своей природной и широкой красотой, — вспоминал другой завсегдатай Нескучного. — Это была природа, но не культура, сильная, здоровая московская природа, и характерная. Крутой берег реки, места с открытым видом, пруды и луговины, мрачные ущелья и гиганты липы и сосны и грациозные елки, кустарник, мостки, уютные места и уголки — сколько тени и света, сколько перемен в картинах пейзажа и сколько простоты! Там, где был дворец и цветы, мы не бывали, избирая уже знакомые уютные прелестные места, где проводили дни, закусывая, беседуя и отдыхая на зеленой мураве»^[438].

С Воробьевых гор начинались уже загородные места, куда привыкшие к многохождению москвичи легко добирались пешком. «Живописна у нас окрестность Москвы и везде можно найти удовольствие в прогулке, куда ни выйди за вал — всюду щедрые дары природы», — писал мемуарист^[439]. Для дальних прогулок отправлялись в Кунцево, Кузьминки, Перово, Царицыно, Петровское-Разумовское, Останкино, Ховрино, Михалково и другие давно проглоченные городом места, где на протяжении почти всего девятнадцатого столетия сохранялась живописная и девственная природа, было много зелени, цветов и свежего воздуха.

Глава пятнадцатая. ЗРЕЛИЩА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ

Московские зеваки. — Публичные наказания. — Уличные артисты. — Шарманщики. — Медвежья комедия. — Зверинцы. — Балы. — Котильон. — Маскарады. — Канкан. — Живые картины. — Английский клуб. — «Чернокнижная». — Клубные старички. — Парадные обеды. — Мода на лото. — Благодеяние князя Юсупова. — Шулера. — Страсть к птицам. — Голубятники. — Петушинные бои. — Медвежья травля. — Кулачные бои. — Бега. — Катки

Старая Москва была одновременно и богата, и скудна на зрелища. Мода на кино пришла лишь в 1900-е годы, да и появилось оно в Москве лишь в самые последние годы века, почти сразу же после изобретения. А театр... лишь после 1870-х годов посещение театра превратилось в общемосковскую привычку. Цирки, концерты, выставки — все это было в изобилии, но за все полагалось платить, что для горожан было не всегда по карману.

Вот и становилось зрелищем и развлечением буквально все на свете: пожары, уличные происшествия, чужие семейные ссоры, пьяные потасовки, свадьбы и похороны, всевозможные процессии. Московские зеваки были особой породой — многочисленной, азартной, увлеченной и в то же время изменчивой и очень привередливой. Не случайно

бытовала поговорка: «москвича легче похоронить по первому разряду, чем развеселить».

Своеобразным зрелищем становились для старой Москвы даже прогоны арестантов и публичные наказания. Обычно из одной тюрьмы в другую арестантов перегоняли через город рано утром. Их вели «в грязных черных куртках, с круглыми ермолками на наполовину обритых головах. По бокам шли конвойные с обнаженными шашками, а прохожие лезли в карманы и подавали проходящим „несчастливым“ свою посильную помощь»^[440], — вспоминал Ю. А. Бахрушин. Подавали арестантам не только деньгами, но и хлебом. В московской традиции вообще была обязательна милостыня заключенным, особенно в праздничные дни: в это время, перед Рождеством и Пасхой, благочестивые горожане, прежде всего из купечества и мещанства, отсылали в остроги целые корзины, а иногда и подводы, с провизией — в основном с белым хлебом, калачами и пирогами, колбасой, а перед Пасхой — также с куличами и крашеными яйцами.

Публичные наказания оставались частью повседневной жизни Москвы вплоть до 1870-х годов. Это были и телесные наказания — порка плетью или кнутом (отмененная вскоре после реформы 1861 года), — и просуществовавший несколько дольше обряд «гражданской казни». Черная позорная колесница с одним, а чаще несколькими осужденными следовала из тюрьмы к месту наказания — Конной, Сенной или Болотной площадям — с барабанным боем. Одетые в серые халаты, с висящими на груди дощечками, на которых крупными буквами было написано совершенное ими преступление: «за убийство», «за поджог», «за разбой» и пр., арестанты сидели на открытой со всех сторон платформе на специально устроенном высоком сиденье, спиной к лошадям. Рядом с ними помещался

палач в красной рубахе. Сзади ехала карета с прокурором. Колесницу окружали военный конвой с барабанщиками и множество зевак, обычно сочувственно смотревших на осужденного.

На площади был выстроен эшафот со столбами, и привезенных преступников по очереди, при содействии палача, возводили на эшафот и под барабанный бой короткими наручниками приковывали к столбам. Затем горемык напутствовал священник в епитрахили и давал им целовать крест. Читали приговор. Если среди приговоренных были дворяне, то над их головой ломали шпаги, а потом всех оставляли минут на десять стоять на эшафоте для всеобщего обозрения. В это время им из толпы бросали на помост медные деньги, которые после завершения процедуры оставались на долю осужденных. Потом преступников заковывали в кандалы и отправляли в Сибирь. В генерал-губернаторство князя В. А. Долгорукова этот обычай публичных наказаний был в Москве уничтожен.

Популярными зрелищами были бесчисленные уличные представления, до которых москвичи были большими охотниками — не в последнюю очередь потому, что платить за них было как бы необязательно, а уж если решался платить, то хватало и самой мелкой денежки.

«У фонарного столба комедиант потешает публику, заставляя барахтаться в грязи нескольких собачонок, разряженных в мужские и дамские костюмы. Шарманка с аккомпанементом кларнета неистово отдирает какую-то польку, собаки вертятся, падают, поднимаются — толпа хохочет»^[441], — описывал М. Воронов традиционную для Москвы уличную сценку.

Среди дающих на улицах представления для простонародной толпы были фокусники с несложными, но занимательными трюками, бродячие циркачи,

одетые под рваными сюртуками в обтянутое трико. С ними дети — на головах бумажные обручи, перевитые разноцветными коленкоровыми лентами в виде венка. Акробаты расстилали на земле дырявый ковер и показывали несколько номеров под звуки шарманки и бубна.

Выступали уличные музыканты — то целый оркестр, то какая-нибудь девица с арфой и мальчик со скрипкой, пиликающие что-то до того жалостное, что невозможно было не дать пятачок Изредка появлялся и певец-одиночка, иногда какой-нибудь безрукий солдат, певший надтреснутым голосом: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке».

Подобные представления происходили как на улицах, так и во дворах, и в небогатых домах часто вызывали настоящий ажиотаж. «Весь дом всполошился, — писал Г. И. Успенский — вы слышите, как по коридору мимо вашей комнаты пробежало несколько человек, поднялась повсюду суматоха; взгляните в окошко, и вы увидите, что далеко прежде вас высунулся в окна весь дом, — на дворе толпы народа: мастеровые, кухарки, бросившие свое дело, разносчики с лотками на головах и с застывшим криком на разинутом рту»^[442].

Многие из выступавших в Москве уличных артистов, особенно в первой половине века, были иностранцами — итальянцами или немцами, но хватало и своих доморощенных талантов, не нашедших более достойной сцены. Чаше других встречались шарманщики, игравшие на небольшом переносном ручном органе — шарманке. Название это — «шарманка» — родилось в конце XVIII века, когда первые появившиеся в России органчики играли популярную в то время французскую песенку «Шарман Катрин» (по-французски «Прелестная Катрин»). Отсюда

и «шарманка». Шарманки были двух фасонов: одни — игравшие тихо и фальшиво, в виде шкафчика с танцующими на нем куклами, другие, появившиеся в середине века, — громкие, большие и тяжелые. Остановливаясь на углах улиц или во дворах, шарманщики опускали свой инструмент на деревянную ногу-подставку и, медленно вертя ручку, играли различные популярные мелодии (модные оперные арии, «Разлуку», «Хуторок» и т. п.) и сами им подпевали. Такой персонаж появлялся мимоходом на страницах одного из очерков Глеба Успенского: «Итальянец-шарманщик, в легком пальтишке, с грязным шарфом на шее, подпевает на мотив из „Эрнани“ и от холода хрипят оба — и певец, и шарманка»^[443].

По окончании программы шарманщик обходил слушателей с шапкой и собирал деньги, а слушатели с верхних этажей бросали ему из окон мелкие монеты, завернутые в бумажки (чтобы не укатились и легче было найти).

Шарманщики могли аккомпанировать другим уличным музыкантам или выступать на пару с певцами (часто детьми). Некоторые добавляли к своему органчику другие музыкальные инструменты и превращались в «человека-оркестр»: на голове что-то вроде шлема с колокольчиками, «на спине пристроен небольшой турецкий барабан, а к локтю левой руки прикреплена ударная палка с набалдашником, которою он и отбивал такты в барабан, а ногою дергал за петлю ремень от литавров — медных тарелок на барабане»^[444].

Часто для привлечения публики шарманщик водил с собой жалких, но забавных «ученых» собачек или обезьянок, показывающих нехитрые трюки. Иногда на шарманке сидел попугай, который за отдельную плату вытаскивал из маленького железного ящика заранее написанные «билетики» с предсказаниями судьбы.

И уличные артисты, и шарманщики считались, по сути, одной из категорий нищих. Доходы их были мизерны, условия жизни тяжелы: полиция их вечно гоняла и преследовала, но и они заполняли некую «культурную нишу». Во всяком случае, балетмейстер А. Глушковский считал, что «простолюдины, прислушиваясь к правильным и приятным звукам шарманок, стали мало-помалу петь романсы и новые русские песни, хотя и плохо, но с музыкальным тактом»^[445].

Своеобразным и популярным в городе зрелищем были «ученые» медведи. С ними по Москве «ходили» в основном выходцы из Владимирской губернии и цыгане. Вожак заставлял своих зверей ходить на задних лапах, кувиркаться через голову, подавать лапу, показывать, «как бабы пьяные падают», «как ребята горох воруют» (ползком на животе), боролись с ними, причем «побеждал» всегда медведь. Обязательной частью представления были медвежьи «танцы» с «козой». Помощник вожака (обычно мальчик-подросток) надевал на голову мешок с воткнутой в него палкой с козлиной головой и рогами на конце, а также с деревянным «языком»-трещоткой. Вожак брал барабан и выбивал на нем дробь, а «коза» тем временем выплясывала вокруг Михайло Потапыча трепака и задирала его, поклеывая деревянным «языком». Рассерженный медведь рычал, поднимался на задние лапы и кружил вокруг вожака — «танцевал» (от этого «танца» возникло выражение «отставной козы барабанщик»). Это был главный момент всего представления, после чего Мише давали косушку водки, которую он лихо и быстро выпивал из горлышка, а дальше вручали шапку и он на задних лапах обходил публику, собирая деньги, давать которые в этих случаях москвичи не жалели.

Медвежьи «комедии» сошли в Москве на нет после 1850-х годов: городская администрация запретила такие представления.

Вообще горожане были большие охотники до всего необычного, яркого, нового и поразительного, и в этом отношении Москва постоянно предлагала большой ассортимент причудливых зрелищ. То демонстрировались какие-нибудь «удивительные эквилибро-механико-гимнастико-конные представления; бриллиантовые фейерверки с великолепным табло, Венера, приезжающая на огненной колеснице в гости к Плутону», то привозилась панорама «знаменитой американской реки Миссисипи», то показывался где-то на Рождественке «редкий феномен: верблюд и пудель, играющие в домино»^[446].

Газеты пестрели всевозможными соблазнительными объявлениями такого рода: «Прибывший в здешнюю столицу австрийский подданный честь имеет известить, что он открыл большое представление кинетозографического театра. Представления будут даваемы ежедневно, кроме суббот, начиная с 7 часов вечера на Большой Дмитровке, против Дворянского собрания, в доме Рудакова. Картина первая представляет торжественное шествие Их Императорских Величеств Государя Императора Александра Николаевича и Государыни Императрицы Марии Александровны после коронования из Успенского собора 26 августа 1856 года, в сопровождении блестящей свиты. Все предметы, изображающие лиц, находятся в движении. Оный театр известного механика Купаренки усовершенствован и улучшен многими новыми изобретениями, до сих пор еще нигде не виданными. Содержатель не щадил для этого ни издержек, ни трудов, и посему льстит себя надеждою, что почтеннейшая публика удостоит его своим

посещением. Программа всего представления будет опубликована особыми афишами. Во время представления будет играть оркестр музыки и залы будут хорошо отоплены»^[447].

Естественно, что всякий, у кого водилась копейка, легко «клевал» на подобные объявления, и в зале потом яблоку негде было упасть.

На месте Политехнического музея со стороны Яблочных рядов постоянно стояли деревянные павильоны-балаганы, где гастролировали различные заезжие штукари и умельцы. Так, в 1846 году здесь показывали «огромного кита в 14 сажень длины, между ребрами которого помещен хор музыкантов, играющих разные пьесы»^[448].

Особенно часто здесь размещались различные зверинцы. В 1850–1860-х годах несколько лет подряд выступал балаган-театр Лаврентия Казанова, главными «действующими лицами» в котором были обезьяны. Потом этот балаган сгорел вместе со всеми животными, а на его месте появился зверинец Крейцберга, то и дело попадавший в московскую хронику происшествий и тем в основном прославившийся: то оттуда сбегал тигр и насмерть задирали протопопа церкви Николы на Мясницкой, то бесился слон и крушил все вокруг, так что приходилось вызвать солдат, чтобы расстреляли животное (в туше потом нашли 144 пули и об этом писали все московские газеты).

Все эти зрелища были востребованы в основном средними и низшими городскими слоями. Верхи общества развлекались преимущественно в своем кругу. Одним из основных видов светского времяпрепровождения уже с восемнадцатого века были балы, подчинявшиеся как этикетным требованиям, так и своеобразному ритуалу, полностью оформившемуся в Москве в первые годы девятнадцатого века (почему

позднее его торжественно называли «фамусовским бальным канон»).

Канон предусматривал заранее разосланные приглашения, специальное бальное убранство дома — иллюминированный подъезд, крыльцо, затянутое тиковой палаткой, ковровую дорожку от экипажа до дверей, лестницу, убранную цветами и вечнозелеными растениями, шеренги лакеев в парадных ливреях и напудренных париках с косичками (по моде восемнадцатого века), выстроившихся вдоль этой лестницы. Обязательны были и жандармы у подъезда, которые следили за порядком, а по окончании мероприятия выкликали фамилии владельцев карет.

В залах полагалось полное освещение, поэтому в люстрах и бра горели сотни свечей (особенно торжественным считалось если восковых, а не сальных); свечи эти исправно нагревали воздух и создавали в помещениях почти тропическую жару.

Рядом с танцевальным залом полагался открытый буфет, обставленный по периметру прилавками, на которых в хрустальных чашах глаз радовали фрукты, конфеты и печенье, стояли графины с разноцветными прохладительными напитками и кипящий серебряный самовар.

Открывались танцы торжественным «польским» («полонезом»), в котором участвовали все приглашенные, причем хозяйка дома шла в первой паре об руку с наиболее почетным гостем, а за ними выступал хозяин с самой важной гостьей. После полонеза молодежь продолжала плясать, а гости постарше расходились по гостиным, где предавались карточной игре — висту, бостону, а после 1840-х годов — преферансу.

Танцевали три кадрили, перемежавшиеся «легкими» танцами — вальсами, польками, а финалом-

апофеозом вечера был котильон — танец-игра, объединявшая все эти танцы и еще мазурку.

К котильону устроители бала готовились заранее: запасались особыми котильонными «орденами», всякими бантиками, бубенчиками, карточками со словами, букетиками цветов и пр., что участвовало потом в игре.

Обладатели одинаковых «орденов», врученных бальным распорядителем, составляли пару, хотя бы до этого были едва знакомы друг с другом. Пару могли составить и обладатели карточек с общеизвестными именами, к примеру — Демон, Тамара, Онегин, Татьяна и пр. «Получивший карточку должен был отыскать суженого ему компаньона и протанцевать с ним. Иногда распорядитель подхватывал двух дам или двух кавалеров, предлагал каждой или каждому избрать название цветка или предмета, подводил к желаемому ими танцующему и предлагал ему выбрать — розу или фиалку, крапиву или чертополох. Последнее, конечно, о мужчинах. Выбранный танцевал с выбравшим, а невыбранная с распорядителем»^[449].

Все это вносило в бальный церемониал элемент неожиданности и оживления и делало завершающую часть танцевальной программы особенно захватывающей. Вообще переживаний на балах хватало: будет ли успех, пригласит ли «он» — и как пригласит — заранее или перед самым танцем. И если пригласит, то на какой танец, ведь все знали, что вторую кадрили танцуют «по обязанности», а третью — «по любви».

Ну а после котильона «в залу должны были вноситься столы для ужина с лежащими на приборах карточками-меню. Карточки эти входили в ритуал московских балов и к концу ужина бывали испещрены

самыми разнообразными надписями, остроумными и неостроумными, любезными и нелюбезными»^[450].

После ужина — обычно уже в предутренние часы — гости постепенно разъезжались, увозя с собой кто досаду, кто список побед, кто сладкие воспоминания, заставлявшие потом трепетно хранить помятое меню или «те самые» бальные туфли, на подошве которых можно было и надписать: «Впервые увидела Его» (туфли с такой надписью есть в запасниках Исторического музея).

Уже с 1830-х годов балы перестали быть привилегией одного только дворянства и «спустились» в другие общественные слои: сперва к купечеству, а во второй половине века устраивались уже и студенческие балы, и балы художников, магазинных приказчиков, домашней прислуги, а еще более распространены оказались танцевальные вечера, на которых тоже плясала вся Москва, и тем охотнее, что для вечера, в отличие от бала, не нужно было ни жандармов, ни лакеев в пудре, ни ковров, ни даже оркестра — достаточно было нанять пианиста-«тапера», и все получалось очень хорошо и весело.

Разновидностью бала были маскарады, устраивавшиеся в Москве на Святки и Масленицу, как частные, в домах вельмож, так и публичные — в клубах и Большом театре. Частные маскарады, как и балы, посещались по приглашениям, а на публичные всякий желающий мог купить билет в кассе.

На частные маскарады старались сшить или, в крайнем случае, взять напрокат в театральной костюмерной специальный костюм, порой довольно замысловатый. В отношении маскарадного наряда фантазию ничто не ограничивало. Рядились магами и волшебницами, животными и птицами, карточными и шахматными фигурами, цветами, предметами

(Мельница, Календарь), надевали крестьянские и народные костюмы всех частей света — арабские, тирольские, цыганские, неаполитанские, даже африканские — наряды исторических и литературных персонажей и т. д. К костюму полагалась маска — черная бархатная или белая атласная, а еще чаще полумаска, к которой пришивали кружевную оборку или бахрому, закрывающие нижнюю часть лица. В такой полумаске легче было дышать и говорить.

Главный интерес маскарада состоял в том, чтобы нарядиться так, чтобы никто не узнал, и кого-нибудь «заинтриговать». С этой целью «маски» меняли походку и жесты, пытались говорить басом или, наоборот, пищать, и подходили к знакомым и незнакомым с разными разговорами, намекали на какие-нибудь малоизвестные обстоятельства, кокетничали, признавались в любви и т. д. Иногда к интриге заранее готовились, наводя справки и собирая сведения об интересном «предмете», а потом с успехом морочили ему голову, заставляя теряться в догадках по поводу осведомленности маски. Особенно большой маскарадной удачей считалось, если удалось «заинтриговать» знакомого и при этом самому остаться неузнанным. В конце частного маскарада (а иногда и в середине его по просьбе хозяев) все должны были снять маски.

Из публичных наиболее известны были маскарады в Большом театре, которые давали после спектаклей, в 11 часов вечера: зал превращали в танцевальный, для этого настилали навесные полы прямо поверх зрительских кресел и оркестровой ямы. В разных концах большого зала получалось две эстрады: одна на сцене для бального оркестра, другая в торце, за барьером, огораживающим «кресла» — для цыганского или тирольского хора. Иногда на сцене устраивали фонтан. Вход на маскарад был платным только для

мужчин; дамы проходили свободно. Народу набивалось очень много, но современники вспоминали, что общая атмосфера не отличалась веселостью: было тесно, из курительных комнат проникал запах дыма, танцевали мало, интриговали без увлечения. В одном из фойе устраивали большой буфет с горячительными напитками, и состоявшие при буфете блюстители порядка безжалостно выпроваживали на улицу каждого, кто этими напитками злоупотреблял.

На публичные маскарады довольно часто ездили мужчины «из общества»; светские же дамы посещали их сравнительно редко, как место малодостойное: по маскарадной традиции «маске» говорили «ты»; ее можно было брать за руки, за талию и вообще проявлять вольности, несвойственные обычному обращению. Только в царствование Николая I, когда на маскарады была большая мода, ездили чаще. В любом случае, большинство дам «из общества» в танцах не участвовали и приезжали «только посмотреть», а порой и как бы ненароком встретиться с поклонником. Сидя в ложах, они пили шампанское, ели фрукты и конфеты, принимали посетителей и в зал не выходили.

Основными посетительницами маскарадов были «дамы полусвета», «снимавшие» здесь клиентов, а иногда тут же их и обслуживавшие (для этой цели тоже использовались театральные ложи, благо они имели задерживающиеся занавески и запирались на задвижку). Соответственно, мужчины чаще всего приезжали в Большой без масок и в обычной одежде, лишь изредка набросив на плечи маскарадный плащ — домино, а «дамы» старались «подать товар лицом» и потому надевали мужские костюмы или что-нибудь маскарадное с огромным декольте, облегающим трико или ультракороткой юбкой (какая-нибудь Бабочка, Стрекоза, Цирковая наездница и пр.), так что

распорядители иногда бывали вынуждены выводить вон красотку в чересчур уж откровенном наряде.

Выводили и за слишком бойкую манеру танцевать. Особенно много забот в этом отношении доставлял канкан, вошедший в моду в 1860-х годах и сразу поселившийся на танцевальных вечерах богемы и студенчества. «Такого забористого канкана я не видел и в Париже», — вспоминал современник^[451]. Достаточно сказать, что одна из фигур этого новомодного танца заключалась в том, что дама, резко вскинув ножку в ворохе юбок, должна была носком туфельки сбить пенсне, сидящее на носу у ее партнера. Ясное дело, что для нравов девятнадцатого века такие телодвижения были чересчур эпатазирующими и прямо неприличными. В подобных случаях распорядители находили нужным вмешаться. «Пытавшихся резко канканировать немедленно усмиряли, а при непослушании и сопротивлении выводили без церемоний»^[452].

Еще одним «благородным развлечением», распространенным в образованных слоях населения, были так называемые «живые картины». Они были распространены главным образом на семейных балах и вечерах без танцев. Зрелище требовало некоторой подготовки и репетиций, поэтому готовилось заранее, часто в виде сюрприза кому-нибудь из членов семьи. Для живых картин выбирали несколько сюжетов, хорошо известных всем зрителям — исторических, мифологических, литературных и т. п., к примеру: «Три грации», «Мария Стюарт в темнице», «Аполлон и музы», «Венецианские гондольеры» или даже «Три богатыря», затем распределяли роли и готовили реквизит. Участвовали преимущественно дети и молодежь из числа родни и друзей дома. Если была возможность, писали декорации и шили специальные костюмы, а нет — так импровизировали из подручных материалов,

вешали драпировку, сводили костюм к нескольким деталям: плащ, корона, кинжал и т. п.

Представляли на специально устроенной сцене: занавес раздвигался и под музыку на подмости выходили участники, располагались группой и по команде, шепотом отданной распорядителем, замирали в полной неподвижности, как на картине. Через минуту по новой команде позы менялись, и возникала новая сцена на тот же сюжет, а потом еще раз. Особенно изысканной считалась такая живая картина, в которой после всех передвижений действующих лиц возникала сцена, в точности повторяющая какое-нибудь общеизвестное живописное полотно. Всего за представление могли дать от трех до пяти «живых картин». К примеру, в сохранившейся программе домашнего праздника у князей Юсуповых значатся такие: «Четыре времени года», «Прогулка», «Три парки», «Спальня одалиски» и «Урок танцев», а в письме известного поэта Василия Львовича Пушкина описан вечер с «живыми картинами», данный Мусиными-Пушкиными 1 мая 1819 года. «Первая картина изображала Корнелию, мать Гракхов, указывающую жене Кампанейской на детей своих. — Кн. Волконская с детьми своими была Корнелия, а сестра двоюродная ее мужа, кн. Волконская — Кампанейская жена. Во второй картине гр. Варвара Алексеевна представляла святую Сесилию, играющую на арфе и окруженную поющими ангелами (сыновьями Веневитиновой). Эта картина была прелестна! Третья картина показывала нам Антигону, ведущую слепца Эдипа: Антигона была гр. Софья Алексеевна, а Эдип — Тончи. Зрелище, можно сказать, очаровательное. В антрактах кн. Маргарита Ивановна Ухтомская играла на фортепьяно, Пудиков на арфе, славный валторнист Кугель на валторне»...^[453]

Из вседневных развлечений образованные горожане предпочитали посещение клубов.

Старейшим из них был Английский клуб, возникший в Москве в 1772 году. За образец при его создании были взяты клубы, издавна существующие в Англии. Как и прообраз, московский клуб предназначался для приятного проведения досуга, особенно немолодыми холостяками. Здесь можно было пообедать, выпить кофе или вина, сыграть партию-другую в карты, почитать какую-нибудь книгу, полистать свежие газеты и журналы на европейских языках, скоротать время за беседой с приятелем или послушать разговор умных людей, обсудить новости. Но в отличие от тех клубов, которые существовали в Англии, где можно было жить, как в гостинице, и всегда имелось несколько комфортабельных спальных комнат, московское заведение предназначалось только для «дневного пребывания» и после определенного времени (часа ночи) находиться здесь можно было лишь выплачивая штраф, неуклонно возраставший каждые полчаса.

За время своего существования, с 1772 по 1918 год, Английский клуб сменил несколько помещений. Первоначально он находился в Немецкой слободе, в Посланниковом переулке — и этот его дом не сохранился. С начала XIX века и до войны 1812 года адресом Английского клуба был дом Гагарина на Страстном бульваре (нынешнее здание городской больницы № 20). Именно здесь произошел исторический обед 1805 года в честь героя военной кампании князя П. И. Багратиона, использованный Л. Н. Толстым в «Войне и мире» (сцена ссоры Пьера Безухова с Долоховым).

С 1815 года Английский клуб квартировал во флигеле дома генерала Н. Н. Муравьева на углу Малой Дмитровки и Столешникова переулках, и лишь в 1830 году переехал, наконец, по своему наиболее известному

адресу на Тверскую улицу, в дом, принадлежавший ранее графу Разумовскому.

Одновременно состоять в Английском клубе могло 3 тысячи человек. Большую часть его истории членами его были только дворяне; лишь к концу XIX века это правило стало нарушаться и тогда в числе принятых оказалось немало представителей состоятельной купеческой верхушки (в частности, известный коллекционер П. И. Щукин). Членство считалось очень престижным, и добиться его было не так просто. «Есть люди, — замечал П. Вистенгоф, — ожидающие поступления в члены Английского клуба с таким же нетерпением, как другой ордена или чина» ^[454].

Кандидаты на освобождавшиеся вакансии проходили процедуру баллотировки, в которой участвовали все наличные члены, и даже один черный шар, опущенный в урну для голосования, преграждал соискателю путь к вожделенному членству. Впрочем, наиболее известным и уважаемым москвичам руководство клуба само предлагало в него вступить, и это воспринималось как особая честь. Среди тех, кто в разное время состоял в московском Английском клубе, были известный философ П. Я. Чаадаев, декабрист М. Ф. Орлов, историк П. И. Бартенев, библиограф-любитель и известный остроумец С. А. Соболевский, университетские профессора И. И. Давыдов и М. Т. Каченовский, поэт М. А. Дмитриев (именуемый «Лжедмитриевым» для отличия от своего дяди, поэта-классика и тоже члена клуба). Был в числе членов молодой Л. Н. Толстой и однажды проиграл здесь на бильярде в одну ночь 6 тысяч рублей.

Принят был в клуб и знаменитый московский актер М. С. Щепкин. Бывший крепостной, он служил в Императорском Малом театре, считался по службе чиновником министерства двора и в один прекрасный

день выслужился и приобрел потомственное дворянство. В клубе Щепкиным особенно дорожили как великолепным рассказчиком, украшением «говорильни» (иначе именуемой «чернокнижной»), в которой собирались те, кто предпочитал игре беседу и создавал интеллектуальную репутацию клуба. «Стены этой „чернокнижной“ были ярко-алого цвета, большие книжные шкафы по стенам, покойная мебель с обивкой несколько устаревшей, облака табачного дыма, столики с заманчивыми напитками, — все придавало обстановке особый притягательный оттенок», — вспоминал современник^[455]. В этих красных стенах разглагольствовали лучшие московские говоруны и рассказчики и выносились самые авторитетные оценки людей и событий, которые на следующий день становились известны в светских салонах и гостиных и превращались там уже в голос «всей Москвы».

И все-таки вполне своим Щепкин в клубной среде, видимо, так и не стал. Рассказывали, что когда в феврале 1861 года был опубликован Манифест об освобождении крестьян, Щепкин, страшно взволнованный, прибежал в клуб с газетами в руках и принялся громко выражать свое восхищение и радость. Один из клубных старичков, сумрачно склонившийся над газетным листом, поднял на актера кислую физиономию и процедил:

— Вы-то чему радуетесь? Вы уж давно вольноотпущенник.

В николаевскую эпоху критическое направление клуба, и прежде всего его «чернокнижной», было либеральным, в эпоху Великих реформ Александра II — крепостническим и консервативным. Здесь активно обсуждались все военные кампании, и самыми рьяными стратегами были те, кто никогда не участвовал ни в одной войне.

Членами клуба бывали по многу лет, и старинные завсегдатаи его являлись сюда практически ежедневно и просиживали целый вечер, то беседуя с ровесниками, то наблюдая за игрой в карты или на бильярде, то просто подремывая в каком-нибудь излюбленном кресле. «Иные, приезжая в клуб, решительно ничего там не делают, а только спят, — свидетельствовал П. Вистенгоф, — и если их разбудит приятель при наступлении штрафа, то удаляются домой опять спать, и просыпаются тогда только, когда наступает время ехать в клуб»^[456].

В 1850-х годах ежевечерним «украшением» клуба был престарелый князь Грузинский. Приезжал он всегда в старинной восьмирессорной карете, запряженной двумя старыми белыми лошадьми — едва ли не ровесницами хозяина, никогда не обедал и не ужинал, не играл, а усаживался на свое любимое место в угол дивана и бывал счастлив, когда удавалось усадить рядом кого-нибудь из молодых сочленов и предаться воспоминаниям: старичок князь был очень словоохотлив. На другом диване, в другом углу сидел в это время завсегдатай Казаков, молча кутивший всегда одну и ту же длинную трубку, которую набивал и подавал ему всегда один и тот же старый клубный лакей.

В молчании проводил время и Н. И. Тютчев, брат великого поэта. Он целый вечер ходил, прихрамывая, по длинной анфиладе клубных комнат, время от времени останавливался, вынимал и клал обратно шар из лузы бильярдного стола или постукивал кулаком по притолоке двери, словно проверяя, крепко ли она держится, и шел дальше.

Наконец, были завсегдатаи, которые в клубе без конца перекусывали и выпивали. Сохранилась запись в одной из клубных счетных книг, заводимых на каждого

из «господ членов», где фиксировались все их требования: «22 числа июля: 1 рюмка хереса, обед, 2 рюмки хереса, порция арбуза, 3 рюмки хереса, порция чаю, 4 рюмки хереса, 3 трубки, 1 рюмочка хереса, судак с картофелем, 2 рюмки хереса, 3 рюмки хереса, 1 рюмка очищенного, 4 рюмочки хереса...» и т. д. ^[457]

Клуб славился своей библиотекой — вероятно, лучшей в Москве. Здесь получали все журнальные и книжные новинки, вплоть до запрещенных цензурой изданий Вольной русской типографии, выпускавшихся за границей А. И. Герценом. В конце 1850-х годов, когда издания Герцена помещали множество материалов, посвященных предстоящей Крестьянской реформе, в Английский клуб регулярно приезжали московский генерал-губернатор и другие «отцы города» — специально, чтобы почитать герценовский «Колокол».

Не менее знамениты были и обеды Английского клуба. Здешний повар традиционно считался лучшим в Москве и всегда оправдывал свою репутацию. Московское барство выстраивалось в очередь, чтобы отдать в обучение к кудеснику из Английского клуба собственных крепостных поваров, но удовольствие это было не из дешевых — до 600 рублей за курс. По средам и субботам в клубе давались большие парадные обеды с особо изысканным меню (так называемая «уха»), на которые съезжалась «вся Москва», где рекой лилось шампанское и после обеда пели цыгане. В экстраординарных случаях устраивались подписные обеды в честь кого-либо из модных знаменитостей. Помимо упомянутого обеда в честь князя Багратиона, славны были обеды Английского клуба в честь покорителя Кавказа фельдмаршала князя А. И. Барятинского, проезжавшего через Москву после того, как им был взят в плен Шамиль, а также обед в честь «белого генерала» М. Д. Скобелева, данного ему

после турецкой кампании 1877 года. В остальные дни клубная столовая работала, как ресторан, и «господа члены» могли получить любые блюда и напитки по карте или порционный обед ценой в 5 рублей.

И все же главной специализацией клуба были всевозможные игры. Неукоснительно соблюдавшееся правило: женщины в Английский клуб ни под каким видом (даже в качестве прислуги) не допускаются, приводило к тому, что ни балов, ни концертов в его стенах не устраивали, зато здесь имелась комната для игры в шахматы и бильярдная (куда заглядывал погонять шары даже сам генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков). В 1830-х годах появилось отдельное помещение для игры в лото — оно неожиданно вошло в моду и лет сорок было очень популярно в московских клубах, включая и Английский, лишь потом переместившись в сферу семейного и детского досуга. Именно клубные игроки придумали те шуточные термины-заместители, которые хорошо известны и всем современным любителям этой игры: «барабанные палочки» (11), «дедушка» (99), «утки» (22), «туда-сюда» (69), «дюжина» (12) и «чертова дюжина» (13), «бобыль» (1), «крючки» (77), «неделя» (7) и «шесть кверху ногами» (9).

Ну и, конечно, центральное место среди всех клубных игр занимали карты. Здесь было несколько помещений для карточных сражений — от «детской», где игра шла «по маленькой», до расположенной в дальней части дома «адской» комнаты, где в одну ночь приобретались и просаживались целые состояния. Карточный долг полагалось выплатить в недельный срок, в противном случае имя неплательщика выносилось на позорную черную доску, и с той поры вход в клуб был для него закрыт, — наказание, которого московские игроки боялись, как черт ладана.

Ведущаяся в Английском клубе карточная игра постоянно пополняла московскую хронику удивительными и ужасными историями о небывалых проигрышах и многотысячных выигрышах. Бывали и замысловатые случаи.

Большую известность в Москве середины века имел антиквар Гаврила Григорьевич Волков. Он был блестящим знатоком старины, и его магазин изобиловал по-настоящему художественными и ценными вещами, на продаже которых торговец, собственно, и разбогател. Услугами Волкова пользовались представители даже придворного ведомства, отбиравшие ценные предметы для дворцового обихода и императорских коллекций.

При всем том Волков был крепостным и долго не мог откупиться на волю у своего барина Голохвастова. «Голохвастов, отличавшийся большой гордостью, отказывал в просьбе, кичась тем, что его крепостной человек обладает большим состоянием и представляет лицо, неизвестное в Москве, — повествовал современник. — Это было в тоне больших бар. Рассказывали, что такой же политики держались и Шереметевы. У них крепостные достигали миллионных состояний и тем не менее, несмотря ни на какие предложения, не отпускались на волю. Шереметев говорил: — Пусть платят ничтожные оброки, как прежде. Я горжусь тем, что у меня крепостные-миллионеры!»^[458] Волков очень хотел жениться на купеческой дочери, но родители девушки не желали отдавать ее за «господского человека». В один прекрасный день Гаврила Григорьевич решил обратиться за помощью к благоволившему ему князю Н. Б. Юсупову. Князь согласился помочь и при первом же удобном случае сел в Английском клубе с Голохвастовым за карты. Вскоре Голохвастов начал

проигрывать и Юсупов предложил ему поставить на карту Гаврилу Волкова, дескать, «коли проиграешь — давай Волкову вольную». Голохвастов проиграл.

Естественно, что клуб притягивал к себе и профессиональных игроков, и шулеров, игравших нечисто. И тех и других в московском обществе было немало: карточная игра считалась вполне приемлемым способом пополнения скудеющего дохода. По тогдашнему московскому выражению, играли «как для удовольствия, так и для продовольствия». В числе наиболее известных московских шулеров был некто Петр Николаевич Дмитриев, который в год составил себе картами громадное состояние, обыграв миллионера Дмитрия Ивановича Яковлева. Наслаждался новообретенным богатством Дмитриев недолго: его самого обыграл шулер Иван Родионович Кошелев, и Дмитриев сошел с ума. Одно время пользовался репутацией нечистого на руку игрока и известный приятель А. С. Пушкина — Павел Воинович Нащокин. В той же категории игроков находился Николай Иванович Квашнин-Самарин, и вообще среди сомнительных игроков часто встречались персонажи со звучными дворянскими фамилиями.

Еще одному шулеру — некоему Равичу — удалось пустить по миру того самого богача Асташевского, о саде которого близ Тверского бульвара говорилось в предыдущей главе. Оставшись практически нищим, Асташевский вынужден был переселиться куда-то в провинцию.

На Страстной неделе Английский клуб закрывался; зато на Святой открывался вновь, и истосковавшиеся в разлуке завсегдатаи с радостными криками «Христос воскрес!» устремлялись на свои любимые и насиженные места.

«Помнится, как, проходя вереницею комнат, — рассказывал граф С. Д. Шереметев, — внушавших

особое чувство какого-то суеверного почтения, некоего даже трепета, я видел сидящих по боковым длинным диванам старичков московских с черешневыми трубками, подагриков, старых знаменитостей, героев своего времени, столбов старой Москвы, не всегда доступных, нередко раздраженных... потомков прежних поколений Москвы допожарной, резонирующей, болтливой, независимой, оппозиционной, своеобразной, иногда смешной, но ни в каком случае не безличной... Иные снисходительно протягивали руки, другие испытывали по части наклонностей и вкусов нового пришельца, другие предупредительно и с сознанием достоинства вводили в особенности и интересы этого сборища, всегда готового оживиться и даже умилиться при виде классической стерляжьей ухи либо при пении цыганского хора, изредка приглашаемого в исключительных событиях»^[459].

Помимо Английского клуба московские дворяне могли членствовать в Дворянском клубе, занимавшем часть помещений Благородного собрания. Здесь главным занятием тоже была игра в карты и имелся ресторан с обедами по 3 рубля 50 копеек, но давались и так называемые семейные вечера, то есть настоящие балы, отличавшиеся непринужденной и веселой атмосферой и потому любимые молодежью. Основными посетителями этого клуба были чиновники, а дворянская «мелочь» из числа небогатых и нечиновных вступала также в возникшие в начале девятнадцатого века Купеческий и Немецкий клубы.

Из них Немецкий, или «Шустер-клуб» («сапожничий»), как его высокомерно называли в аристократических кругах, был основан в 1819 году живущими в Москве иностранцами, преимущественно ремесленниками. Находился он первоначально в одном здании с Благородным собранием, а позднее в доме на

Пушечной улице. С 1830 года посещать Немецкий клуб получили право и русские. Он был популярен у юных чиновников, учителей, приказчиков, актеров из некрупных, модисток, продавщиц и девиц неопределенных профессий. Особенно славились здешние маскарады, собиравшие столько народа, что приходилось арендовать залы в Благородном собрании. Здесь случалось до 9 тысяч посетителей, а ужинать приходилось в четыре смены, причем каждый раз накрывали на тысячу человек.

В Немецкий клуб обожали заглядывать великосветские «шалуны», которые приезжали специально, чтобы устроить какую-нибудь «фарсу» и поскандалить. Приехав развеселой и уже порядочно подогретой компанией, «шалуны» намеренно начинали приглашать на танец дам побезобразнее: кривых, сутулых, необъятных толстух, сухопарых дылд и коротеньких резвушек и, кривляясь, плясали с ними кадрили, проделывая немыслимые антраша и иногда специально роняя какую-нибудь из партнерш на пол. По-немецки обстоятельные и флегматичные клубные старшины, сразу догадавшись, к чему идет дело, дожидались лишь момента, когда кривляния примут совсем уж карикатурную форму, и, остановив музыку, требовали от хулиганов удалиться. Те принимались громко возражать, после чего их брали под руки и, упирающихся, выводили, а иногда и выносили из зала. Оркестр при этом играл туш.

У Немецкого клуба имелась загородная дача в Петровском парке, в бывшем здании «воксала», которая начинала функционировать в июне. Здесь устраивали летние «сельские» балы, бывали представления фокусников и других артистов, пели цыгане.

На протяжении всего девятнадцатого века мода на клубы шла в Москве по нарастающей, так что в итоге к 1890-м годам свой клуб имели и велосипедисты, и

железнодорожники, и лыжники, и служащие в кредитных учреждениях, а у дам их было даже два... Как правило, в клубах ужинали и допоздна играли, но устраивались здесь и любительские спектакли, и ученые диспуты, и литературные вечера, и концерты заезжих знаменитостей.

В числе более простонародных общегородских увлечений девятнадцатого века следует в первую очередь отметить всеобщую, всемосковскую страсть к птицам — певчим и голубям. К нынешним домашним любимцам, тиранам и кумирам, то есть собакам и кошкам, москвичи прошлого были в массе своей довольно равнодушны. Собака (порой и не одна) сидела в каждом дворе в конуре и охраняла дом — или жила на псарне, дожидаясь барской охоты. Дружили с собаками преимущественно дети (а с собачками — старые барыни). Кошки и коты были постоянной принадлежностью всякой лавки, амбара и кухни и исполняли свою работу — боролись с грызунами. Хотя и сидельцы, и кухарки обычно относились к своим кошкам с нежностью и устраивали между собой негласные соревнования на самого крупного и холеного кота, но все же особенно их не баловали и с легким сердцем оставляли на ночь в холодной лавке или неудобной кладовке. Были, конечно, среди москвичей, а особенно москвичек, собако- и кошколюбцы, подбиравшие даже на улицах хвостатых беспризорников и нежно их пестовавшие, но большинство горожан смотрели на эту блажь без сочувствия и с насмешкой. Н. А. Бычкова, служившая домашней швеей в доме купцов Евдокимовых, вспоминала о некой Ольге Ивановне, посещавшей ее хозяйку Марью Дмитриевну: «Собак, кошек у ней ужась водилось. Всех бездомных подбирала. Воньца в квартире — я чуть не задохнулась (посылали меня раз к ней). К нам, бывало, придет, сидит за обедом и так это тихонечко, чтоб никто не видал, суп

ли, жаркое ли, в ридикюльчик потихоньку прячет (так уж всегда с ридикюльчиком ходила). Своим кошкам, значит. Потешалась над ней Марья Дмитривна: „А ну-ка, — говорит, — Ольга Ивановна, открой ридикюльчик-то, покажи, что у тебя там есть“. А та красная сидит, смущенная, несвязное бормочет. Пошутит, посмеется Марья Дмитривна, и с всего-то ей велит из кухни с собой ^[460]надавать».

Иное дело — птицы. Птичка — тварь Божия, она и места мало занимает, и ест немного, и пачкает лишь чуть-чуть, и никакой-то от этой птички пользы, одна только красота и душевное утешение. «Птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку, и на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточку корму да капелька водицы — вот и весь ее паек. А уход за ней небольшой: вымел клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку, — больше ничего и не надо ей» ^[461]. Потому почти во всяком московском доме имелись клетки с канарейками, чижиками, щеглами, синичками, дроздами, а то и с соловьями, а знатоков и ценителей птичьего пения («охотников» по-тогдашнему) было среди горожан видимо-невидимо. Для таких знатоков имелись даже специальные трактиры, которые держал такой же птичий ценитель, и там можно было и увидеть редкие экземпляры певунов, и похвастаться собственными, и обсудить их всласть в компании единомышленников. О наиболее редких по своему пению птицах даже помещали особые извещения в газетах: «Сим извещаются господа охотники, что вывешен соловей старой поклички, которая лет 7 тому назад существовала; можно слушать онего, молодых и старых под ним птиц учить во всякое время, на Большой Тверской улице в доме купца Варгина в трактирном заведении» ^[462]. Если обычная синичка или чижики могли стоять в середине века

копеек 10 (и еще во столько же обходилась месячная порция корма), то хорошо обученная певчая птица — канарейка или соловей — ценилась в десятки и даже сотни, до тысячи рублей и умела петь со всеми птичьими премудростями: соловьи — с дудками и трелями, с овсяночными стукотнями, дробями и свистками, а канарейки — с песнями, трелями, овсянками, россыпями, свистами, дудками, флейтовыми, червяковыми, колокольчиками и бубенчиками. К такому виртуозу любители охотно и за немалые деньги отдавали «в выучку» собственных птиц (выучка заключалась в том, что клетку с учеником вешали возле «наставника», и он постепенно перенимал более замысловатую манеру пения). Очень ценились настоящие знатоки птиц, и для того чтобы проконсультироваться с ними или услышать авторитетное мнение о своем питомце, «охотники» готовы были даже пешком месить грязь через всю Москву.

Не менее нежно Москва любила голубей. Редкий двор, особенно купеческий и мещанский, обходился без своей голубятни. Голубятники составляли особую, тоже очень многочисленную касту среди птичьих «охотников» и пользовались собственными специальными сведениями и особой терминологией.

Одним из наиболее знаменитых голубятников в начале века был граф А. Г. Орлов, имевший первоклассную голубятню и в высшей степени знакомый со специфическим восторгом, рождающимся в душе любителя при виде взмывшей в небо голубиной стаи. Выпуская своих птиц, граф специально приглашал гостей и делал это где-нибудь на лугу, в ясный солнечный день. Для пущего эффекта наливали воды в огромную серебряную миску, так что можно было любоваться не только живыми птицами, но и их отражением.

Единомышленников у сиятельного графа было множество. «Какое было наслаждение смотреть, когда пар пять „турманов“, „чистых“, „чигровых“, выпущенных из голубятни на крышу, поднимались моим приятелем при помощи тряпки, укрепленной на шесте, и на широких кругах уносились все выше и выше, почти скрываясь из виду. Надо заметить, что при подъеме голубей, а также при их спуске турмана кувыркались в воздухе... После полета садились на крышу... и смело опять входили в свое жилище и даже приводили довольно часто с собой „чужаков“, — иногда весьма редкие экземпляры, — составляющих, по охотничьим правилам, премию поймавшего»^[463], — писал в своих воспоминаниях москвич 1860-х годов. Правда, истинные голубятники, если их голубь уходил к чужим, обязательно его выкупали, иногда за большие деньги.

Как и все птичники, голубятники имели собственных арбитров и свои сборные места. В середине века особенно славился среди знатоков некто Уразов, живший в переулке близ Арбата, который имел множество собственных голубей, в том числе дорогих «лобастых турманов». В доме его постоянно толклись «охотники» — и до хрипоты спорили, чей экземпляр породистее. Потом выпивали, закусывали, играли в вист и снова спорили — всё о голубях.

По воскресеньям вся многочисленная армия голубиных «охотников» собиралась кружками на Лубянском или, впоследствии, Трубном рынке и по целым дням обсуждала тонкости и премудрости своего пернатого хобби.

Помимо породистых в Москве обитало и множество простых «сизарей». Вообще птиц в Москве была уйма. Было много лошадей — и извозчичьих, и хозяйских, которые, разумеется, постоянно гадили, а этим навозом питались огромные стаи московских воробьев. Галки и

вороны кормились по помойкам во дворах, а голуби «столовались» около хлебных лабазов и на железнодорожных станциях. Традиционно много голубей было на Красной площади, где их специально прикармливали все желающие. Возле храма Василия Блаженного и вдоль китайгородской стены сидели бабы-торговки с моченым горохом в корзинах и за копейку рассыпали на мостовой стакан горошка, на который тут же слетались постоянно дежурившие неподалеку голуби.

Надо сказать, что порой любовь к птицам в Москве приобретала довольно специфические формы. Весьма многочисленной категорией «охотников» были любители петушиных боев. Модой на это жестокое развлечение Москва, как говорили, тоже была обязана вездесущему графу Алексею Григорьевичу Орлову. Он якобы первым выписал из Англии породистых боевых птиц (красного пера) и с большим вниманием потом следил за их разведением в России, так что каждое снесенное курицей яйцо отдельно учитывалось и на каждого петуха заводилось досье. Соперником Орлова скоро стал богач Всеволожский, петухи которого были серого окраса, и стараниями этих двух энтузиастов уже после 1812 года бойцовая порода широко распространилась за пределы аристократической Москвы. Смешавшись с местными птицами, «англичане» дали начало новой породе — более высокой и сильной, чем первоначальная.

Со временем круг любителей петушиных боев неимоверно разросся и поражал разнообразием сословной принадлежности. Тут встречались и купцы, и духовные особы, и студенты, и полицейские, и барская прислуга — кучера, повара и пр., и, конечно, среди дворянства тоже не прошел вкус к этой забаве. На боях встречались и иностранцы, как заезжие, так и постоянно живущие в Москве. Цена на боевую птицу

среди «охотников» колебалась в середине века от 3 до 75 рублей, но бывала и много выше. Петушатники, как и прочие любители, имели свой жаргон, свои суеверия, легенды и профессиональные критерии. Кстати, именно в этом кругу родилось понятие «ничья» — «это выражение оканчивает бой в том случае, когда оба петуха дойдут до изнеможения и не в состоянии победить друг друга»^[464], — пояснял этот термин большой знаток птичьих боев В. Н. Соболев.

Вплоть до 1830-х годов бои устраивали просто в комнатах или посреди двора, а позднее для поединков стали строить специальные огражденные арены (или «ширмы», как их называли профессионалы): над круглой в плане загородкой метра два в диаметре делали навес на столбах; внутреннее пространство «ширма» обивалось по полу и стенкам войлоком. Вокруг амфитеатром ставились скамьи для зрителей.

Местом проведения боев были собственные дома «охотников» или некоторые трактиры, а география их была довольно разнообразна: то это было в Охотном ряду, то за Тверской заставой, то на Дербеневке, то на Остоженке (с 1855 года) в известном трактире «Голубятня», то на Смоленском рынке, то на Домниковке; в 1880-х годах в Зарядье, «в Кривом переулке, дом Даниельсена»...

Устраивались петушиные бои начиная с октября, по вечерам, в шесть часов; на них, как и в прочих развлечениях такого рода, держали заклады (пари), нередко довольно крупные — в несколько сот рублей. После каждого, говоря по-современному, «раунда» хозяин выигравшего петуха поил всех присутствующих чаем и водкой, потом все вновь высыпали во двор и начинался новый поединок, так что все мероприятие могло тянуться часами и заканчивалось иногда далеко за полночь. В «сборное» воскресенье, на первой неделе

Великого поста, бои начинались с утра и продолжались иногда целые сутки.

В числе «спортивных зрелищ» считалась в Москве и медвежья травля. Она имела древние корни, уходящие, по меньшей мере, в XVI столетие (любителями этого зрелища были еще Иван Васильевич Грозный и его сыновья). Ее показывали, как чисто национальное зрелище (наряду с цыганским пением), всем заезжим иностранцам, и, конечно, в самой Москве у этого зрелища было множество поклонников. «Нам захотелось посмотреть какое-нибудь здешнее развлечение... — рассказывала в начале века гостя княгини Дашковой ирландка М. Вилмот, — как я потом сожалела об этом! Зрелище было ужасным. Громадная собака, спущенная с цепи, напала на несчастного мишку, который был *прикован*. Он пытался защищаться от разъяренной собаки, которая вцепилась ему в горло. Мы закричали: „Прекратите!“ и стали просить, чтобы их разняли, а сами поспешили уйти»^[465]. Возможно, правда, не все было так ужасно, и содержатели травли не стремились зря изводить добро. Во всяком случае, в начале 1840-х годов П. Вистенгоф замечал не без яду, что каждое лето «за Рогожской заставой знаменитый Бардин начинает обыкновенно травить своего лютого медведя „ахана“, которого он не может затравить в течение 20 лет»^[466].

Место медвежьей травли находилось в XIX веке сперва за Тверской заставой, на месте нынешнего ипподрома, а в 1830-е годы переехало за Рогожскую заставу, где просуществовало до второй половины 1860-х годов, Размещалась травля при живодерне и за время своего существования сменила нескольких владельцев. Сперва ее хозяином был тот самый Бардин, потом поочередно Щелканов, Шкарин и Богатырев.

Рядом с сараями, в которых сдирали шкуры с палых лошадей и других животных, находился «круг», амфитеатром обставленный местами для публики. Публики собиралось до трех тысяч человек. В «круг» на канате выводили медведя и привязывали его за кольцо, ввинченное в зарытые в землю и уложенные крест-накрест бревна. Для движения медведю оставляли канат длиной примерно в три с половиной метра и затем выпускали собак — огромных и свирепых медвежьих псов (некоторые из них валили медведя в одиночку), а в помощь им иногда «мордашей». По краям «круга» дежурили мужики, готовые пустить в ход дубины, если медведь сорвется и кинется на публику, а также если публика слишком разбуянится (что и бывало нередко). Вариантом зрелища были бои двух медведей.

Здесь же, на рогожских живодернях, устраивали иногда и бычьи травли (собак спускали на быка), также пользовавшиеся громадной популярностью, — зрелище очень эффектное и в то же время опасное, поскольку громадное животное было без привязи и иногда вырывалось и бросалось на зрителей.

Хотя настоящий спорт, в современном понятии, начал приходить в Москву лишь во второй половине девятнадцатого столетия, а преимущественно даже в начале двадцатого (коньки, затем велосипед, лыжи, гребля, футбол, теннис — в такой последовательности), москвичи всегда были поклонниками различных азартных зрелищ и исстари увлекались всевозможными единоборствами и конскими ристаниями.

Давняя, еще допетровская, традиция имела в Москве и у кулачных боев. В XVIII и самом начале XIX века Святками и Масленицей бои устраивались на льду Москвы-реки у Москворецкого моста и на Неглинной, возле Троицкого моста, прямо напротив кремлевского Потешного дворца, и участвовать в них не гнушались первейшие тогдашние вельможи. В числе лучших

бойцов считался и граф Алексей Орлов, без которого подобная забава, конечно, не могла обойтись. Он не только сам выходил на лед, а когда пришло время, выводил с собой и двоих племянников, сыновей Федора Орлова — Алексея и Михаила, но и лично раздавал награды лучшим бойцам. Бывали кулачные бои в начале девятнадцатого века и на Бабьем городке (недалеко от Крымского брода), у Дорогомиловского моста (стоявшего на месте нынешнего Бородинского), в Немецкой слободе на речке Синичке и в Крутицах.

В начале века активнейшими участниками боев были московские студенты. На Неглинной, как вспоминал И. М. Снегирев, «сходились бурсаки духовной академии и студенты университета, стена на стену: начинали маленькие, кончали большие. Университетантам помогали неглинские лоскутники (оборванцы. — *В. Б.*). Когда первые одолевали, то гнали бурсаков до самой академии. Народу стекалось множество; восклицания сопровождали победителей, которые нередко оставляли поприще свое, по старой пословице: „наша взяла и рыло в крови“» ^[467].

Затем такие бои стали считаться простонародным занятием, и уже к 1830-м годам увидеть их можно было только на рабочих окраинах — в Сокольниках, в Преображенском, в Лефортове, на Красном Холму и участниками их были рабочие различных фабрик и жители дальних слобод.

Проводились бои зимой, по воскресеньям и в праздничные дни, ближе к вечеру, в сумерки, причем затевалось «побоище» отнюдь не спонтанно, а после серьезной подготовки. По меньшей мере, за неделю предводители обеих «стен» (команд) собирались в каком-нибудь из фабричных трактиров и подробно оговаривали место, время и все условия. Дня за два до боя о нем становилось известно всем

интересующимся, — а поклонников у этого зрелища в Москве была масса.

«Обыкновенно стенки устраивались между двумя вечно почему-то враждовавшими одна с другой фабриками: суконщиков Носовых и платочников Гучковых. Каждая из них считала в те времена <в середине века> от 4 до 5 тысяч душ фабричных, так что главные действующие корпуса этих своеобразных маневров оказывались равносильными, и к каждому из них присоединялись вспомогательные отряды, высылаемые с других фабрик и входящие в состав носовской или гучковской армии сообразно тому, к чьей стороне склонялись нравственной симпатии того или другого отряда»^[468], — вспоминал Д. А. Покровский о боях в Сокольниках. Сопровождался бой страшным шумом и криком, поскольку и участников, и болельщиков набиралось до нескольких тысяч человек.

Начинали бой, по традиции, мальчишки, потом шли новички из молодежи, а уж напоследок вступали взрослые бойцы. Вокруг масштабного побоища толпились зрители; заключались взаимные пари, и в зависимости от того, чья сторона брала верх и разгоняла противников «по печкам», считались выигравшие и проигравшие. Купцы-любители нередко тут же награждали лучших бойцов деньгами. Естественно, что во время этой «товарищеской потехи» хватало и покалеченных, а зачастую и убитых.

Наиболее сильные и умелые бойцы пользовались общегородской славой и окружались всеобщим восхищением, а о подробностях боя потом долго вспоминали и стар и млад. И. Е. Забелин, будущий известный историк и директор Исторического музея, в 1830-х годах учился в Сиротском училище в Матросской Тишине и вспоминал, что бои происходили буквально у них под стенами. «Зима 1833 года, — писал он, — вся

проведена была под впечатлением этих боев, была героической эпохой в наших понятиях. Непрерывные рассказы, как какой боец съездил в лоб другому и погнал стенку, как одного чуть не до смерти изувечили за то, что у него оказалась в кулаке бабка-свинчатка, которой он поражал противников, в то время как строго воспрещалось брать что-либо в кулак, как другого сильно поколотили за то, что он стал бить лежачего, а по закону лежачего не бьют. В рассказах выяснялись правила, уставы кулачного боя, строго соблюдаемые, а с ними выяснялись и нравственные правила и уставы, как следовало драться честно и благородно. По глазам и по носам не бить, бить только в лоб, под микитки, то есть под вздох, под ребра не бить. Кто нарушал правила, уставы, тому всегда доставалось очень больно, но, конечно, такие скоро убегали и были защищаемы своей стеной» ^[469].

Закон не бить лежащего часто помогал наиболее слабым бойцам выйти из драки: стоило упасть на землю и можно было ползком выбраться из гущи дерущихся. Когда одна из «партий» начинала одерживать верх, то, как писал Н. П. Розанов, сам в отрочестве участник подобных боев, «об этом мигом распространялась весть по ближайшим мастерским, харчевням, пекарням, и отсюда выскакивали на помощь новые, более сильные бойцы, по дороге наскоро засучивавшие рукава и налетавшие на противников с кулаками. Когда бой принимал уж слишком широкие размеры, появлялась полиция из соседних кварталов и даже приезжал сам полицмейстер с казаками, которые нагайками разгоняли толпу дерущихся. Последние были, однако, очень недовольны таким вмешательством полиции и выкрикивали по ее адресу разные нелестные для нее эпитеты» ^[470].

Уже в 1830-х годах кулачные бои, как развлечение жестокое и кровопролитное, были в Москве официально запрещены, а на фабрикантов, рабочие которых участвовали в «стенках», накладывали значительные штрафы, но даже после этого популярная забава лишь ушла в подполье и уже на нелегальном положении продолжала существовать до 1850-х или даже начала 1860-х годов.

Родоначальником конного спорта в Москве также был азартный и увлекающийся граф А. Г. Орлов. Владелец знаменитого конного завода, он, как всякий истинно русский человек, страстно любил быструю езду и любил похвастаться отличными рысаками. Первые бега были устроены им в 1785 году на Калужской дороге, неподалеку от его собственной загородной усадьбы, и с этого времени сам граф обязательно участвовал в состязаниях. Чуть позднее маршрут бегов стал проходить от Шаболовки через Москворецкий мост до Устьинского моста; в 1797 году передвинулся на Донское поле, к Донскому монастырю, а зимой бега стали устраиваться на льду Москвы-реки, на отрезке между Большим Каменным и Москворецким мостами. На льду устанавливались трибуны («беседка») для зрителей, деревянной изгородью обносился «круг» для лошадей. Соревновались всадники, одиночные запряжки и тройки. Победителям назначались призы.

Хватало и платной публики на трибунах, но еще больше бывало зрителей-безбилетников, осаждавших обе стороны набережной и мосты. Порой собиралось полгорода — по несколько десятков тысяч человек.

«Особенно велик наплыв бывал, когда „шли“ тройки, — вспоминал П. И. Богатырев. — Есть что-то азартное в русской тройке, что-то опьяняющее, — кажется, оторвался бы от земли и унесся за облака. Какой потрясающий крик вырывался из ста тысяч грудей, когда лихая тройка, стройно несущаяся, птицей

быстролетной „подходила“ первая к „столбу“! Взрыв крика сопровождался оглушительными аплодисментами, это была какая-то буря народного восторга»^[471]. Естественно, что владельцы самых резвых троек, такие, как многократные в середине века победители — «охотники» Богатырев и Лаптев, были невероятно популярны среди публики, и их появление не только собирало на бегах толпы народа, но и встречалось приветственными криками и восторгами.

Обожая бега, к скачкам московские жители оставались равнодушны, и когда их стали устраивать, принимали их без энтузиазма.

В начале XIX века летние бега переместились на Петербургское шоссе, в 1820-х годах — на территорию между Смоленским рынком и Пречистенкой, образовавшуюся после ликвидации укреплений Земляного города, а в 1834 году — на Ходынское поле, где позднее был выстроен первый деревянный ипподром, сменившийся каменным уже в 1950-х годах.

С конца 1850-х годов все большую популярность в городе стало набирать катание на коньках, а стало быть, и катки. В более раннее время на коньках в Москве катались только иностранцы.

Пруд для катка тщательно расчищали широкими скребками. Снежный сугроб вокруг утыкали маленькими елочками. Вдоль дорожек на столбах развешивали гирлянды разноцветных флажков, а с наступлением эры электричества — и разноцветные электрические лампочки. В решетчатой беседке по средам и воскресеньям непременно играл духовой оркестр (особенным шиком считалось, если военный), а по блестящему льду скользили катающиеся — молодые люди в обтянутых рейтузах и коротких куртках, с развевающимися шарфами и барышни с муфтами, в юбочках, открывающих щиколотки. Дамы постарше,

закутанные в меха, сидели в финских креслах на полозьях, которые толкали перед собой их кавалеры-конькобежцы. Вход на каток был платный; можно было купить абонемент. Имелся инструктор, обучавший не умеющих кататься и простым движениям, и даже элементам фигурного катания.

По краю катка шла дорожка для конькобежцев, для которых несколько раз за сезон устраивались «гонки». На Рождество, Новый год и Масленицу проводили карнавалы. В эти дни лед заполняли Снежинки и Снегурочки, Клоуны и Мефистофели, и каждому входящему вручались по несколько талонов, которые следовало отдать тому, чей костюм казался наиболее достойным приза...

Места для катания устраивали как на общественной территории — на Чистых и Патриарших прудах, в Зоологическом саду, так и в частных владениях, к примеру, в садоводстве Фомина в Богословском переулке близ Петровки (неподалеку от будущего театра Корша); в саду при доме Лазарика, там же на Петровке, на Новой Басманной в доме Алексеева и в других местах.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Городской вид. Фото. 1880-е гг.



***Вид Новой Басманной улицы от Разгуляя. Фото.
Конец XIX в.***



Трубная площадь. Фото. Конец XIX в.



Зарядье. Фото рубежа XIX-XX вв.



***Вид Высокояузского моста вниз по реке. Фото
Н. А. Найденова. 1880-е гг.***



Моховая улица. Фото Н. А. Найденова. 1880-е гг.



Тверская улица. Фото. Конец XIX в.



**Фонарщик. Рисунок неизвестного художника.
1830-е гг.**



Будочник. Рисунок П. И. Челищева. 1820-е гг.



Водовоз. Фото. 1890-е



***Пожар Большого театра. Неизвестный художник.
1853 г.***



***Очередная у бассейна. Художник В. Г. Перов.
Вторая половина XIX в.***



***Купеческое семейство в театре. Рисунок
В. М. Васнецова. 1869 г.***



В московском трактире. Литография. 1880-е гг.



Половой. Фото. Конец XIX в.



***Зал ресторана «Большой Московской Гостиницы».
Фото. 1900-е гг.***



Старое здание Биржи на Ильинке. Фото. 1880-е гг.



Ряды. Тильная часть. Фото Н. А. Найденова. 1880-е гг.



***Ряды. Никольский «глаголь». Фото
Н. А. Найденова. 1880-е гг.***



***Ряды. Ильинский «глаголь». Фото Н. А. Найденова.
1880-е гг.***



***Городские ряды. Узенький ряд. Фото
Н. А. Найденова. 1880-е гг.***



***Городские ряды. Средний поперечный проход от
памятника Минину и Пожарскому. Фото
Н. А. Найденова. 1880-е гг.***



Сундучник. Акварель Б. М. Кустодиева.



Шутники. Художник И. М. Прянишников. 1865 г.



Торговец пирожками. Фото рубежа XIX-XX вв.



Воскресный торг у Сухаревой башни. Фото. Конец XIX в.



Ильинские ворота. Художник П. И. Моисеев. 1850 г.



***Развал. На Смоленском рынке. Художник
Е. С. Сорокин. 1852 г.***



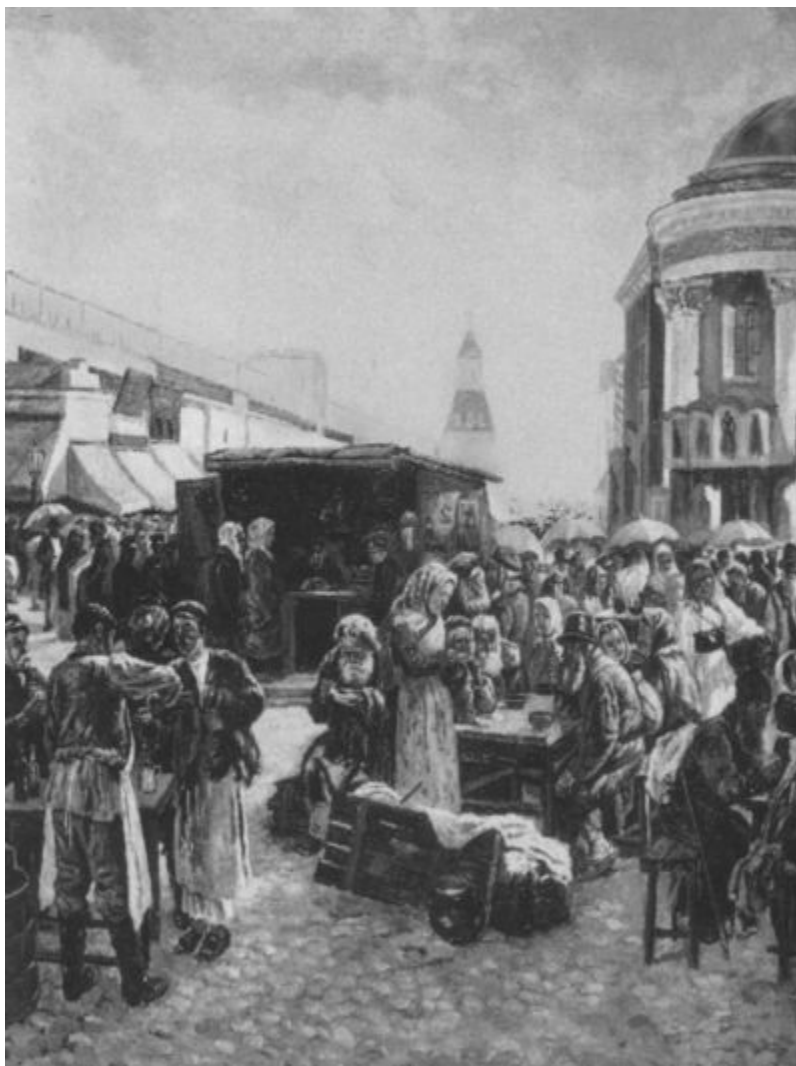
***Гулянье под Новинским. Литография середины
XIX в.***



Охотный ряд. Фото Н. А. Найденова. 1880-е гг.



Кузнецкий Мост. Фото. Конец XIX в.



***Старая площадь. Толкучий рынок. Художник
В. И. Позднеев. 1890 г.***



Хитров рынок. Фото. 1890-е гг.



Нищий. Фото рубежа XIX-XX вв.



Торговка платками. Фото. Конец XIX в.



Блинник. Фото. Конец XIX в.



***Ночлежный дом. Художник В. Е. Маковский.
1889 г.***



У винной лавки. Фото А. Н. Васильева. 1890-е гг.



Артель обедает. Фото. 1890-е гг.



***Крестный ход в Москве на праздник Богоявления.
Рисунок А. М. Васнецова. 1881 г.***



***Великий пост. Исповедники. Рисунок
В. Н. Каразина. Вторая половина XIX в.***



***Торжественный въезд Александра II в Москву по
Тверской улице на церемонию коронации.
Неизвестный художник. 1856 г.***



Иллюминация Москвы по случаю коронации 1883 года. Художник Н. Е. Маковский. 1883 г.



Лавки у Владимирских ворот Китай-города. Фото рубежа XIX-XX вв.



***Торжественный молебен у иконы Боголюбской
Божией Матери. Фото. 1890-е гг.***



***Народный праздник на Ходынском поле 18 мая
1896 года. Фото. 1896 г.***



Жертвы давки на Ходынском поле. Фото. 1896 г.



Студенческий пикник на Воробьевых горах. Фото. 1890-е гг.



Станция конки у Серпуховских ворот. Фото. 1890-1900-е гг.



Вид Тверского бульвара с колокольни Страстного монастыря. Фото. Конец XIX в.



***Гулянье в Сокольниках. Неизвестный художник.
Середина XIX в.***



***Масленичное гулянье на Девичьем поле. Художник
А. П. Рябушкин. 1882 г.***



***Шарманщик. Литография по рисунку
И. С. Щедровского. Середина XIX в.***



Санные гонки в Петровском парке. Неизвестный художник. Середина XIX в.



***«Фантастический театр» в саду «Эрмитаж».
Ксилография. 1880-е гг.***



Раяк. Лубок. 1858 г.



***Первомайское гулянье в Сокольниках. Гравюра.
1840-е гг.***



***Семья кондитера Ивана Соколова. Фото. Вторая
половина XIX в.***



Чаепитие в Сокольниках. Фото. 1890-е гг.



Трубная площадь. Фото. Конец XIX в.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994.
- Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. Т. 1. Paris, 1988.
- Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 1–2. М., 2004.
- Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М., 2000.
- Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М., 1997.
- Анненков П. Я. Литературные воспоминания. М., 1983.
- Ансело Ф. Шесть месяцев в России М., 2001.
- Ашукин Н. С. и др. Словарь к пьесам А. Н. Островского. М., 1993.
- Баранов Е. З. Московские легенды. М., 1993.
- Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989.
- Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М., 1994.
- Бахтиаров А. Чрево Москвы // Колосья. 1891. № 9–11.
- Белоусов И. А. Ушедшая Москва. М., 1998.
- Боборыкин П. Д. Китай-город // Боборыкин П. Д. Сочинения: В 3 т. Т. 2. М., 1993.
- Боборыкин П. Современная Москва // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Москва. М., 2004.
- Бочаров Н. П. Москва и москвичи. Историко-статистические очерки, исследования и заметки. Вып. 1. М., 1881.
- Брандес Г. Русские впечатления. М., 2002.
- Брешко-Брешковская Е. Первые ростки русской революции. М., 2005.
- Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990.

Буслаев Ф. И. Мои досуги. Воспоминания, статьи, размышления. М., 2003.

Бутурлин М. Д. Записки. Т. 1-2. М., 2007.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки // Лица. Биографический альманах. Вып. 8. СПб., 2001.

Варенцов Н. А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999.

Василич Г. Москва 1850-1910-х гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 11. М., 1909.

Василич Г. Улицы и люди современной Москвы // Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 12. М., 1909.

Васюков С. И. Былые дни и годы // Исторический вестник 1908. № 1-6.

Вигепь Ф. Ф. Записки. Кн. 1-2. М., 2003.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М., 1842.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 1-3-М., 1903-1911.

Волкова А. И. Воспоминания, дневники и статьи. Н. Новгород, 1913.

Воронов М. А., Левитов А. И. Московские норы и трущобы. Т. 1-2. СПб., 1866.

Воспоминания г-жи Виже-Лебрэн о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795-1801. СПб., 2004.

Вьюрков А. А. Рассказы о старой Москве. М., 1958.

Галахов А. Д. Записки человека. М., 1999.

Гиацинтова С. В. С памятью наедине. М., 1989.

Глинка С. Н. Записки. М, 2004.

Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. Л.; М, 1940.

Голицын В. М. Москва и ее жители 50-х годов XIX столетия // Московский журнал. 1991. № 9-11.

Галицынский А. Очерки фабричной жизни. СПб., 1873.

Гославская С. Записки киноактрисы. М., 1974.

Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988.

Григорьев А. Воспоминания. М., 1988.

Гришунин В. В университет со шпагой // Родина. 2005. № 1.

Гроссман Л. П. Записки д'Аршиака. Пушкин в театральных креслах. М, 1990.

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. М, 1913.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К Вильмот из России. М, 1987.

Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М, 1997.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М, 1998.

Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991.

Дорошевич В. М. Избранные страницы. М., 1986.

Дурылин С. Н. В своем углу. М., 1991.

Дюма А. Путевые впечатления в России. Т. 3. М., 1993.

Евгеньев Б. Московская мозаика. М., 1983.

Евреинов М. Московская старина // Русский архив. 1877. № 10.

Ежов Н. Записки москвича (Картинки, встречи, впечатления) // Исторический вестник 1909. № 10.

Житков Б.М. ...И был свободен обыватель // Вечерняя Москва. 1995. 6 апреля.

Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955.

Забелин И. Е. Воспоминания о жизни // Река времен. Кн. 2. М, 1995.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 1-4. М, 1836-1848.

Загряжский М. П. Записки // Лица. Биографический альманах. Вып. 2. М.; СПб, 1993.

Зенбицкий П. М. Народные гулянья под Новинским // Старая Москва. Вып. 2. М, 1914.

Иванов Е. П. Меткое московское слово. М, 1989.

Иванов П. Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы. М, 1903.

Иванчин-Писарев Н. Д. Письма Н. Д. Иванчина-Писарева к И. М. Снегиреву. СПб, 1902.

Из писем А. Я. Булгакова к брату // Русский архив. 1901. № 1-12.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву. СПб, 1846.

Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М, 1986.

Кетов А. П. Отрывки из воспоминаний Бекетова // Щукинский сборник Вып. 2. М, 1903.

Кизеветтер А. А. На рубеже столетий. Воспоминания. 1881-1914. М, 1996.

Кирсанова Р. Московский «Латинский квартал» // Родина. 1997. № 12.

Кокорев И. Т. Москва сороковых годов. М., 1959.

Коненков С. Т. Мой век М., 1972.

Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1985.

Корженевский П. И. Московские праздники // ОР РГБ. Ф. 436. К 11. № 10.

Корженевский П. И. Московский Сен-Жермен // ОР РГБ. Ф. 436. К 11. № 25.

Кузнецов А. Альманах на 1826 год для приезжающих в Москву и для самих жителей сей столицы, или Новейший указатель Москвы. М., 1826.

Купеческая Москва. Образы ушедшей российской буржуазии. М., 2007.

Левитов А. И. Сочинения. М., 1956.

Левитов И. Путеводитель. Вып. 1. Предварительные сведения по приезде в Москву. Достопримечательные окрестности г. Москвы и ее летние гулянья. М., 1881.

Левитов И. Путеводитель по центру Москвы. М., 1882.

Летите, грусти и печали. Неподцензурная русская поэзия XVIII-XIX вв. М., 1992.

Любецкий В. Панорама народной русской жизни, особенно московской. М., 1848.

Любецкий С. М. Московские окрестности, ближние и дальние, за всеми заставами, в историческом

отношении и в современном их виде, для выбора дач и гулянья. М., 2006.

Любецкий С. М. Старина Москвы и русского народа. М., 1872.

Макаров М. Н. О времени обедов, ужинов и съездов в Москве с 1792 по 1844 год // Русский архив. 1904. № 3.

Малиновский А. Ф. Историческое обозрение Москвы. М., 2007.

Медведев П. М. Воспоминания. Л., 1929.

Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983.

Москва. Быт. XIV–XIX вв. М., 2005.

Москва в начале XX в. М., 1997.

Москва — Петербург: pro et contra. СПб., 2000.

Москва рубежа XIX–XX столетий. Взгляд в прошлое издавна. М., 2004.

Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989.

Московские кулаки // Москвитянин. 1841. № 7.

Московский альбом. Воспоминания о Москве и москвичах XIX–XX веков. М., 1997.

Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1–2. М., 1996–2000.

Московский летописец. Вып. 1. М., 1988.

Московский университет в воспоминаниях современников. (1755–1917). М., 1989.

Мурзакевич Н. Н. Записки // Русская старина. 1887. № 2.

Назимов М. Л. В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год // Русский вестник 1876. № 7.

Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и пережитом. М., 2007.

Нелидов В. А. Театральная Москва. Сорок лет московских театров. М., 2002.

Никифоров Д. И. Воспоминания из времен императора Николая I. М., 1903.

Никифоров Д. И. Москва в царствование императора Александра II. М., 1904.

Никифоров Д. И. Старая Москва. Ч. 1-2. М, 1903.

Нищенство. Ретроспектива проблемы. СПб, 2004.

Орлова-Савина П. К. Автобиография. М, 1994.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя. М, 1987.

Пассек В. Московская справочная книжка, изданная Вадимом Пассеком. М., 1842.

Пассек Т. П. Из дальних лет. Т. 1. М, 1963.

Паустовский К. Г. Повесть о жизни. Т. 1. М, 1966.

Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в литературе русской эмиграции. Т. 1-2. М, 2003.

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача // Пирогов Н. И. Сочинения. Т. 1. СПб, 1887.

Писемский А. Ф. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М, 1956.

Плевицкая Н. Дежкин карагод. Воспоминания. СПб, 1994.

Погожев В. Н. Воспоминания // Исторический вестник 1893. № 6.

Подъячев С. П. Моя жизнь. М, 1934.

Покровский Д. Л. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893-№ 2-8; 1894. № 9.

Поляков Н. Москвичи дома, в гостях и на улице. Рассказы из народного быта. М, 1858.

Пуришев Б. И. Воспоминания старого москвича. М, 1998.

Пыляев М. И. Старая Москва. М, 1990.

Пыляев М. И. Старое житье. СПб, 1897.

Развлекательная культура России XVIII-XIX вв. Очерки истории и теории. СПб, 2000.

Рассказы бабушки. Л, 1989.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004.

Розанов Н. П. Второе сословие // ОР РГБ. Роз. П И. № 1.

Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М, 1992.

Рыскин С. Ф. Московские трущобы // Русский листок 1893.

Сабанеева Е. А. Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М, 1996.

Сайгина Л. Москва в дни коронаций // Наше наследие. 1997. № 43-44.

Санглен Я. А. Воспоминания во время прогулки по московским улицам // Москвитянин. 1852. № 15.

Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М, 1996.

Свиньин К. А. Воспоминания студента 1860-х годов, за 1862-1865 гг. Тамбов, 1890.

Свободин П. М. Лицедеи //Артист. 1891. № 12-20.

Селиванов В. И. Записки дворянина-помещика // Русская старина. 1880. № 5-8.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М., 1993.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы (Полвека назад). М., 1914.

Снегирев И. М. Воспоминания // Снегирев И. М. Старина русской земли. СПб., 1871.

Соколова А. И. Комический случай с П. И. Чайковским // Исторический вестник. 1910. № 2.

Справочная книжка городских железных дорог. М., 1908.

Сталь, де Ж. Десять лет в изгнании. М., 2003.

Станиславский К С. Моя жизнь в искусстве. М., 1972.

Станюкович К. С. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. Повести и рассказы. Жрецы. М., 1988.

Стахеев Д. И. Замоскворецкие тузы // Исторический вестник 1903. № 9-12.

Телешовы. Д. Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом. М., 1980.

Толстой Л. Н. Не могу молчать! М., 1987.

Труханова Н. На сцене и за кулисами. М., 2003.

Тургенев Н. Я. Дневники и письма. Т. 1. СПб., 1911.

Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005.

Успенский Г. И. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 1. М., 1955.

Фет А. Воспоминания. Т. 1-3. М., 1992.

Харузина В. Н. Прошлое. М., 1999.

Хохлова Е. Свет «волшебных грез» // Наше наследие. 1997. № 43-44.

Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М., 1980.

Чичерин Б. Н. Воспоминания. Земство и Московская дума. М., 1934.

Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1991.

Шатилов Н. И. Из недавнего прошлого // Голос минувшего. 1916. № 10.

Шверубович В. В. О старом Художественном театре. М., 1990.

Шереметев С. Д. Воспоминания детства. СПб., 1896.

Шереметев С. Д. Московские воспоминания. Вып. 1-2. М., 2001-2003.

Шмелев И. С. Лето Господне. Богомолье. М., 1990.

Шнейдер И. И. Записки старого москвича. М., 1970.

Штейн В. Ходынская катастрофа 1896 г. // Исторический вестник 1909. № 11.

Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. Театр в дореволюционной России. М., 1990.

Щапов Н. М. Я верил в Россию... М., 1998.

Щукин П. И. Воспоминания. Из истории меценатства России. М., 1997.

Яковлев П. Л. Записки москвича. Ч. 1-3. М., 1828-1830.

notes

Примечания

Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления.
М., 1980. С. 57.

Василич Г. Улицы и люди современной Москвы // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 12. М., 1909. С. 16.

Амфитеатров А В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 1. М., 2004. С. 91, 95.

Щапов Н. М. Я верил в Россию... М., 1998. С. 177-178.

Беляев И. Обзорение Москвы. Внешний вид столицы
// Московский архив. Вып. 1. М., 1996. С. 414.

Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. Л.; М., 1940. С. 83.

Московская старина. Воспоминания москвичей
прошлого столетия. М., 1989. С. 121.

Снегирев И. М. Старина русской земли. СПб., 1871. С. 186.

Виже-Лебрен Э. Воспоминания госпожи Виже-Лебрен о пребывании в Санкт-Петербурге и Москве. 1795–1801. СПб., 2004. С. 103.

Панаев И. И. Белая горячка // Москва — Петербург; pro et contra. СПб, 2000. С. 122–123.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 6.

Васюков С. И. Былые дни и годы // Исторический вестник. 1908. № 1. С. 110.

Там же. С. 111.

14

Там же.

Бычкова Н. А Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Биографический альманах. Вып. 8. СПб, 2001. С.
447.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. 4. 3. М, 1848. С. 31-32.

Московская старина... С. 95.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М, 1993. С. 72.

Боборыкин П. Д. Современная Москва // Живописная Россия. М, 2004. С. 276.

Скавронский Н. Очерки Москвы. С. 23.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 263.

Скавронский Н. Очерки Москвы. С. 22.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. 4. 3. С. 38–39.

Дурылин С. В своем углу. М, 1991. С. 103.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 274.

Скавронский Н. Очерки Москвы. С. 45.

Успенский Г. И. Собрание сочинений. Т. 1. М, 1955. С 381.

Вертинский А. Я. — артист // Московский альбом. М, 1997. С 274.

Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 2. М, 2005. С. 296.

Герцен А. И. Москва и Петербург // Москва — Петербург: pro et contra. СПб, 2000. С. 179.

Ростопчин Ф. Я. Записки о 1812 годе //
Ростопчин Ф.В. Ох, французы! М, 1992. С. 255-256.

Рассказы бабушки. Л, 1989. С. 112.

Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. Л.; М, 1940. С. 62.

Виже-Лебрен Э. Воспоминания госпожи Виже-Лебрен о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795–1801. СПб, 2004. С. 112.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 1. М, 1836. С. 184.

Рассказы бабушки. С. 87.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 19.

Сумароков П. И. Старый и новый быт // Москва — Петербург: pro et contra. С. 144.

Белинский В. Г. Петербург и Москва // Москва — Петербург: pro et contra. С. 192.

Москвитянин. 1856. Т. 2. С. 417-421.

Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М, 1986. С. 264.

Иванчин-Писарев Н. Д. Письма Н. Д. Иванчина-Писарева к И. М. Снегиреву. СПб, 1902. С. 27.

Ростопчин Ф. В. Ох, французы! С. 258.

Никифоров Д. Старая Москва. Ч. 2. М, 1903. С. 112.

Рассказы бабушки. С. 115.

Сабанеева Е. А. Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М, 1996. С. 396.

Любецкий В. Панорама народной русской жизни, особенно московской. М, 1848. С. 39.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
М, 1998. С. 45.

Рассказы бабушки. С. 115.

Московская старина... М, 1989. С. 398.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 188.

Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. М, 1990.
С. 283.

Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. С.
63.

Сумароков П. И. Старый и новый быт... С. 154–155.

Беляев А. П. Из записок А. П. Беляева // Русская старина. 1880. № 9. С. 19-20.

Снегирев И. М. Дневник. Т. 2. С. 202.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 2. С. 461.

Голицын В. М. Москва и ее жители 50-х годов XIX столетия // Московский журнал. 1991. № 10. С. 17.

Булгаков А. Я. Из писем А. Я. Булгакова брату // Русский архив. 1901. № 7. С. 33.

Тургенев Н. И. Дневники и письма. Т. 1. СПб, 1911. С. 75.

Булгарин Ф. В. Сочинения. М, 1990. С. 151.

Погожее В. Н. Воспоминания // Исторический вестник. 1893. № 6. С. 722.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 73–74.

Сумароков П. И. Старый и новый быт... С. 155.

Рассказы бабушки. С. 112.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 33–34.

Белинский В. Г. Петербург и Москва // Москва — Петербург: pro et contra. СПб, 2000. С. 199.

Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х гг. // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М, 1989. С. 423.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М, 1994. С. 44.

Кареев Н.И. О Москве // Московский архив. Вып. 1. М, 1996. С. 403.

Бахрушин Ю. А. Указ. соч. С. 43.

Левитов И. Путеводитель. Вып. 1. М, 1881. С 6.

В. А Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. Л, 1971.

Давыдов Н. В. Из прошлого. М, 1913. С. 35.

Покровский Д.А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 3. С. 785–786.

Давыдов Н. В. Указ. соч. С. 35.

Российский архив Вып. 15. М, 2007. С. 321.

Никифоров Д. И. Старая Москва. Ч. 2. М, 1903. С. 135.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 7. С. 133.

Белый А. Старый Арбат // Московский альбом. Воспоминания о Москве и москвичах XIX–XX веков. М, 1997. С. 171.

Пирогов Н. И. Сочинения. Т. 1. СПб, 1887. С. 237.

Бутурлин М. Д. Записки. Т. 1. М, 2007. С. 639.

Щапов Н. М. Я верил в Россию... М., 1998. С. 178.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 7. С 129.

Там же С. 129-130.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
М, 1987. С 8.

Цит. по: 275 лет наружному освещению Москвы. М, 2005. С. 24.

Дурылин С. Н. В своем углу. М., 1991. С. 78.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М., 1914. С. 39.

Лейкин Н. А. Свет Яблочкова // Лейкин Н. А. Шуты гороховые. М, 1992. С. 250, 252.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М, 2002. С 9.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004. С. 44.

Медведев П. В. Дневник // Московский архив. Вып. 2.
М, 2000. С. 29–30.

Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М, 2007. С. 90.

Кетов А. П. Отрывки из воспоминаний Бекетова // Щукинский сборник Вып. 2. М, 1903. С. 486.

Московская старина... С. 139.

Васюков С. И. Былые дни и годы // Исторический вестник. 1908. № 1. С. 120.

Баранов Е. З. Московские легенды. М., 1993. С. 122.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004. С. 267.

Шуберт А. Моя жизнь // Судьба таланта. М., 1990. С 370.

Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х гг. // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С 405.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде
Вишняковых. Ч. 2. М., 1903. С. 84.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 7. С. 138–139.

Там же. С. 141.

Короленко В. Г. Прохор и студенты // Короленко В. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. М., 1953. С. 302.

Там же.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
М., 1998. С. 294.

Короленко В. Г. Прохор и студенты. С 303.

Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х гг. С 409.

Щапов Н. М. Я верил в Россию... М., 1998. С 160.

111

Там же.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М., 2002. С. 38.

Селиванов В. И. Записки дворянина-помещика // Русская старина. 1880. № 8. С. 727.

Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992. С. 212.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
С. 95.

Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 181.

Никифоров Д. И. Воспоминания из времен
императора Николая I. М., 1903. С. 82.

Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и пережитом. М., 2007. С. 96.

Селиванов В. И. Записки дворянина-помещика... С
725.

Шуберт А. И. Моя жизнь. С. 319.

Найденов Н. А. Воспоминания... С. 95–96.

Маркелов К. На берегу Москвы-реки // Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в литературе русской эмиграции. Т. 2. М., 2003. С. 36.

Соколова А. И. Комический случай с
П. И. Чайковским // Исторический вестник 1910. № 2. С.
559.

Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х гг. С. 418.

Бахтиаров А. Чрево Москвы // Колосья. 1891. № 9. С. 29.

Сумароков П. И. Старый и новый быт // Москва — Петербург: pro et contra. СПб., 2000. С. 162–163.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
М, 1987. С 43.

Белинский В. Г. Петербург и Москва // Москва — Петербург: pro et contra. С 201.

Стахеев Д. И. Замоскворецкие тузы // Исторический вестник. 1903. № 9. С. 753.

Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. М, 1994.
С. 149.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004. С 33.

Баранов Е. З. Московские легенды. М, 1993. С. 179–180.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 38–39.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 2. М., 1903-1911 С. 296.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М, 1994. С. 56.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Вып. 8. СПб., 2001. С. 451.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
С. 34.

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М, 1997. С. 24.

Поляков Н. Москвичи дома, в гостях и на улице. М, 1858. С. 48.

Там же. С 43.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде... Ч. 2. С
51.

Российский архив. Вып. XI. М, 2001. С. 317–319.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М, 1993. С. 88.

Там же. С. 61.

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. С. 237.

Там же. С. 57.

147

Там же.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде... Ч. 3.
С. 177-178.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
С. 39.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде... Ч. 3.
С. 92.

Стахеев Д. И. Замоскворецкие тузы // Исторический вестник 1903. № 12. С. 743.

Московская старина... М, 1989. С. 97.

Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 11. М, 1909 С. 9.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 2. М, 1836–1848. С. 315.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 78.

Там же. С. 45-46.

Московская старина... М, 1989. С. 390.

Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М, 1991. С. 114.

Кокорев И. Т. Москва сороковых годов. М, 1959. С. 36.

Боборыкин П. Д. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. М, 1993 С. 21.

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. М, 1913. С 45.

Подъячев С. П. Моя жизнь. М, 1934. С. 53.

Московская старина... М. 1989. С. 166.

Баранов Е. З. Московские легенды // РГАЛИ. Ф. 1418
(рукопись).

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. С. 45.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 7. С. 133.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 304–305.

Кузнецов А. Альманах на 1826 год для
приезжающих в Москву... М, 1826. С. 422.

Свиньин И. А. Воспоминания студента 1860-х гг.
Тамбов, 1890. С. 106.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М, 1914. С. 141.

Русская старина. 1880. № 9. С. 314.

Готье Т. Путешествие в Россию. М, 1988. С. 232.

Бондаренко И. Е. Из «Записок художника-архитектора» // Москва в начале XX века. М, 1997. С. 77.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
М, 1998. С. 125.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004. С. 323.

Шатилов Н. Из недавнего прошлого // Голос
минувшего. 1916. № 10. С. 57.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 6. С. 739.

Там же. С. 760.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 3. М, 1911. С. 60.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 8. С. 423–424.

Рыскин С. Ф. Московские трущобы // Русский листок.
1893. № 91.

Плевицкая Н. Д. Дежкин карагод. Воспоминания.
СПб, 1994. С. 76-77.

Голицын В. М. Москва и ее жители 50-х годов XIX столетия // Московский журнал. 1991. № 9. С. 26.

Баранов Е. З. Московские легенды // РГАЛИ. Ф. 1418
(рукопись).

Маркелов Н. А. На берегу Москвы-реки // Первопрестольная: далекая и близкая. Т. 2. М, 2003. С 64.

Московские ведомости. 1835. С. 207.

Зайцев Б. Литературный кружок // Первопрестольная: далекая и близкая. Т. 2. С. 278.

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. М, 1893. С. 219.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
М, 1987. С 39.

Галахов А. Д. Записки человека. М, 1999. С. 184.

Писемский А. Ф. Сочинения. В 3 т. Т. 3. М, 1956. С 225.

Боборыкин П. Д. Современная Москва // Живописная Россия. М, 2004. С. 256.

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М, 1997. С. 20-21.

Белоусов И. Ушедшая Москва. М., 1998. С. 65.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву. СПб., 1846. С. 168.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 256–257.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М., 1914. С. 116.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М., 1993. С. 30–31.

Харузина В. Н. Прошлое. М., 1999. С. 256.

Щукин П. И. Воспоминания. Из истории меценатства в России. М., 1997. С. 55.

Свиньин И. А. Воспоминания студента 1860-х гг.
Тамбов, 1890. С. 101.

Там же. С. 102.

Там же. С. 100.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М., 1842. С. 49.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М., 1994. С. 357.

Белоусов И. Ушедшая Москва. С. 64.

Московские ведомости. 1835. С. 53-54.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 47–48.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 164.

Иванов Е. Меткое московское слово. М., 1989. С. 51-52.

Гиацинтова С. В. С памятью наедине. М., 1989. С 374.

Воронин М. А. Летняя жизнь в столицах. (Из записок путешественника) // Москва — Петербург pro et contra. СПб., 2000. С. 257.

Иванов Е. Меткое московское слово. С. 165.

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. С 38–39.

215

Там же.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 103.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. С 122.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 254.

Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 2. М., 2005. С. 296.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 2.

Московские ведомости. 1835. С. 55.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 134.

Беляев И. Обзорение Москвы. Внешний вид столицы
// Московский архив. Вып. 1. С. 413.

Свободин П. М. Лицедеи // Артист. 1891. № 15. С 35;
Иванов Е. Меткое московское слово. С. 173.

Коонен А. Страницы жизни. М., 1985. С 8.

Успенский Г. И. Собрание сочинений В 9 т. Т. 1.М., 1955.С. 266.

Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 11. М., 1909. С. 15.

Московская старина. М., 1989. С. 127.

Там же. С. 156.

Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 11. М., 1909.

Боборыкин П. Д. Современная Москва // Живописная Россия. М, 2004. С. 266.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М, 1914. С. 199.

Кизеветтер Л. Л. На рубеже столетий.
Воспоминания. 1881–1914. М., 1996. С. 24–25.

Московские ведомости. 1835. С. 781.

Забелин И. Е. Воспоминания о жизни // Река времен.
Кн. 2. М, 1995. С. 40-41.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 258.

Ежов Н. Записки москвича // Исторический вестник.
1909. № 10. С. 86.

Там же. С. 88.

Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. С. 7.

Поляков Н. Москвичи дома, в гостях и на улице. М, 1858. С. 28.

Там же. С. 25.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. С. 187–188.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 2. С. 463.

Коонен А. Страницы жизни. М, 1985. С. 16.

Успенский Г. И. Собрание сочинений. Т. 1. М, 1955. С. 318.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893-№ 8. С. 127.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М, 1914. С. 12.

Белоусов И. А. Ушедшая Москва. М, 1998. С. 53.

Московская старина. М., 1989. С. 116.

Там же. С. 117.

Белинский В. Г. Москва и Петербург // Москва — Петербург: pro et contra. СПб, 2000. С. 202.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Вып. 8. СПб, 2001. С. 453.

Там же. С. 436.

Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. М, 1990.
С. 276.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
М, 1987. С. 29-30.

Белоусов И. А. Ушедшая Москва. С. 43.

Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя.
С. 30.

Иванов Е. Меткое московское слово. М. 1989. С. 209.

Бычкова Н. А. Как жили... С. 443–444.

Белоусов И. А. Ушедшая Москва. С. 46.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 103.

Московская старина... С. 158.

Баранов Е. З. Московские легенды. М, 1993. С. 239.

Успенский Г.И. Т. 1.С. 291.

Забелин И. А. Воспоминания о жизни // Река времен.
Кн. 2. М, 1995. С. 37–39.

266

ОПИ ГИМ. Ф. 282. Ед. хр. 251.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М., 1993. С. 101.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М., 1994. С. 341.

Там же. С. 337.

Там же. С. 330.

Там же. С. 323.

Баранов Е. З. Московские легенды. С. 156–157.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 7. С. 135.

Голицынский А. Очерки фабричной жизни. СПб., 1873. С. 23.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 8. С. 417.

Подъячев С. П. Моя жизнь. М., 1934. С. 126.

Воронов М. А., Левитов А. И. Московские норы и трущобы. Т. 1. СПб., 1866. С. 66–67.

Воронов М. А., Левитов А. И. Московские норы и
трущобы. Т. 2. С. 127–128.

Рыскин С. Ф. Московские трущобы// Рус. листок 1893.
№ 98.

Медведев П. В. Из дневника за 1854-1861 гг. // Московский архив. Вып. 2. М., 2000. С. 21.

Брешко-Брешковская Е. Первые ростки русской революции. М., 2005. С. 97.

Шатилов Н. Из недавнего прошлого // Голос
минувшего. 1916. № 10. С. 57.

283

Там же.

Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 11. М., 1909. С. 16.

Воронов М. А., Левитов А. И. Московские норы и
трущобы. Т. 2. С. 225.

Вьюрков А. А. Рассказы о старой Москве. М., 1958. С. 168.

Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 1. М., 2004. С. 134.

Подъячев С. П. Моя жизнь. С. 203.

Там же. С. 205.

Боборыкин П. Д. Современная Москва // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Москва. М., 2004. С. 272.

Боборыкин П. Д. Современная Москва... С. 272–273.

Свешников Н. И. Воспоминания пропавшего человека.
М., 1996. С 91.

Там же. С. 92.

Подъячев С. П. Мытарства //Начало века. Москва начала XX столетия в произведениях русских писателей. М., 1983. С. 215.

Боборыкин П. Д. Современная Москва... С. 272–273.

Московские легенды, записанные Евгением
Барановым. М., 1993. С. 181.

Боборыкин П. Д. Современная Москва. С. 272.

Московские легенды. С. 117–118.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1894. № 9. С. 721.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву. СПб, 1846. С. 229.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004. С. 27.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М, 1993. С. 19-20.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М, 2002. С. 7.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. С. 28.

Волкова А. А. Воспоминания, дневники и статьи.
Н. Новгород, 1913. С. 11.

Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. М. 1990.
С. 276.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде
Вишняковых. Ч. 3. М. 1911. С. 42.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Вып. 8. СПб, 2001. С. 438.

Дурылин С. Н. В своем углу. М, 1991. С. 49.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 4. С. 218.

Розанов Н. П. Второе сословие // ОР РГБ (рукопись).

312

Там же.

313

Там же.

314

Там же.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 2. С. 459.

316

Корженевский П. И. Московский Сен-Жермен // ОР
РГБ (рукопись).

Розанов Н. П. Второе сословие.

Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. Т. 1. Paris, 1988. С. 95.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 3-С. 21-22.

Евреинов М. Московская старина // Русский архив.
1877. № 10. С. 182.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву. СПб, 1846. С. 183.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 16.

Вишняков Н. П. Сведения... Ч. 2. М, 1905. С. 159.

Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни.
М. 1998. С. 347.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года... С. 260–261.

Стахеев Д.И. Замоскворецкие тузы // Исторический вестник 1903. № 10. С. 8.

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М, 1996. С. 117.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки... С. 450.

Там же. С. 454-455.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года... С. 235.

Вишняков Н. П. Сведения... Ч. 2. С. 158.

332

Корженевский П. И. Московский Сен-Жермен // ОР
РГБ (рукопись).

Чичерин Б. Н. Воспоминания. Земство и Московская дума. М., 1934. С. 233.

Кшесинская М. Воспоминания. М., 1992. С. 56–57.

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М., 1997. С. 106.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. В 3 ч. М., 1903–1911. Ч.3. С. 43–44.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М., 2002. С. 22–23.

Щапов Н.М. Я верил в Россию... М., 1998. С. 73–74.

Свиньин И. А. Воспоминания студента 1860-х гг.
Тамбов, 1890. С. 58-59.

Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М., 2007. С. 81.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 58–59.

342

Там же. С. 113.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М., 1994. С. 52.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. В 4 ч. М., 1836–1848. Ч. 3. С. 36.

Вишняков Н. П. Сведения... Ч. 2. С. 152.

346

Там же. С. 151-152.

347

Там же. С. 153.

Вишняков Н. П. Сведения... Ч. 3. С. 43.

349

Корженевский П. И. Московские праздники // ОР РГБ
(рукопись).

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Вып. 8. СПб., 2001. С. 467–468.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 3. С. 39.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки... С. 466.

Кони А. Ф. Купеческая свадьба // Московская старина. М., 1989. С. 315.

354

Там же.

355

Там же.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
М., 1998. С. 240–241.

Найденов Н. А. Воспоминания... С. 111.

Назимов М. В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год // Русский вестник 1876. № 7. С. 155-156.

Назимов М. В провинции и в Москве. С. 156.

Ансело Ф. Шесть месяцев в России. М., 2001. С. 161.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни.
С. 254.

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М, 1985. Т. 2. С. 20; Дневник А. Я. Булгакова. // РГАЛИ (рукопись).

Описание Священного коронования Их
Императорских Величеств Государя Императора
Александра II и Государыни Императрицы Марии
Александровны Всея России. Л. 87-88.

Волкова А. А. Воспоминания, дневники и статьи.
Н. Новгород, 1913. С. 40.

Краснов В. Ходынка. Рассказ не до смерти растоптанного // Московский альбом. М, 1997. С. 143.

366

Там же. С. 144.

367

Там же. С. 147.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М, 2004. С. 267.

Боборыкин П. Д. Современная Москва // Живописная Россия. М., 2004. С. 258.

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / Пирогов Н. И. Сочинения. Т. 1. СПб, 1887. С 220.

Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 2003. С. 24.

Мурзакевич Н. Н. В Московском университете // Московский университет в воспоминаниях современников. М, 1989. С. 92.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 17.

Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 7. М, 1953. С. 106.

375

Там же. С 107.

Боборыкин П. Д. Современная Москва... С. 277-278.

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. С. 302–303.

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. М, 1913. С. 29.

Иванов П. Студенты в Москве. М, 1903. С. 43.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 48.

381

Там же. С 47.

Там же. С. 46.

Шатилов Н. И. Из недавнего прошлого // Голос минувшего. 1916. № 10. С. 62-63.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 3-М., 1911. С 70.

Григорьев Ап. Воспоминания. М, 1988. С. 24.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004. С 46.

Летите, грусти и печали. Неподцензурная русская поэзия XVIII–XIX вв. М., 1992. С 212.

Из писем А. Я. Булгакова к брату // Русский архив.
1901. № 6. С. 195–196.

Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 1. М, 2004. С. 124.

И. М. Татьянаин день // Иллюстрированная Россия.
Париж, 1939. № 4. С. 2.

Амфитеатров А. В. Жизнь человека... Т. 1. С. 502.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М., 1842. С. 86.

Коонен А. Страницы жизни. М., 1985. С. 14-15.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М., 2002. С. 20.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 86.

Там же. С. 87.

Свиньин Я. А. Воспоминания студента 1860-х годов.
Тамбов, 1890. С. 135-136.

Любецкий С. М. Старина Москвы и русского народа.
М., 1872. С. 258.

Яковлев П. Л. Записки москвича. Ч. 1. М., 1828. С. 9.

Голицын В. М. Москва и ее жители 50-х годов XIX в.
// Московский журнал. 1991. № 9. С. 21.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 84.

Забелин И. Е. Воспоминания о жизни // Река времен.
Кн. 2. М., 1995. С. 36.

Маркелов К. На берегу Москвы-реки // Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в литературе русской эмиграции. М., 2003. Т. 2. С. 39.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1894. № 9. С. 732.

405

Там же. С. 727.

Там же. С. 736.

407

Ведомости Московской городской полиции. 1857.
№ 10.

Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 153.

См. ее письмо с рассказом о полете: Российский архив. Вып. XI. М., 2001. С. 15–18.

Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005. С. 39.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 139–140.

Успенский Г. И. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 1. М., 1955. С. 364.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 4. М., 1844. С. 10.

Скавронский Н. Очерки Москвы. М., 1993. С. 118.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 88.

Описание нового московского гулянья в 1840 году // Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. Ч. 8. М., 1901. С. 425-426.

Щукин П. И. Воспоминания. Из истории меценатства в России. М., 1997. С. 9.

Ведомости Московской городской полиции. 1858.
№ 160; Иллюстрация. 1858. № 33.

Московская старина. М., 1989. С. 167–168.

Никифоров Д. И. Старая Москва. М., 1903. Ч. 2. С. 118.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004. С. 68.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем.
Сочинения. Т. 16. М., 1980. С. 22-23.

Нелидов В. А. Театральная Москва. М., 2002. С. 47.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
// Лица. Вып. 8. СПб., 2001. С. 452.

Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М, 1986. С. 262.

Ишимова А. О. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву. СПб, 1846. С 171.

Вигель Ф. Ф. Записки. Кн. 1. М, 2003. С 452.

428

Там же. С. 453.

Кузнецов А. Альманах на 1826 год для
приезжающих в Москву... М., 1826. С. 56.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 3. М., 1911. С. 60.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. С. 62.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. Ч. 4. С. 61-62.

433

Там же. С. 63.

Загоскин М. Н. Москва и москвичи. С. 72.

Московские ведомости. 1827. № 4. С. 221.

Булгаков А. Я. Из писем А. Я. Булгакова к брату // Русский архив. 1901. № 10. С. 161.

Свиньин И. А. Воспоминания студента. С. 142.

Васюков С. И. Былые дни и годы // Исторический вестник 1908. № 2. С. 483.

Медведев П. В. Дневник // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М, 2000. С. 20.

Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М, 1994. С. 47.

Воронов М. А., Левитов А. И. Московские норы и
трущобы. Т. 1. СПб, 1866. С 71.

Успенский Г. И. Собрание сочинений. Т. 1. М, 1955. С. 384.

443

Там же. С. 327.

Телешов Н. Д. Записки писателя. М, 1980. С. 238.

Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. Л. М, 1940. С. 74.

Кокорев И. Т. Москва сороковых годов. М, 1959. С 186; Василич Г. Москва 1850–1910 гг. // Москва в ее прошлом и настоящем. Т. 11. М, 1909. С 11.

447

Ведомости Московской городской полиции. 1857.
№ 4.

Московские ведомости. 1846. № 18.

449

Корженевский П. И. Московский Сен-Жермен // ОР
РГБ (рукопись).

Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. Т. 1. Paris, 1988. С. 189.

Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М, 1914. С 219.

Давыдов Н. В. Из прошлого. Т. 1. М., 1913. С. 51.

Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к
П. А. Вяземскому // Пушкин. Исследования и материалы.
Т. XI. Л, 1983. С. 228.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. М, 1842. С. 119.

Шереметев С. Д. Мемуары гр. С. Д. Шереметева. Т. 1.
М, 2004. С 323.

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 119.

457

Там же. С 120.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 1. М., 1903. С. 301.

Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С 322–323.

Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки
//Лица. Биографический альманах. Вып. 8. СПб., 2001. С.
423.

Кокорев И. Т. Москва сороковых годов. С 91.

462

Московские ведомости. 1846. № 61.

Басюков С. И. Былые дни и годы // Исторический вестник. 1908. № 1. С 121.

Соболев В. Н. О петушиных боях в Москве // Московская старина. М., 1989. С 196.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 279.

466

Вистенгоф П. Очерки Москвы. С. 88.

Снегирев И. М. Старина русской земли. СПб., 1871. С 190.

Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник. 1893. № 7. С. 135–138.

Забелин И. Е. Воспоминания о жизни // Река времен.
Кн. 2. М., 1995. С. 33–34.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004. С. 30.

Богатырев П. И. Московская старина // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С 103.